



**Биографии. Статьи
Портреты**

В. Чмырев, В. Комиссаров.	Главное — впереди	6
Н. Караш.	Декабрист С. Г. Волконский на вольном поселении	21
Г. Кошеленко.	Федор Иванович — художник Парфенона	48
Н. Троицкий.	Подвиг Николая Клеточникова	57
И. Д. Рожанский.	Загадка Сократа	77
М. Лапшин.	Идут в наступление строки	96



**Дневники
Воспоминания**

А. Н. Бакулев.	Полвека на службе жизни	108
П. Н. Солонко.	На родине Ленина в 1918 году	124
П. А. Флоренский.	Пристань и бульвар	138
Ф. Ф. Матюшкин.	Журнал кругосветного плавания на шлюпе «Камчатка» под командою капитана Головнина	149

**Письма. Находки
Документы**

Яков Кумок.	Первое открытие, первая любовь Ивана Губкина	177
Р. Юрнев.	С. Эйзенштейн — письма из Мексики	185

**Историко-
биографический
альманах
серии
„Жизнь
замечательных
людей“
Том девятый**

**Издательство
ЦК ВЛКСМ
„Молодая гвардия“
Москва,
1972**

**Поиски. Находки
Гипотезы**

И. Желвакова.	Из записок прошлого столетия	200
Л. Б. Светлов.	Сочинение российского офицера	210

**Художественное
наследство**

Лада Вуич.	Гравер Павлинов	218
-------------------	---------------------------	-----

**Исторические
очерки**

Освальд Гаррисон Виллард.	Годы сражений	229
--------------------------------------	-------------------------	-----

Редакционная
коллегия:

М. П. Алексеев,
И. Л. Андроников,
Д. С. Данин,
Б. И. Жутовский,
П. Л. Капица,
Б. М. Кедров,
Д. М. Кукин,
Ф. Н. Петров,
С. Н. Семанов (редактор),
А. А. Сидоров,
Н. М. Симонов,
С. Д. Сказкин,
С. С. Смирнов,
В. С. Хелемендик

С. Семанов.	Кронштадтский мятеж 1921 года и русская эмиграция . . .	240
А. З. Манфред.	Государственный переворот 18 брюмера VIII года	248
В. Б. Кобрин.	Государевы опричники	273

Смесь

О. Кудрявцева.	Памятник Ф. М. Достоевскому	286
Г. Литинский.	Тетрадь № 36	290
В. С. Оголевец.	Неизвестное письмо Л. Н. Толстого	297
С. Левина.	Книга-эстафета	297

Художник Б. И. Жутовский

Художественные редакторы:

А. Б. Романова, А. И. Степанова

Технический редактор Л. И. Курлыкова

Е. Гибет.	Пугачевская легенда на Урале	299
В. Смиренский.	«Пятницы» Полонского	303
Кирилл Калманович.	Записки «господина парижского мастера»	306
А. С. Говоров.	Сподвижник Суворова	308
А. Левандовский.	Белый сон Карла Великого	309
Л. А. Ельницкий.	Понтий Пилат в истории и в христианской легенде	316
Роман Белоусов.	Необычайные приключения автора и его героя, или Как Распе увековечил Мюнхгаузена	321

В. Чмырев,
Новороссийск
В. Комиссаров

Главное — впереди!

(Странички из жизни
Бетала Калмыкова)



В 1973 году исполняется 80 лет со дня рождения Бетала Эдыковича КАЛМЫКОВА, народного героя Кабардино-Балкарии, славного большевика-ленинца, верного соратника С. М. Кирова и Г. К. Орджоникидзе в годы гражданской войны на Северном Кавказе. Имя Калмыкова стало легендарным еще при жизни.

Простой пастух, он в 1913 году был одним из руководителей восстания кабардинских и балкарских крестьян, выступавших против князей-коннозаводчиков. В 1913—1916 годах Бетал Калмыков объединил группу народных вожakov и создал подпольную революционно-демократическую крестьянскую организацию «Карахалк» («Беднота»).

На съезде горцев и казанов в Пятигорске в марте 1918 года, провозгласившем Советскую власть на Терке, Бетал Калмыков был избран в состав Терского народного Совета и вошел в его президиум. Он был одним из руководителей первой большевистской организации в Кабарде, созданной в начале 1918 года, и руководил народным съездом Советов Нальчикского округа, провозгласившим Советскую власть в Кабарде и Балкарии 21 марта 1918 года.

Являясь чрезвычайным комиссаром Терской области, Бетал Калмыков принимает самое активное участие в создании и боевых действиях Кабардино-Балкарской кавдивизии и других национальных формирований Красной Армии. В конце 1919 года он возглавляет Кабардино-Балкарский ревком, объединяет разрозненные партизанские отряды, действовавшие в тылу белых, и движется навстречу Красной Армии, приближавшейся к предгорьям Кавказа.

С первых дней восстановления Советской

власти в Кабарде (март 1920 года) и до конца 1929 года Бетал Калмыков занимал пост председателя Кабардино-Балкарского облисполкома и затем до конца 1938 года работал первым секретарем Кабардино-Балкарского обкома партии.

За исключительные заслуги в деле социалистического строительства он одним из первых в Советском Союзе был награжден орденом Ленина.

Бетал Калмыков был крупным партийным и государственным деятелем. Он был членом ВЦИК всех созывов начиная с VIII съезда Советов. Членом ЦИК СССР всех созывов и Верховного Совета СССР первого созыва. В 1934—1936 годах являлся членом Президиума ВЦИК. Был делегатом XI, XII, XIII съездов РКП(б) и делегатом XIV, XV, XVI всесоюзных съездов партии.

Ранним осенним утром 1935 года по склону Эльбруса двигалась необычная процессия. Шестьсот двадцать пять человек поднимались по каменистым кручам, все выше и выше — к снежно-розовой, залитой солнцем вершине, уткнувшейся в небо. Впереди шел плотный, коренастый мужчина в коричневой каракулевой папахе, с веселым и умным прищуром карих глаз.

Их снаряжение было нехитрым: веревки да острые палки — им, горцам, не привыкать карабкаться по едва заметным, с ладонь шириной, тропкам и карнизам, нависшим над пропастью.

Они не были альпинистами. Еще несколько дней назад многие из них пожимали плечами:

— На Эльбрус? Зачем?

Человек в коричневой папаше объяснял: — За красотой. Все мы хорошо потрудились, теперь можно думать о прекрасном.

— Но мы знаем все Приэльбрусье как свои пять пальцев, — отвечали иные. — Мы тут родились, тут выросли, нам знаком здесь каждый камень. — И снова пожимали плечами.

...Через несколько часов они достигли вершины, сверкающей мириадами снежных искр, и оглянулись вокруг.

Кавказ лежал под ними — горы и ущелья, тонкие шнуры речек с узелками-водопадами, голубые блюдца озер, прозрачные пласты тумана в черных скалистых провалах...

Забыв об усталости, они зачарованно разглядывали величественную картину, открывшуюся перед ними. Да, таким они еще не видели свой край, хотя знали тут все тропки. Они всегда ходили по горам за табунами коней, за отарами овец, пробирались торопливо на базар, шли, озабоченные делами, в Нальчик, в соседние аулы. Теперь они впервые в жизни пришли за Красотой и увидели ее.

...Человека, который повел за Красотой на вершину Эльбруса шестьсот своих товарищей, звали Бетал Калмыков.

Он не был поэтом, он был революционером. Но поэты и революционеры — братья по духу.

...В один из жарких летних дней в темном ущелье Кабарды остановилась простая крестьянская арба. С облучка спрыгнул улыбчивый, с открытым ясным лицом мужчина. На плечи его был накинут кургузый пиджачок мастерового.

Теперь каждый школьник, едва взглянув на портрет этого человека, узнал бы его. А в то время его фотографиями интересовались преимущественно жандармы.

Возница привязал лошадь, и путники стали карабкаться по тропинке в гору. Возница свистнул раз-другой. Из зарослей появился дозорный, кивнул приезжим, и все трое углубились в чащу. Через четверть часа Сергей Киров, с интересом оглядывая

глубокую пещеру, говорил посмеиваясь:

— Неплохо устроились! Тут вас не то что жандармы — жены собственные не разыщут... Только что-то вы печальные, товарищи?

Кто-то из горцев в ответ вздохнул тяжело.

— Веселого мало. Восстание подавлено... тюрьмы полны...

Киров присел на камень, покрытый буркой.

— Что ж у вас тут случилось?

А случилось вот что.

Весной, когда налились соками пышные травы на альпийских лугах, крестьяне-кабардинцы, как всегда, погнали свой скот на Зольские пастбища. Пастбища были общественные; с незапамятных времен пасли здесь свой скот горцы.

На этот раз дорогу пастухам преградили стражники. Двенадцать тысяч крестьян, извещенных пастухами, прискакали на Зольские пастбища. Их встретили здесь брань стражников, стонущий рев погибающих животных и... веселые звуки оркестра. Тут же веселились кабардинские князья и хуторяне, захватившие по царскому разрешению пастбища.

Тогда крестьяне ринулись на стражников, обезоружили их, арестовали пристава. Скот был пропущен на пастбища. На такой случай у властей была четкая инструкция. Для бунтовщиков — казачьи сотни, а то и полевые войска с артиллерией. В горах Кавказа гулко забухали пушки, сравнивая с землей кабардинские аулы. Горцев толпами гнали в пятигорскую тюрьму. Они шли избитые, окровавленные, в рваных бешметах. Но от взглядов их шарахалась праздная, нарядная курортная публика, пришедшая поглазеть на арестованных.

Жандармы искали Бетала и его товарищей — организаторов восстания.

...Киров выслушал горцев, вскочил,хватив из сумки несколько газет.

— Но ведь это замечательно, товарищи! Вся Россия пробуждается! Посмотрите, что пишут: в Москве, в Петербурге — рабочие стачки, в Донбассе — забастовки. Это ж черт знает как здорово, что вы здесь поднялись. У царизма войск не хватит во все концы рассылать!

Бетал Калмыков внимательно приглядывался к гостю. Калмыков видел его впервые, хотя и много слышал о нем, как об опытном революционере, сражавшемся с царизмом еще в памятном всем 1905 году и теперь возглавлявшем революционную

борьбу на Северном Кавказе. Он чувствовал, как постепенно освобождается от тяжести, все эти дни лежащей на душе. Были тому причиной ободряющие слова или сознание, что не одинок он с товарищами в трудную эту пору, а может быть, ясная улыбка Кирова так действовала на Бетала — кто знает? Только Калмыков отчетливо понял вдруг: все впереди, и борьба и победы — все впереди! Он поверил в Кирова сразу. И пронес эту веру через всю жизнь. «Я был для него как тесто, все он мог из меня сделать...» — писал впоследствии Калмыков о своем большом друге.

...Пожалуй, немного найдется областей в России, где революционный процесс шел бы так напряженно и трудно, как на Кавказе.

Писатель Н. С. Тихонов застенографировал рассказ Калмыкова о событиях на II съезде народов Терской области. На этот съезд меньшевики и эсеры сумели выдвинуть немало своих представителей. Обстановка и без того была накаленной. А тут пришли свежие газеты с опубликованными в них тяжелейшими условиями Брестского мира. Зал гудел. Недоумение, боль, обида на лица делегатов. А у иных — открытая ненависть и злорадство.

— Не-до-ве-рие! — кричали меньшевики и эсеры, размахивая газетами. — Не-до-ве-рие большевикам, Совету Народных Комиссаров!

Что было дальше — рассказывает Б. Э. Калмыков:

«...Киров говорит:

— Надо признать Совет Народных Комиссаров...

Буачидзе лежит на диване больной, хриплый, у него температура... Говорит, что и Киров:

— Пускай Бетал поработает среди кабардинцев, пускай делегация выступит за Совет Народных Комиссаров.

Киров говорит мне:

— Сможешь организовать кабардинцев и балкарцев?

Отвечаю:

— Даже иногородних попробую...

Жили в общежитиях по фракциям национальным. Комнаты распределяли сам Киров и Буачидзе. Все было предусмотрено. Ингушские комнаты были отделены от казаков кабардинскими.

Собрал я кабардинцев, поговорил с ними. Говорил словами Кирова, говорил о власти, которую надо брать, о Совете Народных Комиссаров.

— Кто со мной — оставайтесь в этой комнате!

Все встали стеной, двинулись в угол комнаты за мной. Приходим толпой к иногородним.

— Раздвиньте кровати.

Сели.

— Вот мы, кабардинцы, пришли. Хотим с вами союз. Вы, иногородние, в лишениях жили, кто хочет с царем и помещиком — уходите из этой комнаты... Кто с нами?

Все за Совет Народных Комиссаров!

Пошли к ингушам — так же. Потом поговорил я с несколькими казаками. Пришел к Мироничу:

— Разрешите доложить, поручение выполнено.

Встала наша делегация, подошла к трибуне и потребовала, чтобы голосовали признание Совета Народных Комиссаров. Весь зал встал. Переполох колоссальный. Эсеры и меньшевики с ума посходили. Крик, шум, а мы стоим стеной каменной...»

...Во Владикавказ и Пятигорск начали приходить недобрые вести: полыхают казачьи станицы и чеченские аулы; ингуши и осетины подкарауливают друг друга на горных тропах, режут, стреляют. Нужно во что бы то ни стало погасить очаги братоубийственной резни, грозящей гибелью революции на Северном Кавказе. Киров советуется с верными товарищами. Выход один: самим отправиться в аулы и станицы, объяснить людям, кому на руку братоубийственная война.

Объяснить людям... Легко сказать... По горским обычаям каждый убитый должен быть отомщен. А сейчас убитых в аулах — сотни!

В первом же селении, куда приехал Бетал, шли приготовления к набегу на казачью станицу. Прошлой ночью здесь побывали казаки, сожгли пол-аула. Теперь горцы готовились мстить.

Бетал подъехал, когда на площади в кругу всадников металась обезумевшая старуха в черном, с искаженным яростью лицом. Раздирая одежды, царапая лицо, она кричала одно и то же:

— Убили! Убили сыночка! Проклятые гяуры... Ахмед, сыночек, кто отомстит за твою кровь? Убили!

Всадники, стиснув зубы, слушали притирания женщины.

— Братья, — сказал Бетал. — Я скорблю вместе с вами. Вы знаете, мы были с Ахметом кунаки, вместе дрались на Золке... Кто убил его?

— Гяуры! — крикнули из толпы.

Калмыков покачал головой.

— Нет, не гяуры. Его убили те из вас, кто на прошлой неделе поджигал казачью станицу. Вчера сожгли вы, сегодня сожгли вас. Завтра вы убьете казаков, на другой день они придут убивать вас...

Старуха в черном, растопырив пальцы, хищной птицей кинулась к Беталу. Ее отеснили. Тогда она закричала:

— Маша, сыночек! Что же ты смотришь — стреляй в него, это обманщик. Он проданся гяурам, стреляй, отомсти за брата!

И тотчас за спиной Бетала лязгнул затвор винтовки. Бетал напрягся. Сейчас грохнет выстрел... Он даже не услышит его. Бетал произнес спокойно:

— Вот как! В вашем ауле убивают кунаков?

Теперь можно было обернуться. За спиной стоял бледный юноша-горец. Винтовку он еще держал навскидку, целясь в Бетала, но в ту же секунду чьи-то руки пригнули ее к земле... И Калмыков начал говорить. О том, как радуются кабардинские князья и русские богачи братоубийственной войне: пока она идет, им нечего бояться за свою власть, за свои земли. О том, что революция никогда не победит, княжеские, помещичьи земли никогда не отойдут к народу, если будет продолжаться резня...

И толпа, только что готовая идти убивать, накаленная злобой, постепенно стихала, сопоставляя правду его слов с правдой своей жизни.

...Закончился этот разговор Бетала с горцами совсем неожиданно. Калмыков спросил:

— Кто поедет со мной по аулам, поможет основать братоубийство?

И, повернувшись, в упор глянул на Машу, брата убитого.

— Поедешь, Маша?

Юноша попятился. Но седобородые старики, самые почетные старики аула, ответили за него:

— Он поедет! Ты правильно решил, Бетал...

И потом долго, уважительно качая головами, смотрели вслед несколько всадникам, которые выезжали из аула бок о бок, направляясь в соседнее селение.

Так бывало не раз, не два — десятки. И каждый раз Бетал, возвращаясь во Владикавказ, приходил к Кирову, говорил:

— Разрешите доложить: поручение выполнено...

И Киров, сияя открытой своей улыбкой, бросался навстречу Беталу.

Но не только агитировать умел Бетал Калмыков.

...Несмотря на провозглашение Советской власти на Терек — в Кабарде и Балкарии, — по-прежнему в Нальчике орудовали контрреволюционеры. Надежные белогвардейские части готовы были выполнить любой приказ начальника округа Хамида Чежокова. Их-то не распропагандируешь!

...В доме, где находился со своим штабом Хамид Чежоков, расположились на ночь три белогвардейских офицера, приехавшие только что с фронта и тайно пробравшиеся в Нальчик: в России в то время уже вовсю полыхала гражданская война, генерал Деникин рвался к Северному Кавказу.

Чежоковские штабники приняли гостей с почетом. Еще бы: перед ними сидели настоящие герои, еще вчера бывшие большевистскую гольтьбу!

Чежоковские штабники прямо-таки стояли, расспрашивая фронтовиков:

— Скоро ли, скоро ли, господа, придет генерал Деникин?

— Народ ждет своих освободителей!

— Тогда уж покажем большевикам!

Приезжие офицеры поддакивали, обещали скорое освобождение, рассказывали подробности сражений. Далеко за полночь затянулась теплая встреча. А утром...

Утром эти трое вошли в кабинет к начальнику округа Хамиду Чежокову и сказали ему очень спокойно:

— Именем Советской власти...

Хамид Чежоков был не из робкого десятка. Он поинтересовался:

— Интересно, как будете меня арестовывать, господа... или кто вы там? В городе — наши части. Стоит мне только...

В дверь ворвался адъютант с перекошенным от волнения лицом.

— Господин Чежоков! — кричал он. — В город вошли большевистские войска...

И замер на полуслове, увидев наставленный на него ствол нагана. Он ошибался. В город вошли не войска. Всю ночь из дальних и ближних аулов Кабарды и Балкарии подтягивались к Нальчику вооруженные всадники. От каждого аула — по пятнадцать всадников. Утром, как раз в ту минуту, когда начальник округа демонстрировал свою невозмутимость, несколько сот вооруженных горцев окружили казармы преданных ему войск. И отборные офицерские части, не получившие приказа Чежо-

кова, арестованного в своем собственном штабе, сложили оружие перед революционным народом.

Три «белогвардейских» офицера вышли на балкон дома. На площади перед домом собрались жители Нальчика.

— Товарищи! — крикнул один из офицеров. — Позвольте поздравить вас с освобождением от власти белогвардейцев, с установлением Советской власти...

Заметив недоумение собравшихся, он засмеялся, быстро сорвал с себя белогвардейский мундир и фуражку. На балконе стоял Бетал Калмыков!

В ответ разразилась восторженная буря приветствий.

Как тут не вспомнить легендарных Котовского и Камо? Они были одной, орлиной породы! Какое самообладание нужно было иметь, чтобы вести такую игру? Любое неосторожное слово, взгляд, движение могли обернуться гибелью. Впрочем, имена Калмыкова и Камо порой можно встретить рядом не только потому, что у них был один и тот же «почерк» революционной борьбы. Бывало и такое...

В девятнадцатом году, отступая после неравных боев с белыми на Владикавказ, группа терских комиссаров уходила по горам Чечни и Ингушетии в Грузию. Стояла суровая зима. Пурга замела и без того труднопроходимые горные тропы. В иных местах ветер, наоборот, сдул весь снег, тропы обледенели. Каждый шаг не только давался с большим трудом, но и грозил смертельной опасностью.

Два всадника ехали неподалеку друг от друга. Время от времени они останавливались, передавали друг другу в руки сверток из бараньей шкуры, перевязанный башлыком. Тогда ехавшая рядом молодая женщина с тревогой и признательностью вглядывалась в их лица. Один из всадников был Бетал Калмыков, второй — Серго Орджоникидзе. Молодая женщина рядом с ними — сестра Камо, а в перевязанном башлыком Бетала свертке лежала трехмесячная племянница Камо. Белогвардейцы, конечно, уничтожили бы родственников Камо, и поэтому его боевые товарищи решили взять с собой Арусяк с маленькой дочкой.

Принимая девочку из рук Серго, Бетал вздыхал, мрачнел, крепко прижимал ее к широкой груди. И тогда все в этом маленьком отряде сочувственно отводили глаза: незадолго до этого белогвардейцы расстреляли младшего братишку Бетала вместе со стариком отцом.

На одной из круч конь Бетала засколь-

зил по льду, упал, покатился в пропасть. Вслед за конем покатился в пропасть и Калмыков с девочкой на руках. На что уж закаленные бойцы были в отряде, но и у них вырвался крик ужаса!

Бетал сумел остановиться у самого края, когда ноги его уже повисли над бездной; все эти мгновенья он прикрывал своим телом девочку от ударов об острые камни.

...Он очень устал: за последние несколько суток едва ли спал час-другой. Бои шли каждый день, а он, командир дивизии, должен был появляться на самых тяжелых, опасных участках.

С отъявленными врагами революции схватились кабардинцы и балкарцы не на жизнь, а на смерть. Генералы Шкуро, Покровский, Улагай... — знакомые, зловещие фамилии. Много бед принесут они молодой Советской республике. Путь их в глубь России будет покрыт виселицами, трупами расстрелянных, пепелищами. По выучке их войска — кадровые офицерские части, по духу — каратели, бандиты, истязатели народа. И первыми, кто встал на их пути, были бойцы-кавалеристы Кабардино-Балкарской дивизии.

Калмыков сидел в седле, разглядывал с пригорка узкую ленту дороги, тянувшуюся по откосам, то подремывал, то вновь возвращался в явь. Там, впереди, где горы расступались и небо распахивалось широкой зеленой долиной, был враг. Через несколько часов дивизия должна была перейти в наступление, очистить дорогу от противника, окружившего Владикавказ тремя колоннами — генералов Шкуро, Покровского, Улагая. Бетал еще раз осматривал место будущего сражения.

Наверное, потому, что ему дремалось, мысли приходили в голову разные...

Он думал о том, что первый полк надо будет немного придержать — всегда они вылетают преждевременно; о том, что мало, очень мало патронов, — вся надежда на клинки. С патронами у всех плохо. Серго рассказывал: когда Таманская дивизия Ковтюха брала Ставрополь, на бойца было по пять-десять патронов, столько же, сколько сейчас у кабардинцев и балкарцев. Получив боевой приказ, бойцы-таманцы дружно кричали: «Патроны! Патроны! Патроны!» И все равно шли в бой. Где их взять, патроны? Россия отрезана врагом, не известно даже, есть ли там сейчас Советская власть. А бойцы все равно бьются до конца... Серго говорил на заседании во Владикавказе в прошлом году:

— Если б мне сказали несколько лет



тому назад, что седобородые старики-кабардинцы, взявшись за оружие, заявят мне, что они не пустят на свою территорию ни одного из своих князей и помещиков и объявят им беспощадную войну, я бы усомнился в этом. Ведь вы видите, что это говорит не молодой Калмыков или Энеев, про которых могут сказать, что они напичканы **б**ольшевиками, а старики. И я вижу и утверждаю, что революция произошла в горской массе...

«...Молодой Калмыков... напичканный большевиками...» — Бетал усмехнулся: скажет же тоже Серго!

«Революция произошла в горской массе...» Теперь уж не остановишь! Это точно!

— Отдохни, Бетал! — кто-то тронул его за плечо.

Он встал, выпрямился.

— После боя!

А потом было то, что стало уже обычным: лавина всадников на бешеных конях, уничтожающий пламень клинков над головами деникинцев, их разрозненные группы, которые, отстреливаясь, впалять ухаживали на левый берег Терека. В одном лишь этом бою были разбиты два белогвардейских полка.

С. Киров, В. Калмыков и др.
Ноябрь 1920 года.

И все же силы были слишком неравны. В начале девятнадцатого года армия Деникина захватила весь Северный Кавказ. Калмыков вместе с товарищами ушел от преследования в горы.

«Донесение начальника 4-го участка начальника Нальчикского округа...» «Секретно».

«...Большевизм их (горцев. — Авт.) так охватил, так они им прониклись, что только виселица избавит их от него. Голос благоразумия у них отсутствует, действительное положение вещей не хотят видеть. Разгрому Чечни не верят. Абаевское селение находится сейчас в очень возбужденном состоянии из-за переданных слухов от Калмыкова из Ингушетии, что ингушско-чеченские отряды уже подходят к Ахлову...»

А через несколько месяцев Калмыков с товарищами уже шел по деникинским тылам, через горы Дагестана, через ущелья Чечни. Сначала их было несколько человек, потом несколько десятков... сотен... А бой-

цы все подходили и подходили. Человеческие ручейки, стекавшие со всех сторон, превратились в могучую полноводную реку. И имя этой реки было Кабардино-Балкарская Красная Армия.

Весной двадцатого года эта армия под командованием Калмыкова двинулась вперед и навсегда выкинула белогвардейцев за пределы Кабардино-Балкарии.

А о Бетале Калмыкове народ стал славать легенды и песни.

Калмыков возвращался из Владикавказа в Нальчик. Поезд прогрохотал по мосту через Малку. Вот и Прохладная. Бетал спрыгнул на влажную после дождя землю, огляделся. Тачанки не было видно. Видимо, река разлилась, задержала переправу.

Калмыков вошел в вокзал. На стене вокзала большая картина красками: смертельно раненный боец своей кровью пишет: «За социализм!» На кого-то очень похож этот красноармеец. На убитого Григория Анджиевского, пожалуй... Ох, сколько же погибло верных товарищей!

Рядом с картиной плакат РОСТА: железнодорожник у стрелки, к нему обращается трудармеец:

«Товарищ, переводи стрелку жизни на новый путь!»

Если б так просто! Р-р-раз — и все!

...В станице был большой базар. Сотни казачьих подвод, тут же местные кабардинцы, много приезжих, городских. Меняют ситец, гвозди, керосин, последнее барахло на муку. Голодные глаза — то ожесточенные, то умоляющие.

Кабардинцы увидели Калмыкова, по базару понеслось:

— Узенешь, узенешь, Бетал!

Обступили.

— Бетал, урожай гибнет! Ни железки в аулах! Косу, вилы не из чего сделать.

— Лошади не кованы, гвоздей нет...

— Ты всегда говорил, Бетал: разобьем князей, белогвардейцев — всем хорошо будет. Вот разбили — все равно плохо, ничего нет...

Он отвечал, как всегда, уверенно, спокойно. Так уверенно, так спокойно, что никто и не подумал бы о его тревоге, ставшей постоянной спутницей.

«Товарищ! Переводи стрелку жизни на новый путь...» Как? С чего начать? Вон на станции, на железнодорожных путях, стоят длинные составы. Цистерны, цистерны... Из Баку, из Грозного. Нефть. Миرونч переводит стрелку жизни на новый путь.

А здесь? Легче было идти в смертельную

атаку. Нужно много денег: на орошение, на строительство. Но еще больше нужны грамотные и преданные народу люди. Без них и с деньгами ничего не сделаешь. С шашкой наголо можно было идти в атаку и неграмотным. И шли. И отняли власть у князей. Социализм неграмотным не поднать. Но где их взять, грамотных, где? В аулах живут по законам шариата, соблюдают адат, мулла у них — главный советчик... У князей власть отняли. Было трудно. Теперь будет еще трудней — отнять власть у темноты и невежества...

...Загрохотали по булыжнику кованные колеса тачанки. Все-таки прибыла!

Калмыков вскочил на тачанку, ногой затолкал поглубже под передок «люйс» — ручной пулемет, надежного друга на тот случай, если в пути встретится банда.

— Поехали!

...Девчонку привезли связанной. Она села за седлом у отца, крупная дрожь сотрясала ее плечи, глаза зажмурены. Когда ворота учебного городка закрылись за ними, она забилась, закричала. Отец спрыгнул с коня, сказал смущенно:

— Вот, Бетал... Пришло так...

Девчонка кричала:

— Не хочу, не хочу!.. Тут русские солдаты... Попадите!.. За что? За что?

— Открой, пожалуйста, глаза, — сказал Калмыков.

— Они жребий бросали, — произнес отец. — Кому ехать? Кому жребий выпал — вешаться решили...

— Мухамед, пойдй сюда, — позвал Калмыков невысокорого, худощавого юношу, который, закатав рукава гимнастерки, копался в моторе старенького «фордзона», стоявшего неподалеку.

Юноша подошел, с удивлением глядя на связанную девчонку.

— Как ее зовут? — спросил Калмыков. — Таужен? Таужен, на минутку открой глаза, а потом можешь опять закрыть.

Девчонка чуть приподняла длинные ресницы.

— Кто перед тобой? — усмехаясь, спросил Калмыков. — Знаешь его?

Девчонка молчала, но глаза раскрывала все шире.

Юноша с досадой махнул на нее рукой.

— Совсем глупая, — сказал он презрительно. — Я думал — немножко умная. А теперь вижу — самая глупая в нашем ауле.

— Ты сам глупый! — закричала вдруг девчонка гневно и спрыгнула с коня.

— Мулла их запугал, — сказал отец. — Говорил: тут вас за русских солдат замуж выдадут, разврату предадут... В ад все пойдете...

Подбегали девушки-курсантки, со смехом повели новенькую за собой, показывать мастерские, сад, огороды...

...Это потом они станут членами правительства, секретарями обкома партии, генералами. А тогда эти мальчишки и девчонки из аулов никак не могли понять, зачем нужно умыться, зачем снимать одежду, когда ложишься в кровать. Зачем подметать полы? А тем более двор?

Калмыков приезжал, объяснял, доказывал... А однажды, рассердившись, разыскал метлу, и пораженные курсанты, столпившиеся у окон, увидели, как аккуратно, размеренно-неторопливо подметает учебный двор Бетал Калмыков — народный герой, о котором слагались легенды и песни. И тогда курсанты рванулись во двор, вырывая друг у друга метлы, ссорясь из-за ведер и тряпок, чтобы мыть, чистить, вытирать все вокруг.

Это потом мальчишки и девчонки станут докторами наук, известными поэтами, инженерами, летчиками. А тогда они объявляли голодовку, не желая есть мясо с бойни: кто знает, может, не мусульманский скот забивал, великий грех прикоснуться к такому мясу. Однажды узнали: на складе — свинина! Чтобы проверить, взломали дверь склада. Верно, свинина! Как ужаленные, бросились враспыну. Два дня отказывались от всякой еды. Трое курсантов убежали домой.

И опять Калмыков, бросив все дела, спешит в учебный городок. Опять объясняет, сердится («Брат, родной брат Хабала, вместе со всеми склад ломал!»). И думает: нет, честное слово, в атаку с клинком легче было ходить!

Через несколько дней опять ЧП. Прибежали из учебного городка, сообщили: курсантка-кабардинка Аня Маремукова попала под трактор. Бетал потемнел.

— Как же это?

Объясняют:

— Она к трактору-то даже подходить боялась, когда мотор работал. Ну, учил ее, конечно, инструктор. Наконец уговорили. Она было села, а как поехала — так бросила руль, закрыла лицо руками, трактор под откос и перевернулся...

Через несколько лет Аня Маремукова в День авиации поднимет своего инструктора по тракторному делу в воздух на самолете У-2 и, лукаво поглядев на него, заложит

такую лихую «мертвую петлю», что инструктору ничего не останется делать, кроме как закрыть лицо руками. Кто бы тогда мог подумать о таком?

Кто?

«Пройдет пять лет, и от нас потребуется для жизни еще больше знаний. Сейчас мы ездим на поездах, а тогда, быть может, мы будем летать по воздуху. Нам нужен развитый ум, нужны будут большие знания...» Это из речи Калмыкова на съезде Советов Балкарии об учебном городке. Год? 1923!

Однако мало-помалу дело налаживалось. Москва прислала опытных педагогов, помогла деньгами, обмундированием, учебниками.

Однажды Калмыкова подняли среди ночи и сказали:

— Бетал, там тебя спрашивают.

Калмыков вышел к ночным гостям. Перед ним стояли четыре девушки-горянки. Одежда их была в дорожной грязи; они так запыхались, что долго не могли произнести ни слова.

— Что случилось? — удивился Калмыков.

— В учебный... городок... — наконец выговорила одна, побойчее. — Примите...

— Так! — усмехнулся Калмыков. — А вы знаете, который час? Ночь на дворе! Очень хорошо решили, но давайте завтра утром.

— Сейчас! — сказали в один голос девушки.

— Куда же сейчас! Спят все в учебном городке...

— Нельзя нам ждать...

Заметив наконец, что девушки то и дело оглядываются настороженно по сторонам, Калмыков понял все.

— Убежали?

Те в ответ кивнули.

— Гонятся за нами, — сказала та, что побойчее. — От самого села погоня...

Бетал только руками развел: молодцы девчата!

Так они и двинулись по ночному Нальчику к учебному городку: впереди Калмыков, за ним — девчата. Бетал шел веселый, шутил. Музыкаль звучала всплывшая в памяти давняя фраза Серго Орджоникидзе: «Революция произошла в горской массе...» Теперь уж не остановишь...

В 1926 году состоялся первый выпуск учебного городка. Деревня получила подкрепление. Приехали секретари сельсовета, кооператоры, учителя. Некоторые из выпускников сели за руль трактора. Теперь от желающих учиться отбоя не было. Од-



Участники Учредительного съезда Советов Горской АССР, апрель 1921 года. Среди них: С. Киров, В. Калмыков

на за другой открывались сельскохозяйственные школы.

Бетал Калмыков переводил стрелку жизни на новый путь!

Каждую осень в ущельях Кабарды и Балкарии начинали грохотать взрывы. Приезжие тревожно вглядывались: не банда ли орудует, недобитая с гражданской войны?

Нет, это было сражение иного рода, мирная битва, хотя и не менее напряженная, чем многие из сражений гражданской войны.

Это была битва с бездорожьем. На десятках километров взрывали скалы, нависшие над пропастями, метр за метром отвоевая у гор дорогу. Вручную бурили шурфы в скалах для взрывчатки, вручную, лопатами расчищали будущую дорогу от взорванной породы.

К рекам Чегем, Баксан и Малке доставлялись железнодорожные мосты из других мест. Их разбирали там на части, подво-

зили к рекам и здесь снова собирали. Не было тогда, конечно, ни автогена, ни многотонных грузовиков, ни подъемных кранов. Транспорт? Быки, запряженные в громадные волокуши, сколоченные из бревен. Механизмы? Самодельные лебедки да кувалды, чтобы клепать фермы мостов. В два-три года были проложены сотни километров горных шоссейных дорог, замощенных камнем или покрытых гравием.

А Мало-Кабардинская оросительная система и донныне одна из самых крупных и технически совершенных на Северном Кавказе — тысяча двести километров каналов на просадочных грунтах, плотина на бурном Тереке, тоннель в хребте Арик, все вручную, без малейшей механизации, и все за четыре года — это ли не фантастично?

А одна из первых в стране гидроэлектростанций — Баксанстрой? Тогда Калмыкова иные скептики так и называли: «фантаст».

— Ты пойми, — горячился Бетал, сердито глядя на собеседника, сидевшего за письменным столом в своем огромном, как зал, кабинете. — Все сделаем сами. Ты помоги мне только с проектом...

— Поддерживать твою фантазии не имею права, — чеканил тот, за столом. —

Двадцать пять тысяч киловатт! Совершенно нереально! Двадцать пять тысяч! Для одной области? Вы не освоите и половины.

— Ты пойми, — сдержанно доказывал Калмыков. — Какое богатство лежит в горах. Золото нашли, вольфрам нашли, фабрики будем строить — откуда энергию брать? Курорты у нас — на весь мир знаменитые. Свет им нужен? В горах паровоз не тянет; видел, как поезд идет из Кисловодска в Минеральные Воды? Электропоезд нужен. Ты говоришь: двадцать пять тысяч киловатт — фантазия. Я говорю: двадцать пять тысяч — пустяк, мало...

Человек за столом засмеялся.

— На Луну ты еще не собираешься лететь, товарищ Бетал?

Калмыков встал.

— Прощай! К Сергею пойду, он поймет...

Орджоникидзе помог. Связал с академиком Винтером — сторонником использования гидроэнергетических ресурсов рек Северного Кавказа... Строительство Баксангэс началось.

А когда оно заканчивалось, оказалось: «фантастической» мощности ее и вполсилу не хватает для нужд области. Пришлось менять проект на ходу.

Сколько крови попортили Беталу такие скептики! Впрочем, иные, наоборот, доставили ему немало веселых минут.

Бетал Эдыкович хохотал до слез, слушая рассказ о скептике Цуте из селения Заюково, который не сдержал клятву аллаху. Этот Цута сказал, когда первые строители приехали на Баксанстрой:

— Дай, аллах, мне дожить до тех дней, как вы реку Баксан поднимете на гору, как она у вас будет падать с горы; до тех пор, как этот ток, или, как вы сказали, эстриство, осветит вас всех и пока этим эстриством вы будете доить коров. Я после этого не хочу ни одного дня жизни. Это сказка, о чем вы говорите...

Когда же зажглись первые лампочки от Баксангэс, Цуте напомнили: как, мол, теперь быть с твоей клятвой аллаху? Придется исполнять, иначе большой грех!

Хитрый Цута вывернулся.

— Эх, что вы говорите? Не составит ли больше греха, если при восходе в мире такого солнца, я свершу с этим свой закат?!

Секрет «фантастических» успехов Кабардино-Балкарии был несложен. Чтобы понять его, достаточно было отправиться на любую из новостроек области тех лет. Там можно было увидеть комсомольцев-курсантов учебного городка имени Ленина, шагающих на работу с флагами. Можно было

увидеть длинные ряды подвод из дальних и ближних аулов Кабарды и Балкарии, украшенные кумачовыми полотнищами и лозунгами. Можно было услышать песни и музыку, празднично гремющую среди гор. А если определить все двумя словами, то слова эти будут — великий энтузиазм. Энтузиазм людей, которые почувствовали себя хозяевами своей земли и своих судеб и которые шли строить, как шли воевать.

Негласным девизом Бетала Калмыкова было — личный пример во всем. Прокладывались ли в горах дороги, разбивали ли комсомольцы Атажукинский сад в Нальчике, шли ли работы по орошению засушливых земель или сооружался Баксанстрой — всюду Калмыков находил время копать землю вместе со всеми, дробить скалы вместе со всеми, строить плотину вместе со всеми. В одной из песен о нем поется: ночью, когда он спал, лопата лежала рядом с ним, а когда он обедал — лопата стояла перед ним, воткнутая в землю.

Бывало, он специально подгадывал приехать на стройку в дни уразы — мусульманского поста, когда правоверные не имеют права есть с восхода до заката солнца.

Но какая же работа — целый день без еды?

Калмыков приезжал гостем. Подсаживался к седобородым старикам, расспрашивал о здоровье, рассказывал новости. А потом, будто между прочим, небрежно ронял:

— Со вчерашнего дня так и не довелось перекусить...

Гость голоден! Старики кряхтели; с одной стороны, ураза — мусульманский запрет, с другой — древний восточный обычай: гость не должен остаться голоден, великий позор хозяину, допустившему такое! Хочешь не хочешь, садись вместе с гостем за стол, угощай... Пересиливало всегда уважение к гостю. Посовещавшись, покряхтев, старики садились за обеденный стол вместе с Калмыковым. Молодежь тут уж уплетала за обе щеки, не опасаясь нападок стариков.

С лопатой в руках Калмыков трудился неделями. Как только он замечал, что темпы строительства снижаются, он бросал все дела, приезжал на стройку и брался за лопату или кирку. Сейчас же слух об этом разносился по области. И спешили, спешили на стройку подводы из аулов, украшенные кумачом, переполненные людьми, готовыми сменить уставших.

Личный пример...

Когда область объявила войну болез-

ням — особенно парше и эндемическому зобу, очень распространенным раньше в этих местах, Калмыков стал наведываться в учебный городок еще чаще обычного. Едва «шкарный» по тем временам автомобиль «сомбим» — подарок Советского правительства — появлялся в воротах учебного городка, к нему со всех сторон устремлялись ребятишки.

— Дядя Бетал, меня, меня...

Калмыков внимательно разглядывал их черные и рыжие взлохмаченные волосы, отвечал улыбаясь:

— Нет, ты еще не готов. Пусть еще немного подрастут. Вот ты иди, и ты, и ты... Из каких аулов?

И «сомбим» трогался. Приезжали в аул. Бетал Эдыкович выходил из машины, здоровался с горцами. И начинался такой разговор:

— Не надумали?

Горцы, окружившие машину, вздыхали: — Боймся, Бетал. Без волос на голове можно жить, а твой аппарат — ринген совсем без головы ребятишек оставит. Так люди говорят.

— Это не люди, а враги ваши говорят, — сердился Бетал Эдыкович. — Неужели лучше такими вот ходить?

Он снимал папаху, открывая лысую голову. Парша не миновала когда-то и его, рентгенотерапия же могла помочь только в детском возрасте.

— Нет? — спрашивал Калмыков. Поворачивался к машине, звал: — Али!

Выпрыгивал из машины мальчишка — воспитанник интерната в учебном городке, сирота, в прошлом году привезенный в Нальчик из этого аула.

— Не забыли еще его? Тогда скажите: помните, каким он от вас уезжал? А теперь? Али, сними шапку!

Белозубо улыбаясь, Али сдвигал шапку с головы, подбрасывая ее вверх, торжествуя. Толпа взволнованно окружала его. Самые недоверчивые щупали его густые черные волосы. Иные спрашивали:

— Больно было?

Али отвечал:

— Не-е... Голову-то сначала отрезают, а потом уж в аппарат кладут. Чего ей... На другой день за ней приходишь — она уже с волосами...

И так хохотал при этом, что толпе становилось стыдно: мальчишка, а похоже, умней, чем многие из тех, что верили нелепым слухам.

Личный пример...

И полковника Шипшева, главаря банды,

восемь лет терроризировавшего население Кабардино-Балкарии, Бетал Калмыков брал сам.

Он был опасный и хитрый бандит, этот полковник Шипшев. Калмыкова ненавидел еще со времен гражданской войны. Действовал он обычно по ночам. Налетит с бандой, сжигает сельсовет, школу, убивает коммунистов, учителей, активистов. Не боялся появляться и днем. Отбирал у крестьян косяки коней, отары овец, сопротивляющимся — пулю в затылок. В оружии и патронах у налетчиков недостатка не было: это «добро» хранилось еще с гражданской войны.

Отряды ЧОНа, курсанты учебного городка, само население выловили не одну банду. Но полковник Шипшев был неуловим. За ночь он мог собрать и выставить отряд в несколько сот сабель.

В одном из кабардинских сел Шипшев, не успев развернуть банду, оказался в западне. Дом, в котором он находился, был окружен. Но сдаваться полковник Шипшев не думал.

Несколько часов продолжалась перестрелка. К тому времени, когда Калмыков прибыл к месту происшествия, она утихла: товарищи, руководившие операцией, размышляли, что предпринять? Чтобы ликвидировать банду, Шипшева нужно было брать живьем.

Калмыков выслушал их, подробно спросил о том, как вел огонь Шипшев, осмотрел подступы к дому. Осторожно приблизился к нему.

Из окна грохнул выстрел. Пуля просвистела возле уха; Калмыков лишь откачнулся, но не отпрыгнул. Он ждал. Но дом молчал. Тогда Калмыков неторопливо, не скрываясь, пошел к крыльцу. Он остановился возле самого окна, откуда только что прозвучал выстрел, и сказал:

— Ваша карта бита, полковник! Сдавайся!

Открылась дверь. На пороге появился широкоплечий, с суровым, хмурым лицом человек.

— Оружие! — приказал Калмыков. И Шипшев, с ненавистью глядя на Бетала Эдыковича, протянул ему свой маузер. Калмыков вынул обойму, посмотрел: так и есть — пустая, иначе сразу же последовал бы второй выстрел!

— Не хватило выдержки, полковник? — спросил он, улыбаясь. — Оставили последний патрон для себя и не удержались... Ненависть должна быть холодной, Шипшев, иначе она ослепляет...



Участники Учредительного съезда Советов Кабардинской автономной области, ноябрь 1921 года. Среди них: К. Ворошилов, С. Буденный, В. Калмыков.

...Личный пример, личное участие. Думал ли Калмыков о том, что такой принцип — лучший принцип воспитания? Вряд ли. Скорее всего он поступал так потому, что иначе поступить не мог. Такова уж была его натура, таков был его характер.

Но как много давал Беталу Эдыковичу этот принцип! Именно благодаря ему он всегда был в гуще жизни, знал по опыту о настроениях трудовых людей, об их чаяниях. Десятки самых разных проблем, порой совсем неожиданных, выдвигала перед ним народная жизнь, когда он непосредственно соприкасался с ней.

Вот одна из таких неожиданных проблем. Он ехал в далекое горное селение. День был зимний, студеный ветер так и бил в лицо. Машина то и дело обгоняла арбы, всадников с притороченными к седлу мешками. Замелькали по сторонам огромные золотисто-зеленые сосны: дорога шла через Баксанское лесничество.

«Какая красота! — восторженно думал Калмыков. — Пройдет несколько лет — превратим край в Советскую Швейцарию!..» Попросил шофера:

— Притормози...

Однако полюбоваться сосновым бором

Калмыкову не дали. Едва он вышел из машины, подъехал всадник — один из тех, кого только что обогнали они на дороге.

— Узенешь, Бетал!

— Здравствуй, Закерей! Давно тебя не видел. Что не заходишь?

Горец, давний знакомый Калмыкова по Баксанстрою, улыбался, довольный неожиданной встречи. Он стоял возле коня, коренастый, плотный, в теплой поддевке, с буркой на плечах. За ним женщина в легком платьице. Согнулась, дыханием стараясь согреть посиневшие от холода пальцы. Бетал Эдыкович глянул на нее.

— Жена? Садитесь, товарищ, в машину, вы же совсем замерзли. Подвезем.

Женщина, застеснявшись, отказалась, и Калмыков вдруг помрачнел, стал неразговорчив. Уже в машине сказал, как будто про себя:

— На коне едет... в поддевке... в бурке... Барин! А жена в одном платьице — следом. Позор!

— Обычай! — вздохнул шофер.

На первом же совещании Калмыков сказал с возмущением:

— Кому нужны эти дикие обычаи? Мне стыдно за такие обычаи, стыдно за таких «джигитов», которые в стужу, тепло одетые, на конях, заставляют жен и дочек бежать сзади в легких платьицах...

Он говорил об этом еще и еще... И не только говорил — распорядился завезти в село теплую женскую одежду, контролировал, как идет ее продажа, держал на примете тех, кто еще не купил теплые женские пальто.

Однако все это совсем не значит, что Бетал Калмыков стремился личным участием подменить людей, не доверял им. Любимой поговоркой его была такая:

— Не с кем посоветоваться? Тогда сними свою шапку, поставь перед собой — и все равно посоветуюсь!

Личным примером, личным участием в народной жизни он не подавлял, а увлекал людей на новые свершения.

Не удивительно, что он знал положение дел в каждом районе, в каждом колхозе и совхозе. Отлично знал и руководителей их. Подсказывал общественным колхозным контролерам:

— Хороший руководитель встретит вас тепло. Хороший руководитель сам захочет, чтобы вы вскрыли те недочеты, которые у него имеются, и тем самым помогли бы его колхозу... Но... имеется и такая категория работников, которые встретят вас вилами, если попытаетесь вскрыть недочеты и указать на них... Вас могут там, на местах, «подыграть». Один руководитель, который не совсем искренне хочет, чтобы все его недочеты были вскрыты, начнет излишне ухаживать за вами, кормить вас, с тем чтобы вы отяжелели и не так уж рьяно брались за выявление недочетов... Встретитесь вы на месте и с другим типом руководителя. Он не будет давать вам средств передвижения, не обеспечат вас как следует жильем и питанием, исходя из того, что... вам все это надоест и вы уедете отсюда сами... О третьей категории людей... Эта категория людей не будет с вами спорить о выявленных недочетах, но и не будет принимать мер к устранению их... И постоянно будут соглашаться, но ничего не будут делать. Такая категория людей должна привлечь ваше внимание, и вы будьте с ней настороже...

Личное участие в народной жизни определяло многое в облике Калмыкова. Он одевался очень просто: летом — френч и шаровары из легкой серой ткани, пару-

синовые сапоги; зимой — шерстяная гимнастерка и шаровары, шинель или черный полушубок с серым воротником. Одеждой дорожил: на ней видны были следы аккуратной штопки.

Однажды Калмыков проводил выездное заседание президиума исполкома в селе Чегем. Крестьяне расположились вплотную у стола, за которым сидел президиум. Заседание проходило интересно: крестьяне «подбрасывали» много острых вопросов и одновременно сами учились правильно решать их. И тут произошла заминка. Один из членов президиума вынул из кармана золотые часы и стал открывать и закрывать крышку, любуясь ее яркой полированной поверхностью. Крестьяне, забыв о деле, уставились на дорогие часы и на их владельца. Калмыков кашлянул раз другой, член президиума не понял намёка. Калмыков в упор глянул на него — опять без результата. Калмыков вынул из кармана свои часы, простые, в оправе из вороненой стали, сказал:

— Приедет в былые времена разорившийся князь в город, закусит в дешевой харчевне, а потом возле богатого ресторана встанет, в зубах ковыряет и говорит, показывая на горы: «Там моя земля!» Не будем, товарищи, им уподобляться.

Не сдержавшись, негромко добавил:

— В человеке ровно столько тщеславия, сколько в нем не хватает ума...

И наконец, увидев, что ничего не помогает, Калмыков взорвался:

— Да уберешь ли ты свою штучку!

Беталовы «уроки скромности» запомнились людям надолго, хотя они редко носили характер нравоучений. Чаще всего люди сами смеялись над своей слабостью вместе с Калмыковым.

Шел год за годом, и год от году богатела Кабардино-Балкария. На засушливых прежде землях стали получать невиданные урожаи. В короткий срок в области были созданы племенные совхозы, зерносовхозы, птицефермы, плодово-ягодные питомники, заложены многочисленные фруктовые сады. За границей закупался породистый скот. Широко развернулась геологоразведка, обнаружившая в горах много ценнейших полезных ископаемых, в том числе промышленные месторождения молибдена и вольфрама, столь необходимых стране в предвоенные годы. Неуязвимая для фашистских снарядов броня лучших советских танков обязана своим качеством, в частности, и тырнаузским вольфраму и молибдену.

Первой в стране область была награждена орденом Ленина. Сюда за опытом двинулись многочисленные делегации из соседних областей. Приезжали посмотреть на «советское чудо» и гости из-за рубежа. Поражались богатым урожаем и тучным стадам на горных пастбищах, тем, что там, в кошах для чабанов, кровати с матрацами, электрический свет, радио, а на полевых станах, в общежитиях всегда свежее чистое белье и ванны. Восхищались новыми, прекрасными, утопавшими в зелени зданиями, которыми украсился Нальчик, и агрогородами на месте старых горских селений.

Но еще больше удивляло их, что Бетал Калмыков, с именем которого связаны все эти гигантские изменения, считал, что главное — впереди!

Да, он много лет стремился к изобилию в области и все делал, чтобы оно скорее наступило. Казалось бы, изо дня в день решал сугубо хозяйственные проблемы, все силы отдавал этой цели. Цели? Нет! Только средству. Средству освободить людей от «гнета мечты о сытости»!

Почему так тянулись к нему люди?

Не было в области ни одного чабана, который не знал бы Калмыкова лично. Не раз приходилось ему при встречах в самых глухих аулах слышать радостное:

— А Чишки — помнишь? А Галашки — помнишь?

Это бойцы его отрядов вспоминали минувшие дни.

Приемная обкома никогда не пустовала. К Беталу шли колхозники и врачи, учителя и кооператоры... Кабардинцы, балкарцы — это понятно; у всех было к нему дело.

Но что заставляло, например, академиком Жолтовского и Веснина — крупнейших архитекторов страны, занятых в то время планами генеральной реконструкции Москвы, — откликнуться на просьбу Калмыкова разработать планы агрогородов и новой застройки Нальчина? Почему А. М. Горький, не раз встречавшийся с Калмыковым, называл его «мудрым кабардинцем»? Почему считали его своим другом выдающиеся деятели нашего государства — С. М. Киров, Серго Орджоникидзе, А. И. Микоян, К. Е. Ворошилов, Я. З. Рудзутак и многие, многие другие?

Потому что Бетал был революционером. В самом высоком, в самом чистом значении этого слова.

Да, он решал сугубо практические дела:

заботился об урожаях, о животноводстве, строил, сажал сады... Но всегда у него была «сверхзадача» в этой обыденной, повседневной деятельности. Когда строились на полевых станах общежития с ваннами, Калмыков, конечно, знал, что забота о людях окупится, люди своим трудом сторицей оплатят за эту заботу. Но для него и ванны, и электрический свет, и радио в кошах чабанов были маленькими ступеньками к мечте о счастливой и красивой жизни красивых людей.

Он знал, что раскрепощение женщин-горняков даст области много новых рабочих рук. Но прежде всего это раскрепощение было для Калмыкова осуществлением идеалов социализма, о которых столетия мечтали лучшие люди земли и за которые Калмыков воевал в гражданскую.

Он знал, что без образованных людей нельзя поднять народное хозяйство. Но прежде всего он думал о том, что неграмотность — пути на ногах человека.

Вот это-то постоянное, ощущаемое всеми присутствие революционной идейности в повседневном, когда любое дело подчинялось высоким идеалам, высокой мечте, и создавало вокруг Бетала особую атмосферу, в которой молодежи сердца.

Одним из самых тяжелых преступлений он считал равнодушие к человеку и предлагал привлекать к ответственности за равнодушие. Он приходил в горестное и яростное недоумение, если видел, что люди на улице проходят мимо оборванного, голодного мальчишки-беспризорника или немощной, нуждающейся в помощи старухи.

Он устраивал съезды стариков и старух, совещания матерей, объявлял соревнования колхозов за лучшую заботу о детях и немощных стариках.

Более тридцати лет минуло со дня гибели Бетала Калмыкова. Бегают по улицам Нальчика мальчишки и девочки, для которых имя его только история. И непонятно им подчас, почему их деды и бабушки нередко приходят к памятнику, установленному на площади, смотрят на бронзового Бетала, не вытирая слез.

Он очень любил Лермонтова и нередко говорил, глядя на его бронзовый бюст в Пятигорске, что над Кавказом витает бессмертный, гордый дух великого поэта.

Над Кавказом витает бессмертный дух и другого замечательного человека, так много сделавшего для своего народа.

Он не был поэтом. Он был революционером. Но большие поэты и большие революционеры — братья!



М. Н. Волконская в Чите. На стене — портрет отца. Н. Н. Раевского. Акварель
Н. А. Бестужева, 1828. Хранится во Всесоюзном музее А. С. Пушкина.

Н. Караш,

Ленинград

Декабрист С. Г. Волконский на вольном поселении

Посвящается памяти С. Б. Окуня

В начале 1835 года в Петербурге вновь был поднят вопрос о дальнейшей судьбе сосланного в Сибирь декабриста С. Г. Волконского. Произошло это в связи с тем, что при вскрытии духовного завещания скончавшейся княгини Александры Николаевны Волконской (матери Сергея Григорьевича) обнаружена была адресованная царю просьба последней о смягчении наказания сыну. Княгиня просила разрешить ему жить под надзором в своем имении. По поводу этой просьбы один из главных палачей декабристов, военный министр граф А. И. Чернышев, писал шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу, что царь не счел возможным удовлетворить желание покойной, однако из уважения к ее памяти распорядился «государственного преступника Сергея Волконского освободить ныне же от каторжной работы, обратив его в Сибирь на поселение»¹.

Так Сергей Григорьевич Волконский после десятилетнего пребывания в Сибири из ссыльнокаторжного превратился в ссыльно-поселенца. Окончательно он был закреплен в этом новом своем положении царским указом от 14 декабря 1835 года, когда Николай I в честь десятилетия своего царствования повелел освободить декабристов от каторжной работы.

Петровская тюрьма, последнее место заключения многих декабристов, постепенно пуста. Уехал из Петровска и доктор Ф. Б. Вольф, в течение десяти лет оказывавший декабристам посильную медицинскую помощь. Отъезд Вольфа заставил Марию Николаевну Волконскую, боявшуюся оставить двух маленьких детей и больного мужа без врачебного надзора, обратиться в конце 1835 года к А. Х. Бенкендорфу с просьбойхлопотать у царя раз-

решение поселиться неподалеку от Вольфа, который жил теперь в небольшом местечке Урике под Иркутском.

Надеясь на положительный ответ из Петербурга, Волконские начали готовиться к переезду.

Однако ответ им пришлось ждать очень долго. Весна 1836 года была уже в полном разгаре, наступало самое удобное время для переездов, но ответа из Петербурга все не было. Это вызывало удивление даже сибирских властей. «Распределение бывшим вашим узникам, к удивлению моему, еще не получено, но, вероятно, скоро последует»², — читаем мы в письме от 21 мая 1836 года генерал-губернатора Восточной Сибири С. Б. Броневского С. Р. Лепарскому, коменданту Нерчинских, а затем Читинского и Петровского острогов, где находилось в заключении большинство декабристов.

В конце июля декабристы, один за другим покидавшие Петровск, устроили прощальный обед. Обед состоялся у Волконских, где особенно любили бывать его друзья. «Тут собралась большая часть товарищей наших, — вспоминает декабрист Н. В. Басаргин. — С теми же, которые не могли присутствовать, мы простились в казематах. Шумно и грустно провели мы последние часы. Тостов было много. Наконец мы крепко, со слезами обнялись друг с другом, простились со всеми и, разместившись в экипажи, оставили Петровск»³.

Волконские смогли покинуть Петровский завод лишь в начале 1837 года.

26 марта 1837 года Волконский прибыл в Иркутск и, как видно из донесения Броневского Бенкендорфу, в тот же день был «отправлен и водворен на место жительства».

Вскоре по прибытии в Урик Волконские начали строить себе дом. Пока же, за неимением жилья, они поселились у декабриста И. В. Поджио, жившего в восьми верстах от Урика, в живописном селении Усть-Куде. Здесь, в Усть-Куде, М. Н. Волконская с детьми позже стала проводить каждое лето, так как Урик был лишен растительности и был местом «довольно унылым», как пишет о нем Волконская.

Несколько месяцев спустя дом Волконских был готов. Ближайшими соседями их оказались многие друзья по изгнанию. Кроме них и Муравьевых, в Урике жили Вольф и М. С. Лунин. В Усть-Куде, неподалеку от братьев Поджио, поселился П. А. Муханов. В 30 верстах, в селении

Оёк, — С. П. Трубецкой и Ф. Ф. Вадковский.

Расстояние, отделявшее Волконского от друзей, не являлось преградой для довольно частых встреч. Хотя переезды из одной волости в другую официально были запрещены, но эти ограничения не особенно строго соблюдались. Вообще жизнь в Урике во многом отличалась от жизни в Петровском заводе. Как пишет Мария Николаевна, «свобода на поселении ограничивалась: для мужчин — правом гулять и охотиться в окрестностях, а дамы могли ездить в город для своих покупок»⁴.

Ссылные вступают в тесный контакт с внешним миром, и прежде всего с местным населением.

«С. Г. Волконский был ближе всех к рабочему люду; это была, можно сказать, его слабость; он входил в подробности занятий крестьян, их хозяйства и даже семейной жизни; они обращались к нему за советом, за медицинскими пособиями, за содействием»⁵, — так пишет об уриковском периоде жизни декабриста его сын Михаил.

Здесь, в Урике, для Сергея Григорьевича открылись более широкие возможности заниматься любимым делом — земледелием. Теперь у него не маленький клочок земли, как, например, в Петровске, а участок в 15 десятин, которыми в 1835 году по распоряжению Николая наделались сосланные декабристы. Более того, в 1840 году Волконский обратился к губернатору Восточной Сибири с просьбой дать ему на расчитку под пашню на 40 лет еще 55 десятин пустопорожней земли. Это был совершенно беспрецедентный случай: государственный преступник просил землю!

Бенкендорф, к которому, в конце концов, попала просьба декабриста, представил в Комитет министров докладную записку. Бенкендорфа, положительно отнесшегося к этой просьбе, поддержал министр государственных имуществ П. Д. Киселев. Смысл принятого по этому поводу постановления был следующим: отныне поселенцы из государственных преступников получали право, помимо обязательного надела в 15 десятин, пользоваться в течение 40 лет расчищенными ими землями. Однако из опасения, как бы это не открыло для ссылных пути к излишнему благополучию, несовместимому с их положением, Комитет министров ограничил дополнительный размер земли 15 десятинами и строго в той волости, где они поселены.

С большим энтузиазмом взялся Волкон-

ский за обработку своей земли. «Волконский в гроб занимается хлебопашеством»⁶, — сообщает Вадковский И. И. Пущину в сентябре 1842 года.

Как известно, большинство ссыльных декабристов занималось сельским хозяйством. Они поднимали целину, внедряли новые для Сибири культуры, как, например, дыни, арбузы, огурцы.

Занятия такого рода скрашивали однообразную, серую жизнь и приносили моральное удовлетворение.

Но было и еще одно существенное обстоятельство возможно, даже решающее, в том, что С. Г. Волконский так интенсивно занялся сельскохозяйственным трудом. Дело в том, что все глубже становилась пропасть между ним и его родными, nasledовавшими его имущество. Помощь, которую вынужден был принимать от них декабрист, все сильнее угнетала его. И он пытается в меру своих ограниченных возможностей хоть как-то сохранить свою независимость. «Сам живу-поживаю помаленьку, — пишет он Пущину, — занимаюсь вопреки вам хлебопашеством и счеты свои свожу с барышком, трачу на прихоти, на баловство детям свою трудовую копейку без цензуры и упреков, тяжельно было в мои леты быть под опекою»⁷.

Как же обстояли имущественные дела Волконского и чем вызвано было подобное его отношение к своей многочисленной родне?

Этот вопрос самым непосредственным образом связан с историей его завещания.

Как известно, Верховный уголовный суд, окончательно решавший судьбу декабристов, установил одиннадцать разрядов для определения степени их вины. Участие «в умысле на цареубийство» явилось основным обвинением, в результате которого С. Волконский оказался в числе «преступников», осужденных по I разряду, на смерть. «Итак, большинством голосов приговаривается князь Волконский к смертной казни», — записано в журнале заседаний Верховного уголовного суда от 2 июля 1826 года⁸.

Однако Николай I решил использовать представившуюся ему возможность «проявить в широких размерах свое милосердие», как с иронией писал А. Герцен. Указом императора от 10 июля 1826 года меры наказания по некоторым разрядам были изменены. Наиболее существенные изменения касались I разряда: для осужденных по этому разряду смертная казнь была заменена каторгой. Особые изменения каса-

лись входивших в первый разряд Матвея Муравьева-Апостола, А. А. Бестужева, Никиты Муравьева, В. К. Кюхельбекера, И. Якушкина и С. Г. Волконского: им смертная казнь заменялась 20-летней каторгой с последующим поселением. Этот приговор означал политическую смерть, то есть лишение чинов, дворянского и княжеского достоинства со всеми вытекающими из этого последствиями, в том числе и потерей права владеть своим имуществом.

Поэтому еще в мае 1826 года, находясь в крепости, Волконский собственноручно пишет духовное завещание⁹. Оговорив, что «при разделе имения» «должно означить две отдельные части»: удел жене и удел сыну, Волконский определял Марии Николаевне «в вечное владение» Новорепьевское имение, находящееся в Таврической губернии, Одесский хутор «со всем в нем устроенном и... дворовыми людьми» и все движимое имущество, находящееся при хуторе и при одесском доме. Кроме того, Волконский предоставил жене «право на наделение из родового имения причитающейся седьмой части оного».

Родовое имение Кирушанское, находившееся в Нижегородской губернии Балахнинского уезда, с 1560 душами крепостных декабрист передавал своему маленькому сыну Николаю. Все остальные имения, вернее части родового имения, распределялись между его братьями и сестрой.

6 мая С. Г. Волконский приписал к этому завещанию дополнительные пункты. Один из них содержал просьбу к наследникам и опекунам его малолетнего сына отпустить на волю желающих выкупиться крестьян. Как и завещание, эти пункты были засвидетельствованы генерал-адъютантом Бенкендорфом.

20 ноября 1826 года брат Марии Николаевны Н. Н. Раевский писал из Петербурга: «Государь утвердил духовную Волконского»¹⁰.

10 ноября 1826 года министр юстиции граф Д. И. Лобанов-Ростовский предложил Раевскому позаботиться о назначении к малолетнему сыну декабриста опекунов.

Дело с опекуном затянулось, и только в марте 1827 года состоялось постановление Балахнинской дворянской опеки о назначении опекунами в помощь матери маленького князя Волконского брата декабриста князя Н. Г. Репнина и отца Марии Николаевны Н. Н. Раевского.

18 апреля 1827 года Правительствующий сенат окончательно подтвердил вступ-

ление в силу в соответствии с высочайшим повелением завещания декабриста.

Однако 17 января 1828 года сын Сергея Григорьевича Волконского, не дожив до трех лет, умирает.

Смерть сына, по существу, не уменьшала имущественных прав Марии Николаевны, оговоренных в завещании ее мужа. Согласно завещанию имущество, оставшееся после первенца С. Г. Волконского, должно было перейти к его дядям по отцовской линии (князю Н. Г. Репнину и Никите Волконскому).

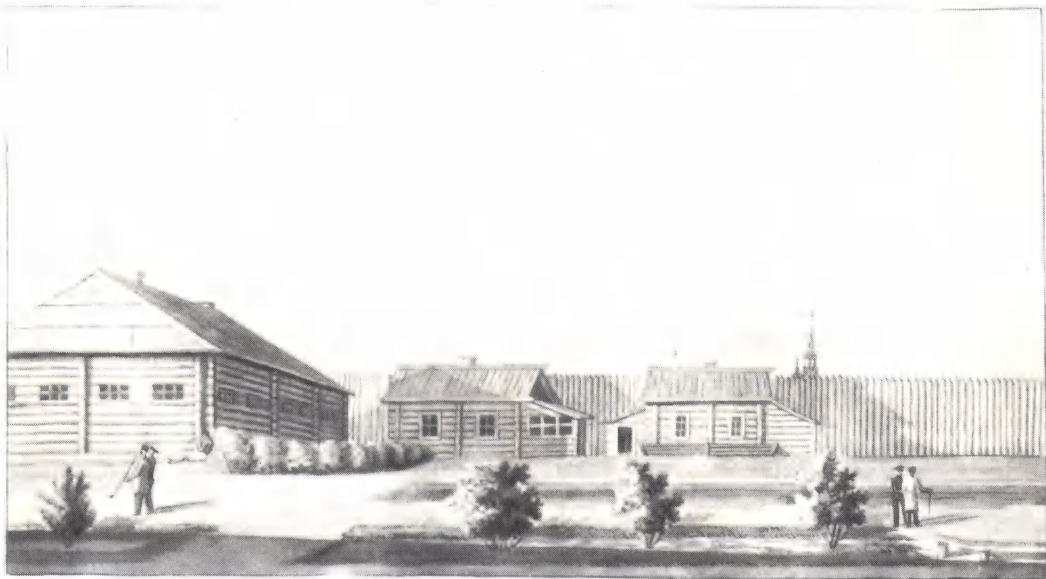
Однако опекун и дед умершего наследника старик Раевский 9 февраля 1828 года обращается с довольно странной просьбой к Бенкендорфу — представить на заключение императору записку о правах княгини М. Н. Волконской на оставшееся после смерти мальчика имение.

Главное, что волновало Раевского, — это вопрос о том, не теряла ли его дочь в связи со смертью сына своего права на седьмую часть родового имения.

Казалось бы, все сомнения по этому поводу не имели под собой почвы. Достаточно было внимательно прочесть завещание, чтобы убедиться, что автор его предусмотрел все возможные обстоятельства, могущие повлиять на дальнейшую судьбу завещания. Более того, С. Г. Волконский внес в завещание пункт о выделении жене седьмой части своего родового имения, хотя в этом распоряжении не было необходимости, так как и без него Мария Николаевна по закону имела право на эту часть.

Тем не менее началась длительная и довольно беспредметная переписка Раевского с министерством юстиции. Наконец в мае старик получил от министра юстиции окончательный ответ, который заключался в том, что по существующему законодательству жена дворянина, подвергавшегося за преступление политической смерти, и не принимавшая участия в этом преступлении, не теряет своих прав и может обратиться в надлежащее присутственное место с требованием о выделении ей положенной части родового имения мужа и что смерть сына не отменяла этого ее права.

Вопрос о наследстве С. Г. Волконского был поднят еще раз уже после смерти старика Раевского, когда в ноябре 1832 года мать декабриста княгиня А. Н. Волконская обратилась с письмом к Николаю. Изложив вкратце основные пункты завещания, княгиня писала: «По кончине... внука моего дети мои... будучи законными наследниками... родового имения, завагорассудили



Останок Волконского в Костанайском уезде
Акварель Н. А. Бестужева

оставить оное в пожизненном владении у супруги брата их Сергея, разделяющей с ним судьбу его... После сего дети, сохраняя те же чувствования о неприкосновенности к имению брата их в продолжение жизни жены его, а сия, принимая то с благодарностью, поручили мне все трое распоряжение означенным имением и исполнение всех мер в помянутой доверенности заключающихся»¹¹.

Стремясь «ускорить развязку долговых дел, отягощающих имение сына», старая княгиня просила царя назначить в помощь ей попечителей.

Однако эта просьба об учреждении попечительства была вызвана не только тем, что старухе Волконской трудно было управиться с возложенными на нее обязанностями. Дело в том, что доверенность, которую прислала ей из Сибири жена ее сына, ни одна инстанция не решалась засвидетельствовать, так как ни в одной инстанции, кроме самых высших, не имелось точных указаний относительно прав жен государственных преступников. Николай

Акварель Н. А. Бестужева. ИРЛИ АН СССР

обычно решал вопрос об имущественных правах жен, уехавших за своими мужьями-декабристами в Сибирь, в связи с отдельными возникающими прецедентами. Цитированное выше письмо княгини Волконской вызвало пересмотр всех положений о правах жен ссыльнокаторжных.

26 ноября 1832 года Бенкендорф препровождает министру юстиции Д. В. Дашкову письмо А. Н. Волконской вместе с запросом о том, «имеет ли жена государственного преступника С. Волконского право распоряжаться имением, доставшимся ей после смерти ее сына»¹². Дашков, ознакомившись с письмом Бенкендорфа, высказал мнение, что юридически М. Н. Волконская имеет право на это имение. Однако Дашков сомневался, может ли Мария Николаевна вступить в права наследницы, по-

сколько она «разделяет добровольно участь своего мужа», хотя «для разрешения сего обстоятельства... прямого узаконения не имеется».

Ссылаясь на «Правила», срочно установленные для жен декабристов, когда они одна за другой отправились за своими мужьями, министр юстиции отметил, «что в сих правилах не сказано, чтобы они безвозвратно теряли права своего прежнего состояния и лишались принадлежащей им собственности».

Кроме того, имелся прецедент: жене В. Л. Давыдова лично царем разрешено было владеть наследством.

Окончательное мнение Дашкова сводилось к тому, что княгиня Волконская имела право «как не лишенная прав наследства и распоряжения собственностью, располагать и всеми доходами к ней на законном основании имениями посредством способов законом дозволенных».

Ответ Дашкова был представлен Бенкендорфом на рассмотрение Николаю, который «усмотрел из оного, что в отношении прав жен государственных преступников не существует узаконений, и поручил Бенкендорфу отослать все бумаги Дашкову, дабы тот приготовил Комитету министров обстоятельный доклад о правах жен государственных преступников». В отношении же Волконской царь не дал отрицательного ответа, но повелел при составлении ответа ей «не терять из виду условий, на основании которых позволено было женам следовать за мужьями»¹³.

Еще раз внимательно изучив документы о правах жен декабристов, Дашков отослал в Комитет министров «Записку», в которой высказал возможность считать, что жены сосланных, хотя и признаются женами ссыльнокаторжных, но не лишаются «права наследовать доходящую им собственностью и вообще располагать причитающимися им имениями через доверенных лиц».

Комитет утвердил «Записку» министра юстиции и, кроме того, принял решение об учреждении попечительства по просьбе княгини Волконской.

Казалось бы, вопрос о правах жен декабристов наконец был разрешен. Но последнее слово все же в этом вопросе осталось за Николаем, который решил его несколько иначе. 18 апреля на заседании Комитета министров было объявлено, что государь император распорядился не лишать

«права наследовать доходящей им (женам. — Н. К.) собственностью и вообще располагать своим имением через доверенных лиц», но с весьма существенной оговоркой. Эта оговорка заключалась в следующем: «...Во все время продолжения жизни мужей нужная на содержание жене часть из доходов прежде принадлежавшего им или вновь наследственного имения должна быть выдаваема не им непосредственно, а в распоряжение того начальства, которому поручено заведование государственными преступниками, для употребления в пользу их по правилам, какие на сие предписаны быть могут»¹⁴.

Первоначально, когда Волконские жили еще в Нерчинских рудниках, Мария Николаевна получала на содержание 10 тысяч рублей, сумма весьма приличная для поддержания более или менее сносной жизни в условиях Сибири.

Однако свободно этими деньгами Волконская не могла распоряжаться: они хранились у начальника тюрьмы и выдавались ограниченными суммами по разрешению Лепарского.

С переводом Волконского на поселение содержание по неизвестным причинам было снижено до 2 тысяч рублей. Очевидно, власти решили, что занятие Волконского сельским хозяйством на поселении компенсирует сокращение бюджета. Однако материальное положение Волконских стало значительно тяжелее, и Мария Николаевна вынуждена была в феврале 1838 года обратиться к генерал-губернатору В. Я. Руперту с просьбой увеличить ее содержание с 2 до 4 тысяч рублей. Руперт, отсылая просьбу Волконской Бенкендорфу, добавил, что по причине «дороговизны» на все жизненные потребности в окрестностях Иркутска и даже в самом городе Волконская не имеет возможности «уделять из сей суммы на воспитание двух детей своих».

Ответ не заставил себя ждать. Бенкендорф сообщил, что царь «соизволил высочайше отозваться, что учителей в Сибири не имеется, а потому воспитание детей не требует издержек, а одного попечения родителей»¹⁵.

Год спустя Волконская повторила свою просьбу, которая и на этот раз была столь же решительно отклонена.

Между тем жить становилось все труднее. Не приходилось особенно рассчитывать и на помощь родственников. Все больше декабрист убеждался в том, что родные его не особенно утруждали себя попытками как-то облегчить жизнь его семьи. Бо-

лее того, очевидно, были у Волконского и все основания подозревать кое-кого из своих родственников не в совсем этических поступках касательно наследства, полученного от него Марией Николаевной. Прямое указание на это мы встречаем в письме П. А. Муханова к близкому другу Волконского И. И. Пущину от 7 января 1843 года. Муханов, сообщая Пущину, жившему в Туринске, о всех новостях уриковской жизни, пишет: «Мой друг Сергей Григорьевич, который в мое сердце переливает все горести своего, убедился, что вся сиятельная родня его прибрала к рукам его наследство, но пишет буллы к ним; жаль, что не плюнет на их сиятельства»¹⁶. Последняя фраза приоткрывает подоплеку всех недоразумений, возникших между декабристом и его родными. В этом плане у Волконского были все основания обижаться на свою родню. Однако природная деликатность и чувство благодарности за те крохи внимания и помощи, которые шли от родных, не позволяли Волконскому высказывать свое недовольство. «Буллы», о которых пишет Муханов, — это редкие письма декабриста родным, вызванные заботой и тревогой не за свои интересы, а за интересы жены и особенно детей. Больше всего его задевало невнимание к последним, отсутствие стремления устроить как-то их будущее. «Мне очень горько было видеть, — писал Волконский своему племяннику Василию Николаевичу Репнину, — что, несмотря на несомненную любовь к моим родственникам, никто до сих пор не сделал вызова — присоединить детей моих к семейству нашему, от которого они отчуждены моей ссылкой. До сих пор родственники не употребили ни малейшего влияния своего для пользы их»¹⁷. Недоумение декабриста по этому поводу вполне оправдано. За многие годы его пребывания в ссылке только однажды (не считая предсмертной просьбы матери) была сделана попытка вызвать Волконского с семьей из Сибири. 8 мая 1839 года брат Марии Николаевны генерал-лейтенант Н. Н. Раевский обратился к Бенкендорфу с письмом следующего содержания. Напоминая Бенкендорфу об обещании его «при удобном случае» ходатайствовать о сестре, Раевский писал: «Единственное желание мое состояло и состоит в том, чтобы всемилостивейше дозволено было: определить солдатом в линейный батальон или поселить на восточном берегу Кавказа мужа сестры моей с семейством. Та же Сибирь для него, но это

сблизит сестру мою с родными и детям ее доставит лучшую будущность». Как аргумент в защиту своей просьбы Раевский выдвигает предположение, что преклонный возраст Волконского залог того, что «недолго будет он пользоваться переменою мест»¹⁸.

Однако Бенкендорф, ссылаясь на то, что сам Волконский не изъявлял желания вступить на военную службу, отказал доставить до сведения царя просьбу Раевского. Фельдмаршалу М. С. Воронцову, поддержавшему просьбу Раевского (под его началом служил на Кавказе Н. Раевский), Бенкендорф ответил: «Я считаю невозможным представлять о сем государю императору потому, что подобная милость не была оказана никому из осужденных вместе с Волконским лиц, и переселение из Сибири его, Волконского, который находится в числе главных политических преступников, на Кавказ немедленно подало бы повод другим... просить себе такого же снисхождения»¹⁹.

Ни малейших попыток помочь Волконским не предпринимала и любимая сестра декабриста Софья Григорьевна, что было уж совсем удивительным, ибо, как жена фельдмаршала и министра двора, она располагала широкими возможностями. Особой же материальной поддержки от нее, известной своей скупостью, никто и не ожидал. Книги, вино, одежда, предметы рукоделия — вот основное, что посылалось изредка из Петербурга и Москвы в Сибирь.

В многочисленном эпистолярном наследстве Волконских встречаются иногда намеки на то, что Софья Григорьевна в вопросе наследства Сергея Григорьевича вела себя не совсем этично, желая получить то, что ей не принадлежит. Декабрист, будучи в высшей степени деликатным человеком и дорожа семейными узами, редко касался в письмах этого вопроса. Тем больший интерес для нас в этом плане приобретает относящееся к 1863 году письмо его к дочери, так как оно частично раскрывает взаимоотношения брата с сестрой. Он сообщает дочери Елене (Нелли), что отказался от 2000 рублей, «ссуженных» сестрой на его поездку за границу. Здесь же он сообщает и о своем отказе от пожизненного «пенсiona», назначенного ему сестрой. «В этом я действовал из самоуважения к тому, что я ей уже не раз высказывал насчет захвата ею то, что по совести я до сих пор что у меня захватом»²⁰.

Значительно более сложными были отношения с братом Марии Николаевны —



М. Н. Волконская с
сыном Николаем.
Портрет Соколова, 1826.
Хранится во Всесоюзном
музее А. С. Пушкина.

А. Н. Раевским. Как доверенное лицо М. Н. Волконской он был связан с ней и ее мужем деловыми отношениями.

По всей очевидности, он один из всех делал все возможное, чтобы улучшить материальные дела семьи сестры. Это признавал и сам декабрист, когда осенью 1843 года писал И. И. Пущину: «В семейных, родственных моих делах — добрых желаний много, а на деле чистый минус; не виню чувства, а особенное ослепление положением дел братьев моих. Громкие обещания кончатся, как я полагаю, кой-какими крохами кой-как вырученными Александром Николаевичем (братом М. Н. Волконской. — **Н. К.**), и благодаря его деятельности, и настойчивости, и бережливости Мишеньке (сыну. — **Н. К.**) кой-что копится денег и теперь превышает сотню»²¹.

Однако, питая к Волконскому самую острую неприязнь за те беды, которые, по его мнению, тот причинил сестре, Раевский, очевидно, не считал даже нужным как-то скрывать свои чувства.

Кроме того, ведя дела Марии Николаевны, он не особенно считался с ее пожеланиями и распоряжениями, чем задевал Волконского. Так, например, он пренебрег распоряжением Марии Николаевны, которое заключалось в том, что она отдавала взрослой уже дочери два имени: Новорепьевку в Таврической губернии и Воронежское, и намеренно продолжал доход с Новорепьевки высылать на имя Марии Николаевны. Это вызвало возражение Волконского, который в специальной «Записке», адресованной жене и содержащей его соображение относительно действий А. Н. Раевского, писал: «Доходы с Новорепьевки должны принадлежать сполна дочери с начала 1852 года... Отделение доходов с Новорепьевки в пользу твою — выйдет, что этот надел есть только мечтательность. Я даже полагаю, что нечестно дать дочери акты на имение, а доход брать себе. Поэтому я настоятельно прошу, чтобы весь надел, назначенный дочери был окончательно за ней закреплен... и чтоб управление всем ее наделом было предоставлено ей непосредственно и на ее благоусмотрение»²².

Из этой «Записки» мы узнаем также о том, что Михаил Волконский получил от Раевского письмо, датированное 25 февраля 1852 года (письмо обнаружить, к сожалению, не удалось), весь тон которого, по мнению С. Г. Волконского, был оскорбителен «для родителей». Как видно из содержащегося в «Записке» критического

разбора письма Волконского глубоко задевало то, что А. Н. Раевский самолично, не принимая во внимание пожеланий сестры, распоряжался имениями и распределением доходов с них.

Более того, очевидно, Раевский, также без всякого на то согласия Марии Николаевны, выделял Михаилу Волконскому лично какую-то долю доходов. Этот акт вызвал горячее неодобрение Волконского, который по этому поводу заметил, что «А. Н. (Раевскому. — **Н. К.**) не следовало бы давать сыну нашему статью в независимое отношение к родителям и уверять его, что он всем будущим своим состоянием обязан единственно попечению А. Н., устрояя совершенно всех родственников, которые добровольно передали ему имение». Волконский протестовал против того, чтобы делать сына материально независимым от родителей. «Я остаюсь при моем мнении, что вклад капитала не на личное имя сына есть необходимое обуздание могущих встретиться взрыва страстей и необходимая гарантия его собственных выгод... Я отдаю полную справедливость его чувствам, его уму, его примерному поведению, но не менее того остаюсь при мнении — необходимой предосторожности»²³.

«Записка» проникнута глубокой заботой об интересах детей и содержит ряд практических советов по упорядочению дел, которые, по мнению автора, должны были обеспечить будущее детей.

Свою «Записку» С. Г. Волконский считал ответом на письмо А. Н. Раевского от 25 февраля 1852 года и просил Марию Николаевну довести его мнения, изложенные в ней, до сведения своих родных.

У нас не имеется никаких оснований упрекнуть А. Н. Раевского, при всей его непримиримости, граничащей с враждебностью к Волконскому, в попытке извлечь из своих обязанностей как доверенного лица какую-то материальную выгоду. К сожалению, мы не можем того же сказать о некоторых других родных Волконского и прежде всего о его племяннике В. Н. Репнине. Из письма к нему декабриста, датированного 9 мая 1855 года, полного упреков, мы узнаем о весьма неблагоприятном поступке В. Н. Репнина. Суть дела состоит в следующем. А. Н. Раевский когда-то выдал В. Н. Репнину акт на владение бывшим Волконского, ныне Марии Николаевны, Нижегородским имением. Эта сделка не была оформлена юридически, а лишь на основании частной расписки Репнина, в которой он обязывался заклю-

чить в ближайшее время официально арендный акт и выплатить деньги за аренду. Как известно, его дядя Никита Григорьевич Волконский и отец Николай Григорьевич Репнин отказались от причитающихся им наделов после смерти первенца Сергея Григорьевича в пользу семьи декабриста. Дети их также одобрили этот акт. В. Н. Репнин же не только забрал добровольно отданную покойным отцом семье декабриста часть, но незаконно присвоил себе и наделы Марии Николаевны, ее детей и своего двоюродного брата — Александра Никитовича Волконского. Кроме того, он не уплатил за аренду имения на основании того, что сделка с А. Н. Раевским не носила официального характера, когда же представилась возможность юридически оформить аренду, он избежал ее.

Этот в высшей степени некрасивый поступок Репнина и вынудил Сергея Григорьевича написать своему племяннику резкое письмо. «Изложить вам всю черноту действий ваших во вред моего семейства для меня есть долг отцовский... Это тризна от меня — над могилою праведного отца вашего, — обращается Волконский к Репнину. — Вы... вступили в полное владение бывшей моей части Нижегородского имения со второй половины 1852 года, и вот почти три года как вы пользуетесь доходами оно, а нам не высылаете ни копейки... Вы... имеете право перед законом — но не перед совестью владеть наделом вашим из бывшего моего Нижегородского имения; т. е. по праву благовидной конфискации. Но по какому праву вы похищаете у детей моих надел племянника моего Александра Никитича, добросовестно им в пользу их пожертвованного? По какому праву вы похищаете у жены моей ее вдовий надел?»²⁴

Одновременно с этим Волконский отправил письма матери В. Н. Репнина и второму своему племяннику, призывая обоих образумить зарвавшегося родственника.

Этим далеко не исчерпывались все недоумения, возникшие между семьей декабриста и его родными. Вполне естественно, что Волконский, хоть и вынужден был принимать какую-то помощь от них, весьма тяготился ею.

Вот почему декабрист, которому вследствие свойственной ему деликатности очень не просто было улаживать с родными все материальные вопросы, старался всеми силами раздобыть на месте ссылки средства к существованию, чтобы семья его, дети не знали нужды.

К детям декабрист питал любовь на протяжении всей своей жизни. В каждом письме к Пушину, крестному отцу Михаила, он с гордостью сообщает об успехах сына и очарованию дочери. Так, в письме от 12 февраля 1841 года он пишет: «Оба милы, оба Вас ждут, Миша прилежно учится. Жена, Луния, Поджио Александр педагоги. Ф. В. Цимбалист учит играть на клавикордах, а я аз грешный в виде Цифиркина»²⁵.

Немало тревожных часов пережил Волконский весной 1842 года, когда стало известно, что царь по случаю бракосочетания наследника распорядился рассмотреть вопрос о родившихся в Сибири детях декабристов, лишенных Верховным уголовным судом дворянского достоинства. Вызвавший по этому поводу к себе Волконского, Муравьева и Трубецкого генерал-губернатор Руперт 16 апреля объявил им высочайшую волю о возможности восстановления их детей в правах дворянства при условии окончания мальчиками кадетских корпусов, девочками казенных учебных заведений, поступить в которые они могли, только отказавшись от фамилий своих отцов. На размышление декабристам было дано 48 часов.

От Волконского Руперт 18 апреля получил письменный отказ следующего содержания: «Частые и сильные болезни сына моего совершенно расстроили его здоровье. В положении сем не только предназначение к военной службе, но и самое путешествие его из Сибири в Россию будет для него, несомненно, пагубным. Дочь моя еще ребенок, и что сможет ей заменить заботливое попечение матери? Существование моей жены так совершенно слито с благополучием и жизнью ее детей, что одна лишь мысль о возможности разлуки уже сделалась для нее мучением. Должны ли дети вступить в свет с горькою уверенностью, что отец их купил им житейские выгоды новыми страданиями и самую жизнь их матери?» Волконский просил не лишать детей «имени, переданного им святостью брака родителей, имени, которое изгладить в их памяти можно только с уничтожением сыновней в них любви»²⁶.

Аналогичные письменные отказы последовали от Трубецкого и Муравьева²⁷.

В своем письме Бенкендорфу Руперт вынужден был с величайшим прискорбием сообщить о том, что «то бесконечное снисхождение и высокую... милость, которые угодно было явить» царю, «не нашли ни малейшего отголоска в сердцах этих холодных, закоренелых эгоистов»²⁸.

Не находя тепла у своих многочисленных родственников, Волконский тем больше дорожил дружбой и добрыми отношениями с товарищами по борьбе и изгнанию.

«Я мало верю родственным светским связям, тюремное наше семейство совестливее», — пишет он Пушкину 25 мая 1841 года. И несколькими строками ниже повторяет эту мысль: «Семья наша тюремная, хотя велика, но дружна, это не по-светски, честь нам»²⁹.

О чувстве спаянности и дружбы, не разделенной расстояниями, говорят и следующие строки его более раннего письма к Пушкину: «Письмо от вас есть здесь общая радость, и куда ни пустите вы грамоту, в Урик ли, в Оёк ли, или к другим нашим товарищам соседям, — она пересылается, каждый торопится прочесть ее и узнать, каков ваш гумор, как лучший отпечаток вашего физического быта, подверженного бесперывной недуге. Об чувствах и спорах нет — всякий считает их постоянным, лучшим своим добром». И далее: «Вы знаете, что я весь душой друзьям своим, и всякое, им случившееся, близко моему сердцу»³⁰.

Рассказы о товарищах-декабристах, составляющие основное содержание его писем, полны искренней заинтересованности в их делах, душевной теплоты и порою мягкого, незлобивого юмора. Так, сообщая Пушкину о переезде Якубовича в Енисейскую губернию на золотые прииски и намерении его «заняться подрядами», Волконский отмечает: «Здесь дела его оборотные шли очень хорошо, авось и там пойдет на лад, лихой кавказский витязь — удачный сибирский спекулянт». И следующие строки говорят о глубококом уважении автора письма к Якубовичу, умуудившемуся из Сибири материально поддерживать своих родных, оставленных в Европейской России. «Труд есть доброе дело, в особенности когда дает способ обеспечить свой быт и способствует быть полезным и другим»³¹.

С искренним уважением пишет декабрист о Муханове. «Тот же добрый и почтенный Муханов, тот же неуклюжий толстяк, прямодушен, как прежде, изредка острит насчет ближнего и готов всякому оказать услугу». Волконский высоко ценил этого человека, который 10 лет в одиночестве провел в Братском остроге «среди полудика...». «...Не одичать и сохранить все качества нравственного и просвещенного человека — это не безделица».

О делах Муханова он пишет с юмором:

«...Купил здесь морское судно, взял подряд поставки хлеба на прииски, сам поплыл великим адмиралом, все будет хорошо, лишь бы ангарские пороги не сыграли шутку и барка, хлеб и барыши не погрузили в воду. Русский авось — великое дело, авось все уладится»³².

Глубоко поразил и огорчил Волконского последовавший 27 марта 1841 года арест М. С. Лунина, с которым его связывали давние дружеские отношения. На рассвете 27 марта Волконский, направлявшийся в церковь к заутрене, был удивлен царившим там в этот ранний час оживлением. У собравшихся толпой крестьян он узнал, что бросавшееся в глаза скопление жандармов связано с арестом Лунина. «Я повернул оглобли и приехал на место происшествия, — рассказывал Волконский Пушкину, — он уже сидел в повозку, успел пожать руку 35-летнему другу, успел проводить его на путь новых испытаний душевными молитвами и сердечными желаниями. Благодаря бога, что дал мне это утешение; Михаил Сергеевич был тронут видеть одного из своих при вечной, может быть, с нами разлуке»³³.

Прибывший арестовать Лунина чиновник особых поручений П. Н. Успенский в донесении Руперту также отметил появление Волконского у дома Лунина в момент, когда уже печатывалась квартира Лунина, а сам арестованный сидел в коляску. «Они успели, кажется, сказать не более двух-трех слов, причем Волконский спросил только Лунина по-французски, не надобно ли ему денег»³⁴, — сообщал П. Н. Успенский.

Этот поступок Волконского произвел на многих его товарищей большое впечатление. Вадковский, например, склонен был даже считать, что он тем самым заставил многих, прежде позволявших себе посмеиваться над его причудами и добротой, переменить свое отношение к нему. «В эту минуту старик был истинно велик душой», — пишет Вадковский Пушкину³⁵.

Сам Волконский не склонен был так высоко оценивать свой поступок: повернув оглобли от церкви к Лунину, он просто повиновался зову сердца.

Рассуждая о возможных причинах внезапного ареста Лунина, Волконский заключает: «Но что положительно, это то, что его нет между нами, что недосчитывать его в нашем круге для нас горестно. Вы знаете давность моего знакомства с ним, — обращается он к Пушкину, — тридцать пять лет близкого знакомства и полного уваже-



Вольное поселение декабриста С. Г. Волконского в Тамбовской губернии

Акварель Н. А. Бестужева. ИРЛИ АН СССР

ния не может измениться, быть подчинено никаким событиям, и теперь вне его присутствия люблю и уважаю по-прежнему, если он виновен, это его дело, его воля и его ответ — мне же долг, обязанность не изменяться по обстоятельствам».

После ареста Лунина на Волконского пали заботы о его имуществе. «Теперь у меня в заведовании Лунина дом, сарай, баня, амбар, то есть голые стены, ломаная мебель, пустые закромы, две тощие лошади, одна корова, дойная лишь по названию и известный вам его прислужник старик Васильич с многочисленным его семейством, — сообщал декабрист Пушкину. — Он мне поручен с Михайлом Сергеевичем, и вы довольно меня знаете, чтоб не сомневаться, что свято и сколь сил будет исполню его поручение»³⁶.

Сам Лунин писал с благодарностью Волконскому: «Заботы, которые вы оказываете Васильичу и его семье, показывают одновременно и ваше превосходное сердце и вашу постоянную ко мне дружбу. Кому была бы охота брать на себя подобную тяготу? Не имея возможности ничего сделать для этих бедных людей из глуби-

ны моей темницы, я вручаю вам их судьбу»³⁷.

В другом письме Лунин отмечал, что все распоряжения и действия Волконского относительно его состояния «безукоризненны».

Самое же ценное из всего переданного Луниным Волконскому были книги — знаменитая лунинская библиотека, доставившая Волконским немало забот и тревог.

Благодаря хлопотам сестры Лунина Е. Уваровой было получено разрешение Бенкендорфа на пересылку в Акатуй, новое место заключения Лунина, части книг. Осенью 1842 года Лунин получил посланные Волконским книги³⁸.

И после ареста Лунина между ним и Волконским продолжали сохраняться дружеские отношения. Как отмечает С. Б. Окунь, Волконские были единственными людьми, с которыми Лунину удалось поддерживать более или менее систематическую переписку.



И. В. Поджио. Даггеротип А. Давиньони. 1845. ИРЛИ АН СССР

Очевидно, долгое время Волконские не получали писем от Лунина, и это их огорчало. В письме от 28 ноября 1843 года Волконский жаловался на это обстоятельство Пушину: «Михаила Сергеевича все нет меж нами, живет, как говорят, в Акатуе, и уверен, что живет бодро, не унывая духом. Этот человек заслуживает глубокого нашего уважения и про него можно сказать — до конца испытывший. Я пишу к нему изредка, но не получаю от него ответов, пустые мои письма к нему доходят, полновесных его строчек не имею, la parole est une arme terrible on l'en a privé»³⁹ (слово — страшное оружие, оно отнято у него).

И еще одно событие — смерть Никиты Муравьева, последовавшая 28 апреля 1843 года, глубоко потрясла декабриста. Описывая Пушину кончину друга, он дает ему высокую оценку: «Никита Михайлович был добрый христианин, нежный муж и примерный отец, отличный гражданин, отличный брат тюремный, добродетельный человек... Мы бранные его останки снесли вчера в могилу, и похоронен он при Урицкой церкви. Слезы прихожан были не похвальные похоронные; сир и нищ потеряли в нем благодетеля, а мы человека, достойного нашего движения; ветерана нашего дела, товарища, пылкого душой и ума обширного»⁴⁰.

Интересно, что Лунин, узнавший от Волконских о смерти Н. Муравьева, также высоко оценил его. «Смерть моего дорогого Никиты, — писал он в Урик, — огромная потеря для нас. Этот человек один стоил целой академии»⁴¹.

С грустью отмечал Волконский, что «в Урике как-то со смерти Никиты Михайловича все неладно идет, общая разладица между нашим его бывшим кругом...»⁴².

Вести о смерти товарищей, разбросанных по всей Восточной Сибири, наводили на печальные мысли. «Не грустно умереть в Сибири, — писал Волконский Пушину, — но жаль, что из наших общих опальных лиц костей не одна могила, мысля об этом не по гордости, тщеславию личному, врозь мы, как и все люди, пылинки, но грудой кости наши были бы памятником дела великого при удаче для родины и достойного тризны поколений»⁴³.

Эти скупые строки — свидетельство того, что их автор и в Сибири оставался верен своим принципам и сохранял глубокое уважение и веру в «дело великое», ради которого он пожертвовал свободой.

Шли годы, подрастали дети, приходилось серьезно думать о дальнейшем учении их, особенно Михаила. К тому же здоровье Волконских требовало постоянного врачебного надзора, которого они не могли получить в Урике, так как доктор Вольф уехал в Тобольск. Поэтому Мария Николаевна решила попытаться выхлопотать себе право переселиться в Иркутск.

15 августа 1844 года М. Н. Волконская обратилась к своему родственнику шефу жандармов А. Ф. Орлову с просьбой исходатайствовать ей разрешение переехать с семьей в Иркутск. Просьбу Волконской поддержал Руперт, который писал Орлову: «Обязанностью считаю доложить, что на дозволение жене государственного преступника Волконского проживать вместе с мужем ее в г. Иркутске для излечения болезни я не нахожу никаких препятствий»⁴⁴.

Создавался прецедент: по существующему положению, селить государственных преступников в городах, расположенных по сибирскому тракту, запрещалось. Кроме того, в Петербурге знали о том, что Марии Николаевне разрешалось иногда для советов с врачами приезжать в Иркутск. На основании всего этого Николай отказался удовлетворить просьбу М. Н. Волконской.

Однако разрешение, данное Трубецкой на проживание с детьми в Иркутске и на временные приезды к ней мужа, последовавшее в январе 1845 года, решило и участь Волконских. Марии Николаевне некоторое время спустя было разрешено с детьми жить в Иркутске, а Волконскому приезжать к ней.

Когда окончательно Волконский переехал в Иркутск, установить трудно. М. Н. Волконская пишет, что «первоначально ему было дозволено два раза в неделю посещать семью, а несколько месяцев спустя и совсем туда переехать».

Очевидно, Волконский окончательно переселился в Иркутск со второй половины 1845 года, продолжая немалую часть времени все же проводить в Урике.

Осуществилась наконец и мечта Сергея Григорьевича видеть своего сына учащимся в гимназии, окончание которой он справедливо считал необходимой ступенью для поступления в университет. 25 февраля 1846 года жена декабриста обратилась к Орлову с просьбой разрешить поместить Мишу в Иркутскую губернскую гимназию. Руперт, поддержавший перед Орловым ее просьбу, особо подчеркнул при этом, что «публичное воспитание есть лучшее сред-

ство дать юному уму направление, согласное с видами правительства»⁴⁵.

На этот раз Николай согласился удовлетворить просьбу жены декабриста.

Окончив в 1849 году гимназию, Михаил Волконский изъявил желание поступить на службу к новому генерал-губернатору Восточной Сибири Н. Н. Муравьеву, о чем сообщил А. Ф. Орлову. На запрос об успехах сына декабриста А. Ф. Орлов получил из министерства просвещения такой ответ: «Окончивший полный гимназический курс ученик Михаил Волконский за отличные успехи и благонравное поведение удостоен аттестата с правом на вступление в гражданскую службу с чином 14-го класса и награждения золотой медалью»⁴⁶.

По повелению Николая Михаилу Волконскому разрешено было выдать аттестат с правом поступления в гражданскую службу.

Н. Н. Муравьев определил молодого Волконского на службу в главное управление Восточной Сибири.

Высшего образования, «университетского диплома», который, по мнению С. Г. Волконского, открыл бы сыну блестящую карьеру, получить М. Волконскому не удалось. Однако и без этого молодой Волконский сумел дослужиться до товарища министра просвещения и занимал всю жизнь высокие административные посты.

В значительной степени его успешному продвижению по служебной лестнице способствовала та политическая благонадежность, которую успешно воспитал в себе сын декабриста.

Так, в 1850 году в письме к А. Н. Раевскому Михаил Волконский признавался: «Вы мне советуете не мечтать о несбыточном усовершенствовании мира, бояться германской умозрительности и пр., поверьте, дядюшка, что у меня такое отвращение от всего этого, в особенности же от политики, что я никаких политических книг никогда и в руки не беру, а русские газеты читаю для того только, чтобы знать, что на свете делается»⁴⁷.

Н. Н. Муравьев был назначен на пост генерал-губернатора Восточной Сибири в 1847 году. Приход к власти нового генерал-губернатора во многом изменил положение декабристов. Если до этого на них смотрели как на политических ссыльных, опальных людей и потому жизнь их подвергалась постоянным ограничениям и запрещениям, то теперь они вздохнули свободнее. Относятся весьма доброжелательно к декабристам, Муравьев старался по

возможности облегчить им жизнь. Кроме этого, он и его жена открыли для семей декабристов свой дом, тем самым дав повод к тому же многим другим высокопоставленным иркутским чиновникам.

Довольно яркую картину положения декабристов при Муравьеве рисует Б. В. Струве, который в 1848 году вместе с несколькими выпускниками императорского лицея приехал на службу к иркутскому генерал-губернатору.

«Мы все... были в некотором недоумении, как нам держаться по отношению к государственным преступникам, — пишет Струве. — Недоумение это немедленно было разрешено генерал-губернатором. Он позволил нам смотреть на них как на равноправных членов местного общества, в среде которого они и до нас уже вращались совершенно свободно, наравне с остальными, более просвещенными жителями города. В двух домах бывших князей ссыльнопоселенцев Сергея Григорьевича Волконского и Сергея Петровича Трубецкого собиралось все более просвещенное общество губернского города. Главы этих домов считались поселенцами, водворенными в одном из ближайших к городу селений Урике и временно будто приезжавшими только в город для свидания со своими семьями, но в действительности они постоянно проживали в своих домах, записанных по городским спискам на имя их жен, просторных и роскошно убранных по образцу лучших столичных барских домов... Сам генерал-губернатор и супруга его Екатерина Николаевна вскоре после приезда в Иркутск сделали визит княгиням Волконской и Трубецкой и этим самым указали, какое место они пожелали представить их семьям в среде иркутского общества...»

Струве отмечает, что сами декабристы «вели себя по отношению к Муравьевым и к нам, как к лицам официальным, с утонченной деликатностью, не давая ни малейшего повода к каким-либо нареканиям»⁴⁸.

Очевидно все-таки, положение, завоеванное семьями декабристов в иркутском обществе, далеко не всем пришлось по душе. Многие были недовольны тем уважением, которым пользовались декабристы в Иркутске.

Так, в июне 1852 года в редакцию журнала «Северная пчела» было прислано из Иркутска анонимное письмо, автор которого с негодованием сообщал о том, что поселенное с 1825 года в Сибири «племя» позволяет себе публичные «ужасные ру-

гательства» и «проклятия» в адрес царя. Кроме того, аноним отмечает огромное влияние в Иркутске этого «племени», перед которым «все здесь преклоняются и ищут с ними знакомства».

Письмо из редакции, естественно, попало в III отделение, откуда начальником штаба корпуса жандармов III отделения Л. В. Дубельтом было переправлено в Сибирь, в 8-й округ корпуса жандармов. Отвечая на запрос Дубельта, начальник 8-го корпуса жандармов сообщал, что живущие в Иркутске в данный момент Трубецкой, Волконский и Поджио «ведут скромную и более уединенную жизнь». Внимание Муравьева к их семьям автор объяснял весьма естественной причиной: «жены их лучшего образования, а недостаток этого в прочих сословиях города послужил к тому, что супруга генерала Муравьева оказывает им внимание и даже расположение, иногда посещает их и принимает у себя». При этом в письме отмечалось, что сами декабристы никогда не бывают в доме генерал-губернатора. «Сам же Муравьев посещает, и то очень редко, только Волконского». Заверяя Дубельта в абсолютной лживости письма, жандарм приводит весьма разумный аргумент в доказательство того, что содержание письма, приписывающего декабристам всякого рода публичные ругательства в адрес царя, не соответствует действительности: «Это совершенно неправдоподобно уже и потому, что они все более или менее умны, а с тем вместе очень понимают настоящее свое положение, в котором высказывать так гласно, как говорит безумянное письмо, свои преступные мысли означало бы совершенное отсутствие рассудка»⁴⁹.

Переезд в Иркутск не изменил наклонностей Волконского. Однако если раньше, во все предшествовавшие годы ссылки, привычным и необходимым в его жизни стало тесное общение с товарищами по тайному обществу, близкими по духу и убеждению, то теперь это общение было затруднено.

Судьба и годы, а главное — воля Петербурга, разбросали декабристов по разным уголкам Восточной Сибири. Многих не стало. Эти обстоятельства огорчали Волконского, как всегда верного своим друзьям. «Мало, мало отклоняются на перекличку дружбы, — жалуется он из Иркутска Пушкину, — тем для нас обязательнее скрепить эту дружбу между нами...

Память усопших для нас священна, а с живыми укрепим союз-дружбу, основанный на обоюдном уважении»⁵⁰.

Мария Николаевна, попав в столицу Восточной Сибири, поставила свой дом на широкую ногу, стараясь вести светский образ жизни. Визиты, балы, танцевальные вечера — все это не интересовало Волконского. Большую часть времени Волконский проводил в деревне, поближе к земле, к крестьянам, среди которых у него было немало друзей.

Доктор Н. А. Белоголовый, часто бывавший в доме у Волконских, пишет: «Старик Волконский — ему уже тогда было около 60 лет — прослыл в Иркутске большим оригиналом... Старый князь, тяготея больше к деревне, проживал постоянно в Урике, только время от времени наезжал к семейству; но и тут — до того барская роскошь не гармонировала с его вкусами и наклонностями — он не останавливался в самом доме, а отвел для себя комнатку где-то на дворе, и это его собственное помещение смахивало скорее на кладовую, потому что в нем в большом беспорядке валялись разная рухлядь и всякие принадлежности сельского хозяйства; особенной чистотой оно тоже похвалиться не могло, потому что в гостях у князя опять-таки чаще всего бывали мужики и полы постоянно носили следы грязных сапог...» Как рассказывает Белоголовый, Волконский целые дни проводил на работах в поле, зимой же любил посещать базары, где встречался со своими друзьями крестьянами и подолгу беседовал с ними «по душе о их нуждах и ходе хозяйства»⁵¹.

Если в компании друзей жены декабрист не находил себе единомышленников, а лишь вносил своими редкими посещениями гостиней в крылатке и грязных сапогах диссонанс в собравшееся общество и вызывал неодобрение, то среди своих многочисленных друзей декабристов он отдыхал душой. И более всех остальных он любил проводить время в обществе И. Д. Якушкина и морского офицера А. В. Оболенского.

«Удалившись вовсе от шумных бесед здешнего общества, изменчивого и в нашем отношении, я более всего живу с двумя лицами, посещаю их, может быть, внаклад им скука моего присутствия, — пишет декабрист Пушкину. — Это Якушкина-отца и моряка князя Оболенского. Первый — старый знакомый, сотюремник и всегда уважаемый мною человек и по уму



М. Н. Волконская. Фотография с акварели неизвестного художника, 1820. ИРЛИ
АН СССР



Дом Волконских в Иркутске. Фотография 1925. ИРЛИ АН СССР

и по сердцу. Живет в прошедшем, а он его горячо любит, ценит наш быт без хвастовства, но с самодостоинством... Второй, т. е. Оболенский, (молодой) моряк, молодой человек, весьма замечательный образованностью, теплотой души и добросовестностью, немного консерватор, но понимает все, что близко к сердцу нам, демократам, любящий Россию с точки зрения весьма светлой, просто очаровал и нас; Оболенский лечится и поэтому не выезжает, а мне это домоседство и кстати, у меня все рано ложатся, и я уж по крайней мере два раза в неделю у него сижу до полночи»⁵².

В сентябре 1850 года состоялась свадьба Нелли Волконской, вышедшей замуж за чиновника канцелярии генерал-губернатора Сибири Д. В. Молчанова. Волконский был против замужества дочери и, очевидно, всеми силами стремился предотвратить его. Дело в том, что Молчанов пользовался в Иркутске весьма дурной славой. Однако Мария Николаевна, ослепленная сравни-

тельно высоким положением жениха, не хотела слушать никаких возражений.

С мнением С. Г. Волконского не посчитались, и свадьба состоялась. Два года спустя Марии Николаевне пришлось очень пожалеть о том, что она настояла на этом браке. Молчанов оказался замешанным в высшей степени некрасивой истории и, обвиненный во взяточничестве, был отдан под суд.

Однако все личные неурядицы и неприятности отошли на второй план перед событием, которое на долгое время стало главным в жизни декабристов. Речь идет о Крымской войне, начавшейся, когда Волконскому исполнилось уже 66 лет.

Герой Отечественной войны 1812 года, участник 58 сражений, старый солдат, он всей душой стремился туда, где ре-

шалась судьба родины. «...Я хоть сейчас готов к Севастополю — лишь бы взяли», — пишет он Пушину. Однако настоятельные просьбы жены и отказ Н. Н. Муравьева ходатайствовать, чтобы декабристу разрешили солдатом принять участие в обороне Севастополя, все это вынудило Волконского отказаться от своего намерения отправиться на фронт, и ему оставалось только следить за ходом войны по газетам. Письма его этого периода полны откликов на происходившие события.

«Здесь все горит приготовлениями защиты для Камчатки, для Амура. Зоркий глаз, светлый ум начальника (Н. Н. Муравьева. — Н. К.) все предусматривает, обеспечивает»⁵³, — сообщает он Пушину.

С законной гордостью гражданина и патриота Волконский передает Пушину полученные им известия о защите Петропавловска, «где горсть защитников — никогда не бывших в огне — 290 человек отразили нападение восьми военных судов и 900 человек десанта... где мирные жители и гражданские чиновники в бою отличались наравне с сухопутными и морскими вояками, где... неприятель, нападший на мирную землю, был опрокинут со стыдом и потерей».

С чувством благодарности он отзывается о генерал-губернаторе Восточной Сибири Н. Н. Муравьеве, потратившем немало сил на укрепление Амура и Камчатки. «Генерал имеет большую часть славы этой защиты — он прозорливостью своею предвидел, что Камчатка, и в особенности Петропавловск, лакомый кусочек для англичан, и успел еще в нынешнем году послать туда 300 чел. солдат и обеспечить всем на 1855 год»⁵⁴.

Несмотря на безрадостные сообщения с европейского театра военных действий, декабрист не терял веры в победу русских войск. «Настала России година тяжелая, — читаем мы в письме его к Пушину от 4 декабря 1854 года, — до сих пор события неутешительные, надо сожалеть о многих прорухах, надо стараться исправить их, но отчаиваться в возможности успешного исхода в пользу России, по-моему, непростительное преступление»⁵⁵.

Таким же оптимизмом проникнуты и следующие строки цитированного выше письма к Пушину, где он рассказывает об обороне Петропавловска: «Не так-то радует Крым и Прут — вероятно, и там оправались, а если нет, то оправимся, бывали часто биты, но кончали победителями»⁵⁶.

И в новом, 1855 году тема Крымской

войны продолжает быть основной в переписке декабриста с друзьями, и прежде всего с Пушиным. «Известия с поля битвы неутешительны, — пишет декабрист Пушину 3 января 1855 года, — авось выдержка времени поправит ошибки. Известие газет приводит в гнев, как бы удалось прочесть хвастовство, изменничество»⁵⁷.

В письме от 11 октября мы читаем: «Крым нас долго-долго огорчал, а теперь развязка еще хуже, последние известия, полученные здесь, от 5 сентября. Не удивляюсь, что южная часть Севастополя занята, удивляюсь, что держалась 11 месяцев». Далее декабрист излагает свою точку зрения на действия русского командования, связанные с обороной Севастополя. «Но теперь к чему стоянка на северной стороне, вызвать надо неприятеля в поле, там уже осадной артиллерии не будет — степь наше дело, и притом кавалерия наша и свежа и многочисленна: все вняты Горчакова (главнокомандующего русской армии с 1855 года. — Н. К.), а я Питер — мало войск, и потом, если выбор дура, кто виноват — не выбранный, а выбирающие»⁵⁸.

Весной 1854 года изъявила желание посетить брата в его ссылке княгиня Софья Григорьевна Волконская, о чем было Орловым доложено Николаю. Царь разрешил Софье Григорьевне отправиться в Сибирь при условии, что она даст подписку и строго будет соблюдать «все правила, установленные на подобные случаи и состоящие в том, чтобы во время пребывания в Сибири не входить ни с кем в переписку, не соответствующую обстоятельствам, и при возвращении оттуда не брать ни от кого писем»⁵⁹.

Н. Н. Муравьеву и генерал-майору 8-го корпуса жандармов Казимирскому даны были указания вести по пути ее следования и в Иркутске строгое, но тайное наблюдение, не нарушая, однако, «того уважения, которое следует оказывать особе ее светлости»⁶⁰.

Дав подписку о соблюдении всех требуемых условий, С. Г. Волконская выехала в конце июня 1854 года в Сибирь и 15 июля была уже в Красноярске.

Трудно сейчас установить истинную причину поездки Софьи Григорьевны в Сибирь. Вряд ли она была вызвана искренним желанием повидать брата, с которым, как известно, отношения были испорчены ее недобросовестным поведением в материальных делах. Очевидно, все упорнее становились слухи о попытке ее присвоить

состояние Сергея Григорьевича. И чтобы как-то обелить себя, она едет в Сибирь. Сделать это предположение позволяют нам следующие строки из письма Волконского к дочери: «Общественным мнением она дожит, и тому пример ее поездка в Сибирь, которой хотела прикрыть ограбление меня, по каковому ограблению общественное мнение началось высказываться»⁶¹.

Однако, несмотря на заметное охлаждение к сестре, декабрист с радостью ожидал ее.

Для встречи сестры С. Г. Волконский выехал в расположенный под Иркутском Вознесенский монастырь и оттуда вместе с ней вернулся в Иркутск.

Софья Григорьевна пробыла в Сибири целый год.

За это время, будучи натурой очень подвижной, «прямой туристкой», как назвал ее брат в одном из писем к Пушкину, она успела объехать почти всю Восточную Сибирь. Во многих поездках ее сопровождал С. Волконский, что дало возможность ему посетить свои старые места заключения. Это путешествие хотя и было грустным, но принесло декабристу моральное удовлетворение.

Так, 17 июня 1855 года он сообщает Пушкину: «Много я объездил, был в Чите и видел Дмитрия Иринарховича (Завалишина. — Н. К.) — тот же вертлявый и беспокойный человек; был в Благодатском, видел старое пепелище наше, назначенное в слом уже несколько лет, и рядом с ним не зимовой, но обширный европейского устройства со всеми удобствами для ссыльных рабочих... Был в Акатуе и на могиле Михаила Сергеевича, на которую капнула слеза моя как дань дружбы и товарищества, был в Большом Нерчинском и в Александровском заводе, где видел тому несколько лет туда прибывших, видел, что хотел видеть, что должен был видеть»⁶².

Весной 1855 года Софья Григорьевна решила сопровождать Н. Н. Муравьева в его поездке на Амур, о чем было немедленно доложено императору. Эта поездка вызвала неодобрение со стороны царя, и он заметил, что «напрасно ген. Муравьев позволил ей поехать с ним, не спросивши на то разрешения; что ему и заметить».

Немедленно из Петербурга в Сибирь Муравьеву полетело сообщение о том, что царь, «узнав, что вдова генерал-фельдмаршала князя Волконского кн. С. Г. Волконская сопутствует вашему превосходительству в экспедиции на Амур, изволил заме-

тить, что неудобно было соглашаться на подобное ей светлости предприятие».

В ответ на это из Сибири было сообщено, что С. Г. Волконская, «изменив намерение ехать по Амуру, возвращается из селения Бянкина (что близ Нерчинска) обратно в Иркутск».

Это донесение с припиской Орлова: «Из сего изволите усмотреть, что княгиня Волконская отменила свое странствование по Амуру», было передано царю. Царь, ознакомившись с ним, приписал: «Очень хорошо сделала»⁶³.

По всей видимости, это неудавшееся путешествие было последним путешествием Софьи Григорьевны по Сибири.

17 августа начальник 8-го округа корпуса жандармов сообщал в Петербург о том, что С. Г. Волконская 29 июля 1855 года, «выехав из Иркутска в С.-Петербург, вчерашнего числа проследовала через г. Омск в дальнейший путь»⁶⁴.

Тогда же, то есть летом 1855 года, получили разрешение на отъезд в Петербург и Мария Николаевна с дочерью.

В июне 1855 года Елена Волконская обратилась к императрице с просьбой息dataitствовать ей и ее матери, чье здоровье все ухудшалось, разрешение поехать в Москву для консультаций с врачами. Им было разрешено отправиться в Москву, однако под строгим полицейским надзором.

6 августа Мария Николаевна с дочерью выехали из Иркутска и 9 сентября прибыли в Москву.

Волконский, проводив их до Красноярска, вернулся в свой опустевший дом.

Отъезд людей, которых он любил всей душой, вызывал грусть. Было как-то непривычно видеть дом пустым. Сын же проводил большую часть времени в служебных поездках по Сибири, изредка ненадолго заглядывая домой. Однако, несмотря на это, одиночество не тяготило декабриста.

Праздность не была чертой характера С. Г. Волконского. Работы на поле, встречи и долгие беседы с ближайшими друзьями — все это не оставляло времени для скуки. Скрашивало одиночество и сознание того, что поездка к врачам, встреча с близкими необходимы для здоровья Марии Николаевны. «Я в своем одиночестве живу ладненько, счастлив тем, что это одиночество обеспечит спокойствие, утешение моим»⁶⁵, — пишет он осенью 1855 года Пушкину.

И еще оставались старые, верные друзья — книги. У Волконских в Иркутске



Дети Волконского — Михаил и Елена. Даггеротип. 1845. ИРЛИ АН СССР



С. Г. Волконский. Фотография конца 50-х годов. ИРЛИ АН СССР

была уже солидная библиотека. Книги полетели в Сибирь почти сразу после его отъезда из Петербурга. Родные присылали в основном французских классиков: Корнея, Расина, Вольтера, Мольера и др. Позже Волконский получал многие новинки русской и зарубежной литературы. Его библиотека была одной из богатейших библиотек в Иркутске. В 1851 году, когда открылся Сибирский отдел Русского географического общества, одним из первых «и очень щедрых» вкладчиков был С. Волконский. Позже он почти всю библиотеку пожертвовал обществу. К сожалению, библиотека общества, в том числе и книги Волконского, погибла при пожаре в 1879 году⁶⁶.

Немало времени отнимали также заботы об устройстве дел умерших товарищей.

Так, после смерти Муханова, «Мушки», как звали его декабристы, Волконскому пришлось заниматься его делами, и он жаловался Пушину, что «плохо устройство его идет». «Делами покойного Мушки занимаюсь, но безуспешно, — сообщает он Пушину, — на оплату оставшихся долгов фондов от его родственников не высылают... В делах Мушки уплатил половину и все еще надеюсь уплатить и остальное...»⁶⁷.

В том же 1854 году умерли один за другим и старые товарищи декабристы братья А. Н. и П. Н. Борисовы, и Волконский был назначен опекуном их дел. Однако их материальные дела были в большем порядке, Волконскому заниматься ими было значительно легче, чем делами Муханова.

Так он сообщает Пушину: «...по делам двух усопших, хоть и голые сироты, но оставили дела в таком порядке, что за уплатою еще текущего месячного расхода осталось у меня денег до 150 р. сереб., которые посвящу на надгробный памятник; лежат как жили, друг возле друга»⁶⁸.

Наступал последний год пребывания декабристов в ссылке.

Жизнь в Сибири не тяготила Волконского. В одном из последних писем из Сибири, датированном 14 января 1856 года и адресованном к старому знакомому моряку А. М. Линдену, декабрист признается: «Мне... Сибирь не в тягость, знаю, за что я здесь, и совесть спокойна... Что я патриот, я доказал тем, что я в Сибири»⁶⁹.

Сибирь, приютившая его, стала для него словно второй родиной. Вопросы ее экономического и политического развития, дальнейшей судьбы — все это кровно интере-

совало декабриста. «Наша Восточная Сибирь — вопреки всех толков... подается кое-как в новом ее быте. Гражданственность устраивается, пути прокладываются, новые заимки устраиваются, новые приобретения укрепляются, и Камчатке, полагаю, что с сильною волею может быть дана сильная оборона...»⁷⁰, — с удовлетворением отмечает декабрист в одном из своих писем к Пушину.

К перспективе возможного возвращения в Россию декабрист как будто относился весьма спокойно. По крайней мере такой вывод можно сделать из следующих строк его письма к Пушину, написанного после отъезда жены и дочери: «Придет возможность мне — примкну к ним, не придет, что вернее, я здесь их счастьем буду радоваться, не тяжела доля, как сердце спокойно»⁷¹.

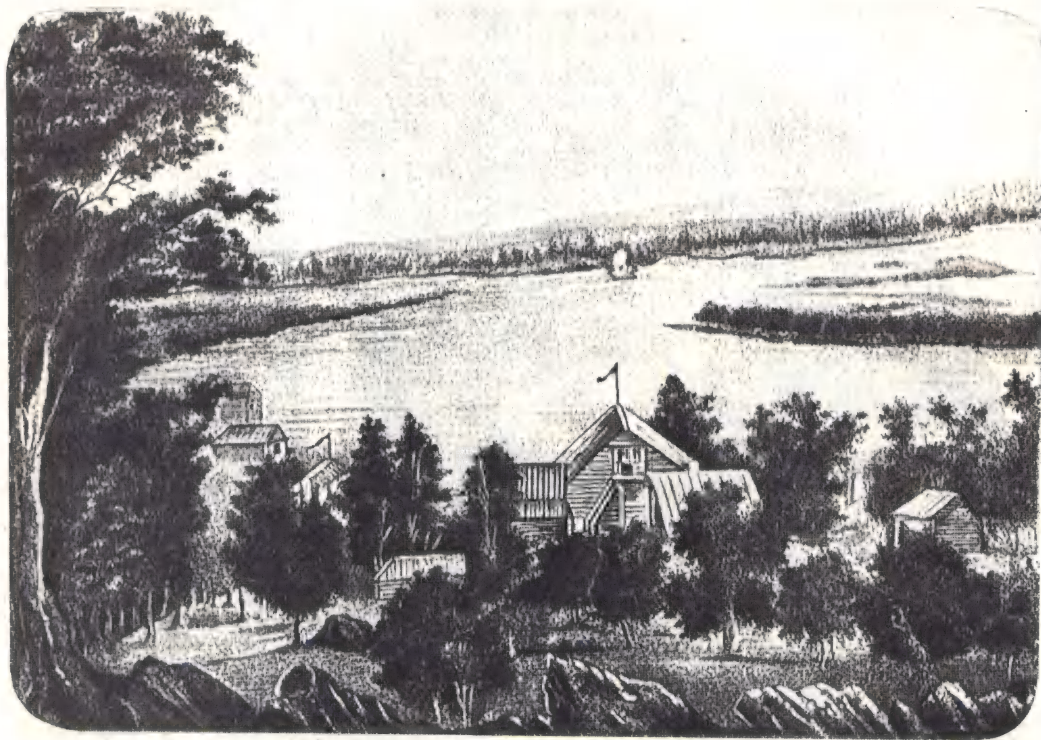
И тем не менее тайное желание хотя бы перед смертью побывать в Европейской России, в милых сердцу местах, повидать близких и родных людей не покидало декабриста.

Дошедший к лету 1855 года манифест о смерти Николая, люто всю жизнь ненавидевшего декабристов, манифест, в котором ни слова не было сказано о декабристах, принес разочарование.

«Нонче пришла почта Российская и привезла Манифест от 27 марта, дни кончены, — с грустью писал Волконский сыну, — и мои кости останутся в Сибири... Манифест ясен, и о нас ни слова... Наша память похоронена будет в Сибири». И тем не менее Волконский далек от отчаяния: «О себе не говорю — накликал на себя этот удел; и все-таки совесть чиста, и готов предстать пред суд божий без упрека в тщеславии или эгоистически в чем; родина и убеждения были причиною моего немалого самопожертвования...»⁷²

Манифестом 26 августа 1856 года, опубликованном в день коронации нового императора Александра II, С. Волконскому и остальным декабристам возвращались «все права потомственного дворянина, только без почетного титула, прежде им носимого, и без прав на прежнее имущество, с дозволением возвратиться с семейством из Сибири и жить где пожелает в пределах империи, за исключением С.-Петербурга и Москвы, но под надзором»⁷³.

Манифест об освобождении декабристов был привезен в Сибирь из Москвы по личному распоряжению царя Михаилом Волконским. Как свидетельствует последний, хотя декабристы еще ничего не знали



о дарованных манифестом царских милостях, глубокая вера в освобождение заставила многих из них выехать на Сибирский тракт, по которому ехал курьер, роль которого волею царя суждено было сыграть сыну декабриста.

Внук декабриста, Сергей Михайлович Волконский, рассказывает со слов отца об этом событии. Волконские, поселившиеся в Москве в доме Раевских на Спиридоновке, в день коронации с утра ожидали каких-либо сообщений об участии Сергея Григорьевича. «Во время обеда курьер, — рассказывает С. М. Волконский, — требует отца во дворец. Приезжает. Выходит — вот не помню кто — с пакетом в руке: «Государь император, узнав, что вы находитесь в Москве, поручил передать вам указ о помиловании декабристов, с приказанием везти его в Сибирь». В тот же вечер — Москва в огнях и музыке, а отец уезжал в Иркутск. Никто ни раньше, ни после не совершал этого переезда скорее, но последние сутки он уже не мог

«Камчатник». Дача Волконских близ Урия (на реке Ангаре). ИРЛИ АН СССР

ни сидеть, ни лежать: доехал на четвереньках. По дороге в Иркутск он заезжал ко всем декабристам, жившим на пути, благовестником помилования, он заезжал в Ялutorовск к Пушкину, своему крестному отцу, к Якушкину, Оболенскому, Батенкову и другим, а в Красноярске к... Василию Львовичу Давыдову. Подъезжает к Ангаре поздно вечером; надо на лодке переезжать. Нанял баркас. Большие, тяжелые тучи; на той стороне, на высоком берегу, вырисовывается Иркутск. Течение сильное, относит все дальше от города. После высадки надо было бежать вверх по берегу. Наконец город и наконец дом. Отец звонит, за дверью голос отца: «Кто звонит? Это я, привез прощение». Вот так и узнали...»⁷⁴.

Декабристы были возвращены из ссылки, они были помилованы, но не были



С. Г. Волконский. Париж, 1859. Фотография. ИРЛИ АН СССР



М. Н. Волконская. В. Унгер. С портрета Гордижиани. Оригинал хранится на квартире Н. Некрасова

прощены. О том, что и новый царь не желал прощать их, говорит следующий эпизод, который передает внук декабриста. Елена Сергеевна, находясь после своего возвращения из Сибири в Петербурге, посещая оперу, обычно сидела в ложе Волконских. Однажды царь поинтересовался,

что за «красавица» сидит в этой ложе. Ему ответили, что это дочь Сергея Волконского. «Ах, это тот, что умер», — заметил Александр. Собеседник ему возразил: «Он ваше, величество, не умер», — на что последовал ответ: «Когда я говорю, что он умер, значит, он умер»⁷⁵.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., 1826, д. 61, ч. 23, лл. 9—15.

² Письма С. В. Броневскому. «Русская старина», 1899, т. XI, стр. 329.

³ Записки Н. В. Васаргина. Пгт., 1917, стр. 177.

⁴ Записки М. Н. Волконской. Спб., 1904, стр. 104.

⁵ Записки С. Г. Волконского. Спб., 1901. Приложение, стр. 478.

⁶ Е. И. Якушкин. Декабристы на поселении. Из архива Якушкиных. Л., 1926, стр. 84.

⁷ Там же, стр. 67.

⁸ ЦГАОР, ф. 48, д. 458, ч. 1, лл. 55—56.

⁹ Завещание Волконского хранится в Институте русской литературы (Пушкинском доме) АН СССР, ф. 57, оп. 1, д. 21.

¹⁰ М. Гершензон. История молодой России. М.—Пгт., 1923, стр. 63—64.

¹¹ П. Е. Щеголев, О «Русских женщинах» Некрасова. «К свету», 1904, стр. 514—515.

¹² ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., 1826, д. 61, ч. 2, л. 9.

¹³ Многим неизвестно было, что в сентябре 1826 года иркутский гражданский губернатор получил высочайшее одобренное предписание за подписью генерал-губер-

натора Восточной Сибири А. С. Лавинского, касающееся прав и обязанностей жен декабристов, сосланных в Сибирь. Это была своеобразная инструкция, содержащая указание местному начальству «употребить все возможные внушения и убеждения к остановлению их (жен. — Н. И.) в сем городе и к обратному отъезду в Россию». В частности, рекомендовалось внушать женам, «что, следуя за своими мужьями и продолжая супружескую с ними связь, они, естественно, сделаются причастными к их судьбе и потеряют прежнее звание, т. е. будут уже признаваемые не иначе, как женами ссыльнокаторжных, а дети, которых приживут в Сибири, в казенные крестьяне». (П. Е. Щеголев, О «Русских женщинах» Некрасова. «К свету», 1904, стр. 506—515.) Как будто бы юридически вопрос об имущественном положении жен ссыльных декабристов в этой инструкции не решен, но можно сделать вывод о том, что если они рассматриваются лишь как жены ссыльнокаторжных, то, следовательно, они теряют и все свои права, в том числе и имущественные.

¹⁴ П. Е. Щеголев, О «Русских женщинах» Некрасова. «К свету», 1904, стр. 528.

¹⁵ ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., 1826, д. 61, ч. 55, лл. 44—47.

¹⁶ Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки имени Ленина, вып. 3, «Декабристы». М., 1939, стр. 43. Публик. В. Н. Соколова и А. А. Этингофа.

¹⁷ ЦГА, ф. 914 (Волконских), оп. 1, д. 38, л. 1.

¹⁸ ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., 1826, д. 61, ч. 55, л. 49.

¹⁹ Там же, л. 58.

²⁰ О. Попова, История жизни М. Н. Волконской. «Звенья», кн. III. М.—Л., 1934, стр. 53.

²¹ Письма декабриста С. Г. Волконского. Публикация М. П. Волконского. Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки имени Ленина, вып. 24. М., 1961, стр. 379.

²² ИРЛИ АН СССР, ф. 57, оп. 5, д. 27.

²³ Там же.

²⁴ ЦГАОР, ф. 1146, оп. 1, д. 9, лл. 1—2.

²⁵ «Письма декабриста Т. Т. Волынского». Записки ОР ГВЛ, вып. 24. М., 1961, стр. 371—372.

²⁶ ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., 1826, д. 67, ч. 17, лл. 59—60.

²⁷ Как известно, согласие на это предложение дал один Давыдов, имевший, кроме четырех детей, оставленных в Петербурге, еще пятерых в Сибири, воспитание и содержание которых было сопряжено с большими трудностями.

²⁸ Записки С. Г. Волконского. Спб., 1901. Приложение, стр. 485.

²⁹ Письма декабриста С. Г. Волконского. Записки ОР ГВЛ, вып. 24. М., 1961, стр. 373.

³⁰ Там же, стр. 361—362.

³¹ Там же, стр. 372.

³² Там же, стр. 370—371.

³³ Там же, стр. 370.

³⁴ Донесение Успенского — Руперту. Цитир. по кн.: С. Б. Окунь, Декабрист М. С. Лунин. Л., 1962, стр. 245.

³⁵ Е. И. Якушкин. Декабристы на поселении. Л., 1926, стр. 84.

³⁶ Письма декабриста С. Г. Волконского. Записки ОР ГВЛ, вып. 24. М., 1961, стр. 370.

³⁷ В. Модзалевский. Письма С. М. Лунина из Акатуй. Сб. «Атеней», кн. III. Л., 1926, стр. 20.

³⁸ О судьбе лунинской библиотеки см.: С. Б. Окунь, Декабрист М. С. Лунин. Л., 1962; В. С. Манасеин, Библиотека декабриста М. С. Лунина, Библиотекосведение и библиография, 1930, № 1—2.

³⁹ Письма декабриста С. Г. Волконского. Записки ОР ГВЛ, вып. 24. М., 1961, стр. 381.

⁴⁰ Там же, стр. 376.

⁴¹ С. Л. Гессен и М. С. Коган. Декабрист Лунин и его время. Л., 1926, стр. 373.

⁴² Письма декабриста С. Г. Волконского. Записки ОР ГВЛ, вып. 24. М., 1961, стр. 380.

⁴³ Е. И. Якушкин. Декабристы на поселении. Л., 1926, стр. 67.

⁴⁴ ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., 1826, д. 61, ч. 55, л. 70.

⁴⁵ Там же, л. 91.

⁴⁶ Там же, л. 102.

⁴⁷ О. Попова. История жизни М. Н. Волконской. «Звенья», кн. III. М.—Л., 1934, стр. 115.

⁴⁸ Б. В. Струве. Воспоминания о Сибири, 1848—1854 гг. СПб., 1889, стр. 25—27.

⁴⁹ ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., 1852, д. 239, лл. 6—9.

⁵⁰ Письма декабриста С. Г. Волконского. Записки ОР ГВЛ, вып. 24. М., 1961, стр. 382.

⁵¹ Н. А. Белоголовый. Воспоминания и др. статьи. М., 1897, стр. 36.

⁵² Письма декабриста С. Г. Волконского. Записки ОР ГВЛ, вып. 24. М., 1961, стр. 385.

⁵³ Письма декабриста С. Г. Волконского. Записки ОР ГВЛ, вып. 24. М., 1961, стр. 383.

⁵⁴ Летопись Гос. лит. музея, кн. 3. «Декабристы». М., 1938, стр. 94.

⁵⁵ Летопись Гос. лит. музея, кн. 3. «Декабристы». М., 1938, стр. 108.

⁵⁶ Там же.

⁵⁷ Письма декабриста С. Г. Волконского. Записки ОР ГВЛ, вып. 24. М., 1961, стр. 383.

⁵⁸ Там же.

⁵⁹ ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., 1826, д. 61, ч. 5, л. 125.

⁶⁰ Там же, л. 126.

⁶¹ О. Попова. История жизни М. Н. Волконской.

«Звенья», кн. III. М.—Л., 1934, стр. 53.

⁶² Письма декабриста С. Г. Волконского. Записки ОР ГВЛ, вып. 25. М., 1961, стр. 390—391.

⁶³ ЦГАОР, ф. 209, 1 эксп., 1826, д. 61, ч. 55, лл. 130, 133, 134.

⁶⁴ Там же, л. 147.

⁶⁵ Письма декабриста С. Г. Волконского. Записки ОР ГВЛ, вып. 24. М., 1961, стр. 395.

⁶⁶ М. Азадовский. Очерки лит-ры и культуры Сибири. Иркутск, 1947, стр. 19.

⁶⁷ Письма декабриста С. Г. Волконского. Записки ОР ГВЛ, вып. 25, М., 1961, стр. 388.

⁶⁸ Там же, стр. 388.

⁶⁹ Записки А. М. Линдена. «Русская старина», 1905, т. IV, стр. 128—129.

⁷⁰ Летопись Гос. лит. музея, стр. 108.

⁷¹ Письма декабриста С. Г. Волконского. Записки ОР ГВЛ, вып. 24. М., 1961, стр. 395.

⁷² ИРЛИ АН СССР, ф. 57, оп. 1, д. 57, л. 38.

⁷³ Записки С. Г. Волконского. СПб., 1901. Приложение, стр. 497.

⁷⁴ С. Волконский. Разговоры. СПб., 1912, стр. 104.

⁷⁵ Там же, стр. 107.



Давид и Саул. Музей в Карлсруэ

Г. Кошеленко

Федор Иванович — художник Парфенона

Сотни и тысячи страниц посвятили историки искусства и археологи, художники и архитекторы, писатели и поэты Парфенону — чудесному храму на вершине акрополя Афин. Он стал для нас символом человеческой культуры и творческого гения. Прошло уже больше 24 веков с того времени, как был построен этот храм, уже почти 300 лет после варварской бомбардировки венецианской артиллерии стоит он в развалинах, но снова и снова тянутся к



Автопортрет

нему миллионы людей, ищущих вечную, нетленную красоту. Сотни и тысячи архитекторов возводили за эти века храмы, дома, церкви, дворцы, но по-прежнему вершиной зодчества остается Парфенон, создание Иктина и Калликрата, вдохновенное духом Фидия, как вечный символ той эпохи, о которой Маркс говорил как о «высочайшем расцвете Греции».

Парфенону за 24 века его существования довелось побывать и древнегреческим храмом, и православной церковью, и католическим собором, и мусульманской мечетью. Его превращали в склад пороха, его взрывали венецианские мортиры. Здесь защищались героические борцы за свободу Греции, он видел рядом с собой знамя, поднятое Манолисом Глезосом.

Но Парфенону приходилось видеть и ученых и художников, отдававших годы своей жизни, горение своей души для того, чтобы вернуть людям бессмертную красоту творения древних зодчих. Об одном из таких людей, человеке по-настоящему необыкновенной судьбы, но, к сожалению, совершенно забытом сегодня, мы и хотим



рассказать на этих страницах. Для этого надо вернуться в 1799 год.

В этом году молодой английский аристократ лорд Эльджин, которому было в ту пору 33 года, получил назначение на важный и ответственный пост английского посла при дворе Османской Турецкой империи. Свою деятельность ему пришлось начинать в чрезвычайно сложной обстановке: шла жестокая борьба Англии и других стран Европы против Франции. Только что началось завоевание Египта войсками Наполеона Бонапарта. Египет был провинцией Турецкой империи, но завоевание Наполеоном проводилось под знаком борьбы с англичанами. Обостренная дипломатическая и военная борьба на Востоке, казалось бы, должна была полностью поглотить внимание молодого посла. Однако все произошло по-иному. Лорд Эльджин не оставил заметного следа в истории дипломатии, зато каждому историку искусства известны «мраморы лорда Эльджина». Что же это такое? Неужели лорд стал знаменитым ваятелем? Нет, все объясняется проще.

В «галантном» XVIII веке вельможа, от-

Аллегория на смерть наследного принца Баденского. Музей в Карлсруэ

правляясь в экзотические страны, обычно брал с собой художника, который бы зарисовывал для него памятники древности (тогда говорили «антики»), живописные пейзажи, типы местного населения. Последовал этому обычаю и лорд Эльджин. Главным объектом, привлечшим внимание посла, стали древние Афины, некогда прекраснейший из городов Древней Греции, а в 1799 году захолустное, заштатное местечко Турецкой империи. Именно сюда направил Эльджин нанятых им художников, архитекторов, формовщиков. На акрополе Афин развернулась деятельность его команды. Здесь не место говорить об этом подробно. Скажем только, что работа шла в двух направлениях: 1) зарисовывались, измерялись древние храмы и скульптуры, снимались копии с рельефов Парфенона, списывались древние надписи; 2) выламывались куски фриза и метопы Парфенона

с чудесными рельефами руки Фидии, у радена была одна из кариатид Эрехфей она, увозились в Англию лучшие из археологических находок.

Если первая часть деятельности Эльджина не может вызвать ничего иного, кроме благодарности, вторая получила в последующее время самую различную оценку. Почитатели древнего искусства обрушились на Эльджина за те методы, которыми он пользовался при составлении своей коллекции, проданной им позднее Британскому музею за 35 тысяч фунтов стерлингов. Ярче всего это негодование выразил великий английский поэт Байрон, который в своей поэме «Проклятие Минервы», описывая возмущение богини Минервы (Афины), храм которой разграбил Эльджин, ее устами говорит:

Ведь меньшие мне причинили раны
Пожары, войны, варвары, тираны —
Грабителей турецких, готских злей
Пришел грабитель из земли твоей.

И дальше:

Столетиям грядущим в поученье
Пусть станет он на пьедестал презренья:
Ни одного его возмездье ждет,
Оно постигнет также твой народ!
Британия сама его учила
Так поступать, когда есть власть и сила.

Но у Эльджина были и защитники. Так выдающийся русский археолог и историк искусства Б. В. Фармаковский оправдывал Эльджина, считая, что поскольку турки по-варварски обращались с Парфеноном, пережигая его мраморные скульптуры на известь, то деятельность Эльджина спасла для науки многие из тех памятников, которые бы иначе неизбежно погибли. Но мы не будем углубляться в эту дискуссию, отметим только, что она касается единственно второй стороны деятельности Эльджина. Что касается ее первой стороны, то не может быть ни малейшего сомнения, что она заслуживает искренней благодарности и признательности. Но, конечно, эти чувства должны быть обращены прежде всего к тем художникам, которые работали на акрополе Афин, благодаря трудам которых мы можем представить многие из чудесных скульптур Парфенона, ибо оригиналы погибли во время борьбы Греции за свою независимость в начале XIX века.

Одним из этих художников был Федор

Иванович, по национальности калмык. Читатель поймет и представит себе мои чувства, когда я вдруг в списке участников экспедиции встретил это имя. Ведь это был 1799 год, год, когда только родился А. С. Пушкин, много лет спустя мечтавший, что настанет когда-нибудь время, когда и его узнает «друг степей калмык». И вдруг в Риме, где составлялась экспедиция Эльджина, встречается калмык, да еще известный художник, пользующийся общим уважением и считающийся лучшим в Риме мастером рисунка и гравюры. Трудно было удержаться от желания узнать об этом человеке побольше, и естественно, что я обратился к своим друзьям, для которых искусство XVIII и XIX веков было ближе, нежели мне, специалисту в области античного искусства и археологии. К сожалению, их знания о загадочном Федоре Ивановиче оказались на том же уровне, что и мои. Пришлось искать самому. Кое-что удалось найти, и теперь я могу представить, хотя бы в самых общих чертах, необыкновенную судьбу этого необыкновенного человека. Конечно, я убежден в том, что можно найти еще целый ряд литературных и архивных свидетельств о судьбе Федора Ивановича. Очень многое смогут рассказать его произведения, но я не пишу полную биографию этого замечательного человека. Моя цель гораздо более скромная: дать общий набросок его жизни и более подробно рассказать об одном периоде его работы в Греции. Чем важен этот период? Тогда был создан важнейший труд его жизни, не зря гравюры Парфенона, выполненные его рукой, хранятся как величайшая драгоценность в Британском музее. Кроме того, его деятельность на акрополе Афин ближе всего мне, так как, не будучи специалистом в новой живописи, я не могу так уверенно судить о других работах Федора Ивановича. Наконец, в тех, к сожалению, немногих русских работах, в которых говорится о нем, описание греческого периода его жизни обычно сводится к одной фразе.

Итак, родился Федор Иванович, по-видимому, около 1765 года. Я говорю — Федор, потому что не знаю, какое имя дали ему при рождении родители, и, видимо, этого нам уже никогда не удастся узнать. Родился он где-то в астраханских степях, где кочевало калмыцкое племя торгутов, к которому принадлежали родители будущего художника. Его самые первые воспоминания относятся к 1770 году, когда племя, находившееся до этого под

протекторатом России, решило откочевать дальше на восток. Эта откочевка привела их к столкновению с яицкими казаками. Сам Федор Иванович говорил позднее, что он хорошо помнит, что они обедали где-то на горе под деревом, когда на них напали казаки. Какая-то женщина, наверное его мать, всячески старалась отнять его у похитителей, но все было напрасно. Маленький, лет пяти, ребенок оказался у яицких казаков. Дальше его судьба складывается уже совсем неожиданно. Его отправляют в Санкт-Петербург ко двору Екатерины II. По поводу этого события высказывались разные предположения, но самым вероятным представляется все же, что мальчик был сыном калмыцкого князька, иначе необъяснима была бы его отправка в столицу — калмыки ведь не представляли большой редкости в императорской России.

Несколько лет мальчик проводит в Петербурге, и мы можем только догадываться, чем была заполнена жизнь ребенка в эти годы. По позднейшим сведениям, он всегда вспоминал эти годы как самые счастливые в своей жизни. Может, это только казалось ему. Но несомненно, что всегда позднее, когда судьба, бросавшая его по свету, сталкивала с русскими, Федор Иванович всей душой неизменно тянулся к ним.

Об этом периоде его жизни известно достоверно только одно — тогда его крестили и дали то имя, под которым он вошел в историю искусства. Но в судьбе его готовился новый крутой поворот. В Россию приезжает баденская герцогиня Амалия, сестра которой была первой женой наследника престола, будущего императора Павла I. Гостеприимная «матушка Екатерина» радостно встречает гостей и на прощанье как дикуинку, невиданную в Германии, дарит Амалии маленького калмычка. Начинается его долгий путь на Запад, в Германию.

В герцогстве Баденском Федору приходится жить в Карлсруэ. Сердобольная герцогиня решает, что игрушка уже подрастает и перестает быть интересной. Она думает из Федора сделать врача. Некоторое время его учат медицине, но в нем просыпается художник, и художник такой яркой индивидуальности и столь поглощенный творчеством, что всякие разговоры о медицинской карьере были оставлены и мальчика начинают учить живописи. Первым его учителем становится придворный художник Меллит, его сменяет директор галереи Беккер. После нескольких лет уче-

ния в Карлсруэ, в 1791 году, Федора отправляют в Рим. Римский период его жизни знаменуется первыми успехами уже не как ученика, а как самостоятельного художника. Здесь Федор Иванович проходит настоящую высшую школу искусства, изучая памятники античности и Возрождения, покорившие его на всю жизнь и оказавшие решающее влияние на все его творчество. Здесь же он вырабатывает свою художественную манеру: он предпочитает всему рисунок и особенно гравюру. Как писали в прошлом веке, «кажется, что природа готовила Федора Ивановича более для ваятельного искусства, чем для живописи. В произведениях его заметна необыкновенная выпуклость, и он любит писать двумя красками»¹. Гравюра становится его излюбленным жанром, которому он отдает свою душу, и гравюра приносит ему первую известность. Очень характерно для Федора Ивановича, что в этой, по-видимому, первой своей серьезной работе он занимается за одну из сложнейших тем — он решается подготовить гравюры с ворот баптистерия во Флоренции, выполненных знаменитым Лоренцо Гиберти (1378—1455). Прославленный флорентинец — скульптор, литейщик и золотых дел мастер, современник и успешный соперник таких гигантов, как Брунеллески и Донателло, выполнил ворота в высоком рельефе. Каждая из касет, на которые они были разделены, представляла один из эпизодов истории сотворения человека и была окружена великолепным орнаментом. Восторг современников перед этим маленьким произведением пластики нашел свое выражение в словах Микеланджело, говорившего, что двери Гиберти достойны быть дверями рая.

Гравюры, подготовленные Федором Ивановичем, произвели очень сильное впечатление на современников. Именно этой работой он приобрел известность как лучший рисовальщик и гравёр Рима². В это время он привлекает внимание людей лорда Эльджина, готовящих экспедицию в Грецию. Благодаря участию в ней Федора Ивановича мы получаем некоторые сведения о нем в течение нескольких лет. Личный секретарь Эльджина Гамильтон (ставший позднее министром Неаполитанского королевства) писал своему патрону 30 ноября 1799 года: «Очень странно, что во всем Риме не нашлось ни одного рисовальщика скульптур — римлянина, у которого были бы сколько-нибудь подходящие способности. Мы выбрали одного, считаю-

щегося лучшим в этой области, с прекрасным характером и хорошими манерами. Возможно, он единственный человек, обладающий вкусом, которого породила его нация; он татарин³ и происходит из Астрахани, учился в Германии и работал 8 лет в Риме. Его плата 100 фунтов стерлингов в год⁴. Затем на многие месяцы Федор Иванович исчезает из переписки агентов лорда Эльджина. Только по ряду косвенных свидетельств можно понять, что следующие два года он очень много и очень успешно работал. Однако это время нельзя считать совершенно безоблачным в жизни Федора Ивановича. Видимо, у него начались нелады с Лузиери, непосредственным руководителем группы художников и скульпторов, работавших на акрополе. Так, осенью 1801 года среди прочих известий тот пишет следующие строки о Федоре Ивановиче: «Я не имею причин быть довольным поведением и работой архитекторов, я не совсем доволен Федором, который не работал и не желает делать того, что он обязан делать. Он такой человек, который не любит долго оставаться на одном месте, и думает о том, чтобы уйти. Я вынужден был отпустить его, после того как я использовал все возможные средства привести его в разум. Но я видел, что я должен отпустить его поскорее, так как его пример плохо действовал на других. Я буду рисовать все, что он не сделал... Я надеюсь, что за три месяца по крайней мере наиболее необходимые работы будут окончены...»

Причину подобного отношения Лузиери можно объяснить, видимо, следующим образом. Лузиери был небесталанным художником, но во время экспедиции Эльджина он действовал скорее как надсмотрщик, чем как художник. Не желая понимать потребностей работающих с ним художников и скульпторов, хотел превратить их из артистов в обыкновенных поденщиков, забывая о том, что художнику, помимо красок и кистей, нужно еще и вдохновение и что он не может быть машиной. Сказывалась здесь, по-видимому, и зависть, поскольку Федор Иванович пользовался неизмеримо большей известностью, чем Лузиери, и именно Федору Ивановичу была поручена самая ответственная часть работы — рисунки скульптур Парфенона. Вполне возможно, что Лузиери тайно, в глубине души, был даже рад уходу своего соперника — по-видимому, не зря в его письме стоит фраза: «Я буду рисовать все, что он не сделал». Ведь с уходом

Федора Ивановича Лузиери вполне законно мог заняться той работой, которая могла принести настоящую славу.

Видимо, еще одно обстоятельство сыграло свою роль в тех неладах, которые разделяли двух художников экспедиции: Федор Иванович был прикован к акрополю, а Лузиери как руководитель — нет. Он много ездил по Греции, смотрел и зарисовывал памятники. Конечно, Федору Ивановичу, художнику, влюбленному в античность, хотелось также часть своего времени потратить на более широкое знакомство с пленившей его страной, но Лузиери, верный страж хозяйской копейки, требовал, чтобы все время до последней минуты было отдано скорейшему окончанию заказа лорда. Как мы видим, причин для споров, ссор и доносов Лузиери, имевшего право непосредственного сношения с Эльджином, было более чем достаточно. В этой в общем очень неравной борьбе у Федора Ивановича был единственный союзник — его талант, и лорд Эльджин и его секретарь Гамильтон понимали, что качество работы Федора Ивановича несоизмеримо с качеством работ Лузиери, и знали, что такого художника следует удерживать. Поэтому все годы работы экспедиции, несмотря на все доносы Лузиери, Федор Иванович пользовался неизменным расположением лорда.

Мы не знаем, как долго отсутствовал Федор Иванович, — видимо, его путешествие по Греции было непродолжительным. Во всяком случае, в письме Эльджина в экспедицию от 9 августа 1802 года передаются «наилучшие пожелания Федору». Это особое внимание к нему, видимо, явилось результатом личной встречи художника и посла, когда весной 1802 года Эльджин прибыл из Константинополя в Афины. Здесь, на месте, он лучше оценил и труд Федора, и личные качества Лузиери, тогда, очевидно, и состоялось возвращение Федора Ивановича в экспедицию. Это упоминание в письме тем более показательно, что незадолго до него Эльджин получил новый донос, на этот раз от Ханта: «Об архитекторах и калмыке я не могу говорить одобритительно, за исключением только качества их работы. Они работают крайне медленно и так тесно связаны с Фовелем, что они даже подозреваются в намерении скрыть копии и обмеры с тем, чтобы отправить их в Париж... Перед их отправлением отсюда они будут строго обысканы в присутствии янычар». Итак, на сцену выступает новое лицо — Хант — англичанин

ский священник при посольстве и агент британского правительства в Афинах. Здесь характерно опять полное признание высокого качества работы Федора Ивановича и слышатся знакомые уже по письму Лузиери обвинения в медленности работы. Хант, путавший свои обязанности агента правительства и личного агента посла, так же как и Лузиери, выступает в роли надсмотрщика над художниками и архитекторами, старательного стража хозяйских денег. Но здесь появляется уже и новый момент, связанный с именем Фовеля. Кто же это такой?

Фовель был вице-консулом Франции в Афинах. Поскольку, как мы уже упоминали, в это время идет жесточайшая борьба двух держав — Англии и Франции, британскому правительственному агенту, естественно, не нравятся тесная дружба архитекторов и Федора Ивановича с французским представителем в Афинах. Но вражда, обязательная для Ханта, вовсе не была обязательной для них, ибо они не были гражданами Великобритании и им не было никакого дела до распри этих могущественных держав. И вот, чтобы скомпрометировать людей, чье поведение не нравилось этому попу-разведчику, он не стесняется обвинить их (разумеется, за глаза) в элементарной нечестности, не останавливаясь перед обещанием обыска с помощью янычар подкупленного афинского паши.

Если же мы теперь от наветов обратимся к подлинным фактам, то причина дружды Федора Ивановича и Фовеля станет совершенно ясной. Фовель пробыл в Греции всю свою сознательную жизнь⁵. Благодаря своей любознательности, энергии и обширным знаниям он собрал большую и превосходную коллекцию памятников древнегреческого искусства. Его дом в Афинах стал настоящим маленьким музеем. Естественно, что эта коллекция, как и общество высокообразованного, прекрасно знавшего страну француза, не могло не привлекать нашего художника. Более того, в судьбе Фовеля было так много общего с судьбой Федора Ивановича, что они не могли не сблизиться. На протяжении долгого ряда лет Фовель выполнял ту же самую работу для французского посла графа Шуазеля, какую Федор Иванович делал для английского. Фовель изъездил всю Грецию, был в Египте, подготовил практически все иллюстрации для книги Шуазеля и при этом даже не был упомянут в тексте ее. Это состояние унижительной зависимости художника от высокопородного аристократа

прекратила только Французская революция. Дружба этих двух художников выглядела, однако, в глазах Лузиери и Ханта весьма подозрительной. Вдобавок Хант сообщает несколько позднее еще об одной «провинности» Федора Ивановича: «Прибыл князь Долгорукий, калмык все время был в его компании, не работал и, кажется, имел в своей голове какие-то амбициозные планы. Лузиери рассудил, что было бы самое лучшее послать его в Рим, с тем чтобы он там выполнил намеченные гравюры и где он имел бы все возможности для работы и помощников. И если бы он бросил эту работу, она легко могла бы быть продолжена другими». Князь Долгорукий был русским посланником в Неаполе, интересующимся, как положено вельможе этого века, антиками. Его путешествие по Греции продиктовано было, помимо политических, и художественными целями. Известно, что он получил разрешение от турецких властей подниматься на акрополь и рисовать там. Любопытно сообщение, что Федор Иванович постоянно был с Долгоруким. Конечно, князю лучшего гида в Афинах найти было трудно, но, с другой стороны, это еще один маленький штрих в образе художника — его везде и всегда тянет к русским, и мы можем только догадываться, что это были за «амбициозные планы», о которых пишет Хант. Может быть, это были мечты вернуться в Россию? Кто знает?⁶

Дальнейшие события продолжали обострять обстановку. В Афины вернулись в сентябре 1802 года Гаспари (комиссар Франции) и уже известный нам Фовель в качестве его помощника. Немедленно летит Эльджину сообщение о том, как это сказалось на Федоре Ивановиче: «Так как Калмык уже долгое время не работал и так как он полностью портится, когда прибывают эти джентльмены, я сказал ему, что он должен отправиться в Рим для изготовления гравюр на основании всего того, что он нарисовал здесь. Ему тяжело любой предложенный ему план, он находится в состоянии нерешительности, и его голова полностью перевернулась со времени приезда князя Долгорукого... Если мистер Гамильтон скоро уедет в Италию, я ему дам рисунки Калмыка, чтобы он передал их в руки Пиале. Во всяком случае, они могут быть выгравированы в Риме под руководством Каммучини и самого Пиале».

На этот раз, по-видимому, совместная деятельность Лузиери (полухудожника-полнадсмотрщика) и Ханта (странного гиб-

рида дипломата, разведчика и попа) по возможному очернению Федора Ивановича имела успех. От Эльджина следует указание: «Калмык должен вернуться в Италию. Он не должен ничего делать, кроме как присматривать за реставрацией метоп в Риме или за изготовлением форм для отливки в Англии».

Перед нами, по-видимому, разворачивается настоящая трагедия художника, о которой мы получаем только самые смутные сведения: с одной стороны, какие-то разговоры с Долгорукиком, которые «перевернули ему голову», возможно, желание вернуться в Россию, с другой — беззастенчивый шантаж Ханта и Лузиери, готовых отнять у художника то, чем он жил четыре года, — его рисунки Парфенона — и передать их для гравировки итальянцам. Ведь надо помнить, что Федор Иванович был великодушным мастером гравюры, бесконечно любившим этот жанр искусства, прекрасно понимавшим, что все его труды на Парфеноне могут пропасть, если его рисунки попадут в чужие, холодные и, конечно же, гораздо менее искусные руки. Хорошо хоть, что у Эльджина и на этот раз хватило понимания, что лучшего мастера гравюры ему не найти, и он настойчиво писал своим агентам о том, что именно Федор Иванович должен отправиться в Рим для завершения работы по подготовке гравюр. Но зато Лузиери вновь показал себя с самой неприглядной стороны. Вот что он пишет в письме от 16 сентября 1802 года: «Калмык, видя меня решившимся послать рисунки в Рим с мистером Гамильтоном и понимая, что гравюры будут выполнены другими художниками, если он не решится твердо гравировать их сам, был так потрясен, что после нескольких минут он обещал начать работу, как только он получит необходимые для этой цели вещи...»

Долгая борьба закончилась. Художник решился. Но каким безжалостным шантажистом выглядит в этом письме Лузиери, бывший художник, превратившийся в какого-то плантаторского надсмотрщика, гордящегося тем, как умело он мучил своего собрата по искусству и как успешно он его сломил. Конечно, ему пришлось пойти и на некоторые уступки, об одной из которых он сообщает в том же письме: «Однако я вынужден был пообещать брать его с собой, когда я буду делать интересные путешествия». Видимо, подобные компромиссные условия как-то примирили Лузиери с Федором Ивановичем, во всяком случае, в письмах конца 1802 года он вполне дово-

лен работой художника, но зато продолжает злостствовать Хант, радостно предвкушавший в одном из писем декабря этого года: «Скоро Ваше лордство даст паспорт ему (Федору Ивановичу. — Г. К.) и компании, за исключением Лузиери, и Вы будете скоро свободны от этого бесполезного балласта». Трудно решить, чего здесь больше: злости или неумелого угождения перед лордом, который, однако, оказался много умнее своего чересчур усердного агента. Не особенно прислушиваясь к советам Ханта и Лузиери, весной 1803 года Эльджин приезжает в Рим, куда незадолго до этого прибыл Федор Иванович, и здесь заключает с ним новое соглашение относительно работы над гравюрами. Согласно этому договору Федор Иванович должен ехать в Англию, чтобы закончить там свои рисунки и изготовить с них гравюры⁷. Ему за это положено 150 фунтов в год, 50 фунтов на оплату дороги в Лондон и 50 на обратный путь, свободный стол и свободное жилье в Лондоне. Кажется, перед нами выступает еще один незнакомый ранее штрих судьбы и нрава художника. Что значит «свободный стол» и «свободное жилье»?

Для ответа на этот вопрос надо вернуться немного назад и вспомнить декабрьское письмо Ханта, в котором он так злорадно предвкушал тот момент, когда лорд отдаст Федору Ивановичу его паспорт. Все это явления одного порядка. Для знатного вельможи в это время было весьма модно путешествовать по экзотическим странам (а Греция тогда была еще экзотической страной) в сопровождении художника, и лорд Эльджин следовал моде. Очень часто этот сопровождающий вельможу художник рассматривался почти как слуга, и как лакей должен был сдать свой паспорт нанIMATEлю. Представьте себе, как могло это унижать художника! К тому же не надо забывать, в какое время происходили эти события. Ведь только что прогремели бури Великой французской революции с ее громовым лозунгом: «Свобода, равенство, братство!» Идеи прирожденного равенства людей, развитые Руссо и вдохновившие республиканцев, широко хлынули в Европу, будоражили умы и сердца миллионов людей. Невозможно допустить, чтобы они остались совсем чуждыми художнику, который всегда должен был помнить, что он в детстве как маленький раб, как дикий зверек, как вещь был подарен императрицей баденской герцогине. Если мы вспомним об этом, то перед нами в другом

свете встанет и его дружба с Фовелем, представителем Французской республики⁸. Пускай республика уже была на пороге своей гибели, пускай в ней хозяйничал первый консул, а со следующего года уже император Наполеон Бонапарт, для многих Франция все еще сохраняла свою притягательную силу, ибо в мире еще не забыли, как она свергла своих королей, как послала их на гильотину, как мужественно сражалась со всей монархической Европой. Да и сам Наполеон еще многими считался не могильщиком, а порождением революции.

Если мы вспомним все это, то для нас совсем по-другому будут выглядеть те скромные права, которые в новом договоре приобрел Федор Иванович: «свободный стол» и «свободное жилье». Это очень многое означало для него — жить так, как хочешь и где нравится, не быть обязанным приспособливать свой день к распорядку жизни лорда, не обедать на дальнем конце стола вместе с гувернантками детей лорда, стараясь держаться как можно незаметнее, не нарушая веками установленный чопорный обряд приема пищи аристократом. Для него это значило жить свободно, встречаться с теми, кто ему нравился, работать тогда, когда было вдохновение.

Вот на таких условиях едет Федор Иванович в Англию, где остается более двух лет, завершая свои работы, начатые на афинском акрополе.

Как отмечалось в начале очерка, целью нашей работы не является полная биография Федора Ивановича, а только тот период его жизни, который связан с Грецией, с Парфеноном. Поэтому об остальных годах скажем очень кратко, буквально в нескольких словах. В 1806 году Федор Иванович возвращается в Баден, где назначается придворным живописцем великого герцога Баденского, Южную Германию он покидает только один раз, в 1810 году, когда снова едет в Рим, а затем в Южную Италию — Неаполь, Салерно, туда, где некогда процветали города великой Греции. Пробыв здесь полгода, Федор Иванович возвращается в Карлсруэ, заехав по дороге в Париж. Все последующие годы он много и плодотворно работал. Умер Федор Иванович 27 января 1832 года⁹.

Важнейшим из его произведений послед-

них лет является монументальная роспись главной евангелической церкви в Карлсруэ¹⁰. В ней художник на наружных частях хор написал гризалью, подражая мраморным барельефам, цикл сцен. Под органом художник поместил четырех евангелистов. «Словно древние боги с саркофагов, сидели они облокотившись; так римляне изображали речных божеств, опирающихся на урны»¹¹. Эта работа еще раз показала его блестящий талант придавать живописи необыкновенную пластичность, выпуклость, так что у зрителя создается впечатление, что ряд каменных изваяний протянулся вдоль всего периметра церкви.

Им выполнен еще ряд больших работ, но по-прежнему художник особенно любил рисунок и гравюру. Известны его рисунки, изображающие народного поэта Иоганна Гебеля и архитектора Вейнбренера, «Триумф Галатеи», «Вакханалия», «Марс и Венера» и др. «Вакханалия» особенно удавалась похвал современников — здесь «видны жизнь и движение, в них соединены огонь Юлия Романа со смелостью и силой Буонаротти»¹². Но особенной известностью пользуется автопортрет, выполненный в технике гравюры, изданный первоначально в Германии, а затем, в 1815 году, в Лондоне. Вот что писал о нем В. В. Стасов: «Портрет этот необыкновенно высоко ценится художниками. И не мудрено: это одно из чудеснейших произведений гравировального искусства. Все в нем правда, и просто, и скромно; ничто не бросается в глаза; перед вами только голова и бюст калмыка средних лет, между 30 и 40, с меховой шапкой на голове — никакого фона, никакой особенной позы, никакого антуража нет у этой калмыцкой головы. Но какая жизнь, какая правда, какой колорит, какая свежесть, сила и — больше всего — какой вкус в этом портрете! Довольно одного взгляда, чтобы почувствовать, что портрет делал человек с глубоким художественным даром, с глубоким чувством и великими художественными инстинктами»¹³.

Не удивительно, что такая высокая оценка порождала и ажиотаж вокруг гравюр Федора Ивановича, которые старательно собирались коллекционерами. По-видимому, лучшая из коллекций его гравюр в России была у Ровинского¹⁴, у которого было 25 листов, портрет Федора Ивановича также имеется и в Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «Русский калмык, баденский придворный живописец». «Отечественные записки», часть 16, № 42 (октябрь 1823 г.), стр. 166.

² В это время им выполняются и другие гравюры, позднее очень высоко ценившиеся, как свидетельствует один из крупнейших знатоков гравюры Д. А. Ровинский. Объектом его трудов были античные статуи и рельефы из Ватиканского музея. См.: Д. А. Ровинский, Подробный словарь русских гравиров XVI—XIX вв. СПб., 1895, стр. 803—804.

³ Гамильтон ошибочно приписывает Федору Ивановичу татарское происхождение, но вряд ли можно было требовать от английского джентльмена таких познаний в этнографии.

⁴ A. H. Smith, Lord Elgin and his Collection. Journal of Hellenic Studies. Vol. XXXVI, 1916, стр. 172.

Далее все отрывки из писем даны на основании этой статьи Смита.

⁵ См.: 'Εὐαγεροδάκι 'αὐτῆς ἰδὼν ὑκκὼν τοῦτος' Ερ 12, Αἰγυῖαι 1931, стр. 759.

⁶ Это предположение не кажется очень невероятным, если мы вспомним, что писал наш великий знаток искусства В. В. Стасов, заканчивая свою статью, посвященную Федору Ивановичу: «...и если он на что-нибудь жаловался, то на то только, что ему не довелось прожить весь век в России, с русскими, которых он всю жизнь любил от всей души... он был в отчаянии, когда в 1813 году проходили через Германию русские войска, и он уже не в состоянии больше был говорить с ними по-русски». См.: В. В. Стасов, Арап Петра I и калмык Екатерины II. Собр. соч., т. I. СПб., 1894, стр. 71.

⁷ Интересно, что и в официальном «Меморандуме», представленном английскому парламенту лордом Эльджином, нет ни одного плохого слова о Федоре Ивановиче. Наоборот, Эльджин очень высоко оценивает его работы и в то же время почти ничего не говорит о Луизиере как художнике. Текст «Меморандума» см. в книге The World of Archeology. The Pioneers tell their own Story. Edited and introduced by C. W. Ceram. London, 1966, стр. 47-50.

⁸ О политических взглядах Фовеля известно очень

мало. Его французских биографов не привлекала эта тема. Весьма любопытен, однако, факт, приведенный Филиппом Леграном, подчерпнутый им из записок одного немецкого путешественника: еще в 1806 году помещение французского консульства в Афинах было украшено изображением фригийского колпака — символа свободы, столь популярного в годы Французской революции. См.: Ph. E. Legrand, Biographie de L. F. S. Fauvel, Revue archéologique, 3-e serie, Vol. XXX, Paris, 1897.

⁹ U. Thieme und F. Becker, Allgemeines Lexicon der Bildenden Kunstler B. IX, Leipzig, 1915, стр. 337-338.

¹⁰ А. Трубников, Рисунки Федора Калмыка в Карлсруэ. «Старые годы», 1911, июнь, стр. 37—39.

¹¹ Там же, стр. 38.

¹² «Русский калмык...» стр. 166.

¹³ В. В. Стасов, Арап Петра I и калмык Екатерины II. Собр. соч., т. I. СПб., 1894, стр. 71.

¹⁴ Д. А. Ровинский, Подробный словарь русских гравированных портретов, т. II. СПб., 1889, стр. 1885—1886.

Исправляющий Должность
 младшего Помощника Доло-
 производителя Департамен-
 та Государственной Полиции
 Колмажский Регистратор Кле-
 точниковъ увольняется отъ
 службы Января 29 Дня 1881 г.

Директоръ Баронъ Нейд.

Н. Троицкий

Саратов

Подвиг Николая Клеточникова

Я служил русскому обществу.
 всей благомыслящей России.

Н. В. Клеточников

Немало подвигов свершили русские революционеры, пока Россия ценой неслыханных мук и жертв выстрадала марксизм.

Был среди них и единственный в своем роде, малоприметный, но многозначительный подвиг, который продолжался 734 дня. С 25 января 1879-го по 28 января 1881 года революционер служил под личиной жандарма в самом сердце политического сыска — в Третьем отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии, а затем в Департаменте полиции, служил и ежедневно обезвреживал полицейские козни против революционного подполья. Имя этого революционера — Николай Васильевич Клеточников.



Н. В. Клеточников. Из иллюстративного фонда ГИМа.

I. Пролог

Родился он 20 октября 1846 года¹ в Пензе. Его отец — титулярный советник Василий Яковлевич Клеточников — служил архитектором в Пензенской казенной палате, мать — Елизавета Лукьяновна — блола домашний очаг. Николай был третьим ребенком в семье.

В 1864 году он окончил Пензенскую гимназию и поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. В Петербургском университете преподавали тогда такие светила науки, как Д. И. Менделеев и П. Л. Чебышев, А. Н. Бекетов и И. И. Срезневский. В числе студентов Клеточников мог встретить интересных и передовых людей: к примеру, на физико-математическом факультете одновременно с ним учился знаменитый Герман Лопатин. Но после разгрома студенческих волнений 1861 года университет был так «исхлестан и распят» полицейскими властями, что ни одно свободное слово, ни одна живая мысль не могли остаться в нем безнаказанными.

25 февраля 1866 года Клеточников ушел из университета со второго курса по состоянию здоровья и вернулся домой. С малых лет он удручал родителей своей хворостью, которую Василий Яковлевич и Елизавета Лукьяновна сочли причиной и замкнутости сына, его привычки уходить в себя и ломать голову над «праздными» вопросами (о «положении народа», о реформах и даже о конституции). Меж тем надвинулись страшные дни, когда за одно помышление о конституции грозила тюрьма. 4 апреля 1866 года в Петербурге студент Дмитрий Каракозов стрелял в царя, когда тот выходил из Летнего сада, но, к несчастью, промахнулся. На этот выстрел царизм ответил террором: обыски, аресты и высылки по всякому поводу, а то и без вывода следовали один за другим.

Николай Васильевич тяжело заболел (врачи признали чахотку) и уехал в теплые края, на Южный берег Крыма. 28 сентября 1868 года он поступил на должность письмоводителя ялтинского уездного предводителя дворянства.

Чиновничья карьера Клеточникова была долгой, но бледной. Он продвигался по службе медленно.

Все в чиновничьем мире скоро опостыло ему: и ежедневное бумагомаранье без пользы и смысла, и традиционный культ чина, и в особенности люди — как правило, убогие в умственном отношении и гряз-

ные в нравственном, хищные, падкие на любое вымогательство и раблепные перед властью, словом, вполне достойные своего ремесла, о котором язвительный водевист Ф. А. Кони писал:

Тут нет особенной науки,
Но принадлежности есть две:
Чтоб были подлиннее руки
И медный лоб на голове.

Николай Васильевич страдал от общения с такими людьми, но не видел для себя другого места при своих, как он считал малых способностях и слабом здоровье.

В 1873 году умерли его родители. Получив небольшое наследство, Клеточников истратил его на поездку за границу: побывал на Всемирной выставке в Вене, присмотрелся к тому, как там живут люди.

Осенью 1876 года он переехал в Симферополь и до следующей осени служил кассиром в Обществе взаимного кредита.

Год в Симферополе был прожит с пользой: Клеточников многое узнал и обдумал. К тому времени уже вся Россия была охвачена подъемом революционного движения. Возникла и начала действовать первая в 70-е годы общероссийская организация революционеров «Земля и воля». Рождение организации было отмечено громким актом: 6 декабря 1876 года на площади перед Казанским собором в Петербурге состоялась демонстрация — первая в России открытая политическая демонстрация. Клеточников внимательно следил за той информацией о «государственных преступлениях», которая проникла в печать. Материал для такой информации давали главным образом политические процессы. Их только за один год, с сентября 1876 по сентябрь 1877 года, было семнадцать. Иные из них становились событием, заставляли «умы kloкoтaть». Еще не утихла молва вокруг нашумевшего в январе 1877 года процесса по делу о казанской демонстрации, как в феврале того же года начался еще более крупный и сенсационный «процесс 50-ти».

Подсудимые революционеры были очень молоды (преимущественно 20—25 лет). К тому же среди них впервые в стенах русского суда оказалось много (14 человек) рабочих и чуть ли не впервые в мире большая группа (16 человек) женщин, совсем еще юных, почти девочек. Таких противников царский суд не хотел принимать всерьез. Но они дали суду и правительству, которое дирижировало судом, такой бой, какого Россия еще не знала. Подсудимые

не защищались от обвинения, они сами обвиняли тот режим, который их судил, и от имени истории выносили ему смертный приговор. «Преследуйте нас — за вами пока материальная сила, господа, — заявила судьям юная Софья Бардина, — но за нами сила нравственная, сила исторического прогресса, сила идеи, а идеи — увы! — на штыки не улавливаются!» Впечатление «пушечного выстрела по существующему строю» оставила у современников громовая речь Петра Алексеява.

Государственный канцлер князь А. М. Горчаков после суда пристыдил министра юстиции графа К. И. Палена: «Вы думали убедить наше общество и Европу, что это дело кучки недоучившихся мечтателей, мальчишек и девчонок, и с ними нескольких пьяных мужиков, а между тем вы убедили всех, что это не дети и не пьяные мужики, а люди вполне зрелые умом и с крупным самоотверженным характером, люди, которые знают, за что борются и куда идут... Теперь Европа видит, что враги правительства не так ничтожны, как вы это хотели показать»².

Жадно читал Клеточников газетные отчеты о заседаниях суда по «делу 50-ти», радовался мужеству и стойкости революционеров. Он уже бесповоротно отдал этим людям все свои симпатии и хотел бы присоединиться к ним. Мешало только одно препятствие: Николай Васильевич чувствовал себя слишком слабым физически для того, чтобы стать революционером. Но хрупкие девушки «процесса 50-ти» казались ему живым укором. Ведь у них нашлось достаточно сил для революционной борьбы!..

И Николай Васильевич решился: он едет в Петербург и пытается войти в доверие к революционному подполью. В сентябре 1877 года. Клеточников поступил вольнослушателем в Петербургскую медико-хирургическую академию и начал было заводить связи с радикально настроенными студентами. Неожиданно новый приступ болезни свалил его. Клеточников вынужден был вернуться в родные края. Еще год, с октября 1877-го до октября 1878 года он провел в Пензе.

За этот год поединок революционеров с правительством достиг небывалого ранее накала. С 18 октября 1877 по 23 января 1878 года в Петербурге тянулся «процесс 193-х» — самый крупный в истории царской России. Этот «процесс-монстр» обесславил царизм на весь мир. Пресса всех стран смаковала бесстрашную речь подсудимого Ипполита Мышкина, который обос-

новал неотвратимость революции в России и приравнял царский суд к публичному дому. 24 января 1878 года на другой день после того, как был объявлен приговор по «делу 193-х», молодая учительница Вера Засулич проникла под видом просительницы к могущественному петербургскому градоначальнику Ф. Ф. Трепову³, и в тот миг, когда Трепов, подойдя к ней, осведомился, каково ее прошение, она выхватила из-под мантильи вместо прошения револьвер и выстрелом в упор тяжело ранила Трепова. 4 августа того же года в ответ на казнь революционера Ивана Ковальского редактор «Земли и воли» Сергей Кравчинский на многолюдной Михайловской площади, в центре Петербурга, среди бела дня зарезал шефа жандармов Н. В. Мезенцова. Акты «красного террора» пугали царизм и воодушевляли его противников, тем более что «Земля и воля» в специальных прокламациях разъясняла мотивы каждого акта и требовала поддержки от общества. Одна из прокламаций, возможно бывшая и в руках у Клеточникова, призывала: «К тебе, русская публика привилегированного и непривилегированного сословия, обращаемся мы, русские социалисты, защитники правды и человеческого достоинства. Пора и тебе опомниться от долгого сна и бездействия и смело стать на сторону социалистов, которые решили, что не следует существовать русскому хищническому правительству... Смерть царскому роду!»⁴

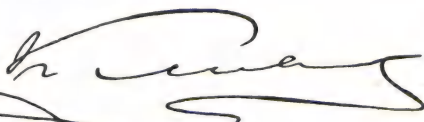
В октябре 1878 года, несколько поправив здоровье, Клеточников снова поехал в Петербург с твердым намерением предложить революционерам свои услуги для любого террористического акта против правительства и «царского рода».

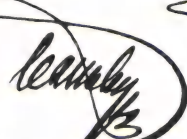
II. Два года в недрах царского сыска

Александр Дмитриевич Михайлов, умный, предприимчивый, идеальный организатор и конспиратор («генерал от конспирации», так титуловали его друзья), вкладывал душу в каждое дело, порученное ему лично, и успевал контролировать все начинания «Земли и воли», кому бы они ни были вменены в обязанность. Как блюститель организации, ее страж и опора, Михайлов был, по выражению современника, «неутомим, неистощим, вездесущ и всеведущ». Его излюбленным правилом, которому он следовал сам и заставлял следовать других, являлся императив: «Ты должен, а потому ты можешь!» Друзья прочили его после победы революции на

Грамоту сію во свидетельство подписать
Орденского печатного укрепить и знаки Ор-
денские препроводить ко вамъ Повелѣни Мы
Капитану Россійскихъ Императорскихъ
и Царскихъ Орденовъ.

Дана въ Санктпетербургѣ во 28 день
Апрѣля 1880 года

Вице-Президентъ 

Генералъ отъ
Кавалеріи 

Членъ 

Ерватороски

№ 5670.

должность первого министра, а пока за неусыпные заботы о порядке в организации прозвали «Дворником».

В один из декабрьских дней 1878 года слушательницы Бестужевских высших женских курсов, знакомые с редактором «Земли и воли» Николаем Александровичем Морозовым, дали знать Морозову и Михайлову, что с кем-либо из них хочет встретиться серьезный и верный человек, недавно приехавший из Пензы, земляк курсисток.

Михайлов и Морозов пришли на свидание в условленное место вдвоем. Клеточников представился им и, не ожидая ответных представлений, сказал просто:

— Я хотел бы принять участие в каком-нибудь опасном предприятии.

— К счастью, опасных предприятий пока не требуется, — возразил Михайлов. — Но... вы могли бы, скажем, для начала оказать нам очень ценную услугу и без особой опасности.

Клеточников произвел на Михайлова благоприятное впечатление. Лет 35, среднего роста, худой и немного сутулый, с лицом симпатичным, но рано поблекшим от усталости и болезней. Редкие каштановые, а на висках уже тронутые сединой волосы, складка глубоких морщин на лбу, окладистая борода и отвислые усы заметно старили его и усиливали общее впечатление физической хрупкости, которое оставлял его внешний облик.

Зато глаза смотрели спокойно и доверчиво, и были в них и ум, и решимость, и готовность на жертву, и какая-то детски чистая и милая правдивость.

— Окажите нам услугу, — повторил Михайлов. — Есть в Петербурге одна подозрительная дама. Она держит меблированные комнаты, сдает их только студентам и курсисткам, а жильцов ее то и дело арестовывают и ссылают. Мы почти уверены, что хозяйка — доносчица. Не можете ли вы на время поселиться у этой особы и понаблюдать за нею?..

Первое задание революционного центра Клеточников выполнил артистически. На следующий же день после встречи с Михайловым (5 или 6 декабря 1878 года) он поселился у Анны Петровны Кутузовой в доме № 96/1 на углу Невского проспекта и Надеждинской улицы, заняв комнату, которая только что освободилась по случаю ареста очередного жильца. О том, как Николай Васильевич завоевал симпатию хозяйки, картинно рассказано в воспоминаниях Н. А. Морозова.

Клеточников подметил, что богатая и

жадная старуха (Кутузовой было 60 лет) любит играть (точнее, выигрывать) в карты, и в течение двух или трех недель каждый вечер галантно проигрывал ей рубля по два. Тем временем он изображал верноподданного провинциала, который приехал из Пензы с надеждой отыскать в столице какое-нибудь пусть не очень денежное, но перспективное место. Когда Николай Васильевич убедился, сколь желанным он стал для Кутузовой как жилец и партнер, он как-то с грустью сказал, проиграв ей, для большего эффекта сразу 10 рублей:

— Ну спасибо вам за компанию, Анна Петровна. Надо возвращаться домой, в Пензу. Места себе так и не нашел. Да и настроение здесь в обществе мне не нравится: очень уж либеральное. Даже вы, умная и серьезная женщина, потворствуете этим смутьянам — студентам да курсисткам.

Кутузова усмехнулась:

— Хотите, я устрою вас на службу?

— Конечно. А куда?

— В Третье отделение.

Теперь усмехнулся Клеточников:

— Что за шутки, Анна Петровна?

— Я не шучу. Слушайте меня. Вы человек надежный — я это сразу понял. Уж в людях-то, слава богу, я разбираюсь. Покойный супруг мой был полковником в корпусе жандармов. Благодаря ему я сохранила кое-какие связи. Не хвастаясь, скажу, что заведующий 3-й экспедицией, то есть, другими словами, начальник сыскальной полиции Третьего отделения, генерал Григорий Григорьевич Кириллов — мой приятель, а помощник Кириллова полковник Василий Алексеевич Гусев — племянник и единственный мой наследник...

Клеточников смотрел на Кутузову во все глаза. Она совсем разоткровенничалась, принялась рассказывать о своей молодости, о том, какой она была умницей и красавицей, как любил ее муж и как доверяли ей сослуживцы мужа, чины Третьего отделения. Оказалось, что в молодые годы она нередко подменяла мужа и выполняла задания столь деликатные, что муж пасовал перед ними.

Итак, старая картежница — матерый шпион Третьего отделения, а все ее демократические жесты (она ластилась к студентам, крестила детей в рабочих семьях и даже жертвовала деньги на «революционное дело») инсценировались для отвода глаз! Когда Кутузова умолкла, Николай Васильевич обещал подумать и дать ответ на ее предложение через несколько дней.

А. Д. Михайлов до сих пор только мечтал о том, как важно было бы для революционной партии заслать своего агента в Третье отделение. Теперь с помощью этой гнусной старухи мечта могла воплотиться в реальность. Но пойдет ли на это Клеточников? Хватит ли у него таланта и сил для агентурной работы? Да и вправе ли революционеры доверить ему такое дело? Михайлов повел долгие прощупывающие беседы с Клеточниковым, чтоб узнать, что у него на уме и за душой, познакомил его с программой землевольцев.

Но когда, наконец, сказал Клеточникову о своем предложении, тот воспротивился. «Из всех невозможных невозможностей это самая невозможная», — вспомнилось Николаю Васильевичу заключение какого-то эксперта на каком-то суде.

— Нет, нет! Это невозможно. Лучше я возьмусь убить царя, взорвать Зимний дворец, но — только не это. Я не смогу недели и месяцы (а может быть, годы?) притворяться перед жандармами.

Михайлов не отступал. Он доказывал, что, во-первых, ложь лжи рознь, важны ее мотивы; во-вторых, умы Третьего отделения не так проницательны, как принято думать, а главное, революционеры научат Клеточникова тайнам конспирации и будут беречь его как зеницу ока. Николай Васильевич понемногу сдавался:

— Допустим, я принял ваше предложение. Буду ли я вправе отказаться от службы в Третьем отделении в любой момент, как только власти потребуют от меня участия в сыске или провокациях?

Михайлов согласился. Тогда Клеточников с некоторым смущением сказал, что есть у него еще одно, последнее условие, на котором он не настаивает, но хотел бы получить на него санкцию «Земли и воли»: может ли он в случае непредвиденного ареста заявить на допросе, что служил революционерам за деньги?

— Я боюсь самосуда, — объяснил он. — Смерть мне не страшна, но погибнуть варварски, без огласки, было бы противно. Если же в деле будут замешаны деньги, то власти наверняка возьмусь чинить над мной расправу в судебном порядке.

Михайлов ответил не сразу. Он знал, что «последнее условие» Клеточникова не понравится землевольцам, но, учитывая, что Николай Васильевич формально не член организации, принял и это условие.

Превозмогая отвращение, шел Клеточников соглашаться на протекцию Кутузовой. Та встретила его с распростертыми объ-

ятьями. Она была так уверена в согласии Клеточникова, что успела похлопотать за него перед самим Кирилловым и теперь спешила обрадовать Николая Васильевича: Кириллов согласен принять его хоть завтра...

Разговор с генералом Кирилловым был недолгим. Генерал предложил Клеточникову рассказать о своем прошлом, а затем сообщил, что берет его к себе «агентом для наблюдения» с заданием выявлять «преступные настроения» среди учащейся молодежи и с жалованьем по рублю в день («итого ровно 30 сребреников в месяц», — горько заметил про себя Клеточников). В заключение генерал сказал, что, когда Клеточников потребует, его вызовут.

Вызова пришлось ждать больше двух недель. Как потом выяснилось, Кириллов назначил расследование в Пензе, Ялте и Симферополе о прошлом Клеточникова. Зато получив отовсюду сведения, которые, во-первых, подтверждали все, что протеже Кутузовой рассказало о себе, и, во-вторых, положительно его характеризовали, шеф 3-й экспедиции вызвал Клеточникова немедленно. Николай Васильевич еще с порога услышал, что он зачислен агентом Третьего отделения «по вольному найму» и должен сегодня же приступить к исполнению своих обязанностей. Это было 25 января 1879 года.

Три дня в неделю, по утрам до 12 часов, Клеточников должен был являться к Кириллову и докладывать о результатах наблюдения. Это была такая нравственная пытка, что при первой же очередной встрече с Михайловым Николай Васильевич взмолился:

— Дайте мне любое другое дело. В шпионы я не гожусь.

Михайлов сочувственно обнял Клеточникова.

— Милый Николай Васильевич, потерпите еще немного. Только будьте внешне старательны. Не проверяет ли Кириллов, на что вы годитесь? Если так, пусть он увидит, что у вас нет сыских способностей, но зато есть усердие.

Клеточников продолжал являться к Кириллову, что называется, с пустыми руками. Он сетовал на свою близорукость, а при случае как-то дал понять, что мешало ему заслужить доверие «нигилистов» и крайнее отвращение к революционным георгиям. В критический момент, когда, как ему показалось, Кириллов стал прикидывать, есть ли смысл держать такого агента, Николай Васильевич попросил для се-

бя каких-нибудь письменных занятий. Кириллов подумал и захотел взглянуть, каков почерк у Клеточникова. С этой минуты карьера Николая Васильевича была обеспечена. Он что-то написал своим каллиграфическим почерком и привел Кириллова в совершенный восторг.

— Да вы талант, сударь! — зычно баял генерал, любуясь почерком Клеточникова.

8 марта 1879 года Клеточников был назначен в агентурную часть 3-й экспедиции Третьего отделения чиновником для письма.

На этот раз Клеточников освоился быстро. Он был не только умен и наблюдателен, но и умудрен чиновничьим опытом, легко ориентировался в канцелярской волоките, все умел, все помнил, а главное, на лету схватывал суть любого, хотя бы и невероятно запутанного дела, после чего мог проворно и лаконично изложить его. К тому же сослуживцы и начальство Клеточникова сразу оценили его редкостное усердие: он первым являлся на службу и последним оставлял ее.

Тузы 3-й экспедиции ставили Клеточникова в пример другим чиновникам. Сам Кириллов благоволил к нему. Николай Васильевич частенько получал денежные премии, а иногда, в особом порядке, даже приглашения от начальства на званые вечера. 20 апреля 1880 года царь Александр II по представлению «вице-императора» М. Т. Лорис-Меликова пожаловал Клеточникову орден св. Станислава 3-й степени. Полковник В. А. Гусев, генерал Г. Г. Кириллов и директор Департамента полиции В. К. Плеве после ареста Клеточникова вынуждены были признать, как это сделано и в обвинительном акте по его делу, что он «в продолжение всей своей службы отличался особенным усердием и пользовался полным доверием начальства»⁵.

Это «полное доверие начальства» гарантировало Клеточникову продвижение по службе и большую осведомленность в тайнах Третьего отделения. С 8 марта 1879 года он числился в агентурной части вольнонаемным служащим, а 12 октября получил штатную должность чиновника для письма. Уже в то время, как об этом свидетельствовал на суде Кириллов, «ему давались в переписку совершенно секретные записки и бумаги, к числу которых принадлежали списки лиц, замеченных по неблагонадежности и у которых предполагались обыски и шифрованные документы». В мае 1880 года Клеточников был переведен в секретную часть 3-й экспедиции в помощь делопро-

изводителю части В. Н. Цветкову. Там он вел алфавит перлюстраций, шифровал телеграммы, представлял в Верховную распорядительную комиссию двухнедельные списки арестованных и даже составлял и переписывал бумаги о комплектовании охранной стражи.

Эта охранная стража набиралась из добровольцев в подкрепление к солдатам, жандармам, полицейским и дворникам, которых явно не хватало для того, чтобы обеспечить сохранность царя в поездках его по столице и особенно по стране. То было время, когда, по словам В. Г. Короленко, «все творческие функции великой страны были обращены на одну охрану».

По признанию В. Н. Цветкова, Клеточников знал все, что входило в круг ведения 3-й экспедиции, «то есть мог все знать, если только желал, так как при постоянном пребывании его на занятиях в экспедиции от него было трудно что-либо скрыть и тем более, что он занимался в секретной части».

После того как Третье отделение было упразднено, а его функции переданы Департаменту полиции, Клеточников с декабря 1880 года заведовал секретной частью 3-го делопроизводства (идентичного по смыслу 3-й экспедиции Третьего отделения) и, наконец, 1 января 1881 года был назначен младшим помощником делопроизводителя всего Департамента полиции. Теперь он, по словам обвинительного акта, «был посвящен во все политические розыски, производившиеся не только в С.-Петербурге, но и вообще по всей империи». Ему доверялись и сбор, и пересылка, и хранение секретной информации. Сам Николай Васильевич показывал на дознании⁶, что он всегда имел при себе ключи от шкафов с перлюстрацией, от сундучка с бумагами особой секретности, а в последний месяц службы и от шкафа с запрещенными книгами. Не зря после ареста Клеточникова В. К. Плеве пенял своим приближенным за то, что революционный агент «имел на хранении все самые секретные сведения и документы».

Для революционеров разведывательная служба Клеточникова приобрела особую значимость потому, что именно в 1879—1881 годах реакция обрушила на освободительное движение невиданный до тех пор шквал репрессий. Только за 1879 год царизм сочинил 445 законодательных актов полицейского назначения. 2 апреля 1879 года земледелец Александр Соловьев сделал третью (после выстрелов Дмитрия Карако-

зова и Антона Березовского) попытку убить Александра II. Вооруженный револьвером самой мощной системы, он гонялся за самодержцем по Дворцовой площади, расстрелял в него всю обойму из пяти патронов, но так и не попал в царя. В ответ на покушение Соловьева три дня спустя вся Россия была разбита на шесть проконсульств (временных генерал-губернаторств), во главе которых встали сагапы с диктаторскими полномочиями, сразу «шесть Аракчеевых». За 1879—1881 годы тысячи людей были упрятаны в тюрьмы, сотни отданы под суд⁷, десятки казнены. В числе казненных были такие видные революционеры, как В. А. Осинский и Д. А. Лизогуб, А. А. Квятковский и А. К. Пресняков. Однако лагерь реакции жаждал еще большей крови. Фанатики из этого лагеря придумывали в помощь официальным властям самостоятельные проекты искоренения крамолы, предлагая учинить «общероссийскую по всем городам и весям облаву» на революционеров⁸. Безудержно росла эпидемия доносов. Идеологи реакции вроде Константина Леонтьева публично и печатно возводили донос в ранг гражданской добродетели: «Теперь пора уже перестать придавать слову ДОНОС то уничижительное значение, которое приучил нас придавать ему либерализм»⁹. И доносы сыпались в Третье отделение, а затем в Департамент полиции, отовсюду и чуть ли не на всех без разбора¹⁰, добровольно и, конечно, по принуждению. Клеточников не боялся преувеличить, когда он заявил на суде:

— Я возьму громадный процент, если скажу, что из ста доносов один оказывается верным. А между тем почти все эти доносы влекли за собой арест, а потом и ссылку.

В такой обстановке Клеточников при его должностном положении и осведомленности мог сыграть и действительно играл для революционного подполья роль охранительного щита. С первых же дней службы в Третьем отделении он начал передавать землевольцам информацию, размеры и значение которой вырастали по мере того, как Николай Васильевич входил в доверие к властям и продвигался по службе. Клеточников имел необычайно емкую, почти беспредельную натренированную память. Он никогда ничего не записывал в канцелярии, но на каждом свидании с Михайловым диктовал наизусть десятки фактов, имен, цифр, адресов и даже тексты документов, которые он запомнил и аккуратно рассортировал в своей памяти для очередного отчета

перед организацией. Значительная часть агентурных отчетов Клеточникова известна нам во всех подробностях.

Еще в 1908 году В. Л. Бурцев опубликовал в парижском издании журнала «Былое» (№ 7—10) перечень шпионов из записок Клеточникова. Четверть века спустя в сборнике документов из архива «Земли и воли» и «Народной воли» были напечатаны знаменитые «Тетради Клеточникова», то есть записи его агентурных наблюдений с марта по июль 1879 года, а также замечания по материалам Третьего отделения за 1876—1877 годы¹¹. К сожалению, остаются неразысканными отчеты Клеточникова за период деятельности «Народной воли» (с августа 1879 года), но этот пробел отчасти восполняют материалы дознания и следствия по «делу 20-ти» и мемуары народовольцев (в первую очередь А. П. Корба и Л. А. Тихомирова).

Информация, которую революционеры получали от Клеточникова, была самой разнообразной. Николай Васильевич заранее сообщал о том, что замыслиается в Третьем отделении. Например, 8 июня 1879 года он предупредил землевольцев: «Агентура хочет извлечь из дел Третьего отделения всех лиц, которые привлекались к дознанию и суду по политическим делам с 1866 года, а по освобождении оставлены были в Петербурге, с тем чтоб следить за этими лицами и мало-помалу высылать их». В первой половине 1880 года Клеточников передал Исполнительному комитету «Народной воли», что министерство внутренних дел и Третье отделение договорились основать в Женеве провокационную газету внешне антиправительственного направления, которая могла бы компрометировать революционеров и вносить разлад в революционный лагерь. Некоторое время спустя Клеточников уточнил и детали этого плана: название газеты («Вольное слово»), имя агента, который был командирован Третьим отделением в Женеву для руководства изданием (А. П. Мальшинский). «Вольное слово» выходило три года (1881—1883). Надежд правительства оно не оправдало. Благодаря Клеточникову народовольцы знали истинное лицо газеты и не поддавались на ее провокации.

Доставлял Николай Васильевич революционной партии и данные секретной статистики государственных преступлений, которая, как писала об этом газета «Народная воля», оставалась для общества «совершенно terra incognita». В номерах 4 и 5 «Народной воли» от 5 декабря 1880 и

5 февраля 1881 года были напечатаны два очерка под названием «К статистике государственных преступлений в России». Автор очерков Лев Тихомиров использовал конфиденциальный «Обзор социально-революционного движения в России» (до 1876 г.), который был составлен по поручению Третьего отделения упомянутым А. П. Мальшинским, издан для служебного пользования всего в 150 экземплярах и держался в «страшном секрете», а также не менее секретные данные министерства юстиции за 1875—1879 годы. Едва ли могут быть какие-либо сомнения в том, что вся эта статистика была получена Исполнительным комитетом «Народной воли» от Клеточникова.

Николай Васильевич называл революционному центру имена тех, кто разыскивается полицией, кому грозит обыск, кто включен в списки подозрительных, за кем следят, причем среди намеченных жертв Третьего отделения оказывались такие разные люди, как профессиональные революционеры Г. В. Плеханов и Ф. Н. Юровский («Сашка-инженер»), литераторы Н. К. Михайловский и Г. З. Елисеев, адвокаты Д. В. Стасов и В. Н. Герард. 2 апреля 1879 года (в день покушения А. К. Соловьева на царя) Клеточников сообщил: «Составлен список 76 подозрительных» (то есть обреченных на обыск, а то и на арест), и далее в сообщении были перечислены все 76 фамилий, в числе которых фигурировали популярные, сочувственно относившиеся к революционерам адвокаты: П. А. Александров, Е. И. Утин, Г. В. Бардовский, А. А. Ольхин, А. А. Черкесов и др. Пока начались обыски и аресты, землевольцы успели предостеречь почти всех поименованных в этом списке.

От Клеточникова революционный центр своевременно узнавал и о непредвиденных арестах (например, Г. А. Лопатина, Д. А. Клеменца, Людвика Варынского) и о предательских показаниях. Благодаря Клеточникову «Народная воля» сумела, насколько это было возможно, обезвредить последствия откровенных показаний А. Ф. Михайлова и грандиозного предательства Г. Д. Гольденберга.

Адриан Федорович Михайлов был членом центра «Земли и воли». Он участвовал в убийстве шефа жандармов Н. В. Мезенцова (был кучером экипажа, в котором спасся от преследователей убийца Мезенцова С. М. Кравчинский). Царский суд 14 мая 1880 года приговорил его к смерт-

ной казни. Михайлов подал на имя диктатора М. Т. Лорис-Меликова прошение, в котором, хотя и признавал себя социалистом, всячески открещивался от террористов, называя их «злейшими врагами русского народа» и даже «злейшими врагами социализма». 15 мая Лорис-Меликов навестил Михайлова в камере смертников, и в тот же день Михайлов начал писать свои показания. Правда, ни в прошении, ни в показаниях Адриана Михайлова нет злого предательства, нет ни раскаяния, ни просьбы о помиловании; Михайлов просил лишь поверить, что с террористами у него нет «ничего общего»¹². Незмеримо больший вред могло причинить «Народной воле» предательство Г. Д. Гольденберга.

Земледелец и народовец Григорий Давыдович Гольденберг — террорист, который 9 февраля 1879 года застрелил харьковского генерал-губернатора князя Д. Н. Кропоткина, — был арестован 14 ноября того же года. Прокурор А. Ф. Добржинский, понаторевший на вымогательстве показаний у заключенных, прельстил Гольденберга химерической идеей: открыть правительству истинные цели и кадры революционной партии, после чего, мол, правительству, убедившись в том, сколь благородны и цели партии и ее люди, перестанет преследовать такую партию. 9 марта 1880 года Гольденберг написал обширное (80 страниц убористой рукописи) показание, а 6 апреля составил к нему приложение на 74 страницах с характеристикой всех упомянутых в показании (143-х) деятелей партии¹³. В июне 1880 года из разговора с арестованным членом Исполнительного комитета «Народной воли» А. И. Зунделевичем Гольденберг понял, что он натворил. На очередном допросе он «пригрозил» Добржинскому:

— Помните, если хоть один волос упадет с головы моих товарищей, я себе этого не прощу.

— Уж не знаю, как насчет волос, — цинично отрезал прокурор, — ну, а что голов много слетит, это верно.

Гольденберг не вынес мук совести. 15 июля 1880 года он повесился в тюремной камере. Перед смертью этот единственный в своем роде предатель написал «Исповедь», в которой он открывал «знакомым и незнакомым честным людям всего мира» свою наивную, несчастную и все-таки преступную душу¹⁴.

Клеточников вовремя известил товарищей по организации и о показаниях А. Ф. Михайлова и о предательстве, а за-

тем самоубийстве Г. Д. Гольденберга. Сообщал он и о других показаниях, которые иногда по малодушию или предательству давали властям арестованные. Но главным в его работе было разоблачение тайных правительственных агентов и всякого рода ловушек и провокаций, которые Третье отделение и Департамент полиции устраивали руками этих агентов, против революционной партии. Стоило, например, Третьему отделению заполучить в агентуру Владимира Дриго, как центр «Земли и воли» в тот же день получил тревожный сигнал от Клеточникова. Дриго служил управляющим имениями одного из самых авторитетных лидеров «Земли и воли», Дмитрия Андреевича Лизогуба, считался доверенным лицом Лизогуба и поэтому легко мог проникнуть в тайны революционного подполья. 28 июля 1879 года Клеточников дал знать центру «Земли и воли»: «...после двухдневных переговоров (26 и 28 июля) Кириллова с Дриго порешили так: так как Дриго уверяет, что, находясь под арестом и живя в Петербурге, он не в состоянии выдать революционеров, но соглашается и даже уверяет в искренности своего желания выдать их, если за ним укрепят все имущество Лизогуба (он говорит, что совесть свою успокаивает тем, что имущество, назначенное для преступных целей¹⁵, теперь он употребит совсем для других, благонамеренных целей, так как он искренне отрекается от своих заблуждений), то Дриго повезут в Чернигов, пошлют туда несколько шпионов, которым он укажет, кого нужно захватить, и будет им ежедневно давать отчет, а чтобы он не изменил правительству, все документы денежные будут отобраны у него и переданы начальнику жандармского управления. Дриго будет официально считаться состоящим под надзором полиции как человек, не привлеченный к суду по неимению улик в преступной деятельности. Может быть, через месяц или два Дриго переведут в Курск, Орел или Воронеж, чтобы не заподозрили в предательстве, и захватят революционеров в его отсутствие».

Клеточников вел тщательно засекреченные счетные книги по выдаче жалоб и наградных агентам сыска. В книгах указывались полностью фамилия, имя и отчество агента, его сыскной стаж и конкретные услуги, которые надлежало просто оплатить или поощрить наградой. Имея дело с таким материалом, Клеточников регулярно называл товарищам имена агентов, их маскировочные клички, при-

меты и адреса, сообщал, какие задания получает тот или иной агент и что он докладывает начальству. Эти сведения, которые сами по себе имели чрезвычайное, порой спасительное значение для революционной организации, Николай Васильевич дополнял колоритными портретами каждого из агентов, описывал их физиономию, характер, привычки.

Революционеры, естественно, в каждом случае принимали какие-то предупредительные меры. Некоторых агентов, из числа наиболее опасных, они предавали огласке. Так, например, в № 1 газеты «Народная воля» от 1 октября 1879 года на первой же странице бросалось в глаза следующее объявление: «От Исполнительного комитета. Исполнительный комитет извещает, что Петр Иванович Рачковский (бывший судебный следователь в Пинеге и в настоящее время прикомандированный к министерству юстиции, сотрудник газет «Новости» и «Русский еврей») состоит на жалованье в III Отделении. Его приметы: рост высокий, телосложение довольно плотное, волосы и глаза черные, кожа на лице белая с румянцем, черты крупные, нос довольно толстый и длинный; на вид лет 28—29. Усы густые, черные. Бороду и баки в настоящее время бреет. Исполнительный комитет просит остерегаться шпиона»¹⁶.

Подобным же образом были пропечатаны агенты Третьего отделения К. И. Беланов (выдал А. К. Преснякова), В. М. Воронович (выдал Г. А. Лопатина), В. А. Швецов и ряд других. Этот прием обезвреживания шпионов мог навлечь подозрение властей на Клеточникова, и, естественно, революционеры старались не злоупотреблять им. Как правило, они использовали другое испытанное средство: агенты брали на учет, сами его остерегались, за ним следили и таким образом иной раз выявляли новых шпионов, о которых не знал даже Клеточников.

В случае, если какой-либо шпион становился крайне опасным, землевольцы (а потом и народовольцы) его уничтожали. Самый яркий пример — судьба Николая Рейнштейна. Петербургский слесарь, член «Северного союза русских рабочих», Рейнштейн стал агентом Третьего отделения по рекомендации Анны Петровны Кутузовой. Он выдал организатора «Северного союза» Виктора Обнорского и много других революционеров, провалил московский филиал «Северного союза» и даже напал на след неуловимой типографии «Земли и воли»,

за обнаружение которой правительство назначило приз в 10 тысяч рублей. Лев Тимофеевич позднее вспоминал, что Рейнштейн «по ловкости и удачливости мог бы разрушить всю назревающую организацию («Земли и воли». — Н. Т.), если бы Клеточников не узнал его раньше, чем он Клеточникова». По заданию центра «Земли и воли» 26 февраля 1879 года в номере московской гостиницы Мамонтова М. Р. Попов, Н. В. Шмеман и еще одно лицо (А. А. Квятковский или Н. П. Мощенко) убили Рейнштейна и на трупе его оставили записку следующего содержания: «Изменник, шпион Николай Васильевич Рейнштейн осужден и казнен нами, русскими социалистами-революционерами. Смерть иудам-предателям!»

Судьбу Рейнштейна разделил и другой «иуда-предатель» — наборщик типографии «Черного передела» Александр Жарков. Он был арестован с тяжелой уликой (полный чемодан номеров газеты «Народная воля»), смалодушничал, вызвался служить Третьему отделению и для начала обещал указать чернопеределческую типографию. Его выпустили из-под ареста, чтобы использовать в качестве провокатора. Однако чернопеределцы, увидев его на воле, заподозрили в этом неладное, так как они знали, что Жарков был задержан с транспортом «Народной воли», а с такой уликой арестованному легче было взойти на эшафот, чем выйти на свободу. Редактор «Черного передела» Осип Аптекман поспешил рассказать о своих подозрениях члену Исполнительного комитета «Народной воли» Марии Ошаниной, та немедленно дала знать Клеточникову. Николай Васильевич в тот же день все узнал и сообщил товарищам. Предательство Жаркова грозило бедой и «Черному переделу» и «Народной воле», поскольку Жарков знал не только всех чернопеределцев, их конспиративную квартиру и типографию, но и некоторых народовольцев, с которыми он встречался в квартире Аптекмана. Решено было переменить все известные предателю адреса, а его самого уничтожить. Правда, спасти свою типографию чернопеределцы не успели. 28 января 1880 года по указанию Жаркова она была захвачена жандармами. Но Жарков спустя неделю поплатился за предательство жизнью.

Землеvolьцы и народовольцы называли Клеточникова своим «ангелом-хранителем», а листки с его информацией в шутку уподобляли магическим заклинаниям, силою которых двери революционного подполья

наглухо закрывались от шпионов и провокаторов. «Мы видели из этих листков, — вспоминал Николай Морозов, — как десятки шпионов рыскали, так сказать, вокруг нас, в примыкающих к нам сферах, но никак не могли до нас добраться, как будто окруженные непроницаемым для них волшебным кругом».

Не раз Клеточников отводил от организации, казалось бы, неминуемую беду. Однажды какой-то шпик выследил поздно вечером революционерку, которая жила в динамитной мастерской «Земли и воли», и доложил В. А. Гусеву: вот, мол, адрес ее квартиры (шпик не знал, что в квартире — мастерская), завтра утром можете арестовать. Клеточников был свидетелем этого доклада. Той же ночью он предупредил землеvolьцев, и наутро, когда жандармы осадили мастерскую, она была пуста¹⁷. Таких случаев не перечесть. Можно себе представить, как порадовало Клеточникова наблюдение, сделанное в № 3 органа «Народной воли»: «У правительства постоянно хватает ума и сообразительности ровно настолько, чтобы запираить колючую, когда лошадь уже уведена».

Разведывательная служба Клеточникова имела и другую, тоже очень важную сторону: поскольку Клеточников разоблачал столь значимые для правительства агентурные источники информации, царизм в 1879—1880 годах хуже обычного был осведомлен о замыслах, делах и связях революционеров. М. Т. Лорис-Меликов даже заключил, что «центром пропаганды, несомненно, служит Москва», о чем он и доложил царю 20 сентября 1880 года, когда деятельность «Народной воли» достигла наивысшего размаха в Петербурге. Именно во второй половине 1880 года народовольцы успели создать в столице внушительную Рабочую организацию, закладывали основы Военной организации и достраивали Центральную университетскую группу, с помощью которой они руководили студенческим движением всей России.

Роль «ангела-хранителя» подполья давалась Клеточникову нелегко. Во-первых, он каждый день рисковал жизнью. Малейшая оплошность могла разоблачить его, а в случае разоблачения его ждала смерть. Но не это Клеточников считал самым трудным в своей работе. Труднее всего было выгладеть своим человеком в той нескандално мерзкой среде, которая его окружала. Николай Васильевич присоединился к революционерам, так как не мог более ужиться с грязным чиновничьим миром, он

бежал из того мира, а теперь ради революции, которая виделась ему символом очищения человечества от всякой грязи, должен был жить в мире еще худшем, населенном низкими, алчными, продажными существами. Среди таких существ Клеточникову приходилось в интересах дела обзаводиться личными связями.

Чинovníки Третьего отделения и Департамента полиции постоянно грызлись между собой из-за окладов, поощрений, взысканий, конских скачек, женских ласк, а то и попросту от нечего делать. Но к Николаю Васильевичу все они относились дружелюбно, он трогал даже их черствые натуры своим бескорыстием, добротой и физической слабостью.

Чтобы не показаться слишком замкнутым и отличным от прочих третьестепенцев, Николай Васильевич скрепя сердце завел на вид приятельские отношения с чиновником Чернышевым, был с ним, как это засвидетельствовано в обвинительном акте, «неразлучен, уходил вместе с ним со службы, вместе обедал в кухмистерской, вместе гулял». Другим «приятелем» Клеточникова слыл в канцеляриях Третьего отделения и Департамента полиции чиновник Вольф, который очень привязался к Николаю Васильевичу, любил ходить к нему в гости, охотно навещал его, когда он болел.

Сложность положения Клеточникова усугублялась еще и тем, что он находился (особенно первое время) под бдительным негласным наблюдением жандармских агентов. Генерал Г. Г. Кириллов доверял своей приятельнице Кутузовой и ее рекомендациям. Кроме Клеточникова и Рейнштейна, Кутузова подыскала для Третьего отделения еще одного именитого шпиона, по фамилии Шарашкин, который в июне 1877 года выдал основателя «Земли и воли» М. А. Натансона¹⁸. Но все же он полагал, что «лучше проверенный черт, чем непроверенный ангел». Не удовлетворявшись обнадёживающим расследованием прошлого Клеточникова, Кириллов приставил к нему тайных агентов, которые следили за квартирой Николая Васильевича и за его связями. Несколько раз помощник Кириллова Гусев вдруг среди ночи отправлял посыльного вызвать Клеточникова для каких-нибудь «экстренных занятий». Клеточников вел себя безукоризненно: чужих компаний сторонился, предпочитая общество сослуживцев, с подозрительными личностями не знался, на вызовы в любое время суток являлся точно.

Много сил и мастерства, необходимых для столь ответственной работы в столь трудных и опасных условиях, Николай Васильевич черпал у своих друзей — землевольцев и народовольцев, которые не только пожинали плоды деятельности Клеточникова, но и главным-то образом вдохновляли его и руководили им. Он был посвящен в стратегические замыслы и отчасти даже в тактические планы землевольцев и народовольцев, ему товарищи по организации рассказывали о каждом успехе революционных сил, будь то террористический акт или студенческая демонстрация, а поручая ему какое-либо задание, разъясняли, на что следует обратить особое внимание, что в текущий момент наиболее важно для партии и почему. Мало того. Если Клеточников охранял революционную организацию, то революционная организация охраняла Клеточникова. А. Д. Михайлов делал все возможное и невозможное для того, чтобы Клеточников действовал при минимуме опасности и с максимальными шансами на успех. Он, как потом вспоминали об этом землевольцы, «постарался окружить Клеточникова непроницаемой тайной, распустил слух, что тот уехал из Петербурга, никому не говорил его имени, даже в кружке (имеется в виду Основной кружок, то есть центр «Земли и воли». — Н. Т.) никому его не открывал, а вел все сношения с ним самолично и вообще берег его как зеницу ока, готовый лучше погибнуть сам, нежели допустить гибель драгоценного агента».

Встречались Михайлов и Клеточников в квартире члена «Земли и воли» Натальи Николаевны Оловенинковой, которая жила легально и была отстранена от всякой революционной работы только ради того, чтобы обезопасить ее квартиру. Если Михайлов по каким-либо причинам не мог прийти на свидание, его заменял Н. А. Морозов (а некоторое время Л. А. Тихомиров). Никто более не имел права являться в квартиру Оловенинковой. Когда же на свидание в заранее условленный час шел Клеточников, то Михайлов или Морозов следили, чтобы за ним не увязался какой-нибудь шпик, а если требовалось, отвлекали шпика, сбивали его со следа. Все, что Клеточников записывал на свиданиях, припоминая свои наблюдения, землевольцы обязательно и немедленно переписывали, оригиналы же уничтожали. Копии записей Клеточникова Морозов уносил в архив «Земли и воли» (а затем и «Народной воли»), надежно устроенный с помощью

адвоката А. А. Ольхина в квартире писателя, секретаря газеты «Молва» Владимира Рафаиловича Зотова, которого Третье отделение и Департамент полиции числили в ранге благонамеренных.

Каждое свидание с товарищами по организации Клеточников встречал как праздник. Здесь он мог, наконец, стать самим собой, расслабить нервное напряжение, отдохнуть душой и получить новый заряд бодрости и сил. Клеточников был очень болен (у него открылась скоротечная чахотка), но заставлял себя держаться, не роптал на то, как нравственно мучает его служба в Третьем отделении, а, наоборот, видя, сколь значима она для организации, просил дополнительных заданий. Ему все казалось, что он помогает товарищам меньше, чем можно. Кроме своих обычных обязанностей, Николай Васильевич постоянно искал случая оказать партии еще какие-нибудь услуги. Так, он регулярно вносил в фонд «Народной воли» деньги из своего жалованья, оставляя себе лишь необходимый минимум. А. Д. Михайлов рассказывал на заседании Исполнительного комитета, с какой чисто детской радостью «агент» (так называли Клеточникова в комитете) передал ему первые 50 рублей, полученные в кассе Третьего отделения.

Товарищ-революционеров Клеточников считал как лучших людей нации (хотя, за редким исключением, не знал их в лицо) и все-таки выше всех ставил одного — А. Д. Михайлова. «С Михайловым, — вспоминал Лев Тихомиров, — они сошлись крайне дружески, любили друг друга, особенно Клеточников, прямо благоволил перед Михайловым».

Личная близость к Михайлову, а также к Морозову и Тихомирову, то есть к людям, которые возглавили внутри аполитичного землевольчества новое, политическое (народовольческое) направление, помогла Клеточникову после раскола «Земли и воли» в августе 1879 года сделать выбор между «Народной волей» и «Черным переделом». Он без колебаний присоединился к «Народной воле», которая, как еще до раскола предсказывал Михайлов, повела лобовую атаку на самодержавие.

«Народная воля» встала на путь политической борьбы против царизма. Главным средством этой борьбы народовольцы сделали индивидуальный террор. Такое средство вообще принято считать (по справедливости) недостаточным для политического переворота и даже, если оно используется как главное средство, бесперспективным и

вредным. Но в конкретных условиях конца 1870-х — начала 1880-х годов террор был навязан «Народной воле» силой обстоятельств как единственно возможное действительное средство борьбы с правительством.

Во-первых, массовое движение в ту пору было еще очень слабым. Рабочий класс только формировался, а крестьянство большей частью держалось пассивно. Все попытки народников с 1863 до 1879 года поднять крестьян на революцию (посредством «хождения в народ») потерпели неудачу. В результате «Народная воля» заключила, что скорое восстание масс невозможно: «ввиду придавленности народа... партия должна взять на себя почин переворота, а не дожидаться того момента, когда народ будет в состоянии обойтись без нее»¹⁹.

Ф. Энгельс еще в марте 1879 года писал о России: «Агенты правительства творят там невероятные жестокости. Против таких кровавых зверей нужно защищаться как только возможно, с помощью пороха и пули. Политическое убийство в России единственное средство, которым располагают умные, смелые и уважающие себя люди для защиты против агентов неслыханно деспотического режима»²⁰. Спустя шесть лет Ф. Энгельс вновь подчеркнул: «Способ борьбы русских революционеров продиктован им вынужденными обстоятельствами, действиями самих их противников»²¹. К. Маркс тоже считал, что террор народовольцев «является специфически русским, исторически неизбежным способом действия, по поводу которого так же мало следует морализировать — за или против, как по поводу землетрясения на Хиосе»²².

Впрочем, террор не был для народовольцев самодовлеющей силой. Он рассматривался лишь как прелюдия и ускоритель народной революции.

— История движется ужасно тихо, — любил повторять А. И. Желябов, — надо ее подталкивать.

«Искусно выполненная система террористических предприятий, одновременно уничтожающих 10—15 человек — столпов современного правительства, — разъясняла программа «Народной воли», — приведет правительство в панику, лишит его единства действий и в то же время возбудит народные массы, т. е. создаст удобный момент для нападения. Пользуясь этим моментом, заранее собранные боевые силы начинают восстание...»²³

Поскольку паника в правительстве, естественно, могла быть особенно сильной в случае убийства самого царя, народо-вольцы и выбрали царя своей главной жертвой. 26 августа 1879 года Исполнительный комитет «Народной воли» вынес смертный приговор Александру II. Началась беспримерная в истории 18-месячная охота на царя.

Всего «Народная воля» подготовила 8 покушений на Александра II, из которых, однако, пять по разным причинам не состоялись (напомним читателю, что, кроме того, в Александру II стреляли: 4 апреля 1866 года — Д. В. Каракозов, 25 мая 1867 года — А. И. Березовский и 2 апреля 1879 года — А. К. Соловьев).

Террор «Народной воли» устрашал царизм. «Верхи» впали в растерянность. Придворная знать кликушествовала от страха. «Льво-яростный кормчий» реакции Михаил Катков хныкал: «Бог охраняет своего помазанника. Только бог и охраняет его»²⁴. «Страшное чувство владело всеми нами, — плакался наследник престола. — Что нам делать?»²⁵

Зато общественность России и Европы воодушевлялась единоборством «Народной воли» с царизмом. К. Маркс в беседе с членом Исполнительного комитета «Народной воли» Н. А. Морозовым в феврале 1880 года заметил, что борьба народо-вольцев против самодержавия представляется ему и всем европейцам «чем-то совершенно сказочным, возможным только в фантастических романах»²⁶.

Народовольцы сохранили за Клеточников тот круг обязанностей, которые он выполнял в качестве агента «Земли и воли», и называли его агентом Исполнительного комитета 2-й (высшей) степени доверия. Порядок сношений с ним не изменился. Как и прежде, ведал сношениями А. Д. Михайлов, а в его отсутствие — член Исполнительного комитета А. А. Квятковский и агент комитета А. Б. Арончик (вместо Морозова, который в январе 1880 года уехал за границу, и Тихомирова, занявшегося исключительно редакционными делами). Но 28 ноября 1880 года Михайлов был арестован. Исполнительный комитет передал сношения с Клеточниковым А. И. Баранникову, а на случай, если бы пришлось срочно известить Клеточникова об опасности, сообщил его домашний адрес Анне Корба. Вскоре пришлось сменить и место свиданий, так как Оловенникова тяжело заболела. Комитет выбрал квартиру Н. Н. Колодкевича. Все эти пе-

ремены оказались роковыми для Клеточникова. После ареста Михайлова он продержался на своем посту только два месяца.

Почему Исполнительный комитет счел возможным принимать своего сверхсекретного агента в квартире нелегального, давно разыскиваемого жандармскими ищейками Колодкевича, непонятно. Члены комитета Вера Фигнер и Анна Корба вспоминали потом, что это решение выглядит странным, но не могли объяснить, почему оно все-таки было принято. Советский историк М. Г. Седов считает, что Клеточников погиб потому, что не стало Михайлова. Пока, мол, Михайлов был на свободе, и Клеточников оставался в безопасности. «Все изменилось с арестом Михайлова. Клеточников потерял незаменимого наставника и вскоре попал в ловушку»²⁷. На деле все было несколько сложнее.

После казни А. А. Квятковского и А. К. Преснякова (5 ноября 1880 года) Исполнительный комитет форсировал подготовку цареубийства. На организации нового покушения были сосредоточены все силы и все внимание комитета. Ни о чем другом в конце 1880 — начале 1881 года в комитете не было и речи. Символичным для той поры был ответ главы Военной организации Н. Е. Суханова на вопрос кронштадтских моряков, только что обращенных им в народо-вольчество, о правах и обязанностях членов «Народной воли»: — Бомба — вот ваше право. Бомба — вот ваша обязанность.

Пропагандистская, агитационная и организаторская деятельность Исполнительного комитета накануне 1 марта 1881 года фактически была свернута.

— Мы затерроризировались, — с тревогой говорил в те дни Желябов.

Занявшись генеральной подготовкой цареубийства, комитет в такой степени сосредоточил внимание и силы на технической стороне дела (слежка за царем, рытье подкопа, изготовление метательных снарядов), что другие стороны (в частности, неукоснительное соблюдение требований конспирации) пострадали. Первой жертвой этого конспиративного затмения и стал Михайлов, а вслед за ним — другие столпы комитета, в числе которых оказался Клеточников. В то же время и Клеточников был стеснен как источник информации для Исполнительного комитета, поскольку с весны 1880 года право обыскивать и арестовывать людей в Петербурге получил наравне с Третьим отделением столыпин

градоначальник, а в Третьем отделении и позднее в Департаменте полиции узнавали о таких обысках и арестах уже *post factum*.

Все же Исполнительный комитет за несколько часов до ареста Клеточникова уже знал об опасности, которая нависла над верным стражем «Народной воли», и попытался спасти его. Началось с того, что 24 января 1881 года был арестован агент комитета Г. М. Фриденсон. Его выдал предатель И. Ф. Окладский.

Юный (20 лет от роду) петербургский рабочий Иван Окладский был активным террористом и пользовался доверием Исполнительного комитета «Народной воли». 18 июля 1880 года Окладский был арестован и предан суду по «делу 16-ти» (это был первый судебный процесс «Народной воли»). На суде он принял даже эффектную позу: «Я не прошу и не нуждаюсь в смягчении моей участи. Напротив, если суд смягчит приговор относительно меня, я приму это за оскорбление». Но после суда, приговоренный к повешению, в камере смертника он пал духом и согласился в обмен на жизнь служить Департаменту полиции провокатором. Тридцать шесть лет, с начала 1881 года до Февральской революции 1917 года, этот, как называл его Н. В. Крыленко, «рантье, живший на процентах с крови народовольцев», предавал революционеров, народников, эсеров, социал-демократов. Только в 1918 году его разоблачил (по материалам архива Департамента полиции) ветеран революционного народничества Н. С. Тютчев²⁸.

Итак, 24 января 1881 года по указанию предателя Окладского был арестован агент Исполнительного комитета «Народной воли» Г. М. Фриденсон. Полиция устроила засаду в квартире Фриденсона и на следующий день арестовала в ней А. И. Баранникова. Теперь была устроена засада в квартире Баранникова. 26 января к Баранникову пришел Н. Н. Колодкевич, которого тоже арестовали. Все эти аресты выполнялись по предписанию градоначальника.

28 января Исполнительный комитет, узнав об аресте Баранникова и Колодкевича, поручил Анне Корба известить об этом Клеточникова. Корба в тот день трижды приходила к Клеточникову, но так и не застала его дома. В третий раз она оставила для Николая Васильевича записку, в которой просила его до свидания с ней ни к кому не ходить. Кроме того,

Корба решилась отправить ему по почте открытку. Эта открытка была получена в квартире Клеточникова полицейской засадой и фигурировала в качестве вещественного доказательства на «процессе 20-ти». По сходству почерков следователи приписывали ее А. И. Желябову. Вот что в ней значилось:

«Николай Васильевич.

Мне Вас нужно видеть, да не знаю, когда Вас захватить дома. Вы знаете, что я гуляю перед обедом по Невскому (солнечная сторона) около 5 час. Не будете ли так добры завернуть на Невский в это время.

28 января 81 г.»

Подпись была неразборчивой.

И запиской и открыткой Корба надеялась отклонить Николая Васильевича от посещения квартиры Колодкевича. Но было уже поздно. В тот час, когда Корба ждала Клеточникова в его квартире, он, только что узнав об аресте Баранникова, прямо со службы шел предупредить об этом товарищей к Колодкевичу. А в квартире Колодкевича уже больше двух суток его ждала засада.

III. Эпилог

Два года Клеточников жил в готовности к тому, что его в любой момент могут арестовать и казнить, и все-таки был застигнут врасплох. Под впечатлением той полурефлексивной боязни самосуда, в которой он когда-то признавался Михайлову, Клеточников показал на допросе, что служил революционерам за деньги. Когда же он превозмог слабость и обдумал возможные последствия своего показания, его объял ужас: он денно и ночно чувствовал на себе укоризненные взгляды товарищей, проникавшие, как ему казалось, сквозь стены одиночного каземата, в котором его томили до начала судебного разбирательства, и как манны небесной ждал суда, зная, что на суде сможет искупить свое нечаянное отступничество.

Судили Клеточникова на знаменитом «процессе 20-ти». Это был самый представительный из всех народовольческих процессов²⁹; судились 11 членов Исполнительного комитета «Народной воли» и 9 агентов комитета. Процесс слушался в особом присутствии сената с 9 до 15 февраля 1882 года при закрытых дверях, в обстановке палаческого беззакония. Председательствовал на суде сенатор П. А. Дейер — «безобразный гном» (по выражению А. Ф. Кони), в тщедушном тельце кото-

рого невесте как умещались исполнинские ресурсы желчи и ненависти к революционерам, тот самый Дейер, который до «процесса 20-ти» судил Сергея Нечаева, а после «20-ти» — Александра Ульянова. Прокурором был Н. В. Муравьев (будущий министр юстиции), звезда которого только что вззошла на процессе по делу о царевубийстве 1 марта 1881 года, где он в качестве обвинителя отправил на виселицу Андрея Желябова, Софью Перовскую³⁰, Николая Кибальчича. Публику составляли лишь сановные особы (министр внутренних дел Н. П. Игнатьев, министр юстиции Д. Н. Набоков, князь П. П. Демидов Сан-Дonato и др.), три-четыре близких родственника подсудимых и редактор «Правительственного вестника».

От гласности, когда-то отличавшей процесс нечаевцев, на «процессе 20-ти» не осталось и следа. Печатать не только отчет о процессе, но и вообще какие-либо сведения о нем, кроме официальной заметки в «Правительственном вестнике», было запрещено.

Клеточников при первой же встрече с товарищами в зале суда признался им в своей слабости. Его успокаивали как могли, но он был безутешен и выглядел таким больным и несчастным, что друзья боялись, доживет ли он до приговора. Однако Николай Васильевич нашел в себе силы постоять за чистоту знамени, которому служил, и загладить свою вину перед товарищами, которая так ранила его совесть. Со скамьи подсудимых перед «вертепом палачей» он обвинял Третье отделение и наследовавший ему Департамент полиции как «отвратительное учреждение, которое развращает общество, заглушает все лучшие стороны человеческой природы и вызывает к жизни все ее пошлые, темные черты».

— Я, — сказал Николай Васильевич, — решился проникнуть в это отвратительное учреждение, чтобы парализовать его деятельность...

Дейер прервал объяснения Клеточникова и, чтобы сбить его на другой тон, вступил с ним в диалог, привлекая к себе общее внимание:

«Председатель (с иронией): Кому же вы служили? Этому отвратительному учреждению (Набоков в волнении встает)... то есть, по вашим словам, отвратительному, или кому-нибудь другому? — Клеточников: Я служил обществу. — Председатель (с иронией): Какому же такому обществу? Тайному или явно-

му? — Клеточников: Я служил русскому обществу, всей благомыслящей России»³¹.

Тогда Дейер сделал заранее отрететированный выпад, который должен был срывать подсудимого:

— Сколько платили вам революционеры за информацию?

Клеточников твердо ответил:

— Нисколько.

Дейер вскипел.

— На дознании вы показали, что брали от революционеров деньги!

Николай Васильевич, не повышая голоса, объяснил:

— На дознании я находился совсем в исключительных условиях, не таких, в каких обыкновенно находятся обвиняемые, хотя бы и в политических преступлениях. Я находился под тяжелым давлением. Я был весь в руках своего начальства, всемогущего, озлобленного за то, что я так жестоко его обманул. В таком положении можно было и не то наговорить. На самом же деле я действовал, глубоко убежденный в том, что все общество, вся благомыслящая Россия будут мне благодарны за то, что я подрывал деятельность Третьего отделения.

«Клеточников ведет себя прекрасно, решительно и достойно, — писал А. Д. Михайлов друзьям на волю в дни суда. — Он говорил спокойно, хотя председатель палачей набрасывался на него зверем. Выставленные им мотивы истинны и честны».

Приговор суда, объявленный около полуночи 15 февраля 1882 года, был свиреп: 10 человек — к смертной казни, 7 к вечной и 3 к двадцатилетней каторге. Дейер, стараясь читать «с выражением», перечислял имена смертников: Александр Михайлов, Николай Колодкевич, Николай Суханов, Николай Клеточников, Михаил Фроленко, Григорий Исаев, Иван Емельянов, Макар Тетёрка, Татьяна Лебедева, Анна Якимова. Осужденные на смерть встретили приговор с достоинством. Михайлов еще накануне писал родным: «Прекрасна смерть в сражении!» Себя он никогда не жалел, но болела душа за товарищей. Тотчас после оглашения приговора он написал друзьям, оставшимся на воле, последнее письмо. В нем были и эти строки:

«Горюю о Клеточникове, которому сылать смерть. Я с ним крепко-крепко поцеловался, сказал ему, что умрем друзьями, как жили».

После суда всех приговоренных к смер-

ти заключили в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Никто из них не просил о помиловании. Но за жизнь этих десяти человек вступилась мировая общественность. Заграничная пресса печатала о героях «процесса 20-ти» сочувственные статьи, вроде той, с которой выступила итальянская газета «Secolo»: «Побежденные сегодня, они станут победителями завтра, потому что борются с мужеством, героизмом и верой, как люди, обреченные себя на смерть для торжества великого идеала»³². Патриарх европейской литературы Виктор Гюго обратился к правительствам и народам с памятным «Призывом», который был опубликован в газетах Европы и распространялся в списках на французском и русском языках по России. «Цивилизация должна вмешаться! — требовал Гюго. — Сейчас перед нами беспредельная тьма, среди этого мрака десять человеческих существ, из них две женщины (две женщины!), обреченные на смерть... Пусть русское правительство поостережется... Ему ничего не угрожает со стороны какой-либо политической силы. Но оно должно опасаться первого встречного, каждого прохожего, любого голоса, требующего милосердия!» Ропотало на жестокость приговора и русское общество. «Что о приговоренных? — беспокоился в письме к родным от 4 марта 1882 года Лев Толстой. — Не выходит у меня из головы и сердца. И мучает, и негодование поднимается, самое мучительное чувство».

Царь вынужден был уступить: 17 марта он помиловал девять из десяти смертников вечной каторгой, только Николай Суханов (как офицер, изменивший присяге) был расстрелян.

Итак, Николай Клеточников и восемь его товарищей вместо смертной казни через повешение получили право, как тогда говорили, на смертную казнь через пожизненное одиночное заключение. 26 марта 1882 года их перевели из Трубецкого бастиона в еще более зловеющий склеп — Алексеевский рavelин Петропавловской крепости — и там замуровали навечно. Все в рavelине было рассчитано на медленное умерщвление заключенных. В камерах царили теснота, полумрак и сырость. Забеленные окна без форточек не пропускали ни света, ни воздуха. Пол скользил под ногами от плесени, с подоконников стекала вода, по стенам ползали громадные (с мизинец) мокрицы. Пища была однообразной и голодной (хлеб с червями и даже сороконожками, пустой кипяток вме-

сто чая на завтрак и ужин, тот же кипяток с капустными листьями вместо щей на обед; гречневая, а по воскресеньям пшенная, причем всегда остывшая, размазня, которая называлась кашей и к которой полагалось в обычные дни пол чайной ложки животного, а в среду и пятницу — растительного масла). К тому же узникам не разрешали никаких прогулок; лишь на пятый или шестой месяц заключения, когда все они заболели цингой, их в первый раз вывели на тюремный двор, где с четверть часа они смогли, наконец, подышать свежим воздухом.

В таких условиях Клеточников, который еще на суде был, по словам очевидца, «в последнем градусе чахотки», почти при смерти, каким-то чудом прожил больше года, хотя именно его — первого контрразведчика русской революции — тюремщики мучили со злым пристрастием. «Не успел он переступить порог тюрьмы, — рассказывал М. Н. Тригони, — как смотритель объявил ему: «Ну, а с тебя взыскания будут строгие». Николай Васильевич крепился, но силы его таяли с каждым днем. Цинга губила и других узников. Все они исхудали так, что ребра показались наружу, зато ноги распухали, как бревна, гнили десны, вываливались зубы. Тогда Клеточников решил пожертвовать собой, чтобы ценой своей жизни добиться облегчения режима для товарищей. «Мы отговаривали его, — вспоминал Н. А. Морозов, — но он остался тверд». 3 июля 1883 года Николай Васильевич начал голодовку. Смотритель рavelина, скандально знаменитый в истории царской тюрьмы Матвей Соколов («Ирод»), этот, по выражению В. Н. Фигнер, «неусыпный цербер», подобный трехголовому псу у ворот Тартара», сначала только посмеивался над ним, потом стал угрожать, а на седьмой день голодовки явился к нему в камеру с двумя жандармами и силою накормил Клеточникова теми же «щами» и той же «кашей», которые были давно противопоказаны организму больного. После этого Клеточников не прожил и трех дней. Он умер 13 июля 1883 года в страшных муках от воспаления кишечного тракта.

И все-таки он достиг своей цели! На другой день после его смерти в рavelин прибыл высокопоставленный ревизор, товарищ министра внутренних дел генерал П. В. Оржевский, который рассудил, что при существующем режиме все узники рavelина перемерут слишком быстро, и счел желательным облегчить условия заключения.

«Все же надо было, — иронизировал по этому поводу один из узников, П. С. Поливанов, — соблюсти хотя бы тень внешнего приличия и некоторую постепенность в препровождении нас из земной юдоли туда, где нет ни плача, ни вздыхания». Со следующего же дня после визита Оржевского узники стали получать более доброкачественную пищу и необходимые лекарства, им дозволили ежедневные прогулки. Правда, иным из них уже ничто не могло помочь, болезнь была так запущена, что они погибали один за другим. 18 марта 1884 года умер Александр Дмитриевич Михайлов. Но заключенные, которых цинга поразила в меньшей степени, смогли восстановить свои силы и дожить до того дня — 2 августа 1884 года, — когда Алексеевский рavelин как политическая тюрьма был закрыт и всех его узников начали переводить в Шлиссельбургскую крепость.

Из числа узников Шлиссельбурга тоже выжили единицы, но они все-таки выжили, а между тем не будь мученической жертвы Николая Клеточникова — и Михаил Фроленко, и Николай Морозов, и Михаил Попов, перенесшие все ужасы 20-летнего заточения в Шлиссельбургской крепости и в конце концов освобожденные революцией 1905 года, погибли бы вслед за Клеточниковым еще до Шлиссельбурга в Алексеевском рavelине. Вот почему мы можем сказать, что подвиг Николая Клеточникова, начавшийся в тот день, когда он проник в святая святых царского сыска, после чего целых два года служил революционному подполью щитом и громоотводом, был, в сущности, подвигом самопожертвования, и завершился он не в день ареста Клеточникова, 28 января 1881 года, а 13 июля 1883 года, в день его смерти.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См. ЦГАОР, ф. ОППС, оп. 1, д. 686, л. 46 (свидетельство о рождении Н. В. Клеточникова). В литературе и энциклопедиях год рождения Клеточникова обозначен неверно (1847), а месяц и число вообще не называются.

² «Былое», 1907, № 10, стр. 193.

³ Трепов Федор Федорович (1803—1889) был побочным сыном Николая I, другом Александра II, отцом двух сатрапов Николая II: Дмитрия (1855—1906) — диктатора России в 1905 году и Алексея (1862—1928) — председателя совета министров империи в 1915—1916 годах.

⁴ «Революционное народничество семидесятых годов XIX века». Сб. документов и материалов в двух томах, т. 2. М.—Л., 1965, стр. 64—65.

⁵ Свидетельские показания Г. Г. Кириллова и В. А. Гусева по делу Кле-

точникова см. в материалах «процесса 20-ти»: ЦГАОР, ф. ОППС, оп. 1, д. 504, ч. 2, лл. 371—373, 412—413. Отношение В. К. Плеве начальнику Петербургского губернского жандармского управления от 18 сентября 1881 года см. там же, д. 511, д. 74. Обвинительный акт по «делу 20-ти» опубликован в кн.: «Процесс 20-ти народолюбцев в 1882 г.» Ростов н/Д., 1906.

⁶ Показания Клеточникова хранятся в ЦГАОР, ф. ОППС, оп. 1, д. 504, ч. 2, лл. 353—355. Важнейшая часть их опубликована С. Н. Валком в кн.: Архив «Земли и воли» и «Народной воли». М., 1932, стр. 27—29.

⁷ За два года (1879—1880) царизм устроил 60 политических процессов.

⁸ Много таких проектов «осело» в бумагах К. П. Победоносцева. См.: «Победоносцев и его корреспонденты», т. I, полумт. I. М.—Пг., 1923.

⁹ К. Леонтьев, Восток, Россия и славянство, т. 2. М., 1886, стр. 109.

¹⁰ В секретном архиве Третьего отделения сохранились анонимные доносы даже на великого князя

Константина Николаевича (брата Александра II). Один из доносчиков взывал к жандармам: «Оберегайте царя от происков Константина, бунтаря в его руках — ширма и орудие для своих целей». ЦГАОР, ф. 109 (секр. архив), оп. 1, д. 516, л. 1.

¹¹ См.: Архив «Земли и воли» и «Народной воли», стр. 160—234. Редактор этого издания С. Н. Валк справедливо отметил, что «запискам Клеточникова в составе источников той эпохи суждено занять одно из очень видных мест».

¹² Прощение и показания А. Ф. Михайлова опубликованы в журнале «Красный архив», 1930, № 2(39) и 1932, № 4(53). В. И. Невский без должных оснований усматривал в них «ужасный факт покаяния революционера» («Красный архив», 1930, № 2(39), стр. 150).

¹³ Подлинный текст заявления Г. Д. Гольденберга см. в Центральном государственном военно-историческом архиве (ЦГВИА), ф. 1351, оп. 2, д. 525, ч. 5-а, лл. 1—40. Приложение см. там же, лл. 75—111.

¹⁴ «Исповедь» Г. Д. Гольденберга опубликована Р. М. Кантором: «Красный

архив», 1928, т. 5(30), стр. 137—174.

¹⁵ Д. А. Лизогуб рассчитывал все свое состояние (на сумму более чем 200 тысяч рублей) передать в фонд «Земли и воли».

¹⁶ П. И. Рачковский (1853—1911) после разоблачения его Клеточниковым уехал за границу и в дальнейшем все-таки сделал блестящую сыскную карьеру: с 1884 года он возглавлял заграничную агентуру, а в 1906 году был директором Департамента полиции.

¹⁷ Об этом и подобных ему эпизодах см.: Л. А. Тихомиров, Заговорщики и полиция. М., 1930, стр. 141—144.

¹⁸ 19 июля 1877 г. по решению центра «Земли и воли» Шарашкин был убит А. К. Пресняковым.

¹⁹ «Революционное народничество семидесятых годов», т. 2, стр. 174.

²⁰ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 19, стр. 158.

²¹ Там же, т. 21, стр. 197.

²² Там же, т. 35, стр. 148.

²³ «Революционное народничество семидесятых годов», т. 2, стр. 176.

²⁴ «Московские ведомости», № 37 от 6 февраля 1880 г.

²⁵ ЦГАОР, ф. 677, оп. 1, д. 79, л. 320.

²⁶ Воспоминания о Марксе и Энгельсе. М., 1956, стр. 318.

²⁷ М. Г. Седов, Героический период революционного народничества. М., 1966, стр. 219.

²⁸ См.: Н. С. Тютчев, Судьба Ивана Окладского. «Былое», 1918, № 4—5. См.: «Процесс предателя-провокатора Окладского-Петровского в Верховном суде». Л., 1925.

Ввиду преклонного возраста подсудимого и за давностью преступления Верховный суд РСФСР заменил Окладскому смертную казнь тюремным заключением на 10 лет.

²⁹ Всего с 1879 по 1890 год царизм провел больше 80 судебных процессов по делам о «Народной воле».

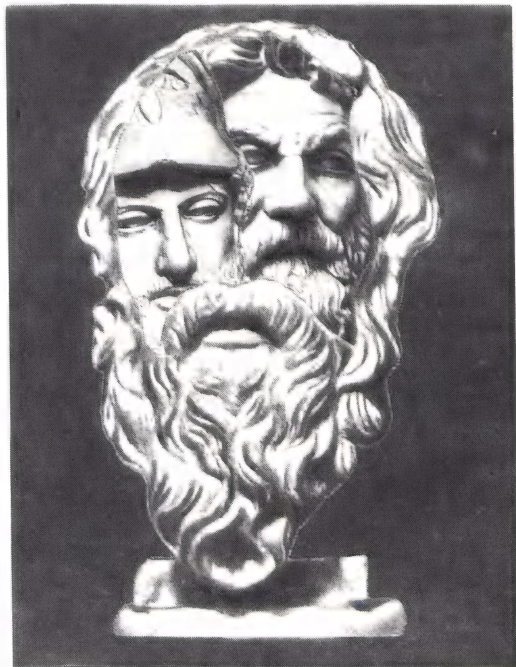
³⁰ Вот поистине мефистофельская гримаса истории: Н. В. Муравьев был другом детства Софьи Перовской.

³¹ «Процесс 20-ти народовольцев в 1882 г.». Ростов н/Д, 1906, стр. 63.

³² См. об этом: «Общее дело», 1882, № 48, стр. 2—3.

И. Д. Рожанский

Загадка Сократа



Едва ли во всей античной философии сыщется имя, которое на протяжении многих столетий было бы более общезвестным, более популярным, чем имя Сократа. Гегель назвал смерть Сократа «всемирно-исторической трагедией». Философы-кантианцы сравнивали значение Сократа в древней философии со значением Канта в философии новой; иначе говоря, они приписывали Сократу роль величайшего преобразователя античного мышления. «Значение Сократа для истории античного мышления настолько велико, что все последующее развитие греческой философии стоит на фундаменте, им заложенном», — писал академик С. А. Жебелев уже в советское время¹. Правда, в марксистской историографии мы не встретим столь неумеренного превознесения Сократа: в работах известных советских исследователей А. О. Маковельского, С. Я. Лурье, М. А. Дынника, В. Ф. Асмуса основное внимание по справедливости уделяется другим греческим мыслителям: Гераклиту, Демокриту, Платону, Аристотелю. Но в литературе, издающейся на Западе, как научной, так и научно-популярной, высказывания, подобные приведенным выше, можно было бы находить сотнями.

Наряду с этим во всей истории философии, пожалуй, не найдется другого мыслителя, содержание учения которого представлялось бы нам в такой же степени неопределенным и зыбким. Что читаем мы об учении Сократа в традиционных курсах истории философии? Во-первых, что он отказался от исследования природы, бывшего в центре внимания мыслителей предшествовавшей эпохи, и перешел к изучению человека, то есть к рассмотрению проблем прежде всего этических. Во-вторых, в качестве важнейшего принципа сократовской этики обычно приводится утверждение, что в основе морального поведения человека лежит знание. Человек, знающий, что такое добро, никогда не будет вести себя дурно. Наконец, в-третьих, историки философии цитируют замечание Аристотеля о том, что Сократ, занимаясь исследованием нравственных добродетелей, впервые начал устанавливать общие определения². Отсюда делается вывод, что роль понятия, как основного элемента всякого логического знания, была осознана именно Сократом. И это, в сущности, все. Остальное, что сообщается нам о Сократе, — его знаменитая ирония, его стремление «испытывать» людей, беседуя с ни-

ми и задавая им вопросы, его вера в «демоний», то есть в некий внутренний (или божественный) голос, дававший ему указания, и т. д. — существенно прежде всего для характеристики личности Сократа, но к философии в собственном смысле слова отношения не имеет. Что же касается приведенных нами только что трех положений, которые приписываются Сократу в качестве основных принципов его учения, то, как бы ни были они важны для оценки эволюции древнегреческого мышления той эпохи, ясно, что никакого учения они не образуют. Более того, мы никак не можем быть уверены, что именно Сократу принадлежит приоритет в отношении этих трех положений. Так, перенесение центра тяжести с физики на этику было чертой, характерной для **всей** греческой философии конца V — начала IV века до н. э. Вспомним софистов; вспомним интерес к проблемам этики у Демокрита, у которого, впрочем, этот интерес не сопровождался отказом от изучения природы. Далее, этический рационализм, нашедший выражение во втором из указанных выше положений, также был весьма типичен для древнегреческого мироощущения классического периода. У того же Демокрита мы находим сравнение мудрости с Афиной Тритогенеей, поскольку она приносит человеку три дара: хорошо мыслить, хорошо говорить и хорошо поступать³. Нетрудно видеть, что третья часть этой формулы тождественна с сократовским положением о знании, как основе морального поведения человека. Столь же спорным представляется и свидетельство Аристотеля о том, что Сократ был первым философом, начавшим устанавливать общие определения. Сам Аристотель тут же оговаривается, что в физике общие определения начал давать Демокрит, а еще раньше — пифагорейцы. Любому человеку, знакомому с историей досократовской философии, должен быть ясен громадный вклад, внесенный в создание логики элеатами, в частности Зеноном, которого опять-таки Аристотель называет основателем диалектики. Блестящие образцы дальнейшего развития диалектического искусства мы находим в дошедших до нас отрывках из сочинений софистов. Подлинная же роль Сократа в этом процессе представляется значительно более туманной. Современная историко-философская критика приходит к довольно единодушному мнению, что указанное замечание Аристотеля отнюдь не было основано на изучении высказываний самого

Сократа (ибо точно зафиксированных высказываний этого человека, видимо, вообще никогда не существовало), но имело своим источником некоторые произведения так называемой сократической литературы, создававшейся уже после смерти Сократа⁴. О непригодности этого источника для реконструкции взглядов исторического Сократа у нас еще будет идти речь в дальнейшем.

Все попытки уточнить философское содержание учения Сократа, добавить к нему что-либо конкретное сверх указанных выше трех сомнительных положений, неизменно терпели неудачу. Таким образом, мы можем, не рискуя впасть в преувеличение, выставить следующий тезис. Если рассматривать историю древнегреческой философии не как последовательность кем-то канонизированных имен, а как закономерную эволюцию идей, то можно вообще обойтись без Сократа. Переход от софистики к Платону и к сократическим школам не требует промежуточного звена в виде сократовского учения — независимо от того, что мы будем понимать под этим учением. А это приводит нас к логическому выводу, который в свете бесчисленных авторитетных заявлений о всемирно-историческом значении Сократа и о центральном месте, которое он якобы занимает в истории древней философии, представляется на первый взгляд еретическим, а именно, что никакого учения Сократа **вообще не было**.

В прежнее время скудость сведений об учении Сократа было принято объяснять тем обстоятельством, что сам Сократ никогда ничего не писал. Действительно, реконструкция взглядов мыслителя, который ограничивался изустной пропагандой этих взглядов, дело всегда трудное и почти никогда не приводящее к абсолютно достоверным результатам. В этих случаях единственно возможный путь исследования состоит в критическом анализе позднейших источников, к которым относятся свидетельства учеников, последователей, а иногда даже идейных противников данного мыслителя. Что касается Сократа, то на первый взгляд положение с источниками представляется сравнительно благополучным: ученики Сократа, во всяком случае лица, считавшиеся его учениками, писали многочисленные сочинения, в которых они выводили Сократа в качестве основного действующего лица, обсуждающего со своими собеседниками всевозможные этические, политические и философские пробле-

мы. Правда, из общей массы этой сократической литературы до нас дошли в более или менее полном виде произведения всего лишь двух авторов — Платона и Ксенофонта. И по своему философскому содержанию и по культурно-историческому и художественному значению литературная продукция этих авторов далеко не равноценна. Но если относиться к сочинениям Платона и Ксенофонта только как к источникам сведений о Сократе, то, казалось бы, можно попытаться путем сопоставления этих сочинений и исключения из них всего, что было привнесено особенностями мировоззрения, субъективными симпатиями и антипатиями, темпераментом, художественной манерой и, наконец, просто уровнем интеллекта обоих авторов, получить некий общий остаток, который можно было бы использовать для воссоздания философско-этического учения Сократа.

Подобные попытки действительно предпринимались, и притом многократно. Все они неизменно оканчивались неудачей — во всяком случае, в том смысле, что общего остатка, на основании которого можно было бы составить представление о подлинных взглядах Сократа, при этом как-то не получалось. Сократ Платона и Сократ Ксенофонта несут слишком различную идейную нагрузку (и не только в количественном, но и в качественном отношении), чтобы их можно было без натяжки совместить в одном образе. Поэтому большинство исследователей просто становилось на сторону одного из указанных авторов, доказывая, что именно этот автор — в одних случаях это был Платон, а в других Ксенофонт — давал более или менее адекватное изложение слов и мыслей своего учителя.

Между тем даже беглое чтение произведений Платона и Ксенофонта убеждает нас в том, что оба они видели свою задачу отнюдь не в воспроизведении высказываний, которые фактически делал или мог бы делать исторический Сократ, а прежде всего в пропаганде своих собственных воззрений. По отношению к диалогам Платона это представляется совершенно бесспорным: в большинстве из них Сократ выступает как истолкователь различных аспектов платоновского идеализма. При этом взгляды, развиваемые платоновским Сократом, меняются в зависимости от времени написания того или иного диалога, отобразая, таким образом, философскую эволюцию Платона (но отнюдь не исторического Сократа!). А если в ранних пла-

тоновских диалогах мы еще не находим теории идей и других концепций, характерных для зрелого Платона, то это может означать лишь одно, а именно, что в тот период подобные концепции еще не оформились в уме их создателя. Заключать на этом основании, как делают некоторые исследователи, что в своих ранних диалогах Платон дает более точное изложение подлинных взглядов Сократа, было бы по меньшей мере поспешно. К этому надо добавить, что изучение художественной формы этих диалогов заставляет предположить, что ко времени их написания уже существовала достаточно развитая традиция литературно-философского диалога. Судя по всему, Платон не был создателем этой традиции, а опирался на какие-то не дошедшие до нас более ранние и, вероятно, более примитивные литературные образцы⁵.

Среди историков философии с давних пор бытует мнение, что более надежные сведения об историческом Сократе мы можем получить не у Платона, а у Ксенофонта. Разумеется, говорят сторонники этого мнения, Ксенофонт не был сколь-нибудь глубоким и оригинальным мыслителем, но в этом-то и заключается в данном случае его преимущество. Он не пытался сделать выводимого им Сократа глашатаем своих философских воззрений (ибо таковые у Ксенофонта, по сути дела, отсутствовали), а добросовестно, хотя, может быть, и упрощенно записывал содержание тех разговоров с Сократом, участником или свидетелем которых ему довелось быть.

Несостоятельность этой точки зрения вытекает как из анализа произведений Ксенофонта, так и из данных его биографии. Действительно, Ксенофонт не был философом; естественно, что и его Сократу были чужды отвлеченные онтологические и гносеологические проблемы, лежавшие в центре внимания того Сократа, которого мы находим у Платона в «Тезетете», «Пармениде» или «Софисте». Зато Ксенофонт оставляет **своего** Сократа рассуждать о военном деле и сельском хозяйстве, об охоте, уходе за лошадьми и т. д., то есть обо всем том, что составляло сферу интересов самого Ксенофонта, но, как мы можем догадываться, отнюдь не исторического Сократа. Имеются достаточно веские основания полагать, что общение Ксенофонта с Сократом не было длительным и имело скорее внешний характер. Насколько мы знаем, в сократических произведе-

ниях других авторов Ксенофонт никогда не упоминается в числе лиц, близко стоявших к Сократу. Не называют его также и враги Сократа, что в данном случае может считаться еще более доказательным аргументом. Свои сократические сочинения Ксенофонт писал уже на склоне жизни, через много лет после гибели Сократа. В частности, что касается «Воспоминаний о Сократе» Ксенофонта, то теперь большинством исследователей признается, что это сочинение никак нельзя отнести к воспоминаниям в общепринятом смысле этого слова, но что оно представляет собою довольно беспорядочный монтаж диалогов, рассказов, анекдотов, взятых в основном из сократической литературы более раннего периода. Это означает, что «Воспоминания» интересны для нас не как источник сведений об историческом Сократе, а скорее как материал, изучение которого может помочь нам составить представление о тематике и жанровых особенностях литературной продукции других сократиков, начавших писать еще задолго до Ксенофонта⁶.

Таким образом, проблема Сократа приводит нас к другой, существенно отличной от нее проблеме — к проблеме сократической литературы в целом. Детальное обсуждение этой интереснейшей проблемы выходит за рамки данной небольшой статьи, поэтому мы ограничимся здесь лишь несколькими краткими замечаниями.

Итак, мы стоим перед исторически спорным, а по существу, во многом загадочным фактом, состоящим в том, что в самом начале IV века до н. э., то есть вскоре после смерти исторического Сократа, появилась и начала бурно развиваться своеобразная ветвь художественно-философской литературы, главным героем и действующим лицом которой был Сократ. Основным и, по-видимому, первичным жанром этой литературы был диалог, хотя одновременно с диалогической формой некоторые авторы разрабатывали также и форму монологическую (к которой относятся, в частности, так называемые апологии, то есть речи, якобы произнесенные Сократом в свою защиту на суде⁷). Наряду с Платоном и Ксенофонтом мы знаем следующих авторов, писавших сократические сочинения.

Антисфен из Афин, считающийся учителем Диогена Синопского и основателем философской школы киников. Имеющиеся в нашем распоряжении свидетельства позволяют утверждать, что Антисфен был

оригинальным мыслителем и очень плодовитым писателем. Древние источники приводят перечень сочинений Антисфена, включающий 70 названий. Таким образом, по объему своей литературной продукции Антисфен мог конкурировать с Демокритом и Платоном; тем более обидно, что от всей этой массы сочинений до нас дошло лишь небольшое число кратких и в большинстве случаев малосодержательных фрагментов. Трудно сказать, какие именно сочинения Антисфена были написаны в форме сократического диалога; с большей или меньшей определенностью мы можем это утверждать лишь относительно некоторых его вещей («Аспасия», «Алкивиад», «Менексен», «Архелай»).

Аристипп из Кирены, основоположник гедонистического направления в античной этике. Сообщают, что его сократические сочинения включали 25 небольших диалогов; можно думать, что по форме это были диалоги, сходные с теми, какие мы находим в «Воспоминаниях» Ксенофонта.

Эвклид из Мегары, основатель третьей сократической школы (мегариков), характерной особенностью которой было сочетание этики с онтологией элеатов. В числе написанных Эвклидом сократических сочинений называют «Алкивиада», «Критона», «Эсхина», диалог «О любви».

По сравнению с тремя только что названными философами, Эсхин Афинский был менее оригинальным мыслителем. Зато его диалоги обладали высокими литературными достоинствами, пользовались большой популярностью и, по-видимому, ближе всего примыкали к ранним диалогам Платона. Эсхин считается автором семи сократических диалогов («Аспасия», «Алкивиад», «Аксиох», «Каллий», «Мильтиад», «Ринон» и «Телавг»), из которых в древности особенно известен был «Алкивиад».

Имеются указания, что сократические диалоги писал также Федон из Элиды (именем которого назван один из наиболее популярных диалогов Платона), причем приводятся заглавия по крайней мере двух его вещей («Зоппир» и «Симон»). Этим, к сожалению, исчерпываются все имеющиеся у нас сведения о литературной деятельности Федона.

Итак, по крайней мере семь авторов разрабатывали форму сократического диалога. Все эти семь авторов выводили в своих сочинениях Сократа и делали его глашатаям своих философских, этических и политических взглядов. Между тем трудно

представить себе мыслителей, которые отличались бы друг от друга более радикально, чем, скажем, Антисфен от Аристиппа, Аристипп от Ксенофонта, Платон от Антисфена. Так, например, древние источники рассказывают о вражде, существовавшей между Платоном и Антисфеном; сообщается, в частности, что Антисфен написал большое (в трех книгах) полемическое сочинение «Сатон», в котором он не только подвергал жестокой критике платоновское учение об идеях, но вдобавок не удержался от яростных личных нападок на автора этого учения. И в философском и в чисто человеческом плане Платон и Антисфен были антиподами. Платон — представитель одного из древнейших родов Аттики, аристократ по воспитанию и по духу, непримиримый враг демократии и материализма; творец первой в истории европейской мысли системы объективного идеализма; в этике — автор возвышенного учения об Эросе; в области политической мысли — создатель социальной утопии, основанной на отрицании частной собственности, с одной стороны, и на строгой регламентации кастового общества — с другой. Антисфен был сыном рабыни и потому не имел полных прав афинского гражданина, он презирал любые условности, определяемые происхождением, богатством, национальной принадлежностью; в философии он — материалист и номиналист, признававший лишь частное, единичное, конкретное; в этике — рационалист и аскет; по своим общественно-политическим взглядам — своеобразный анархист, призывавший вернуться к природе, к жизни в естественных условиях, без стеснительных уз, которые накладывает на человека общество и государство.

Подобными же антиподами были Аристипп и Ксенофонт. Аристипп — сенсуалист и агностик, провозгласивший целью человеческой жизни наслаждение настоящим, а средством к достижению счастья — внутреннюю свободу человека; нетрудно понять, что взгляды Аристиппа были неприемлемы для консервативного и ограниченного Ксенофонта, призывавшего к укреплению традиционных добродетелей и восхитавшегося государственным и общественным устройством военно-аристократической Спарты. Отрицательное отношение Ксенофонта к Аристиппу нашло выражение в известном разговоре Сократа с Аристиппом в «Воспоминаниях о Сократе»⁸.

В связи со всем сказанным возникает недоуменный вопрос: каким образом пере-

численные нами мыслители, во всех отношениях отличавшиеся друг от друга и развивавшие абсолютно несхожие воззрения, могли быть учениками одного и того же человека — Сократа? Из истории древней философии мы знаем примеры личной преемственности, когда ученик развивал или видоизменял воззрения своего учителя, в целом оставаясь, однако, в границах того же философского направления. Это Парменид и Зенон, Анаксагор и Архелай, Левкипп и Демокрит, Аристотель и Феофраст. Между Сократом и так называемыми сократиками не было ничего даже приблизительно похожего на такую преемственность. Если Антисфен, Аристипп, Платон и заимствовали что-то у исторического Сократа, то это «что-то», во всяком случае, не имело отношения к основным философским воззрениям этих мыслителей. Этим, кстати, подтверждается выдвинутый выше тезис о том, что никакого учения Сократа, по-видимому, вообще не существовало.

Если же сократики выводили в своих сочинениях Сократа и делали его adeptом и пропагандистом тех или иных философских и этических воззрений, то это можно объяснить лишь тем обстоятельством, которое уже было отмечено нами выше при обсуждении сочинений Платона и Ксенофонта. Основная особенность сократической литературы как раз в том и состояла, что это **не была литература об историческом Сократе**. Тот Сократ, которого мы находим у Платона и Ксенофонта и который фигурировал в не дошедших до нас сочинениях Аристиппа и Антисфена, Эвклида и Эсхина, был лишь **литературно-художественным образом**, отнюдь не претендовавшим на то, чтобы служить точным портретом своего реально существовавшего прототипа. Кстати, заметим, что в основе таких классических образов мировой литературы, как Фауст и Дон-Жуан, также лежали исторические прототипы; разница состояла, однако, в том, что в то время, когда Тирсо де Молина или Мольер выводили в своих пьесах Дон-Жуана, а Марло или Гёте изображали своего Фауста, реально существовавшие лица, послужившие прототипами этих героев, были давно уже забыты: от них осталась лишь легенда, включавшая определенные сюжетные мотивы, которые и разрабатывались этими авторами в нужном им направлении. Наоборот, у сократиков такого удаления во времени не было: реальный прототип выводимого ими Сократа был всем им хорошо известен, что, однако, не мешало им

с величайшей свободой относиться к трактовке отдельных мотивов легенды о Сократе. Я говорю «легенды», ибо как только Сократ стал литературным образом, его жизнь и деятельность превратились в легенду.

Из сказанного следует также и другой вывод, имеющий кардинальное значение. Независимо от того, каково было философское содержание тех или иных сократических сочинений, в своей совокупности эти сочинения представляли собою своеобразный жанр художественной литературы, и их поэтому можно (и должно) изучать так, как изучается художественная литература вообще. К сожалению, полный анализ особенностей литературной формы сократического диалога и тех художественных приемов, которыми пользовались авторы, развивавшие эту форму, до сих пор еще никем проведен не был. Правда, с давних пор принято подчеркивать высокую эстетическую ценность «Протагора», «Пира», «Федра», «Федона» и других платоновских диалогов. При этом, однако, не учитывалось, что творчество Платона было не только художественной и философской вершиной сократической литературы, но одновременно ее логическим завершением и концом. В поздних диалогах Платона мы ясно видим постепенное ослабление жанровых особенностей, характеризовавших сократическую литературу в период ее наиболее бурного цветения. В «Тимее» и «Критии» художественный элемент уже полностью отступает на задний план. А в «Законах» при внешнем соблюдении диалогической формы мы уже не находим самой души сократического диалога — образа Сократа. В сущности, «Законы» имеют столь же малое отношение к сократической литературе, как, скажем, философские диалоги Цицерона или Беркли.

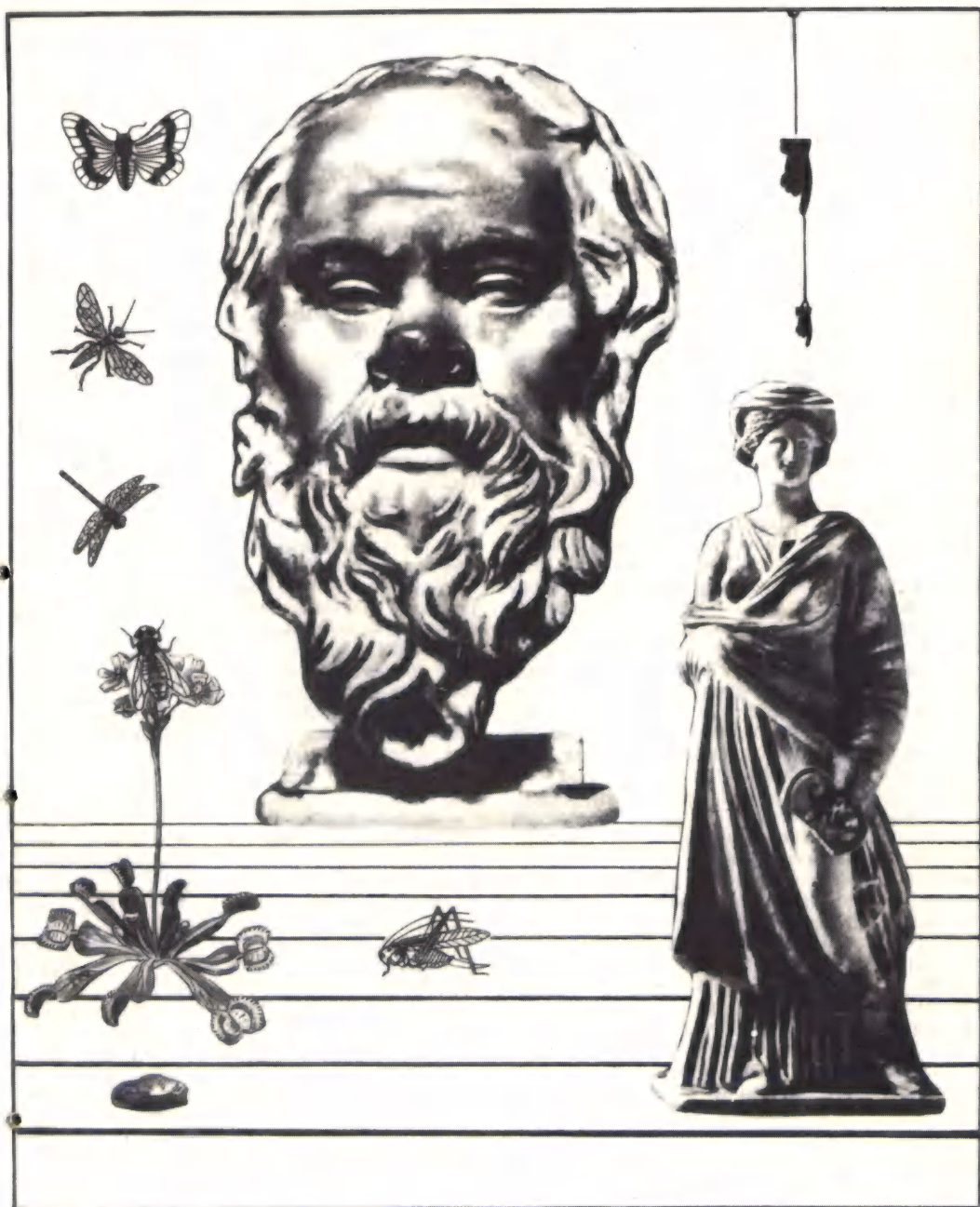
Каковы же были жанровые и стилистические особенности сократической литературы, делавшие ее художественной литературой *par excellence*? Отнюдь не претендуя на полноту и глубину анализа, мы отметим здесь лишь некоторые, по нашему мнению, наиболее важные моменты.

Диалогическая форма сократических сочинений уже сама по себе способствовала контрастному сопоставлению не только мнений, тезисов, точек зрения, но также и самих беседующих персонажей. Ранний сократический диалог был, как правило, беседой двух лиц, одним из которых обязательно был Сократ. Другие формы со-

кратического сочинения — как апологии, так и групповые беседы типа «Пира» — развились позднее. Обычно же Сократу противостоял лишь один собеседник-проtagonист, по имени которого получал название и весь диалог («Алкивиад», «Гиппий», «Менексен» и т. д.). Драматическая выразительность диалога во многом обуславливалась полнотой обоих собеседников, выявлявших себя в качестве носителей противоположных мироощущений, представителей различных человеческих типов. В сократических диалогах раннего периода это противопоставление человеческих типов играло, вероятно, даже большую роль, чем сопоставление различных точек зрения. Дело в том, что сам Сократ обычно воздерживается от формулировки собственной точки зрения, а только задает своему собеседнику вопросы, в конечном счете заводя его в тупик и заставляя его признать несостоятельность своей позиции. Это была одна из наиболее характерных ситуаций сократического диалога, вытекавшая из того общего положения, что подлинное знание присуще лишь богу, а высшая мудрость, которая доступна человеку, состоит в уяснении собственного незнания⁹.

Популярнейшим персонажем раннего сократического диалога был Алкивиад. В числе авторов не дошедших до нас диалогов, носивших имя этого человека, древние источники называют Антисфена, Эхина, Эвклида. Среди ранних платоновских диалогов мы находим даже двух Алкивиадов («первого» и «второго»); правда, в новейшее время авторство Платона по отношению к этим диалогам ставилось многими исследователями под сомнение. В качестве второстепенного действующего лица Платон вывел Алкивиادا в «Протагоре»; он упоминается также в «Горгии». Генеральным завершением этой «алкивиадовской» линии сократического диалога следует считать то место в «Пире», где изображается вторжение пьяного Алкивиада, произносящего восторженный панегирик Сократу¹⁰.

Мы ничего не знаем о реальных взаимоотношениях исторического Сократа с историческим Алкивиадом, ставшим в ходе своей головокружительной карьеры одним из самых блестящих государственных деятелей Древней Греции. В сократическом диалоге Алкивиад нигде не выступает как политик или полководец, а только как человеческий тип. Это молодой, одаренный, честолюбивый человек. Он богат, благопо-



ден и неотразимо красив. Он мечтает о том, чтобы всюду быть первым — прежде всего, конечно, в государственных делах; юношеское самомнение позволяет ему думать, что у него имеются для этого все основания. Это самомнение разбивается о диалектику Сократа, убедительно показывающего, что Алкивиад, в сущности, ничего не понимает в тех вещах, которые необходимы государственному деятелю. Все достоинства Алкивиада — красота, знатность, богатство — оказываются не имеющими значения пустяками по сравнению с мудростью Сократа — этого простого человека из народа, некрасивого, бедного и лишнего какого бы то ни было честолюбия.

Таков основной мотив темы Алкивиад — Сократ. Он осложняется рядом побочных мотивов. Признание Алкивиадом своего невежества приводит его к убеждению, что только Сократ может быть его наставником и учителем. С другой стороны, унижая Алкивиада, доводя его до слез, Сократ делает это ради блага самого же Алкивиада. Он любит этого блестящего, хотя и неустойчивого юношу. В «Алкивиаде I» Платона Сократ не покидает друга и тогда, когда все прочие уже покинули его, не будучи в силах переносить его гордость и заносчивость¹¹. В «Горгии» Сократ говорит, что он любит только две вещи: Алкивиада и философию.

Нетрудно видеть, что все эти мотивы имеют чисто литературный характер; усматривать в них отражение реальных взаимоотношений между Алкивиадом и Сократом было бы по меньшей мере рискованно. Следует еще упомянуть рассказы о совместном участии Алкивиада и Сократа в военных походах. В этих рассказах Сократ оказывается неизменным спасителем жизни своего молодого друга. То он выносит тяжело раненного Алкивиада из боя, а затем отказывается от заслуженной награды, которая присуждается Алкивиаду. То он при отступлении афинского войска выводит Алкивиада и Лахеса боковой дорогой, предотвращая тем самым верную гибель, которая постигла бы их, если бы они пошли вместе со всеми. И здесь задача, которую ставили перед собой авторы соответствующих сочинений, состояла не в исторически точном изложении фактов, а в том, чтобы подчеркнуть превосходство Сократа над Алкивиадом даже в тех условиях, когда преимущества Алкивиада — его молодость, храбрость, спортивная и военная подготовка — должны были бы сказаться с наибольшей силой.

В «Воспоминаниях» Ксенофонта имеется разговор Сократа с молодым красавцем Эвфидемом, который во многом напоминает «Алкивиада I» Платона¹². Существует мнение, что источником как для того, так и для другого из этих диалогов послужил написанный ранее «Алкивиад» Эсхина¹³. Здесь не место разбирать, в какой мере вероятно подобное предположение. Интересен сам факт замены имени собеседника Сократа. Наряду с другими аналогичными примерами он показывает, что в сократических диалогах имя беседующего лица имело, в сущности, второстепенное значение. Важен был человеческий тип, воплощением которого данное лицо являлось. Так, например, в «Воспоминаниях» Ксенофонта Сократ беседует с Критобулом, Главконом, Хармидом, тем же Эвфидемом. Имена этих собеседников можно было бы как угодно переставить, потому что все они были вариациями одного и того же типа — типа молодого человека, принадлежавшего к высшему кругу афинского общества второй половины V века до н. э. В сущности, и образ Алкивиада был лишь сильно индивидуализированной разновидностью этого типа.

Наряду с темой Алкивиада второй центральной темой сократической литературы была тема «Сократ и софисты». В отличие от первой эта тема получила свое наиболее полное развитие лишь в диалогах Платона — таких, как «Гиппий больший», «Гиппий меньший», «Протагор», «Горгий». Эти диалоги названы по именам наиболее крупных представителей греческой софистики, выступающих в качестве собеседников Сократа. Но, в сущности, во всех них мы находим один и тот же человеческий тип — тип лжеученого-многознайки, хвастливого, самоуверенного, самовлюбленного, с легкостью высказывающего категорические суждения по поводу труднейших проблем, которые ставит перед ним Сократ, и с такой же легкостью отказывающегося от этих суждений, как только выясняется их несостоятельность. С наибольшей сатирической остротой этот тип выведен в обоих «Гиппиях», созданных в первый период творчества Платона и сохранивших простоту построения и резкость характеристик — черты, которые, по-видимому, были присущи всей сократической литературе раннего периода. При всех своих притязаниях на энциклопедическое всезнание Гиппий глуп и смешон. Он не способен следить за ходом рассуждений Сократа, легко попадает впросак и вообще оказывается умственно

беспомощным человеком, мышление которого может оперировать лишь конкретными образами и элементарными ассоциациями¹⁴.

Гораздо мягче, чем Гиппий, обрисованы Протагор и Горгий, фигурирующие в одноименных диалогах, относящихся к более позднему периоду творчества Платона. Но в основе своей и они являются представителями того же литературного типа софиста-лжеученого. Только здесь мишенью для сатирических стрел Платона служит не столько глупость и самодовольство этих людей, сколько их умение по любому поводу произносить эффектные, хотя и бессодержательные, речи. К той же категории людей относится и Агафон в «Пире» с его блестящей по форме, но пустой по содержанию речи в честь Эроса. Вообще борьба с риторикой, с красивой фразой была характерной чертой всей сократической литературы: в этом отношении между Платоном и Антисфеном, между Ксенофонтом и Аристиппом не было, по-видимому, большой разницы.

Типу велеречивого оратора-софиста авторы сократических диалогов противопоставляли Сократа с его нелюбовью к красивой фразе, с его неизменным стремлением проникнуть в самую суть обсуждаемого вопроса, с его отношением к слову только как к средству для отыскания истины. «Клянусь Зевсом, афиняне, — говорит Сократ в платоновской «Апологии», — вы не услышите от меня разнаряженной речи, украшенной разными оборотами и выражениями, я буду говорить просто, первыми попавшимися словами — ведь я убежден в правоте моих слов»¹⁵. И действительно, речь платоновского Сократа — это не литературно обработанная, прилаженная речь ратора, публициста, философа, это живой язык афинской улицы конца V века до н. э., каким говорили «на площадях у меняльных лавок», как указывается в той же «Апологии». Разумеется, воспроизведение этого языка во всем его богатстве и живости требовало незаурядного литературного таланта. Такой талант был у Платона.

Нам трудно судить, в какой мере им обладали Антисфен, Эсхин и другие сократики, но вот Ксенофонт у него явно не хватало. Отдельные блестящие юмора и крутилки непосредственности, находимые нами в «Воспоминаниях» Ксенофонта, имеют, несомненно, заимное происхождение и слишком часто перемежаются нудными, многословными назиданиями. Впрочем,

«Пир» Ксенофонта написан гораздо живее и непринужденнее.

В целом же для сократической литературы была характерна установка на живую разговорную речь. Отсюда кажущиеся стилистические шероховатости, отсюда типичные для такой речи междометия, вставные словечки и целые обороты, отсюда перебои в логическом ходе рассуждений, внезапные отклонения от темы разговора и т. д.

Мы назвали две наиболее характерные фигуры, выводимые авторами сократических диалогов в качестве собеседников-протагонистов Сократа — Алкивиада и софиста. Этими фигурами, однако, отнюдь не исчерпывалось многообразие появляющихся в диалогах персонажей. Если бы мы имели возможность просмотреть **всю** сократическую литературу, не ограничиваясь дошедшими до нас произведениями Платона и Ксенофонта, то перед нами прошла бы богатая и пестрая галерея образов, взятых из самых различных слоев афинского общества того времени. Упомянем хотя бы некоторых из них.

Вот Каллий, сын Гиппоника, покровительствующий софистам богач и меценат, в доме которого постоянно собирается многочисленное общество. Действие платоновского «Протагора» и ксенофоновского «Пира» происходит как раз в доме Каллия. Существовал также диалог Эскина «Каллий», о содержании которого до нас дошли некоторые сведения. Каллий — фигура историческая, о чем свидетельствуют упоминания его имени как в аттической комедии (у Аристофана в «Лягушках»), так и в «Истории Греции» Ксенофонта (в 392 году он занимал должность афинского стратега, а в 371 году возглавлял посольство, ведшее переговоры со Спартой). Соперник Аристофана комедиограф Эвполид вывел Каллия в комедии «Льстецы», поставленной в 421 году. В этой комедии высмеивалось пристрастие тогда еще молодого Каллия к софистам, составившим (во главе с Протагором) хор комедии. Софисты трутся в доме Каллия, льстят хозяину, а в конце пьесы растаскивают его имущество, доводя его до полного разорения. Упомянутый диалог Эскина был также направлен против софистов; любопытно, что в числе софистов, восставших дурных учеников, в этом диалоге упоминаются Продик и Анаксагор (!). Можно не сомневаться, что если бы мы имели перед собой полный текст как «Льстецов», так и эскиновского «Каллия», то нити, связывающие аттическую комедию с сокра-

тическим диалогом, были бы видны нам гораздо более отчетливо.

В числе персонажей раннего сократического диалога мы находим также Аспасию, знаменитую гетеру, ставшую женой Перикла. Это была женщина, несомненно, незаурядная; дом ее был своего рода салоном, в котором собирались люди, составлявшие цвет афинского общества того времени. Естественно, что она подвергалась нападкам со стороны политических противников Перикла; в частности, комедия сделала ее предметом многочисленных, хотя в большинстве своем косвенных насмешек (впрочем, комедиограф Гермипп открыто обвинил ее в безбожии). В данном случае сократический диалог не идет по стопам комедии, а полемизирует с ней: Эсхин и Антисфен изобразили Аспасию в двух названных ее именем диалогах, где она выступает в качестве наставницы Сократа, обучающей его красноречию и раскрывающей ему благотворное значение Эроса в жизни людей¹⁶. Как о руководительнице Сократа в области ораторского искусства об Аспасии говорится также и в «Менексе» — одном из наиболее дискуссионных диалогов Платона¹⁷.

Но у Платона мы находим еще другой женский образ, представляющий собой, по видимому, лишь некоторое видоизменение образа эскиновской (или антисфеновской?) Аспасии. Это Диотима в «Пире». Как и Аспасия, она не афинянка (историческая Аспасия была родом из Милета; Диотиму Платон сделал мантинейкой, и, разговаривая с ней, Сократ называет ее «моя чужестранка»). Как и Аспасия, она посвящает Сократа в таинства Эроса, и, хотя она не гетера, а жрица, в этом нет ничего несообразного, учитывая возвышенный характер платоновской концепции любви. Она не учит Сократа произносить речи в духе Горгия (как это делает Аспасия в «Менексе»), но она наставляет его в том, как приходить к истине, задавая вопрос за вопросом¹⁸.

Наряду с Аспасией (или Диотимой) в платоновских диалогах мы встречаем имя еще одного наставника Сократа, а именно учителя музыки Конна, сына Метробия. Прежде всего он упоминается в том же «Менексе», а затем в «Эвфидеме», где Сократ рассказывает, что он берет у Конна уроки игры на кифаре, вызывая насмешки своих малолетних соучеников, потешающихся над ним, а в особенности над Конном, которого они называют «старцем-учителем»¹⁹. Неизвестно, появлялся ли

Конн в диалогах других сократиков, и он вряд ли заслуживал бы специального внимания, если бы мы не знали, что он был одной из излюбленных фигур аттической комедии. В образе опустившегося нищего, вечно жаждущего выпить, старого певца Конн упоминается во «Всадниках» Аристофана, в некоторых фрагментах Кратина и Эвполида, а Амипсий сделал его главным героем комедии, которая называлась по его имени и которая, по любопытному стечению обстоятельств, была поставлена в 423 году одновременно с «Облаками» Аристофана, получив вторую премию («Облака» же, как мы знаем, оказались на третьем — последнем — месте). Появление Конна в диалогах Платона может служить еще одним убедительным примером связи, существовавшей между аттической комедией второй половины V века и сократическим диалогом начала IV века до н. э.

Здесь мы подходим к центральному пункту взаимоотношений аттической комедии и сократической литературы, а именно к «Облакам» Аристофана, главным действующим лицом которых оказался Сократ. Самый факт выведения на театральных подмостках известного афинским гражданам живого их современника, который сам мог находиться в числе зрителей данного представления, не был чем-то исключительным для аттической комедии (это мы видим на примере того же «Конна»). То, что это изображение имело гротескно-буффонный характер и отнюдь не претендовало на роль реалистически правдивого портрета изображаемого лица, было очевидно. Тем не менее «Облака» Аристофана представили для последующих поколений загадку, над разрешением которой до нашего времени бьются историки, филологи и философы. Дело в том, что при всех поправках на условность и гротескность комедийной маски Сократ Аристофана не только не совпадает с тем образом Сократа, который возникает в нашем воображении при чтении платоновских диалогов, но оказывается ему прямо противоположным **буквально во всех отношениях**.

Выше мы указывали на различие, существующее между Сократом Ксенофонта и Сократом Платона; это различие определялось прежде всего идейной нагрузкой, которую нес в том и другом случае образ Сократа, теми взглядами, суждениями, концепциями, которые заставлял Сократа высказывать соответствующий автор. То же самое было, по-видимому, справедливо и для Сократа в изображении других авто-

ров — Эсхина, Эвклида, Антисфена, Аристиппа, Федона. Но при этом у всех сократиков было и нечто общее, касающееся прежде всего человеческих черт выводимого ими Сократа. Наружность Сократа, некоторые черты его характера, его ирония, его манера разговаривать, его отношение к натурфилософии, риторике, софистике — вот то, в чем авторы сократических диалогов оказывались в основном согласны друг с другом. Это согласие как раз и позволяло надеяться на возможность более или менее адекватной реконструкции если не философского учения, то, во всяком случае, человеческого облика исторического Сократа.

И вот Аристофан, еще задолго до смерти Сократа, делает его главным героем комедии, наделяя его чертами, находящимися в резком противоречии со всем тем, что о нем потом писали авторы сократических диалогов. Действительно:

У Аристофана Сократ — высокомерный ученый, сторонящийся людей и вместе с немногими учениками, проходящими особый обряд посвящения, уединяющийся в «мыслильне», куда нет доступа посторонним.

У сократиков он народный мудрец, целые дни проводящий среди людей на площадях около меняльных лавок и в других публичных местах и беседующий на философские темы со всеми, кто этого пожелает.

У Аристофана Сократ говорит высокопарными, напыщенными словами; в его речи нет ни капли юмора.

У сократиков он враг всякой риторики, говорящий на языке улицы; его речь произнаема иронией; самые глубокие высказывания он облачает в шутиливую форму.

У Аристофана Сократ занят изучением отвлеченнейших и подчас нелепейших псевдонаучных проблем, вроде того, на скольких блошиных ногах прыгают блохи, какой частью своего тела издает писк комар и т. д. Но прежде всего (разумеется!) он исследует пути движения небесных светил, глубины таргара и т. д.

У сократиков он по меньшей мере скептически относится к любого рода натурфилософским исследованиям, считая, что в первую очередь человек должен познать самого себя. Этические проблемы для него гораздо важнее проблем физических.

У Аристофана Сократ выведен вольнодумным безбожником. Отвергая общепринятых богов, он молится воздуху, эфиру, облакам. Место Зевса занял у него Вихрь (заметим, что в ряде мест «Облаков» мож-

но найти отзвуки идей Анаксагора, Архелая и в особенности Диогена из Аполлонии).

У сократиков основной пафос их апологетических сочинений (например, у Ксенофонта) направлен на то, чтобы доказать, что Сократ не был ни атеистом, ни вольнодумцем и что он добросовестно выполнял принятые государством религиозные обряды.

У Аристофана Сократ изображается беспринципным софистом, за деньги обучающим выдавать ложь за правду и натравливающим юношей на своих родителей.

У сократиков он непримиримый враг софистики, принципиально воздерживающийся от того, чтобы брать деньги за обучение юношей.

Мы видим, что образы Сократа у Аристофана и у сократиков настолько противоположны, что как-то даже трудно ставить вопрос о том, какой из них больше соответствует своему историческому прототипу. Неубедительна также развиваемая некоторыми исследователями концепция, согласно которой оба эти образа отражают две стадии в развитии исторического Сократа — стадию натурфилософскую и стадию этическую²⁰. По нашему мнению, подход, основывающийся на стремлении установить степень исторической достоверности сведений о Сократе, сообщаемых то ли Аристофаном, то ли сократиками, вообще не может быть плодотворным. Здесь нужен другой подход, подход историко-литературный, который хотя и не дает возможности раскрыть тайну исторического Сократа, но, по крайней мере, позволяет пролить свет на эволюцию образа Сократа, рассматриваемого как факт художественной литературы.

Что касается аристофановского образа Сократа, то даже не очень тщательный анализ позволяет установить, что это сложный литературный образ, полученный путем наложения нескольких типов или, если угодно, нескольких масок. Первая из них — это маска псевдоученого, занятого исследованием далеких от жизни, бессмысленных проблем, встречающаяся в мировой литературе также и в позднейшие эпохи (вспомним профессоров Лапуты у Свифта). Второй будет маска циничного просветителя, подрывающего основы общественной нравственности и заботящегося только о собственной выгоде. Мы находим ее и в сократической литературе, в частности в диалогах Платона, причем она представлена там не образами корифеев софистики —

Гиппия, Горгия, Продика, Протагора (Платон никогда не изображал их циниками и мерзавцами), а братьями Эвфидемом и Дионисодором в «Эвфидеме»²¹. Наконец, третья маска, использованная Аристофаном при построении образа Сократа, это маска нищего философа — босого, вшивого, голодного. Такого рода философов, вероятно, можно было встретить в ту эпоху в лице странствующих пифагорейцев, а позднее — киников.

Выше нами уже было отмечено то большое воздействие, которое аттическая комедия оказала на сократическую литературу. Поскольку Сократ стал центральной фигурой этой литературы, ее знаменем и героем, то естественно, что явная или скрытая полемика с гротескно-сатирическим образом Сократа в «Облаках» сделалась одной из основных задач сократических авторов. Это дает основание предполагать, что образ Сократа, находимый нами у сократиков, в частности в ранних диалогах Платона, во многом был определен этой полемикой. Каков бы ни был реальный, исторический Сократ, его литературный образ создавался сократиками по контрасту с Сократом, выведенным в «Облаках» Аристофана. Разумеется, момент личного опыта сократиков, момент воспоминаний тоже играл при этом какую-то, и, может быть, немалую, роль. Но поскольку целевая установка сократиков состояла отнюдь не в том, чтобы дать документально-точное изложение своих воспоминаний, поскольку они создавали свои диалоги не как историки, а как художники, обладающие правом свободной обработки имеющегося в их распоряжении материала, постольку мы никогда не сможем узнать с достоверностью, что же в этих диалогах следует отнести на счет личного опыта их авторов, что было результатом литературного и философского творчества и что, наконец, было вызвано полемикой с Аристофаном и другими, позднейшими писателями.

В этой связи весьма характерна та роль, которую сократическая литература склонна была приписывать «Облакам» Аристофана в обвинении и осуждении Сократа. В своей защитительной речи, приводимой в «Апологии» Платона, Сократ указывает, что ему приходится защищаться не только против Анита и его сообщников (официальных обвинителей на процессе), но и против прежних обвинителей, уже много лет тому назад утверждавших, что «есть некто Сократ, который испытует и исследует все, что над землею и что под землею, и вы-

дает ложь за правду». Это прямой намек на комедию Аристофана. А несколько ниже Сократ называет Аристофана уже по имени. Он говорит при этом, что эти прежние обвинители гораздо страшнее новых, потому что их клевета в течение многих лет держится среди афинян и определяет их отношение к нему, Сократу²².

Трудно представить себе, чтобы комедия, поставленная за 24 года до процесса, могла бы существенным образом определить отношение судей к Сократу. Аттическая комедия высмеивала не одного Сократа, а многих других лиц, стоявших на разных ступенях лестницы афинского общества, но никому не приходило в голову привлекать их на этом основании к суду и присуждать к смерти. Позднейшие источники сообщают и другую версию, гораздо более грубую, чем платоновская, а именно, что Аристофан якобы был подкуплен врагами Сократа и написал комедию по их наущению специально для того, чтобы погубить его. Это, конечно, совсем нелепая версия, но она обнажает литературно-полемическую основу всего этого мотива²³.

Попробуем коснуться теперь более общей проблемы: в чем состояло значение Сократа в качестве главного героя целой ветви философско-художественной литературы? Почему именно он стал этим героем? Что объединяло авторов-сократиков, выведших его в своих произведениях?

Это очень большая и сложная проблема, и не нам здесь пытаться дать ее развернутое решение. Но некоторые подходы к этому решению мы хотим все же наметить. Характерной чертой греческой философской мысли конца V — начала IV века до н. э. было перенесение центра тяжести на решение этических и общественных проблем, своего рода «очеловечение» философии. Этот процесс происходил во всей Греции, но резко, чем в других местах, он ощущался в Афинах, ставших к тому времени культурным центром всего греческого мира. В Афинах он сопровождался реакцией против «иноземной» науки, к каковой афинские консервативные круги относили как ионийскую натурфилософию (представителем которой являлся, в частности, Анаксагор, проживший в Афинах около 30 лет, но в конце своей жизни бежавший оттуда, будучи обвиненным в безбожии), так и ставшее тогда модным просветительство, носителями которого были странствующие учителя мудрости — софисты. Собственно говоря, уже софисты явились выразителями указанной тенденции к очеловечению науки,

но для коренных, державшихся за старые порядки афинян они были чуждым и неподзрительным элементом. Каждое появление Протагора или Горгия в Афинах носило характер сенсации, каждое их публичное выступление было своего рода спектаклем, воспринимавшимся разными людьми по-разному, но большинством скорее отрицательно. Людей, подобных Каллию, которые увлекались софистами и платили им большие деньги, было не так много, и они подвергались насмешкам (вспомним сказанное выше о «Лестедах» Эвполида). Но особое недоверие вызывали претензии софистов быть наставниками молодых людей, способными обучить их всему, что нужно для гражданской и политической деятельности, а в первую очередь, конечно, ораторскому искусству, риторике. Консервативно настроенные граждане, ревнители старых традиций, видели в этих иноземцах сеятелей волномыслия, растлевающих юные умы и подрывающих основы нравственности и религии. Эта точка зрения разделялась, в частности, комедиографами, современниками Аристофана, включая самого Аристофана, о чем как раз и свидетельствуют «Облака», в которых и натурфилософия и софистика подверглись осмеянию в лице одного и того же человека — Сократа. Почему объектом сатирических стрел Аристофана оказался не иноземец, а стопроцентный афинянин Сократ и в какой мере этот Сократ заслуживал насмешек и обвинений, которыми он был осыпан в комедии, остается загадкой.

Подлинная аттическая философия появилась приблизительно на рубеже V и IV веков до н. э. Ее представителями были Платон, Антисфен и другие сократики. Она ответствовала духу времени в том смысле, что в центре ее внимания был человек. Она не отрицала изучения природы, но относилась к нему скептически, в лучшем случае — равнодушно. Она родилась и развивалась на чисто афинской почве: не случайно Платон, Антисфен, Эсхин и Ксенофонт были урожденными афинянами. Правда, Эвклид был родом из Мегары, а Федон из Элиды, но оба эти города не играли самостоятельной культурной роли и находились в этом отношении в сфере влияния Афин. Один Аристипп был уроженцем далекой Киренаики (греческой колонии в Африке), и действительно как по своей биографии, так и по своим воззрениям он среди прочих сократиков стоит к софистам ближе всего.

Не случайно, далее, действие **всех** сокра-

тических сочинений происходит в Афинах. В любом диалоге Платона мы ощущаем этот фон — афинскую улицу, афинскую палестру, портик афинского храма, внутренность афинского дома или, наконец, афинскую тюрьму. Можно не сомневаться, что если бы вдруг были найдены утерянные диалоги Эсхина, Эвклида, Антисфена, то мы обнаружили бы в них тот же афинский фон и на нем ту же незабываемую, немного комичную, но бесконечно обаятельную фигуру Сократа — человека, родившегося в Афинах и никогда, если не считать военных походов, из Афин не уезжавшего.

При всех различиях, которые были у сократиков, — различиях социальных, идейных, наконец, просто личных — у них было общее знамя, общий символ, общий образ учителя. Этим всем был для них Сократ. И дело здесь совсем не в том, был ли Сократ действительно их учителем в философии: дело в том, что им нужен был такой символ — образ афинского мудреца, народного философа, который чем-то напоминал образы легендарных семи мудрецов и который был одинаково далек как от ионийской учености, так и от интеллигентского красноречия софистов.

Кое-кому может прийти в голову такой вопрос: а если бы Сократа как исторической личности вообще не было, возникла ли бы тогда литература, подобная сократической? И кто стал бы главным героем этой литературы?

На первый взгляд этот вопрос может показаться не имеющим смысла. Но это не совсем так. Мы знаем другую фигуру, которая действительно могла бы заменить Сократа в его роли главного героя художественно-философских диалогов. Это сапожник Симон, современник Сократа, личность, вообще говоря, крайне загадочная. По тем скудным сведениям, которые сообщаются о Симоне позднейшими источниками, мы можем понять, что этот человек представлял собою аналогичный тип народного мудреца, сидевшего в своей сапожной мастерской и беседовавшего с посетителями на самые различные темы. Сократ будто бы любил бывать у Симона и разговаривать с ним, а тот потом записывал эти беседы. Во всяком случае, имеются сведения, что действительно существовали так называемые «сапожнические» диалоги; уже по одному этому названию можно судить, что главным героем в них был уже не Сократ, а Симон. Сообщают также, что Перикл так ценил мудрость Симона, что предложил,

чтобы тот переехал к нему и жил с ним вместе. Симон отказался от этого предложения, заявив, что он не продает свою свободу²⁴.

Любопытно, что у Платона имя Симона нигде ни разу не упоминается. Но у Федона был диалог «Симон»; правда, о его содержании мы ничего не знаем. Так или иначе, Симон был, по-видимому, как раз той фигурой, которая при благоприятных обстоятельствах могла бы стать центральным образом философского диалога, подобного диалогу сократическому.

В заключение попытаемся еще раз взглянуть на сократическую литературу как на источник сведений об историческом Сократе. Оставляя в стороне вопрос о том, существовало или не существовало у Сократа свое философское учение, проанализируем сообщения, относящиеся к фактам чисто внешней его биографии. Авторы сократических сочинений лично знали Сократа, и можно не сомневаться, что большинству из них основные события его жизни были хорошо известны. Однако, как мы увидим ниже, они совсем не стремились к исторически точному изложению известных им данных. В силу все тех же особенностей сократической литературы, как своеобразного художественного жанра, правда и вымысел, легенда и лежащие в основе этой легенды реальные факты оказываются переплетенными так тесно, что отделить одно от другого представляется практически невозможным. Исторически достоверной информации о жизни и деятельности Сократа у нас имеется очень мало.

Отметим, что даже сведения о наружности Сократа нельзя считать достоверными. Те скульптурные изображения Сократа, которые дошли до нас, относятся к позднейшему времени и не могут считаться подлинными портретами. В V веке до н. э. Греция еще не знала реалистической портретной скульптуры. Вспомним известный бюст Перикла работы Кресилая, выполненный еще при жизни Перикла. Это меньше всего портрет: это лишенный сколько-нибудь выраженных индивидуальных черт образ идеального государственного деятеля. Что же касается изображений Сократа, то все они, по-видимому, создавались на основании литературных описаний его наружности и прежде всего того места из «Пира» Платона, где Алкивиад сравнивает Сократа то с силенами, то с сатиром Марсием²⁵.

Конечно, описания наружности Сократа имели под собой реальную подоплеку. В то

же время авторам сократических сочинений наружность Сократа нужна была в качестве определенного литературного мотива. Подчеркивание внешнего безобразия Сократа, его сходства с силеном и т. д. использовалось сократиками в двояком отношении: во-первых, для эффектного контраста с красавцем Алкивиадом и, во-вторых, для противопоставления уродливой наружности Сократа внутренней красоте его личности. Именно об этом и идет речь в упомянутом рассуждении пьяного Алкивиада. Алкивиад говорит, что под внешней оболочкой, похожей на изображение силены, в Сократе скрыты божественные по своей красоте изваяния, которые раскрываются тем, кто по-настоящему узнает его. Важна не наружность человека, а его внутренние качества — вот этический смысл этого мотива.

Что мы знаем о семейной жизни Сократа? Исторически достоверным фактом можно считать, по-видимому, только то, что Сократ был женат и имел трех сыновей. Все же остальное сверх этого факта, в том числе образ злой и сварливой жены Сократа Ксантиппы, относится уже к области легенды. Можно думать, что образ Ксантиппы широко обывывался в ранней сократической литературе. У Ксенофонта о дурном характере Ксантиппы говорится дважды: в «Пире» и «Воспоминаниях». Характерно объяснение, которое дает Сократ в первом из этих сочинений Антисфену, недоумевающему, каким образом тот может жить с женщиной, сварливее которой нет ни одной на свете. «Люди, желающие стать хорошими наездниками, — отвечает Сократ, — берут себе лошадей не самых смиренных, а горячих: они думают, что если сумеют укротить таких, то легко справятся со всеми. Вот и я, желая быть в общении с людьми, взял ее себе в том убеждении, что если буду переносить ее, то мне легко будет иметь дело со всеми людьми»²⁶. В этих словах выражен смысл литературного мотива сварливой Ксантиппы.

Любопытно, что Платон этим мотивом нигде не пользуется. Ксантиппа появляется у него только один раз — перед смертью Сократа в «Федоне»²⁷; у нее на руках ребенок, и она причитает и бьет себя в грудь, как вообще свойственно поступать женщинам в аналогичных ситуациях. Как и в ряде других случаев, Платон отступает здесь от традиций ранней сократической литературы.

Большинство исследователей считает Ксантиппу исторической фигурой; против

этого трудно было бы возразить, если бы в рассказах о семейной жизни Сократа не фигурировали и иные версии.

Одна из этих версий содержится в отрывках не дошедшего до нас полностью сочинения Аристотеля «О благородстве»²⁸. А именно там рассказывается, что у Сократа были две жены: первой из них была Ксантиппа, а второй — Мирто, дочь знаменитого государственного деятеля Аристида. Благородный Аристид умер в бедности и не оставил своей дочери наследства. Отсутствие приданого ставило афинскую девушку того времени в очень трудное положение как в общественном, так и в юридическом отношении; тем не менее из уважения к ее отцу Сократ согласился взять ее в жены, причем она родила ему двух сыновей — Софрониска и Менекеена. Смысл этого мотива раскрывается самим Аристотелем: подлинное благородство состоит не в знатности рода и не в богатстве, но в происхождении от славных и добродетельных родителей.

Рассказ Аристотеля находится в резком противоречии с платоновским «Федоном». У Платона Ксантиппа стоит у смертного ложа своего мужа с маленьким ребенком на руках; у Аристотеля второй женой Сократа и матерью двух его младших сыновей оказывается Мирто. Ясно, что здесь мы имеем дело с двумя различными вариантами легенды о Сократе.

Из биографии Сократа, приводимой Диогеном Лаэртием, мы узнаем, что существовала и третья версия, согласно которой Мирто считалась первой женой Сократа, а Ксантиппа — второй²⁹. Возможно, что эта версия была придумана позднее, чтобы устранить указанное противоречие между сообщениями Платона и Аристотеля. Но она, в свою очередь, оказывается в противоречии с «Воспоминаниями» Ксенофонта, где Сократ выведен беседующим со своим старшим сыном Ламирком от его матери, которая хотя и не называется по имени, но по всем данным является Ксантиппой³⁰. Если Ламирк действительно был старшим сыном Сократа и одновременно сыном Ксантиппы, то последняя не могла быть второй женой Сократа.

Существует, наконец, еще одна забавная версия, согласно которой Сократ имел одновременно двух жен; из них Мирто была законной, а Ксантиппа — побочной. Они повседневно ссорились друг с другом, а когда это им надоедало, совместно набрасывались на Сократа³¹.

Из всего этого клубка противоречивых

версий можно сделать лишь один вывод: о семейной жизни Сократа мы фактически ничего не знаем.

Перейдем теперь к той загадочной особенности личности Сократа, которая в сократической литературе обозначается термином «демонион» (то есть демон). Классическое описание того, что такое демонион, дано в «Апологии» Платона³². Это некий внутренний голос, к которому Сократ имел обыкновение прислушиваться еще с детства и который даже в маловажных случаях удерживал его от неправильных поступков, никогда, однако, не склоняя его к чему-либо определенному. В частности, этот голос воспрещал Сократу заниматься политической деятельностью.

Таким образом, согласно Платону, действие демониона имело чисто негативный характер. Существенно иную трактовку демониона мы находим в «Воспоминаниях» Ксенофонта. Там Сократ получает от демониона указания не только в отношении своих собственных действий, но, кроме того, как говорит Ксенофонт, «многим друзьям своим он заранее советовал то-то делать, того-то не делать, ссылаясь на указания божественного голоса, и, кто следовал его совету, получал пользу, а кто не следовал, раскаивался». Такое толкование действия демониона в большей степени, по-видимому, чем платоновское, соответствовало духу ранней сократической литературы. Правда, сам Ксенофонт пытается при этом доказать, что действие демониона, по существу, ничем не отличается от обычных гаданий и примет, которыми пользуются все люди. «Но по большей части, — говорит Ксенофонт, — люди выражаются так, что птицы и встречи их отклоняют от чего-нибудь или побуждают; а Сократ как думал, так и говорил: божественный голос, говорил он, дает указания». В дальнейших главах «Воспоминаний» Ксенофонт по возможности устраняет прямые ссылки на демонион. В его «Апологии» Сократ говорит, что **боги** были против того, чтобы он готовил свою защитительную речь³³. А в его «Пире» имеется только одно шутовское упоминание о демонионе³⁴.

В зрелом творчестве Платона, если не считать «Апологии», тема демониона также не играет большой роли. Но вот в одном из его наиболее ранних сочинений — в «Феаге» — мы находим целый перечень связанных с демонионом сюжетов, которые, по-видимому, разрабатывались в ранней сократической литературе³⁵. В частности, там приводится несколько примеров, когда

демонион предупреждал Сократа об опасностях, грозивших тому или иному из его друзей. Тех, кто не желал внять увещаниям Сократа, неизменно постигало несчастье — порой это была даже смерть. Все это находится в согласии с ролью демонииона в изложении Ксенофонта. Самым поразительным, однако, следует считать случай, когда, повинувшись голосу демонииона, Сократ предсказал неудачу сицилийского похода и гибель афинского войска в 415 году до н. э., выступив, таким образом, в роли ново-возвращенной Кассандры. В позднейших диалогах Платона мы не найдем ни малейшего намека на подобные пророчества Сократа. Да и в «Феаге» об этом случае сообщается очень кратко, без каких бы то ни было деталей. Более подробный рассказ об этом содержался, по-видимому, в каком-то очень раннем произведении сократической литературы. Учитывая ту роль, которую сицилийская экспедиция 415 года сыграла в судьбе Алкивиада, можно предполагать, что это был один из диалогов алкивиадовского цикла. Заметим, кстати, что именно в диалогах этого цикла тема демонииона играла особенно большую роль (у Платона мы находим эту тему в «Алкивиаде I»³⁶).

В связи со сказанным отметим следующую характерную особенность сократической литературы: наиболее чудесные свойства личности Сократа и наиболее необыкновенные случаи из его жизни описываются как раз в наиболее ранних произведениях этого жанра, создававшихся в то время, когда память об историческом Сократе должна была быть еще совсем свежей. Это лишний раз говорит в пользу нашего тезиса о том, что авторы сократических диалогов уже с самого начала относились к своим произведениям как к произведениям художественной (но отнюдь не исторической, не историко-биографической и не мемуарной) литературы.

Чтобы покончить с темой демонииона, вернемся еще раз к «Феагу». В этом диалоге Сократ говорит, что от силы демонииона зависит также и все относящееся к его общению с другими людьми. Многим людям эта сила противится, и тогда они не могут получить от занятий с Сократом никакой пользы. Другим она помогает, и эти быстро оказывают большие успехи. Из этих успевающих некоторые имеют прочную и длительную пользу, другие же теряют все, как только покидают Сократа. И тут приводится рассказ об Аристиде, сыне Лисиаха, который во многом преуспел, общаясь с Сократом, но затем отправился в

плавание и постепенно утратил приобретенную мудрость. Самое любопытное, что Аристид никогда ничему не учился у Сократа, но становился умнее просто оттого, что находился с ним в одном доме, или, еще лучше, в одной комнате, а лучше всего, когда притрагивался к нему.

Сказанного достаточно, чтобы понять, каким образом тема демонииона использовалась в ранней сократической литературе. Весьма специфический, необычный характер этой темы заставляет предполагать, что в ее основе лежало какое-то историческое зерно. Но из этого зерна выросла такая густая чаща легендарных сюжетов, за которой мы уже ничего не в состоянии разглядеть.

Что мы знаем об участии Сократа в политической и общественной жизни афинского государства? Имеются сведения, что Сократ принимал участие в трех военных операциях эпохи Пелопоннесской войны: в экспедиции к Потидее (432 г. до н. э.), в неудачном для афинян сражении при Делии, где они были разбиты беотийцами (424 г.), и, наконец, в битве при Амфиполе (422 г.), завершившей первый период войны³⁷. В такой общей форме эти сведения могут считаться вполне правдоподобными: будучи афинским гражданином, Сократ был обязан нести военную службу и принимать участие в походах. Но все дальнейшие детали, которые при этом сообщаются в сократической литературе, связаны в основном с темой Алкивиада и имеют явно легендарный характер. Небезынтересным представляется в связи с этим то обстоятельство, что Фукидид, давший очень подробное описание этого периода Пелопоннесской войны, ни разу не упоминает имени Сократа. Из этого, конечно, не следует, что указанные сведения об участии Сократа в военных действиях афинских вооруженных сил следует отвергнуть как неверные: из этого явствует только то, что участие Сократа в Пелопоннесской войне было участием рядового воина, ничем особенным себя не проявившего. Что же касается позднейших историков, например Плутарха (который писал о Сократе в своей биографии Алкивиада), то их свидетельства не могут считаться достоверными, поскольку в числе других источников они, несомненно, пользовались и произведениями сократической литературы.

К более позднему времени относится выступление Сократа по поводу суда над стратегами — победителями в сражении при Аргинусах, о чем рассказывает Ксено-

фонт в своей «Истории Греции»³⁸. Морское сражение при Аргинусах, состоявшееся в 406 году, было одной из последних крупных побед Афин в Пелопоннесской войне. Жестокая буря, разыгравшаяся в конце сражения, воспрепятствовала афинянам прийти на помощь поврежденным и тонущим судам, не говоря уже о том, чтобы подобрать в море тела убитых афинских воинов. Это послужило поводом к обвинению стратегов, которые были вызваны в Афины и приговорены к смерти. Среди шести казненных находился, в частности, Перикл-младший, сын знаменитого Перикла. Незаконность всей этой процедуры вызвала протест Сократа, который занимал в это время должность одного из пританов, то есть тех членов Совета пятисот, в ведении которых находились текущие государственные дела³⁹. Ксенофонт приводит речь, которую якобы произнес по этому поводу Сократ в Совете. Речь эта, конечно, была сочинена Ксенофонтом, но сам по себе факт выступления Сократа не должен вызывать сомнений. Надо учесть, что в данном случае Ксенофонт излагает события в качестве историка, а не в качестве автора сократических сочинений. Любопытно, что это единственное место в «Истории Греции», где упоминается имя Сократа; суд же над самим Сократом был, вероятно, не таким событием, которое, по мнению Ксенофонта, заслуживало упоминания в историческом сочинении.

О поведении Сократа в связи с судом над стратегами говорится также и в «Апологии» Платона, причем там подчеркивается опасность, которой при этом подвергал себя Сократ⁴⁰. Вслед за этим в «Апологии» приводится и другой пример гражданского мужества Сократа, относящийся к периоду правления Тридцати⁴¹. Согласно этому рассказу, олигархи поручили Сократу и еще четверем гражданам привезти с Саламина некоего Леонта, чтобы казнить его. Четверо выполнили это распоряжение и привезли Леонта, Сократ же, считая это дело незаконным, отправился к себе домой. Любопытно, что в «Истории Греции» Ксенофонт рассказывает о казни Леонта, не упоминая при этом, однако, имени Сократа⁴². Возникает невольное предположение, что участие Сократа в этом втором деле было придумано Платоном, чтобы показать, что Сократ одинаково мужественно вел себя как при демократии, так и в период господства олигархов.

К эпохе Тридцати относится также и рассказ Ксенофонта в «Воспоминаниях», опи-

сывающий столкновения Сократа с ведущими олигархами — Критием и Хариклом. Этот рассказ, включая завершающую его беседу Сократа с Хариклом, выдержан полностью в духе сократической литературы⁴³. Цель этого рассказа очевидна — показать, что Сократ отнюдь не был в хороших отношениях с Критием, который считался одним из его учеников. Историческая достоверность его крайне сомнительна.

Последнее, чего мы коснемся в нашем очерке, относится к сведениям о процессе и смерти Сократа. В той части, в какой эти сведения могли иметь документальное происхождение, их можно считать если не абсолютно достоверными, то, во всяком случае, весьма вероятными. К этим исторически правдоподобным сведениям относятся следующие.

В 399 году до н. э. против семидесятилетнего Сократа были выдвинуты обвинения, что, во-первых, он не признает богов, признаваемых государством, но вводит новые божества, и, во-вторых, что он развращает молодежь. В качестве меры наказания обвинение требовало смерти. Обвинителями были Анит, Мелет и Ликон. При голосовании Сократ был признан виновным большинством в 281 голос против 220; за смертный приговор было подано 300 голосов против 201. Приведение приговора в исполнение состоялось не сразу, а лишь после того, как вернулся в Афины корабль, посланный к острову Делос для участия в празднествах в честь Аполлона.

Как видим, об этом трагическом эпизоде, оборвавшем жизнь Сократа, у нас имеется больше сведений, чем, пожалуй, о всей остальной его жизни. И все же эти сведения недостаточны, ибо они не дают возможности представить отчетливо, что же, в сущности, произошло в этом 399 году. Мы, например, не знаем, что побудило обвинителей привлечь Сократа к суду именно в это время. Ведь всего лишь за шесть-семь лет до этого Сократ был членом Совета пятисот и, следовательно, пользовался политическим доверием своих сограждан. Мы не знаем, далее, была ли формула обвинения составлена специально для данного дела или же это была стандартная формула, применявшаяся и в других процессах. И самое главное, мы не знаем, каково было конкретное содержание обвинений, предъявленных Сократу.

По поводу содержания обоих пунктов формулы обвинения мы находим в сократической литературе две существенно различ-

ные версии, одна из которых принадлежит Платону, а другая — Ксенофону.

Согласно «Апологии» Платона Сократ обвинялся в том, что он попусту исследует то, что находится на небесах и под землею, выдавая ложь за правду и других научая тому же⁴¹. Это, в сущности, то же обвинение, которое было выдвинуто против Сократа в «Облаках» Аристофана и которое, как указывает в своей речи Сократ, в течение многих лет распространялось и укоренялось в умах афинских граждан. Мы же касались этой версии, говоря о влиянии «Облаков» на сократическую литературу.

В отличие от Платона Ксенофонт предполагает (именно предполагает!), что главным основанием для обвинения в том, что Сократ вводит новые божества, послужили рассказы о демонионе, дающем ему указания. Второй же пункт обвинения понимается Ксенофонтом в том смысле, что Сократ якобы воспитывал юношей в духе изменности, разврата и корыстолюбия. При этом обвинение будто бы указывало на Крития и Алкивиада, как на учеников Сократа, принесших отечеству много зла⁴².

В настоящее время считается почти несомненным, что в своих «Воспоминаниях» (а также в «Апологии») Ксенофонт полемизировал не с подлинными обвинителями, выступавшими на процессе Сократа, а с софистом Поликратом, который в 393—392 годах, то есть через шесть лет после смерти Сократа, выпустил полемический памфлет, называвшийся «Обвинение Сократа». Острые этого памфлета было направлено не столько против мертвого Сократа, сколько против ранней сократической литературы, которая к тому времени начала бурно развиваться. «Воспоминания» Ксенофонта и некоторые более поздние сочинения

дают возможность довольно точно восстановить содержание памфлета Поликрата. Эта концепция позволяет объяснить многое в тех аргументах, которые приводит Ксенофонт в защиту Сократа⁴³. Платон же в своей «Апологии» не имел в виду Поликрата, у него были свои чисто литературные цели, и этим объясняется такое сильное расхождение между ним и Ксенофонтом в этом вопросе.

В заключение заметим, что имеется указание на существование еще и третьей версии касательно обвинений, выдвинутых против Сократа в 399 году. Это указание содержится в памфлете Исократ «Бусириис». Знаменитый афинский оратор Исократ, бывший современником Платона и учеником Горгия, не принадлежал к кругу близких к Сократу лиц и никогда не писал сократических сочинений. Версия, которую он мимоходом упоминает в «Бусириисе», состоит в том, что «введение новых божеств» в формуле обвинения Сократа означало поклонение собакам и другим животным⁴⁴. Эта неожиданная версия не встречается в других известных нам источниках и на первый взгляд кажется очень странной. Но не с ней ли связана известная присказка платоновского Сократа «клянусь собакой» (которую он употребляет наряду с обычными выражениями «клянусь Зевсом» и «клянусь Герой»)?⁴⁵ Так или иначе, наличие этой версии только лишний раз подчеркивает, насколько темен и запутан вопрос о подлинных мотивах осуждения Сократа. Для решения этого вопроса мы не можем извлечь сколько-нибудь надежной информации ни из сократической литературы, ни из других источников.

Личность исторического Сократа, его судьба, его взгляды, его деятельность — все это, вместе взятое, образует большую и, по-видимому, неразрешимую загадку.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ С. А. Жебелев, Сократ. Берлин, ГИЗ, 1923, стр. 189.

² Аристотель, Метафизика. Соцэкгиз, 1934, стр. 223.

³ А. О. Маковельский, Древнегреческие атомисты. Баку, 1946, стр. 314.

⁴ Вопрос о фактической ценности аристотелевских свидетельств о Сократе хорошо разобран в кн.: Н. Maier, Sokrates. Sein Werk und seine geschichtliche Stellung. Tübingen, 1913 (2-te Ausg. 1964).

⁵ См. по этому поводу:

O. Gigon, Sokrates. Sein Bild in Dichtung und Geschichte. Bern, 1947.

⁶ Впервые эта точка зрения на «Воспоминания» Ксенофонта была высказана в статье: Wilamowitz v. Moellendorf, Phaidon v. Ellis („Hermes“, XIV, 1879, 192 ff). Потом она развивалась в кн.: K. Joël, Der echte und der xenophontische Sokrates, I,

Berlin, 1893, II, Berlin, 1901; H. Maier, указ. соч.: O. Gigon, указ. соч.: A. H. Chroust, Socrates. Man and Myth. London, 1957.

⁷ Любопытно, что апологии Сократа писались не только так называемыми сократиками, но и другими авторами, которые к сократическим школам никакого отношения не имели. Кроме апологий, написанных Платоном и Ксенофонт, до нас дошла «Апология» Лисия. Мы знаем также, что в IV веке до н. э. существовали по крайней мере еще две, не дошедшие до нас апологии, авторами которых были Феопомп и Деметрий Фалерский. Последним из известных нам сочинений этого рода была «Апология» Либания, греческого писателя и риторика IV века н. э.

⁸ Ксенофонт Афинский, Сократические сочинения. Academia, 1935, стр. 55—65.

⁹ Это положение обычно приписывается Сократу на основании известного места из платоновской «Апологии» (Платон, Избранные диалоги, стр. 278—282). На самом деле оно имеет гораздо более древнее происхождение, восходящее к легендам о семи мудрецах. См. по этому поводу: O. Gigon указ. соч., стр. 97—101.

¹⁰ Платон, Избранные диалоги. М., 1965, стр. 170—184.

¹¹ «Творения Платона». Изд. К. Т. Солдатенкова, т. I. 1899, стр. 65—66.

¹² Ксенофонт Афинский, стр. 139—151.

¹³ По этому поводу см.: H. Dittmar, Aischines von Sphettos („Philol. Untersuchungen“, 21. Heft, 1912).

¹⁴ «Творения Платона», т. II. 1903, стр. 103—165.

¹⁵ «Избранные диалоги», стр. 274—275.

¹⁶ H. Dittmar, указ. соч.

¹⁷ «Творения Платона», т. IX. Ленинград, Academia 1924, стр. 107—125.

¹⁸ «Избранные диалоги», стр. 155—170.

¹⁹ «Творения Платона», т. II. 1903, стр. 174—175.

²⁰ Указанную точку зрения развивал, например, A. E. Taylor (Socrates. London, 1935).

²¹ «Творения Платона», т. II. 1903, стр. 173—228.

²² «Избранные диалоги», стр. 275—277.

²³ Эта версия приводится римским писателем начала III века н. э. Элианом (Aelian, Varia historia, 2. 13), который, по-видимому, взял ее из какого-то не дошедшего до нас произведения сократической литературы.

²⁴ Приведенные сведения сообщаются Диогеном Лаэртцем в его «Биографиях знаменитых философов» (Diog. Laert., II, 13).

²⁵ «Избранные диалоги», стр. 174—176.

²⁶ Ксенофонт Афинский, стр. 212.

²⁷ «Избранные диалоги», стр. 328.

²⁸ „Fragmenta Aristotelis“ Collegit, disposuit, illustravit Aemilius Heltz. Parisiis, Didot, 1869.

²⁹ Diog. Laert., II, 26.

³⁰ Ксенофонт Афинский, стр. 65—69.

³¹ Эта версия восходит к перипатетику Аристоксену, относившемуся к Сократу резко враждебно.

³² «Избранные диалоги», стр. 293—294 и 304.

³³ Ксенофонт Афинский, стр. 192.

³⁴ Там же, стр. 237.

³⁵ «Творения Платона», т. I. 1899, стр. 43—46.

³⁶ Там же, стр. 65—67.

³⁷ «Избранные диалоги», стр. 290.

³⁸ Ксенофонт. Historia graeca I, 7, 15.

³⁹ Совет пятисот, бывший со времени реформ Клисфена высшим органом Афинского государства, делился на 10 секций по 50 человек, соответственно числу афинских фил. Каждая из этих секций поочередно в течение одной десятой года вела текущие государственные дела. В этот период она называлась пританеями, а ее члены пританами.

⁴⁰ «Избранные диалоги», стр. 294—295.

⁴¹ Правление Тридцати было установлено в Афинах спартанцами тотчас же по окончании Пелопоннесской войны (в 404 г.). Его деятельность ознаменовалась массовыми казнями и конфискациями, направленными против демократов. В 403—402 годах в Афинах был восстановлен прежний демократический строй.

⁴² Historia graeca II, 3, 39.

⁴³ Ксенофонт Афинский, стр. 31—33.

⁴⁴ «Избранные диалоги», стр. 276—277.

⁴⁵ Ксенофонт Афинский, стр. 21—39 (то есть целиком обе первые главы первой книги «Воспоминаний»).

⁴⁶ По этому поводу см. в особенности: A. H. Chroust, Socrates. Man and myth, London, 1957.

⁴⁷ Isocrate, Discours, v. I. Paris, 1928.

⁴⁸ См., например, «Апологию» Платона, 21 Е. («Избранные диалоги», стр. 280).

М. Лапшин

Идут в наступление строки

Первые шаги

«Жизнь, как и басня, измеряется не длиной, а содержанием». Это изречение приходит на память, когда задумываешься о судьбе Василия Кубанева.

В Острогожске, где протекала юность Василия, люди, как о самом привычном, говорят: «У нас на Кубаневской улице», «В парке имени Кубанева», «В музее Кубанева». В этих привычных для острогожцев фразах нескрываемая гордость. Да, они могут гордиться тем, что рядом с ними по улицам старинного русского городка, давшего миру Крамского, Станкевича и многих других замечательных людей, шалгал своей стремительной походкой неутомимый Василий Кубанев, сделавший своим девизом слова: «Либо совсем не гореть, либо гореть во всю силу!»

«Мечтаю, — говорил он, — научиться писать и подарить людям несколько сердечных, простых и умных книг. Но для этого надо так жадно жить, чтобы за одну жизнь перечувствовать, пережить не менее десяти жизней... Попробую сделать это лет через пятнадцать-двадцать, когда я много узнаю, увижу, передумаю, перечувствую, переделаю». Василий Кубанев первую половину жизни хотел писать для себя, вторую — для всех. Но второй половины жизни у Кубанева не было: он погиб, едва переступив порог своего двадцатилетия.

Биография его коротка. Родился 13 января 1921 года в небольшом селе Орехово Курской области, в крестьянской семье. Отец его, Михаил Андреевич Кубанев, был человеком упрямым, сухим и жадным. В свое время старший Кубанев окончил три класса сельской школы, работал сначала в волостном правлении, потом на поч-

те. О его жадности и себялюбии ходили легенды. «Когда мы жили в Лисках, — вспоминал впоследствии сын, — отец покупал конфеты для себя (только для себя, нам не давал!). Когда садились пить чай, он вытаскивал конфетку, клал ее в рот, а остальные опять клал в чемодан. Чемодан... висел под потолком... Ключ от чемодана он всегда уносил с собою на службу... Когда мне было шесть лет, ...отец избил меня за то, что я, посланный в лавку покупать крючки, получил две копейки сдачи и купил на них конфет. У нас в это время сидел портной и шил мне полушубок... Я помню, как этот портной заступился за меня, а то не знаю, до чего дошло бы. Отец свалил меня на пол и стал рвать за уши и бить по лицу. Я катался по полу, стараясь вырваться. Тогда он зажал меня своими ногами... В этот момент вмешался портной и отнял меня у него...»

Всем радостным и светлым в детстве мальчик обязан своей матери, Прасковье Васильевне, чуткой, доброй и умной женщине.

В четырехлетнем возрасте Василий уже читал детские книги, какие давала ему сестра отца — Юлия Андреевна Кубанева, учительствовавшая в сельской школе. Шести лет он пошел в школу. Все свободное от занятий время отдавал книгам и стихам.

В девять лет Вася Кубанев послал стихи в молодежную газету «Будь готов». Ему не ответили. А он писал новые. Впервые выступил с ними на областной олимпиаде детского творчества в Воронеже. И привез оттуда самую дорогую награду: стопку книг.

«Писать в областную и районные газеты начал с 1932 года», — говорится в анкете, заполненной Кубаневым в тридцатых годах.

«В те годы, — вспоминает сестра Кубанева, Мария Михайловна, — мы жили на станции Лиски. Как-то взял меня братишка с собой в книжный магазин, где все казалось мне чужим и таинственным, а он, подросток, знал здесь каждый отдел, каждую полку. Продавцы относились к нему, как к давнему знакомому. И в те годы и позже Вася никогда не уходил из магазина без книг».

«Во мне сидит какой-то книжный дьявол, — признавался он, — я не могу быть равнодушен при виде книг, и сколько бы ни было у меня в этот момент денег в кармане, все растрочу на книги... В ми-

ре — тысячи книг, которые я должен знать. Если в день прочитывать по одной книге, в год всего прочитаешь триста шестьдесят пять. Как это убийственно мало!»

Узнавание для Кубанева было не только обогащением памяти, ума — это был процесс внутреннего роста, морального совершенствования.

«Совершенство в совершенствовании» — этот афоризм юный Вася повторял не раз. «Неизвестно, — вспоминает сестра Кубанева, — когда он учил уроки. А учился отлично. Только иногда захватывающее его увлечение или какая-нибудь затея приводили к срыву. Однако он наверстывал упущенное удивительно быстро и знал многие предметы глубже своих одноклассников. Но главное, что отличало его, — стремление к «преобольщению хорошего» в себе и в окружающем».

«Я за преобольщение хорошего. Оно больше, чем плохое, имеет право на это. Только помня о лучшем, можно стать лучше самому. Только жирным и ленивым мещанам выгодно и приятно думать о плохом, потому что, находя явления и существа хуже себя, они этим самым уверяют себя в своем совершенстве».

Шли школьные годы. Вася Кубанев рос, мужал, определял свое отношение к миру, постигал природу хорошего и плохого, доброго и злого, прекрасного и уродливого.

«Иногда после уроков или по вечерам, — вспоминает школьный товарищ Кубанева В. Попов, — мы бродили по Острогжскому, читая свои и чужие стихи, иногда забирались в укромные уголки городского сада, чтобы поделиться сокровенными мыслями. В центре наших споров и рассуждений всегда был вопрос о том, зачем и как должен жить каждый. И лучше Василька вряд ли кто мог выразить наши мысли:

«Надо, чтобы у человека была цель и чтобы цель эта была связана с лучшими чаяниями всего трудового народа, всего честного люда... Надо, чтобы целью каждого человека была борьба за установление коммунизма, борьба за приближение начала новой человеческой, воистину человеческой истории».

«Мы очень мало думаем о будущем, о коммунизме, — говорил он. — Для меня коммунизм — это прежде всего чистота. Чистота во всем. И главное — в человеческих отношениях. Чистота, честность, ясность».

Хочется привести один случай из тысячи других, характеризующих его собствен-

ное отношение к людям. Об этом Кубанев рассказал сам.

«Сегодня, придя из школы, я увидел на столе два письма... Одно из писем — от острогжской портнихи, хорошей моей знакомой. Это очень красивая, двадцативосьмилетняя женщина, необразованная, но очень умная и добрая. Она живет сейчас одна. Мужу ее три года назад отрезало поездом ноги. Он прожил несколько лет и скончался. Женщина эта (ее зовут Катерина Васильевна, я звал ее Катюшей), несмотря на свою силу и красоту, не стала на тот путь, на какой нередко становятся одинокие женщины в ее положении. Она очень любила мужа... Он был замечательный гармонист. Гармонь его, несмотря на временную нужду, Катя не продала и хранит ее до сих пор как память о нем... В сегодняшнем письме Катя пишет, что работы у нее сейчас мало, что недавно она ездила в Москву и у нее в дороге украли чемодан, в котором было на восемьсот рублей мануфактуры, причем на шестьсот с чем-то — кулленной по поручению и только на сто семьдесят — своей. Теперь к ней каждодневно приходят люди, которые поручили ей сделать эту покупку, и требуют у нее денег. «Обидно не это, — пишет Катя, — а то, что они мне не верят...» И вот она не знает, как теперь быть и что делать. Есть один выход — продать гармошку, но Катя... пишет, что гармошку ни за что на свете не продаст: «Лучше под забором ноги протяну, а гармошку Васину сберегу до самой смерти...»

Я написал сейчас же после того, как прочел ее письмо, ответ — большой и горячий и послал с вокзала спешным письмом. Денег у меня сейчас только сто сорок рублей. Я хотел послать ей тоже с вокзала, но почему-то не принял. Завтра пошлю по телеграфу... С вокзала же дал телеграмму Кате: «Милая Катюша, всей душой с тобой. Сделаю все, что могу. Вася». Одновременно с письмом ей — послал другое (тоже спешное письмо) в редакцию «Будь готов» с настойчивой просьбой: выслать двести рублей (и как можно скорее) по Катиному адресу. В «Будь готов» ко мне относятся хорошо и эту просьбу мою (я прошу эти двести рублей как аванс, который придется отработать немедленно) выполняют... Завтра побегу к Гребенникову и попрошу у него хоть сто — сто пятьдесят рублей и пошлю Кате дополнительно. Надо сделать все возможное: ужаснее того положения, в котором она теперь находится, я не могу пред-

ставить, зная ее восприимчивый характер...

Сегодня у нас была литература, я отпросился у преподавателя, он отпустил меня. Я побежал на почту и послал телеграфом деньги Кате — сто сорок рублей.

Уроки я насилу отсидел и после уроков пошел к Гребенникову, застал его и рассказал ему, что мне до зарезу нужны сто рублей. Он написал записку бухгалтеру, чтобы тот распорядился выдать мне деньги. Но бухгалтер сказал, что денег в кассе нет ни копейки и будут не раньше тринадцатого числа. Я похолодел от ужаса.

Оставался один выход, придуманный вчера ночью. У меня хранился золотой браслет, который мне подарила на память моя крестная мать. Браслет этот бесконечно дорог мне как память о детстве: он дорог мне почти так же, как Кате дорога гармошка ее мужа. О браслете этом не знал никто, кроме меня и крестной. И я решил продать его. Понес в ювелирный магазин, не имея никакого представления о действительной стоимости этого браслета. На вопрос: «Сколько вы желаете получить за эту вещь?» — я ответил: «Триста». Заведующий с усмешкой посмотрел на свою продавщицу, потом на меня и сказал: «Сто пятьдесят». Я вырвал у него браслет и возмущенный бросился к выходу. Он закричал в испуге: «Куда вы? Куда вы? Постойте! Какой горячий молодой человек!»

Сейчас же, как только я получил деньги, я помчался снова на почту и послал их опять телеграфом. Получит ли она эти деньги сегодня?..

Если б мог я сейчас поехать к Кате хоть на несколько часов, успокоить и ободрить! Но это невозможно. Постараюсь хоть письмами поддержать ее. Сегодня, сейчас же, напишу ей еще одно письмо. И страшнее всего для меня представить, как она плачет по ночам — одна, всем чужая, всем непонятная! Я писал ей вчера: «Береги свои глаза, Катюша...» У нее необычайно красивые глаза, всегда немножко грустные...»

Таков был он, юный Вася Кубанев, — чуткий, душевно щедрый, горячий.

Работа в газете

В 1938 году Василий Кубанев окончил школу. Он стал работать литературным сотрудником острожской районной газеты «Новая жизнь». «У меня есть сестренка Маша, — говорил он, — мне надо

работать, чтобы и она кончила десятилетку».

Василек, как звали его в редакции «Новой жизни», был прирожденным журналистом. Он умел «поднимать» злободневные вопросы, быстро откликаться на текущие события, вести умный разговор с читателем.

В 1939 году Василек работал в сельскохозяйственном отделе. «У нас нынче, — пишет он своей подруге, — такая непогода поднялась... После работы заходил в поликлинику к Машичеву. Он дал мне бюллетень до тринадцатого, а тринадцатого велел еще прийти. Ходить никуда, говорить, нельзя. Только иногда. Ну, я, конечно, уцепился за это и спросил у него: «Можно выходить во двор, чтобы дышать свежим воздухом, может быть, можно и на работу ходить?» Он отвечает: «Я вам дал бюллетень, а там дело ваше». Я все-таки решил на работу продолжать ходить. Буду сидеть дома в такие дни? Ни за что на свете!

Не ругайся на меня за то, что я дома не сижу... Мне сейчас ездить... надо. Так досадно, такое зло берет, что ездить нельзя. Ездить нельзя — это я и сам знаю... Но не бывать в редакции — было бы величайшим свинством с моей стороны. Какое дело колхозам (в конце-то концов!), что я болен. Да вовсе и не болен я, если говорить строго. В гражданскую войну в таком положении в битвы неслись. А я киснуть буду: «Ах-ах-ах! У меня бюллетень, я на работу имею право не ходить и не пойду!» Нет, буду работать, пока с ног не свалюсь. Это не насилие над собой, а моя обязанность... Как хороша сама (по себе!) моя маленькая, беспокойная работа! Все время кипишь. Хорошо кипишь. И сам в этом кипении очищаешься, меняешься, лучшаешься».

Жизнь и журналистика сливались у него воедино, так что он сам, наверное, не смог бы определить, где кончалась «просто жизнь» и начиналась «собственно журналистика».

«Счастье, — писал он, — это сознание того, что я пополняю сокровищницу человечества... Счастье — это сознание кровной связи, кровного единства с человечеством, с миром, сознание себя частью движущейся и движущей, активной, чуткой частью великого целого... Счастье — это борьба, это тяжелое восхождение, это сознание себя крупинкой великой ступени, составляющей вместе с другими бесконечную, единственно прекрасную лест-

ницу жизни... Счастье — это сознание всемогущей, организующей и творящей роли труда. Счастье — это труд, это борьба, это жизнь, да, счастье — это жизнь. Жизнь во всей полноте, во всей многогранности, во всей беспредельности, во всей сложности, во всей переменчивости, во всей текучести, во всей радости своей...

Когда я говорю о том, что счастье человека в том, чтобы приносить счастье другим, то ведь это вовсе не значит, что человек должен всю жизнь совершать жертвоприношения. Нет! Задача в том, чтобы перестроить всего себя в таком порядке, при котором осчастливливание других становится личной и повседневной потребностью, условием и содержанием собственного счастья...

Его обуревала всепоглощающая жажда знаний. «Я знаю, — говорил он, — для того, чтобы осуществить свои замыслы, я должен всю жизнь учиться — у жизни, у книг, у вещей, у себя, у мира, у врагов своих, у жуков и ящериц, у ручьев, у звезд, у солнца — у всего всему учиться». И он учился: и в школе и потом. Недосыпая ночей, изучал литературу, историю, философию, политэкономию, педагогику, математику, физику, химию. Много сил отдавал Кубанев самостоятельному изучению иностранных языков. В короткое время он овладел французским и свободно читал в подлинниках В. Гюго, О. Бальзака, Э. Золя и Р. Роллана. Для своих друзей он составил «Список ста лучших книг о Человеке», прочитав перед этим тыщи.

Кубанев был настолько эрудирован, что многие, не знавшие юношу лично, представляли его пожилым, умудренным большим жизненным опытом человеком.

«Мне, — говорит один из лучших друзей Кубанева Б. Стукалин, — пришлось быть свидетелем такой сценки. В редакцию стремительно вошла женщина. По ее лицу нетрудно было догадаться, что она чем-то сильно обеспокоена.

— Мне нужно видеть товарища Кубанева, — обратилась она к сотруднику, что был к ней ближе других. И без всякой паузы, даже не дав собеседнику сказать что-либо, женщина пояснила: — Видите ли, я прочитала в газете «Беседы о воспитании», написанные Кубаневым. Вот я и хотела бы посоветоваться с ним насчет моей дочери, совсем от рук отбилась...

— Кубанев — это я, — услышала женщина.

Не скрывая своего неудовольствия, посетительница смирила оценивающим взглядом спокойно сидевшего перед ней молодого (слишком молодого, по ее мнению!) сотрудника и... вспомнила: да ведь это тот самый Вася, который всего лишь год назад был школьным товарищем ее дочери. Чего же можно ждать от него?

Поджав губы, женщина демонстративно повернулась и направилась к выходу. Сотрудники, слышавшие весь разговор, еле сдерживали смех. Кто-то тут же сострил: «Придется тебе, Вася, в рабочие часы борodu приклеивать. А то рискуешь совсем без посетителей остаться».

В сельской школе

В 1940 году Кубанев оставляет работу в острогожской газете «Новая жизнь» и по путевке района едет преподавателем начальных классов в отдаленный от города хутор Губаревку.

Об этом периоде своей жизни Кубанев рассказывает в письмах к товарищу:

«Дорогой мой математик! Пишу из Губаревки первому тебе. Не знаю, как ты устроился. Я — еще непрочно. Поэтому сообщаю самое первопопавшееся. Квартира в двух шагах от школы... Коллега — старушка. Говорит: «Планы — для начальства. Жизнь сама подскажет...»

Сегодня собрал свою детвору, почитал им сказки, поиграли у школы и разошлись. Ребята довольны, а я, признаться, не так себе представлял первый день в школе. Что ж, в жизни, кажется, все не так, как в душе. (Надо бы добавить, в плохой душе. Хорошая душа должна отражать жизнь правильно. Тем она и хороша.) Жду твоих писем. Пишу эти вечером, поздно. Спешу ложиться, чтобы не проспать завтра. У меня ведь два класса, и придется заниматься в две смены».

Через некоторое время в другом письме Кубанев пишет:

«Дорогой Ваня! Уже не хватает времени даже на планы, на газеты тоже. Не знаю, куда оно проваливается. Занимаюсь в две смены, устаю, радуюсь неизменно. Ребята сводят меня с ума. Первачки — прелесть! Из них можно сделать все, что хочешь, то есть все, что можешь... А с третьим классом хуже. Он избалован...

Причины многих недостатков воспитания лежат в семье... Сегодня в третьем классе один ученик ударил девочку. Я произнес гневную... речь... А он сказал на пе-

ремене: «Меня отец еще не так бьет!..» Он считает, что если его бьют, значит и он должен бить кого-то, и он бьет того, кто слабее, чем он...

Прихожу на урок, зная лишь, о чем буду говорить, но как, этого почти не представляю. Все придумываю, исходя из обстановки, с помощью самих ребят. Чем больше мне это удастся, тем больше втягивается в работу класс, тем интереснее выходит работа...

«Каков учитель, — пишет Кубанев в следующем послании, — таковы и ученики. Не может научить точности человек, который сам опаздывает на занятия. Не может привить культуру человек, не обладающий ею... Учитель должен знать как можно больше. Чем больше он имеет, тем больше он отдает другим. Это его жизнь, его специальность...

Я не кричу. Крики один раз... и тебе придется кричать всю жизнь... Крики — и они всегда будут шуметь до тех пор, пока не крикнешь вторично. И будут рассуждать: раз не кричит — значит, еще терпимо. И ждать, пока закричишь... Я беру интересом. И много сам еще не знаю. Там, где я знаю и пылаю сам, они сидят в безмолвном внимании...

Моя система (ее еще нет) натуральная. Так она будет, вероятно, именоваться. Я обучаю и воспитываю на природе, на натуре. Вчера Коля Афанасьев узнал строение почвы, копал погреб, набив мозоли. Сегодня Афоня Лахин и Вова Злищев научились считать, укладывая подсолнухи на тележку...

Уроки арифметики провожу с первачками в лесу, чего и тебе желаю. Уже где и считать, как не в лесу...

Писать обо всем невозможно. Сам знаешь, что о каждом дне учителя можно написать целую книгу, если не две. И в этом главная прелесть, очевидная замечательность нашего труда.

«Первый идеал в жизни человека, — пишет он в школьном дневнике тех лет, — это учитель. Каждый человек (а в особенности деревенский ребенок) берет для себя за образец своего учителя. «Быть бы таким, как он». Это очень важно... помнить...

Я очень-очень люблю цветы. И музыку. Еще больше — стихи. Но детей я люблю больше, чем стихи, цветы и музыку, вместе взятые... да и они меня почему-то любят.

Работать с детьми — трудно, но зато каждая победа радует не меньше, чем по-

беда творческая. Учителя, подобно писателям, с полным правом могут назвать себя «инженерами человеческих душ...»

Взрослые привыкли смотреть на детей свысока, считая их неспособными ни к глубоким переживаниям, ни к серьезному мышлению... Я считаю, что детские переживания так же глубоки и умозаключения так же серьезные, как и у взрослых. К тому же они свежи и чисты. И потому во много раз более привлекательны и интересны, чем переживания взрослых.

Дети и любят, и страдают, и радуются. Правда, они не умеют делать этого. Но тем лучше. У взрослых — и любовь, и страдание, и даже радость — все идет по каким-то более или менее определенным путям, скрываемым туманом лукавства, стыда и страха. У детей же все переживания «неожиданны», непосредственны, хотя они иногда очень умело их скрывают...

Кубанев был прирожденным учителем. Еще до того, как он стал педагогом, вспоминает учительница А. Н. Трипольцева, «Вася был членом актива класса и пионерским вожаком моих учащихся... Он делал все, как самый опытный педагог: затеет какое-нибудь хорошее дело, втянет в него ребят, а сам как будто в стороне. Трудно, может быть, поверить, но я, несмотря на свой уже тогда солидный стаж, многому научилась у этого юноши».

Как ни привязался Василий «к своим воспитанникам» и «к своей Губаревке», он вынужден был переключиться «на выполнение нового долга». Тяжело заболела мать; возвращение в Острожск оказалось совершенно необходимым.

Снова в газете

Василий Кубанев вернулся в Острожск после освобождения Западной Украины и Белоруссии.

«В Западной Украине, — пишет он, — открылся первый детский дом, а из Киева во Львов пошел первый поезд. Первые выборы! Вот куда желал бы я сейчас попасть агитатором!»

Быть агитатором для Кубанева такая же органическая потребность, как писать стихи.

«Кубанев, — вспоминает Б. Стукалин, — всегда чувствовал себя агитатором... И это ни в малейшей степени не было игрой в политику, жонглированием трескучими фразами...

У него было много товарищей среди студентов педагогического училища, в ко-

тором училась его сестра. Он частенько посещал их, мог часами сидеть с ними в общежитии, прислушиваться к разговорам и спорам, бывал на уроках, толкался вместе со студентами на переменах. Он до тонкости знал, как живут и учатся будущие учителя, о чем они мечтают, что думают о своей профессии.

Как-то на одном из уроков учитель спросил студентку:

— Вы читали «Коммунистический Манифест»?

— Немножко.

В классе послышался сдержанный смех. Громко смеяться стеснялись: многие сами не читали эту книгу.

Вечером в одной комнате общежития было особенно тесно. Сгрудившись у стола, студенты слушали «Коммунистический Манифест». Читал Кубанев. Время от времени он прерывал чтение, чтобы пояснить текст и убедиться, что его поняли, потом снова углублялся в чтение.

— Многое на первый раз показалось сложным, — рассказывал потом сам организатор этих чтений, — но в общем «Коммунистический Манифест» захватил всех. В тот вечер глаза у слушателей сверкали ярче обычного. Казалось, что они вернулись из какого-то путешествия, где увидели неведомые богатства чудесной силы и красоты. Им стала понятна смелость революционеров, читавших эту же книгу подпольно и затем воплощавших ее идеи в жизнь. И стало обидно, что до сих пор не прикасались к страницам книги, которую встречали во всех библиотеках.

Возвратившись в Острогжск, Кубанев снова начал сотрудничать в газете «Новая жизнь».

После работы в сельской школе он стал еще собраннее, еще серьезней.

Листаю его дневник тех лет:

«Сейчас, — пишет он, — стало модным говорить о «чуткости». Меня, право, удивляет и смешит, что в газетах пишут о случаях чуткости и честности, как будто такая уж редкость, что человек, найдя чужой кошелек, занес его в милицию и отдал дежурному!.. Нет, иная чуткость нужна. Будничная, обыденная, постоянная, а не «специальная»...

Любовь к человеку, забота о человеке должны пропитывать каждый шаг, каждое движение каждого из нас... Облагородить человека, человеческий быт, человеческие отношения — вот что надо сделать каждому... И для этого прежде всего надо очистить себя и свои личные переживания,

стремления, мысли, чувства, отношения от всех предрассудков и условностей, от всей вековой копоти, пыли и грязи. Искренность, прямота, правдивость — вот истинно человеческие качества...

Не многословием, не клятвами, не угрызениями совести и прочими красивыми вещами выражается любовь к человеку, а действием. Будничным действием. Не надо смущаться, что ты не можешь совершить мирового подвига. Мировых подвигов в одиночку никто не совершал. Великое совершают многие. Вот истина, которую надо всегда помнить. Один не совершит не только великого, но и вообще ничего не совершит...

Любить людей — это прежде всего прямо и честно указывать им их пороки. Причем лучшее средство указать пороки — уничтожить их в самом себе.

«Человек, утративший чувство молодости, — подчеркивал не раз Кубанев, — обречен на страшное, неминуемое угасание. Берегите в себе это светлое, чудесное чувство. Пусть житейские невзгоды и холодные обиды не тушат пламени молодости в вашем сердце...»

Кубанев — однолюб в личной жизни. Он был убежден, что настоящая любовь, как и сама жизнь, дается только один раз. И он берег эту любовь.

Вот что он пишет в одном из писем к любимой:

«Почему тебе хочется печалиться? Много подлости, много грязи в нашей жизни. Но разве выведешь, разве уничтожишь их грустью, которая есть не что иное, как негласное примирение с ними, подчинение им, вручение себя слепым силам бытия?..

Человек должен быть активным, то есть, по-русски говоря, действенным, деятельным... Действенное отношение к миру — первый признак человека».

«У нас с тобою, подруженька, — говорит Кубанев в новом письме, — много всякого на веку будет: и слез, и радости, и волненья высокого, и несказанного смутенья. И счастье не только в радости. Счастье во всем: и в горе, и в скрежете зубным, и в отрешенности, и в покаяниях, и в ошибках, и в каторжно-тупой боли, которая взялась невесть откуда и душу собой глушит и давит. Счастье — в познании, в понимании. А понимать можно, только действуя. Всякое действие, даже самое маленькое, самое будничное, надо направлять лицом к человеку. Всегда спрашивай себя: я могу сейчас сделать вот то-то и то-то. Что из них полезнее людям,

народу моему? Вот это. Значит, это я и сделаю сейчас...

Принимай близко к сердцу все то, что происходит вокруг тебя. Стремись своими силами и своими знаниями слиться с общим потоком, устремляющимся в будущее. Но помни, что для того, чтобы слиться, надо иметь то, что хочешь сливать. Видишь, тут одно неразрывно связано с другим...

У нашего счастья — у моего и твоего — только одна может быть направляющая линия: борьба за общечеловеческое счастье. Во имя этой борьбы не жалко жертвовать ничем своим частным: ни временем, ни уютом... Для расцвета этого счастья мы и живем...

Строго и просто, без сюсюканья и пышности, говорит Кубанев и о тоске по любимой и о вере в нее. Он знает, что в их будущей совместной жизни мещанский уют никогда не советует себе гнезда. «Мы — часть человечества, — пишет он своей подруге. — Мы не имеем права расти книзу. И мы не будем расти книзу. Расти вверх! Только вверх! Расти, тянуться, напрыгаться изо всех сил! Пусть наша с тобою жизнь будет действием высокого напряжения, пусть наша с тобою жизнь будет устремлением глубокой силы, пусть наша с тобою жизнь будет мыслью ярчайшего накала!»

Все мы, кто изведаль и кто не изведаль подобную «горлосхватывающую любовь», радуемся чистому, светлому, прозрачному чувству, которое вселяют в нас интимные письма Кубанева! Мы понимаем, что и любовь автора этих писем — настоящая, цельная, как настоящей и цельной была и вся его жизнь.

За свою короткую жизнь Кубанев переписывался с десятками людей. Особенно часто он писал члену литературного объединения при «Мичуринской правде» Т. В. Шатиловой. Она сохранила больше двухсот писем Василия с первого листочка до последнего.

Каждое письмо Кубанева к Т. В. Шатиловой — маленький трактат не только о жизни, но и о литературе и об искусстве. К сожалению, размеры очерка не позволяют привести хотя бы два-три их целиком, но нельзя удержаться, чтобы не процитировать несколько отрывков из этих писем:

«Очистить человеческие отношения от лжи, от всяких условностей, от всяких мерзостей; научить людей жить, любить друг друга, любить жизнь, любить чело-

века — вот задача искусства: этой задаче должна быть подчинена каждая строка каждого художника, каждый его день, каждая его мысль...

В искусстве может быть только хорошее и плохое. Середины нет. Посредственное — это значит плохое...

Для меня совершенно безразлично сейчас, доберусь ли я до высот славы. На черта она мне? Но мне отнюдь не безразлично, доберусь ли я до высот мастерства. Это цель моей жизни. И ей я подчиняю каждый свой шаг. Слава — призрак, предрассудок, пустозвон. Стать самим собой, стать художником, добиться полного соответствия между внутренним богатством души и внешним выражением этого богатства — это единственное, из-за чего стоит жить, ибо это сама жизнь...

Я долгое время ломал голову над тем, как можно широко и глубоко изучать жизнь. Сейчас ответ на этот наивный вопрос я нашел: самый верный способ познать жизнь — жить. Не обижаться, не «страдать», не корчить из себя отвергнутого и непонятого пророка и безвинного мученика, но жить — жить болями и радостями Родины, мыслями и делами мира...

«Литератор, — говорил он, — так же как и учитель, воспитывает людей. Чтобы научиться делать книги, надо научиться воспитывать. Надо, по крайней мере, знать, чему ты будешь учить людей, знать, какими должны (и могут) быть люди».

Письма, дневники Кубанева волнуют удивительной цельностью взглядов на литературу, на жизнь, самоотверженной верой в будущее. «Я, — повторял Василий, — никогда не равнодушен к тому, что есть во мне и вокруг меня, и еще больше не равнодушен к тому, что должно быть».

Да, Кубанев не был равнодушным к тому, что «должно быть». И это доказывают не только его слова, но и его дела.

«...Вчера, — пишет он в одном из своих писем, — был в кино, смотрел «Александра Невского».

«Александр Невский» перед самыми глазами поставил мне вопрос: «Что ты делаешь?» Я впервые, кажется, с животной какой-то силой ощутил, как велика, как близка, как ужасна опасность войны, опасность нашествия на нашу землю кровавых разбойников. И я спросил себя: «Что ты сделал? Что ты делаешь? Что ты сделаешь, чтобы облегчить твоей Отчизне победу в грядущей битве?» И я покраснел. Мне было так стыдно, так страшно стыд-

но в этот час, когда я пытал себя: «Для чего же ты живешь, если ты ничего не сделал для народа, для людей?!»

Перед лицом надвигающейся схватки двух миров журналист Кубанев еще требовательнее, еще строже подходит к своей жизни. «С завтрашнего дня, — писал он в дневнике, — изменю свое расписание. Во-первых, буду ложиться... в половине второго ночи. Вставать в семь. Нет, это поздно. Вставать в половине седьмого... Большее количество часов спать невозможно. Это значило бы заглушить в себе всяческую совесть... Надо работать бешено, трезво, неумолимо работать, делать дело, делать себя!»

И он работал, делал дело, делал себя.

Грозные годы

И вот она — война. Кубанев уходит добровольцем на фронт.

В дневнике, который Кубанев продолжал вести и здесь, в армии, он пишет: «Есть все-таки в военной службе что-то такое, что наполняет огнем даже мое сугубо штатское сердце. Вероятно, вся штука в том, что военная служба позволяет наиболее полно и ярко проявиться чувству патриотизма. Если бы мне сказали, что для общего счастья нужно, чтобы я погиб, я беспрекословно согласился бы погибнуть...»

Осенью 1941 года фронт приблизился к месту рождения Василия — Курской области. Рядовому пехотинцу Кубаневу довелось участвовать в защите родных мест. Адские трудности боевой походной жизни первого периода войны не сломили волю Василия, не потушили в его душе «журналистского огня». Самоотверженно воюя, он продолжал писать стихи. Вот одно из его стихотворений тех дней:

Мой друг!
И ручку и тетрадь свою
Держать с собою стану я в строю,
Чтоб помнить всюду,
До какой строки
Дописаны заветные стихи,
Чтобы спокойным выстрелом в бою
Закончить песню новую свою...

Но «закончить новую песню» Кубаневу не удалось.

Не удалось ему и «выполнить самую свою заветную думку — дойти до Берлина». Его свалила старая, обострившаяся на фронте, болезнь — туберкулез. Тяже-

ло больного Василья привезли в родной Острогжск. Здесь, в больничной палате, он снова взялся за перо. Но силы уже были на исходе... Через несколько дней, 27 марта 1942 года, он умер... Умер, не дописав последней корреспонденции, недолюбив, не дождавшись выхода своей книги. Все в его короткой жизни осталось незавершенным, кроме нее самой.

Похоронен Василий Михайлович Кубанев в Острогжске. На обелиске высечены его любимые слова: «Либо совсем не гореть, либо гореть во всю силу!»

Его литературное наследство

Летом 1942 года в Острогжск ворвались оккупанты. Квартира Кубанева была разрушена взрывом фашистской бомбы, и находившиеся в ней рукописи безвозвратно погибли. Но добрая память о талантливом юноше продолжала жить в сердцах его земляков. Благодаря стараниям друзей в 1955 году в Воронеже вышла небольшая книжка стихотворений Кубанева «Перед восходом». И хотя в ней — лишь небольшая часть литературного наследия безвременно погибшего поэта, она была замечена.

В «Литературной газете» отмечалось: «Кубанев отразил в своих лучших стихах большие чувства и большую мудрость великой страны, ее людей».

И люди его не забыли. В 1958 году в издательстве «Молодая гвардия» двадцатитысячным тиражом вышел сборник стихов, фелетонов, дневников, писем Кубанева — «Идут в наступление строки». Имя поэта становится известным широкому кругу читателей.

В последующие годы составитель обоих сборников Борис Стукалин, так много сделавший по собианию и обнародованию литературного наследия Кубанева, разыскал много неизвестных произведений своего друга. И в издательстве «Молодая гвардия» в 1960 году вышло второе, значительно дополненное издание книги Кубанева.

В 1967 году на родине Кубанева, в Воронеже, вышло третье, дополненное издание, в которое включено все, что удалось разыскать в последние годы. Литературное наследие Кубанева впервые предстало перед читателем в полном объеме.

Многое из того, что собрано в этой написанной «соком нервов и кровью сердца» книге, не предназначалось автором для печати. Но стихи и фелетоны, дневники и

письма, казалось бы, разрозненные, не связанные между собой, собранные воедино, стали живой и захватывающей книгой.

Всю свою сознательную жизнь Василий мечтал о герое, который был бы идеалом для советских людей. И сам того не ведал, что создал образ этого героя, раскрывая себя в своих записях и письмах.

В июне 1968 года ЦК ВЛКСМ и Союз писателей СССР приняли решение посмертно наградить Василия Кубанева за его книгу «Идут в наступление строки» мемориальной медалью конкурса имени Николая Островского, посвященного пятидесятилетию Октября.

Стихи Кубанева — зеркало его души. Они, так же как и их автор, упорные и упрямые, ищущие и неровные. Им, как и автору, нельзя не верить.

Свое поэтическое «кредо» Кубанев выразил в стихотворении «Идут в наступление строки»:

Стихоплет,
довольствующийся поэзии задами,
копающийся
в мусоре древних куч,
как куренок дождя,
страшится заданий
и прячется
в сумрак
лирических куч.
И рифмует
изысканно шевелюристый
лирик:

«Счастье-ненастье,
«Пегас-Парнас».
Но черта ли в ней,
в этой самой лире,
если она,
не поет про нас!

Кубанев — человек определенных и категоричных суждений. Ему дорога живая и будничная конкретность, связанная с перспективой общенародного дела. Полутона, зыбкость, аморфность формы, неясность и нерешительность мысли ему несвойственны. Он враг той фальшивой, пустотелой «поэтичности», чья претензия на «новшество» очень часто отдает бутафорией.

Когда задумываешься, какой огонь согревал его, делал веселым и радостным, способным говорить обо всем и всегда с задором, с юмором, на память приходят его стихи:

Нам
путь нелегкий
пришлось пройти.

Мы мало спали,
мы мало ели.

Но
это
нам
открыло пути
К свободной жизни,
к желанной цели.

Кубаневу не были чужды ни заблуждения, ни ошибки. Все это находило выражение и в стихах.

О недостатках своих стихов всего лучше знал сам автор.

«Я не написал еще ни одного стихотворения, которое казалось бы мне удовлетворительным, — говорил он. — ...Что вчера казалось мне нехорошим, сегодня кажется очень плохим, а завтра покажется отвратительным».

Да, в стихах Кубанева много несовершенного. Но он все время искал. Его мастерство крепло от стихотворения к стихотворению. Рост его был стремительным и бурным. Он шел к поэтическим высотам «широкошажно». «Проходит всего лишь несколько дней, — писал он, — и я сам вижу, что плохо в последних моих стихах. Проходит еще несколько дней, и я уже знаю, почему это плохо, а еще через неделю — нахожу и способы избежать этого в дальнейшем». И его последние стихи не оставляют сомнения в том, что в будущем он достиг бы поэтических вершин.

Едва ли не самое дорогое нам в Кубаневе — это его острое чувство времени и понимание «магистральных» задач эпохи:

Я мог бы воспеть
полыханье лет,
Которые нами пройдены,
Но надо,
чтоб жил и горел
поэт

Сегодняшней
жизнью Родины.

Я мог бы
зажечься
любой из тем,

Мне в голову
любящихся лавою,

Но я не хочу
зажигаться
тем,

Что для всех
сегодня
не главное.

Все в этом стихотворении — и отношение поэта к жизни, и его гражданская творческая активность, и рифмы, и интонации — напоминает В. Маяковского. Знакомая с жизнью Кубанева, убеждаешься в том, что он знал и любил «правофлангового советской поэзии» особенной любовью. «Сейчас, — писал Кубанев, — две высочайшие вершины высятся в искусстве: в поэзии — Маяковский, в прозе — Горький».

Еще в детстве, познакомившись со стихами Маяковского, Кубанев был поражен их необычайной «взрывной силой и новизной». «Увесисто, жарко и просто» — так, по меткому замечанию Кубанева, умел писать Маяковский. Этому учился и одаренный юноша. Он еще в молодости повесил портрет любимого поэта над своим рабочим столом в редакции газеты и ежедневно, приходя на работу, приветствовал «Владим Владимыча», а уходя домой, не забывал попрощаться со «своим учителем».

Учеба Кубанева у любимого поэта шла не путем освоения поэтических приемов «учителя», хотя следы внешнего подражания в ранних стихотворениях «ученика» налицо, Кубанев учился у Маяковского прежде всего активному отношению к действительности, умению глубоко и образно раскрывать смысл происходящего. Здесь мы обнаруживаем духовное родство, преемственность основных традиций боевой, наступательной советской поэзии. «Правофланговый» помогает «левофланговому» найти свою интонацию, создать собственный творческий почерк.

С каждым годом все глубже и глубже проникает Кубанев в сущность целеустремленной, активной поэзии Маяковского, приобретает прямооту выражения, страстность в отстаивании главных принципов жизни, в понимании своих «поэтических задач».

Болезней

поэту

бессмысленно бояться,
От болезней

поэту

никуда не деться.

Поэт обязан

всю жизнь воспаляться,

Болезнь воспалением

воли и сердца.

Сколько сыновней нежности, искренности, любви вложил поэт в стихотворение «Ленин». Образ родного Ильича, который

входит в мир каждого советского человека «вместе с первой нежностью к матерям», наделен автором конкретно-зримыми чертами. Поэт как бы сам видит Ленина в обстановке революционных дней 1917 года, то среди «неудержимого людского приboя» и «колыхания знамен и винтовок» на площади Финляндского вокзала, то в скромном рабочем кабинете за письменным столом. Человек, ставший «нашей совестью, нашим чувством», изображен автором земным, «близко зримым»:

Каждое имя для нас не пусто!

Но он

в нас будит не просто любовь.

Он стал нашей совестью,

нашим чувством,

таким же живым,

как восторг или боль.

Я вижу

родные бессонные руки,

берущие голову

в ласковый плен,

усталость в глазах

и не новые брюки,

немножко

растянутые

у колен.

Трудолюбивый, требовательный к себе, Василий Кубанев хорошо понимал, что настоящий поэт — это первооткрыватель, что на литературную дорогу проторенным путем не выйдешь. Он неустанно и жадно изучал жизнь, стремился писать смело и, подобно В. Маяковскому, изводил «тоны словесной руды единого слова ради»:

О, эти поиски слов-кирпичей!

Идешь, как будто слоняясь без дела,

А сам копишь, как росу ручей,

Такие слова, чтобы в гуле речей

Гроза небес загудела.

Рост мастерства поэта стал особенно заметен в последние два года его жизни. Стихи этой поры насыщены острым политическим содержанием, отличаются прозрачностью художественной формы.

Большое значение в совершенствовании поэтического мастерства Василия Кубанева имела переписка с А. С. Серафимовичем, А. Н. Толстым и особенно встреча с другом Владимира Маяковского поэтом Николаем Асеевым накануне Великой Отечественной войны. Кубанев читал извест-

ному поэту стихи. Асеев... «и хвалил и ругал их».

После этой встречи, в то предгрозовое время, Кубанев все чаще и чаще начинает «приравнивать свое перо к штыку».

Вместе с ощущением грозового времени все сильнее и сильнее в творчестве поэта начинает звучать и лирическая тема. Любовь, захлестнувшая юношу в предвоенные годы, делает его богаче, содержательнее. Более зорким становится и взгляд поэта. В письме, адресованном любимой девушке Вере Клишиной, такой же «забияке живой», как и сам автор, он пишет:

Строку за строкою отжав, отцедив,
Такую книгу построю,
Чтоб каждый трудом любовался моим,
Как я любовался тобою.

Лирические стихи Кубанева той поры полны огня, света. В них пробивается тот же голос и проступает тот же характер, что и в письмах и дневниковых записях. Работа, любовь, стихи — все стянуто у Кубанева в один узел, все это слито с безудержным чувством радости, с ощущением полноты и цельности жизни, жизни «взахлеб».

«Жить! — восклицает Кубанев. — Жить полной грудью. Не стесняться тем, что жизнь — это самоуничтожение. Пусть самоуничтожение. Надо сделать его ярким и неповторимым. Надо, чтобы жизнь была костром, дающим всем свет и тепло. Надо, чтобы этот костер пылал вечно. Надо, чтобы люди брали от него огонь для своих светильников... К этому должен стремиться каждый поэт!»

Кубаневу чуждо иждивенческое отношение и к счастью и к стиху. Именно поэтому он каждый раз писал как-то по-новому, своеобразно, по-кубаневски. Многие его стихи написаны строгим размером, некоторые, заключающие в себе размышления о жизни, написаны свободным, белым стихом, а отдельные стихотворения по форме близки к народному песенному ладу.

И в каждом «частица его собственного сердца».

Стихи — не ватага нарядных повес.
Стихи — это грозное воинство...

На их оснащение мне не жалка
любая сердечная трата.

Пусть в буквах таится,
как сила в штыках,
несносная,
острая правда.
Пусть лоском не ластится
стих мой к глазам,
не блещет
красивостью вышитой —
зато
все то,
что я сказал,
из самого сердца выжато.

Свои «из сердца выжатые» стихи поэт прежде всего адресовал «рослому и мощному молодому поколению».

* *
*

Представленная в литературном наследии проза писателя — его фельетоны, выдержки из дневников и писем, заметки — обращает на себя внимание смелостью суждений, зрелостью мыслей, зоркостью наблюдений.

Проза Кубанева, так же как и его поэзия, — резкая и взрывчатая, неровная и ершистая. Но в ней та же цельность натуры, та же душевная чистота. При чтении ее встает образ вдумчивого и непреклонного человека, умевшего ярко любить и страстно ненавидеть, радоваться и горевать.

Несмотря на то, что Кубанев еще только «вынашивал замыслы», а творчеством занимался «на ходу», «впопыхах», в публикуемых фельетонах, письмах, дневниках он проявил тонкое чутье не только к содержанию, но и к форме. Сколько интересных тем поднято в его прозаических отрывках, какая интересная форма для них найдена. Иногда его письма и дневниковые записи — это маленькие рассказы, полные юмора и оптимизма, иногда это острая публицистика с яркими художественными штрихами и деталями.

...До обидного рано оборвалась жизнь Василька. Он не успел сделать и малой доли того, о чем думал, о чем мечтал и на что был способен.

Масштабны были творческие замыслы Василия Кубанева. Самой главной своей целью он считал создание серии книг о рождении и победе Советской власти — книг, в которых была бы запечатлена художественная история первой половины XX века. Этот огромный труд он условно называл «Целое».

Поэт собирался написать большую книгу об искусстве, о его задачах и методах, а также о его истории развития. Он придавал особое значение этой книге, считая ее программной для себя.

Обширной по замыслу была также книга о культуре советского общества, в которой он намеревался выступить за «истинную гуманность», за красоту нового человека, за чистоту отношений между людьми.

В дневниках писателя можно найти также сюжеты нескольких драматических произведений, план романа о женщине, а также наброски целого ряда поэм.

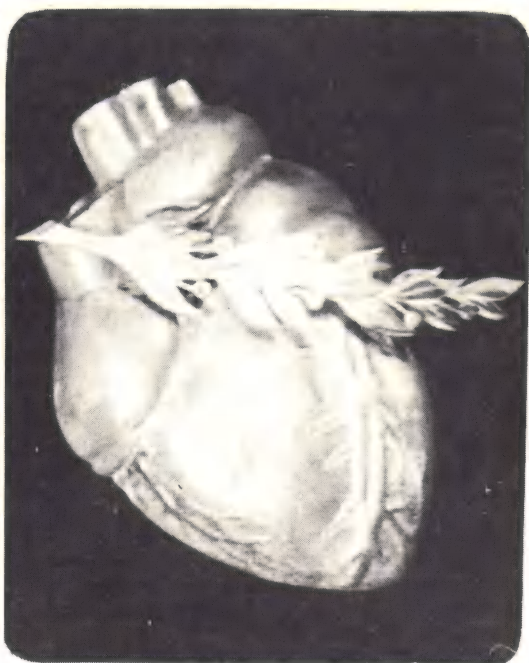
Ему не удалось осуществить своих основных творческих замыслов, но уже и в тех произведениях, которые Кубанев успел создать и которые опубликованы в сборнике «Идут в наступление строки»,

он проявил себя многообещающим художником и незаурядным мыслителем.

Если бы он был жив, ему 13 января 1971 года исполнилось бы пятьдесят лет. Это тот возраст, о котором он так мечтал.

«Мне надо прожить пятьдесят лет, — говорил юноша Кубанев, — а за пятьдесят лет я должен сделать как можно больше и сделать это как можно большее как можно лучше. Через пятьдесят лет... меня не будет... А мир останется. Что важнее: я или мир, который будет жить тысячи лет? Конечно, мир! Значит, надо жить для мира, для людей. Украшать мир благородными делами. Перестраивать мир...»

Ему не довелось прожить и половины задуманного. Но, погибнув, он не ушел от нас. Он с нами! Выходят его книги, звучит его голос, — значит, жизнь солдата и писателя Василия Кубанева продолжается!..



В день 70-летия это серебряное сердце подарили А. Н. Бакулеву его ученики.

А. Н. Бакулев

Полвека на службе жизни

Весной 1966 года выдающийся советский хирург, Герой Социалистического Труда, академик Александр Николаевич Бакулев по договору с Политиздатом взялся за подготовку книги, условно озаглавленной «Полвека на службе жизни» (в другом варианте — «Полвека у операционного стола»).

Надо сказать, что Александр Николаевич был по природе своей человеком крайне скромным и не терпящим саморекламы.

На уговоры редакторов Политиздата он отвечал, что согласен, если это уж очень надобно, чтобы о нем написали в третьем лице, и не откажется помочь в этом деле чем только сможет. Он сдался в конце концов, когда узнал, что речь идет об издании целой серии мемуаров крупных деятелей советской культуры, науки и техники и что ему предстоит лишь вспоминать и рассказывать, а литературную запись и обработку воспоминаний сделает им же выбранный журналист.

Наши встречи и беседы с Александром Николаевичем происходили нерегулярно и в разных местах. То в руководимой им хирургической клинике 2-го Московского медицинского института — здесь его то и дело отрывали от разговора срочные телефонные звонки и врачи-ассистенты, — то у него дома в высотном здании на площади Восстания или, если в воскресные дни, у него на даче.

Темы наших бесед не всегда укладывались в рамки заранее намеченного плана. Иной раз, начав с какого-нибудь давнего эпизода, он сразу же переходил к волновавшим его событиям дня нынешнего. Припомнив, например, факты бездушного, формального отношения некоторых молодых врачей к пациентам, он начинал горячо доказывать, что и ныне при подготовке молодых специалистов плохо внедряют в их сознание мысль, что медицина есть наука плюс сердечность, то есть уважительное внимание к больному человеку.

Вспоминая тот день в сентябре 1948 года, когда он первым в Союзе рискнул сделать маленькой девочке с врожденным пороком сердца операцию ушивания так называемого боталлова протока (решился вопреки знаменитому запрету немецкого хирурга Вильброта: «Не подам руки тому хирургу, который осмелится скальпелем вторгнуться в запретную область — в сердце человека!»), Александр Николаевич тут же с увлечением начинал рассказывать, какие гигантские шаги делает в СССР вновь рожденная наука — хирургия сердца: в сотнях клиник и больниц страны производятся операции на сердце; зарегистри-

ровано уже более 20 тысяч одних только операций митральной комиссуртомии.

Поразительна и поучительна была судьба этого человека, вошедшего в жизнь простым крестьянским паренком и не только достигшего вершин в своей науке, но и оказавшего существенное влияние на все развитие современной хирургии.

Мудрым врачом и милым человеком назвал А. Н. Бакулева в день его 75-летия писатель Леонид Леонов.

Обидно и горько, что смерть не обошла этого большого врача и ученого, подлинно милого народу человека. Болезнь помешала осуществить нужный замысел. Воспоминания Александра Николаевича не были завершены. В сохранившихся записях он рассказывает о своем детстве, об учебе в Вятской гимназии и Саратовском университете, о первых шагах досрочно выпущенного «зауряд-врача».

А. Александров

Помнится, я как-то натолкнулся на полшутливое замечание одного остроумного философа по поводу использования времени и опыта старых людей. Обычно старикам дают в помощники молодых. Во многих случаях было бы лучше, если бы молодым давали в помощники стариков. Старики на опыте собственной жизни могли бы указывать, чего следует избегать и как поступать, чтобы стать людьми более значительными.

С этой не лишенной здравого смысла мыслью и я взялся за изложение воспоминаний о своей жизни, за воспоминания человека, вышедшего из низов дореволюционной России и поднявшегося на довольно высокую ступень медицинской науки; отдавшего более чем 50 лет своей жизни нелегкому, но увлекательному и прекрасному своим возвышенными, благородными целями труду у операционного стола в больницах, лазаретах и госпиталях, в клиниках.

Кажется, Гёте принадлежит высказывание о том, что хирургия есть божественное искусство, предмет которого — прекрасный и священный человеческий образ. Это звучное определение, конечно, прежде всего приложимо к хирургии пластической, имеющей своим содержанием и задачей восстановление полноты и целостности человеческого облика. В начале своей хирургической деятельности некоторое время и я посвятил свои силы пластической хирургии. Но большая часть моей жизни связана с развитием хирургии полостной и грудной, хирургией сосудов сердца и мозга. И в большинстве случаев не от «божественного искусства», а от научной подготовки и уме-

лых рук хирурга, любви к делу, добросовестности и вдумчивости врача и всех его помощников зависели исход операции, облегчение страданий и зачастую сама жизнь больного.

Много пришлось мне поездить, многое повидать, многому учиться. Учась сам, я учил и других. Немало лучших моих учеников теперь сами руководят кафедрами, воспитывают новые кадры хирургов.

Были у меня интересные встречи с крупными учеными многих стран Европы и Америки. Некоторое время я руководил штабом советской медицинской науки — Академией медицинских наук СССР.

На моем долгом трудовом пути были, конечно, кроме достижений, и неудачи и заблуждения.

Думаю, что в какой-то мере все это — и успехи и ошибки — может оказаться интересным и поучительным для молодежи, для тех, кто идет на смену нам, старикам. Вот почему я, как бы выполняя пожелание философа, принимаю на себя роль помощника молодых и берусь рассказать о своей жизни.

1. Из деревни Бакули

Я родился 8 декабря 1890 года в Слободском уезде Вятской губернии (ныне Кировской области). Во многих биографических материалах местом моего рождения названа деревня Невениковская. Но это, так сказать, официальное наименование более позднего происхождения. В пору моего появления на божий свет деревня эта называлась просто Бакули. Отсюда, видимо, и пошла фамилия многих «родовитых» крестьянских семейств, корнями своими издревле вросших в вятскую землю, в места, тяготевшие к уездному городу Слободскому, давно известному своими скорняжными, пошивочными и меховыми производствами, мастерскими, артелями.

Семья у отца Николая Никитича Бакулева и матери Марии Федоровны была большая. Кроме меня, были еще две сестры и три брата. Я старший. Чтобы всех одеть и прокормить, отцу приходилось изрядно натуживаться на своем земельном наделе, всячески изворачиваться, пускать в дело все рабочие руки, имевшиеся в доме. Так, конечно, и я уже с восьмилетнего возраста должен был помогать отцу управляться в хозяйстве.

Разная тогда требовалась «помочь» от нас, мальцов. Вывоз навоза, полевые работы, загрузка возов во время жатвы... Маль-

чишкам все это казалось легко и весело. На лошадях, даже на груженных сеном возах старались обогнать друг друга. Подлинно тяжек — тут уж не до веселья — был наш труд осенью, в дни молотбы. Молотилку отец одалживал где-то за плату, сарай отапливали по-черному, жара в нем поддерживалась невыносимая. Женщины крутили молотилку, мы подбрасывали снопы. Кругом все черно от дыма, весь мокрый от напряжения и жара, я работал так весь день, а день этот начинался в пять утра и заканчивался часов в семь вечера.

Нелегкое оно было, это трудовое детство. Но теперь, на склоне лет своих, я хорошо понимаю, как оно полезно было. Сызмальства создавалась привычка к труду, с ранних лет мы приучались видеть и ощущать цену дел рук человеческих.

Учился я сначала в земском училище, оно находилось в десяти верстах от наших Бакулей, в селе Успенском. Мне повезло: учительствовала там тогда молодая женщина, умная и сердечная, Градислава Кирилловна Орешникова, по-видимому, из числа ссыльных интеллигентов — их в те времена немало было в нашем лесном краю.

Если летом мы, мальчишки, принимали самое деятельное участие в хозяйственных делах, то уж зимой с книжками под мышкой в любую погоду, в метель и стужу, лесом надо было добираться до училища. Градислава Кирилловна, видимо, приметила старательность и некоторые способности бакулевского мальчонки. Стала исподволь внушать родителям, что надо облегчить жизнь малыша, чтоб на начальной школе учеба не остановилась.

Когда родилась младшая сестра, дед, отец моей матери — Федор Васильевич Осетров — упросил отца отдать им пока Сашку на воспитание. Жили они с бабушкой далеко — в тридцати верстах от нас, в глухой деревушке, среди дремучих лесов. Жили они одиноко и скучно. Дед любил меня и называл Сахарком — грешным делом я питал слабость к сахару. Другие кондитерские изделия тогда были нам неведомы. Мне с дедом было хорошо. Он научил меня ухаживать за ульями, быть своим человеком в царстве непуганой дичи, птиц и зверей, густо населявших никем не тронутые леса вокруг удивительной по красоте речки Пампухи.

Дед Федор Васильевич и вступил в разговор с учительницей Градиславой Кирилловной — совместными силами воздействовать на отца, уговорить его позволить старшему сыну по окончании школы гото-

виться к поступлению в Вятскую гимназию. Нелегко было добиться этого. Ведь это означало надолго отказаться от нужного в доме помощника. Но в конце концов уговоры — в них принял участие и наш сельский священник — завершились благополучно. После трехлетнего учения в начальном земском училище я отправился в Вятку. Точнее сказать, меня повезла туда учительница Градислава Кирилловна, взявшая на себя роль попечительницы, можно сказать, ангела-хранителя...

Первое время жил у родственников матери. Позднее, когда экзамены в гимназию были благополучно сданы, жил с другими учениками на частной квартире. Уже с 4-го класса, занявшись в качестве репетитора отстающими учениками, я почувствовал себя более или менее самостоятельным человеком, смог даже посылать кое-что отцу. Так репетиторствовал и дальше, вплоть до окончания гимназии.

Вятская гимназия... Много воспоминаний связано у меня с этим первым в моей жизни городом, куда попал я 11-летним деревенским мальчишкой. Первое соприкосновение с казенной гимназической дисциплиной. Первые товарищи, одетые в одинаковую серую форму. Преподаватели, обряженные в торжественные чиновничьи мундиры с блестящими пуговицами и потому казавшиеся пугающе серьезными и даже мрачными.

Свободный от домашних хозяйственных дел, я много читал, усердно учился. Может быть, поэтому довольно жесткие требования учебной программы казались мне не столь уж тяжелы. Охотно и много занимался я математикой, испытывая к ней особое влечение. Гораздо меньший интерес проявлял к русскому языку. Весьма посредственно учился по географии. Неодинаково шло дело с изучением иностранных языков. Сравнительно успешно осваивался немецкий. Хотя я еще и не умел свободно разговаривать по-немецки, но довольно легко все переводил. Неплохо получалось с латынью. На экзаменах без особых заминков перевел Цицерона. А это считалось наилучшим показателем овладения языком древних римлян.

И еще раз следует подчеркнуть: нет худа без добра. Положительное значение для моих успехов в гимназической учебе имела моя репетиторская работа с отстающими учениками. Как ни досадовал я в то время на этот свой «крест», считая его наказанием божьим за несодержанные грехи, а он обязывал меня учиться за двоих, знать гораздо больше заданного, стоять на голову

выше многих сынков из богатых купеческих и дворянских семей. Впрочем, в глазах гимназического начальства изрядно портила мою репутацию чрезмерная подвижность, непоседливость, склонность не то чтобы к грубым нарушениям порядка, но к тому, что строгий директор гимназии, статский советник и кавалер С. Богатырев, в назидательных беседах со мной именовал чересчур вольными манерами (имея, очевидно, в виду мою деревенскую неотесанность и отсутствие надлежащей воспитанности). Правда, в аттестате зрелости, полученном после восьми лет обучения в гимназии, поведение мое все же признано было отличным и портила аттестат лишь единственная тройка по географии.

В последних, старших классах гимназии вообще я чувствовал гораздо больше уверенности в своих силах. Осознал, что стою на верном пути, что смогу оправдать надежды тех, кто оторвал меня от полей и лесов, от сладостно-горькой поры трудного детства в родной деревне и привез в город, чтобы сделать меня образованным человеком.

Конечно, и в старших классах я не порывал связей с семьей, с деревней. Месяцы летних каникул всегда оставались для меня месяцами «производственной практики» на родных полях и на пахучих лугах близ прозрачных вод медвяной речки Пампухи. Здесь неизменно ожидала меня и веселая косяба, и удалые погони гуженных сеном возов к овину, и трудные дежурства у молотилки в жарком сарае, и такая малопривлекательная, но важная работа, как вывоз в поле навоза. Мои товарищи-гимназисты, конечно, были в курсе моего летнего времяпрепровождения. Я возвращался в город загоревший, поздоровевший, повеселевший. И не без гордости рассказывал о своих успехах и достижениях на сельскохозяйственном поприще. Кое-кому из благовоспитанных соучеников мои мужицкие занятия казались совсем не соответствующими духу классического воспитания, которое нам давалось, особенностям той деятельности, к которой нас готовили, утонченным манерам того общества, к которому они принадлежали. Поэтому в ход пошло, когда речь заходила обо мне, ироническое и высокомерное прозвище «г...зист». Впрочем, никто не решался преподнести мне этого прямо в лицо. Знали, что при надобности, несмотря на вполне добрый нрав, я способен пустить в ход крепкие плебейские кулаки.

Летом 1911 года выпускные экзамены были сданы. Курс гимназических наук закончен. Аттестат зрелости получен. Теперь

предстояло определить свой дальнейший путь, избрать профессию и место для получения высшего образования.

Решение остановить свой выбор на медицинской профессии зрело еще дома.

То и дело эпидемии косили деревню. У нас в семье все переболели дифтерией. Она почти не покидала наших изб. Никогда не забыть, как внезапно слегла четырехлетняя девочка соседей. Как-то сразу свалилась и начала хрипеть. Всем было понятно, что ее надо немедленно везти в больницу. Но пока судили и решали, как да на чем везти, девочка задохнулась и умерла.

Мое желание учиться «на доктора» одобряла и семья. Оставалось только решить, какой из университетских городов Поволжья предпочесть — Казань или Саратов.

В отличие от Казанского Саратовский университет к этому моменту существовал только два года. У него еще не было солидной, прочной репутации. Слышал лишь положительные отзывы некоторых, раньше меня кончивших вятских гимназистов. Но они расхваливали профессуру и ее доброе отношение к студентам, рассказывали, как легко там получить недорогое жилье, как вообще соблазнительно доступны всевозможные бытовые блага.

Одним словом, я остановил свой выбор на Саратове. И первый раз в своей жизни отправился из Вятки в Саратов в плавание на пароходе.

2. В Саратовском университете

Итак, я в Саратове. На пристани сдал свои вещи на хранение, а сам пошел в город искать пристанище.

С Саратовом привычно связывались грибоевские строчки: «В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов...» Но я уже заранее знал, что после тихой Вятки окажусь совсем не в глуши, а в большом, культурном городе. В самом деле, он и удивлял и радовал приезжего обилием людей на улицах, особенно молодежи, солидными каменными зданиями, прямыми, асфальтированными улицами. В городе прокладывалась трамвайная линия. Бросалось в глаза множество магазинов, банков, отделений торговых фирм.

Чувствовался размах саратовского купечества и его стремление оправдать репутацию волжской столицы. Правда, убогие лачуги вокруг пристани, толпы бурлаков и грузчиков, ожидающих зова хозяев и приказчиков, наконец, скопища нищих у папертей многочисленных церквей — все это на-

поминало о будничной действительности российского города.

Оправдались рассказы о том, что в Саратове нетрудно найти жилье. Устроиться вместе с кем-нибудь из товарищей было бы особенно легко. Но я еще по опыту жизни в Вятке убедился: если всерьез хочешь заниматься, лучше жить в отдельной комнате. И такая быстро подвернулась, о чем извещало объявлениице у ворот одного дома. Нужный домишко стоял во дворе. Когда я постучался, дверь открыла простая, приветливая женщина. Она с готовностью показала комнату и сказала условия: восемь рублей в месяц, за них будут, кроме комнаты, утренний завтрак с чаем и чай вечером. В комнате стояли стол, шкаф, складная кровать. Все это — и светлая, солнечная комната, и добрая хозяйка, да еще будущие завтраки с чаем — показалось мне таким заманчивым, что я сразу почувствовал себя самостоятельным студентом, уже имеющим твердую почву под ногами. И просьба о задатке в пятьдесят копеек показалась мне совершенно пустячной, хотя в кармане у меня в тот момент имелся всего-навсего один рубль.

Недаром народная мудрость говорила: молодому все просто. Так легко и весело было тогда у меня на душе, что совсем просто оказалось расстаться и со второй половиной «основного капитала», с которым я вступал в новую жизнь в Саратове.

Проходил мимо театра. Там стояла в ожидании начала оперного спектакля компания молодежи: два студента и две барышни. Один из них предложил мне билет в ложу. Охотно я извлек из кармана свой последний полтинник и, счастливый сознанием того, что приобретаю к культурной жизни, торжественно вступил в театр.

Потом, разговорившись со своим случайным знакомцем, я все же поделился с ним своей заботой: в кармане ни гроша, надо раздобыть урок. Он обрадовался: у него как раз был адрес — в семью, где растет порядочный балбес, нужен репетитор. Оплата будет зависеть от успехов сына.

Нечего и говорить, как я обрадовался такому везению. Еще раз подтвердилось правота моей матери, часто уверявшей, что мне в жизни будет везти, потому что я «родился в сорочке».

В семье, адрес которой я взял, началась моя трудовая саратовская жизнь. И в Саратове репетиторство до самого конца студенческой жизни продолжало оставаться для меня главным источником существования.

Началось и знакомство с университетом, преподавателями, студентами.

Не скрою: знакомство с университетом начал я с весьма прозаической, но насущно нужной вещи — со столовой. А была здесь студенческая столовая, как мне тогда показалось, отменно хороша и привлекательна. Видимо, для привлечения студентов к новому университету организовали ее и даже обслуживали на полублаготворительных началах жены профессоров. Сами покупали продукты, сами готовили...

Все было доброкачественно, обильно, дешево. Хлеба давали сколько угодно. Даже если студент столь беден, что у него нет нескольких копеек пообедать, он мог бесплатно получить хлеб с квасом. И все это в обстановке самого доброго, прямо домашнего гостеприимства.

Если верно, что театр начинается с вешалки, то для меня, да и для многих других не избалованных жизнью студентов в то время университет в Саратове начинался со столовой — уютной, приятной, сытной и, главное, дешевой.

Я уже упоминал, что к моменту моего поступления Саратовский университет существовал только два года.хлопоты о его учреждении со стороны местного общества, главным образом чиновного дворянства, перед царским правительством начались давно, но натолкнулись на резкие отказы. Не поддерживали этой идеи и купеческие управы. Одна из уездных купеческих управ, например, официально заявила: «Местные купеческие и мещанские дети в университете образованию нужды не имеют».

Дело подтолкнул 300-летний юбилей Саратова, отмечавшийся в 1891 году. Городская дума под давлением общественного мнения обратилась к правительству с ходатайством, повторяла свои просьбы чуть не ежегодно, ассигновала средства из местного бюджета, даже направила в Петербург специальную делегацию. И наконец, проект попал на рассмотрение Государственного совета.

Саратов, родина Чернышевского, и без того славный крамольным городом. Один из влиятельных членов совета при рассмотрении проекта так открыто и заявил: «Создавать новый университет — это значит создавать новый революционный очаг». Известный монархист и реакционер Суворин на страницах «Нового времени» яростно обрушился на инициаторов создания университета на родине Чернышевского. Но острая нужда в специалистах, особенно

врачах, давила и на царский Государственный совет. Решение об открытии университета, правда, в составе пока одного лишь медицинского факультета, было все-таки принято и утверждено.

Очевидцы и участники с воодушевлением рассказывали мне, какое многолюдное народное шествие к месту будущей постройки университетских зданий на Московской площади состоялось в день открытия университета в начале декабря 1909 года. Кроме официальных представителей и учащейся молодежи, было множество крестьян из окрестных сел и рабочих. Шествие было яркой демонстрацией стремления народа к науке, к просвещению. На торжественном акте открытия университета в городском театре были оглашены сотни приветственных посланий не только от Российской академии наук, Военно-медицинской академии и всех русских университетов, но и от университетов Кембриджа, Лондона, Парижа, Лейдена, Праги, Кракова, Софии. Поздравительные адреса прислали рабочие крупнейших предприятий Саратова.

Первым ректором университета был известный казанский хирург профессор В. И. Разумовский. Проректором — химик В. В. Вормс.

Василий Иванович Разумовский широко известен был не только как хирург с большим научным авторитетом, но и как человек смелых, независимых суждений, цельного морального облика. Эти его качества проявились и при подборе руководителей кафедр медицинского факультета. Он старался собрать талантливых и передовых профессоров, способных, невзирая на гнетущую атмосферу политической реакции, повести за собой студенческую молодежь, передать ей лучшее из сокровищницы знаний.

И в частности, на должность профессора ведущей хирургической кафедры — госпитальной хирургии — Разумовский решил пригласить земского врача из Смоленска — С. И. Спасокукоцкого.

Случай этот был единственным и беспрецедентным. Нарушался привычный и строго регламентированный порядок подготовки и продвижения научных работников: клиническая ординатура — защита докторской диссертации — ассистент, лаборант или прозектор, словом, несколько лет работы на кафедре под наблюдением профессора — доцент — и, наконец, профессор. К чести саратовской профессуры, она поддержала инициативу Разумовского. Но для избрания на кафедру Спасокукоц-

кого требовалась еще и санкция министра просвещения Кассо. И этот министр-мракобес сделал, конечно, все, чтобы задержать, не допустить нежелательного назначения земского врача на роль воспитателя будущих врачей. Спасокукоцкий уже приехал в Саратов, а утверждения все не было. Занятия первого учебного года в 1909 году начинались без него. Назревал скандал.

И здесь-то В. И. Разумовский сделал все, чтоб пробить стену казенного формализма и равнодушия. Использовал все свои связи, научный авторитет, энергию, личное обаяние — и добился утверждения кандидата. И в последующем Сергей Иванович Спасокукоцкий с первых своих шагов на профессорском поприще в Саратове был связан с Разумовским и его семьей большой и тесной дружбой.

Несколько забегая вперед, скажу здесь же, что на посту ректора Саратовского университета Разумовскому позволили пробыть недолго, только три года. Именно за независимое поведение и передовые убеждения Кассо сместил его и даже лишил должности штатного профессора. Так же недолго продержался в должности проректора и профессор Вормс.

Близко стоявший к студенчеству, он не скрывал своего сочувствия революционным идеям. Когда в Саратове, как и в других университетах страны, в связи со смертью Льва Николаевича Толстого прокатилась волна демонстраций и митингов, Вормс открыто выразил свою солидарность с молодежью.

Студенты требовали повесить в университетской библиотеке портрет Льва Толстого. Попечитель учебного округа запретил делать это. Начались волнения. Вмешался губернатор, последовала забастовка с политическими лозунгами. А ответом на это было правительственное распоряжение совету университета — отдавать в солдаты студентов, участвующих в «беспорядках».

И вот вскоре после этого, 7 ноября 1913 года, профессор Вормс перед началом своей лекции предложил аудитории в связи с третьей годовщиной со дня смерти Толстого почтить его память вставанием. Студенты с воодушевлением исполнили это, а по окончании лекции проводили профессора бурными аплодисментами. Но уже на следующий день профессор Вормс был снят с должности проректора «за своеволие».

Студенты выразили свой протест объявлением забастовки. В этот день мы не за-

нимались. Но вернуть Вормса на пост ректора было, разумеется, не в наших силах.

Начесть сказать, что и Разумовский и Вормс, как профессора, вели свои курсы безукоризненно. Разумовский, хотя сам уже операций на животных не производил, но читал лекции по общей хирургии живо, интересно, доходчиво, иллюстрируя их операциями на животных и на трупах. Вормс тоже преподавал медицинскую химию не только посредством блестящих по изложению лекций, но и путем тщательного построения практических занятий. Строились они с расчетом до конца, на деле выяснять, что знает, что умеет студент. Он давал, например, в руки пробирку с прозрачной смесью и предлагал определить, из каких элементов эта смесь состоит. При этом позволялось советоваться с соседом, заглядывать в руководство. Помню, как я был озадачен своей неудачей, выполняя однажды это задание. Последовательно отливал из пробирки половину, еще часть, а должного результата все не получалось. И потом, когда профессор стал проверять мою методику, выяснилась причина моей неудачи. Она заключалась именно в том, что я дробил жидкость, а анализ мог получиться при исследовании всего содержимого пробирки. Так я получил наглядный урок по одному из законов диалектики о переходе количественных изменений в качественные.

Говоря далее о профессуре первых моих студенческих лет на медицинском факультете Саратовского университета, должен хотя бы коротко вспомнить А. А. Богомольца (патофизиология).

А. А. Богомольц был, безусловно, одной из самых ярких фигур среди саратовской профессуры. Радикально настроенный человек, он принадлежал к левому крылу профессуры, был одним из тех, кто давал повод жандармерии и попечительству всегда беспокоиться о политической благонадежности университетов.

Лекции он читал с увлечением, интересно. Но, подобно Вормсу, всегда требовал, чтобы студенты, не ограничиваясь теорией, могли любое задание выполнить собственными руками, на глазах у преподавателя.

Хорошо помню, как сдавал Богомольцу экзамен по общей патологии. Четко и уверенно ответил на его вопросы, но он, явно чем-то еще не удовлетворенный, вдруг предлагает:

— Ну-ка, поставьте мне реакцию Вассермана. Реактивы на столе. Делайте.

— Я не был на практикуме, — расте-

рянно сказал я. — Но я хорошо знаю, как надо делать. Могу все по порядку рассказать.

— Нет, — твердо сказал Александр Александрович. — Этого недостаточно. Пожалуйста, не рассказывайте, а покажите.

Мне оставалось попросить свой матрикул и сказать, что приду в другой раз, когда смогу сделать реакцию Вассермана.

Придя в следующий раз, я попросил разрешения проделать каверзную реакцию.

— Зачем же? — улыбнулся профессор. — Вы говорите, что проделали, научились... Значит, все в порядке. Дайте вашу зачетную книжку.

Я получил пятерку. А пятерки эти были мне ой как нужны! Ведь только при пятерках освобождали от платы за учение!

Конечно, не все предметы программы изучались с одинаковым интересом и усидчивостью. Многое зависело от качества лекций, от умения профессора увлечь слушателей, но многое и от того, какой специальности заранее задумал посвятить себя студент. Я, например, чуть не с первого курса мечтал о специальности хирурга и потому, конечно, с особенным усердием одолевал все, что в первую очередь понадобится мне как хирургу — в частности, анатомию.

Посещение лекций было необязательным. Нас, студентов-медиков, было тогда совсем немного, меньше ста человек. Профессора знали каждого не только в лицо, но и по имени-отчеству. Не ходить на лекции было нельзя не в силу формальных требований, а потому, что профессор мог взять «на заметку» систематически не слушающего его студента и сделать выводы для оценок. Тем не менее аудитория у одних профессоров всегда была полна, а у других всегда очень жиденькой. Например, на лекции совершенно бездарного преподавателя фармации мы ходили «по разверстке», отбывая тягостную повинность, а к профессору фармакологии Владимиру Игнатьевичу Скворцову, несмотря на то, что предмет усвоить было крайне трудно и давался студентам тяжело, на лекции приходили даже посторонние люди, аудитория, что называется, всегда ломилась. Читал он красочно, художественно. И потому практические занятия по фармакологии тоже не казались уже столь сухими и скучными.

И. А. Чувеский, автор хорошего учебника по нормальной физиологии, живой, прогрессивный человек, умел заинтересовать студентов многочисленными опытами на животных. Вместе со своими сотрудниками он много занимался вопросами кровообра-

щения, физиологией сосудодвигательных нервов, системой кровоснабжения отдельных органов и тканей и, наконец, совсем малоизвестной в то время областью — процессом кровообращения в организме человека и животных. Если впоследствии, став молодым врачом, я обнаружил некоторую грамотность и понимание механизма сердечно-сосудистых нарушений, то в большой мере я обязан этим тем основным познаниям, которые заложил в нас физиолог Чувский.

Как я уже сказал выше, важнейшим для меня предметом уже с первого курса была нормальная анатомия. Интерес к ней пробудил не профессор, руководивший этой кафедрой. Николай Григорьевич Стадницкий был наименее симпатичен и приятен саратовским студентам. Консерватор, даже черносотенец по своим политическим убеждениям, он вообще был крайне тяжелым, малообщительным человеком. Суровый, жесткий и придирчивый, он способен был только отпугнуть тех, кто, может быть, и хотел бы поглубже заглянуть в темную область науки о строении органов человеческого тела.

И лектором он был совсем не блестящим. Одно было у него хорошо — он читал медленно, часто повторялся. Это очень облегчало усвоение анатомии.

А уж я волей-неволей и внимательно слушал лектора и часами засиживался над учебными пособиями и над препарированием трупов, так что одно время товарищи шутя даже прозвали меня «артистом анатомического театра».

Артистом, конечно, не был, но в «анатомичке» чувствовал себя уверенно и спокойно. Знал и понимал, что мастерство хирурга начинается именно здесь, у анатомического стола. Ведь само это греческое слово — анатомия (в переводе — рассечение) говорит о естественном родстве науки о познании форм и строения человеческого тела с хирургией — наукой об оперативных вмешательствах при болезнях этого самого тела.

На третьем курсе я, как и все мои товарищи, с особым интересом ждал лекций нового профессора — С. И. Спасокукоцкого. Многие из нас знали историю борьбы за его утверждение на университетской кафедре. Многие понимали необычность самого факта прихода «в профессора» никогда и нигде не преподававшего земского врача.

К началу первой лекции аудитория была полна. Повышенный интерес виден был не

только на лицах студентов — он ощущался в самой атмосфере зала.

Но Спасокукоцкий держался очень просто и спокойно, как будто он пришел к нам — и уже не первый раз — для обыкновенного делового собеседования. Он представился очень скромно и с этого начал лекцию:

— Милостивые государи, я выступаю перед вами с ничтожным опытом в деле преподавания и с большой тревогой за успех взятой на себя трудной и ответственной задачи.

Потом без громких слов и напыщенности он нарисовал яркую картину достижений современной хирургии:

— Успехи хирургии велики и блестящи. Для нас почти нет уже тайн в области живота. Нашему глазу и хирургическому ножу доступны легкие и мозг. Рука хирурга посягнула даже на источник жизни — сердце...

Однако делать такие операции крайне трудно. Недостаточно знать, что надо сделать, надо уметь пустить в ход нож, долото, пилу, иглу. Надо уметь владеть этими инструментами.

Ведь плотник, столяр и портной владеют своими инструментами лучше, чем многие хирурги — своими, а они добиваются этого умения многими годами упорного труда, перепортив много материала. А наш драгоценный материал — человеческое тело и такой важнейший дар, как здоровье. Так неужели же не нужна и хирургу тщательная техническая подготовка? Быстрая и отчетливая работа — главная задача хирургического мастерства.

Мы, слушатели, восхищены гигантскими возможностями хирургии. Мы уже готовы мечтать о чудесах, которые будем творить, стоит лишь овладеть хирургической техникой!..

Но мысль лектора делает неожиданный для нас поворот:

— Со всей силой убеждения я буду предостерегать от увлечения чисто технической стороной дела!

И последующие слова лекции заставляют нас глубже и серьезнее задуматься над тем, что составляет самый фундамент всей медицины, не только хирургии.

— Задачи медицины сводятся к распознаванию и лечению болезней. Тридцать пять лет тому назад Гиртль позволил себе сказать следующее: «Только первое (распознавание) составляет науку. Последнее (лечение) есть и долго останется одним эмпиризмом. И это знание так необширно, что Максимилиан Штоль, один из извест-

нейших врачей нашего времени, хотел написать его на своем ногте».

Конечно, — добавил Сергей Иванович, — сказанное было не совсем верно уже для того времени. Но наукой по преимуществу является распознавание болезней — диагностика. Лечение же, как правило, представляет собой эмпирику. Опытным путем врачи ищут средства к излечению болезней...

Медицина много достигла в распознавании болезней, но для лечения их, как это ни странно, неизмеримо больше сделали смежные науки — бактериология, биохимия, физиология, микробиология, фармакология.

Нет, не только хирургическая техника и опыт двигают вперед хирургию. Ее успехи зависят от развития смежных с медициной теоретических наук. Действительно, хирургия сделала громадные успехи. Но чтобы избежать косности и рутинности хирургического ремесла, надо неустанно, всю жизнь следить за развитием этих наук — они главным образом определяют успехи медицины в целом и хирургии в частности.

И в заключение своей первой лекции Спасокукоцкий сказал:

— Нам придется изучать оперативную хирургию в неудобном, тесном и, может быть, не совсем здоровом помещении. Вспомним, что старые, лучшие хирурги учились еще в худших условиях. Мы с вами должны доказать всем, что для приобретения знаний необходима не роскошная обстановка, а только собственное горячее желание!

Как бодрый, оптимистический призыв к молодежи прозвучали эти слова нового профессора.

На последних курсах медицинского факультета я все больше убеждался в том, что путь в хирургию совсем не так прост и прям, как это могло казаться человеку, знакомому лишь с чисто внешней, казовой, стороной специальности и профессии хирурга.

Все больше я сознавал, что пятерки по всем предметам нужны мне не только ради сохранения права на бесплатное обучение в университете, но и для того, чтобы получить действительно глубокую теоретическую подготовку. При слабом знании анатомии, физиологии, общей патологии смутно представляешь себе сложные процессы, происходящие в организме, и превращающиеся просто в ремесленника.

Начиная с третьего курса я стал систематически посещать клинику общей хирур-

гии. И здесь, присматриваясь к больным и к лечившим их врачам, я много раз наблюдал, как сама постановка диагноза и решение вопроса об операции оказываются сложной задачей, требующей знаний, опыта, наблюдательности.

Памятным и поучительным уроком был для меня эпизод в клинике внутренних болезней, которой руководил профессор Любенецкий.

Мне, студенту четвертого курса, было поручено курирование недавно поступившего больного. А курировать тогда значило нечто большее, чем во многих клиниках теперь.

Студент-куратор должен был самостоятельно собирать анамнез, то есть медицинскую биографию больного, тщательно обследовать его, произвести все анализы, написать историю болезни и поставить диагноз. Списывать готовый диагноз было откуда, не было доски, висящей у кровати больного, как это мы часто наблюдаем теперь.

С разрешения ординатора я подробнее расспросил больного о его самочувствии и жалобах, сам исследовал в лаборатории желудочный сок и кровь, рассказал о результатах и своих соображениях. Ординатор заглянул в свою записную книжку. Все мои заключения совпадали с данными клиники. Недоумение врача вызвал лишь мой диагноз: рак желудка.

— На чем это основано? А на язву желудка разве все это не похоже? Ведь клиническая картина соответствует язве! И рентген ничего не показывает. Передам ваши выводы доценту.

Следующий обход доцента превратился в своего рода экзамен. Надо было продемонстрировать, как я пальпирую больного, показать, где прощупываю опухоль, объяснить, какие наблюдения подтверждают мой диагноз. Мне предложили прийти на профессорский обход.

Говоря формально, я мог бы чувствовать себя на обходе профессора провалившимся мальчишкой, самоуверенно вступившим в спор со знающими специалистами. Никто, кроме меня, не находил у больного никакой опухоли. А толком объяснить, какие тонкие детали и оттенки самочувствия и поведения больного давали мне основание так уверенно отстаивать свой диагноз, в то время я, видимо, не мог.

Кончилось все тем, что мне велели написать историю болезни, подробно изложить все свои наблюдения, соображения и выводы. Диагноз указать тот, какой поставила

клиника. Условно, с вопросом, приписать и свой диагноз.

Получилась у меня эта история болезни на 12 страницах, и оказалась она своеобразным клиническим этюдом, почти в заодно-полевой форме излагавшим пытливые наблюдения молодого медика.

И, прощаясь с этим больным — он был сельский житель, я напутствовал его советом: если станет хуже, приехать снова и обратиться уже прямо в соседнюю, хирургическую клинику.

Через три месяца меня вызвали к профессору С. И. Спасокукоцкому. А дело было весной, уже началась пора экзаменов.

— Садитесь. Вы курировали в терапии больного Н.? Рассказывайте.

Охотно и подробно я рассказал о больном, которого хорошо запомнил, о том, как разошелся в диагнозе с терапевтами.

— Теперь идемте, я покажу вам этого самого больного.

Да, на койке в хирургической клинике лежал тот мой больной. Но пальпация уже не требовалась. Опухоль была видна и без опущивания.

— Приходите завтра, — коротко сказал Сергей Иванович.

И я вспомнил то, что уже знал и читал о его отношении к главной проблеме желудочной хирургии — к раку желудка. «Пока задачей врача является не только излечение больного, но и облегчение его страданий, — писал Спасокукоцкий, — до тех пор операция при раке желудка является вполне законной».

Когда на следующий день я пришел в клинику, профессор предложил мне мыться и готовиться к операции.

— Будете рассказывать, что я делаю, что видите, а после операции придете ко мне в кабинет.

А в кабинете разговор был еще короче.

— Дайте ваш матрикул. Вы сдали экзамен по хирургии. И, кстати, зайдите к профессору Любенецкому, он просил взять у него историю болезни Н.

Любенецкий вручил мне спорную историю болезни, сделав на ней надпись: «Sufficiat maxime». И сказал при этом: «Экзамен по терапии вы тоже сдали».

3. Школа войны

С войной, точнее, с военной медициной пришлось мне соприкоснуться еще будучи студентом. Когда началась русско-германская война, я был уже на четвертом курсе медицинского факультета. Саратовские ла-

зареты уже полны были ранеными — не только русскими солдатами, но и пленными, особенно много было австрийцев. Нас, студентов, в особенности тех, кто стремился к хирургической специальности, направили в эти лазареты фельдшерами. Конечно, главным образом речь шла о помощи при перевязках раненых. Мой лазарет размещался при больнице, где находилась клиника профессора Спасокукоцкого. Хозяйничал в этом лазарете почти единолично один из ассистентов Сергея Ивановича — Беляев, так как почти все хирурги клиники были призваны в армию.

Он, надо сказать, производил на нас крайне неприятное впечатление своей, как теперь выразились бы, халтурной работой, каким-то пренебрежением к тем элементарным требованиям асептики, которым всегда учил нас профессор.

Так, однажды к нему попал молодой австрийский солдат, которого надо было оперировать в связи с тем, что в лучезапястном суставе у него каким-то образом оказалась иглока. Целый час Беляев ковырялся в суставе, потом повел несчастного на рентген, опять копался в ране, но так ничего и не нашел. А через два дня рука у солдата страшно отекала, началась тяжелая флегмона кисти, и Беляев принял решение сделать ампутацию всей верхней правой конечности.

Даже старая, опытная фельдшерница возмутилась: «Молодого, здорового парня лишить правой руки! Даже не сделав разреза!»

На следующий день в лазарете был Спасокукоцкий. Я поделился с ним своими сомнениями.

— А кто вы такой?

— Студент четвертого курса. Такой-то...

— А-а, помню. Идемте.

Подошли к постели больного. Спасокукоцкий пощупал пульс, велел взять его в перевязочную. Здесь предложил снять бинты, ощупать отечную руку и сказал:

— Мойтесь, будете ассистировать. А вы, — обратился он к другому студенту, — будете давать наркоз.

В указанных Сергеем Ивановичем местах я сделал разрезы, он раздвинул края раны и в глубине ее показал: торчал конец иглы.

Операция закончилась, больного отправили в палату. Лишь после этого начался шум.

Беляева профессор распустил так, что ему оставалось только скромненько удалиться из лазарета. Так состоялось мое первое соприкосновение с Сергеем Ивано-

вичем непосредственно у операционного стола. Вскоре, это было уже в 1915 году, нас, закончивших четвертый курс, наделили званием зауряд-врача и направили в распоряжение военного командования. После официального выпуска, уже перед самой отправкой в армию, состоялся прощальный вечер-банкет, на который приглашены были и преподаватели, профессора.

Играл оркестр, пели задорные студенческие песни, произносились напутственные речи. Вдруг я почувствовал на плече чью-то руку и услышал голос:

— Ну-с, что думаете делать, куда намерены ехать?

— На фронт еду, Сергей Иванович, — отозвался я.

— Что ж, нужное, конечно, дело. И для помощи воинам и для вас, как будущего хирурга.

— Еще бы, — обрадовался было я. — Ведь сколько практики, какая будет школа!

— Нет, — спокойно остудил мой пыл Сергей Иванович, — школа, но не хирургия. На греко-турецкой войне я научился не столько хирургии, сколько жизни! А на русско-японской я думал, что совсем разучусь оперировать. Хотя был я главным врачом санитарного отряда, а заниматься приходилось всем — и устройством палат, и аптекой, и бельем, и кормежкой людей... Так что — школа жизни; на это и надо рассчитывать. А потом, после войны, что будете делать?

— Если можно будет, поработаю в хирургической клинике. Мечтаю попасть к вам, Сергей Иванович.

— Что ж, правильно задумали. Когда вернетесь, приму к себе. Но с одним условием: никакой хирургией на фронте не заниматься, никакой! Врачуите там сколько угодно, можете лечить инфекционных больных, просто быть терапевтом, даже носить раненых, но только чтоб подальше от операционного стола. Если это условие выполните, приезжайте.

Сергей Иванович пожал мне руку, пожелал успеха.

Я отошел от него и радуясь и недоумевая. «Где же, — думал я, — получать навыки хирургической работы, как не на войне? Почему такой запрет?»

Но расспрашивать было неудобно. Спасокукоцкий уже отошел к группе профессоров. Лишь позднее я уразумел и оценил логику и смысл строгого условия, поставленного мне учителем. Он хотел, чтобы я, как будущий хирург, использовал свое пребывание на военной службе для всемерного

расширения своего общемедицинского кругозора, чтобы многое изучал и познал в других клинических областях и снова попал к нему, не испортив себя стандартными приемами и навыками какого-нибудь случайного наставника.

Так или иначе хирургия для меня, зауряд-врача, оказалась запретной зоной. Как ни мечтал я именно об этой работе, но, не желая обманывать учителя, решил пока что выполнять его условие. И проверить свою выдержку пришлось сразу же.

Начальник Саратовского эвакупункта, в распоряжение которого я попал, даже не спрашивал меня, приказал получить направление в хирургический госпиталь. Я замылся...

— Не могу быть хирургом.

Начэвак не понимал, что происходит.

— Почему не можете?

Докладывать ему о разговоре с С. И. Спасокукоцким мне казалось недопустимым. Я сказал первое, что пришло в голову:

— Не переносу вида крови, питаю отвращение к операциям!..

— Да вы институтка или военный врач? — взорвался начальник. — Что это за разговоры? Получайте приказ и отправляйтесь, куда вас посылают.

— Не могу, — упорно твердил я. — Не получится из меня хирург.

Начальник ругался, негодовал, стыдил. Выручил меня присутствовавший при разговоре его заместитель.

— По-моему, не следует настаивать, — сказал он. — Нам нужны и другие врачи, не только хирурги. Давайте направим его в кожно-венерический госпиталь.

Начэвак сразу успокоился.

— Вы согласны в кожный?

— Согласен.

— Получайте приказ.

Так, еще очень мало понимая в кожных болезнях, попал я в госпиталь для кожно-венерических больных. В институте этой дисциплине я уделял самое незначительное внимание, считая, что к хирургии она имеет наименьшее отношение. А тут вдруг сразу пришлось сделаться специалистом. Правда, первое время вынужден был «специализироваться» на уколах и внутривенных вливаниях больным сифилисом и в этом деле так набил себе руку, что врачи охотно использовали меня именно на этом поприще. В то же время навалился на учебники и атласы кожных болезней, стал усердно восполнять этот пробел в своей подготовке. Через некоторое время я осво-

ился уже не только с обязанностями «процедурной сестры», но и с более широким кругом дел врача кожно-венерического госпиталя, а выбор средств и методов лечения попадавших сюда больных, надо сказать, был в то время очень ограничен и стандартен. Но в то же время все больше ощущал я и неудовлетворенность своей работой.

Снова я направился к начэваку. Из моего сбивчивого рассказа он понял только, что хотя своего отрицательного отношения к хирургии я не изменил, но хочу быть поближе к фронту. Опять он возмущался и недоумевал. Отзывы обо мне у него были хорошие.

— Можно, находясь в спокойном месте, стать хорошим специалистом, чего вам не сидится?

Друг друга мы не убедили, и скоро я был у него для последнего, решительного разговора. В результате на моем рапорте появилась резолюция об откомандировании в полевой госпиталь.

Был сентябрь 1915 года. Лазарет 84-й пехотной дивизии, куда я был направлен, находился в районе Молодечно — Вилейка в Белоруссии. Начальник вначале тоже выразил удивление.

— Вы работали в кожно-венерическом госпитале, а у меня здесь такого отделения нет. Хотите, конечно, на хирургию?

— Никак нет, — ответил я.

— Странно. В таком случае могу направить вас только в терапию. Нет возражений?

— Никак нет!

В терапевтическом отделении мне представлялась возможность ближе подойти к тем задачам, которые должен уметь решать хирург. Ведь Сергей Иванович всегда в своих лекциях подчеркивал, что грамотным хирургом невозможно быть, не будучи и хорошим терапевтом. Без глубоких знаний, тонкой наблюдательности и умения выделить главное среди многих жалоб больного и симптомов страдания нельзя распознать болезнь и выходить больного. Диагностика стала для меня новой страстью. Вечера и даже ночи во время дежурств я опять просиживал над книгами. Но... не долго продолжался и этот этап моей военно-медицинской деятельности. Уже в ноябре пятнадцатого года я получил новое назначение — младшим врачом пехотного Кабардинского полка.

Младший врач полка... Для человека, желающего иметь какое-то отношение абсолютно ко всем разделам медицины, ко

всему, что может оказать влияние на здоровье солдата, лучшей должности нельзя было и придумать. Младший полковой врач отвечал за все: за хранение и качество пищи, за чистоту посуды, за санитарное состояние помещений, за белье и своевременное мытье солдат, за вшивость и предупреждение заразных болезней, за потертость солдатских ног. А кроме того, надо было вести амбулаторный прием в полковом лазарете по всем болезням и наблюдать за работой фельдшеров. Работать надо было с утра до вечера...

По молодости лет я справлялся с тысячей разнообразных обязанностей. Полк стоял пока в резерве. Военная обстановка была спокойная, я мог бы пребывать в этом положении неопределенно долгое время, если б не строптивый характер, приводивший к столкновениям с начальством по самым неожиданным поводам.

Подходила зима. Кое-где отмечены были случаи сыпняка, а мыть солдат было легке. Начались настойчивые хлопоты о постройке бани. Пришло, наконец, разрешение. Старший врач предложил мне проследить, чтобы баня строилась без задержек, в подходящем месте. А когда я явился к интенданту, он мне заявил, что врачи изволят запаздывать, баня уже несколько дней строится. «Можете проверить...»

Придя на место, я увидел, что строят совсем не там, где следовало бы. На высоком, открытом месте. Словно нарочно, чтобы дать немцам ориентир для пристрелки. Увидят дым из трубы — и начнут сыпать снарядами...

Крепко госпорили и поругались мы с интендантом. Скандал дошел до командира полка, а это он выбирал место для бани. Тут я услышал, что наша докторская забота, лишь чтоб солдаты были вымыты, и нечего соваться в то, как и где строить бани. На это есть знающие свое дело люди. Когда я осмелился критически высказаться насчет знаний людей, принимающих заведомо нелепые решения, мне было заявлено: распоряжение командира полка есть приказ, а если кто-то еще не научился понимать, что это такое, то, может быть, научиться на новом месте службы — в ударном батальоне.

Ударный батальон занимал передовые позиции на реке Стоход. Считалось, что перевод врача на передовую послужит ему для остроты и научит его простой житейской мудрости — не сориться с начальством. И хотя вскоре я узнал, что злополучная полковая баня, подожженная немец-

кими снарядами, как и следовало ждать, сгорела и пришлось строить другую — в лесочке, но мое назначение на передовую отменено, конечно, не было.

Война была в тот период позиционная, обе стороны, окопавшись по берегам Стохода, стояли не двигаясь. Но мы находились на низменном берегу и были под обстрелом немецких пушек. Днем к немецким позициям нельзя было подступиться, вылазки наших воинов совершались только ночью. Ночами и поступали раненые, которых надо было перевязать и эвакуировать в тыл. В батальоне были лишь два врача и фельдшер.

Но старший предпочитал отсиживаться в землянке, от докучных дел отмахивался и на мои решительные вопросы отвечал: «Делай как хочешь...»

Я и действовал как хотел. А хотелось все-таки поближе увидеть и почувствовать фронт. Я стал теснее общаться с солдатами и офицерами, стоявшими на передовой.

Была уже весна семнадцатого года. Солдаты, уставшие от войны, не стеснялись почти открыто выражать свое недовольство и тоску по родному дому и по мирному труду, оставленным где-то недосыгаемо далеко, словно на другой планете.

А офицеры были очень разные. Некоторые — совсем немногие — начали сознавать необходимость перемен и уже видели в солдатах не безропотную серую массу, а людей, заслуживающих человеческого отношения. Один из таких офицеров в минуту откровенности говорил мне:

— Немцы воюют лучше нас. И вооружены лучше. И охочи к войне. А штыкового боя с нашими солдатами не выдерживают. Почему? Да очень просто. Потому что наш русский солдат, хоть его и не по доброй воле здесь держат, когда видит перед собой врага, человеком себя чувствует. И двойное превосходство перед ним ощущает не оттого только, что винтовку в руках держит, а от сознания: «Во мне сейчас сила, на меня надежда, я должен его одолеть!»

В те же самые дни и я впервые ходил с солдатами в разведку. Продолжалась эта ночная операция несколько часов. Прodelали мы ее почти всю в камышах. Раненых не было. «Языка» не захватили. Но в основном задание считалось успешно выполненным. Я даже был за эту неврачебную операцию награжден орденом св. Станислава 3-й степени. Получить его, правда, уже не пришлось. Но послужной список зауряд-врача Бакулева, младшего ор-

динатора 80-го пехотного Кабардинского генерал-фельдмаршала князя Барятинского полка, был увенчан записью о получении ордена. Вместе с указанием на то, что находился на позиции до 14 сентября 1917 года и никаких порочащих проступков не совершил.

7 октября 1917 года в полк поступило переданное по телефону распоряжение дивизионного врача — откомандировать меня в Саратов для окончания университетского курса. Моя фронтовая эпопея, длившаяся два с половиной года, кончилась. Судя по всему, что происходило в те дни вокруг меня — на позициях, в штабе, даже в палатках полевых лазаретов, где ни на минуту не утихали жаркие споры солдат о Временном правительстве и об истерических приказах Керенского, призывах большевиков к заключению мира и к отобранию власти у помещиков и фабрикантов, — дело шло к окончанию войны. Возможно было возвращаться домой, доучиваться до права на врачебный диплом и снова мечтать о хирургии.

Но оказалось, что с этими мечтами надо еще повременить. Русско-германская война подходила к концу, но школа войны со всеми ее последствиями для меня еще не закончилась.

Сергей Иванович встретил меня в своей клинике радушно и тепло, сказал, что не забыл своего обещания, спросил, выполнил ли я свое обязательство, что делал на фронте. Я подробно рассказал. Он одобрил и сказал:

— Что ж, все, что вы повидали и перепробовали, вам пригодится. Теперь занимайтесь, готовьтесь к экзаменам, посещайте клинику. Можете присутствовать на операциях и на обходах.

Конечно, целые дни проводил я на занятиях и был счастлив, что наконец-то подхожу к заветной цели. В мае 1918 года, сдав последние выпускные экзамены, я получил диплом врача и снова постучался в дверь профессорского кабинета. Сергей Иванович поздравил меня с окончанием и сказал:

— Значит, теперь вы полноценный, дипломированный врач. С клиникой нашей хорошо знакомы, объяснения не требуются, через некоторое время решим, как и на каких правах вас лучше использовать.

Однако через некоторое время я получил повестку с вызовом в городской военный комиссариат. Она круто изменила мои планы. От военкома я вышел с назначением — старшим хирургом саратовского

военного госпиталя. Никакие отговорки и доводы о том, что еще мало знаю, что клинику не прошел, не помогли.

— Вы и на войне были, и у Спасокукоцкого работали... Отлично справитесь!

На мое счастье, госпиталь находился рядом с клиникой. Совмещать было удобно: с утра работал в госпитале, а вторую половину дня проводил в клинике.

Обстоятельства сложились так, что мне сразу же пришлось взяться за исполнение своих обязанностей.

Рано утром, подходя к госпиталю, увидел карету «скорой помощи» и приближавшихся к ней санитаров с носилками, — несли человека в окровавленных бинтах, ослабевшего от большой потери крови.

— В чем дело? Куда несете?

— Повезли в другой госпиталь. Там делают операцию. Пропадает человек. У нас некому спасать...

— Сейчас же поворачивайте обратно. Вы не довезете этого больного. Его надо немедленно в операционную.

Из корпуса в это время вышел начальник госпиталя. На ходу мы познакомились. Оказалось, что сам он инфекционист, а старшим хирургом числится врач по женским болезням.

— Видимо, здесь осколок прорвал сосуд. Оперировать у нас некому, вот и приходится везти в другой госпиталь...

— Я буду оперировать.

Начальник недоверчиво взглянул на меня — я выглядел еще совсем юношей, — но подтвердил приказание — нести красноармейца в операционную.

Переливаний крови в то время еще не делали. Положив больного на стол и раскрыв рану, я понял, что беда не в осколке, а в разрыве аневризмы (расширения) левой подмышечной артерии. Если б не жгут, вовремя наложенный сестрой, раненый погиб бы от кровотечения. Проверив состояние других, мелких кровеносных сосудов, я перевязал артерию, очистил операционное поле, велел подкрепить больного горячим чаем и водой и внимательно следить за его состоянием.

Что и говорить! Конечно, я изрядно поволновался в ту ночь за судьбу первого, самостоятельно оперированного мной, как старшим хирургом, больного и всю эту ночь провел в госпитале. Много раз подходил к нему, щупал руку, проверял, теплая ли она, считал пульс, вслушивался в дыхание. И каким праздничным казалось мне наступившее утро, когда выяснилось, что все в порядке, красноармеец чувствует

себя хорошо, шевелит пальцами, рука его остается цела.

Еще не один раз в этом саратовском госпитале подвергались серьезному испытанию мои знания и решительность. Часто в ту пору приходил я вечерами в клинику к Сергею Ивановичу, делился своими сомнениями и удачами. Он разбирал отдельные трудные случаи, учил видеть за внешне простыми фактами сложные явления человеческой патологии и сдерживал мои иногда чрезмерные восторги перед всемогуществом хирургии.

— Не забывайте, — говорил он мне часто, — что хирургия очень ограничена в своих возможностях, она будет развиваться вместе с техникой и всей медицинской наукой. А пока нож хирурга кажется могучим там, где слаба терапия, где врачи бессильны лечить болезни, восстановить нормальную функцию органа, не уродуя его.

Жизнь за стенами клиник и госпиталей шла своим чередом. Гражданская война развертывалась все шире, мы это чувствовали не только по газетным статьям и сообщениям. Гораздо больше стало поступать в госпиталь раненых и больных красноармейцев. Бушевал сыпной тиф. Опять пришлось мне проститься с Саратовом и с профессором Спасокукоцким. Я получил новое назначение: в Сызрань, заместителем главного врача перевязочного отряда. Колчак приближался к Волге. Похоже было на то, что мне вновь предстоит оказаться у передовых позиций только уже не на Западном фронте, против немцев, а на Восточном фронте, против белых. Перевязочный отряд, куда я получил назначение, еще не сформировался. Были только начальник с двумя врачами. Ждали белья, медикаментов и оборудования. А пока ожидалось новых распоряжений, командир отряда предложил всем нам заняться сыпным тифом.

Опять хирургия отошла на второй план. Сыпняк становился повальным бедствием не только для гражданского населения. Он грозил захлестнуть только что родившуюся Красную Армию, из воинских эшелонов в лазареты поступали сотни заболевших красноармейцев.

Я жил на частной квартире, у старичка со старушкой, два сына которых были в армии, и они сердечно заботились обо мне, заставляли пить чай и поесть, как бы поздно ни вернулся домой.

А по ночам то и дело раздавался стук в дверь, меня будили и вызывали к боль-

ным. Иногда это были крестьяне из близрасположенных деревень, уже прослышавшие, что здесь в домике живет доктор, который не отказывает в помощи никому.

— Очень прошу вас, гражданин доктор, — говорил, бывало, такой приезжий, — жена лежит в жару, а вызвать некого. У нас врачей нет. Лошадь со мной, ехать всего верст десять. А тулуп имеется, не замерзнете...

Конечно, отказать в такой просьбе нельзя было, приходилось надеть шинель и влезать в тулуп, ехать в деревню. А там оказывалось, что, кроме жены моего попутчика, и у его соседей лежат больные и что они ждут не дождутся медицинской помощи. Возвращался домой, таким образом, поздно ночью, а утром надо было уже в госпиталь.

В сызранской больнице в то время работал Дмитрий Ильич Ульянов, брат Владимира Ильича Ленина. До него дошли слухи о моей терапевтической практике, и он пригласил меня к себе в больницу:

— Хвалят вас больные. Говорят, хорошо ставите диагнозы и лечите умело. Притом от денег отказываетесь. Может, у нас в больнице хотите поработать? Милости просим! Врачи нужны нам.

— Спасибо, Дмитрий Ильич. Я ведь на военной службе. И не терапевт я. Думаю, как только можно будет, вернуться в хирургическую клинику...

А сыпнотифозный госпиталь мой между тем был во всех отношениях страшным местом. Шестьсот больных лежали, по существу, без всякого ухода. Тогда еще не вошло в силу правило — направлять сюда лиц, переболевших сыпняком. Врачи и сестры оказывались на госпитальной койке через две недели после поступления, люди непрерывно сменялись. Санитаров едва хватало на то, чтоб напоить больных водой. Буквально все белье было осыпано вшами... Несколько моих товарищей-врачей заразились и погибли, едва успев немного поработать в этом прибежище смерти.

Свои ординаторские обходы палат я совершал в сопровождении не только медсестры, но и санитары с ведром и щеткой. Он сметал вшей, а я смотрел и слушал больных. Мне удалось ввести новый для этого госпиталя порядок: чтобы обязательно в моем присутствии больного напоили водой и лекарствами, главным образом сердечными. Немудреное это было дело, но в нашем госпитале смертность сразу снизилась, больные приободрились, повеселели.

В декабре девятнадцатого года — это были уже дни разгрома белых сил Колчака — я был командирован по делам перевозочного отряда в Саратов. Но уже в поезде почувствовал себя больным, а когда прибыл на место, меня с высокой температурой, резкой головной болью и с помутневшим сознанием положили в госпиталь. Диагноз врачей был ясен: сыпной тиф.

Болезнь длилась несколько недель. Помню, как в полубредовом состоянии, почти не сознавая окружающей меня действительности, я все порывался встать и бежать в операционную, где, мне казалось, ждут наготове назначенные к операции больные.

Но лежал я все еще в сыпнотифозном госпитале, и никакие больные меня не ожидали. Словно сказочная синяя птица мечты, хирургия оставалась для меня недостижимой. Даже когда, выздоровев и выписавшись из госпиталя, пришел я к военному начальнику с уверенностью, что уж теперь-то наконец смогу поработать хирургом, он, поздравив меня и подробно расспросив о самочувствии, сообщил о назначении меня в... холерный госпиталь.

— Так ведь я же хирург!

— Хирургия от вас никуда не уйдет. А как инфекционист вы проявили себя отлично. Справитесь и здесь. Что такое холера? Это враг номер первый. Еще более грозный, чем сыпняк. Тут уж не спрашивают, кого куда тянет. Тушить пожар сбегаются все!

В холерном госпитале больные уже были. И врачи были. Но с горечью и стыдом я узнал, что некоторые из них, боясь заражения, даже не заходят в палаты. От такого рода «профилактики» я решительно отказался и стал требовать нормальных обходов палат, ежедневного внимательного обследования больных, положенного лечения и ухода.

Когда вспышка холеры кончилась, госпиталь этот расформировали, и я попал, наконец, здесь же, в Саратове, в хирургический эвакуогоспиталь. Но война подходила к концу, «свежих» ранений уже почти не было, госпиталь был, по существу, травматологическим учреждением для долечивания воинов. Вскоре началась демобилизация военных медиков. Наступила, казалось, и моя очередь. Но в ответ на свою повторную просьбу — откомандировать меня в клинику Спасокукоцкого я услышал рассуждения о том, что такому молодому и здоровому еще рано уходить с военной

службы. По запросу из Самары (там был штаб военного округа) обо мне была послана положительная характеристика, и в результате меня направили в Москву, в распоряжение З. П. Соловьева. Являясь заместителем наркома здравоохранения Н. А. Семашко, он ведал военно-медицинскими кадрами.

Приехав в Москву и представившись З. П. Соловьеву, по молодости и некоторой наивности я стал было с жаром доказывать ему, что не склонен оставаться военным врачом и что мое призвание — в хирургической клинике.

Суровым тоном он стал отчитывать меня и напомнил:

— Война только-только закончилась, но ее последствия еще не ликвидированы. Голод, эпидемии, нехватка продовольствия, недостаток врачей. А пока работайте там, где вы нужнее...

Потом смягчился и сказал:

— Вы прикомандировываетесь к АРА. Это благотворительная американская организация, оказывающая с разрешения правительства помощь Советской России. После голода в Поволжье помощь главным образом продовольственная. Но идут нужные нашим больницам товары — перевязочные материалы, медикаменты, оборудование, медицинские инструменты. Вы назначаетесь инспектором по проверке пра-

вильности распределения и использования средств и ресурсов. Работа малоприятная, но нужная, и сами кое-чему научитесь. Нехваток у нас везде много, но некоторые работники наших лечебных учреждений думают не об общей пользе, а о своем хозяйстве, рвут, делают запасы. Надо навести порядок, отбирать излишки и передавать туда, где беднее. Смотрите в оба, не бойтесь ссориться, действуйте по совести. Получите удовлетворение...

Я стал инспектором. Почти год ездил по больницам, знакомился с постановкой дела, проверял заявки, изымал излишки, передавал обходным и ущемленным. Некоторые товарищи, надо сказать, меня возненавидели. Но я действовал не ради личных интересов. И, признаться, контролируя хозяйственную сторону в организации больниц, многому поучился. Впоследствии не раз я вспоминал этот период своей военно-медицинской службы добрым словом. И он был для меня полезной школой.

«Выручила» меня на сей раз малярия. И какая! Тропическая. Не поддававшаяся хинину. Долго болел. Был демобилизован. Вернулся в Саратов. Поправившись, вновь явился к Сергею Ивановичу.

На этот раз моя синяя птица не обманула меня. Начинался новый период моей трудовой жизни. Было уже лето 1922 года.

П. Н. Солонко

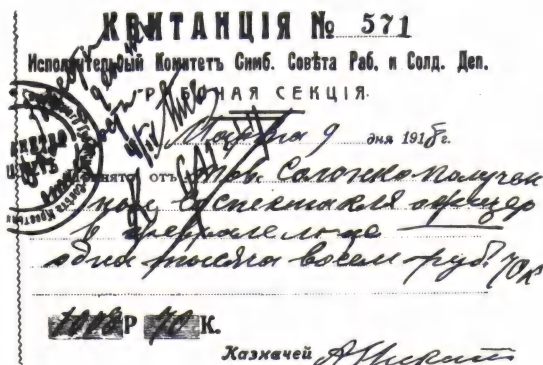
На родине Ленина в 1918 году

(Из воспоминаний чрезвычайного
комиссара Симбирской губернии)

Литературно-документальная запись устных воспоминаний Павла Николаевича Солонко осуществлена научным сотрудником Института истории Академии наук СССР В. В. Фарсобиным в марте — мае 1963 года. В текст включен рассказ жены П. Н. Солонко Елены Григорьевны Солонко (1886—1966). При подготовке рукописи к печати В. В. Фарсобиным использованы опубликованные и неопубликованные документы государственных архивов и библиотек, в том числе редкие издания 1918 года, а также материалы автора воспоминаний и его личное дело персонального пенсионера. Полный вариант записи послан В. В. Фарсобиным в партархив Ульяновского обкома КПСС.

В конце 1917 года Центральный Комитет РСДРП(б) получил письмо симбирской партийной организации, в котором говорилось, что в городе «10 декабря власть перешла в руки Советов», а 14 декабря большевики «вынуждены были войти в соглашательство с эсерами и меньшевиками»¹. Тревожный тон письма настораживал. Секретариат ЦК уведомил симбирцев: «Надеемся, что скоро сможем кого-либо послать к вам»². Однако, не удовлетворившись перепиской, симбирские большевики прислали в Петроград специальную делегацию с просьбой о помощи. В числе прибывших делегатов находился тогдашний председатель губернского Совета В. Н. Ксандров. Симбирские представители настойчиво просили наркома внутренних дел Г. И. Петровского послать в Симбирск квалифицированных работников.

Как раз в это время я находился в резерве Наркомата внутренних дел после выполнения ответственного задания В. И. Ленина и Петроградского военно-революцион-



ного комитета³. Руководство наркомата предполагало направить меня в Тамбов, где задерживалось установление Советской власти. Но настойчивые просьбы из Симбирска изменили это намерение. Коллегия Наркомата внутренних дел, рассмотрев поступившие ходатайства, решила послать своего представителя в Симбирск с чрезвычайными полномочиями. Видимо, вопрос о назначении меня на эту должность был предreshен заранее, поэтому другие кандидаты на заседании не назывались. Помню только, что заместитель наркома М. Я. Ладис, обращаясь к симбирским делегатам, заявил:

— Солонко — беспартийный коммунист и хорошо известен Народному комиссариату внутренних дел. Пусть его беспартийность не смущает симбирских товарищей.

Это предупреждение было необходимо во избежание возможных трений.

Так я стал чрезвычайным комиссаром Советского правительства в Симбирской губернии. Перед отъездом состоялся разговор с Г. И. Петровским. Он напутствовал примерно следующими словами:

— Надо помочь уяснить местным Советам, что в дальнейшем работников они должны находить у себя. Советское правительство не имеет возможности посылать в каждую губернию или уезд руководителей из центра. Нужно развивать самодей-

¹ Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями (ноябрь 1917 года — февраль 1918 года). «Сборник документов», т. 2, 1957, стр. 358.

² Там же, стр. 123.

³ П. Н. Солонко с 17 ноября по 28 декабря 1917 года исполнял обязанности комиссара Советского правительства в Витебской губернии.



тельность местных революционных сил. В то же время развитие революционной самодельности не должно превращаться в нездоровое местничество. Лозунг установления власти на местах не должен истолковываться сепаратистски. Такое истолкование может нанести ущерб делу строительства крепкого централизованного государства.

В заключение Г. И. Петровский советовал осторожно пользоваться чрезвычайными полномочиями и по возможности не прибегать к крайним мерам, а все решения проводить через местный Совет.

Получив такие устные директивы, я немедленно отбыл в неизвестный мне город, который, по образному определению губернского партийного организатора РСДРП(б) М. Д. Крымова, представлял собой «цитадель дворянского гнезда»⁴.

1. Первые шаги

В Симбирске тогда не было почти никакой промышленности за исключением трех мелких суконных фабрик с числом рабочих около 250 человек да нескольких ремесленных мастерских. Случайные попутчики за-

1 мая 1919 года в Симбирске

полонили местный Совет. Одним из них оказался и председатель Совета В. Н. Ксандров.

Спрашивается, зачем Ксандров приезжал в Петроград просить помощи в укреплении Советской власти? Во-первых, это он делал не по своей инициативе, а выполнял лишь волю Симбирского Совета и большевиков. Во-вторых, и лично ему, как показывают факты, поездка в Петроград была нужна — для выяснения прочности Советского правительства. Убедившись в этой прочности, Ксандров по возвращении в Симбирск объявил себя коротким другом Владимира Ильича Ленина...

Проходя однажды по залу губисполкома, я заметил группу лиц, которым Ксандров что-то читал. Перед ним сидели люди, искренне восхищавшиеся В. И. Лениным. Чтобы войти к ним в доверие, Ксандров придумал небылицу о личном письме, полученном будто бы от Владимира Ильича.

⁴ Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями, т. 2. стр. 415.



Е. Г. Солонко, урожденная Валевская



Н. Н. Солонко

Разумеется, все смотрели на Ксандрова как на бога. Он же с серьезным видом уверял слушателей, что хочет-де обсудить с ними проект ответа В. И. Ленину. Но я-то знал, что все это сплошное вранье, так как во время поездки Ксандрова в Петроград он смог попасть только к наркому внутренних дел Г. И. Петровскому, а для встречи с В. И. Лениным не имел никаких оснований.

Прежде всего чрезвычайному комиссару надлежало избавить Симбирский Совет от такого председателя. Правда, в этом помог сам Ксандров. Должность председателя Совета ему показалась не внушительной, и он решил сформировать симбирское правительство — Совет Народных Комиссаров. При этом в комиссары он привлёк таких лиц, которые были под стать ему самому. Впрочем, в число комиссаров входили и искренние приверженцы советского строя, но в меньшинстве. Большинство же составляли представители меньшевиков и эсеров худшего разбора. Нельзя было не заметить, что комиссары Ксандро-

ва просто-напросто уклонялись от работы. Не выполняя своих обязанностей, они ссылались на загруженность. Это заставило меня пройти по комиссариатам и посмотреть: кто, что и как делает? В комиссариатах во всем видна была разболтанность, отсутствие элементарной дисциплины. Сами комиссары часто уходили из своих учреждений, разгуливали по городу, пьянствовали. Не застав того или другого комиссара на службе, я шел в ресторан, театр или другое увеселительное заведение и искал их там. Садился где-нибудь в укромном месте и любовался «загруженной» публикой. Наутро спрашивал об исполнении поручения губисполкома.

— Не было времени выполнить, — слышался ответ.

— А с дамой вам было время посетить ресторан?

Изобличив одного лгунишку и бездельника, шел проверить работу другого.

— Что вы сделали во исполнение постановления губисполкома?

— Ничего не сделал. У меня сапоги

худые, а на улице сыро. Не мог выйти из дому.

— А в питейное заведение вы в каких сапогах ходили?

Такие разговоры первое время происходили почти каждый день. Примеру «руководителей» следовали и подчиненные. Так, телефоном невозможно было пользоваться. Телефонистки его не включали. Иду проверить работу Симбирского комиссариата почты и телеграфа, в ведении которого находилась телефонная станция. Комиссара не оказалось на месте. Сказав работникам конторы, что буду ждать его прихода, сел в прихожей. Рядом находилась аппаратная комната, в которой работали две телефонистки, явно не справлявшиеся со своими обязанностями из-за большой перегрузки. Вскоре пришла новая телефонистка и заявила своим подругам:

— Ванечка сегодня был очень мил, я очень хорошо с ним погуляла.

Через некоторое время явилась еще одна и рассказала задыхающимся от работы о вкусном обеде. Вслед за тем из-за ширмы появилась третья. Потягиваясь и позевывая, она начала рассказывать о чудесных снах, которые видела во время работы.

Истощив терпение в ожидании комиссара, настоятельно прошу позвать кого-нибудь из начальников. Наконец пришел чиновник почтово-телеграфной конторы, замещавший комиссара в его отсутствие.

— Как протекает работа на телефонном узле?

— Отлично!

— Скажите, кто из пяти телефонисток во время работы гулял с Ванечкой?

Открываются большие глаза. Чиновник переводит их с одной женщины на другую. Наконец выходит из состояния замешательства и обращается ко мне со встречным вопросом:

— Позвольте, а с кем имею честь говорить?

— Солонко, чрезвычайный комиссар Советского правительства.

В подтверждение своих слов достаю мандат. Это произвело впечатление. Чиновник изменился в лице. Но я продолжаю:

— Может быть, вы скажете, кто из этих пяти спал в рабочее время вот за этой ширмой?

— А кто из них вкусно обедал целых полдня?

Ответа снова нет.

— Наконец, знаете ли вы, кто из них работал сегодня?

Чиновник не знал и этого. И наконец, заключение:

— Вы вместе с комиссаром бездельничаете, а люди берут с вас пример. В результате вашей «отличной» работы я не могу пользоваться телефоном.

Последние слова дали повод чиновнику стряхнуть с себя оцепенение и разразиться подобострастием:

— Гражданин комиссар! Я посажу за ваш телефон особую телефонистку!

Видимо, чиновник не понимал всей возмутительности своих слов или привык в подобных ситуациях таким образом выходить сухим из воды. Но на этот раз осекся.

— В мою задачу входит не самообслуживание, а налаживание работы во всей губернии. Если вы и впредь будете работать подобным же образом, то я прикажу не только снять вас со службы, но и выдворить в отдаленные места...

При возвращении в Совет в вестибюле встретил двух ксандровских комиссаров. Оба они стояли у телефона и надрывались от смеха, передавая друг другу телефонную трубку. Их страшно удивило изменение работы телефонного узла. Едва дотрагивались они до телефонной трубки, как слышался голос телефонистки. Не успевали договорить до конца свою просьбу соединить с тем или другим учреждением, как слышался ответ абонента. Четкая работа вызвала у этих людей гомерический хохот.

Дисциплина отсутствовала не только в гражданских учреждениях, но и в воинских частях. В городе днем и ночью раздавалась бесцельная ружейная и пулеметная стрельба. Под моей квартирой помещался банк. Охранявшие его солдаты от скуки стреляли в потолок. Как-то даже один солдат застрелил другого разрывной пулей. Но чаще всего караул самовольно уходил, кто куда надумал⁵. Однажды Госбанк в продолжение трех суток был вовсе без караула. Большой бедой было пьянство. Я стал замечать, что многие тянутся в так называемый Народный дом, напоминавший нечто вроде клуба. Решил заглянуть и в это учреждение. Оказалось, что там красноармейцев и многих комиссаров поят спиртом, привезенным с разгромленных винных заводов изпод Симбирска. Первыми, кто мне встретился, были комиссар по делам военнопленных Койранский и командир красноармейского батальона. Оба они приняли

⁵ Известия Симбирского Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов, 1918, 22 мая, № 94.

позднее участие в антисоветском мятеже. Койранский еще раньше запятнал себя тем, что выписал десять ведер спирта будто бы для служебных надобностей. Когда его уличили в незаконности этого действия, он отказался от своей подписи. Пришлось угрожать ему судебной экспертизой. Чтобы случай с Койранским не прошел бесследно, был созван митинг для обсуждения мер борьбы с пьянством. Решили ввести специальную должность — комиссара по борьбе с пьянством. Но деятельность нового комиссара оказалась малоэффективной. Он ограничился лишь призывами и отдельными налетами на пьяниц.

Присматриваясь к деятельности симбирского «главы правительства», нельзя было не заметить попустительства с его стороны в пользу разного рода антисоветских организаций. Так, в феврале 1918 года какое-то благотворительное общество организовало с разрешения Ксандрова вечер-концерт в пользу семей фронтовиков. Казалось бы, ничего предосудительного в этом нет. Но организаторы вечера предложили разделить выручку между семьями офицеров. Пришлось вмешаться и конфисковать собранные деньги, передав их в казначейство для оказания помощи нуждающимся солдатским и офицерским семьям.

В середине февраля 1918 года Совет стал испытывать большие денежные затруднения. На просьбу губернского комиссара финансов Лавинского о присылке денег Наркомфин отвечал в том смысле, что Симбирская губерния «богата» помещиками и купцами, что финансы надо изыскивать революционным путем на местах. Председатель губсовнаркома и комиссар финансов из этой установки сделали вывод чисто бюрократический. Они постарались не обижать ни помещиков, ни торговцев, а решили изготавить симбирские деньги. С этой целью Ксандров и Лавинский ставили штамп Симбирского комиссариата финансов на разного рода кредитных билетах и издали без ведома исполкома распоряжение, обязывающее население принимать билеты со штампом наравне со всеми другими деньгами. Однако население и торговцы, звавшие декреты Советского правительства, не доверяли симбирским деньгам и отказывались их принимать. Ко мне пришла депутация и с возмущением заявила, что рабочим выдали зарплату пресловутыми симбирскими деньгами, которые фактически хождения не имели. Рабочие ничего купить на них не могли. Тогда я поставил на заседании губисполко-

ма вопрос об отмене незаконного распоряжения Ксандрова — Лавинского. Разразился острый конфликт. Ввиду категорического отказа Ксандрова отменить ошибочное распоряжение пришлось ставить вопрос об уходе самого Ксандрова. Оснований для этого было больше чем достаточно. Насколько помнится, это был едва ли не единственный случай, когда я воспользовался чрезвычайными полномочиями и объявил об отстранении Ксандрова с поста председателя губсовнаркома впредь до решения Совета. Большевицкая организация Симбирска поддержала меня. Помню предварительное частное совещание группы большевиков. Обсуждался вопрос: кого рекомендовать на освободившийся пост? Большевик В. Н. Фрейман, являвшийся товарищем председателя губисполкома, а также комиссаром торговли и промышленности, рекомендовал избрать председателем губсовнаркома Солонко. Но я решительно отказался, заявив, что имею задачу лишь помогать местному Совету в упорении его власти. Срок моего пребывания в Симбирске ограничен несколькими месяцами. Вместо этого внес на обсуждение другое предложение — ликвидировать должность председателя губсовнаркома. При этом председателю губисполкома надлежало принять на себя его обязанности. Единственное затруднение состояло в том, что председателем губисполкома был М. А. Гимов, хотя и безусловно честный и порядочный человек, но малоопытный коммунист-рабочий, который всячески отказывался от новой нагрузки. Он боялся не справиться с тяжелыми обязанностями. Общими усилиями мы все же уговорили его и обещали помогать. Так была ликвидирована излишняя надстройка над губисполкомом, неудачно копировавшая центральные органы Советского государства.

Ксандров после этой реорганизации перекочевал в Симбирский уездный Совет.

Первые шаги чрезвычайного комиссара, с одной стороны, вызвали одобрение, а с другой — негодование. Подтягивание дисциплины и другие мероприятия не всем нравились. Недовольные снарядили делегацию в Москву. Советское правительство к этому времени уже переехало из Петрограда. Жалобщики явились в Народный комиссариат внутренних дел, но не смогли ничего доказать. До возвращения их в Симбирск я получил телеграмму следующего содержания:

«Симбирск. Губсовдеп. Чрезвычайному комиссару Солонко.

Отдел местного управления Комиссариата внутренних дел просит вас и далее применять такую же решительность. Телеграфируйте, как устроились окладом. Желательно на местные средства. Занаркомвнудел Лацис»⁶.

2. Налог на буржуазию

Отмена распоряжений Ксандрова и смещение его не решали, однако, денежного кризиса. Положение было критическое вследствие полного отсутствия денег у Советов, в банке и казначействе. На секретном заседании исполкома чрезвычайный комиссар внес предложение об обложении буржуазии единовременным налогом. Предложение было принято. Не помню точной суммы налога, но, кажется, она составляла около десяти миллионов рублей. Осуществить обложение исполком сначала поручил комиссару финансов Лавинскому, но тот проявил бездеятельность, что явилось одной из причин для отстранения его от должности. К тому же он запятнал себя фабрикацией симбирских денег. Вместо него комиссаром финансов исполком назначил большевика Сергея Измайлова, только что прибывшего с фронта. Между тем взыскание налога не сдвинулось с места. Капиталисты не думали делать какие-либо взносы.

1 марта исполком, обсудив вопрос о контрибуции, принял решение: предупредить местную буржуазию, что в случае невнесения в 24 часа соответствующих денежных взносов в отделение банка к саботажникам будут предприняты репрессивные меры. Но и это не возымело действия. Тогда губернскому Комиссариату внутренних дел в лице М. Д. Крымова и его товарища Казимира Шеленшkevича было поручено произвести аресты крупнейших капиталистов города. М. Д. Крымов передал осуществление этого мероприятия Шеленшkevичу, а тот, тогда еще меньшевик-интернационалист, подошел к делу недопустимо формально. Он арестовал кого придется из так называемых «буржуазных слоев», всего человек до шестидесяти. В таких массовых арестах надобности не было. Достаточно было арестовать самых главных «китов». Шеленшkevич же посадил в тюрьму даже тех людей, которые имели ничтожные торговые заведения. Руководители Комиссариата внутренних дел знали местную буржуазию «в общем и целом», а не в конкретных лицах. Они не могли сказать: у кого какой капитал, обо-

ротные средства, статьи дохода. Руководители комиссариатов внутренних дел и финансов не распределили контрибуцию между отдельными капиталистами. Некоторые из них, может быть, и внесли бы причитающуюся долю контрибуции, но не знали размера этой доли. Поэтому результатом арестов был только шум. Меньшевики и эсеры выступали в защиту купеческой мощи, утвердив в городской думе резолюцию протеста против таких методов управления. Они изображали арестованных страдальцами, возводили их в герои, кричали о тирании Совета, о надругательстве над «демократией» и т. д. Но ничего этого не было. Капиталисты, посаженные в тюрьму, по недосмотру М. Крымова и К. Шеленшkevича содержались там чрезвычайно вольготно. Им разрешено было взять в камеру перины, одеяла, подушки, вино и т. п. Нельзя было ждать, что при подобных «репрессиях» заложники когда-либо внесут контрибуцию. Я потребовал объяснений у К. Шеленшkevича.

— Аресты во исполнение постановления исполкома произведены. Больше сделать ничего не могу, — следовал ответ.

К. Шеленшkevич явно колебался в выборе действенных средств. Колебания обуславливались политикой более правых его собратий, которые вели усиленную кампанию за освобождение заложников и отмену контрибуции. Меньшевики и эсеры не остановились перед провоцированием волнений в торжественный день празднования первой годовщины свержения самодержавия. 12 марта 1918 года в Симбирске происходила многолюдная манифестация. Жители города и Красная гвардия собрались на торжественный митинг по случаю этого празднования. Меньшевики и эсеры, воспользовавшись этим обстоятельством, провели агитацию за освобождение буржуазных заложников. Собрав толпу человек в двести обманутых и сбитых с толку людей, они повели ее к тюрьме.

Слышались призывы:

— Надо взломать ворота и освободить заключенных!

Особую рьяность проявил в этом деле член исполкома Симбирского губернского Совета меньшевик Н. Н. Чебоксаров. Происходил он из купеческой семьи, владевшей в Симбирске крупнейшими мукомольными предприятиями. Одна из улиц города именовалась Чебоксаровской, вероят-

⁶ Из личного архива П. Н. Солонко. Телеграмма датирована 22 марта 1918 года.

но, в честь его влиятельных предков. Чебоксаров возглавлял толпу и направлял ее действия. Толпа вела себя все более угрожающе. Начальник тюрьмы позвонил по телефону и запросил помощь.

Посоветовавшись с М. А. Гимовым и другими товарищами, я предложил военному комиссару Першину и своему помощнику Кучерову взять отряд Красной гвардии и немедленно отправиться к тюрьме. Военком Першин имел в своем распоряжении нечто вроде зимних тачанок-саней. На двух таких санях-тачанках были установлены пулеметы. Человек двадцать красногвардейцев понеслись на лихих конях к воротам тюрьмы. В последний момент я приказал Першину:

— В зависимости от обстановки стреляйте в воздух!

У здания тюрьмы Першин предложил собравшимся разойтись, но белогвардейски настроенные гимназисты, торгаша, озлобленные мещане не расходились, а, наоборот, стали наступать, явно пытаясь разоружить красногвардейские тачанки. Тогда Кучеров, выполняя указание Першина, дал две пулеметные очереди в воздух. Толпа сразу же стала рассеиваться, и через несколько минут около Чебоксарова и его сподвижников никого уже не осталось. Они были арестованы. Узнав об этом по телефону, я приказал заключить Чебоксарова в ту же тюрьму, ворота которой он хотел разбить. На другой день Чебоксаров прислал мне протест, в котором заявил, что он, как член исполкома Совета, может быть арестован только решением исполкома. Тогда я решил поближе с ним познакомиться и распорядился привести заключенного к себе в кабинет. Произошел примерно следующий диалог:

— Вы гражданин Чебоксаров, владелец мельниц? — спрашиваю его.

— Да!

— Но вы вместе с тем и социал-демократ, член Совета, выступаете в защиту капиталистов! Как согласовать ваши действия с социал-демократическими убеждениями и членством в Совете?

— Я не согласен с политикой большевиков и Совнаркома!

— Вам не нравится советский строй?

— Такой строй не может нравиться. Я стою за демократическую республику.

Чебоксаров хотел было произнести длинную речь, но я прервал его неожиданным для него вопросом:

— А строй какой страны вам нравится больше всего?

— Самым совершенным я считаю строй Соединенных Штатов Америки.

— Хорошо! — заключил я и вызвал секретаря.

А когда тот вошел, сказал:

— Заготовьте проект постановления исполкома о том, что гражданин Чебоксаров согласно его желанию освобождается от гражданства Советской республики и ему предоставляется возможность выехать в ту страну, строй которой нравится больше всего, — Америку! Постановление это будет согласовано с Советским правительством. Заготовьте также проходное свидетельство об отправке Чебоксарова этапным порядком до ближайшей пристани.

Чебоксаров, услышав эти слова, оторопел и стал умолять не отправлять его с родины. Тогда в знак компромисса предлагаю ему написать обязательство не участвовать больше в антисоветской политической и военной борьбе. Он обещал подумать. Через несколько дней ко мне пришла жена Чебоксарова с письменным заявлением от мужа, что он больше не будет участвовать ни в политической, ни в военной борьбе. Чебоксарова освободили. Надо отдать ему должное, свое слово он сдержал.

Заложники продолжали находиться в заключении. Взыскание контрибуции не сдвинулось ни на шаг. Чтобы выяснить причины упрямства заложников, я решил побеседовать с ними, а заодно проверить обстановку их содержания и несения службы охраной. Визит в тюрьму совершил в глубокую полночь. Обстановка в камере меня чрезвычайно поразила. Она была далеко не тюремная. Некоторые заключенные играли в шахматы, карты, шашки. Иные пили коньяк, русскую горькую и другие спиртные напитки. Спали немногие. В камере находились большие запасы продовольствия и деликатесов. Беседа с заложниками показала, что многие из них арестованы без предупреждения. Никакого требования о контрибуции им не предъявлялось. Другие жаловались на свою бедность. Стало очевидно, что бестолковым проведением репрессий пользовались крупные капиталисты, чтобы прятаться за спину более мелких собственников. Но я постарался скрыть эти размышления, а заявил арестованным, что режим, которым они пользуются, будет заменен настоящим тюремным режимом, если налог не будет уплачен немедленно. Обращаясь к разуму арестованных, изложил им сущность требования.

— Совет не знает ваших капиталов. Вы сами знаете это лучше. Вам предла-

гается самообложиться, что исключает вероятность допущения ошибок в распределении суммы налога.

Видимо, это заявление произвело впечатление. Капиталисты заговорили более оживленно сначала между собой, а затем их старейшины обратились ко мне:

— Как же мы можем провести самообложение? Для этого нам нужно провести собрание на свободе, посмотреть биржевые и банковские документы. К тому же здесь многих нет, кто должен участвовать в самообложении.

— Вы получите свободу, но предварительно должны написать обязательство о согласии на самообложение.

Среди капиталистов находился мелкий торговец, который воскликнул:

— Мне терять нечего, я готов первым подписать такое обязательство!

Диктую текст обязательства. После того как окончили его писать, началась процедура подписывания. Выяснилось лишь одно затруднение: давние согласие на самообложение не могут ручаться за имущих, которые не находились в тюрьме. Но беспокойство было напрасным.

Утром я согласовал с М. А. Гимовым вопрос об освобождении капиталистов и о проведении собрания буржуазии с целью распределения контрибуции. Заложники были освобождены. Собрание симбирских богачей состоялось в зале городской управы. Мне сообщили, что «побежденные классовые враги» числом в несколько сот человек собрались для обсуждения процедуры самообложения. Учтя холопью психологию русской буржуазии, решил обставить свое появление в городской думе торжественностью. Думалось, что это поможет избежать долгих дебатов по жизненно важному вопросу. Не знаю, насколько расчеты оказались верными. Но все окончилось хорошо. Кучер Иван, возивший когда-то симбирского губернатора, подогнал свой возок к зданию Совета. В сопровождении «свиты», состоявшей из помощника и управляющего делами, я сел в губернаторские сани и отправился в думу. Когда мы поднимались по лестнице, то впереди послышались возгласы: «Прибыл!» В зале все встали. Быстро прохожу в президиум. Чтобы завершить психологическую атаку и показать «бывшим» непреклонность принятых решений, достаю из кармана часы, кладу их перед собой и делаю следующее заявление:

— Граждане! Я приехал к вам с экстренного заседания. В моем распоряжении не более четверти часа. За это время мы

должны успеть согласовать детали обложения. Вероятно, у вас уже избраны уполномоченные лица. Прошу их подойти.

У трибуны сразу же появилось пять седовласых старцев. Оказалось, что собравшиеся проявили большую деловитость. Сами составили список лиц, подлежащих обложению, и разверстали сумму налога. Надлежало только всем расписаться против указанной суммы. Некоторые прожженные дельцы изъявили желание отдать деньги без всяких квитанций чрезвычайному комиссару, что означало бы взятку. Они хотели скомпрометировать представителей Советской власти. Предлагаю поступить поининому: сдать деньги в казначейство. Согласно разверстке, утвержденной собранием, первый взнос налога был уплачен в три дня. Совет смог немедленно выплатить жалованье красногвардейцам, рабочим, служащим аппарата. Финансовый кризис смягчился.

О проведенных мероприятиях я сообщил Советскому правительству и получил следующий ответ:

«Симбирск. Чрезвычайному комиссару. Ваши распоряжения одобряем. Пришлите доклад: на какой позиции стоит Совдеп и о его деятельности. Наркомвнудел Лацис»⁷.

3. Мятёж

«Чрезвычайный комиссар Солонко раскрыл заговор против Совета», — докладывал М. А. Гимов VI губернскому съезду Советов⁸. Но детали этого события пока не раскрыты. Между тем в памяти всплывают картины ожесточенной борьбы с заговорщиками в Симбирске.

В Совет настойчиво поступали сведения о скрытой деятельности белогвардейцев, о тайном их вооружении, что было тогда легким делом. Оружие всех образцов, исключая, может быть, пушки, свободно продавалось и покупалось на городском базаре. Однажды я спросил: «Сколько стоит пулемет?» С меня запросили триста рублей. Естественно, что конфискация оружия представлялась неотложной. Совет решил произвести массовые обыски. Помню, что

⁷ Комиссия по персональным пенсиям при Совете Министров РСФСР. Личное дело П. Н. Солонко № 15389, л. 60. Телеграмма датирована 8 апреля 1918 года.

⁸ Съезд состоялся в мае 1918 года. См.: Известия Симбирского Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов, 1918, 19 мая, № 92.

дейтельное участие в них принимала женщина-коммунистка Дарья Ильинична Иванова, прибывшая из Сызрани вместе с красногвардейским отрядом для оказания помощи нам в подавлении контрреволюционных мятежей. После выполнения отрядом своих обязанностей Д. И. Иванова осталась на постоянной работе в Симбирске.

Обыски долгое время были безрезультатными. Комиссии по борьбе с контрреволюцией в Симбирске еще не было. А партизанские налеты на буржуазные кварталы мало что давали. После одного из обысков принесли вместе с протоколом ржавый пистолет, из которого нельзя было стрелять. В целях контроля за деятельностью лиц, производивших обыски, решил на следующий вечер последовать вместе с отрядом. Обыск производился у какого-то помещика княжеской фамилии. Хозяин встретил нас слегка испуганно. Заявил, что в его доме оружия нет. Я подумал, что этот князь хитер и, конечно, в доме оружие отсутствует, но оно может быть в другом месте. Мы вышли во двор. Перерыли все подсобные помещения, но ничего не обнаружили. Случайно обратили внимание на собачью будку, в которой нашли три револьвера. Князь заявил, что ничего не знал об этом оружии.

— Видимо, его спрятал сын — ученик кадетского корпуса, — заявил он.

Это была первая зацепка. Нить вела к кадетскому корпусу. Рассчитывая на внезапность, я решил посетить корпус поздно ночью. Чтобы не привлекать внимания, не взял даже вооруженной охраны. Жена не захотела отпустить одного и категорически заявила, что готова умереть, но не желает остаться вдовой. Трудно не уступить такому требованию, и мы отправились вместе.

Надо признаться, что это была действительно дерзкая и весьма опасная затея. К счастью, все спали. Мы явились перед рассветом, то есть до прихода офицерского состава. Обошли все классы, спустились в подвал, где находились склады. Дежурный встретил нас растерянно и разомкнул все двери, которые мы попросили открыть. Нас поразило то, что революция не внесла в жизнь корпуса никаких изменений. В классах все еще висели портреты царей, цариц, царевен, наследников престола, великих князей. Жена стала срывать со стен эти портреты, рвать и топтать их.

— Что это такое, — возмущалась она, — куда мы пришли? Здесь романовское царство в неприкосновенности!

Дежурный, сопровождавший нас, трепетал, а он вполне мог пристрелить нас, и никто бы об этом не узнал. В оружейном складе обнаружили более 500 винтовок, которые в тот же день были изъяты для военных нужд. Утром допросили того кадета, который спрятал в собачьей будке револьверы. Он признался, что оружие спрятал не для игры.

— Мы решили взорвать Дом Свободы, где размещается Совет, — заявил он, — перебить большевиков.

Скоро мы имели полный список заговорщиков общим числом около 25 человек. Обнаружили бомбы, взрывчатку. Заговор возглавляли офицеры. 10—12 кадетов и их воспитателей арестовали, остальные успели скрыться. Стала вполне очевидной необходимость ликвидировать это учреждение — гнездо дворянско-помещичье-офицерской реакции, переименованное незадолго в военную гимназию. Губисполком распорядился распустить учащихся кадетского корпуса. Недели через две корпус был очищен. В это помещение перевели органы Советской власти и Симбирский комитет большевиков. Но бывшие кадеты не унимались. Однажды, придя в Комиссариат внутренних дел, которым заведовал М. Д. Крымов, я не застал его на месте и стал ждать. К секретарю Крымова, молодому человеку, бывшему воспитаннику кадетского корпуса, то и дело приходили какие-то лица, которым он выдавал различные справки, удостоверения и сам ставил печать. По положению, печать должна была находиться у самого Крымова. Такая доверчивость меня удивила, тем более что приходившие лица вызывали подозрение. Среди них не было ни рабочих, ни солдат, ни крестьян. Срочно возвращаясь к себе в управление и приказывая арестовать секретаря Крымова и тех, кому он выдавал справки. Таким образом удалось установить, что выдавались разного рода фиктивные документы бывшим воспитанникам кадетского корпуса, а секретарь Комиссариата внутренних дел являлся участником нового заговора. Следствие установило связи заговорщиков с домовыми комитетами. Домовые комитеты, организовавшиеся под предлогом самообороны от разного рода бандитов, стали приобретать политическое значение. Они готовились принять участие в мятеже и служили как бы базой для заговорщиков. Во время следствия вызывались родители арестованных мальчиков. Их предупреждали, что они несут строгую ответственность за участие детей в заговорческих органи-

зациях. Вслед за этим чрезвычайный комиссар распорядился вызвать всех священников, еврейских раввинов и татарских мулл. Им был зачитан протокол одного из домовых комитетов, в котором говорилось о колокольном звоне как сигнале к мятежу. С духовных лиц была взята подписка, что они не примут участия в мятеже и не позволяют использовать колокольный звон для заговорческих целей. За нарушение такой договоренности им грозила суровая кара — быть повешенными на той колокольне, с которой раздастся условный сигнал.

Разоблачение заговорщиков внесло дезорганизацию в их штаб, но не коснулось «горючего материала» — мелкобуржуазной стихии, на которую штаб рассчитывал. Трудность положения, пережившегося страной весной 1918 года, затронула все слои населения. Естественно, что контрреволюционная агитация в тех условиях могла рассчитывать не только на заведомо антисоветские силы, но и на колеблющихся. Разного рода провокаторы зазывали красноармейцев в рестораны и трактиры. А в пьяном угаре слабые люди поддавались влияниям. Один из арестованных красноармейцев на следствии заявил, что какие-то лица предложили им убить чрезвычайного комиссара. С этой целью был намечен сбор предполагаемых убийц в Народном доме. Но затее с убийством не суждено было осуществиться, так как подстрекатели хотели сделать это не своими, а чужими руками, подпавшая несознательных. А те выпили больше, чем нужно, и совершили совсем не то, что от них требовали. Пьяный бунт заслонил возню с убийством и перепугал самих подстрекателей.

Утром 10 апреля мне сообщили, что в одном из госпиталей Симбирска произошла крупная кража и что будто бы краденное распродается на городском базаре. Я поспешил проверить достоверность сообщения и поехал на базар. Там обнаружить ничего не удалось. При выходе с базара меня окружила группа разъяренных торговцев и пьяных забулдыг — около тридцати человек. Послышались крики:

— Вот он! Наконец-то попался нам в руки!

Раздались выстрелы, две пули засели в моем левом плече. Толпа сжималась. Среди наступающих бандитов я заметил капитана, который все время прислуживал Ксандрову и был его агентом. Стало ясно, кем организовано это нападение. Выхватив из бокового кармана парабеллум, я выстрелил вверх.

Толпа разбежалась, мне удалось выйти из окружения, сесть на извозчика. Иван быстро доставил в Совет. Здесь мне сделали перевязку, но Совет вскоре оказался окружен пьяной толпой... Видя создавшуюся обстановку, я успел вызвать по прямому проводу Казань и попросил передать в Москву о начавшемся мятеже. Тяжелое положение в Симбирске задолго до этих событий побудило меня поставить рядом со своим кабинетом замаскированный телеграфный аппарат и включить его в прямой провод с Казанью. Поэтому в экстренном случае не было необходимости ходить на телеграф, который к тому же оказался захваченным другой группой мятежников. Но ответа из Москвы мне не удалось получить, так как вскоре меня арестовали.

Произошло это так. В связи с большой потерей крови я лежал в кадетском корпусе. В комнату ворвалась толпа солдат, возглавляемая каким-то человеком, который, судя по манерам, был довольно культурным. Толпа намеревалась застрелить меня, но этот человек дал команду не стрелять. Они отняли оружие, отвели в комендантское управление и поставили у дверей караул. На другой день отправили в городскую больницу.

В момент мятежа, как потом сообщали, на улицах города появились белоказачи, орудовали какие-то лица с бело-зелеными бантами.

Большую агитацию среди толпы провела моя жена Елена Григорьевна Солонко. Предоставим ей слово.

«...После ранения чрезвычайного комиссара, — вспоминает она, — я находилась при нем и вызвала врачей для перевязки и извлечения пули. Вдруг на улице раздался шум большой толпы солдат. В комнату влетел запыхавшийся комиссар по борьбе с пьянством П. Гладышев...

— Толпа требует вашего ареста, — заявил Гладышев чрезвычайному комиссару.

Меня страшно возмутил поступок этого растерявшегося руководителя. Обращаюсь к нему с вопросами:

— Вы член Совета?

— Да, член.

— Вы знаете, что чрезвычайный комиссар не принимал никогда важных решений единолично, а предварительно обсуждал их в Совете?

— Да, знаю. Именно так было.

— Вы голосовали в Совете за те или иные мероприятия, предлагавшиеся чрезвычайным комиссаром?

— Да, голосовал.

— Тогда ваше место у толпы и успокоить ее, если можно, словом, а нет, то другими средствами. Марш отсюда!

Гладышев щелкнул шпорами, и больше мы его не видели. Решаю сама пойти к шумной толпе. Но, открыв дверь, очутилась перед наставленным на меня штыком. На пороге стоял пьяный солдат Уткин и ругался. С ним мы были знакомы. Только накануне произошла наша встреча на вещевом складе земского союза. Склад входил в ведение комиссара по делам госпиталей. Выполняя обязанности названного комиссара, я пришла на склад. Уткин нес охрану. Он стал жаловаться, что его трое суток не сменяли на посту, он голоден, у него плохие сапоги, дырявые «портки» и т. д. Я немедленно позвонила военному комиссару и сказала, что они забыли сменить часового. Вскоре прислали смену. Тогда я распорядилась накормить Уткина, выдать ему все необходимое. Он попросил сахара и других продуктов на дом. Ему дали все, что возможно было дать. У Уткина образовался большой мешок вещей и продуктов. Идти по городу с мешком неудобно — могут счесть за грабителя. Дала ему денег на извозчика...

Тот же Уткин стоял в дверях и упирался в мою грудь штыком.

— Зачем ты пришел, Уткин, в нетрезвом виде? — спрашиваю его.

— Убивать комиссаров!

— Ну, начиная с меня первой!

В этот момент вверх по лестнице поднимался какой-то человек в солдатской форме. На груди у него я заметила бело-зеленый бант, обозначавший принадлежность к какой-то монархической организации. Он крикнул Уткину:

— Коли ее и не разговаривай, а то она будет агитировать тебя!

Но Уткин медлил. Нас окружили другие солдаты и стали толкать меня штыками вниз по лестнице. Когда мы вышли на улицу, кто-то крикнул:

— Это жена того комиссара, который весь хлеб отправил в Москву!

Отвечать на этот нелепый выкрик не стала. Ясно было, что толпу кто-то направляет. Внимательно присматриваюсь к толпе, стараясь выяснить: кто же вожак? Наконец остановила свой выбор на одном из солдат, больше всех кричавшем какие-то ругательства. Говорю ему спокойно, как будто не случилось ничего особенного:

— Вы опытный человек, были на войне, участвовали в революции, сумеете разо-

браться по справедливости, кто и в чем виноват. Давайте создадим комиссию под вашим руководством.

— А мандат мне напишете?

— Конечно, напишем!

— А печать у тебя есть?

— И печать приложим к твоему мандату!

Чтобы отвести толпу от здания Совета и предотвратить погром, предлагаю всем направиться сейчас же в местный театр и там обсудить детали организации комиссии и избрать саму комиссию. Толпа соглашается с таким предложением. Освоившись с обстановкой, вижу в толпе много знакомых лиц, которые ведут незаметную агитацию против беспорядков. Стало веселее на душе. Да и все столпившиеся люди мне не представлялись врагами. Они были сбиты с толку контрреволюционными заговорщиками и озлобленными карьеристами. Все направляются в театр, а я иду надевать пальто, пообещав догнать моих новых друзей... Надев пальто, решила посмотреть, что делается в Совете, и сходить в буфет — принести раненому стакан чая...

В одной из комнат заметила пулемет. Выволокла его на лестницу и попросила кого-то установить. Но только отошла, пулемет куда-то исчез. Не успела я последовать за первой толпой, как к зданию подошла другая. На этот раз толпа состояла из рыночных торговцев. С ними разговаривать было невозможно. Они схватили меня и повели в тюрьму. Шли быстро. Я почти бежала. Начальник тюрьмы, выслушав требование толпы, сказал, что эта тюрьма не женская. Тогда повели в другую тюрьму, которая находилась над самой Волгой. Торговцы стали кричать:

— Сунуть ее в подвал и не давать ни хлеба, ни воды!

Начальник тюрьмы ответил, что подвала нет. К тому же он вообще не может меня принять без документов. Тогда кто-то предложил.

— Давайте выведем ее на двор и расстреляем! Что мы с ней возимся?!

Начали снимать с меня серьги и кольцо. Помогаю скорее снять опасные украшения. Это обстоятельство всех заинтересовало. Стали пробовать зубами, чистое ли золото. Когда толпа увлеклась рассмотрением кольца и сережек, я шепнула начальнику тюрьмы:

— Дайте бумагу и чернила. Я напишу вам вместо ордера на арест просьбу о заключении в тюрьму, чтобы избежать самосуда.

Вскоре появились бумага и чернила. Передаю начальнику тюрьмы записку с просьбой немедленно поместить меня в одиночку. После этого толпа повалила к камере, но начальник не разрешил входить в нее никому, кроме меня, ссылаясь на тюремные уставы.

Успела попросить тюремного начальника спрятать ключи от камеры и немедленно узнать о положении чрезвычайного комиссара. Ключи он спрятал, но ко мне больше не явился. Оставшись одна и не успев как следует отдышаться, я услышала топот многочисленных ног, спешивших по железной лестнице. Подумала, что ведут Павла Николаевича. Но оказалось другое. Это возвращалась та же толпа, которая привела меня в тюрьму. Мятежники узнали, что на городской телеграф поступила из Москвы телеграмма на имя чрезвычайного комиссара о высылке двух эшелонов латышских стрелков. Участники беспорядков, боясь возмездия, стали требовать ключи от моей камеры, чтобы расстрелять опасного свидетеля. Но, не найдя ключей, просунули винтовку в смотровое отверстие и стали палить в камеру. Спрятавшись около массивной двери, я оказалась в недосягаемости для убийц. Долго они стреляли в противоположный угол. Пулями пробили оконное стекло. В камере стало холодно. Наконец все ушли. Около трех дней я просидела в страхе и холоде, без пищи и воды. Казалось, обо мне все забыли. Но вот ночью в тюрьму явился комиссар юстиции Зеленский.

— Вас надо вывезти отсюда. Есть сговор, чтобы вас расстрелять, — сказал он. — Я хочу вас спасти. Поедьте со мной.

— А куда же вы меня повезете?

— К Гимову.

Услышав фамилию председателя губисполкома, я согласилась поехать. Но он привез меня в какую-то ночлежку. Когда мы открыли дверь, то винные пары сперли дыхание. Кругом спали солдаты. Зеленский сказал:

— Вы здесь останетесь!

Как пробка вылетела я из этого помещения. Толстый, неповоротливый комиссар юстиции догнал меня, когда я уже сидела в кибитке и шептала кучеру Ивану, чтобы он немедленно ехал в Совет. Зеленский сел рядом. Бесполезно было упрекать этого мерзавца во лжи. Забившись в угол, с нетерпением ждала конца мучительной поездки. В Совете никого не застала, кроме помощника чрезвычайного комиссара. Кучеров пригласил к себе, напоил чаем, рассказал об обстановке в городе, сообщил,

что чрезвычайный комиссар находится в больнице и надежно охраняется. Все ясно. Неудавшийся мятеж уже в прошлом. Сейчас надо провести остаток ночи. В доме, где жил Кучеров, какой-то генерал занимал целый этаж.

— Самое удобное вам переночевать там! — сказал мой спутник.

Охотно соглашаюсь. Кучеров идет к генералу, просит разрешения переночевать даме, инкогнито приехавшей из Москвы, и получает согласие. Прошу предупредить, чтобы не задавали никаких вопросов. Закрывшись платком, проскользнула в отведенную мне комнату. Там уже стоял таз с горячей водой, рядом лежали мыло и белоснежное полотенце. Кровать была разобрана и сияла кристально чистым бельем, чего я так долго не видела. Через некоторое время постучали.

— Не угодно ли чаю?

Поблагодарив за любезность, крепко уснула, как только можно уснуть в молодости. Утром пришел Кучеров. Незаметно проскользнула из гостеприимного дома. Благодарить хозяев не могла, так как не хотела быть опознанной. Мы поехали в больницу, которая усиленно охранялась. Трудно было разобраться: то ли охраняли арестованного, то ли раненого от возможных нападений. Мы решили немедленно покинуть больницу, так как врачи были настроены антисоветски и относились враждебно. Вышли черным ходом, чтобы избежать встречи с охраной. Мы отправились на вокзал...

Из этого рассказа видно, что в мятеже были замешаны не только пьяные солдаты, но и некоторые комиссары. Совершенно очевидно, что Ксандровы, Койранские, Зеленские были главными зачинщиками мятежа. Но даже после мятежа губисполком не полностью разобрался в этих людях. В комиссию по расследованию обстоятельств мятежа был включен и Зеленский. Тогда у меня были только подозрения в предательской сущности этого лица и я не мог настаивать на выводе его из состава комиссии. Но подозрения оказались основательными. Зеленский впоследствии стал колчаковцем. Единственно, что комиссия сделала положительного, это признала виновным во многих проступках Койранского и постановила предать его суду ревтрибунала.

Вскоре положение стало нормализоваться. Были организованы митинги, в первую очередь в воинских частях. Так, собрание красноармейцев-мусульман Симбирского

гарнизона утвердило резолюцию о поддержке Советской власти.

«Выражая сожаление по поводу событий, происшедших 10 сего апреля, — говорилось в этой резолюции, — постараемся приложить все старания к удалению и привлечению к уголовной ответственности лиц, выступавших против власти и тов. Солонко»⁹.

Вслед за этим 15 апреля соответствующую резолюцию приняло и гарнизонное собрание ротных и батальонных комитетов. Вот отрывок из этой резолюции: «Собрание ротных и батальонных комитетов, выражая сожаление по поводу событий, происшедших 10 апреля 1918 года, постановило: немедленно выяснить зачинщиков беспорядков и привлечь их к ответственности. Собрание обещает приложить все силы к розыску этих виновников и удалить их из своей среды, как идущих против власти Советов. Что касается тов. Солонко, то собрание просит его, как революционера, не давать козыря в руки наших врагов контрреволюционеров и остаться для работы в Симбирской губернии»¹⁰.

Создавшееся положение обсуждалось 13 апреля 1918 года на общем собрании симбирской организации большевиков. «Из Красной социалистической армии все трусы, изменники, люди, идущие только за деньги, должны быть изгнаны, — так было сказано в принятой резолюции, — стойкость революционной дисциплины, самоотвержение — и мы победим»¹¹.

Мнения разошлись лишь в определении непосредственного толчка для мятежа. Лично я думаю, что этим толчком явился страх некоторых руководителей перед предстоящим докладом чрезвычайного комиссара Советскому правительству. Дело в том, что прошло два месяца моего пребывания в Симбирске, истекал срок полномочий. Надо было доложить Народному комиссариату внутренних дел о результате проделанной работы. Я сообщил об этом на заседании губисполкома и получил согласие М. А. Гимова. Для поездки в Москву мне выписали командировочное удостоверение, которое хранится до сих пор. Оно датировано 8 апреля 1918 года, то есть двумя днями раньше начала мятежа. Этот факт весьма примечателен. Те, кто чувствовал за собой вину, приняли все меры, вплоть до возбуждения пьяной толпы, чтобы предотвратить саму возможность такого доклада. В этой связи любопытны дальнейшие события. Когда мы уже ехали в Москву, недовольные комиссары уговорили М. А. Ги-

мова послать телеграмму на ближайшую станцию и задержать нас в пути. Это делалось под предлогом предварительного обсуждения доклада на заседании губисполкома. Нам вдогонку послали делегацию в составе К. Шеленшкевича, а также комиссара железнодорожного узла с группой милиционеров. Делегация на паровозе с одним товарным вагоном догнала наш поезд на станции Вексейма и предложила возвратиться в Симбирск.

Поскольку предложение было сделано от лица председателя губисполкома, то пришлось согласиться на возвращение. Активность комиссара Симбирского железнодорожного узла в моем задержании объяснялась очень просто. Он был замешан в попытке похитить три вагона мануфактуры и старался замаять это дело. Участие Шеленшкевича также не случайно. Вспоминается один случай, связанный с его деятельностью. Из Москвы мне прислали помощника. На второй или третий день привезли его к зданию Совета на розвалнях в бесчувственном состоянии. Голова волочилась по снегу. Шеленшкевич бегал вокруг и больше всех возмущался.

— Вы посмотрите, кого нам прислали из Москвы! Его надо немедленно расстрелять. Я возразил:

— Пьяного расстреливать нельзя. Пусть проспится, тогда разберемся.

Наклюкавшийся, придя в себя, рассказал, что они пили вместе с Шеленшкевичем за успех в совместной работе. Новичку было неудобно отказать выпить вместе с человеком, давно работавшим в Симбирске. Все же его пришлось удалить, а Шеленшкевичу я дал взбучку.

— Оказывается, друг милый, — говорю ему, — тебя первого надо расстрелять!

А от него как от стенки горох.

— Я хотя и пил, но никто не видел меня пьяным, — отвечал он.

Нельзя было не согласиться, что пить и не напиваться тоже своего рода достоинство.

⁹ Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии (март 1917 — июнь 1918 года). Сборник документов. Ульяновск, 1957, стр. 201.

¹⁰ Известия Симбирского Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов, 1918, 18 апреля, № 71.

¹¹ Краеведческие записки Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова. Вып. 2-й. Ульяновск, 1958, стр. 21.

Теперь Шеленшкевич явился с полномочиями арестовать меня. Жена, наученная горьким опытом, не доверяя ни Шеленшкевичу, ни железнодорожному комиссару, предложила запросить, что делается в городе, не угрожает ли нам новая опасность. По железнодорожному телеграфу немедленно получили ответ, что большая толпа собралась на вокзале, а на крышах домов установлены пулеметы. Ясно было, что эта обстановка создана искусством контрреволюционных агитаторов. Становилась еще более очевидной связь такой обстановки с деятельностью меньшевиков и эсеров. Они не жалели сил, чтобы восстановить темных подвыпивших людей против Советской власти, и прежде всего против меня, как главного ее представителя в Симбирске.

Желая избежать «торжественной» встречи на вокзале, жена предложила, не доезжая километра три, сойти с поезда и пересестись на извозчика. Но как это сделать? Ведь мы считались арестованными. Говорю Шеленшкевичу и железнодорожному комиссару, что они также могут пострадать при встрече с пьяной толпой. Задержатели соглашаются сойти с нами, не доезжая до города. Но в вагоне ехали еще и милиционеры, которые могли не подчиниться Шеленшкевичу. Тогда жена пошла на хитрость, сказав, что возможно выступление крестьян прилегающих к железной дороге деревень, и посоветовала милиционерам наблюдать за одной стороной железной дороги. А на себя взяла наблюдение за другой стороной. Когда паровоз сбавил ход, мы выпрыгнули на ходу поезда, а Кучеров сумел закрыть дверь и накинуть крючок. Кучеров оказался здесь потому, что после госпитализации я не успел его проинструктировать. Он предполагал проводить нас до ближайших станций и вернуться назад. Но случилось так, что мы возвращались вместе. Подойдя к городу, наняли извозчика, затем в целях предосторожности пересели на второго. После этого возвратились домой. Наступил уже вечер. Все были голодны. Но нам повезло. Домработница по случаю нашего отъезда напекла пирогов и ждала гостей. Шеленшкевич с железнодорожным комиссаром не отказались с нами

поужинать. Но их больше всего интересовало наше имущество. Они были удивлены, когда увидели, что мы не увозили из Симбирска никаких ценностей, больше того — мы не взяли в дорогу даже продукты. А придя в квартиру, они поразились еще более спартанской обстановке, так как, кроме кровати и стола, принадлежавших хозяину, других вещей не было. Правда, были книги, но они их не интересовали. Задержатели прежде всего обратили внимание на чемодан, который попросили открыть. Удостоверившись, что он пуст, стали прощаться. Становилось очевидно, что внезапное задержание лишь дипломатически прикрывалось вызовом губисполкома. Уж очень хотелось господам эсерам и меньшевикам увидеть чрезвычайного комиссара грабителя. Тогда бы им спокойнее жилось! С кислой миной удалились Шеленшкевич и его спутник. Поездку в Москву все же пришлось отложить до полного успокоения в городе и губернии.

4. Заключение

В Москву я попал только в конце мая. Мой доклад о результате работы в Симбирской губернии был одобрен народным комиссаром внутренних дел и, как представляющий широкий интерес, опубликован в центральных «Известиях»¹². Результатом обсуждения доклада явились два постановления: одно общегосударственное, а другое относилось непосредственно к деятельности Симбирского Совета.

Народный комиссариат внутренних дел принял также решение о переводе меня в свой центральный аппарат, предложив еще раз съездить в Симбирск с целью информации о принятых решениях, что я и выполнил.

Вторая поездка была краткой. После этого я уехал к новому месту назначения. Впереди предстояли не менее сложные дела, но симбирские впечатления оставили неизгладимый след.

¹² Известия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов крестьянских, рабочих, солдатских и казачьих депутатов, 1918, 7 июня, № 115.

П. А. Флоренский

Пристань и бульвар

(Отрывок из автобиографии; Батум)

Наследие советского ученого-естествоиспытателя П. А. Флоренского (1882—1943) включает в себя работы по различным отраслям, а также исследования общего характера, в которых он стремился найти связь основных законов мироздания. Не все в них равноценно и заслуживает одинакового внимания, но самый метод универсального мышления П. А. Флоренского, раскрывавшего искомую закономерность по многим специальностям сразу, строго соблюдая специальный язык каждой из них и одновременно указывая на общее, вызывает и сейчас значительный интерес¹.

Характерной чертой деятельности П. А. Флоренского как ученого была способность заниматься самыми общими вопросами в их практическом приложении. Заявив в автобиографической заметке для Энциклопедии Гранат, что считает целью своей жизни «продолжение путей к будущему цельному мировоззрению»², он подчеркивал: «Разрабатывая монистическое мировоззрение, идеологию конкретного, трудового отношения к миру, я был, есть и буду принципиально враждебен спиритуализму, отвлеченному идеализму и таковой метафизике. Как всегда, полагал я, мировоззрение должно иметь прочные жизненные корни и завершаться жизненным же воплощением в технике, искусстве и проч.»

С первых лет социалистического строительства П. А. Флоренский активно участвовал в хозяйственной жизни страны. Он поступает на службу в ВСНХ, вначале консультантом на завод «Карболит», затем в Главлентро и становится руководителем отдела материаловедения во Всесоюзном электротехническом институте (1923—1933).

В 1924 г. вышел его труд «Диэлектрики и их техническое применение». Одновременно, получив свое энциклопедическое образование, он продолжал работу и в гуманитарных областях: с 1921 г. был профессором Высших художественных мастерских (ВХУТЕМАС), где вел курс «Анализа пространственности в художественных произведениях» (часть его вошла в обобщающий труд «У водоразделов мысли»), занимался проблемами лингвистики, логики, иконографии и др. Всего П. А. Флоренский опубликовал более сотни работ³.

Публикуемый отрывок «Пристань и бульвар» представляет собою образец его автобиографической прозы. Формально он касается детских лет П. А. Флоренского: отец его, инженер-путеец, был одним из строителей Закавказской жел. дор., и семья в течение нескольких лет жила в Батуме. По существу, однако, это все тот же характерный для П. А. Флоренского рассказ «сразу обо всем», использующий его многостороннее познания.

В оригинале он составляет раздел «Воспоминаний» (рукопись 1923 г.), куда входят еще четыре главы.

П. Палиевский

Редакция приносит благодарность К. П. и П. В. Флоренским за предоставление рукописи и подготовку текста к печати.

Тоны около зелени, то голубоватые, то желтоватые, напители меня в детстве через море. Свои детские и отроческие годы я провел в постоянном и ненасытном, и всегда ненасытимом, созерцании моря. Редкий день проходил без того, чтобы мы, дети, то есть я с Люсей, не побывали на берегу два, а то и три раза. И никогда море не наскучивало. Никогда впечатление от него не скользяло по душе — всегда впитывалось всем существом.

Мы шли утром, после чая, захватив с собою на завтрак бутерброды с котлетами и с сыром, а иногда еще и свежие или сушеные фрукты, каштаны, орехи или монпансье, желтое и зеленое, — опять какие-то переключки с теми, волнующими цветами.

¹ См. «П. А. Флоренский». Советская философская энциклопедия, т. 5, стр. 377—379. (Приведена обширная библиография работ, как самого П. А. Флоренского, так и о нем); И. А. Акчурин. Неисчерпаемость материи вглубь и современная физика. Вопросы философии, 1969, № 12, стр. 28—29; А. Хюбнер. Мыслители нового времени. М., 1962. После­словие А. Ф. Лосева, стр. 317; Академик П. Семенов. Незабываемое. Наука и жизнь, 1967, № 10, стр. 30—35; См. также сборник «Пути в неизвестное», вып. I, Л., 1960; И. И. Никонова. М. В. Нестеров. М., 1962, стр. 98—105; В. Д. и Д. С. Лихачевы. Художественное наследие Древней Руси и современность. «Наука», Л., 1971, стр. 25, 116; Л. Жегин. Язык живописного произведения. М., «Искусство», 1970. (См. предисловие В. А. Успенского, стр. 7—17); Т. В. Николаева. Древнерусская мелкая пластика XI—XVI веков. М., «Советский художник», 1968 (несколько десятков ссылок); А. Моль. Теория информации и эстетическое восприятие. М., «Мир», 1966, стр. 299—318 — послесловие редакции.

² Энцикл. соч. Гранат, 1927, т. 44, стр. 143—144.

³ В последние годы опубликованы: Обратная перспектива. Ученые записки Тартуского университета, вып. 198. Семиотика, вып. 3. Тарту, 1967. (В предисловии — сведения о научных исследованиях и биографическая справка.) Оргонопроекция. «Декоративное искусство», 1969, № 12 (145), стр. 39—42. (В предисловии — краткая характеристика научных работ.) Пифагоровы жилища. Символяриум. Законы и иллюзии (три статьи). Ученые записки Тартуского университета. Семиотика, вып. 5. (В предисловии — подробная биография.)

Няня или тетя Юля в несколько минут приводили нас на бульвар. Тогда, лет тридцать пять тому назад, море еще было у первой аллеи бульвара; лишь впоследствии оно так отступило от насаждений — туй и кипарисов, — несмотря на почти каждодневное прибавление их, вдгонку за уходящим морем. Играли на песке аллеи или спускались по хрустящему гравию к самой воде. Гальки — гладкие, словно искусственно обточенные. Я знал от взрослых, что они действительно обточены морским прибоем, но верил этому только наполовину: разве эти камушки не выросли в море как раковины или кораллы? Разве они не образования живых существ?

Копались в мелком гравии у самой воды, разыскивая цветные прозрачные камушки — опалесцирующие голубо и фиолетово халцедоны, таинственно светившиеся по всей массе внутренним мерцанием, словно налитые светом. Ленточные агаты, тонко слоистые оранжевые и красные сердолики с белыми прослойками, изредка аметисты, желтые и зеленые кварциты, а иногда — прозрачные топазы, как то монпансье, что приносили мы с собою, и многие другие — редкий день мы приходили домой не нагруженные добычей. Эти камни были похожи на художественно небрежные бусы ручной работы, рассыпавшиеся с подводного ожерелья; в моем сознании они роднились и почти непрерывно переходили в венецианские бусы, которые папа покупал нам в лавчонке на пристани. Таинственные наслоения сердоликов и агатов, их тончайшая слоистая структура поражали мысль: я чувствовал тут какой-то сокровенный смысл природы, и, казалось, вот-вот он раскроется, объявится тайно. Иногда ходили на море с папой. Папа объяснял по поводу наших находок, что эти слои образовались от вековых осаждений в подземных скважинах и пещерах. А я видел в этих слоях осевшие века, окаменелое время. Время никогда не мог я постигнуть как бесповоротно утекшее; всегда, насколько помню себя, жило во мне убеждение, что оно куда-то отходит, может быть, именно в эти самые скважины и пещеры стекает и там скрывается, засыпает; но когда-то и как-то к нему можно подойти вплотную — и оно тогда проснется и оживет. Прошлого не прошло, это ощущение всегда стояло предо мною яснее ясного, а в раннейшем детстве еще более убедительно, нежели позже. Я ощущал вязкую реальность прошлого и рос с тем чувством, что на самом деле прикасаюсь к бывшему много веков тому назад

и душою вхожу в него. То, что в истории действительно занимало меня, Египет, Греция, стояло отделенное от меня не временем, а лишь какою-то стеною, но сквозь эту стену я всем существом чувствовал, что оно и сейчас здесь. Слоистые камни представлялись мне прямым доказательством вечной действительности прошлого: вот они — слои времен — спят друг на друге, крепко прижавшись, в немом покое; но напрягусь я, и они заговорят со мною — я уверен, потекут ритмом времени, зашумят как прибой веков. Впоследствии, едва ли не по этому издетскому нежному чувству слоистости, я увлекся геологией — именно слоистыми образованиями, и приходил в дрожь и холодный восторг при виде четких геологических пластов. Ведь это буквально книга, как и книга — не есть ли осевшее время?

Занимали овальные плоские известковые гальки, которыми набивали мы себе полные карманы. Иногда попадались такие гальки, с естественною дырою; мы надевали странный камень на палку и восхищались им, отчасти суеверно преклонялись. Загадочное отверстие с его гладкими, словно обсосанными краями манило ум и втягивало в себя всего. Отверстия вообще казались таинственными жилищами Неведомого и перекликались с вожденными пещерами, подземельями, погребками и темными чердаками, с ямами, канавами, туннелями и длинными коридорами; за всеми ими я признавал силы первичного мрака, в котором родилось все существующее, и мне хотелось проникнуть туда и навеки поселиться там. Но другие пустоты слишком опасны, чтобы позволить приближаться к себе безнаказанно; а эти отверстия в камнях, светленькие, чистенькие, гладенькие, теплые на солнце, вполне по силе мне. И я совал туда палец и заглядывал в них тысячи раз все с тем же чувством их таинственности, которого не могли рассеять ни доступность этих отверстий, ни объяснения отца или тети. Уже взрослым я узнал о таких камнях, что они называются у крестьян «куричьими богами» и вешаются в курятниках, как обереги кур от домового и всяких болезней. Как это ответило моим детским мыслям и как я узнал в этих куричьих богах свои таинственные гальки.

На берегу при помощи палок строили морские заливы или втыкали палки в песок и с тем же чувством тайны вглядывались в темную дыру, куда набиралась морская вода. Любо было видеть отжатый и посеревший песок словно набухающим и

чернеющим от притока влаги. Иногда разгребали прибрежный гравий и находили слой мокрый, а ниже — поднимающуюся и опускающуюся, живую, дышащую там воду. Выкопать яму, хотя бы маленькую, всегда казалось родом магического действия: самое существо ямы таинственно. Что же? В яме живая вода. Все на воде и в воде, да и не простой, понятной воде питьевой, а в воде таинственной, горько-соленой, привлекательной и недоступной. В Батуме эта мысль о воде была особенно естественна, потому что Батум действительно весь в воде и на воде. Исследовали эту воду в ямках, сосали палец, омоченный в ней, удивлялись ее горько-соленому вкусу. Совсем слезы! И не значит ли это, что и сам я — из той же морской воды? Везде взаимные соответствия — за что ни возьмешься, все приводит опять и опять к морю.

Ловили медуз палками. Красивые цветы опалесцирующими чашечками, налитые светом, колыхались в воде, нежно обведенные фиолетовою каймою. Мы знали, что они жгутся, но это принималось как должное: к таинственному нельзя подходить безнаказанно. А вытащишь их — растанут на теплых камнях в бесцветную слизь, и ничего не останется. Кто-то говорил нам, будто, если сунуть медуз между листами пропускной бумаги, часто меняя их, то все же останется красивая нежная сетка. Я не отрицал этого, но это казалось далекой сказкой, а ближайший опыт говорил попросту: медузы — порождение того же моря, та же вода и ничего более, и в воду потому расплываются. В земле — вода, во мне — вода, медузы — тоже вода... Различное по виду, однако едино по сущности.

Среди выбросов моря со всегдашним удивлением находили рогатые орехи чилим, почерневшие от пребывания в воде. Мы побаивались их, казалось несомненным их родство с морскими чертгами, и потому эти странные орехи мы старались не трогать руками, а когда подбিরали, то с опаскою и осторожно: кто его знает, что они на самом деле и как поведут себя? Бездна моря полна тайн и неожиданностей. Правда, взрослые говорят, что это орехи, и взрослые, конечно, правы, но ведь взрослые вообще таинственной стороны всего окружающего не касаются — не то не замечают ее, не то скрывают от нас, наверное, чтобы не пугать нас; ведь вот они никогда не говорят нам о таких заведомо существующих вещах, как черти, русалки, лешие, даже не говорят о милых эльфах.

А мы-то, положительно не знаю откуда, как-то об этом обо всем давно проводили, несмотря на все поставленные воспитательные преграды. Так вот и чилим: они, то есть взрослые, думают, что мы будем не спать по ночам, и потому нарочно говорят, будто это просто орехи. А может быть, это только кажется орехами. Почему же они такие черные? Почему они с рогами?

Нередко море дарило нас белыми трубками. Папа говорил, что это корни камыша и что месторождение их, вероятно, река Чорух, устье которого недалеко от Батума. Но и тут такому упрощению дела и верилось и не верилось. Слишком уж ясно все милому папе. А почему же эти «корни» такие белые и жирные, словно черви? Почему они трубками? Что-то в объяснении взрослых не так: слишком уж явна странность этих «корней». Белые трубки, они живые — и будет, а дальше уж не следует углубляться и разоблачать их тайну, раз они хотят быть в неизвестности. Они прикинулись корнями — ну и сделаем вид, что этому верим, но только сделаем вид, чтобы их не обидеть и не рассердить. И казалось несомненным, неспроста валяются они на берегу, а нам, именно нам, принесены Морем. Много еще других удовольствий доставляло оно нам — радовало нас, зная, что мы придем к нему и что мы любим «сюрпризы», даже самое это слово. Осколки бутылочного стекла, обтертые прибоем в ласковые матовые кусочки, нагревавшиеся на солнце; тоже ласково выглаженные тем же движением волн палки и куски дерева, чистенькие, светлые, теплые; тоже приглаженные кочерыжки от початков кукурузы. Иногда, после бури, находилась на берегу какая-нибудь рыбка, водоросли или раковины — и радости тогда не было конца, я переполнялся волнением, сердце билось так сильно, что, казалось, готово выскочить. Помню, находили иногда, очень редко, морского конька, а мне даже попалась раз после очень сильной бури рыбка-игла, которая потом много лет хранилась в моей коллекции редкостей. Оглядывая теперь вспять свое детство, я вижу исключительную бедность батумского берега выбросами и отменную ничтожность наших находок; кроме камешков, действительно приятных, мы не находили ничего ценного и занятного. Но тогда эти находки радовали бесконечно, хотя я и был избалованным ребенком, радовали как дары великого синего Моря, лично мне дары, знаки внимания, доверия и покровительства.

Оно жило перед нами своею жизнью,



ежечасно меняло свой цвет, то покрывалось барашками или нахмуривалось, то, напротив, истомно покоилось, лениво, еле-еле плескаясь о берег. В другом месте находки наши ничего не стоили бы; но тут, на морском берегу, это было особенное. Зелено-синие вдали и зелено-желтые вблизи цвета, влекшие мою душу и пленительно зазывавшие все существо с самых первых впечатлений детства, они собою все осмысливали и все украшали. Дары моря как смычком пилили по душе и вызывали трепетное чувство — не чувство, а словно звук, рвущийся из груди, — предощущение глубоких, таинственных и родимых недр, как весть из хризоберилловых и аквамаринных недр бытия. Ведь эти зеленые глубины были загадочно разгадкой пещерного, явного мрака, родимые, родные до сжимания сердца. И деревяшки, обточенные морем, гладкие, теплые, как и теплые гладкие камни, все — солоноватое на вкус и все пахнущее чуть слышным йодистым запахом, — оно было мило сердцу, свое.

Я знал эти палки, эти камни, эти водоросли — ласковая весточка и ласковый подарок моего, материнского, что ли, зеленого полумрака. Я смотрел — и припоминал, нюхал — и тоже припоминал, лизал — опять припоминал, припоминал что-то далекое и вечно близкое, самое заветное, самое существенное, ближе чего быть не может.

Этот йодистый, зовущий и вечно зовущий запах моря; этот зовущий, вечно зовущий шум набегающих и убегающих волн, сливающийся из бесконечного множества отдельных сухих шумов и отдельных щипающих звуков, шелестов, всплесков, сухих же ударов, бесконечно содержательный в своем монотонном однообразии, всегда новый и всегда значительный, зовущий и разрешающий свой зов, чтобы звать еще и еще, все сильнее, все крепче; шум прибоя, весь состоящий из вертикалей, весь рассыпчатый, как готический собор, никогда не тягучий, никогда не тянущийся, никогда не липкий, никогда, хотя и от влаги, но не

влажный, никогда не содержащий в себе никаких грудных и гортанных звуков; эта зеленизна морской воды, зовущая в свою глубину, но не сладкая и не липкая, флюоресцирующая и высвечивающая внутренним мерцанием, тоже рассыпчатый и тоже беспредельно мелким светом, по всему веществу ее разлитым, всегда новая, всегда значительная — все вместе это, зовущее и родное, слилось навеки в одно, в один образ таинственной жизнетворческой глубины, и с тех пор душа, душа и тело, тоскуют по нему, ища и не находя, не видя вновь искомого, — даже во вновь видимом, но теперь уже иначе, внешне лишь, воспринимаемом море.

Того моря, блаженного моря блаженного детства, уже не видеть мне — разве что в себе самом. Оно ушло, вероятно, куда уходит и время, — в область ноуменов. Но этот ноумен когда-то воистину виделся, обонялся, слышался мною. И я знаю тверже, чем знаю все другое, узанное впоследствии, что то мое познание истиннее и глубже, хотя и ушло от меня, — ушло, а все-таки навеки со мною.

Но отдельные явления порою вдруг всколыхнут это сокровенное знание, и оно снова обжито и приведет в трепет. Во флюоресцирующих веществах, особенно в яблочно-зеленом свечении кружковой трубки, я снова чуть-чуть вижу его, море моего детства; в запахе водорослей, даже пузырька с йодовой tinkтурой, обоняю то метафизическое море, как слышу его прибой в набегающих и отбегающих ритмах баховских фуг и прелюдий и в сухом звонком шуме размешиваемого жара. Но я помню свои детские впечатления и не ошибаюсь в них: на берегу моря я чувствовал себя лицом к лицу перед родимой, одинокой, таинственной и бесконечной вечностью, из которой все течет и в которую все возвращается. Она звала меня, и я был с нею. В душе же моей неизменно стоит зов моря, рассыпчатый звук прибора, бесконечная самосветящаяся поверхность, в которой я различаю блестящие, все более и более мелкие, до малейших частичек, но которое никогда не мажется. А тело мое просит морской солености, воздуха соленого и проветренного йодом, тоже рассыпчатого воздуха, несущего мельчайшие кристаллики соли, и порою сладостно бывает приникнуть хотя бы к пузырьку с йодовой настойкой. Мучительно хочется именно морского вкуса, морской рыбы, омаров, — томит голод по морской пище, и, кажется, попадись куча морских водорослей, я съел бы ее всю.

А ведь «хочется» того, в чем есть потребность и чего не хватает организму. Мне-то и не хватает тех вкусовых и питательных веществ, которые, по эволюционистам, по Кентону, например, были первичными у жизни. Правда, я ничуть не верю эволюционистам; но, думается, сам Кентон не развил ли свою теорию вовсе не по рациональным мотивам, а рассказывая себе сладостную сказку на основании морских впечатлений детства. Если бы ученики и последователи поняли, на чем собственно держится теория их учителей, на каких чуждых рациональности интуициях детства, они перестали бы *jurare in verba magistri*, но вместе с тем глубже постигли бы затаенную детски гениальную личность этих учителей.

И еще: в математике мне внутренне, почти физические говорят родное ряды Фурье и другие разложения, представляющие всякий сложный ритм как совокупность, как бесконечную совокупность простых. Мне говорят родное непрерывные функции без производных и всюду прерывные функции, где все рассыпается, где все элементы поставлены стоймя. Вслушиваясь в себя самого, я открываю в ритме внутренней жизни, в звуках, наполняющих сознание, эти навеки запомнившиеся ритмы волн и знаю, это они ищут во мне своего сознательного выражения чрез схему тех математических понятий. Да. Потому что ритмический звук волны изрезан ритмами более мелкими и частыми, ритмами второго порядка, эти в свой черед, расчленяются ритмами третьего порядка, те — четвертого и т. д. и т. д. Как бы далеко ни пошли мы, ухо не слышит последней расчлененности, уже далее не членимой, нечленораздельной, как грудной звук, дающий сознанию; но всегда звук кажется сыпучим, а непрерывность волны — еще и еще изрезанной, до бесконечности расчлененной и потому всегда дающей пищу умному постижению. Впоследствии, когда я услышал знаменитые ростовские звоны, где сплетаются, накладываясь друг на друга, ритмы все более частые, мне опять вспомнилось ритмическое построение морского прибора и фуги Баха, исконные ритмы моей души. В самом деле, шум прибора слагается из шумов от падения отдельных капель морской воды. Лейбниц уверяет, будто мы не слышим этих отдельных падений и лишь суммарный шум доходит до нас. Но это неправда; мы слышим их, слышим и падение капли, и падение частей капли, и так до беспредельности, когда прислу-

шиваемся, когда войдем во впечатление, сложившееся от прибоя в самом сердце, в глубинах нашей души: там открываем мы бесконечную сыпучесть звука, всегда сыпучего, всегда четкого и сухого в малейших своих элементах. Таинственная, бесконечная поверхность моря, бесконечна и по содержанию своему, по своему звуку, как бесконечна она и по зернистости, тончайшей зернистости своего свечения. Ропот моря — оркестр бесконечного множества инструментов. Есть один звук, родственный ему по содержательности и тоже возникающий в рождающих недрах бытия! Это — узор нагоняющих и перегоняющих друг друга ритмов, когда падают капли — тоже капли — в пещерах, где сочится со сводов и стен вода. И там — в ритмах, слышны еще и еще ритмы, и тоже до бесконечности. Они бьются, как бесчисленные маятники, устанавливающие время всей мировой жизни, разные времена и разные пульсы бесчисленных живых существ. И когда войдешь в мастерскую часовщика, то там опять слышен похожий шум от множества маятников, тоже родимый, тоже напоминающий земные недра и глубь морскую.

По-другому, зазывнее, ближе, но таинственнее и притягательнее втягивала эта глубь мое существо на пристани. Большие деревянные сваи и балки, вбитые в морское дно, словно иссечены таинственными иероглифами — входами червей древоточцев. А я хорошо помнил: именно в таких отверстиях живут неведомые существа, буква, о чем мне как-то нянька, когда я весь ушел в рассматривание темного хода в балконном столбе, так и сказала: «Здесь живет бука», в ответ на мои чересчур настойчивые вопросы. Я отлично понимал, уже тогда понимал, что истину откроет мне лишь простой человек, и, узнав ее от няньки, сразу внутренне согласился, что это именно так, но, разумеется, чтобы не входить в лишние разговоры, скрыл от родителей свое открытие и только многозначительно молчал, когда мне говорили о червях. Так тут на пристани этих букв было без числа и притом уже не скрывающихся и написавших на сваях весьма таинственные письмена. На этих сваях были настланы толстые доски, а между ними оставались широкие щели. Доски всегда чисты, как вообще всегда чисто все, что имеет отношение к морскому делу. Всегда стирается с них омертвевший, сгнивший и дряблый слой, но кое-где пролита смола, нефть, деготь. Пахнет дегтем, смолами, морем и разными экзотическими товарами,

тюки которых сложены тут же. Рассыпаны странные корни — марена, куркума, какие-то еще. В разных местах сложены целыми башнями — по тогдашней оценке толстые-претолстые канаты, бодро пахнущие дегтем и смолою — словно катушки великанов. Сквозь щели настилки видна под ногами темно-зеленая лоснящаяся вода, поверхность невозмущаемая, медлительно и лениво колыхаемая, маслянистая и по ней — маслянистые, еле приметные движения, образующие крупную скользкую сетку зеленых змеек. Что такое эти золотисто-зеленые змейки? Откуда они? Этот вопрос всегда держался в моей голове и, боже мой, сколько я о нем думал. Много раз я задавал его вслух, но получал недоумевающий ответ, что это только кажется, — от движения воды. Но ответ меня глубоко не удовлетворял. Я чувствовал, что не понял самый вопрос, что на мой вопрос недоумевают. А не понял — потому, что не увидел то, что я видел. Я же видел змей, игравших на поверхности, переливавших изумрудом и хризолитом, чарующие прекрасных и ласковых, добрых ласковых змеек, которым хочется вступить в общение со мною. Я видел их, я чувствовал их и знал, что они — ласковые, добрые и красивые змейки. Мне хотелось лишь получить подтверждение своему, услышать в подробностях, узнать, как ближе сойтись с ними, как их потрогать, поцеловать их и с ними объясниться. А мне просто отрицали их существование, да и не их только, но и вообще существование чего бы то ни было особенного, что я видел в игре воды. И тогда я надолго затаивал свой вопрос и то, что я видел, в самом себе. Потом, через некоторое время я снова задавал его, но опять — то же непонимание. Нужный мне ответ о милых зеленых змейках и подтверждение своему знакомству с ними я услышал лишь значительно позже, уже студентом, от студента Ансельмуса в «Золотом горшке» Гофмана.

Тут, у пристани, вода была особенно таинственна. Прозрачная, насыщенно зеленая, как огромный изумруд; и вся светилась, напоенная светом, ядовитым и полным угрозы, но неисполненная и творческих сил. Медлительно по ее маслянистой поверхности скользили лоснящиеся, еле видимые волны, лениво ластясь к сваям пристани и к борту парохода. Раскинув свою чашечку и щупальца, в воде нежилось большие и малые медузы. Медленно проплывали, колыхаясь и покачиваясь в изумрудной влаге, их опалесцирующие голубоватым светом

тела. Проплывали стаи мелких рыб, и изредка виднелся в глуби силуэт рыбы побольше. Кое-где поверхность воды переливала радужными нефтяными пятнами. С парохода выносили тюки, из которых сыпались таинственные коренья или семена; тащили клетки с попугаями, грозди бананов, кокосы, мешки американских треугольных орехов, земляных фисташек. Слышались всевозможные языки и говоры. На пристани можно было видеть людей самых различных национальностей — греки, турки, армяне, грузины, французы, англичане, ольгийцы, немцы, итальянцы и т. д., и т. д., даже негры, колония которых располагалась невдалеке от Батума, — кого тут не было? И все — в особых одеждах. Все было необычно — все: и запахи, и звуки, и цвета — поддерживало одно другое, возбуждая чувство таинственного. И главное — всего много, много, много... Конца нет производительной мощи природы. И все это «много» приносится вот этой, прозрачной, зеленой, флюоресцирующей поверхностью моря. В глубине его таятся бесчисленные жизни, странные и вместе прекрасные животные, растения, из которых каждая внутренне связана со мною, внутренне соотносится с моею личною жизнью, посылает в нее истечения своего бытия и признает в ней за равного среди равных, за члена бесконечного царства таинственной, мерцающей флюоресцирующим светом жизнь.

Отец рассказывал нам о путешествиях по далеким странам и, кажется, сам увлекался картинками экзотической или далеко — северной природы. Рассказывала и тетя. Влажный, соленый и смолистый воздух вместе с манящими вдалека рассказами обращали все внимание, всю душу к пароходам и счастливым людям, плывущим по хребту моря в далекие страны, где высятся упругие пальмы, обремененные кокосами и финиками; где раскачиваются на ветвях необыкновенных деревьев красные и зеленые попугаи и щелкают таинственные трехгранные и темные американские орехи, и говорят, конечно, по-русски, странные изречения, полные таинственного смысла; где порхают по огромным ярким и благоуханным цветам милые колибри; где жирафы тянутся своими шеями выше самых высоких деревьев, где растут гигантские Раффлезии арнольди и плавают на водах, как подушки в полтора, два аршина поперечником пышные виктории регии, на которые мне так хотелось сесть и полежать. Широколистные бананы ломаются под тяжестью гроздьев. Пестрые и таинственные орхидеи

восседают, как птицы на суках деревьев, спуская свои корни, подобные белым жирным червям. Обезьянки лакомятся бананами и швыряют шкурки в неуклюжих слонов. Пряные и теплые дуновения веют меж густых лиан: это бесчисленные благовонные деревья — гвоздичные, кардамонные, мускатные, бадьяновые — я считал, что бадьян — дерево, — и выходящие плети ванили растворяются в воздухе и наполняют его своими запахами. Самое слово ароматы казалось таким полнозвучным и многозначительным. Огромные колючие кактусы цветут белыми и красными венчиками.

А все эти звуки и запахи — на фоне прибоев синего-синего моря, жемчужными волнами набегающего на золотые пески плоского берега. В море же цветут чудные кораллы, плавают дикивинные рыбы, ползают чудовищные лангусты и крабы. Конечно, тут же, но несколько поодаль, в тени сознания, как не очень-то приятное, — и киты, и кашалоты, и акулы, и в особенности рыба-молот, и рыба-пила, и нарвал. Тут, у нас в Батуме, все затаило в себе таинственную свою сущность; там же, в далеких заморских странах, она выступает в подавляющем блеске и величии.

И все это бесконечное богатство красок, цветов, запахов, заставляющее цепенеть мой ум и спиравшее дух волнением, — вся эта полнота производится морем. Весь этот заморский мир представлялся в моем воображении как бы выросшим, как бы поднявшимся из синего, глубокого синего моря, этот мир омывающего и его питающего. Там, под лучами жгучего солнца, море откровеннее, там оно показывает свои приливы и отливы, увидеть которые хотелось мне почти до тошноты, до сердцебиения. Там, по морю, несутся водяные столбы — смерчи, там встают волны высокие, в пятиэтажные дома. Но ведь и здесь это то же самое море, но скрывающее свои силы и свою жизнь в тайне своих волн.

Я прислушивался к волнам. Истомно набегают, как вести далеких стран из неизвестности, волны — одна, другая, третья... Но потом неожиданно волна сильнее, и когда купаешься — может сбить с ног. Потом — опять волны, ленивые, ластящиеся, несколько их, а то — опять сильнее. Я спрашивал, почему волны не одинаковые? Мне что-то отвечали, что — не помню. Но я и без ответа знал, почему: когда кто раздражен и сдерживается, то говорит как будто спокойно, но неожиданно наплет на какое-нибудь слово, и раздражение обнаружится. Так и море. Оно хочет



скрыть свою мощь, но время от времени проговаривается сильной волною.

Лежа на прогретых солнцем гальке и гравии, я часами смотрел на море. Его бороздили полосы сине-стальные, поверхность его не была однородна. Отчего ж эти полосы и пятна? Мгновенно менялся цвет моря, лишь только набегало на солнце малейшее облачко: море нахмуривалось, явно недовольное. На морской поверхности вспыхивали, как золотые рыбки, искорки — разве можно было усомниться, что в море что-то происходит значительное? Мне, на вопросы мои, старшие что-то объясняли, но эти объяснения шли мимо вопросов, и я даже не считал нужным их оспаривать: старшие так любили меня и так мало, казалось мне, понимают истинный смысл моих вопросов. Всякий вопрос ведь уже предлагал некоторый ответ или, по крайней мере, некоторое направление ответа. Но объяснения взрослых не считались с этим смыслом и просто не признавали того, что, собственно, и составляло мой вопрос: они уничтожали вопрос, мой основной вопрос о жизни моря.

Да, я видел, я ощущал, что море живет, и жизнь его я принимал как привычный факт, не нуждающийся в дальнейшем объяснении, — я принимал ее наравне с

самоощущением собственной моей жизни. Когда же я спрашивал «почему?» о зеленых змейках, о переменчивости цвета морской поверхности, о ломающемся ритме прибоя, об обточенных морем палках и о множестве других подобных явлений, то я, во-первых, хотел получить подтверждение тому, что знал и сам в самой основе, — что море живет, что оно живое и таинственное существо; мне хотелось от окружающих услышать то же, некое аминь своему опыту. А, во-вторых, уже по общему признанию этого факта, я добивался подробностей о смысле отдельных явлений его жизни, о вспышках света, об улыбках и угрозах моря. Мне отвечали в том духе, что привлекающего меня явления, как живого, собственно нет: это явление взрослые делали чем-то случайным и внешним, зависящим от случайных и внешних причин.

Мне отвечали, что это «просто отражение света», «просто течение на поверхности», «просто волны» и т. д. Мне хотелось углубиться в жизнь моря, которая, повторяю, была для меня фактом; мною доискивались те тайные силы внутренней жизни, которыми производится данное явление. А взрослые вытаскивали явление на поверхность, говорили, что оно очень просто и внешне. «Мне лучше знать, что оно не просто, что

неспроста оно. В этом-то я не разубежусь. А я прошу сказать, какое место занимает это не простое среди различных частностей первичного факта, тоже не простого».

Переводя тогдашние свои мысли на язык более поздний — а я знаю, что верно передаю суть моих ощущений и смутных дум, — я сказал бы примером: «Я вижу человека; его жизнь для меня факт. Так вот, не отрицая этого факта, объясните, почему он, словно без причины, улыбнулся, а сейчас вот насунился. Объясните, какие впечатления или мысли вызвали игру его лица?» Мне же в ответ: «Это у него сократились такие-то и такие-то мышцы, ибо прошел по таким-то и таким-то нервным путям соответственный импульс», — примерно так. Но ведь это разве был бы ответ на мой вопрос, ответ, которым отрицался бы самый вопрос о смысле явления: ведь я не сомневаюсь, что улыбка этого человека выразила какое-то внутреннее движение. Так-то вот и воспринимались мною и ответы взрослых о смысле тех или иных явлений в жизни моря. Конечно, я оставался при своем и сам старался вчувствоваться в эти явления. Часами вслушивался в сложные ритмы прибоя, в игру блесков и цветов морской поверхности. В особенности же меня занимала морская пена. Что это за белая сетка непрестанно возникает на поверхности моря, чтобы снова растаять? Неужели она не живет? Она мне казалась огромным существом, плавающим на морской поверхности, и хотелось поймать это существо и рассмотреть его ближе. Но оно не давалось в руки, а на ладони оставались лишь какие-то незанимательные воздушные пузыри. Пена, как и медузы, не поддавались исследованию и могли существовать лишь в своей собственной стихии. Не научало ли это думать, что много есть явлений и существ, которые обращаются в ничто, увлеченные исследователем из своей жизненной среды, но что это не свидетельствует о их несуществовании. Вот, например, сны. Они видятся, пока спишь, и исчезают при пробуждении. Но разве это значит, что их нет? Не вернее ли сказать: они исчезают, вытасканные в бодрствование, как тают медузы и пена на воздухе?

Посещения пристани связались в моей памяти с креветками. Обычно после пристани папа заводил нас в набережную гостиницу, лучшую в городе; ее держал один француз и дал ей сладостное слуху моему имя «Франция». «Гостиница Франция» —

«Отель де Франс» — значилось на вывеске. Мне казалось, Франция есть предел утонченности и культурной остроты; во Франции все элегантно, все выдержано и значительнее языка французского быть ничего не может, в противоположность немецкому, который я презирал, и Германии, о которой слышать не хотел. Мещанство, безвкусица, педантизм, чудачество, скудость и скопидомство — Германия в моем сознании состояла только из этого. Правда, с ранних лет я знал, и знал, говорил на ошупь «Фауста» по переводу Вронченки, а имена и музыка немецких классиков постоянно звучали в моих мыслях. Об этом, впрочем, после. Но этих явлений я не соотносил к Германии и считал их просто человеческими. Культура же — это Франция. И потому гостиница «Франция», хоть и не самая Франция, а лишь гостиница, тоже казалась чем-то достойным признания: тут много значило ощущение реальности имен и вера в имена.

Перед этой гостиницей, на широчайшей асфальтовой террасе, под парусиновым навесом, среди кадок с апельсиновыми деревьями и ящиков с вьющимися растениями, стояли столики, прямо на улице. Мы присаживались туда, а папа заказывал нам наших неизменно любимых креветок. Иногда мы брали их с собою домой в бумажных фунтиках, конечно, особо мне и особо Люсе. Главное ее удовольствие было — бесчинство, которого ни за что не допускала мама, но поощрял папа, — есть на улице. Это было так занимательно, в виду пристани и моря грызть маленьких рачков, пахнущих тем же морем. Бесчинство наше, впрочем, было очень невинное, потому что Батум был не многим больше приличного села, а ходить по его улицам в те давние времена не очень много разнилось от загородной прогулки и пикника.

Иногда мы шли далее по той же набережной и, дойдя до конца ее, сворачивали в узенький переулочек направо, а потом налево. Это был турецкий квартал. Тут стояли рыбацьи кабачки, лепились маленькие лавчонки в еле вмещающих пару посетителей будочках. На улице, вытянув длинные ноги, сидели на маленьких камушках аджарцы, турки и греки, играли в нарды или флегматично тянули калиан. Весь квартал считался опасным, потому что в те времена был населен контрабандистами. Но он был крайне своеобразен и прочно врезался в мою память. Кажется, и папа ходил сюда не совсем без опаски. Говорят, тут грабили средь бела дня, и ходить сюда

в Батуме не рекомендовалось. Но зато тут была лавочка, цель наших стремлений, и в эту-то лавочку давнишними знакомцами входили мы. Ее содержал огрубевший на воздухе и покоричневевший не то венецианец, не то грек. Он торговал нитками красных кораллов, разными розово- и красно-коралловыми вещицами, раковинами, венецианскими бусами и заодно — толстеннейшими канатами, пропитанными дегтем, веревками, бечевками, рыболовными принадлежностями. Лавчонка была сказочно хороша. Наскоро сколоченная из еле обтесанных досок, залитых дегтем, маленькая, так что там не пошевелинуться, вся пропахшая густым смолистым запахом и морем, водорослями и морскими продуктами, она в этой скорлупе содержала столько прекрасных таинственных вещей, — как занозистая раковина жемчужины. Впрочем, в этой лавочке и в самом деле имелись жемчужины. Кораллы манили меня яркостью своего отвлеченного цвета и странностью угловатых очертаний — словно наетки парафина на елочной красной свечке, говорили мы тогда с сестрой, и это сближение кораллов с елкой делало их особенно заманчивыми. В них чувствовалась таинственная жизнь и своя магия; я не любил красного цвета, но этому, по своей отвлеченности не липкому, не мог противиться. Продавец — наверное, он был контрабандистом — вытаскивал из-под прилавка, где были разложены вяленая и копченая рыба, огромные тридакны, и я вспоминал, что тридакна даже орла может захватить в свои тиски и он не вырвется, погибая с морским приливом. Ветвистые белые кораллы казались морскими растениями; хотя я знал, что это жилище мелких животных, но в душе не очень-то верил этому. Так приятно говорить, думалось мне, когда говоришь со взрослыми; как и многие другие естественнаучные объяснения, мне казалось и это родом условной обходительности, эвфемизмом, чтобы не касаться тайн, а на самом деле не соответствующим делу.

Но лучше всего были венецианские бусы. Они были все ручной работы. С тех пор как помню себя, я с безошибочной отчетливостью сразу, почти не смотря, различал ручное производство от машинного. И хотя машины и их продукция весьма занимали мой ум, но непосредственно, не то эстетически, не то более нутром, машинные вещи мною презирались: весь мир был в моем восприятии пронизан разлитом в нем жизнью, его организующей, весь мир имел в себе внутреннюю игру глубины, а машин-

ные вещи казались бездушными, плоскими какими-то, ничуть не таинственными, насквозь понятными и имели вид совершенно по Миллю и Бэну.

В произведении руки человеческой, каково бы оно ни было, в самом грубом, всегда есть таинственное мерцание жизни, как непосредственно чувствуется это мерцание в какой-нибудь раковине, камне, обточенном морскими волнами, в слоистости агата или сердолика, в тончайших сплетениях жилок листа. Машинная же вещь не мерцает, а блестит, лоснится мертво и нагло. И напрасно было бы думать, что дети этой разницы не подмечают; нет, они чувствуют ее в возрасте уже самом раннем. Что касается до меня, то в моем опыте была линия разделения между ручным и машинным даже более глубокая, нежели впоследствии. Она была предельно разграничительная, как между да и нет, как между белым и черным. Так я привык думать с чувством полной уверенности с детства. Ясно помню, хотя и не всегда умел отчетливо сказать, но непосредственно, почти физиологически — как состояние своего тела — ощущал я с полной живостью качественную разницу ручного и машинного. Впоследствии на этом чувстве ручного появилась склонность к Рескину; но, занятый физикой и математикой, я узнал о Рескине очень поздно, когда уже произошел во мне важнейший духовный кризис, о котором будет речь далее. А теперь обращаюсь к венецианским бусам. Они были предельно правдивы и потому прекрасны: каждая являла именно то, что есть она в своей первичной сути, обработка же служила только к обнаружению этой сути — была разоблачением, а не облачением сути. Каждая из бус дышала жизнью и сливалась со всей природой, в своем роде превосходя природу. Одни из пасты, четырехугольными брусочками, кубиками, а круглые или уплощенные — с вкраплениями пасты других цветов. Любо было, что они не окрашены, что поверхности их не придан особый вид, но что материал их виден в них подлинным. Люба и форма их, в очертаниях своих не имевшая ничего механически правильные; целестремительные, — все подходящие к известному типу постольку и в той мере, поскольку и в какой мере это требуется самим делом; у этих бус не было механически острых ребер, механически прямых линий, механически тождественных рисунков. Бусы давали почувствовать формирующую их руку, были непосредственными запечатлениями творче-

ской силы. И потому их хотелось трогать рукою, осязать и концами пальцев и ладонью, хотелось подбрасывать на руке, хотелось пососать во рту.

Другие бусы были стеклянные, преимущественно темно-зеленые и темно-синие. И о них хочется сказать тоже. Их цвет воспринимался именно как цвет стеклянной массы, как существенное свойство материала, — не как что-то украшающее внешне, произвольно и случайно. Их неполированная поверхность с естественно образовавшимися параллельными неровностями в виде тончайших штрихов, их внутренние, параллельные этим штрихам неровности цвета проявляли глубочайшее строение самого вещества бус; так и чувствовалось, как размягченное стеклянное тесто вязко тянулось при изготовлении этих бус, как действовали силы поверхностного натяжения, придавая полужидкой массе свою форму, — вообще чувствовалась запечатлевшаяся борьба и взаимодействие сил, бусы образовавшие.

Эти бусы запечатлелись в сознании как застывшие первоявления, как разоблаченная бесхитростным ремесленником глубокая

правда вещества. Мне было ясно: бусы менее искусственны, нежели случайные куски вещества, ибо искусство тут вело не к сокрытию, а к раскрытию воли самого материала, помогло ему сделаться тем, чем он сам хотел, тогда как машина насилует эту волю. Через эти бусы, посредством их, вещество мира научало любить себя и любоваться собою. И я полюбил его — не материю физиков, не элементы химии, не протоплазму биологии, а самое вещество, с его правдою и его красотой, с его нравственностью. Я чувствовал с трепетом, что бусы этого венецианца-контрабандиста не красивы, а воистину прекрасны, как вообще прекрасна усмотренная глубина бытия, как прекрасно все подлинное. Они были в моем детском сознании ноуменальны. И этот ноумен бус сливался с ноуменом моря, напоминая его камешки, его раковины, его то синюю, то сине-зеленую и зеленую воду. И теперь я спрашиваю себя: не это ли ощущение моря полуморскими насельниками Венеции внушило им искусство этих бус, таких родственных произведениям моря?

Ф. Ф. Матюшкин

Журнал кругосветного плавания на шлюпе «Камчатка» под командою капитана Головнина

Публикация, вступительная статья
и комментарии Л. А. Шура

Осенью 1825 года в михайловской ссылке Пушкин написал стихотворение «19 октября», посвященное очередной лицейской годовщине. Две строфы в этом стихотворении были посвящены одному из его близких друзей лицейских лет, Ф. Ф. Матюшкину:

Сидишь ли ты в кругу своих друзей,
Чужих небес любовник беспокойный?
Иль снова ты проходишь тропик знойный
И вечный лед полуночных морей?
Счастливы пути!.. С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О, волн и бурь любимое дитя!

По словам известного пушкиниста академика Я. К. Грота, Ф. Ф. Матюшкин был «один из тех, к которым Пушкин впоследствии сохранил самые дружеские сношения и который лучше всех понимал высокую натуру поэта»¹.

Матюшкин много путешествовал, дважды он обогнул земной шар, участвовал в арктической экспедиции Ф. П. Врангеля, плавал в Средиземном море, на Балтике, служил на разных кораблях². Среди бумаг Матюшкина, пожалуй, наибольший интерес представляют его путевые записки, которые он вел во время своего первого кругосветного плавания на шлюпе «Камчатка», так как они непосредственно связаны с именем Пушкина. Биограф поэта П. В. Анненков писал в 1855 году: «Один из лицейских его [Пушкина. — Л. Ш.] товарищей, занимающий ныне почетное место в морской службе, получил от Пушкина при первом своем отправлении вокруг света длинные наставления, как вести журнал путешествия. Он рассказывал нам, что Пушкин долго изъяснял ему настоящую манеру записок, предостерегая от излишнего разбора впечатлений и советуя только не забывать всех подробностей жизни, всех обстоятельств встречи с разными племенами и характерных особенностей природы»³. Этим лицейским товарищем Пушкина был, конечно, Ф. Ф. Матюшкин, а разговор этот происходил между 25 июня — 26 августа 1817 года⁴.

Однако судьба путевых записок Матюшкина оказалась весьма сложной...

Незадолго до своей смерти Ф. Ф. Матюшкин передал академику Я. К. Гроту хранившиеся в его личном архиве бумаги, связанные с лицеем. Среди них была маленькая черновая тетрадка в обложке из листов вахтенного журнала «Камчатки». В 1887 году Я. К. Грот опубликовал отрывок из этой тетрадки. «Поживши три дня у Егора Антоновича, я отправился в дорогу, — писал Матюшкин. — Прощаясь с местом, где я, может быть, провел счастливейшее время жизни... я не мог удержаться от слез... Это было 2 июля. Не знаю, что я чувствовал, когда я прибыл в Ижору. Хотя я ехал в Москву, хотя я ехал к любимой мною матери, которую не видел шесть добрых лет, но я не радовался: какая-то непонятная грусть тяготила меня...»⁵.

Заметки относились к июлю 1817 года, когда Матюшкин, узнав о том, что капитан В. М. Головин берет его с собою в кругосветное плавание, поехал в Москву проститься с матерью. Я. К. Грот предположил, что этот отрывок есть «черновое начало записок Матюшкина, которые он, как говорит предание, собирался вести по совету и плану Пушкина»⁶.

В 1911 году Я. К. Грот, издавая бумаги лицейского первого выпуска, привел целиком этот текст, который он назвал «Путевые заметки между Царским Селом и Москвою (1817)»⁷. Я. К. Грот писал: «Это черновая, сильно перемаранная поправками рукопись в сшитой тетрадке из грубой синей бумаги на 8 листах, то есть 16 страничках, в такой же оборванной обложке, на заднем листике которой имеются какие-то морские технические (путевые) записки Матюшкина, из чего можно заключить, что эти листки сопровождали его в морском странствии»⁸. Я. К. Грот также считал, что этот отрывок — черновое начало дневника Матюшкина 1817—1819 годов. Вел ли дневник Матюшкин во время кругосветного плавания или ограничился только несколькими страничками, опубликованными Я. К. Гротом? Ни один из исследователей не мог ответить на этот вопрос. Н. Гастфрейнд в своей книге «Товарищи Пушкина по Царскосельскому лицей» полагал, что Матюшкин не вел записок и ограничился только их началом: «Можно, конечно, пожалеть, что эти записки не были ведены Матюшкиным во время его заграничных путешествий на кораблях; они дали бы нам, помимо описаний всего виденного им, много черт его характера, ума и наблюдательности»⁹.

В то же время в одном из писем директора Царскосельского лицея Е. А. Энгельгардта, который любил Матюшкина и относился к нему, как к сыну, можно найти косвенное указание на то, что Матюшкин вел путевые записки во время плавания. Е. А. Энгельгардт, получив коротенькую записочку Матюшкина из Рио-де-Жанейро, писал ему 9 марта 1818 года: «Собирай только как можно порядочнее записки и Журнал свой, мы из него составим маленькое путешествие, — voyage sentimental par mer»¹⁰, — это нечто совсем новое, но ныне это бывало только на сухом пути. То-то удивим»¹¹.

Ф. Ф. Матюшкин во время плавания на «Камчатке» регулярно посылал письма Е. А. Энгельгардту. Письма Матюшкина, представляющие собой нередко подлинный путевой дневник, подробные и увлекательные, Энгельгардт охотно читал в кругу своих прежних воспитанников. Но письма Матюшкина из кругосветного плавания на «Камчатке» до самого последнего времени также не были известны исследователям. Так, например, Н. Гастфрейнд в своей работе о Матюшкине, широко используя письма Энгельгардта к Матюшкину, отме-

тил в то же время: «Самих же писем Матюшкина, к сожалению, мы не имеем»¹².

В 1919 году в Пушкинский дом поступила часть рукописного собрания известного собирателя и коллекционера П. Я. Дашкова (1849—1910), чья коллекция автографов была одной из богатейших в России. Среди этих бумаг в Рукописный отдел Пушкинского дома попали и бумаги Матюшкина, часть его личного архива. Среди них был и переплетенный том с тиснением на корешке: «Ф. Ф. Матюшкин, Журнал кругосветного плавания на шлюпе «Камчатке» под команд[о]у капитана[] Головнина». Это был тот самый дневник Матюшкина, который он вел по совету и плану Пушкина. Неясно, каким образом бумаги Матюшкина попали в собрание П. Я. Дашкова. Письма Матюшкина к Энгельгардту из кругосветного плавания на «Камчатке» оказались после 1917 года в Отделе рукописей Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, куда они попали в составе рукописного собрания принца А. П. Ольденбургского. Судя по переплету и тиснению на корешке, в собрание Ольденбургского письма перешли от того же П. Я. Дашкова. Но еще долгие годы бумаги Матюшкина лежали без движения, об их существовании не знали.

Лишь в 1943 году А. И. Андреев впервые упомянул «Журнал» Матюшкина в обзоре новых материалов о русских плаваниях и открытиях в Тихом океане¹³, а через три года «Журнал» был указан также в обзоре А. Н. Михайловой¹⁴. Однако оба эти обзора остались незамеченными. В 1956 году в печати появилось краткое описание рукописных материалов Матюшкина, хранящихся в Пушкинском доме¹⁵. Благодаря разысканиям и работам Ю. В. Давыдова были опубликованы письма Ф. Ф. Матюшкина к Е. А. Энгельгардту за 1820—1824 гг. и отрывок из его путевого дневника 1822 г.¹⁶ В 1956 г. вышла в свет книга Ю. В. Давыдова «В морях и странствиях», в которой впервые был использован «Журнал» Матюшкина 1817—1819 годов и другие его бумаги. В 1962 году ленинградский историк Б. Н. Комиссаров обратился к «Журналу» Ф. Ф. Матюшкина и указал, что он представляет интересный источник по истории Бразилии и Перу¹⁷.

Автор этих строк также обращался к «Журналу» Ф. Ф. Матюшкина в ряде своих работ по истории русско-латиноамериканских отношений XIX в.¹⁸ Более подробно «Журнал» Ф. Ф. Матюшкина рассмотрен нами в книге «К берегам Нового Света». В этом же издании опубликованы разделы «Журнала», посвященные странам Латинской Америки. «Журнал» Матюшкина интересен не только как материал для биографии его автора и дневник человека пушкинского круга, но также как источник по истории и этнографии разных стран, которые посетил Матюшкин, но — главное — как литературное произведение. «Журнал» Матюшкина — это типичные путевые записки писателя-моряка, один из жанров русской романтической литературы 20—30-х годов XIX века.

Жанр путевого очерка и записок оказал большое влияние на развитие русской литературы начала XIX века.

В 20—30-е годы XIX века очерки и записки русских писателей-моряков широко публиковались и пользовались огромным успехом у русских читателей. Под свежим впечатлением от прочитанных книг о русских путешествиях начала XIX века Н. Вестуев с восторгом

писал в «Полярной звезде»: «Послужит ли нам счастье обрести неизвестные страны? Как изъяснить прелесть нового, неиспытанного чувствования при виде особенной земли, при вдохновении неведомого балзамического воздуха, при виде неизвестных трав, необыкновенных цветов и плодов, которых краски вовсе неизвестны нашим взорам, вкус не может быть выражен никакими словами и сравнениями? Сколько новых истин открывается, какие наблюдения пополняют познания наши о человеке и природе с открытием земель и людей Нового Света?»¹⁹

Широкое распространение в России в 20-е годы XIX века «литературы путешествий» объяснялось прежде всего усиленным интересом к «экзотическим», малоизвестным тогда заморским государствам, к освободительному движению в этих странах и т. д. В то же время распространение жанра путешествий в далекие страны было связано с развитием русского романтизма.

Русская критика начала XIX века рассматривала книги русских мореплавателей как жанр художественной литературы, разбирая их в своих статьях наравне с романами, повестями, рассказами и т. п. Так, например, декабрист А. Вестуев в статье «Взгляд на старую и новую словесность в России» писал о «Записках в плену у японцев» В. М. Головнина: «Головнин описал свое пребывание в плену японском так искренно, так естественно, что ему нельзя не верить. Прямой, неровный слог его — отличительная черта мореходцев — имеет большое достоинство и в своем кругу занимает первое место...»²⁰

Писатель-декабрист А. Вестуев высоко оценил книгу Головнина «Путешествие вокруг света на военном шлюпе «Камчатка» в 1817—1819 гг.». Книга вышла в свет уже после того, как статья А. Вестужева «Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года» была набрана. Поэтому Вестуев сделал приписку к статье: «Р. S. Лишь теперь вышло в свет: «Путешествие около света» г. Головнина. Первая часть оного посвящена рассказу и описаниям истинно романтическим; слог оных проникнут занимательностью, дышит искренностью, цветет простотою. Это находка для моряков и для людей светских. Еще спешим обрадовать любителей поэзии: маленькая и, как слышно и как несомненно, прекрасная поэма А. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» уже печатается в Москве»²¹. Характерно, что мнение о записках Головнина приводится рядом с известием о выходе в Москве «Бахчисарайского фонтана».

«Журнал» Матюшкина писался явно под влиянием русской «морской» литературы. В лицейской библиотеке Матюшкин читал описания кругосветных путешествий — книги Крузенштерна, Лисянского, описание путешествия Сарычева и др. Путевые записки русских мореплавателей печатались также в петербургских и московских журналах. Так, в последние годы пребывания в лицее Матюшкин мог прочесть, например, в журнале «Сын Отечества» «Извлечение из журнала путешествующего кругом света российского лейтенанта Лазарева» (1815, ч. 26), «Перечень писем путешествующего на корабле «Рюрик» лейтенанта Коцебу от Тенерифа до Бразилии» (1816, ч. 32) и др.

Для записок русских мореплавателей была характерна одна общая черта: русские моряки обычно отмечали поражающий их контраст между прекрасной природой Южной Америки и других посещавшихся ими «экзотических» стран и нищетою и заботностью местных жите-

лей, особенно негров, о рабстве которых все они писали с глубоким негодованием. Это стало традицией в русской морской литературе, и «Журнал» Матюшкина следует этой традиции.

«Журнал» Матюшкина не был предназначен для печати, что придает ему особую ценность. Книга В. М. Головинина «Путешествие вокруг света на военном шлюпе «Камчатка» в 1817, 1818 и 1819 гг.», увлекательно написанная, с массой живых зарисовок, все же представляла собой отчет о плавании командира корабля. Поэтому, связанный официальными рамками своего отчета, В. М. Головинин не мог написать многого так, как он хотел, а о некоторых вещах он просто написать не мог.

Вместе с Матюшкиным на «Камчатке» служил Ф. П. Литке, будущий знаменитый адмирал и ученый. Он также вел дневник, не предназначавшийся для печати. Дневник Литке очень интересен, но это записки профессионального моряка, в нем много чисто морских практических сведений.

«Журнал» Матюшкина отличается и от официального отчета Головинина, и от записок Ф. П. Литке. Ф. Матюшкин попал на «Камчатку» сразу же после окончания лицея, не имея никакой специальной морской подготовки. Во времена плавания В. М. Головинин и офицеры «Камчатки» учили молодого лицеиста морскому делу. Поэтому и в «Журнале» Матюшкина иногда записи дневникового характера перемежаются черновыми математическими и астрономическими набросками. Эти фрагментарные заметки имеют, как правило, учебный характер. В то же время в «Журнале» Матюшкина сравнительно мало специфических морских сведений — заметок о приливах, отливах, вычислений широты и долготы и т. п. Некоторые из его морских замечаний, например о порте Рио-де-Жанейро, не совсем точны. Но в то же время в «Журнале» Матюшкина больше сведений, чем у Головинина, о культуре, быте и нравах жителей тех стран, которые посетили русские моряки с «Камчатки». Так, например, Матюшкин подробно записывает свои впечатления от посещения театра в Рио-де-Жанейро, уделяет много места заметкам о быте и нравах негров и белых в столице Бразилии.

Более подробно, по сравнению с Головининым, Матюшкин описывает и природу тех стран, которые посетила «Камчатка». Так, В. М. Головинин кратко отмечает в своей книге, что во время пребывания в Бразилии русские моряки ездили осматривать водопад вблизи Рио-де-Жанейро. В «Журнале» Матюшкина подробно описывается эта поездка, водопад и т. д.

В. М. Головинин очень кратко и сдержанно отозвался о неготорговле в Рио-де-Жанейро: «Бывши в Западной Индии, я уже привык смотреть на состояние негров, и меня нимало не изумил так называемый рынок негров, но товарищам моим показался крайне удивительным...»²² В «Журнале» Матюшкина неготорговля в Бразилии посвящена многие страницы, полные горечи и негодования. Возможно, что, описывая ужасы неготорговли в Бразилии, молодой Матюшкин думал о «белых неграх» в России. На последних листах своего «Журнала» Матюшкин записал: «Необходимо было исчислить, токмо не новейшим политикам, которые думают о золоте и силе, но другу человечества, весь вред и малую пользу, который принесла торговля неграми как для Африки, так и для Европы. К несчастиям Африки принадлежат беспре-

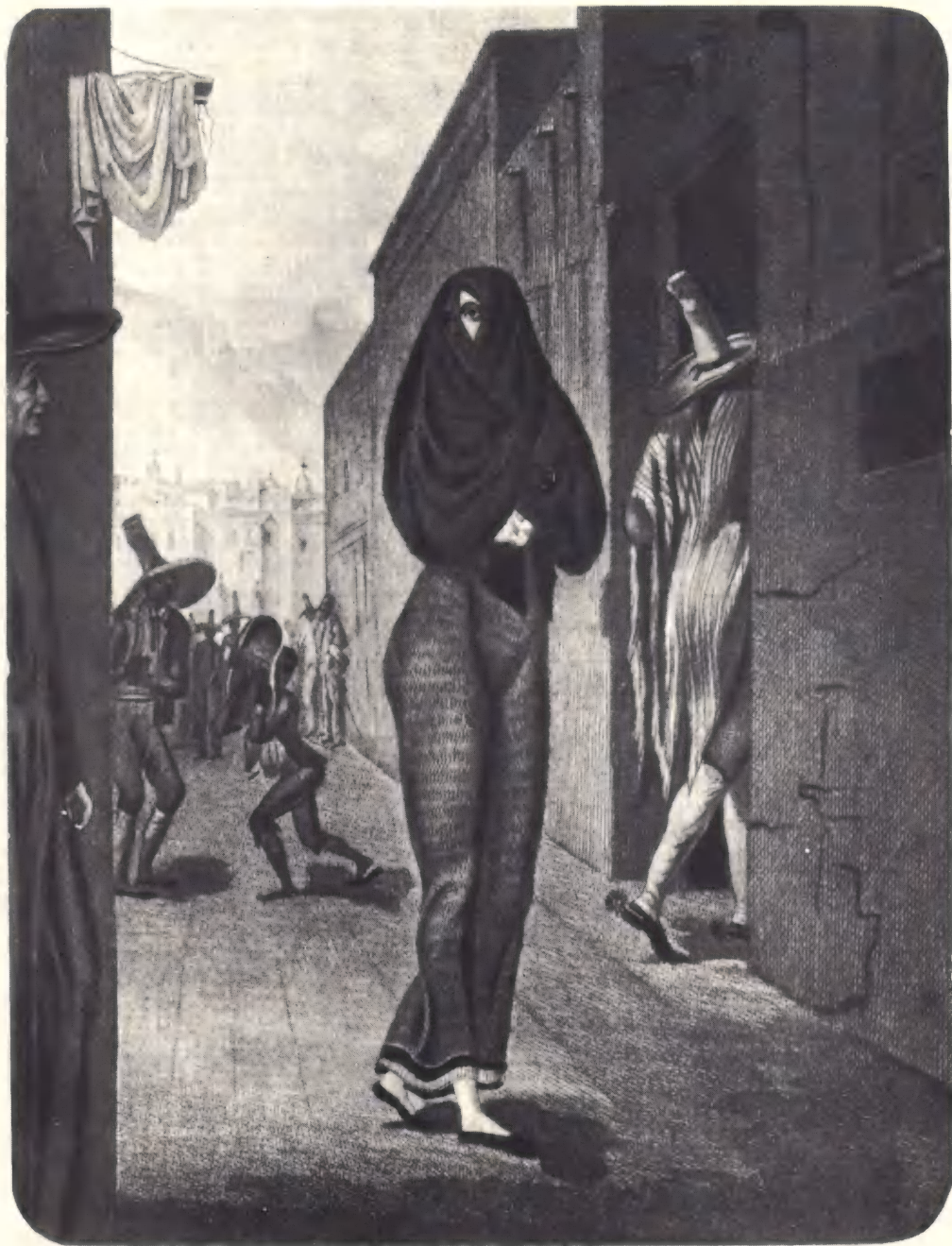
станные войны, которые ведут между собою народы, чтоб доставить европейцам невольников; варварское самовластие царей, которые продают собственных подданных... Большая часть их умирает во время плавания в Америку от худой пищи и скорбута, от тяжелых работ, от недостатка свежих припасов, наконец, от наказаний и мучений... Сколько слез и сколько крови проливается в Африке!.. С теми физическими несчастьями соединены болезненные душевные, происходящие от рабства, которые уничтожают во всех американских колониях, особенно в Бразилии, малейшие чувства милосердия и человечества, потому что там, где есть рабы, там должны быть тираны»²³.

С глубоким сочувствием писал Матюшкин о повстанцах испанской Америки, которые в эти годы вели вооруженную борьбу против испанского ига. За несколько дней, проведенных в Лиме, Матюшкин успел почувствовать, что колониальный режим третит по всем швам и что патриоты-инсургенты уже совсем скоро одержат верх над роялистами. Эти записи характерны для декабристски настроенного молодого человека 20-х годов XIX века. Недаром Матюшкин записал в «Журнале»: «Мало изгнать из своей земли рабство, чтоб доставить подданным счастье, безопасность, богатство, но надобно изгнать его из колоний — для блага всего человечества...»²⁴

Матюшкин был одноклассником Пушкина и Кюхельбекера, будущих декабристов, его воспитателями были свободолюбцы и просветители Малиновский и Куницын. Но был ли Матюшкин декабристом? Некоторые исследователи высказывали предположение, что Матюшкин, хотя, может быть, и не принадлежал формально к тайному обществу, но, «окажись он 14 декабря на Сенатской площади, встал бы плечом к плечу с восставшими»²⁵. Одно из писем Матюшкина Е. А. Энгельгардту, обнаруженное нами недавно, позволяет уточнить вопрос о декабризме Матюшкина.

23 августа 1825 года Матюшкин ушел в свое второе кругосветное плавание на транспорте «Кроткий» под командованием Ф. П. Врангеля. 14 декабря 1825 года «Кроткий» вышел из Рио-де-Жанейро. О восстании на Сенатской площади Матюшкин, очевидно, узнал только в сентябре — октябре 1826 года, когда «Кроткий» пришел в Ново-Архангельск. Потрясенный известиями из Петербурга, Матюшкин пишет Е. А. Энгельгардту 19 октября 1826 года: «Егор Антонович! Верится ли мне? Пушкин! Кюхельбекер! Кюхельбекер может быть; несмотря на его доброе сердце, он был несчастен. Он много терпел, все ему наскучило в жизни, он думал, везде видит злодеев, везде зло. Он — энтузиаст-фанатик, он мог на все решиться и все в одно мгновение. Но Пушкин. Нет, Пушкин не может быть виноват, не может быть преступником. Я за него отвечаю. Он взят по подозрению и по пустому подозрению — дружба его с Рылевым, слово, сказанное неосторожно, но без умысла. Признаюсь Вам, Егор Антонович, когда я прочел его в списке <нрзб>, я думал, что и я виноват, я его так любил, так люблю. Разберите его жизнь, его поступки — никто из нас не делал столько добра как человек и как русский... Мы здесь не имеем никаких подробностей о происшествии, случившихся в Петербурге, — или лучше сказать, имеем их слишком много»²⁶.

Матюшкин так заканчивает письмо: «Товарищам, друзьям нежеля я должен <нрзб> сказать, что я их [не] люблю. Нет, я их люблю, они непричастны этим ужасным покуше-



М. Тиханов. Перуанская дама (1818). Музей Академии художеств СССР. Ленинград.

ниями. Пушин! Пушин!»²⁷ Боль за лицейских друзей, стремление спасти их — вот основная мысль этого письма. Но оно свидетельствует также, что Матюшкин не был декабристом и ничего не знал о тайных обществах.

«Журнал» Ф. Ф. Матюшкина в том виде, в каком он хранится в настоящее время в Пушкинском доме, подобран и переплетен П. Я. Дашковым. На корешке тиснение: «Ф. Ф. Матюшкин, Журнал кругосветного плавания на шлюпе «Камчатке» под команд[ою] кап[итана] Головинина». Это название принадлежит, очевидно, П. Я. Дашкову, текст же рукописи Матюшкиным не озаглавлен. Отдельные части рукописи (главы) были выделены самим Матюшкиным (например, Рио-Жанейро до Лимы, Перу и др.). При переплете тетради Матюшкина были расшиты, а затем подклеены и переплетены. Очевидно, Матюшкин вел записи во время путешествия в разных тетрадях, так как в переплетенном томе бумага различного формата и цвета. П. Я. Дашков подклеил и переплел также несколько писем Матюшкина Энгельгардту, так как, очевидно, часть листов из дневника была утрачена и письма Энгельгардту, которые по большей части представляли собой несколько обработанную копию дневника, заменяли утраченную часть текста.

Но все же в дневнике Матюшкина есть пропуски. Так, запись после отплытия «Камчатки» из Кронштадта 26 августа 1817 года обрывается на полуслове, далее идут два чистых листа, вклеенных при переплете П. Я. Дашковым, а затем описывается вид Копенгагена с моря.

В переплет «Журнала» Матюшкина вклеена копия вахтенного журнала шлюпа «Камчатка», начиная с 21 октября 1817 года — выхода с Портсмутского рейда — и до прихода в Петропавловскую гавань. Здесь же и рабочая тетрадь Матюшкина, где он вел различные математические и навигационные записи (поверка хронометров и т. п.). Кроме этой тетрадки, П. Я. Дашковым были вклеены еще несколько листов черновых записей Матюшкина, некоторые из которых, возможно, относятся уже к его второму кругосветному плаванию на «Кротком» в 1825—1827 годах.

Большая часть листов «Журнала» разделена пополам. На этих широких полях Матюшкин дополнял свои записи (обычно карандашом), делал исправления. Почти все исправления и дополнения Матюшкин переносил при копировании своего дневника в письмах Энгельгардту, что обнаруживается при сравнении текста «Журнала» с письмами. Но все же некоторые подробности в письмах опускались, а сам текст подвергался стилистической обработке.

Первые страницы дневника Матюшкина написаны в форме письма, обращенного к друзьям и к матери в Москву (первая страница) и к Е. А. Энгельгардту в Царское Село.

В конце «Журнала» Матюшкин перечислил основные пункты своего путешествия: «Кронштадт — Портсмут — Лондон — Рио-де-Жанейро — Лима — Камчатка — Ситха — Монтерей — Бодега — Ованги — Гуам — Атувай — Гуам — Манила»²⁸. Различные этапы путешествия нашли неодинаковое отражение в дневнике. Сначала, то есть от Кронштадта до залива Бодега (Калифорния), записи подробные, затем они становятся очень краткими, фрагментарными (Гуам — Гавайские острова — Филиппинские острова). Часть из этих записей — полустершиеся карандашные наброски, которые с большим трудом поддаются прочтению. Для настоящей публикации мы выбрали разделы «Журнала» Матюшкина, ко-

торые охватывают Царское Село и Кронштадт (начало плавания), затем пребывание в Рио-де-Жанейро и Лиме²⁹.

Автор выражает сердечную благодарность М. П. Алексееву, В. Н. Комиссарову, Д. Е. Михальчи и М. П. Султан-Шах, оказавшим ему помощь при подготовке «Журнала» Ф. Ф. Матюшкина к печати.

Л. А. Шур

Царское Село, 26 июня

Наконец исполнилось мое желание, наконец мечты, коими мое воображение питалось несколько лет, сбылись — я еду с В. М. Головинным³⁰. Государь согласен. Сегодня пришла о сем бумага от министра морских сил! Через несколько дней я буду к Вам³¹ в Москву, чтобы опять надолго-долго проститься.

Кронштадт, 24 августа

Вот последнее письмо, которое Вы получаете от меня из России, все говорят о скором отъезде, и я не имею более надежды быть в Царском Селе. Ах, Егор Антонович³², как мне грустно, я сам не знаю, что я чувствую; все, что за несколько недель составляло предмет моих помышлений, что меня заставляло радоваться, как ребенка, то самое наводит на меня грусть, часто, сидя один, я задумываюсь, переносюсь в Царское Село, вспоминаю приятные вечера, которые я проводил в в кругу родного семейства, вспоминаю счастливейшее время моей жизни и несколько минут не чувствую приближения ужасного часа разлуки, часа, долженствующего меня разлучить с отечеством, с дражайшей матерью, которую я не видал шесть лет и которую увидел, чтобы опять на долгое время расстаться.

Ах, Егор Антонович, как грустно расставаться с теми, кого любишь, с теми, к кому привязан узами родства, дружбы или благодарности... Я простился с моими товарищами.

Судьба на вечную разлуку, Быть может, съединила нас³³.

24 августа

Вот я уже несколько дней, как на «Камчатке», все для меня ново, всякая бездельца меня занимает, веселые и разнообразные разговоры меня рассеивают; все отправляющиеся в сию экспедицию пред-

ставляют ее себе в прекрасном виде — они, кажется, смотрят на нее только с привлекательной стороны и они делают хорошо — если уже необходима разлука, если уже нельзя воротить прошедшее, счастливейшее время, то для чего горевать, для чего иссыхать с печали, надобно утешаться настоящим и надеяться на лучшую будущность.

25 августа

Капитан приехал из Петербурга, и все закипело — суетятся, бегают, и мы в последний раз видим заходящее солнце в своем отечестве — утро застанет нас под парусами.

26 августа

Четверть девятого мы снялись с якоря. Все, офицеры, матросы, все, которые только были на судне, помогали поднимать якорь, у всех блистала в глазах радость, все, встречая друг друга, пожимали руку, усмехались и не могли от удовольствия ни слова сказать, и я был рад, и я мог забыть, что теперь каждый час, каждое мгновение будет меня удалять от всего, что только есть для меня дорогого.

Рио-Жанейро до Лимы [5 — 23 ноября 1817]

Мы теперь стоим неподалеку от самого города между двумя австрийскими фрегатами, которые провожали принцессу австрийскую — Каролину Леопольдину, обрученную невесту Pedro Alcantara³⁴, наследника бразильской короны. Не успели мы бросить якорь, как множество судов со стоящих здесь иностранных кораблей приехали к нам с поздравлением и для узнания европейских новостей. Между ними приехал также и адъютант короля с поздравлениями от двора и с предложением всех возможных услуг. Он нам сказал, чтобы мы салютовали крепость das Cabras³⁵ 21 выстрелами, и что думает, что и нам ответствовано будет равным числом; и в самом деле он не ошибся — это, впрочем, весьма редкая почать, отдаваемая чужестранцам.

С сим же адъютантом случился довольно забавный анекдот, доказывающий отчасти просвещение здешнее. Адъютант королевский входит в капитанскую каюту, в которой стоял крест и Библия, с удивлением обращается он к В[асилию] М[ихай-

ловичу] и спрашивает: «Давно ли русские переменили веру свою?» Должно себе вообразить, как этот вопрос удивил капитана: он не мог понять сначала, с каким намерением он ему сделан, но вскоре (имя исп[анца] не помню) вывел его из недоумения, прибавив: «Или Вы токмо христианин, а прочие греки?»

Королевский адъютант показал нам место, где, по его словам, очень хорошо стоять на якорь, но мы впоследствии увидели, что это может быть самое худое, которое можно бы было найти во всей бухте. Для безопасности от могущих случиться морских ветров мы, переменяв якорное место и став фертоингом³⁶ на плехте и даглице³⁷, спустили стеньги и начали работы. Разбирая груз, мы нашли весь верхний лаг³⁸ сухарей попортившимся и множество мешков были принуждены бросить в море. Во время крепкого ветра у мыса Фрио вода входила с боков судна, и мешки с сухарями были покрыты густым раствором, что и принудило конопатить судно. Вся работа производилась весьма поспешно с своими людьми, так что через две недели все было готово к отходу.

Во все время я почти каждый день съезжал на берег и каждый день видел что-нибудь любопытное для европейца, но обыкновенное в здешнем крае. Когда мы спрашивали русского генерального консула Г[ригория] Ив[ановича] Лангсдорфа³⁹, чтобы он нам сказал, что здесь есть примечательного, то он сначала не мог ничего найти, но после, однако, нашлось противное, и мы все время нашего пребывания в Рио-Жанейро провели очень весело, будучи ему и его супруге⁴⁰, дочери известного астронома Шуберта⁴¹ всем обязаны. Несколько ненастных вечеров я провел в его поучительных или ее приятных разговорах.

5 и 6 ноября я не съезжал на берег, я хотел сначала что-нибудь узнать о городе и потом уже съехать, чтобы не быть совершенным новичком.

7 ноября к нам на судно приехал наш генеральный консул Г[ригорий] Ив[анович] Лангсдорф. Письма, кои я имел от Е. А. Енгельгардта и Фишера⁴², в Горенках, доставили мне хороший прием. С ним я съехал в первый раз на берег. Прекрасные колоннады, триумфальные ворота, арки, казавшиеся нам из мрамора и гранита, были сделаны из бумаги или холста, настоящие же строения все почти выстроены без вкуса — архитектура здешняя не имеет

сходства ни с английской, ни с чистой греческой, но она содержит в себе что-то смешное, которое с трудом можно найти где-либо в другом месте. Надобно себе представить высокие узенькие светелки с большими окнами, кои большею частью на место стекол имеют грубо выработанные решетки; дома все оштукатурены, подъездов нет, но первая комната с улицы служит вместо конюшни, сарая и передни, впрочем, это мы не во всех домах встречали: в иных она служила мастеровой, в других — приемным залом, и через них проводят лошадей на задний двор. Вообще здесь большая неопрятность — как на улицах, так и в самих домах. Улицы так худо вымощены, что я насилу успевал за Гр[игорием] Ив[ановичем]. Вместо булыжника наброшены на улицы необтесанные куски гранита, тротуары, кои находятся по обеим сторонам улицы, столь же неудобны — они узки, и множество полунагих замаранных негров, кои по ним бегают, принуждают тех, кои не хотят замараться, идти посредины улиц; и токмо здешние люди могут по ним ходить. Здешние лошади не спотыкаются, и колеса здешние не ломаются (они делаются из дерева, называемого *Ире*, которое крепостью мало уступает железу). Прошедши несколько улиц и площадей, мы вышли за город и вскоре пришли в дом Гр[игория] Ив[ановича]. Нет в окрестностях близости лучшего местоположения, весь город, рейд и противолежащий берег, прекрасный своим разнообразием, видны. Я провел весь вечер у него и уже ночью отправился обратно на шлюп.

Сии 3-или 4 часа, кои я провел на берегу, безделицы, кои я видел, возбудили во мне любопытство, и я при всяком случае после съезжал на берег.

9 ноября наняли мы кареты, или, лучше сказать, кабриолетки, чтобы объехать весь город и посмотреть все, что есть токмо примечательного. Первое место, куда мы поехали, был рынок, в коем продаются негры: в одной Бразилии можно это видеть, потому что здесь токмо торг неграми не токмо покровительствуем, но и помогаем деятельнейшим образом правительством⁴³, — оно посылает хорошо вооруженные фрегаты, кои бы могли делать отпор англичанам, старающимся о прекращении сего торгового потому, что они сами уже имеют в своих колониях избыток в невольниках.

Ряды, в кои продаются негры, и называемые *Valongo*⁴⁴, состоят из одного строения, разделенного на многие амбары, в кои негры и негритянки почти совершенно нагие содержатся, и в каждом амбаре находится для присмотра один европеец, который поступает с ними зверски. Когда мы вошли в одну из сих лавок, то хозяин, думавший, что мы пришли покупать, велел всем невольникам встать. Тех, кои не тотчас исполнили его приказание, бил он по обнаженному телу тростью, и они не смеют показать ни малейшего недовольствия; он их заставлял смеяться, скакать, быть веселыми, но видно было, сколько труда им стоило притворяться. Часто слезы показывались на глазах у них, кои они украдкой стирали. Когда мы показали на одного негра, у коего был шнурок на шее, то португалец, думая, что мы намерены купить его, объявил нам, что он уже продан и купивший наложил на него *ошейник*.

Оставивши лавки, в кои торгуют людьми, мы поехали далее. Везде видны большие приготовления к празднествам, назначенным быть в будущем месяце — 4 декабря по случаю коронации португальского короля Иоанна VI (*John VI*) бразильским⁴⁵; к сожалению, мы отправимся в путь прежде и не будем иметь случая видеть прекраснейшую иллюминацию и фейерверк, судя по приготовлениям.

Наконец мы остановились у ворот общественного сада. Удивительно, имея все возможные пособия со стороны щедрой природы, португалцы не умеют пользоваться ее дарами, и на месте прекраснейшего сада, который бы мог быть, судя по прекрасному местоположению и качеству земли, сад их очень посредствен.

Отдохнув в тени бананов, пальм и миртов, мы опять сели, и лошади вскоре домчали нас до уединенного домика Григория Ивановича, где мы отобедали совершенно по-бразильски — зеленью, фруктами и вареньями. Между невольниками, кои прислуживали за столом, находился один белее прочих лицом и с совершенно другой физиономией, имея в ушах большие отверстия и губу несколько вытянутую. Любопытство заставило спросить, к какому народу он принадлежал, и вышло, что он принадлежал к американскому народу, называемому тапукси^{45a} (нажется), и судьба его была довольно удивительна. Наш бывший здесь поверенный в делах Балк-Полев⁴⁶ просил одного португальца (имя коего забыл, хотя он знатной фамилии), командо-



М. Тиханов. Перуанская дама с кавалером, купавшаяся на целительных водах у порта Каллао. Музей Академии художеств СССР.

вавшего отрядом против диких американцев, чтобы он достал ему череп тапуски. Тот приказал поймать на аркан молодого американца и прислал его с сими словами: «Череп трудно сыскать, но я вам посылаю живого человека, от коего вы можете получить совершенно непопортивший и неподложный череп». Когда Балк-Полев был принужден оставить Бразилию, тогда он его оставил Григорию Ивановичу — теперь он уж понимает португальски и говорит, — но на все вопросы, касающиеся до его родины, до обычаев и нравов его единосемцев, он не отвечает и представляется, как будто бы не понимает вопроса. Да и все негры, привезенные из внутренности Африки, ничего никогда не говорят о своем отечестве и видно, что им очень неприятно, когда станешь их о сем расспрашивать. Но что всего удивительнее, что негр, который хотя несколько знает португальский язык, свой совершенно оставляет; и далее с соотечественником своим предпочитает говорить худым, изломанным португальским языком, нежели на своем отечественном.

Замечательно также, что негры, находясь под игом жестокосердных португальцев, вместо того, чтобы составить меж собой тесный братский союз, живут в величайшей вражде между собой и радуются, когда единосемец их страждет. Но довольно о неграх, пора возвращаться на шлюп.

11 ноября 1817 года

Нынешний день был назначен посмотреть окрестности города и преимущественно водопад, называемый Тежуко. В 8-м часу утра мы отправились в город к Петру Петровичу Кильхену⁴⁷ (помощнику Г[ригория] Ив[ановича] Лангсдорфа), где нас ожидали верховые лошади, откуда поехали сначала к Григорию Ивановичу и оттуда пустились в дорогу. Сначала она была довольно хороша и даже несколько похожа на английское шоссе; по сторонам мелькали загородные домики, сады, обработанные поля, конечно, не столь прекрасные, каковы бы могли быть, если бы более было употреблено труда, но однако же, очень хороши, потому что всю красу получают от природного местоположения. На седьмой версте мы остановились в трактире, где отзавтракавши, пустились далее. Те, кои до сих пор ехали в колясках, были принуждены сесть на лошадей, и мы шагом, то карабкаясь на высокие горы, то спускаясь вниз в глубо-

кие ущелины, переходя вброд ручейки, добрались до уединенной хижинки одного плантера, который несколькими неграми обрабатывал кофейную плантацию. Оставив у него лошадей, мы пошли далее пешком, потому что здесь даже верхом нельзя было пробраться. Скоро мы услышали шум водопада, через четверть часа мы его увидели. Огромный гранитный утес навис над ним и составляет прекрасную противоположность с бисерною стеною воды, прорвавшую грудь каменного утеса и низвергающуюся с шумом в гранитный бассейн, собственной его силою вырытый, оттуда поднимается и вторично разливается с громом и шумом по отлогости гранитной скалы, после чего уже с ровностью и тихою струится по богатым кофейным и сахарным плантациям, кои оросив, благотворною волной изливается большим рукавом в беспредельное море.

Долго смотрел я на величественную и дикую природу. Что может быть прекраснее и обворожительнее простой природы?

*Nature! O séduisante et sublime dèesse!
Que tes traits sont divers! Tu fais naître dans moi
Ou les plus doux transport[s] ou etc...
Et du bruit des volcans épouvante le monde*⁴⁸.

Казалось, что еще нога человеческая сюда не проникала, но вот что-то светится во мраке пещеры, я подхожу ближе и вижу два каменных кивота.

Григорий Иванович рассказывал, когда они поставлены и что было поводом; когда французы в 1711 году взяли Рио-Жанейро⁴⁹, то здешний епископ, желая избегнуть мщения Дю и Труина⁵⁰, бежал во внутренность земли; тогда нашел по случаю сию пещеру, в коей скрывался во все время, будучи обезопасен, как от первого, так и от природных диких американцев, кои также до чрезвычайности ненавидели и ненавидят португальцев. В каменных кивотах, кои здесь еще остались, стояли образа; скамейка и стол, кои также высечены из камня, служили ему трапезою и, как повествует предание, есть дело рук его. На столе между множеством иностранных надписей мы нашли одну русскую, кою, по всей вероятности, написал кто-нибудь из офицеров с «Суворова»⁵¹ (земляк).

Отдохнув в тени пещеры, некоторые из нас пошли взбираться на крутизны гранитных скал, кои со всех сторон укрыва-

ют сие уединенное убежище. Прекрасные кофейные, банановые и пальмовые рощи манили нас к себе; мы спешили наверх, но редко досягали вершины. Большая часть трудилась понапрасну, иные думали уже достигнуть цель свою, прекрасные ананасы и кокосы манили нас к себе, но неосторожный шаг — и уже лежишь у водопада на голом палящем граните. Не то ли бывает с честолюбцами? Они уже думают достигнуть цель свою, имеют ее в руках, и чрез мгновение видят себя оные погруженными в прежнее состояние. От великого до смешного один шаг — говаривал Наполеон, когда он из повелителя вселенной сделался узником своих врагов.

Через несколько часов мы отправились назад. Пришедши к плантеру, мы оседлали лошадей и поехали в Рио-Жанейро, но, не зная настоящей дороги, мы сбились с пути, долго блуждали по узким, почти непроходимым тропинкам и с большим трудом выехали на настоящую дорогу. Удивительно, как здешние лошади цепки, — спускаясь с крутой гранитной скалы, они умеют малейшую неровность, малейший сучок обращать в свою пользу, и если случаются опасные места, то не надобно ими править, а предоставить им идти по собственному произволу. Выехавши на настоящую дорогу, мы вскоре прибыли в загородный трактир, где утром завтракали и где теперь ожидал нас вкусный обед. К ночи мы уже были в Рио-Жанейро. По всей дороге мы не видали ни одного селения, и кажется, их во всей Бразилии нет, или по крайней мере они очень редки, потому что около столицы они должны быть в большом количестве, ибо, находясь поблизости города, особливо же торгового, они имеют большую удобность сбывать свои грубые произведения, но здесь их совершенно нет и, исключая разбросанных плантаций, ничего не встречаешь. Кажется, что существование селений и деревень здесь не током что не необходимо, но даже излишне, ибо продукты, кои здесь производятся, требуют беспрестанного присутствия плантера (я говорю о сахарных плантациях, что же касается до кофейных, то за ними нет почти никакого присмотра), принуждают его жилище свое иметь посреди полей своих, что бы было невозможно, если бы они жили большими обществами. В таком случае поля бы их были бы удалены от них, и они по роду произведений при малейшей потере

времени могли бы претерпеть великий ущерб.

С недавнего времени благосостояние и население Бразилии начало приметным образом увеличиваться, и это с тех пор, как англичане перестали ввозить негров в свои колонии, и когда вся африканская торговля перешла в руки бразилианцев.

С тех пор число жителей в Рио-Жанейро увеличилось от 120 до 150 000 жителей и кофейные и сахарные плантации чрезвычайно умножились. 4 года тому назад вывозили из Рио-Жанейрской области токмо 4000 пудов кофею, а ныне вывоз простирается на 10 000 пудов и более.

В рассуждении добывания золота нет никаких перемен — оно производится на прежнем основании — мины⁵² отдаются частным людям на откуп, и в вознаграждение они обязаны короне отдавать пятую часть добываемого металла, что составляет ежегодно до 150 пудов. Но редкие занимаются добыванием золота, потому что прибыль, которую они получают, не бывает сообразна с издержками, кои на то употребляются, и большая часть предпочитает кофейные или сахарные плантации, как выгоднейшие. Мины находятся во внутренних частях земли на несколько дней езды. В Бразилии не находится золотых рудников, но золото добывается из земли, которая содержит в себе золотые частицы.

Вот три главнейшие отрасли внутренней грубой промышленности. Что же касается до фабрик и мануфактур, то их в Бразилии совершенно нет, а все привозится из Англии, и вся внешняя торговля всех владений португальцев в Америке находится преимущественно в руках англичан. Впрочем, и другие народы имеют право свободно торговать, и при нас находилось судно под русским флагом, пришедшее из Архангельска, с хлебом, доска[ми], парусин[ою] и стеклянною посуду. Американские суда также сюда заходят и торгуют большею частью мануфактурными произведениями. Не проходило дня, чтобы в здешнюю гавань не входило по несколько судов, и, кажется, ныне торговля Бразилии оживилась и производит с большею деятельностью, нежели прежде. Вот все, что я могу сказать о мануфактурах и торговле Бразилии, основываясь на словах людей, кои несколько лет живут здесь и видят постепенное увеличение благосостояния Бразилии. Что же касается до других отраслей государственных доходов, то они состоят, исключая из пошлин, наложенных на иностранные това-

ры, еще из 10-й доли недвижимого имущества при переходе его из одних рук в другие. С движимого же собирается $\frac{1}{3}$ токмо.

12 ноября

Нынешний день я ходил по городу — единственно с тем намерением, чтобы его рассмотреть. Был в некоторых церквях, но в них особенного великолетия не нашел. Они все почти готической архитектуры и внутри убраны без всякого вкуса; вместо образов у них стоят в церквях куклы в причлиных одеждах, изображающие святых, кои с большим блеском и великолепием носят по улицам, и в честь их днем и ночью пускают ракеты, кои покупаются на пожертвования и милость частных людей. Каждый день таскаются несколько человек по городу в особенных красных одеждах и просят под окнами милости для святых. Здесь внешнее богослужение гораздо великопнее, нежели думаешь, когда видишь безвкусие и даже бедность, которые находятся в церквях. Ныне хотят черных совершенно отделить от европейцев, и для сей причины для первых строятся церкви во имя св. Варвары (негра), ее начали строить 7 лет тому назад и токмо стены до половины подняты.

В монастырях я не имел случая быть, хотя их здесь великое множество. Самый богатый из них — Бенедикский, а самый древний — св. Севастьяна, по коему и самый город называется. Он стоит на горе и имеет с моря прекрасный вид, он состоит из двух высоких башен, выстроенных в готическом вкусе, и соединен меж собою строением, в коем находятся кельи монахов. (Это самое древнее здание в Бразилии.) Но, к сожалению, кажется, что со временем сей памятник древности, противоборствующий уже несколько веков все разрушающему времени, будет скрыт руками самих португальцев — он не допускает морскому воздуху проникать в город, отчего смертность в Рио-Жанейро очень велика, и несколько лет тому назад сделали предложение взорвать скалу, на коей он стоит, но король и все духовенство тому воспротивились. Впрочем, вероятно, благоразумие когда-нибудь победит пустую набожность.

Из женских монастырей здесь нет ни одного, который бы был отличен по своему богатству или древности, — в них очень трудно войти, и без особенного позволения короля разве токмо деньгами можно туда попасть.

Здесьнее адмиралтейство есть новое пре-

красное здание; оно стоит у гавани. В ней ныне производятся с большою деятельностью работы для бразильского флота⁵³, который, как кажется, не в таком худом состоянии, как думают. Мы видели на здешнем рейде несколько фрегатов и линейных кораблей, прекрасным образом вооруженных. Что же касается купеческого флота, то он в большом упадке, и ныне бразильские суда большею частью ходят токмо в американские порты и в Африку для торговли неграми. Я имел случай быть на последних. Там можно видеть все унижение человечества как со стороны притесненных несчастных негров, так и со стороны алчных, бесчеловечных португальцев.

Мы вошли на судно под предлогом купить попугаев. На первом, который уже несколько месяцев как пришел, мы никого не видали, он был совершенно разгружен, но там мы узнали, что в недавнем времени прибыли два судна с африканских берегов с невольниками. Нам их показали, и мы туда поехали. Выходим — и все, что себе можно вообразить отвратительнейшего, представляется глазам нашим.

Несчастные прокаженные (lepra americana) негры валяются везде и от боли стонут, другие с нетерпением и остервенением срывают у себя нарывы, вырывают с боли у себя мясо; по всему судну распространяется несносная, нестерпимая духота — везде нечистоты, неопрятность и нерадение португальцев видно. Они спокойно обедают (я был там в полдень), а недалеко от них несчастный, полумертвый негр мучится, стонет и, кажется, издает последний вздох. Мы желали скорее выйти из жилища бесчеловечья, но любопытство принудило нас остаться еще несколько времени на судне, чтобы видеть внутреннее его устройство. Оно разделяется, как наши суда, на 2 или 3 палубы. На сих палубах без всякого различия пола и возраста живут негры и негритянки. На верхнюю же палубу их выпускают по одиночке и, смотря по возрасту, с присмотром. Когда мы хотели знать, отчего ныне нет уже столь строгого присмотра и столько бесчеловечья, то они нам сказали⁵⁴: «Мы нашли за выгоднейшее вывозить детей; взрослых стараемся избегать, и когда уже нельзя избегнуть, то или содержим весьма строго в цепях, а пожилых не берем!»⁵⁵. Когда мы после сего спросили, отчего у него столько больных, то он нам сказал, что это происходит от перемены климата и образа жизни, ибо, привыкши быть всегда на свободном воздухе, они



М. Тиханов. Потомок перуанских инков, ныне находящийся в Лиме слугою у одного гишпанца, называемый Петром (1818). Музей Академии художеств СССР.

теперь заключены в душных и узких конурах, и еще во время перехода нашего множество принуждены бросать за борт; мы терпим также большой ущерб от здешней зимы, которая для негров весьма жестока (а для европейца не приметна). По сей причине мы стараемся сюда приходить весною, чтобы сбыть их с рук скорее (ибо в сие время их более покупают), и к зиме опять отправиться в море. На всех невольнических кораблях мы видели по крайней мере хотя одного европейца, который бы умел играть на каком-нибудь инструменте. Для здоровья заставляют негров плясать, сначала их к тому принуждают палками, но после они так распляшутся, что их опять палками же принуждены унимать. Я сам имел случай видеть пляску диких африканцев. Мужчины и женщины стоят в кучке без всякого порядка и скачат попеременно на одной ноге, кривляясь смешным образом; музыку им заменяет собственное их пение, коему они бьют ладонями в такт⁶⁶.

Из адмиралтейства я ходил по улицам, смотрел на учение солдат. Их в городе очень мало, и они, кажется, содержатся токмо для блеска. Город самый не имеет никаких укреплений, но защищается пятью крепостями, из коих главнейшая есть С[ан]та-Круц. Она стоит на правой стороне у входа, защищается несколькими батареями и составляет с другой крепостью С[ан]т[а]-Иоанн перекрестный огонь. Вообще город защищается множеством крепостей, как больших, так и малых, и так называемыми скрытыми батареями, кои при первом взгляде открываются, но кажется, что пушки с них сняты и они совершенно оставлены. Между прочим видел здешний водопровод, прекрасное и, может быть, самое красивейшее и полезнейшее здание во всем городе. Оно построено на образец лиссабонского, хотя и не столь гигиенически, как тот. В самом городе нет ни реки, ни колодца, но вся вода доставляется из окружающих гор посредством сего водопровода и распространяется по всему городу, где на главнейших площадях и улицах бьет в виде фонтанов. В большей части из них вода не слишком хороша — разве исключая водомета, который находится на площади против дворца, — здесь обыкновенно наливаются суда водою, и, как говорят мореходцы, она очень долго держится и не портится, хотя Кук и противного мнения.

Несмотря, однако, на все старания

правительства в снабжении города водою, бывают случаи, когда в оной совершенный недостаток и она покупается по весьма дорогой цене. Это происходит от засухи источников, из коих доставляется вода, по 6 месяцев здесь иногда не бывает дождей, но зато в другое время он уже идет в весьма большом количестве. 3 года тому назад шел дождь 96 дней не переставая.

Идя от водомета, находящегося на дворцовой площади, я увидел всю царскую фамилию и короля, который из загородного своего дома возвращался в город. Конные солдаты ехали за ним и перед ним — здесь при дворе, кажется, господствует более азиатская роскошь, нежели европейский вкус. Король, кажется, очень опечален известиями, кои он получил из Португалии, и от сей причины он на некоторое время отказал нам, и не прежде, как в понедельник, нас примет.

Гуляя по улицам, я часто заходил в лавки, кои весьма различны: иные богаты, в других же, напротив того, ничего нельзя найти. Золотых дел мастеров находится здесь весьма много, и лавки их по большей части очень богаты. Что же [касается] других произведений, в особенности сукна, то английские конторы их содержат, и их считается здесь 20 богатых домов. (Трактиры здешние очень худы, и голод может токмо принудить в них обедать, но зато кондитерские находятся здесь, кажется, в самой высшей степени совершенства. Конфеты, ликеры и варения, кои приготавливаются руками монахинь, прекрасны. Что же касается до фруктов, то они не имеют никакого вкуса. Вкус их гораздо слабее, и они все до чрезвычайности водяны.)

Но вот стало темнеть, скоро ударит 8 часов, и я спешу в театр. Сначала надобно спросить, где он, — и мне показали большое каменное строение с круглыми окнами и весьма похожее на тюрьму или амбар. Я сначала думал, что меня не поняли, но, видя множество людей, которые туда входили, я за ними последовал и, к удивлению своему, увидел, что я в самом деле в театре. Сегодня был бенефис первому здешнему балетчику, разумеется — французу. В самом деле он лучше всех танцевал, да и не мудрено — в безлюдии и Фома — дворянин. Балет самый не имел никакого содержания или, попросту сказать, был без смысла. В нем были черти, кои имели на себе инквизи-

торские одежды, нимфы с распухшими ногами (здешняя болезнь, которая происходит от рожи) и множество подобных несообразностей, как в игре, так в одежде и декорации, но что говорить о танцах, о игре, не мудрено — здесь нет театральной школы, но охотники на нем играют, от них нельзя ожидать что-нибудь особенно хорошего. Оркестр же здешний состоит из итальянцев, и хотя, как говорят, король великий знаток и охотник до музыки, но она не в весьма блестящем состоянии. И я, побывавши два раза в театре, закалялся уже более ходить.

Часу в 12-м кончилось представление. Вышедши на улицу, я, к удивлению моему, увидел всю неосторожность и небдительность здешней полиции: несколько мальчишек жгли посреди узких улиц всякую дрянь; пламя обнимало близ стоящие дома, и не было никого, кто бы их унял, — все проходили мимо, не обращая на сие никакого внимания. Вообще португальцы очень неосторожно обходятся с огнем, и удивительно, как при всем том у них так редки пожары и почти совершенно не случаются.

На площадях и на улицах валяются негры, из окошек выбрасывают всякую нечистоту, везде валяются окованные лошади, собаки, кошки, и по всему городу распространяется заразительный запах, который, как я уже выше упомянул, по причине скалы, на коей стоит монастырь св. Севастьяна, не очищается свежим морским ветром.

Забыл я упомянуть о здешнем университете. Это великолепная руина; на полуразвалившихся мраморных колоннах растут лавровые и миртовые деревья, разительная картина для живописи, разительная картина здешнего образования!

Исключая нескольких весьма худых школ, здесь и во всей Бразилии не находится никаких учебных заведений.

13 ноября

Сегодня был у нас на шлюпе капитан Гил со шлюпа «Цветка». Он прибыл сюда 3 дня тому назад, 11 ноября; в Сант-Сальвадоре простоял одни сутки, — следовательно, он 6 днями более нас был в море, хотя утверждал, когда мы с ним встретились в 8-ми градусах северной широты, что с муссонами он скорее нас дойдет.

19 ноября

В 8-м часу вечера представлялись все

офицеры с нашего шлюпа королю в загородном его доме, и мне капитан предложил туда ехать; но я был несколько нездоров, погода же была весьма худа, и я, сверх того, прежде видал короля. По возвращении я узнал от них, что за счастье увидеть бразильского короля во время аудиенции, которая продолжалась несколько минут, они претерпели множество неудовольствий⁵⁷.

Прежде нашего отхода я помещу еще некоторые замечания, кои я сделал и которых прежде не поместил. Когда мы перегружались, то случилась нам надобность некоторые вещи отправить на берег. Между прочим был ящик, который весил несколько пуд[ов]. Два наших матроса несли его с довольно великим усилием. Не желая изнурять своих людей, подозревая негров; их прибежало несколько человек, но каким образом не могли даже приподнять ящика. Видя свои усилия тщетными, они давали знать, чтобы сами приподняли. Когда это сделали, то один из них подлез под низ и с большею легкостью поднял весь груз на голову и понес его почти бегом. Все негры, как я после слышал, очень слабы в мышцах и до чрезвычайности сильны в головах — они носят на них величайшие тяжести и, когда дерутся, то стараются противопоставить голову, и удары, кои они ею дают, смертны. Их нанимают, как бандитов, для убийств, кои здесь весьма часты, до 150 человек находят умерщвленными в год, ревность есть здесь побудительнейшая причина для убийств, но чтобы грабили — тому еще не было примеров [...] ⁵⁸.

22 ноября

Три четверти первого, когда все дела и все счета были кончены, мы снялись с якоря и, пользуясь тихим ветерком от SSO и попутным течением, снялись с якоря и стали лавировать к проходу на S. Но так как весь залив окружен высокими горами, то и бывают в нем ветры и течение в разных направлениях и с разною силою (часто видно было у различных судов, как флаги развевались совершенно по другому направлению), что мы сами испытали, когда подошли к проходу, — ветер был другой. Капитан приказал положить марсели на стеньгу⁵⁹ и нас несло течением в море. Мы спустили шестерку и стали буксировать шлюп, но течение в 6 часов переменялось от SO, тогда бросили на глубину 14 сажен плехт [...] ⁶⁰.

Все сии недостатки и неудобства здешне-

го рейда, взятые вместе с дороговизною товаров и съестных припасов, и трудность, с каковою сопряжена доставка их на судно, наконец, нездоровый климат: днем величайшая жара, которую мы испытали, хотя и не были там во время больших жаров. В самом городе жара простиралась от 30° до 32° по реомюрову термометру, по вечерам была обыкновенно гроза, сопровождаемая проливным дождем, а к ночи падала крупная роса и термометр упал до 13°. Сия перемена температуры имела весьма вредное влияние на здоровье служителей — большая часть страдала кровавым [носом]. Все сие заставляет многих мореходцев предпочитать Сантакруцкий рейд на острове Св. Екатерины здешнему⁶¹.

Кажется даже, что само правительство не печется об удобствах для мореходства. Здесь нет даже порядочно обсерватории; нерадение здешнего астронома сделало то, что приходящие иностранные суда принуждены сами исправлять ход своих хронометров. Капитан для исправления наших избрал маленький гранитный островок, находящийся перед самим городом на S от крепости das Cabras. Сюда съезжал наш штурман Никифоров⁶² два раза в день (замечательно, что он совершенно не был на берегу, и даже в Портсмуте его принудили съехать).

Перу [8—18 февраля 1818]

Безветрие и противное течение принудило нас бросить якорь в довольно великом расстоянии от города Каллао, или, как испанцы его называют, Kalaia⁶³. Лишь только мы успели стать, как увидели к нам идущее гребное судно с крепости, — вскоре оно пристало и оттуда выползли несколько получеловеков, полунагие, дряхлые; они были посланы от коменданта крепости с тем, чтобы узнать, какое судно; и как нас сначала почли за инсургентов, то и прислали нам сих достойных потомков кастилянд [ких] пизарровых потому, что они не стоили труда быть взятыми. Когда мы узнали, что еще инсургенты не заняли Лиму, то к[апитан] послал тотчас офицера с бумагами⁶⁴ к вице-рою⁶⁵ и на другой день, лавируя малыми галсами, мы еще более приблизились к берегу и стали на плехте и верпе⁶⁶ на глубине 6 сажен, грунт ил, в версте от крепости.

В 1-й и 2-й день никто почти не съезжал — разве только по казенным надобностям, в сие время мы получали частые посещения от испанок и испанцев. Обращение

первых весьма непринужденно и даже вольно с мужчинами. Мы удивлялись, когда узнали, что они богатых и знатных фамилий, но впоследствии увидели, что в Перу с деньгами можно жить счастливее, нежели во всяком магометанском раю. От и до монахиньки, от молодой богатой девушки до безобразной старой негритянки нет женщины, которая бы не пожертвовала своей честью за горсть пиастров⁶⁷. Испанцы, как нам показалось, совершенно не так ревнивы, как мы об них думали, они очень хладнокровно смотрели на все, что [в] стороне ни происходило.

Между посетителями находился один, который говорил весьма чисто по-русски; он служил сначала у Баранова⁶⁸ на Ситхе⁶⁹, потом на амер[иканском] судне и был взят за смуглерство⁷⁰ испанцами. Он нам сказал, что еще двое природных русских живут в Лиме⁷¹.

В ожидании ответа от вице-роя время проходило, и мы с нетерпением ожидали минуты, когда можно будет съехать наконец. 10 февраля капитан и все офицеры были приглашены к столу. Мы отправились в жалких наемных каретах в Лиму. Я не буду описывать теперь ни Каллао, ни дорогу в Лиму. Все сие предоставляю на другой раз, когда с большим вниманием и не так поспешно буду проезжать сии места; и теперь токмо скажу два слова о приеме, который нам сделали.

Войдя во дворец, нас провели через несколько богато убранных комнат в приемную залу. Королева, женщина средних лет, несколько смуглая, сидела в богатой одежде на бархатных креслах. Возле нее сидел по правой стороне капитан наш, который несколько ранее приехал, а по левой оставалось пустое место. Кругом же сидели придворные. Занявши свои места, некоторое время продолжалось совершенное почти молчание. Соседи с...⁷² шептали, и изредка был слышен голос королевы. Через четверть часа отворилась дверь, и принцесса, дочь короля и супруга генерала...⁷³ Мартини, действующего в Хили против инсургентов⁷⁴, в сопровождении главного инквизитора — жирного монаха — вошли. Разговор стал живее. После нее из других дверей вошел в[ице]-король — высокий худощавый мужчина немолодых лет — уже седины показались на голове его, — он имел благородное и приятное лицо. Сказав несколько слов капитану на испанском языке (он другого не знает), он обратился к гл[авно-му] инквизитору и почти не переставая с ним говорил.

Don Joakim Pezuello⁷⁵, как я от многих слышал, несмотря на то, что весьма любим народом, почитается нерешительным и даже слабым, но часто мнение народа бывает ложно, и по рассмотрении поступков его — сего не видно. Он приехал в Америку 13 лет тому назад подполковником артиллерии. Вскоре он дослужился до высших чинов и по одержании двух сряду решительных побед над инсургентами он спас и Лиму и Перу. Сие самое принудило его назвать вице-королем. Он с достоинством поддерживает сан свой уже второй год, и ему одному, вероятно, Испания обязана тем, что Перу еще не во власти патриотов. Однажды возникло возмущение в самой Лиме, он самолично укротил его, и ныне для внутренней безопасности учрежден особый корпус европейских испанцев, полковником коего он сам.

Духовенство здешнее должно его ненавидеть потому, что он укротил самовластие и тиранство инквизиции; без его особенного позволения никого нельзя ввергнуть в руки монахов. Он, не называясь, есть глава церковного суда.

Сам король Фердинанд VII его не любит и желает давно его лишить достоинств, но он ему необходим. В Хили в скором времени должна произойти жестокая битва между патриотами и королевскими приверженцами. Если вторые [останутся] победителями, то [вице]-король лишается своего достоинства, ибо он не нужен; если первые, то Америка свободна, и кажется, что все желают сего. С кем я ни говорил, все недовольны королем, все желают переменить свое правление — сам J[o]akim в душе республиканец, и одна клятва принуждает его держаться стороны короля. Расположение свое к патриотам он показал тем, что всех тех, коих несчастье привело быть в плену, он содержит весьма хорошо, вопреки строгому и именному повелению Фердинанда VII, который приказал их предавать бесчеловечным мучениям инквизиции.

Но я уже слишком отступил от первоначального предмета, который начал описывать.

Поиграв еще четверть часа в молчанку, нас позвали обедать. Не представьте себе богатые приборы, золотые бокалы и пр., пр. Нет, хоть мы были в Перу, хоть мы были в Лиме, улицы коей некогда были мощены серебряными слитками, но все было так просто, даже так бедно: простые фаянсовые тарелки, обыкновенные хрустальные стаканы, блюда весьма дешевые, вина — нехо-

рошие, плоды — хотя и весьма различных родов и имевшие весьма великое достоинство за европейским столом — здесь не имеют никакой цены, потому что всякий мальчишка за украденный реал может их закупить вдоволь. После обеда, который кончился очень скоро, потому что здесь все блюда подаются на маленьких тарелочках и всякий берет какого хочет и как хочет...⁷⁶ жаркого или супа; после, посидев, мы встали из-за стола и через спальню королевы опять пришли в приемную, где было приготовлено кофе.

После того король вынул несколько цыгар и роздал их всем присутствующим (хоть лестнее было получить от короля цыгар, но гораздо приятнее из рук красавицы; все женщины в Лиме курят цыгары (трубки не употребляют), и имеющие хорошие груди носят их между ими. Я имел, не скажу счастье, но по крайней мере удовольствие, сам не знаю почему, получить одну).

Через полчаса он откланялся, и все разошлись.

Февраль

Город Каллао лежит на берегу морском совершенно открыто и защищается 3 крепостями, сам горд весьма нехорош. Дома построены из земли, большею частью одноэтажные, стекол нет, но так, как и в Рио-Жанейро, решетки; улицы неровные и весьма худо или даже совершенно немощеные. В сем не находят даже и нужды, потому что ни в Лиме, ни в Калла[o] дождей не бывает. Совершенная засуха делала бы страну сию необитаемою, если природа не вознаградила недостаток пресной воды тем, что в 15 испанских милях от Лимы идут беспрестанные дожди: вода, стекая с гор, орошает все низменности страны. В Каллао вода доставляется 3 подземными водопроводами или выдолбленными бревнами из одного болота. Мы их нашли совершенно запущенными, мутная вода текла каплями. Испанцы сказали, что так вода здесь всегда течет, но один из наших матрос[ов] сунул багор в отверстие, вытащил оттуда множество дряни, отчего вода пошла в большом количестве, и мы успели в 3 дня налиться водою — она начинает пахнуть и портиться, и Бог знает, что еще будет.

Публичных зданий в Каллао весьма мало, исключая одной весьма небогатой церкви и адмиралтейства, находящегося в совершенном почти бездействии, потому что нет флота; исключая двух фрегатов, которые блокировали Валпарейзо⁷⁷ и сюда пришли



конопатиться, нет ни одного судна, годного идти в море.

Выходя из города и перейдя площадь св. Марка, начинается широкая и прямая дорога, которая ведет прямо в Лиму. Сначала она идет через ровное поле, но после в левой руке открывается селение перуанцев; любопытство принудило меня туда завернуть. Постройка некоторых домов там, как и в Каллао; хижины беднейших сделаны из тростника, который растет в большом количестве по правой стороне дороги — во всех хижинах почти я заметил большую опрятность и чистоту, нежели у испанцев. Они трудолюбивее испанцев, что я слышал и что сам имел случай заметить, когда я входил в избу, то никогда их не видел праздными, а редкого испанца, который бы не спал, не курил или не пил. Перуанцы имеют все черные прямые волосы, которые они отращают; мужчины их свертывают в косы, а женщины их оставляют без всякого убранства [в отличие] от испанцев. Они от-

М. Тиханов. Водопад, находящийся в 20 верстах от Рио-Жанейро (1818). Музей Академии художеств СССР.

личаются еще цветом тела, который у них базане⁷⁸, и складом или физиономией лица, которое есть изображение самой доброты, меж тем как в чертах лица испанцев видно зверство; одежда их есть с малыми переменами, так же как и у бедных испанцев.

Проехав все селение, в коем на каждом шагу видна была бедность, я своротил опять на большую дорогу. Беспреданно встречающиеся кареты, верховые, пешеходцы и, наконец, многочисленные стада ослов с ношами уничтожали несколько единообразие дороги. На половине дороги находится в левой руке монастырь; подле него крест на каменном подножии, сооруженный в память ужасного разлития, бывшего здесь в 17 ...⁷⁹ году, на том самом месте, куда вода доходила.

Все пространство моря между материком и [островом] Св. Лорензы в короткое время осушилось, но ненадолго: нашла океанская волна, которая не тожко что наполнила тотчас сие пространство, но и поглотила и разрушила город Каллао. Все жители его погибли, исключая 40 человек; они спаслись на одной высокой башне, которая противостала силе разъяренных волн. Весь бывший здесь флот разбросало и разбило. От сей причины ныне [Каллао] есть незначущее малое местечко — в нем перестали селиться. И ныне, исключая некоторых купцов, 500 чел[овек] солдат, пленных инсургентов и преступников, назначенных для публичных работ, нет постоянных жителей. Если же ныне много было жителей в Каллао, то тому причиною здесь распространившаяся общественная болезнь, которую здесь называют чумою, моровою язвою (pesta). Самым лучшим предохранительным против ее средством почитают морские бани. От сего-то некоторые лимские жители приехали сюда лечиться. По другую сторону монастыря начинается сначала редкая, потом же довольно густая тополевая аллея, а не в дальнем расстоянии от города начинаются с обеих сторон сады, обнесенные высокою земляною стеною, которые продолжаютя вполне до самого города. У ворот меня встретил бродяга-монах, который, схватив лошадь за узду, совал мне в лицо распятие и показывал на карман. Дав ему реал, он меня пропустил.

Имеv уже в Лиме знакомых, коиx смекал прошлый раз, я прямо к ним и отправился; все иностранцы в чужой земле друзья, и потому не мудрено, если они нас приняли как нельзя лучше. Г-н Peytieux, родом из Швейцарии, проведенный почти всю жизнь свою в путешествиях, весьма образованный и ловкой человек, старался сколько возможно было сократить наше время. Он здесь также как путешественник, но, путешествуя один, не завися ни от кого, он не обязан оставить такую страну, как Перу, через 10 дней. Он остается на 2 или 3 года. Г-н Ayala — испанец, но мало похожий на своих соотечественников образом мыслей, обхождением и знаниями; он богатой и знатной фамилии, но лишился всего имущества своего от нынешних междоусобий; и, наконец, г-н Флейтч — суперкарьер⁸⁰ с английского конфискованного судна. Без них мы бы ничего не видели, и короткое время, которое мы провели в Перу, казалось бы нам слишком долгим; они везде с нами ходили, нам все показывали, сообщали нам свои замечания.

Г-н П[ейтье] показывал мне план [города] Лимы, сделанный одним итальянцем (все художники, ремесленники, весь производящий класс людей — иностранцы или природные перуанцы. Испанцы же — праздный народ, отягощающий несчастных индейцев своим самовластием). Если судить по сему плану, то Л[има] весьма обширна и весьма правильна, имея вид круга, город[ские] улицы все, исключая так называемого Старого города, прямые и пересекаются под прямым углом.

Одни идут от N к S, а другие — от W к O, но строения здешние столь же безобразны, как и в Каллао, и никак себе нельзя представить, чтобы город, имеющий такой величественный, такой прекрасный, столь обворожительный вид с моря, был бы в самом деле так нехорош, так беден, так малопривлекателен, — часто, что издали кажется хорошим, имеющим одни приятности, бывает худо и заключает в себе больше неприятностей. (Я не говорю о нашем путешествии.) Показав нам город, если можно сказать, с улиц, мы пожелали видеть приличные строения; в испанском католическом городе всего более монастырей, всего достопримечательнее — монастыри, всего богаче — монастыри, следовательно, мы просили, чтобы знатнейшие из них нам показали — их всех считается 15 мужских и 14 женских. Они большею частью все весьма богаты по причине пустой набожности испанцев и хитрости монахов. Мы были в некоторых мужских и женских монастырях. Везде алтари или колонны из массивного чистого серебра, везде богата позолота, везде богатые, но без всякого вкуса сделанные украшения. Монахи — про монахинь сие нельзя сказать, их содержат, по-видимому, весьма строго — ведут распутную в величайшей степени жизнь. Редкого монаха вы встретите в трактире без бутылки или без креолки. Сколько монахи здешние распутны, столько монахини суеверны. В монастыре св. Розы — покровительнице Лимы и в особенности всех прекрасных, нас встретила старушка монахинька, которая исправляла должность привратницы. Она нам показывала то, другое, наконец, подвела нас к мощ[ам], показывала кость из ее ноги, пучок волос, гвоздь, за который вешалась святая, чтобы не заснуть во время молитвы, показывала стул, на коем сидела святая, и, наконец, место, где росло лимонное дерево, за которое св. Роза вешалась во время молитвы и которое, примолвила она с кислым лицом, нечистая сила,

чертенюк с маленьким хвостом и большими рогами, ей в досаду жег. Выходя из могил, я спросил — отчего одежда у всех орденов монахинь одинакова. Мне г-н П[ейт]е заметил некоторые почти неприметные различия, и когда монахиня узнала предмет нашего разговора, то так горячо вступилась за одежду своего ордена; говорила, что она — красивейшая, стала мне описывать, какие у них юбки, тоги и пр., и, словом, рассуждала о платьях так хорошо, как *me le Beau* — модная торговка, французка на Кузнецком мосту в Москве.

По дороге мы зашли в кафедральную церковь, отличающуюся также особенным своим богатством и особенным своим безвкусием. Она, так как и монастыри и все высокие здания, построена из дерева и снаружи оштукатурена по причине частых землетрясений (одно довольно сильное случилось 2 дня пред нашим приходом), которые препятствуют строить каменные дома. Отсюда мы пошли в храм кающихся (*bêates*) женщин. Он был отворен. Я вошел и в самых дверях остановился от ужаса. Вы не поверите мне, если я вам скажу, что пол, стены, образа были покрыты еще свежее, не высохшее кровью. Я себе не мог вообразить, чтобы люди могли бы надеяться [на] очищение грехов не от добрых дел, не от раскаяния, а от мучения, от сокращения собственной жизни — не есть ли сие средство, чтоб очистить себя от преступления. Вот что делает святошество. Требует ли Вселюбви такой любви?

Когда мы вышли отсюда, то было уже 3 часа, и голод принуждал нас идти скорее в дом Филиппинской компании⁸¹, к директору оной г-ну Обадю⁸²; если заключать по нем (но по одному нельзя заключать о всех), то одна из добродетелей испанцев есть гостеприимство. Он нас принял с такою радушною, с таким добросердечием, как будто бы старых своих приятелей. За столом у него разговор более всего клонился к нынешнему состоянию Перу. На все вопросы он отвечал весьма удовлетворительно и без всякого пристрастия, что видно было из доводов, кои он приводил, и из того, что он иногда хвалил, иногда же и хулил учреждения правительства. Слабость Перу происходит от высокого мнения, каковое о себе, на могуществе коего, имеют испанцы. Большая масса народа уверена (и ее в противном убедить нельзя), что испанцы образованнейший и сильнейший народ, что малочисленные войска их непо[бе]димы, словом, что они первая нация. Сие высокое о себе мнение,

сие невежество токмо есть причиною, что в Лиме еще не развивается зная вольность. Если бы патриоты знали сие и сим воспользовались, то бы Перу давно подобно Буен[ос]-Аересу было свободно. Хотя правительство, когда оно еще имело всю свою силу, и старалось о распространении образования заведением школ, и еще ныне есть академия или университет, в котором экзаменуются кандидаты в духовное, медицинское звание и по правоведению, но что значат сии слабые средства в сравнении с теми непреодолимыми препятствиями, которые находятся в самом правительстве и народе. До тех пор, пока будет инквизиция и испанцы, Перу не переменится. В то время, как я заметил прежнее счастливое состояние сей страны под правлением инков, он мне сказал: «За вами стоит один из потомков **детей солнца**». Я оглянулся и увидел индейца-слугу, стоявшего за мною с тарелкою. «Как? Неужели?» — «Да, я вам говорю правду; отец своим развратным поведением лишился всего имени, а сын его, — индеец заметил, что о нем говорят, и отошел, — а тот присвокупил. Еще и ныне прочие индейцы ему отдают особенную почесть. Когда он идет на рынок, то все перед ним встают и ему кланяются, что не делают генералам, увешанным звездами».

Вставши из-за стола, мы пошли опять странствовать по городу; везде видно было множество народу. Я заметил г-ну Пейт[е], что Лима сообразно своей обширности и населена, но, к большому моему удивлению, услышал, что токмо около 55 до 60 000 жителей, и потому теперь их так много, что все оставляют дома и раб[от]у и иные идут в церковь, другие в кофейную «*Café du pont*»⁸³. Мы находились неподалеку от последнего места и потому не упустили случая зайти в оную, там можно получить истинное понятие о здешних испанцах. Там можно видеть все различные состояния монахов, купцов, солдат, ремесленников, все различные классы здесь собраны вместе, чтобы после безделья отдохнуть. Сюда приходит солдат выпить чашку кофе и посидеть за чаркою часа два; монах — поиграть в билиард; третий — чтобы заснуть подле окна у шума водопада. Сюда приходит вся Лима, чтобы убить время, потребовавши мороженого. Мы вышли, чтобы употребить остаток дня на обозрение некоторых мест, велели привести лошадей и поехали за город в Пантеон — место, огороженное стеною и разделенное на несколько особых отделений, на приходы,



П. Н. Михайлов. Вид горы Сент-Себастьян в Рио-Жанейро (1819).
Государственный Русский музей.

в конях хранятся тела умерших в особо сделанных печурках под номерами. Здесь тот, кто в состоянии дать 50 пиастров, похороняется на некоторое время, а кто дает 500, тот навсегда. Для детей сделано особенное место, а бедных зарывают просто, и даже простой крест не показывает места, где тела их покоятся. Посреди двора, усаженного миртами, находится небольшой, но красивый храм. Монах отворил нам дверь, и мы увидели в первый раз в Перу храм, убранный со вкусом. На простом, но красивом алтаре стоит стеклянный гроб; в нем лежит Спаситель во весь рост, окруженные стены украшены образами, писанными здешними художниками — природными индейцами. Темнота не позволила мне их рассмотреть. Отсюда не в дальнем расстоянии находится пороховой завод — обширное и весьма хорошо содержимое заведение. Оно разделяется на несколько особливых строений; здесь очищают селитру, там толкут порох, далее сушат его, — и во всем производстве виден большой порядок — до 40 бочонков изготавливается каждый день и большая часть его отправляется в Лиму. Из порохового завода мы отправились назад в «Café du pont» и при захождении солнца в вечерней прохладе пошли гулять по здешнему гульбищу. Их два: на первом мы

весьма мало встречали народу, и оно нас привело к одному довольно великолепно-му, но оставленному зданию. Нас принял старый португалец очень хорошо⁸⁴. Он старался удовлетворить наше любопытство: показывал нам весь дом или, как он его называл, дворец, сад совершенно запущенный, публичные купальни, сделанные из тростника, и, наконец, позволил нам взять несколько кистей винограду — в память.

Отсюда мы пошли на новое гульбище, лежащее по реке Римаку. На нем было еще менее народа. Мы шли некоторое время по стене, идущей по берегу реки, потом своротили и пошли по другой стороне, все было пусто. Я спросил г-на Пейттье, что неужели сии гульбища никогда более не посещаются? Но он мне заметил, что ныне великий пост, а что в обыкновенное время, особливо в карнавал, урюмость и дикость испанцев пропадают, и они предаются всем возможным удовольствиям и веселостям. Испанец во время поста и испанец во время карнавала суть два совершенно различные человека. Отсюда мы пошли в Rotonda, где бывает единоборство с быками, около 100 000 человек может

поместиться в ложах, они все весьма просто, исключая вице-роя и некоторых вельмож.

Стало темнеть, мы возвратились в «Caffé du pont», сели на лошадей и ночью были уже на шлюпе.

Желая быть во внутренности земли, я отпросился у капитана на два дня; он меня отпустил, и я сегодня утром отправился на берег; лошадь была готова, и я вскоре въехал в Лимские ворота, но далее куда ехать, я не знал. Я бродил по городу около двух часов, лошадь моя устала, палящий солнечный зной лишил ее всех сил. Я не знал, что делать, но, к счастью моему, я встретился с г-ном Ayala. В первом трактире я оставил свою лошадь, и мы пошли вместе с ним к г-ну Пейтте. Я ему сказал свое намерение — он согласился на мою просьбу, но так как было чрезвычайно жарко, то и отложили поездку до другого дня, а нынешний употребить на рассматривание некоторых публичных зданий. Дорогою к публичной темнице мы проходили площадь, находящуюся против кафедральной церкви. На ней бывает беспрестанный торг, и она вся покрыта соломенными лачужками. Кругом же ее находится довольно большое и правильное здание — гостинный двор или лавки. Он тем сходен с петербургским, что в обоих есть крытый ход; но какая разница — нет ни той чистоты, ни той величественной простоты. Все строение сделано из земли; мощено оно вместо плит мелким булыжником и ослиными зубами. Лавки все весьма бедны; в них большую часть продаются изображения святых. Прошед гостинный двор, мы подошли к темнице. Она составляет с дворцом, присутственными местами, церковью одно большое четырехугольное здание. Нас туда тотчас впустили. Мы вышли на большой двор, в коем находились преступники-убийцы. Они содержатся, по-видимому, весьма хорошо, пользуются всем, исключая свободу. Через двор мы вошли в особенный отдел, в коем содержится один из главнейших инсургентов дон...⁸⁵. Он 6 лет как здесь заключен, но он пользуется некоторою свободою. В продолжение своего плена он женился, имеет детей, и жена посещает его каждый день.

Меж тем становилось все жарче, мы спешили в «Caffé du pont», чтобы там провести самое несносное время, которое составляет большую часть дня, и это было причиною, что мы не дошли ни в арсенал, который весьма беден, ни на Монетный двор, славный большим количеством денег,

ежегодно выходящих. Ныне он пришел в упадок, богатейшие мины в руках инсургентов; из остальных же четырех две поглощены подземною водою и ныне чеканят токмо до 4 000 000 пиастр[ов], что делает 20 000 000 [рублей]. Прежде же сего выработывалось 8 миллионов.

Инквизицию мы также прошли — туда никого не пускают, и несчастен тот, кого туда позовут.

Солнце стало садиться, когда мы оставили «Caffé du pont», где, к большому моему удовольствию, я нашел некоторых из товарищей, кои также желали поехать в развалины перуанского города. Таким образом из 2 нас сделалось 7. Мы заказали лошадей и приготовились ехать завтра прежде восхода солнца.

Между тем вечером мы пошли гулять по улицам, желали зайти в театр, но в нем не играли по причине [великого] поста, но, впрочем, нас уверял суперкарго, что он хуже рию-жанейрского, а это много сказано! Вместо театра мы вошли в церковь св...⁸⁶. Все было тихо. Несколько испанцев стояли на коленях и руками били себя в грудь. Через несколько минут мы услышали удар колокола и некоторая часть молящихся ушла, потом другой, и все стали себя усерднее колотить и...⁸⁷. Третий — и совершенная темнота распространилась повсюду. И через несколько секунд мы услышали тихое пение *Misere Dei*, сопровождаемое ударами. Некоторые из кающихся себя так били, что они уже не пели, а кричали. Я не знаю, что со мною было; один посреди обширной церкви, в совершенной темноте, окруженный фанатиками — и слышать этот пронзительный стон и свист от ударов дисциплины⁸⁸; я был рад, когда огонь показался, и 1/4 часа мне показались веком. Вышед из церкви, мне казалось, что я вышел из...⁸⁹. Сколько мне неприятны были син 1/4 [часа], столько смешны мне они после казались.

Ужинать мы пошли в тракт[ир] «Cavalo blanco»⁹⁰, где оставили своих лошадей, — это лучший во всем городе, но надобно быть испанцем или чрезвычайно голодным, чтобы решиться туда зайти.

К ночи мы все разбрелись, иные остались ночевать в трактире, а я пошел к г-ну Пейтте, где, отдохнувши, на другой день мы пошли в «Caffé du pont», выпили по чашке шоколада и отправились в дорогу.

Сначала она шла узенькою тропинкою между кустарниками и вдоль реки Римака. Сахарный завод был виден в левой руке —

одно токмо строение за городом; впрочем, все было пусто. Наконец тропинка потерялась, и мы держались вдоль реки, часто были принуждены переезжать ее вброд и, наконец, через час добрались до хребта Корделиеров. Высокие горы возвышались одна над другою. Частые землетрясения раздробили гранит, из коего они состоят, и они представляют на свет из огромных (большую частью правильную фигуру имеющих) кусков гранита. Излучистая тропинка ведет через них, часто идет она подле крутизны. Голова кружится, как взглянешь в ту пропасть, где протекает Римак и...⁹¹ почти под ногами стада ламов кажутся одною едва приметною точкою. Проехавши первый хребет, мы спустились в обширную долину, горы со всех сторон окружали ее. Не было видно ни одного зеленого кусточка, все было пусто, все был настоящий гранит.

Наконец мы проехали ее, и другой хребет, выше первого, находился пред нами. Нам надобно было на него подняться. Хотя лошади были изнурены ужасным жаром, каждый лишний час, который бы мы здесь провели, более и более бы их изнурил. Итак, мы, перекрестясь, пустились далее.

Доселе бывшие совершенно пустые места, на коих не было и видно следа человеческого, исчезали. В ущелинах гор проглядывали строения. Приближаемся ближе и видим обрушившиеся укрепления, коих перуанцы делали против горсти сподвижников Пизарровых⁹². Если судить по ним, то видно, что древние перуанцы были народ образованный и имевший также довольно большое понятие о укреплен[ии] мест. Крепос[ти] сии защищают все проходы во внутренность земли, и они расположены так, что одна может вспомоществовать другой. Сами же они сделаны из весьма твердой земли, довольно высоки и смотря по важности защищаемого места — обширны. Иные из них построены в три яруса, один менее другого, и столь сии здания крепки, что ни оружие испанцев, ни время не могли искоренить их. Страх огнестрельного оружия принудил их бежать и оставить отечество свое алчным и сребролюбивым фанатикам, кои с огнем и мечом проповедовали христианскую веру. И многочисленный образова[нный] богатый народ исчез. Потомки его живут в рабстве и унижении или скитаются с рассеянными семействами на горах Кордельерских].

Мы видели одно такое семейство; палатка раскинута близ ручья на холмике, зеленого, как островок, среди песчаного

моря, два или три банановых дерева широкими листьями своими скрывали их от палящих лучей солнца. Лошадь, несколько бедных утварей составляло все их богатство. Дети играли поодаль, подле столба, на коем к железной решетке был прибит череп человека, который лишился жизни своей постыдным образом, хотевши сделать родителей их, их самих и потомков свободными.

Один негр (имя его забыл) предпринял отважный подвиг — избавить Перу от владычества испанцев. Уже он собрал под знамена свои многих недовольных, уже гора свободных (так называлось неприступное жилище его и войск его) угрожала Лиме. Но один неосторожной поступок его — и все исчезло. Он один тайным образом отправился в Лиму, но, к несчастью, был узан, схвачен и повешен, и теперь голова его стоит на большой дороге; всякий едущий из прочих стран Америки должен [ехать] мимо сего места. Не знаю, какую цель имело правительство, — неужели оно думает устрашить сим народ; мне кажется, что при сем виде еще более может воспламениться любовь к свободе. Преступник возбужда[ет] отвращение, но не благодетель народа.

Ехавши еще некоторое время, мы очутились на другой стороне хребта, вдаль видно было в лощине, покрытой густою зеленью, строение. Мы спешили скорее доехать до оного, потому что как мы, так и лошади наши были утомлены.

Нас принял очень хорошо хозяин. Ayala был ему знаком, следст[венно], мы у него расположились как дома; отдохнувши с полчаса, мы поехали далее. Вскоре оставили лошину за собой и выехали опять в песчаные места. Дорога шла излучинами между горами, все было пусто, одни оставленные укрепления показывали, что здесь некогда были люди. Наконец показались вдаль развалины города. Мы поехали скорее — и вот мы уже пред дворцом касика⁹³ — огромные земляные глыбы, расположенные правильным образом, показывают место, где он стоял. Некоторые другие строения лучше сохранились — по ним можно еще с помощью человека, знающего древности перуанские, несколько судить об архитектуре перуанцев. Видно, что дома их разделены были на три яруса, из коих последний был под землею.

В верхнем хранили они жизненные припасы, в среднем сами жили, а в нижнем, наконец, погребали мертвых, что можно заключить из того, что в каждом доме

находят мумий (впрочем, не искусственных, а сама земля имеет здесь свойство сохранять тела от тления), завернутых в хлопчатую бумагу и род полотна, что мы сами видели. Двери у них были неправильных фигур и закладывались на ночь камнями. О прочих частях домов не могу более ничего сказать, как разве исключая того, что они все построены из земли, — все правильные квадраты, и стены, коими один дом кончается, служит другому началом. Из всех зданий более всего сохранился храм — четверугольное продолговатое здание, весьма обширное и находящееся на пригорке. Паперть, состоящая из 20 или 30 ступеней, совершенно сохранилась так, как и находящиеся позади пещеры. В одну из них я спускался, она есть не что иное, как яма, имеющая сверху весьма узкое отверстие — в толщину человека, внутри же довольно просторно. Их было три — отделенные между собою весьма тонкими земляными перегородками и имеющие между собой в самом низу сообщение чрез отверстие, в кое токмо рука может пройти. Сверху они покрыты таким весьма тонким слоем земли, но столь крепким, что по ним ехали и они даже не осыпались. Жрецы после жертвоприношений ставили в них священные сосуды.

Поездивши еще некоторое время по улицам сего города, мы выехали на зеленый луг, где паслись лошади. Оттуда мы выехали на ручеек, чуть-чуть журчащий между травой; высокие, крутые берега показывали, что здесь протекала некогда судоходная река.

Выехавши на большую дорогу, мы скоро остановились у нашего нового знакомого, где, приправив обед наш несколькими бутылками хорошего вина, мы через четыре часа поехали домой. Когда мы обе цепи гор переехали и находились у берегов Римака, мы вздумали ехать вдоль реки против течения, думая что-нибудь новое встретить. Но наш выбор был весьма неудачен, дорога весьма худа, беспрестанно мы были принуждены въезжать и переезжать реку и в одном случае, когда пере-

ехали реку, у одного из нас лошадь, хотевшая скакнуть на берег, бывший в том месте довольно высок и крут, обрушилась и вместе с седоком в воду. Но, к счастью, сие происшествие кончилось одним смехом.

Стало смеркаться, как мы въехали в Лиму, но так как лошади весьма устали, то мы им дали часа два отдыха, а сами гуляли по городу. Мы услышали на одной площади музыку, пошли туда и увидели множество народу, которые гуляли по площади, пили прохладительные напитки, и пришлось здесь провести время. Музыка же была перед дворцом — там сменяли караул. Сменявшиеся пошли с барабанным боем и в порядке, неся перед собою на высокой палке фонарь, на коем с одной стороны было написано: «Jesús Cristus», с другой стороны: «Ave Maria», с третьей и четвертой — не помню.

Потом мы возвратились опять в «Caffé du pont», приказали оседлать лошадей и хотели ехать. Но нас сами испанцы не хотели отпустить. Множество народу к нам приступили и стали уговаривать, чтоб мы остались, чтоб мы не ехали, потому что дорога весьма опасна и недавно одного американского жителя убили. Но когда они увидели, что мы непреклонны, они нас снабдили саблями и немало удивлялись, что мы отважились ехать.

Мы приехали в Каллао без особых приключений ночью. Все ялики были отведены от пристани несколько поодаль, где стояли на якоре. Караульный офицер, исправлявший, как кажется, должность таможенного, смотрел на нас с большим вниманием⁹⁴, не имеем ли мы чего с собой, увидел у одного узел, посмотрел его, но скорее отворотился и прочел «Pater noster» и «Ave Maria» — то был череп перуанца, который мы нашли между строениями в...⁹⁵ Офицер приказал мальчишке...⁹⁶ в воду и привести судно. Мы сели и, наконец, возвратились на шлюп. Тут уже все было готово к отходу и завтра...⁹⁷ был назначен⁹⁸.

К 10 часам утра все дела были кончены, и мы, салютовав крепости 7 выстрелами, вступили под паруса.

ПРИМЕЧАНИЯ

Я. К. Грот, Материалы к биографии Ф. Ф. Матюшкина. Рукописный отдел ИРЛИ. Архив Я. К. Грота, 16034, сб. 1, л. 2.

² Подробнее см. нашу статью: «Журнал Ф. Ф. Матюшкина — памятник пушкинской поры». В кн.: Л. А. Шур, К берегам Нового Света. М., 1971, стр. 14—26.

³ П. В. Анненков, Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина. В кн.: А. С. Пушкин, Сочинения, т. I. СПб., 1855, стр. 165.

⁴ См.: М. А. Цявловский, Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. М., 1951, стр. 128, 739.

⁵ Я. К. Грот, Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб., 1887, стр. 103.

⁶ Там же, стр. 102—103.

⁷ Я. К. Грот, Пушкинский лицей. СПб., 1911, стр. 25—29.

⁸ Там же, стр. 25.

⁹ Н. Гастфрейнд, Товарищи Пушкина по Царскосельскому лицей, т. II, СПб., 1912, стр. 14.

¹⁰ Сентиментальное путешествие по морю (франц.).

¹¹ Н. Гастфрейнд, Товарищи Пушкина по Царскосельскому лицей, стр. 23.

¹² Там же, стр. 17.

¹³ См.: А. И. Андреев, Новые материалы о русских плаваниях и открытиях в Северном Ледовитом и Тихом океанах в XVIII—XIX веках. «Известия Всес. географического общества», 1943, т. 75, вып. 5-й, стр. 35.

¹⁴ См.: А. Н. Михайлова, Рукописные материалы по истории русского военноморского флота. «Морской сборник», 1946, № 8—9, стр. 118.

¹⁵ См.: В. В. Данилов, Документальные материалы об А. С. Пушкине. Краткое описание. В кн.: Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского дома, вып. VI. М.—Л., 1956, стр. 61—62.

¹⁶ См.: Ф. П. Врангель. Путешествие по северным берегам Сибири и Ледовитому морю... М., 1948, стр. 349—407.

¹⁷ См.: В. Н. Комиссаров, Заметки о Латинской Америке в «Журнале» Ф. Ф. Матюшкина. «Вестник ЛГУ», 1962, № 2, стр. 165—166.

¹⁸ См.: Л. А. Шур, Россия и Латинская Америка. М., 1964, стр. 54—55; он же, Бразилия и Перу эпохи войны за независимость в неопубликованном дневнике Ф. Ф. Матюшкина. «Латинская Америка», 1971, № 1.

¹⁹ «Полярная звезда» на 1824 год, стр. 224—225.

²⁰ «Полярная звезда» на 1823 год, стр. 39.

²¹ «Полярная звезда» на 1824 год, стр. 14.

²² В. М. Головин, Путешествие вокруг света... на военном шлюпе «Камчатка» в 1817, 1818, 1819 годах. М., 1965, стр. 41.

²³ Ю. Давыдов, В моря и странствиях, стр. 69.

²⁴ Там же, стр. 71.

²⁵ Там же, стр. 153. Ср.: В. Пасецкий, Вперед — неизвестность пути. М., 1969, стр. 135—136.

²⁶ Л. А. Шур, К берегам Нового Света. М., 1971, стр. 24.

²⁷ Там же.

²⁸ Точный маршрут «Камчатки»: Кронштадт — Копенгаген — Портсмут — Рио-де-Жанейро — Кальяс — Петропавловск — на Камчатке — о. Кадьяк — Ново-Архангельск — Монтерей — Бодега (залив Румянцова) — Гавайские острова — о. Гуам — Манила (Филиппинские острова) — о. Святой Елены — о. Вознесения — о. Файал — Портсмут — Копенгаген — Кронштадт.

²⁹ Рукописный отдел ИРЛИ. Ф. 93, оп. 2, д. 161,

лл. 7—7 об., 24—32, 44—60, 116—116 об. Автограф.

³⁰ Головин Василий Михайлович (1776—1831) — выдающийся русский мореплаватель, вице-адмирал. Совершил два кругосветных путешествия. Автор многих книг. Был близок к кругам декабристов.

³¹ Обращение к матери. После окончания лицея и перед отправлением в кругосветное путешествие Матюшкин побывал в Москве у матери.

³² Энгельгардт Егор Антонович (1775—1862) — писатель и педагог, директор Царскосельского лицея.

³³ Две строки (с искажением) из «Прощальной песни воспитанников Царскосельского лицея» А. А. Дельвига.

Шесть лет промчались, как мечтание,
В объятиях сладкой тишины,
И уж отчества призванье
Гремит нам: шествуйте, сыны!
Простимся, братья! Руку в руку!
Обнимемся в последний раз!
Судьба на вечную разлuku,
Быть может, породнила нас!
(«Сын отчества», 1817, т. 38, № 26, стр. 261.)

³⁴ Принц дон Педро де Алкантара (Pedro de Alcantara (1798—1834) — сын португальского короля Жуана VI. С 1822 года, после провозглашения независимости Бразилии, император дон Педро I.

³⁵ Das Cabras — крепость на Козьем острове (das Cabras) при входе в залив Рио-де-Жанейро.

³⁶ Фертоинг — способ постановки корабля на двух якорях, когда корабль при всех разворотах находится между якорями. Применяется при сильных приливах и отливах, переменных ветрах.

³⁷ Плехт — правый становой якорь. Даглист (дагликс) — левый становой якорь.

³⁸ Лаг — ряд бочек, уложенных в трюме корабля.

³⁹ Лангсдорф Григорий Иванович (1774 — 1852) — русский ученый-натуралист, академик. Участвовал в первой русской кругосветной экспедиции И. Ф. Крузенштерна (1803 — 1806). С 1812 года русский генеральный консул в Рио-де-Жанейро. В 1821—1828 годах возглавлял русскую комплексную экспедицию, которая обследовала обширные районы Бразилии и провела значительные географические, биологические и этнографические исследования.

⁴⁰ Лангсдорф Фредерика Федоровна (Фредерика Луиза, 1791 — 1842) — первая жена Г. И. Лангсдорфа.

⁴¹ Шуберт Федор Иванович (1758—1825) — русский астроном, академик.

⁴² Фишер Федор Богданович (1782 — 1854) — русский ботаник, академик, был управляющим ботаническим садом графа А. Разумовского в Горенках близ Москвы. С 1823 года директор Ботанического сада в Санкт-Петербурге.

⁴³ Торговля неграми в Бразилии велась начиная с XVI века. В начале XIX века в Бразилию привозили ежегодно около 40 тысяч африканских негров. В 1815 и 1817 годах португальский король Жуан VI подписал с Англией соглашения об ограничении работорговли, но они не выполнялись. Напуганные этими соглашениями, плантаторы спешили приобрести новых рабов, и поэтому ввоз негров-рабов в Бразилию в первой четверти XIX века увеличился. Рабство в Бразилии было отменено в 1888 году.

⁴⁴ Valongo — улица в Рио-де-Жанейро, где была сосредоточена торговля неграми.

⁴⁵ В 1807 году принц-регент Португалии дон Жуан, спасаясь от наполеоновских войск, бежал со своим двором и частью армии в Бразилию. Пребывание португальского двора в Рио-де-Жанейро привело к необходимости проведения ряда экономических и административных реформ.

Бразильские порты были открыты для торговли с другими странами, был основан Бразильский банк, изданы законы, поощряющие иммиграцию, и т. п. В Рио-де-Жанейро стали издаваться газеты и журналы, были основаны театр, национальный музей, ботанический сад и др. В декабре 1815 года было объявлено о создании объединенного королевства Португалии, Бразилии и Алгарвы. Бразилия из колонии стала королевством на равных правах с Португалией. В 1816 году, после смерти королевы Марии I, принц-регент стал королем Португалии, Бразилии и Алгарвы под именем Жуана VI.

^{46a} Имеется в виду, очевидно, одно из племен бразильских индейцев тупи-гуарани.

⁴⁶ Балк-Полев Петр Федорович (1777 — 1849) — русский дипломат, в 1815—1817 годах посланник при португальском дворе в Рио-де-Жанейро. Был близко знаком со многими русскими писателями — Жуковским, Вяземским и др. Поэт-романтик И. И. Козлов в стихотворении «К П. Ф. Балк-Полеву» писал, в частности, о том, что Балк-Полев был пленен «красой Бразилии изумрудной».

⁴⁷ Кильхен Петр Петрович (1796-97 — 1851) — российский вице-консул в Рио-де-Жанейро. Родился в Петербурге, окончил коммерческое училище, затем был с тремя другими выпускниками послан в Бразилию к Г. И. Лангсдорфу. В 1818 году назначен вице-консулом.

⁴⁸ Природа! О пленительная, величественная богиня. Сколь разнообразны твои черты! Ты рождаешь во мне то самый сладостный экстаз, то и т. д. И шум вулканов, устрашающий мир. (Франц.)

Отрывок из поэмы «Сельский житель, или Французские Георгики» (1800) французского поэта Жака Делиля (1738—1813), мастера описательной поэзии, творчество которого отмечено чертами предромантизма. В начале XIX века произведения Ж. Делиля пользо-

вались широкой известностью в России и переводились на русский язык.

⁴⁹ В 1711 году, во время войны за испанское наследство, французская эскадра под командованием Р. Дюгэ-Труена захватила и разграбила Рио-де-Жанейро. После получения выкупа французы ушли из города.

⁵⁰ Дю и Труина — правильно Дюгэ-Труен Рене (Duguay Trouin Rene) (1673 — 1736) — французский мореплаватель и корсар, участник многих морских сражений, автор мемуаров.

⁵¹ Корабль «Суворов» в эти годы побывал в Рио-де-Жанейро дважды: в апреле — мае 1814 года (кругосветное плавание М. П. Лазарева) и в декабре 1816 — январе 1817 года (кругосветное плавание З. И. Панафидина), то есть незадолго до прихода в Рио-де-Жанейро «Камчатки».

⁵² Мины (от порт. mina — шахта) — рудники, где добываются золото, серебро и т. п.

⁵³ В. М. Головин был другого мнения. Он писал: «Что же принадлежит то морских снарядов, то оные хотя здесь и есть, но мало и очень дороги; и починка судов должна быть медленной и крайне затруднительна... Здесь же в арсенале почти ничего нет: я исходил его во всех направлениях и, кроме нескольких старых мачт и полусгнивших под золотом королевских галер, ничего не видал» (В. М. Головин, Путешествие вокруг света, совершенное на военном шлюпе «Камчатка» в 1817, 1818 и 1819 годах. М., 1965, стр. 49).

⁵⁴ Далее зачеркнуто: «с совершенным хладнокровием».

⁵⁵ «Не берем» надписано над зачеркнутым: «умерщвляем». Далее зачеркнуто: «вот благородные чувства португальцев. Что может сделать корыстолюбие».

⁵⁶ «Принуждены бросать за борт... бьют ладонями в такт» записано автором на отдельном листке малого формата, который, очевидно, был первоначально подклеен в соответствующем

месте «Журнала». При переплете по ошибке он попал в другой раздел (л. 116—116 об.). Установлено по письму Ф. Ф. Матюшкина Е. А. Энгельгардту от 13 июня 1818 г. (Отдел рукописей ГПБ, ф. 543. (Собр. Ольденбургского), д. 1, л. 23 об.—24).

⁵⁷ Ф. П. Литке в своем дневнике подробно описал свои впечатления от аудиенции у Жуана VI. «Каков поп, таков и приход», — писал Ф. П. Литке, — пословица сия весьма идет к португальскому двору: маловажность короля отпечатывается во всем его окружающем; не говоря уже о загородном дворце его, который столько же походит на дворец, как наш Зимний дворец на курную избу, все прочее сожаления достойно. Глядя на придворных его, представилось мне, будто я в каком-нибудь губернском правлении и вижу подьячих...» (Л. А. Шур. К берегам Нового Света, стр. 105.)

⁵⁸ Опущена таблица цен в Рио-де-Жанейро.

⁵⁹ Марсель — второй снизу парус на парусных судах с прямым вооружением. Стеньга — рангоутное дерево, продолжающее мачту в высоту. Стеньга в зависимости от ее принадлежности к той или иной мачте принимает название своей мачты, например: грот-стенгга, грот-брам-стенгга и т. д.

⁶⁰ Опущено описание рейда Рио-де-Жанейро.

⁶¹ В. М. Головин, более сведущий в мореходстве, чем Ф. Ф. Матюшкин, по-другому оценивал достоинства стоянки судов в Рио-де-Жанейро и отмечал, что из всех пристаней Южной Америки «Рио-Жанейро, бесспорно, есть самая лучшая» (В. М. Головин, указ. соч., стр. 47).

⁶² Никифоров Григорий Иванович (ум. в 1853 году) — русский мореплаватель, известный штурман, участник двух кругосветных экспедиций — на шлюпе «Камчатка» и на шлюпе «Аполлон» (1821—1824 гг.).

⁶³ Правильно: Callao — Кальяо.

⁶⁴ Когда «Камчатка» находилась в Рио-де-Жанейро, испанский посланник при португальском дворе граф Каса Флорес обратился к В. М. Головину с просьбой доставить перуанскому вице-королю в Лиму важные донесения, в которых сообщалось о действиях португальской армии в Уругвае. В 1810 году в Уругвае началось народное восстание против испанских колонизаторов под руководством Хосе Артигаса, в 1814 году была провозглашена независимость страны. В 1816—1817 годах территория Уругвая была захвачена португальскими войсками, против чего протестовало испанское правительство, по-прежнему считая всю территорию Рио-де-ла-Платы своими колониальными владениями.

⁶⁵ Вице-рой (от испан. *viserey*) — вице-король, глава испанской колониальной администрации. Владения Испании в Америке к концу XVIII века были разделены на вице-королевства Новая Испания, Новая Гранада, Перу и Рио-де-ла-Плата.

⁶⁶ Верп — вспомогательный судовой якорь, весом в три раза меньше станového (основного) якоря. Широко использовался на парусных судах в безветрие при выходе из порта, из мелководного района. Верп завалился на больших шлюпах — баркасах.

⁶⁷ Далее зачеркнуто: «разговаривал со здешними красавицами — не мудрено, они так хороши, так привлекательны».

Пиастр (испан. *piastra* от итал. *pietra d'argento* — плитка серебра) — название старинной испанской серебряной монеты. В начале XIX века один пиастр равнялся пяти рублям серебром.

⁶⁸ Баранов Александр Андреевич (1746—1819) — один из первых исследователей Русской Америки. В 1790—1799 годах управляющий Северо-Восточной компанией Г. И. Шелехова, затем главный правитель Российско-Американской компании (до 1818 года).

⁶⁹ Ситха (Ситка) — поселение и крепость на ост-

рове Баранова у побережья Аляски. Основано в 1799 году как административный центр Русской Америки. С 1804 года переименовано в Ново-Архангельск.

⁷⁰ Смуглерство (от нем. *schmuggel*) — контрабанда.

⁷¹ Далее зачеркнуто: «и там один из лучших плотников Белоусов».

⁷² Не разобрано одно слово.

⁷³ Не разобрано одно слово.

⁷⁴ В то время, когда Ф. Матюшкин попал в Лиму, в Испанской Америке уже почти восемь лет шла война за независимость против испанского колониального владычества (1810—1826). В 1816—1817 годах началось наступление революционных сил (инсургентов, как называют патриотов в своем «Журнале» Ф. Матюшкин) в Южной Америке, которое привело их к победе во всех бывших испанских колониях в Америке. В начале 1817 года аргентинская армия под начальством Сан-Мартина совершила переход через Анды и 12 февраля разгромила испанские войска в долине Чакабуко. 14 февраля армия Сан-Мартина захватила столицу Чили Сант-Яго. Это случилось за несколько дней до ухода «Камчатки» из Кальяо. Перу на протяжении всей войны за независимость было оплотом роялистов, но и здесь уже было неспокойно, что и отразилось в дневнике Матюшкина.

⁷⁵ Песуэла Хоакин (Pezuela Joaquín) (1761—1830) — испанский генерал, один из руководителей роялистов в Южной Америке во время войны за независимость. В 1815 году испанские войска под его командой нанесли поражение повстанцам, за что Песуэла получил титул маркиза. В 1816 году был назначен вице-королем Перу. В 1821 году смещен с этого поста и вернулся в Испанию.

⁷⁶ Не разобраны два слова.

⁷⁷ Валпарейзо (Val-

paraiso) — Вальпараисо, порт в Чили.

⁷⁸ Bazane (прав. basané, франц.) — смуглый.

⁷⁹ Так в рукописи.

⁸⁰ Суперкарг (супер-карго) ведал погрузкой и разгрузкой корабля и расчетами с поставщиками за товары. Обычно суперкарг являлся вторым помощником капитана. На русских судах иногда назывался приказчиком.

⁸¹ Филиппинская компания осуществляла монопольную торговлю Филиппинских островов, которые в то время принадлежали Испании, с метрополией и Испанской Америкой.

⁸² Обадьо, прав. Абадиа (Abadia Pedro le) — представитель Филиппинской компании в Лиме. Он обычно снабжал необходимыми припасами русские корабли, заходившие в Кальяо.

⁸³ «Caffé du pont» (франц., искаж.) — «Кафе на мосту».

⁸⁴ Далее зачеркнуто: «и повел гулять».

⁸⁵ Пропуск в тексте.

⁸⁶ Пропуск в тексте.

⁸⁷ Не разобрано одно слово.

⁸⁸ Дисциплина — плетка.

⁸⁹ Пропуск в тексте.

⁹⁰ Cavallo blanco (испан., искаж. Caballo blanco) — белая лошадь.

⁹¹ Не разобрано одно слово.

⁹² Писарро Франсиско (Pizarro Francisco) (1471—1541) — испанский конкистадор, в 1533—1534 годах с небольшим отрядом испанцев завоевал

Перу, уничтожив государство инков.

⁹³ Касик (casique, испан.) — вождь, предводитель индейцев.

⁹⁴ «Причиной тому были дела Гагемейстера, который контрабандировал» (примеч. Ф. Ф. Матюшкина). Гагемейстер Леонтий Андрианович (1780—1834) — русский мореплаватель. В 1816 — 1819 годах совершил кругосветное путешествие, командуя кораблями «Кутузов» и «Суворов». Корабли Л. А. Гагемейстера были в Кальяо за восемь месяцев до прихода в этот порт «Камчатки».

⁹⁵ Пропуск в тексте.

⁹⁶ Не разобрано одно слово.

⁹⁷ Не разобрано слово.

⁹⁸ Далее зачеркнуто: «к отходу. Нас посетил Абадиа, суперарго, прочие назначенные не приехали. Кончивши все ра[боты]...»

Яков Кумок

Первое открытие, первая любовь Ивана Губкина

Недавно научная общественность нашей страны отметила 100-летие со дня рождения основоположника нефтяной геологии академика И. М. Губкина. Публикуемый очерк раскрывает малоизвестные страницы жизни замечательного ученого.

Полевые, или, как прежде употребительнее было называть, пикетажные книжки, предназначены для записей находок, изменений, наблюдений. Поймите, однако, одинокого человека, прислонившегося к скале и наскоро на колене набрасывающего в блокноте схему геологического обнажения: за спиной вещмешок и ружье, кругом пустынно, тихо, дико... Так раньше шагали геологи. Половину жизни провел Губкин в экспедициях, и тоска, нетерпение, страх за близких своих были слишком ему знакомы... «Тревога за вас не покидает меня. С чувством страха я всякий раз подъезжаю вечером к Гюздеку (кавказское село. — Я. К.), боясь, что вот-вот на мою голову падет какое-нибудь страшное известие. ...Написание открытки в два-три слова отнимет всего 2—3 минуты, а это принесет мне успокоение и бодрость духа, что только и поддерживает меня, затерявшегося среди пустыни, где, кроме свирепого ветра и палящего солнца, ничего нет», — жаловался он жене в письме от 17 июля 1914 года.

«До чего я тоскую и болею душой по каждому из вас. Все мне кажется, что без меня вам плохо, что у вас нет защитника и покровителя и все вас могут обидеть.

...Вдали от вас мне все представляется, что я недостаточно предупредил вас от воз-

можных опасностей. Меня терзает, например, мысль, почему у моей радости, у моей белой голубки, у моей белоснежки (это о дочке Галочке. — Я. К.) не привита оспа. Меня беспокоит, почему я не отдал Сереженьке (сыну. — Я. К.) строгого приказа, чтобы он был осторожнее с лодкой и т. п.» (письмо, приблизительно датированное началом мая 1914 года).

«Спасибо, что не забываешь меня, затерянного среди дикой пустыни, летом палимого зноем, а теперь пронизываемого свирепым нордом до мозга костей. Эта прелесть дует уже третью неделю с постоянством и упорством, достойными лучшей цели, чем морозить несчастных чабанов и бедных геологов. Никакая одежда не способна защитить от него, особенно на горах, куда приходится карабкаться каждый день. Там буквально сбивает с ног. Идти против ветра невозможно: нельзя сделать двух шагов — отнесит назад. О записи и говорить нечего: книжку и карту вырывает из рук и несет за тридевять земель» (письмо от 30 августа 1914 года).

Поймите геолога! Нет-нет да соскользнет с сердца на рабочую тетрадку жалоба, воспоминание, упрек человеку, который отсюда за тысячу верст, — мало ли что еще, не имеющее отношения к делу. Пикетажные книжки Губкина пестрят «лирическими отступлениями». Летом 1929 года экскурсировал он по Северному Кавказу: изучение этого края принесло ему когда-то мировую известность. Вот какое признание вырвалось у него на страницу полевого дневника:

«На досуге прочитал свой старый «Обзор геологических образований Таманского полуострова». Посмотрел фауну (название фауны неразборчиво. — Я. К.). Перелистал старого Н. Abich'a «Geologie der Hulbinseler Kertsch und Taman». Старое, забытое после 17 лет перерыва снова воскресло передо мною. Первые шаги моей научной работы и через 17 лет увенчание моей научной карьеры. Тамань¹ и три академика Н. Abich, Н. И. Андрусов, которого тоже уже нет в живых, и их преемник в области изучения третичных отложений Кавказа (тут зачеркнуто два слова, но, приглядевшись, можно разобрать, что зачеркнутые слова эти: академик Губкин. — Я. К.), который никогда даже не мечтал о столь высокой ученой степени»².

¹ Подчеркнуто везде И. М. Губкиным.

² Архив АН СССР, ф. 455, оп. 1, ед. хр. 174.

Напомню, писалось это в полевом дневнике. Запись произведена 28 июня; «столь высокая ученая степень» присвоена Губкину 5 декабря 1928 года; за шесть с половиной месяцев Иван Михайлович не успел еще к нему привыкнуть и, поставив было себя рядом с любимыми и чтимыми учителями-академиками, все же вычеркнул.

Что ж, удивляться, пожалуй, нечему, хотя скромность столь требовательная и проявленная наедине с самим собой, удивления достойна. Сын крестьянина, сельский учитель, преподаватель городских училищ Иван Михайлович Губкин смог окончить Горный институт в возрасте ни мало ни много 39 лет, проявив почти героическое упорство и преодолев немало бед, разочарований и трудностей. «Помнишь нашу весну», — спрашивал он супругу в письме 8 июля 1913 года. («Наша» весна — весна 1897 года. — Я. К.). — Мы шли по 10-й линии от Курсов к Большому проспекту, чтобы по нему взять курс к Горному институту, который providенциально сделался нашей путевой звездой Я тебе сказал: «Нина Павловна! Хотите идти со мной, а не за мной». А ты мне ответила: «Хочу», — и взяла меня за руку. И вот с тех пор мы с тобой и шагаем.

Наша весна вела нас на ступеньки Горного института, к стройным дорическим колоннам... Горный институт — свидетель моей весенней любви к чистой девушке-деточке — сделался моей alma mater. Семь лет сроднили меня с ним. Он свидетель и моей борьбы с наукой и нуждой.

Напомнить о годах учебы понадобилось Ивану Михайловичу для того, чтобы поднять дух сильно пригорюнившейся по какому-то поводу жены, и он заканчивает: «Незачем горевать и сейчас. Бодрее, родная! До конца со мной, а не за мной».

Значит, страстная мечта попасть в Горный институт владела Губкиным еще в 1897 году; осуществить ее он сумел только через шесть лет. За три месяца лета 1903 года Иван Михайлович сдал экстерном за гимназический курс и поступил в Горный институт. Публикуемая фотография как раз и взята с гимназического аттестата; по ней легко представить, какую, вероятно, неловкость переживал этот бородастый дядя, вытягивая в черед с безусыми юнцами экзаменационный билетик. Со «счастливой» бородой расставался Иван Михайлович неохотно и частями, хоть и вышла она потом из моды: сначала освободил ще-

ки, подбородок; усы берег долго. Но это между прочим...

Нина Павловна не только поддержала Ивана Михайловича в его мечте, но и взвалила на себя нелегкое бремя содержать семью: работала преподавательницей, вела многочисленные частные уроки и, конечно, домашнее хозяйство. Сына Сережу надолго отправляли к бабушке на Кубань, чтобы не отвлекал отца от занятий. Прошло семь лет. Диплом инженера получен. Губкин принят адъюнкт-геологом в Геологический комитет — редчайшая в те времена честь для молодого специалиста. Его командировку в Майкоп.

И здесь — буквально на второй год ознакомления с районом — совершает Губкин открытие, по тонкости, виртуозности, остроте глаза (и по краткости инженерного стажа автора!) уникальное в геологической науке. Как это часто случается с инстинно творческими натурами, он поначалу придал не слишком большое значение своему открытию, но впоследствии, оценив его по-настоящему, любил возвращаться к примечательному эпизоду своей жизни в научных статьях, автобиографических заметках и даже в выступлениях на совещаниях.

Заглянуть в творческую лабораторию начинающего ученого, представить обстановку, в которой совершенно было открытие, помогают письма Ивана Михайловича к первой жене своей Нине Павловне, написанные в те годы. Письма эти собрала, любовно сохранила и помогла расшифровать дочь Ивана Михайловича и Нины Павловны Галина Ивановна Губкина.

Но сначала два слова об адресате.

Нина Павловна считала себя первой женщиной-казачкой, получившей высшее образование. Возможно, так оно и есть. Окончив Высшие бестужевские курсы, она поступила в медицинский институт, где проучилась два года, пока не приспела «наша» весна. В талант Ивана Михайловича она уверовала беззаветно. С решительностью, всегда ее отличавшей, порвала она с честолюбивыми надеждами и самозабвенно посвятила себя служению мужу. Им обоим тяжело дались годы учения. Любая случайность или оплошность могла оборвать их общую мечту. Нервы до предела натянуты.

Наконец все позади. Губкин садится в поезд — и открывается поток этих восхитительных писем.

«1910, 2 ноября. Мой милый, ненаглядный, самый славный и верный друг и го-

рячо любимая ласточка! Только что получил твое письмо. Все в нем есть: и горе, и радость, и горький осадок наших былых размовок, о которых ты никак забыть не можешь. Твое равнодушие к жизни и смерти угнетает меня. (Он оставил ее беременной. Здоровье ее было здорово, и она очень страшилась родов. — Я. К.) Онс никак не вяжется с твоей любовью ко мне. Ведь я сама жизнь, со всей ее глубокой тоской и великой радостью... Прочь это равнодушие!.. Мы не жили, так как полагали счастье во внешних условиях жизни. Я же теперь понимаю, что можно всю жизнь бороться за кусок хлеба и быть счастливым, носить всю красоту божьего мира, красоту поэзии и искусства в своей душе... Ведь до сих пор на мне проклятием божьим лежал институт, а теперь все это за нами. Мы победили, не я, а мы вместе с тобой... За 12 лет супружеской жизни ты вполне не узнала, что за человек возле тебя живет. Да я и сам себя не знал. «Доконала меня бедность грозная», а теперь я, пойми, свободный, неугнетенный, непришибленный человек. Теперь свою судьбу я вызываю «на бой кровавый, святой и правый»...»

Строчка из революционного гимна совсем не случайно залетела в губкинское письмо. Известно, что он непосредственно участвовал в революционном движении, печатал на гектографе листовки и агитировал среди рабочих.

«11 января 1911 г. Дорогая моя Нуренька! В Нефтянке потеплело (станция Нефтяная. — Я. К.). Снегу навалило видимо-невидимо. Лошади с трудом пробираются по дорогам. И у меня в «конторе» потеплело. Стало возможным хоть спать... Начал поездку по району... В нефть не верят... К разборке пород еще не приступил. Прямо не знаю, как подступиться к той массе образцов, которую нужно во что бы то ни стало пересмотреть.

Вечера свои отдаю науке. Читаю сейчас Калицкого «Об условиях залегаания нефти на острове Челекен», а также книгу профессора Содди о радии. (Мог ли начинающий инженер подумать, что через пятнадцать лет он повергнет в острейшей дискуссии о происхождении нефтяных месторождений воззрения доктора Калицкого, мешавшие открытию богатейших залежей «Второго Баку»? — Я. К.) По дороге купил письма Л. Н. Толстого. Каждый вечер на сон грядущий прочитываю по 2—3 письма. Тоскливо мне одному среди чужих людей, в «конторе», заброшенной в лесу на край станицы. Я храбрюсь, не даю тоске

заползти и овладеть моим сердцем. А все же порой прозеваешь, упустишь момент и вдруг почувствуешь, что кто-то словно ножом полоснет тебя по сердцу... Думаешь, неужели на нашу долю не уделено судьбой счастливых дней, солнечных настроений? Ведь будет же когда-нибудь и на нашей улице праздник...»

«21 января 1911 г. Сейчас в районе сильное оживление. На 489-м участке... бьет с глубины 80 саж. фонтан легкой нефти, по силе немного уступающий знаменитому фонтану Бакино-Черноморского общества... Фонтан забил во вторник 18 января в 5 часов вечера. Нефть выбрасывало на высоту 10—11 саж. Сейчас опущена фонтанная плита, которая, однако, фонтана не закрывает: он продолжает довольно энергично функционировать.

...Своих кровных денег, ассигнованных на разъезды, никак не вернешь. Предлагают составить подложные расписки, воображая, что у людей совесть настолько подвижна, что ничего не стоит представить на 225 руб. подложных документов.

Даже досада берет, как подумаешь.

Особенно злюсь по утрам. Встаешь, а термометр тебе показывает 2°, а то и меньше. И при такой температуре приходится жить не день, не два, а вот уж ровно две недели. А дальше что будет? Снег валит каждый день. Навалило его целые сугробы. Едешь по дороге. Навстречу сани. Боязно свернуть. Лошадь вязнет по брюхо. Поехали на новый фонтан. Метель. Дует холодный ветер; валит снег, заносит дорогу. Пурга такая, что в десяти саж. не видно леса. В лицо летят острые снежинки, режут щеки, слепят глаза. Ушам холодно. Руки ооченели. В них поводья — сунуть в карманы согреть нельзя. Лошадь идет неверно: спотыкается, вязнет... Да и это все можно перенести, если бы знать, что моим милым и дорогим живется уютно и тепло...»

«31 января 1911 г. Мой славный и дорогой друг и милая женушка! Сегодня зима окончательно рассердилась на Нефтянку и послала на нее мороз в целых 25°Р. Можешь себе вообразить, какая температура была в моей злополучной «конторе» с одинарными рамами и «продувательством» в полу и стенах... Следствие этого голова находится возле экватора, а ноги на полюсе по ту сторону добра и зла. При таких-то условиях сидеть, не рискуя схватить ревматизм, совершенно нельзя. Приходится все время бегать, чтобы ноги были теплые...

Предлагали петуха и запросили за него 1 р. 20 к. Понятно, я не приказал брать такого дорогого шантеклера и ограничился постным борщом. Подобная расценка не случайность. Здесь все вздуто до невероятия, начиная с веревок и гвоздей до хлеба и соли включительно».

Тут надо сказать, что не случайной была не только «подобная расценка», но и само «вздутие» цен. Майкопский район в ту пору жил странной пульсирующей жизнью. Признаки нефтеносности в его недрах были известны, вообще говоря, давно. Лет за пять до описываемых событий на заявочной площади, принадлежавшей инженеру Селитренникову, скважина дала небольшой приток легкой зеленой нефти. В Майкоп хлынули предприниматели, однако буровые, поставленные рядом, оказались «сухими». В 1909 году повезло Бакино-Черноморскому обществу. Из пробуренной им скважины вырвался фонтан; нефть, впрочем, загорелась; пожар бушевал две недели. Сообщения о нем были напечатаны во всех русских газетах. Начался знаменитый «майкопский бум».

В глуши майкопских лесов выстраиваются вышки. Подсчитано было, что на узкой полоске близ станций Ходыженская и Ширванская их стояло летом 1910 года больше 70-ти. И нефть опять обманула! Тогда это начало сильно занимать и ученых, потому что никак не укладывалось в рамки установившихся к тому времени представлений о залегании нефти. Поэтому-то и направил сюда специалиста Геологический комитет, в штате которого было всего 7 (!) нефтяников, обслуживающих всю Российскую империю.

Майкопский район то наводнялся всяким людом, захваченным нефтяной лихорадкой, то пустел, когда его покидали разочарованные и разорившиеся. Соответственно цены то взлетали вверх, то падали. Иван Михайлович и попал в момент «пика». «Если бы теперь пришлось искать квартиру, то, пожалуй, можно было бы нанять не дом, а только конюшню, потому что теперь и подавно все занято» (письмо от 31 января 1911 года).

«Я положительно не могу сейчас взять отдельной квартиры, так как в Нефтяной стоят на все прямо-таки безумные цены. Я думал, осень внесет известное спокойствие. Оказалось, что горячка и жадность нефтянцев к наживе растет не по дням, а по часам» (ориентировочно октябрь 1911 года).

Он снял насквозь промерзавшую хижину на окраине станицы, почти в лесу. Сюда привезли ящики с образцами. «Прямо не знаю, как подступиться к той массе образцов, которую нужно во что бы то ни стало пересмотреть», — помните из письма, уже процитированного нами? Все же он «подступился»...

Из богатого бурового опыта, накопленного к тому времени в мире, и из трудов ученых (в частности, академика Абиha, «старого Абиha», о котором речь идет в вышеприведенной дневниковой записи 1929 года) выведено было, что нефть под землей тяготеет к определенным пластовым формам, чаще всего к пиалообразным вздутиям (антиклиналям), где располагается в трехслойном компоненте с газом и водой; первый венчает залежь, второй подпирает ее. Поразительно, что канонизированные представления не имели власти над инженером, только что оторвавшимся от студенческой скамьи! Он много ездит по участкам; в каких условиях совершались поездки, мы уже видели. В конце концов приходит он к мысли, что, оперируя старыми приемами, майкопскую загадку не решить.

И что же? Он садится и изобретает новый способ составления структурных карт! Занятно то, что это свое изобретение он поначалу оценил еще меньше, чем открытие (о котором чуть-чуть ниже), и обнародовал его не в основном очерке, написанном сразу по возвращении в Петербург зимой 1912 года³, а лишь на следующий год, который провел уже не в Майкопе, а на Тамани⁴, хотя весною заезжал и в Майкоп. «Это открытие, — утверждает профессор М. М. Чарыгин, — Губкину удалось сделать благодаря особому методу, примененному им в составлении структурных карт. Для Майкопского месторождения он составил структурную карту подошвы нефтеносной залежи, приняв исходной плоскостью для отсчета абсолютных отметок не горизонтальную плоскость (уровень моря или параллельный ему уровень), а плоскость наклонного пласта, расположенного выше нефтеносной за-

³ И. М. Губкин, Майкопский нефтеносный район. Нефтяно-Ширванская нефтеносная площадь. Спб., 1912.

⁴ Он же, К вопросу о геологическом строении средней части Нефтяно-Ширванского месторождения. Спб., 1913.

лежи... Таким образом, составленная структурная карта отобразила рельеф, на котором отложилась нефтеносная толща без тех искажений, которые в дальнейшем отразились на нем в результате последующих горообразовательных процессов.

Идея, положенная в основу построения совершенно нового типа структурных карт, по своему замыслу исключительно простая.

Новый тип структурной карты дал возможность И. М. Губкину подойти к разрешению генезиса майкопской нефти⁵.

Общедоступно рассказал о своем первом открытии Иван Михайлович своим избирателям на встрече с ними в 1937 году:

«Сравнительно скоро после окончания Горного института я установил в Майкопском районе чрезвычайно оригинальные по своему строению нефтяные месторождения, так называемые рукавообразные залежи (нигде в мире не было аналогичных, только в Америке после меня нашли похожие).

Рукавообразные залежи ничем не напоминают обычные месторождения, подчиненные геологическим структурам. Миллионы лет назад в нынешнем Майкопском районе была вымыта балка. Наступающее море залило длинный овраг. В течение тысячелетий овраг постепенно заполнялся песчаными отложениями. Нефть стала собираться из материнских пород и глубоко внизу заполнять песчаные отложения. Плотные массы глины закупорили пески и в течение миллионов лет сохранили в неприкосновенности нефть, не давая ей выхода на поверхность.

Старая балка давным-давно сравнялась с окружающей местностью, ничто не напоминало о ней и нефти.

Внешние показатели нефти видны были лишь в том месте, где когда-то начиналась балка, в том месте, где рука в вышел на поверхность и где она оказалась наиболее размытой.

Нефть в Майкопе есть, но где и как ее искать? Газы и нефтяные пески повели геологов, воспитанных старой наукой, в сторону от нефти. Бурили, искали не там, где нужно, и выходило, что нефти в Майкопе мало или даже совсем нет.

Так продолжалось до того, как я в 1911—1912 гг. установил теорию рукавообразных залежей и определил направление самого рукава размыва».

Итак, открытие сделано! Если угодно, не одно даже, а целых три. Во-первых, открыта неизвестная дотоле в науке форма залежей (рукавообразная залежь); во-вторых,

новая генетическая единица (доказано, что месторождения могут образовываться в руслах древних рек и оврагов); в-третьих, открыт исключительно плодотворный способ составления карт подземного рельефа (структурных карт).

Капиталисты-нефтепромышленники начинают виться вокруг Губкина, как осы. «Несмотря на мои горячие стремления вырваться отсюда поскорее, несмотря на мою тоску по тебе и по дорогим моим цыплятам, мне пришлось задержаться на Майкопских промыслах до 14 октября. Дело в том, что из Лондона в контору промыслов князя Салтыкова (бывш. Бакино-Черноморское о-во) пришло предписание обратиться ко мне с просьбой дать им геологические сведения и советы относительно благонадежности их участков и установить очередь в развитии буровых работ на этих участках, а также сообщить им о благонадежности Таманских месторождений нефти... Потом, как только узнали в районе, что я приехал, меня буквально завалили просьбами дать те или иные указания... Уже и теперь в Майкопском районе начинают прислушиваться к тому, что я говорю; и не я, а со мной ищут знакомства» (письмо не датировано).

«Ко мне приезжают в Нефтяную управляющие промыслами за всякого рода советами, приглашают на заседания и т. д. 21 марта, например, меня позвал управляющий фирмой Андреяса... Мои разговоры, что в мае мне придется оставить Майкопский район, печалят публику. Всем хочется, чтобы я остался здесь и дольше» (письмо не датировано). В 1913 году он сообщает жене: «...я в Баку популярен...», а на следующий год с гордостью: «В Баку мое имя гремит».

Предприниматели наперебой зазывают его на свои участки; его советы оплачиваются все дороже. В письмах он скрупулезно подсчитывает поступления: никогда у него не было столько денег. Наконец, глава бакинских нефтепромышленников миллионер Гукасов приглашает его к себе на службу. Губкин отказывается, боясь утратить независимое положение и возможность продолжать научную работу. «24. VII 1913 года. С Гукасовым у меня был длинный разговор. Он усиленно уговаривал меня, чтобы я перешел к ним на службу геологом, точнее, заведующим геологическим бюро у целого

⁵ М. М. Чарыгин, Академик И. М. Губкин как ученый и педагог. Сборник, посвященный памяти И. М. Губкина. М., 1948.

нефтяного синдиката «Новь»... Я заговорил о своей независимости в Геологическом комитете. На это он ответил, что я буду более независим у них». Сделка не состоялась. Иван Михайлович остался непреклонным.

Великолепное открытие сделано; отныне жизненный путь Губкина, дотоле извилистый и ухабистый, становится ясен и прям, несмотря на многие несчастья, которые еще предстоит пережить. Он нашел себя! «Мне будет спокойнее, когда я буду знать, что, если я умру, вы не очутитесь на па-нели», — вот фраза, которая может вырваться только у человека, изведавшего все унижения бедности. «...мне так хочется обеспечить хоть немного вас, чтобы не так уж бояться за вашу судьбу» (из письма, отправленного между 19 и 30 сентября 1913 года).

Работает он по-прежнему одержимо. «Сумгаит, 7. VII 1913... Вставать нужно было рано и прямо, даже не попивши чаю, на голодный желудок ехать на работу. Путь наш лежал через так называемые Волчьи ворота, от которых начинался на протяжении почти 2—2,5 верст крутой спуск в Ясамальскую долину. Этот спуск, а при обратном пути подъем, совершался пешком, что ужасно меня утомляло. Кроме того, неблагоприятствовала работе и погода: первый день была адская жара, убившая положительно всякую энергию, а в остальные дни дул свирепый норд, поднимавший по Ясамальской и Путинской долинам такую пыль, что буквально не видно было света божьего. О силе ветра можете судить по тому, что он поднимал довольно крупный гравий и бросал его в лицо, причиняя боль, точно от укола иголкой. На ногах стоять было трудно, а двигаться против ветра почти невозможно. В таких условиях приходилось работать по 12 часов в сутки».

«Я просиживал до 1—2 часов ночи» (24. VII 1913). «Берем приступом одну гору за другой, атакуя их вершины с молотком в руках и компасом в кармане. Особенно досталась нам гора Касмали, куда мы ездили целых 9 дней, разбираясь в ее строении, представляющем настоящую тектоническую вакханалию. Но хоть и крепок был сей орешек, но мы его разгрызли...» Целых девять дней!.. По современным нормам съемки это совсем немного, чтобы закартировать гору да еще разобраться в «тектонической вакханалии». Впрочем, о том, в каком немыслимом темпе умел работать Губкин, лучше всего видно из того, как сумел он выйти из крайне неприятно-

го положения, в какое попал 1 июля 1914 года:

«30 июня в 11 часов ночи я сел в поезд на ст. Геран Закавказской ж. д., чтобы ехать в Баку. Занял купе 1-го кл. Попросил у кондуктора свечу и запер купе на ключ и предохранитель. На одну лавочку положил портплед и ручной саквояж, который ты хорошо знаешь, а на другую лег и начал читать. Слышал, как подъехали к станции Евлах и остановились, а потом мне сильно захотелось спать. Через какую-нибудь минуту я спал как убитый. В этот день я сделал около 40 верст верхом по горной речке, русло которой усеяно валунами и галькою. Потом от Нафталана до Герана ехал в бричке по ужасной дороге. Так что устал за этот день, как никогда. И поэтому спал непробудно. Перед сном я забыл закрыть окно в купе, задернутое занавеской. Было очень жарко и душно — по обыкновению. Проснулся я возле станции Алят (на следующей станции Сангачали мне нужно было слезать — там меня ждал фаэтон) и первым делом схватился за саквояж. Туда-сюда — нет его. Портплед цел, а саквояжа нет. Я остолбенел от ужаса. В нем были мои полевые дневники за 1913 и 1914 гг., т. е. по Сумгаиту и по плану этого года и, как мне вначале показалось, карты за те же годы. Впоследствии выяснилось, что карта Сумгаитского планшета была в Гюздеке и осталась цела. В саквояже был револьвер, несессер, воротнички, знак, орден и вся прочая мелочь.

Сейчас же позвал кондуктора. Обошли весь поезд — безрезультатно. На станции Сангачалы потребовали жандарма. Осмотр вагона показал, что мазурик похитил саквояж через окно, причем влез настолько осторожно, что не задел очков и свечи, находившихся на столике.

Все мои розыски оказались тщетны... По возвращении в Гюздек я постарался выяснить, что пропало безвозвратно и что, следовательно, придется восстанавливать. Оказалось, что по Сумгаитскому плану, начиная с 115 до конца (445 обнажений), имеется копия, следовательно, придется восстановить 114 обнажений. За текущий 1914 год было похищено все: и оригинал, и копия дневников, и карта. Значит, нужно было еще раз снять то, что было снято до 1 июля.

К этому я приступил. Весь июль и август я работал лихорадочно, не зная усталости. И вот результат. Я успел кончить целый Коунский планшет и $\frac{2}{3}$ Учътапинского. Сделал больше, чем нужно по программе,

и восстановил все похищенное за 1914 год. Остается мне теперь восстановить только 114 обнажений Сумгаитского планшета, расположенные сравнительно близко. Я это сделаю до 10 сентября...»

За два месяца «покрыты» два планшета! Да еще не забывал он каждых два-три дня черкнуть домой весточку. Нина Павловна складывала их в старую сумочку. Она с детьми переехала в более просторную квартиру. Губкин интересуется всеми подробностями: широк ли коридор, не дует ли из окон; просит подвести электричество, не жалея на это пятидесяти рублей. Теперь он позволяет себе советовать: «Относительно денег прошу тебя не стесняться и вообще выбрось из головы всякие счеты и расчеты» (4. VI 1913).

«...мы сумели завоевать себе независимое, свободное и уважаемое положение». Письма Губкина... Горячие, заботливые, подробные, любящие...

«20 августа 1913 г. Сумгаит... За твое письмо, полное заботы обо мне, большое тебе спасибо... Моя работа идет колесом без сучка и задоринки. Днем езжу по планшету. Палит меня солнце, палит жаркий полуденный ветер, а мне и горя мало. Ищу себе своих ракушек, и мурлычу свои песенки, и мечтаю о вас, а особенно о своей золотокудрой дочке. Решаю проблемы не только об образовании нефтяных месторождений, но и великие проблемы жизни. Думаю об ее смысле и цели, разумности бытия. И прихожу к мысли, что великий смысл жизни в том, чтобы пользоваться и наслаждаться красотой окружающего... солнцем, звездами, широким морем, шумом зеленого леса, безбрежностью степи и даже миражами окружающей меня выжженной пустыни, в жарком дыхании которой есть своя прелесть и своя чарующая красота».

«Все один, один и один... Мучительно больно», — из письма 14.IX 1913. Поймите геолога! Иногда неделями ему не с кем перемолвиться словом. И в письмах он торопится сообщить о тех успехах, которых добился, об огорчениях, выпадающих на его долю, и о трагедиях, грустным свидетелем которых доводится быть.

«С таким инженером мой пойдет куда хочешь. Якши инженер. Мой не видал такой инженер. Другой инженер кричит. Что такое? Ругается: туда не так, сюда не так. Что такое? Твой якши. С тобой мой поедет Сумгаит», — так описывает Губкин свою первую встречу с Кули Ирза-оглы — он нанял его в помощники. С собой тот

захватил племянников — Юсуфа и Таги. Младшему, Таги, 15 лет. «Этот исполняет у меня обязанности коллектора... Я выучил его завертывать (образцы. — Я. К.) и писать (да, писать) цифры. Учу его теперь читать. Способный, каналья... Днем у меня теперь всегда горячий чай. Кули купил большой глиняный кувшин. Наливает его каждое утро водой. Возит с собой чайник и посреди степи на кизьяках кипятит мне чай. Этого для меня никто не делал. Кроме того, я вожу с собой бутылку или две нарзана и вино. Так что питьевое продовольствие в этом году у меня поставлено образцово» (8.VII 1913).

«18 сентября утром я возвратился в Баку. Здесь меня ждало очень печальное известие. В мое отсутствие мои рабочие-татары — братья Таги и Юсуф... затеяли игру... Юсуф захотел перепрыгнуть через стол, но ему не удалось. Он задел ногами за стол и упал на руки. Сгоряча он ничего не почувствовал, даже продолжал курить. Но через несколько минут он уже закричал «умираю!»... Поднялся переполох. Юсуф в ужасных муках корчился на земле. Производитель работ Сикорский, видя, что дело плохо, отправил Кули с Юсуфом в Баку в Михайловскую больницу. 16 сентября вечером Юсуфа увезли, а сегодня в 4 часа утра он помер, почти в полном сознании и в страшных муках.

...Юсуфу было 27 лет. После него осталась жена с четырьмя детьми, из которых старшему 7 лет, а младшая девочка — грудная. От Таги пока скрываем, что Юсуф помер, но он, очевидно, угадывает и плачет по целым ночам. Он не ревет, а скулит, хнычет и, видимо, тоскует, тоскует и страдает глубоко.

На меня эта нелепая смерть произвела удручающее впечатление. Юсуф был такой же славный и милый человек, как и Таги. Тихий и скромный, услужливый и деликатный... До слез мне его жалко... А теперь злая и слепая судьба отняла у четверых малюток отца-кормильца. Вся кровь во мне застывает, когда подумаю о сиротах».

Несчастный случай этот надолго выбивает Ивана Михайловича из колеи.

И снова... «поездка сменяет поездку то в Черные горы, то в Чит-Юрт, то в Сангачалы, то в Сальяны, а скоро полечу в Наф-талан. ...За день устаю до последней степени. Приезжаю домой, т. е. на временную квартиру, совершенно усталый... Встаю рано, в 5—6 часов утра и снова за работу, и так изо дня в день без перерыва...» (3 VI 1914). Немало приключений доводится ему

испытать, многое видит он, о многом размышляет. Ни на один день не прекращается его тяжелый труд. И не тускнеет чувство к той, которой адресует он свои письма.

«...За горами, за морями бьется верное тебе сердце, которое вот уже 16 лет любит только тебя одну и твоих деток...»; «Я готов мириться со своей участью, но только ты не забывай меня письмами».

В шестнадцатом году, незадолго до роковой разлуки, он, словно предчувствуя что-то недоброе, тосковал особенно сильно. «Скучаю по вас до физической боли. Никогда еще разлука не была для меня так тяжелой». «В этом году я особенно сильно чувствую свое одиночество». Весной 1917 года Иван Михайлович отправился за океан, в Соединенные Штаты Америки, куда командирован был для изучения тамошних нефтяных месторождений. Нина Павловна сочла

за благо переждать голодное время у родственников на Кубани. Сергея захватила война: он пропал без вести. Отыскался он лишь в 1923 году. Губкин вернулся весной 1918 года. Нина Павловна с Галочкой, хлебнувшие много горя, мытарств, добрались до Москвы только осенью 1920 года.

Прежней близости уже не было. Нина Павловна и Иван Михайлович все более отдалялись друг от друга.

8 июля 1913 года в длинном письме, отрывки из которого мы уже приводили, он о себе заметил: «В глубине души я чувствую еще, что энергии у меня непочатый край. Чашу жизни еще не выпил до дна». О, как он был прав! Сколько еще впереди предстояло открытий, сколько споров и путешествий, много дум, много свершений и долго еще, содрогаясь от жадности, пить из чаши бытия...

Р. Юренев

С. Эйзенштейн — письма из Мексики

Письма С. М. Эйзенштейна еще не собраны.

Он был аккуратен: письма своих корреспондентов бережно хранил. И, уж конечно, отвечал на них. Сохранились ли эти ответы? Ведь каждая строка Эйзенштейна — большая ценность для киноведения.

Это поняла пожилая, не имеющая отношения к кино женщина, Розалия Исааковна Монозон. Она бережно сохранила и передала мне пачку писем Эйзенштейна к ее ныне покойному брату, известному в свое время деятелю кинематографии Л. И. Монозону, бывшему в 1929—1931 годах представителем «Амкино». Эти письма легко могли бы пропасть: они адресованы из Мексики в США. А ценность их несомненна. Они содержат интересные сведения о том, как, в каких условиях работал Эйзенштейн над фильмом «Да здравствует Мексика».

Как известно, в мае 1930 года С. М. Эйзенштейн, Э. К. Тиссе, а затем и Г. В. Александров прибыли в США, чтобы на практике изучить производство звуковых фильмов. Одна из крупнейших американских фирм, «Парамаунт», предложила советским художникам снять фильм, но все проекты Эйзенштейна — экранизация романов «Золото Зуттера» Влеза Сандра, «Американская трагедия» Т. Драйзера, «Железный поток» А. Серафимовича и др. были под разными благовидными предлогами отвергнуты: американских кинодельцов пугала революционность замыслов Эйзенштейна, не соглашавшегося ставить безыдейные коммерческие картины и предлагавшего серьезные, социально значительные и острые сценарии. В конце октября 1930 года соглашение с «Парамаунт» было расторгнуто, и группа Эйзенштейна оказалась в тяжелом положении: крупные

гонорары, обещанные «Парамаунт», ускользнули, не только создать фильм, но и практически ознакомиться с новой звуковой техникой не удалось. Тогда группа писателей — Теодор Драйзер, Рис Вильямс, художников — Диего Ривера, Давид Сикейрос, и кинематографистов — Ч. Чаплин, Р. Мамулян и другие — предложила Эйзенштейну создать фильм о Мексике. Финансировать постановку согласилась жена писателя Эптона Синклера.

Интересно отметить, что Эйзенштейн и его товарищи никогда не выступали в США как частные лица. Все деловые переговоры они вели от лица советской государственной организации «Амкино», которую в те годы возглавлял Л. И. Монозон. Эта небольшая и весьма небогатая организация пыталась наладить прокат советских картин в США и претерпевала серьезные трудности, ибо официальных дипломатических отношений между СССР и США в те годы не было.

Первое письмо к Л. И. Монозону написал Эйзенштейном из Голливуда и касается переговоров с «Парамаунт». Оно характеризует деятельность Эйзенштейна по пропаганде советского киноискусства, деятельность нелегкую, так как все выступления советского кинорежиссера сопровождались травлей со стороны «желтой прессы» и правых фашиствующих организаций.

24 ноября между Эйзенштейном и женой Синклера был подписан контракт, и 5 декабря Эйзенштейн, Тиссе и Александров пересекли мексиканскую границу. В течение 1931 года Эйзенштейн написал из Мексики Монозону пятнадцать писем, в которых рассказывал о ходе работ над картиной.

Съемки фильма о Мексике происходили в условиях, требовавших от советских мастеров поистине самоотверженных, героических усилий. Съемочная группа Эйзенштейна состояла только из трех человек. Денег у Синклера было мало, к тому же он очень опасался за их судьбу. Он навязал Эйзенштейну сотрудничество брата своей жены, некоего Кимбро, ленивого и некомпетентного человека, который больше мешал, чем помогал в работе.

Снимать в Мексике было трудно. Мучила страшная жара. Изнуряли болезни. Непредвиденные дожди срывали все сроки. Управлять непрофессиональными исполнителями ролей (простыми мексиканскими крестьянами, горожанами, монахами, детьми), а также носильщиками и рабочими, которых за гроши нанимал Кимбро, без знания языка было сложно. Мексиканские власти чинили препятствия, с недоверием относясь к дея-



тельности «красных русских». Газеты несколько раз поднимали враждебную шумиху, придираясь к ложным слухам или к несчастным случаям, например, к ссоре между вспомогательными рабочими-индейцами, во время которой пострадал мальчик («акцидент», о котором пишет Эйзенштейн).

Но ничто не могло остановить работ. Радовали поддержка прогрессивных деятелей культуры — художника Диего Риверы, приезжавшего на съемки, посла испанского республиканского правительства в Мексике, писателя Альвареса дель Вайо и других друзей. Радовало трудолюбие и заинтересованность мексиканцев — участников съемок.

Трудности усугубляла нервозность тогдашних руководителей советской кинематографии.

Эйзенштейн волнуется о продлении его командировки, он глубоко возмущается газетой «Новая республика», позволившей себе в благожелательной статейке сболтнуть что-то о свободе его творчества в Америке. Он искренне беспокоится о трудностях, испытываемых советской кинематографией, радуется успехам советских режиссеров, мечтает о преподавании в Государственном институте кинематографии — словом, ни

на одну минуту не чувствует себя вне интересов, дел, трудов своей Родины.

В письмах к Монозону просвечивает характер Эйзенштейна — твердый, доверчивый, абсолютно бескорыстный, полный энергии, неутомимой жажды творчества, озорного юмора и дружеского внимания ко всем, кто трудится в искусстве. Ни одиночество, ни помехи, ни тревоги не умаляют его творческой фантазии. Он, как всегда, полон смелых планов: хочет ставить картину в Индии, затевает создание публицистического фильма «Пятилетка», в котором документальные съемки успехов молодого социалистического строительства должны были контрастировать со снятыми в США проявлениями кризиса и деградации капитализма. Но недоверие, косность, неповоротливость обрекли на гибель все эти планы.

С болью оборвав не вполне завершенные съемки, в марте 1932 года Эйзенштейн, Александров и Тиссе покинули Мексику и, с неделю пробы в Нью-Йорке (откуда уже уехал Монозон), в начале апреля выехали в Москву.

Осуществить озвучание фильма и прокат его в США не было ни времени, ни возможности. Но появилась надежда, что «Совкино» выкупит у Синклера материалы.



● Кадры из фильма о Мексике.

«Окончательный монтаж в Москве», — заявили Эйзенштейн и Тиссе в своем первом по возвращении интервью корреспонденту «Вечерней Москвы» (от 9/V 1932 г.). Но и эти надежды не сбылись. Гениально задуманный и снятый фильм не был завершен. Этот трагический удар судьбы Эйзенштейн не забывал до самой смерти. «Иронией постараемся преодолеть и этот случай смерти — смерти собственного ребенка, в которое было вложено столько любви, труда и вдохновения», — писал смертельно больной Эйзенштейн через 15 лет.

Так пусть же публикация писем к Л. И. Монозону поддержит интерес нашего советского зрителя к незавершенному шедевр Эйзенштейна, пусть повлечет за собой открытие и публикацию новых его писем, новых материалов о его чистой жизни и гениальном творчестве.

Письма С. М. Эйзенштейна печатаются с рукописных оригиналов с небольшим сокращением. В публикации сохраняется манера письма Эйзенштейна, его собственная интонационно-смысловая разбивка текста, авторское выделение отдельных слов и фраз. Сокращения в тексте отмечены знаком [...].

недостающие по смыслу слова заключены в квадратные скобки.

Почти все письма С. М. Эйзенштейна написаны на бланках отеля «Империал» города Мехико, на многих из них отсутствуют даты. Поэтому хронологическая последовательность большинства писем определялась по их содержанию.

В подстрочных примечаниях приводятся переводы с иностранных языков отдельных слов и фраз, а также комментарий автора данной публикации.

Дорогой Лев Исаакович!

Я на Вас чрезвычайно обижен: две недели тому назад я от Вас получаю официальный запрос о коммерческой стороне моей работы в отношении «Совкино». Сегодня снова. Что это значит? Ведь мы же с Вами уговорились, что по окончательной договоренности о сценарии и постановке я Вам немедленно сообщу об этом. Раз я не сообщая, то это может означать лишь одно: что мы еще не договорились о работе вообще. Так оно и есть.

Сговориться здесь совсем не так просто. Вы знаете, как внимательно во всех отношениях это должно быть устроено. Мы перепробовали немало материала, и возни с этим



Кадр из фильма о Мексике.

Группа С. Эйзенштейна за работой.

очень много. Опять же вопрос денег. Миллион на постановку и здесь не слишком легко тратится, и отмеривают не 7, а 14 раз, прежде чем отрезать!

Как же понимать Ваши официальные запросы? Для того чтобы иметь «оправдательные» копии?

Нехорошо! Очень нехорошо!

У нас и так хлопот полон рот.

Ну ладно. Я убежден, что Вы раскаиваетесь в душе и все опять о'кэй (я знаю, как Вы не любите этого выражения, и потому Вам его и посылаю — ешьте: О. К., О. К., О. К.).

За картины Вам большое спасибо¹.

Задержу их еще на несколько дней, после показа на фабрике и вчерашнего очень успешного доклада в Калифорнийском университете хочу показать еще группе стоящих людей (Вильям де Милль — президент академии, Чарли, Кингу Видору² и ряду других, еще не видавших). И срочно же переправлю Вам обратно.

Мы провели неделю в Сакраменто и Сан-Франциско.

В августе — сентябре буду читать в Беркли-университете.

Тогда же для **профессуры** на Лос-Анджелесской зимней сессии, если мне не надоест

недоговоренность и я не воспользуюсь окончанием предварительных сроков и не уеду за Тихий океан!

С тов. приветом С. Эйзенштейн.

Дорогой друг Лев Исаакович!

Сейчас получил Ваше письмо с копией письма Синклеру. «Сама себя раба бьет, коль нечисто жнет» — деловая сторона легла на них. Мы рисковали только шеей. Высекли Вы их хорошо — и я думаю, польза с этого будет!

Отправили ли Вы материал Оахоки³ в Москву? Это же **разумеется само собой**, как все поступающее из Мексики.

За письмо Ваше очень Вам благодарен — оно во многом «утетило старика» (увы, третьего дня мне стукнуло 33 года!), беспокоит только очень, что еще нет ответов из Москвы.

Сейчас выезжаем на юг. А эти дни трясем в лихорадке — прививали тиф, и трясло нас, как от землетрясения!

Очень хотел бы видеть, что Вы хорошо про нас написали [...].

Всегда Ваш С. Эйзенштейн.

25. I. 31.

Пробую писать снова по-русски, ибо все



поулеглось, — дайте знать, сколько шло [это письмо]!

Дорогой друг Лев Исаакович!

Форменно подышаем от жары — таем! Дней через десять будем в Мехико, откуда Вам пошлем первый set'ик⁴ фотографий, — здесь материал набирается очень хороший, но жаль проявлять фото в такой жаре и непригодной обстановке.

«Подробный сценарий», думаю, не будет написан никогда — разве что после окончания картины! Но okim его поедет к Вам, как только будет просветик времени его набросать (пока носим его в [голове и помним] наизусть) — снимаем очень много, и сегодня могу писать только потому, что Эдуард вчера объелся какой-то дрянью на народном празднике, чем прервал безостановочную съемочную работу последних 12—13 дней. (Здесь Вам месткомов нет и некому отстаивать 36-часовой отдых на пятый день. «Втыкаем», как говорится!) [...].

Кто ставит «Трагедию»?⁵ Сценарий мы не сорунгтовали⁶ — сюжет не оригинален, и взаимоотношения с Драйзером были бы очень сложны, ибо сценарий старается во всем следовать книге. Интересное в кино-мысле думаю оформить статьей, как

только будет передышка — это лучшая форма защиты изобретательского приоритета.

Когда Пудовкин будет в Нью-Йорке? Монтегю⁷ мне писал, что он сейчас в Берлине. Не забывайте нас и пишите нам часто и так же обстоятельно. Думаю, что теперь можно по-русски⁸ — дела, кажется, улажены совсем: был новый донос, новая попытка, но соответствующие органы за это сами получили взбучку!

Сердечный привет всем

Всегда Ваш С. Эйзенштейн.

Дорогой Лев Исаакович!

Я пишу Вам на своем плохом английском языке на случай, если мое письмо будет вскрыто, ибо перевод его с английского на испанский займет в 5 раз меньше времени, чем с русского, да и будет выглядеть гораздо менее «подозрительным».

Я очень хорошо понимаю, почему Вы не писали мне все это время. Причины этому, конечно, те же, по которым я не писал Вам: должно было пройти некоторое время спустя нашего приключения⁹. Теперь, когда все отлично уладилось, я могу продолжать информировать Вас о нашей работе.

Мы только что провели неделю на одном

из южных побережий — Акапулько — и сняли порядочно метров пленки президента и его окружения, который оказал нам всяческое содействие, в котором мы нуждались. Между прочим, спустя два дня после того, как мы освободились от одной из публичных фиест¹⁰, я был представлен президенту и после официального рукопожатия все устроилось.

В ближайшие несколько дней мы начинаем одну из наиболее важных частей картины — тропическую — в Техуантепеке (Салина Круз), где мы пробудем около месяца (3 недели) [...].

Главная трудность, стоящая перед нами, — это огромное количество киночудес, которыми наполнен этот край. Отбор и ограничения будут труднейшей частью нашей работы.

Между прочим, получили ли Вы какой-нибудь ответ от «Союзкино»? Что там делается? Кто возглавляет его?

(N. В. Завтра или в среду я буду разговаривать с министром просвещения относительно проката наших научно-популярных и учебных фильмов — я не забыл об этом!)

С этой же почтой мы посылаем Вам наши паспорта, которые Вы обещали переслать в официальном порядке в Париж для пролонгации.

Я с нетерпением жду новостей от Вас и надеюсь послать Вам в следующем письме набор фотографий наших съемок. Все последнее время мы проводили в поездках по Мексике, по необыкновенно живописным городам, хасиендам, развалинам, видели интересные пейзажи и встречали людей.

В ожидании Вашего ответа авиапочтой остаюсь искренне

Ваш С. М. Э.

Ребята шлют Вам свой сердечный привет.

Дорогой друг Лев Исаакович!

Параллельно этому письму идет нормальной почтой пакет фотографий «Мексиканской картины», заготовленный давно, но задержанный, чтобы его дополнить и отправить сразу.

Настоящее письмо вызвано особыми обстоятельствами, [оно] летит по воздуху «совершенно конфиденциально» и требует Ваших наисрочнейших советов и указаний.

Вы помните, что мексиканская экспедиция, помимо прямой цели «победы над звуком», имела еще побочную — «передышечную» в отношении американских предложений.

Сейчас первое такое появилось. И если

я в общем настроен очень скептически к голливудским благам, настоящее представляется в такой неожиданной и интересной форме, что заставляет, в силу своего всестороннего интереса, очень сильно задуматься: дело идет о съемке картины в... Индии. Повод — книга Киплинга «Ким».

Интерес поездки советских людей по Индии сейчас — не мне Вам излагать, — как ни странно, одним боком — и очень серьезным, — и этот вопрос упирается в Монтегю — он племянник бывшего вице-короля, а сейчас этот пост будет (или уже) занят его двоюродным братом, но это дело десятое, хотя очень важное. Прецедент к тому же был — Монтегю «ввозил» и Пудовкина и нас в Англию до «Признания»!

Предложение исходит от нашего бывшего Supervisor'a¹¹ в Paramount'e. Он был в течение ряда лет associate producer¹² — руководил производством всех картин Янингса, Штернберга, «Vagabond king»¹³ и прочими миллионами (как «Патриот»).

Разошелся он с Paramount'ом за месяц до нас вследствие столкновения с Chevalier¹⁴ в связи с его последней картиной. В настоящее время ведет большие дела и, по контракту с владельцем прав на «Ким», а является «Sole producer'ом и distributor'ом¹⁵ этого материала. Вчера мы получили от него предложение ставить эту вещь в Индии, причем у него уже есть договоренность о прокате через... Paramount.

Повторяю. Любое чисто голливудское предложение оставило бы нас достаточно скептическими — звук достигнем на мексиканской синхронизации, но здесь настолько интересное дело, что мне кажется, отказываться хотя бы от внимательного его рассмотрения не следует.

Сейчас пишем Вам лично и просим обдумать и посоветовать.

Перед нами лежит «букет» писем из Москвы, начиная от Пудовкина и до одного оператора, ведущего, кроме операторской, еще и «операционную» работу в кинопромышленности. Между ними фэксы, Аташева, Шуб и т. д. и т. д.

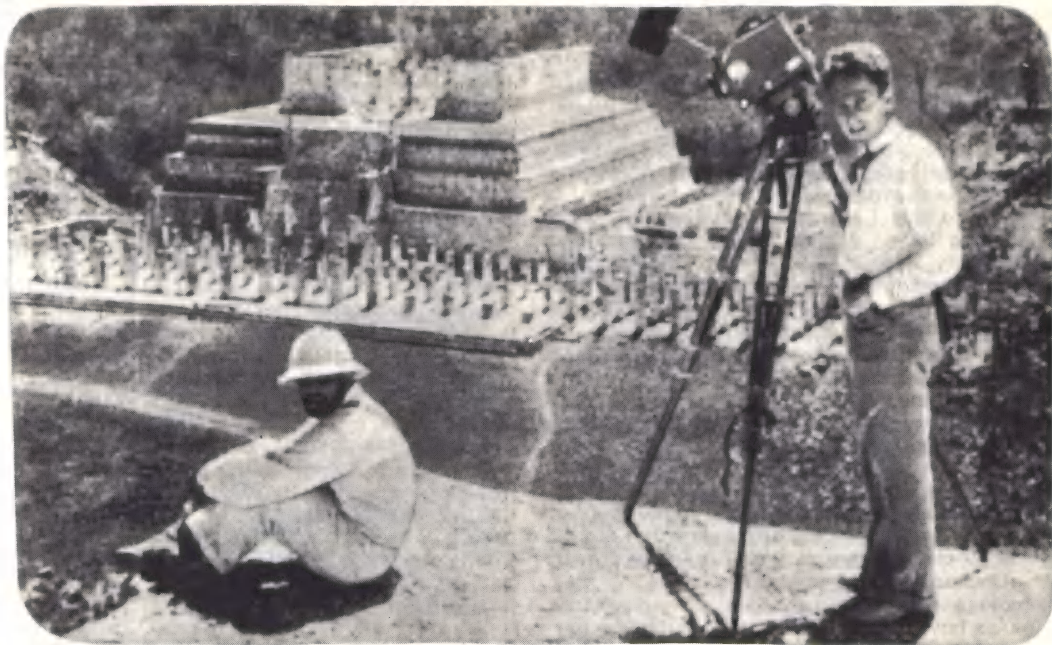
Свертывание [кино]производства катастрофическое.

Сокращения идут каждый день.

Сокращен, например, такой оператор, как Левицкий!¹⁶

Пленки нет совершенно.

Со звуком **ничего** не делается. О договоре с Америкой думать нечего. В общем, вся обстановка, которую нам излагал в N. Y. [Нью-Йорк] Коффеман (в свое время), но с большими ухудшениями. Картины



На съемках.

не ставятся, и, как всегда в такие периоды, только интриги и грызня.

И встает совершенно естественно вопрос — не больше ли пользы для союза сейчас снять картину вне его — без затраты наших средств и пленки и затем ее ему предоставить? (Как с мексиканской картиной — фотообразчики коей Вы увидите.)

В данном случае, думаю, будет легко добиться и % Wored-Distribution¹⁷, так как дело в руках одного человека.

Заинтересован он в нас изрядно и знает нас досконально, ибо все 7 месяцев у Parataunt'a мы были в его ведении, и оба подготовленных сценария шли через него. Отношение к нам более чем лояльное и у Parataunt'a, и после Parataunt'a, и после нашего ухода из Parataunt'a.

Дело во всех отношениях серьезное, и мы очень и очень ждем Ваших срочных соображений и советов.

Никуда об нем не пишем. Ему ответили, что вне вопроса материальной заинтересованности «Амкино» ни в какие детали не входит (письмо идет одновременно с письмом Вам). По получении ответа могли бы сейчас же Вас свести с ним (он сейчас в Нью-Йорке) и войти с официальным докладом Вам и, если нужно, «Амторгу».

Очень просим «разориться» на letter¹⁸ — если таковой не сможет изложить всех Ваших указаний, дайте в нем схему Ваших соображений и шлите air mail¹⁹ в деталях.

Привет от всех нас. С. Эйнштейн.

Дорогой друг Лев Исаакович!

Сегодня сразу получил два Ваших письма от 1 и 4 мая. Мы сейчас на hacienda²⁰ в 2 часах езды от Мексики, где будем снимать недели две одну из серьезнейших (для нас) частей картины: труд на безграничных плантациях магея²¹, принадлежащих богатейшим помещикам. Обстановка и атмосфера настолько напоминают не то, что предшествовало 17-му году, но скорее 1861-му («освобождение» крестьян), что мы наши эпизоды, вероятно, вынесем в обстановку 15—20 лет назад!

Однако по существу Ваших писем.

1-е Ваше письмо о Бахмане меня отчасти порадовало, ибо Вы как будто благоприятно смотрите на это дело. С другой стороны, оно меня и встревожило — не слишком ли Вы «нажали» на Бахмана и

не «спугнули» ли Вы его?! Человек он, как все голливуды, очень опасливый, и с ними надо очень осторожно вести дело в предварительных стадиях и «везарять» в верный момент. Может быть, я и не прав, но факт тот, что я уже дней десять о нем ничего не слышу, хотя по предварительной телеграмме должен был иметь сведения еще неделю тому назад!

So far about Bachmann²².

Теперь 2-е — о моей телеграмме: дело в том, что у нас с Вами была как-то «размычка» в письмах — каких-то писем Ваших я не получил — Вы на них ссылаетесь (например, о паспортах), я же их не получил. Дело в том, что заказные письма нам вслед не высылают и держат на почте только месяц, после чего возвращают их обратно — так у меня, например, за пребывание в Мериде пропало около десяти писем со всех концов света, в том числе и из N. Y. (Нью-Йорка) — вероятно, от Вас. За Tehuantepec²³ тоже что-то не дошло. В частности, например, мы ничего не знали о полученном Вами в марте письме о нас от «Союзкино», цитируемое Вами. У нас же создалось впечатление, что твердый срок нашего пребывания за границей определен 1 июня. По крайней мере московские друзья почему-то все ждут нас к этому сроку! Находясь же в начале мая между небом (пирамидами!), землей и морем с нетвердым местопребыванием, мы решили телеграфировать Вам, обеспокоенные близостью сроков, чтобы не допустить дело до слетен «невозвращенчества» и прочих «мерзостей»!

Сколь можно подробно, Вам Гриша выстукает на машинке о содержании мексиканской картины («сколь можно» и по цензурным соображениям!), я же, со своей стороны, должен добавить, что производственная обстановка здесь очень трудная, начиная с погоды (очень неровной, удлиняющей съемки процентов на 50!) и кончая разноязычными людьми, при отсутствии «штата» и необходимости из-за разноязычия, разноплеменности и разноправности каждой части Мексики все время пользоваться разными и новыми людьми. Братец жены Синклера тоже «золото»... («образчик» Вы имели с Оахакой — и это еще «ничего!»). Большие переезды. Необходимость осваиваться с совершенно непохожими обстановками: бытовыми и людскими. Все это увлекательно для старых боевых коней, несравненно с атмосферой затхлой рутины калифорнийского паридиза, но... берет уйму времени!

Однако надеемся, что месяца в два, два с половиной достигнем все, ибо наиболее трудное — организационное и путешествующее — преодолели, и, если не «зарезет» солнце, все будет в порядке (остались 3 переброски, но все по одной линии от Мехикосити к Тихому океану по ранее обследованным местам). За месяц-полтора смонтируем и озвучим. Затем домой, или, если Бахмана не «спугнут» и Москва будет согласна, новый рейс «летучих голландцев»! Anyhow²⁴ думаю, что с дорогой обратно и всеми непредвиденностями (а здесь их уйма) все это обойдется месяцев в 5—6, на что и надо ориентироваться, чтобы не «выцганивать» по тридцать дней добавочных!

Прочел на днях в «Пролетарском кино» (каким-то чудом оно дошло, к удивлению портье Hotel'я, ибо все печатное русское «пропадает») очень симпатичную статью некоего Л. М. о «группе Э-а в Мексике»²⁵. Вы, вероятно, номер тоже читали и видите, что обстановка именно такая, как я Вам писал: к списку «сокращенных» добавлены Оболенский и... Турин²⁶. Если выставили делателя «Турксиба», со всей его внутренней и международной «котировкой», то сворачиваются там весьма серьезно. В письмах хвалят «Одну» фэкс — это Вас порадует²⁷ [...].

Всегда Ваш

С. Эйзенштейн.

Дорогой друг Лев Исаакович!

Шлю Вам второе письмо, не дожидаясь Вашего ответа, — только что получили первую партию отпечатков фотографий, и спешу Вам их послать (один комплект шлю прямо Шведчикову²⁸ в Москву), так что этот материал весь для... по Вашему усмотрению. Напишите, что Вы думаете об них. Фото идут одновременно и Sinclagu²⁹ — я очень боюсь, чтобы он опять чего-либо «поперек» не сделал. Не откажите написать ему, когда Вы передадите фото, чтобы они там не путались. Хорошо бы было [их] устроить в «Vanity Fair»³⁰. Как у Вас с ними отношения?

Работа идет сейчас очень интенсивно — работаем в Юкатане (golf of Mexico Флориды)³¹ — снимаем пирамиды и... бой быков. Но темп мексиканский ужасен — это затягивает время, и я очень боюсь, что придется опять просить Москву о некоторой оттяжке! By the way³², что слышно о наших паспортах и почему Вы не пишете?

Ждем Ваших писем и остаемся сердечно Ваши

С. Эйзенштейн «и сыновья».

Дорогой Лев Исаакович!

Наконец получил Ваше письмо — никаких особых осложнений на этот раз не было — просто мы так приучены к promptitude³³ Ваших ответов, что этот, застрявший, нас встревожил! К тому же всегда еще несколько дней запоздания, пока привозят почту сюда.

Очень рады, что экспозе³⁴ сценария встретило более «ласковый» прием с Вашей стороны, нежели фото... Конечно, это будет большой фильм и, конечно, большое количество «экзотической» музыки — здешней.

Позитив для просмотра Вам сейчас невозможно отправить, ибо из лаборатории (Голливуд) его шлют сюда, где по мере достаточного накопления он должен цензурироваться. А обратно уже пойдет с нами вместе.

С хроникой дело очень сложное³⁵⁻³⁶ — проявлять приходилось бы здесь, что очень дорого (см. прецедент с Оахакой!). Через Голливуд — невероятная путаница и необходимость возвращать сюда для цензурирования — и затем со всем цинизмом.

Это «обокрадет» картину! Помимо же сего, каждая минута солнца начеку для фильма, снимать же дрянь без солнца — кому охота.

Об нашем деле у нас уже есть информация (частная) из Москвы — отпуск нам продлен до... ноября. Так что все в порядке. Отчетом нашим довольны, также и фотографиями (там на этот счет менее «пресыщены», чем представительства в Штатах!)...

«Kim», полагаю, «похоронен». С Paramount у Бахмана не вышло. Даже хуже — они перебили у него идею и сами затевают какую-то картину по одному из bestseller³⁷ на тему Индии [...].

Скорому отъезду нашему погода противится всеми имеющимися средствами, и успешно.

Сердечно Ваш

С. Эйзенштейн.

Привет от всего «ganga»³⁸.

Могу Вас обрадовать — визы в Штаты нами уже получены — вторичный въезд, оказывается, очень легкое дело. И опять же протекция Clark'a³⁹.

Теперь есть одна посольская протекция — испанским послом сюда приехал мой старый московский приятель Альварецдель Вайо, бравший в свое время у меня интервью для испанских журналов и книг.

Был он в Союзе 4 раза, показывал [в Испании] со вступительным словом и громад-

ным успехом [фильм] «Старое и новое» сразу же после переворота⁴⁰.

Дорогой друг Лев Исаакович!

1 июля 1931 г.

Ответ на Ваше письмо от 18/VI-31, полагаю, опередил наше получение этого письма! Недавно отправили письмо о посылке Б. З. Ш[умяцкому] письма, отчеты и фото и о получении виз на въезд в США. Останется лишь подтвердить сие и добавить, что все дело в «руце божией» — в солнце.

О прибавившихся затруднениях финансового характера Вы знаете уже от Синклера. О возможных ответах на добавочное финансирование с нашей стороны я догадываюсь!

Мне дело представляется только в одном решении, а именно: использовать «звук-вой» резерв на досъемки здесь; а получить в Голливуде денег на озвучание доснятого и смонтированного позитива картины самое легкое дело. (В крайнем случае можно просто заложить немой позитив и озвучить его на эти деньги!) Так заканчиваются немало «независимых» продукций. Скомкать же (и даже не скомкать, а просто сорвать) очень здорово идущее дело и дико и невозможно.

Дорогой Лев Исаакович, Вы нас очень обязали бы, если бы, со своей стороны, указали Синклеру также на этот путь, как на наиболее рациональный. Больше того — единственно мыслимый: под готовую смонтированную немую фильму деньги на звук всегда найдутся!

Домой нам хочется гораздо больше, чем you might think!⁴¹ Но мы же не для радости сидим здесь — жалованье нашим семьям лежит на наших совестях, — и единственная возможность рассчитаться — максимальной рентабельностью настоящей картины, а сие значит качество, качество, качество — ни спешки, ни паники!

Продолжаем получать регулярные сведения о ходе производства у нас. Хуже и хуже — сейчас острый кризис пленки. Оператор Д. пишет, что сидит [их группа] в ожидании 360 метров пленки три недели... Это тоже поедание жалований и, думаю, с меньшим конечным эффектом, чем в нашей работе сейчас!

Живем бивуачно, работаем, как звери, — не примите нас за загулявших сибаритов! За лимиты отпущенного «Союзкино» времени надеемся не вылезть (нам сообщили о первом ноябре).

И остаемся в ожидании Вашего письма сердечно преданные Вам

С. Эйзенштейн с группой.



Кадр из фильма С. Эйзенштейна о Мексике.

Дорогой Лев Исаакович!

Очень тронут Вашим дружеским вниманием в отношении моего здоровья. Сейчас я уже на ногах, хотя чувствую себя еще довольно слабо. Это была острая ангина, но в здешних горных условиях все проходит очень мучительно.

Accident⁴² на съемке ни в какой связи с моей болезнью. Это перевранное дурацкое сообщение, данное этим блаженным алкоголиком Кимбро! Accident произошел даже не на съемке, а дома у одного из индио. Если я двигаюсь на поправку, то, увы, о погоде этого сказать нельзя. Вся Мексика под небывалыми дождями — есть районы, где размыты ж. д. и прерваны сообщения.

И это, по данным метеорологических станций, еще на... месяц! У меня голова кругом идет со сроками! Совершенно чудовищно. И не забудьте, что мы здесь буквально отрезаны от мира! Если бы не несколько книг, присланных Синклером, можно было бы повеситься (книги — не его сочинения!).

Кроме того, ничего нельзя предпринять — вроде переброски в места, где [есть] шансы скорее окончиться дождям. Вы знаете осложнения с деньгами. Здесь мы живем, почти не тратясь, и можем пережить, но сдвинуться пока просто **не на что!** Александров совсем выбыл из строя — он уже 1½ месяца не с нами и проходит очень серьезное лечение в Мехико-сити. Пишите, пишите.

Всегда Ваш С. Эйзенштейн.

Привет всем, всем.

Да! By the way⁴³ — нами найдены имеющиеся здесь наши фильмы — 35 названий (все крупные картины). По предварительной информации, они были конфискованы Лондонским банком в счет задолженности ему 3000 пезо. (\$ 1500). Наведем точные справки и дадим Вам об этом знать.

Сейчас здесь организован cine-club⁴⁴ и будут устраиваться закрытые просмотры. Цензурного запрета ни на одну из картин нет — это все вопрос чисто коммерческого порядка. Выкупить их, думаю, можно при умелом обращении, вероятно, и дешевле, ибо в настоящем виде они абсолютно мертвый груз.

Ваш С. Эйзенштейн

21. VIII. 1931.

Дорогой друг Лев Исаакович!

Совершенно напрасно к концу письма Вашего об «Американской трагедии» Вы «связзнули», что мы «скрывали сценарий» от Вас: когда Вы были у нас в... дело еще

только строилось, а потом, после развала, о сценарии меньше всего хотелось думать! Теперь, когда Вы видели Штернбергово детище⁴⁵, могу Вам указать две-три «разницы» наших концепций: собственно расхождение с Р. [«Парамаунт»] началось с момента, когда Шульберг мне сказал, что они хотели бы, что «А. Т.» [«Американская трагедия»] была бы just a strong police and trial story⁴⁶ (это на все 100% сделал Штернберг) as far as I can judge⁴⁷. Мы же собирались «сжимать» именно эту часть (наш сценарий был сделан на 25% длиннее с целью ужатия после «разговоров» и возможности вносить коррективы), вставал даже вопрос о выкидке, в случае чего **именно** сцены суда. Последние никак не «драматичны» (если сравнить со специальными фильмами на судебные перипетии). Для меня весь интерес судебного конфликта — attorney⁴⁸ и защита строится на... выборной кампании, в целях коей обе партии исполняют процесс: одна — беря обвинение, другая — защиту. Весь интерес суда есть победа на выборах Мозона. Основной же интерес фильма, конечно, формирование установок на сложившуюся драму с детства Клайда, особенно чаевых и лакейской работы в отеле, навсегда извращающую возможность настоящего трудового подхода к действительности. Воспитание люмпен-пролетария, говоря высоким слогом. Ну и, конечно, ядовитейшее окружение в смысле сатиры. Также крайне любопытна фабрика воротничков во всей бытовщине американского предприятия (видел я этого немало!). Задача сводилась к тому, чтобы из океана слов извлечь костяк действительно трагической и чудовищной истории. Как подтверждает присланное мне Драйзером приложение к этому письму — оно вполне согласно с его supposition⁴⁹. И с нашими в тех пределах, которые казались возможными в США, но оказались невозможными! (Собственно, сейчас только я оцениваю ту панику, которую наш сценарий должен был вселить в сердечки могущих «Парамаунта»!)

Спасибо Вам большое за вырезки, и память, и заботы.

Письмо Б. З. [Шумяцкого] получил... Комментарии излишни, как говорится... Пишу ему. В работе мы сильно подвинулись — был солнечный прорыв, но, увы, это еще не конец! Когда Вы едете? Пишите и не забывайте. Сердечно Ваш

С. Эйзенштейн.

Привет от всех.

10.IX — 31.

Дорогой Лев Исаакович!

Спасибо за письма. Мы сейчас переживаем, кажется, самые крупные «цорес'ы»⁵⁰ за все время с нашего выезда — затруднения [денежные] перевалили мы уже за 7 частей — остается 3 — 4 (как видите, фильм будет настоящий во всех смыслах). Синклер и его родня, конечно, совсем не деловые — я не представляю себе, чтобы нельзя было найти 25—30—35 тысяч на окончание и синхронизацию!

Но они совсем не туда тычутся. С другой стороны, бояться хватких людей, как Бахман. А хуже всего, что воображают, что на чем ни остановись — будет картина! Так последняя «гениальная» мысль: из среднего эпизода сделать самостоятельную картину — продать и потом, досняв остальное, слепить еще одну! Правда, более скверных (композиционно) романов, чем те, что строит Синклер, найти трудно, но зачем же картины должны следовать тому же!

By the way⁵¹ мы имеем здесь большой success⁵² — показывали rushes⁵³ в испанском посольстве после большого дипломатического обеда трем министрам Мексики (у compris Estrada⁵⁴) и послали (у compris Mr Clark of USA⁵⁵). С отзывом в газете и восторженным благодарственным письмом испанского посла (это для Вашего очередного гарпорт⁵⁶ в Москву о нас) [...].

Нам в Москве уже готовят постановку к 15-летию юбилею и ждут чрезвычайно. Мы из шкуры лезем, чтобы все закончить скорее, но сейчас мне еще надо с деньгами возиться и стараться как-нибудь «делово» вытягивать дело, а это тормозит съемки!

Это мучительно очень, но никак же бросить нельзя — сейчас уже не только в отношении обязательств к «друзьям», но уже в отношении самой картины — она уже не пустяковый... а настоящая вещь (as far as now⁵⁷).

Пишите быстро и утешительно.

Всегда Ваш С. Эйзенштейн.

Дорогой друг Лев Исаакович!

Прежде всего это письмо — зависть, с маленькой буквы и с большой: Зависть! Вы едете, а мы еще конца не видим! Положение наше ужасно — сидим в хасиенде и через три-четыре дня в пятый снимаем по 3—4 часа! Изломать или выбросить этот эпизод невозможно — он приобретает характер центрального по значительности для нас (что самое главное) и одновременно для Мексики, где судьба

пеона и интерес к нему — самая популярная тема. Затем весь характер этой пулюковой страны — центра Мексики в полях, хасиендах и жуткой оголенности вражды — очень уж сильно и никак не travelogue⁵⁸.

Вчера и сегодня у меня гостит испанский посол (в Мексику). Еще при Альфонсе он устраивал закрытый просмотр «Потемкина», а сразу же после переворота в многотысячном «Casa del pueblo» [«Дом народа»] произносил вступительную речь перед «Старым и новым». Успех был очень большой (он четыре раза был в Союзе с 1922 по 1928). К сожалению, его присутствие на солнце никак не влияет, и мы со злости в бессилии кусаем кулаки. От Синклера ничего утешительного нет. Кимбро выехал в... (О, если бы он не вернулся!) Я думаю, что даже солнце из-за него не светит!..

Конечно, самое блестящее разрешение вопроса было бы с «Амторгом», но я даже надеяться боюсь. Конечно, забавнее всего относительная дешевизна всего этого дела — когда только подумаешь, что мой личный заработок у «Парамаунта» составил бы больше, чем все расходы по этой картине, вместе взятые! И все же мы ни минуты не сожалеем об этом!

В отношении Москвы, Лев Исаакович, у нас просьба только об трех вещах: доверие, доверие и доверие к нам. Чтобы не вздымались эти бесконечные внезапные паники по поводу нас. И доверие означает время. Здесь, Вы знаете, как нам трудно. Я не думаю, что в Голливуде будет быстро и легко. И там нам, «независимым», надо будет быть очень осмотровыми во всем, что касается звука, — семь раз отмерять, прежде чем резать. Вы же знаете, что за подлость техническая недобросовестность или злонамеренность. Опять же мы еще не знаем, с кем, как и в каких условиях будем все это делать. Было бы лучше всего, конечно, соединить синхронизацию с той фирмой, которая возьмется за прокат. Это было бы очень хорошей гарантией доброкачественности техники. Но все еще впереди — сейчас в мыслях лишь одно: как бы скорее вынырнуть из пулюкового болота-моря!

Шумяцкому все, что сумели, написали и расписали. По существу, это то же, что знаете о нас Вы — по форме, может быть, больше... слезы.

Дома очень плохо с пленкой — на картину в 2000 метров чистого негатива отпускается 2500! Эта пропорция, «спровоцированная» гетековским молодым и начи-

нающая входить в практику. Я — «старой школы» и не представляю себе, чтобы я мог сделать в таких лимитах! Рвушь в Москву, главным образом из-за школы⁵⁹. Так как о чем сейчас надо думать — это о «смене», к тому моменту, когда производство начнет разворачиваться снова всю, — отсутствие смены куда страшнее временного отсутствия пленки! (С другой стороны, появление редких молодых единиц, как Илюша Трауберг⁶⁰, — явление очень отрадное.) Это меня увлекает очень [...].

Наснимаем мы всю. Пользуем каждый маленький клочок солнца. Но клочки такие маленькие — не успеваешь камеру наставить.

Ждем мы очень и очень Вашего предъездного письма и, конечно, писем оттуда — хотя люди, попадающие в Москву, сразу же разучиваются писать.

(Из писем берлинских слышали, что Пудовкин снимает в... Гамбурге! Что — не знаем⁶¹.)

Кланяйтесь А. П., Б. З. Шумяцкому, Шведчикову и всем, всем, всем — успокойте их, что мы ни часа дольше не пробудем, чем необходимо для окончания картины, и всячески рвемся домой.

Желаю Вам всяческого счастливого пути и благополучия. На сколько времени Вы думаете ехать? Или навсегда! [...]

Сердечно Ваш

С. Эйзенштейн.

Дорогой друг Лев Исаакович!

1-е. Бесконечная благодарность Вам за все «трюки» с лицензиями.

2-е. Получили ли Вы Гришино письмо-доклад (в копии) в «Союзкино» о нашей будущей работе «Пятилетка», предусматривающей некоторые съемки в U.S.A. (на время, пока я буду резать [«Мексику»], а также о подборке специального хроникального материала в порядке закупки?

Письмо Вам пошло очень давно, и мы тут беспокоимся, что нет ни звука о нем от Вас.

Особо потому, что мы просим «Союзкино» о задержании Вас на некоторое время, чтобы Вы могли бы нам помочь (целиком с нами)?

Что же Вы ничего не пишете об этом? [...]

С сердечным приветом

С. Эйзенштейн.

Дорогой друг Лев Исаакович!

С большой грустью читаю Ваше письмо

от 3. XI-31 (только что его получил, вернувшись из Пуэблы) — такое оно «прощальное». Неужели же правда, что Вы уезжаете? И «эгоистически» не хочется этому верить — насколько надежнее с Вами — и в отношении «Амкино» не представляю себе, как новый человек сможет управиться со всеми этими делами.

Из Москвы ни звука — ни о Вас, ни о нашем проекте. До последней минуты надемся на решение о Вас, но они молчат, как зарезанные!!! Хотя уже сейчас у них на руках подробные планы по остальной [части] фильма и разработка заграничной части. Эти же все материалы мы разослали в АРРК, РАПП и Кириллу Ивановичу⁶² (лично и для его «учреждения») — с тем, чтобы сейчас же привлечь к делу всю общественность. В отношении же «толков» лучшее — это конкретная деловая программа, чем любые «оправдания» и «лояльничанье». Тов. Юкову (АРРК)⁶³ пошло особое поручение — провести обсуждение дискуссии и прочее представительство по проекту «Пятилетки» через АРРК — лично. Это нам здорово подготовит дело, ибо на выделенную группу АРРК ляжет и проработка материалов с таким расчетом, чтобы немедленно с нашего «перезаставления» здесь пуститься в работу там. Здесь дело пойдет очень быстро — погода сдвинулась, и продуктивность возросла колоссально. Смять же нам никак не хотелось бы ту часть, которая нам особо дорога (сделана будет по Джонку Риду) — эпизод «Солдадеры» — органически совершенно необходимый.

При происшедших коренных переменах в правительстве здесь нам сильно облегчают работу (например, министр просвещения — прежний в Вашингтоне послом — тоже, лучшие отношения с ним) — тот самый адвокат, который добился нам въездных виз в Мексику, после того как сперва не хотели их дать. Он же был первым встретившим нас на вокзале, когда мы приехали. И в таком же роде остальные. Сильно рассчитываем на ускорение благодаря всему этому.

Очень Вам благодарен за письмо. Синклеру о «Парамаунте». Пока новостей еще нет, но скоро будут, ибо м-с Пэйн с Диэго Риверой выехали в Нью-Йорк (15-го она открывает его выставку в Museum of Modern Art⁶⁴). Вообще с Синклером у нас отношения сильно обострились (даже очень), [но] сейчас вопрос финансов уладился — [и] полегчало. Но виной всему этот дурак Кимбро, разоряющий старика идиотским

поведением и полным mismanagement'ом⁶⁵. Так как моральная ответственность за картину [лежит] на мне, я, наконец, был вынужден отправить Синклеру полную картину о его beau-frère — уже пять дней не отправляю письма, все еще «взвешиваю», но поедет завтра. Если будете [Синклеру] писать на прощание, упомяните вскользь, что думаете, что не только мы виноваты в сметных «перехлестах».

Видимо, «эксплуатировать» Вас будем до последнего вздоха на американских землях! Но я хочу еще [просить Вас] по одному делу: Вы были так добры, приславши «New Republic». Я эту статью уже видел и был глубоко возмущен (несмотря на очень милую в целом) тем местом, где говорится, что «впервые в жизни» возмел возможность творить свободно».

Это самая б... линия в отношении советских работников, и в устах квакерски умеренных социалистических органов особенно паскудно. Теперь [возникает] вопрос чисто тактический: следует ли возмущению моему дать ход и печатать ответное письмо по этому пункту, или не обращать на это сугубое внимание, соблюдая, с другой стороны . . . в отношении «New Republic». У меня руки чешутся огрызнуться, но я не считаю себя вправе решать этот вопрос за себя и единолично, особенно зная симпатичное

расположение к нам со стороны «New Republic».

Посему шлю Вам черновик письма в «New Republic»⁶⁶. Если Вы (а [может] быть) и товарищи решите, что следует их одернуть, не откажите дать перекатать на машинке (предварительно подправив ошибки моего английского языка) и с запиской редакции переправьте им. Ежели это дело лучше не «поднимать на хай», схороните письмо где-нибудь у себя в архиве. Лично я — за опубликование (может быть, Вы найдете нужным слегка, но не больше! смягчить тон — мягчите его!)

Неужели же это последний обмен с Вами до Вашего отъезда? [...]

Будем Вам писать на Берлин, а потому никак не хотим прощально оформлять это письмо, ни писать Вам благодарность (что и трудно высказывать словами в наш несентиментальный век!). За все то изумительное товарищеское и дружеское отношение Ваше, которое Вы всегда к нам проявляли советом, помощью, а иногда очень кстати и... «матом», в случаях, когда мы по неопытности зарывались.

Ну ладно! Не будем вдаваться в подробности, но будьте уверены, что эти вещи не забываются и в нас Вы имеете всегда самых верных и надежных друзей.

Всегда Ваш С. Эйзенштейн.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Эйзенштейн благодарит за присылку советских кинофильмов, которыми он иллюстрировал свои доклады и выступления в США.

² Чарли — Чарльз Спенсер Чаплин; Кинг Видор — прогрессивный американский кинорежиссер, автор фильмов «Толпа», «Аллилуйя» и многих других.

³ Эйзенштейн имеет в виду киносъемки землетрясения в районе мексиканского города Оахока, которые были произведены группой

Эйзенштейна 16 января 1931 года. Эта единственная кинолента о землетрясении в Оахока демонстрировалась в Мехико через 48 часов после землетрясения. Эйзенштейн послал эту киноленту и в Москву, но по вине родственника Синклера Кимбро она так и не попала в Советский Союз.

⁴ Набор (англ.).

⁵ «Американскую трагедию» Т. Драйзера после разрыва Эйзенштейна с «Парамаунт» экранизировал американский режиссер Джозеф Штернберг в 1931 году. Драйзер одобрял сценарий Эйзенштейна; в сентябре 1931 года он писал ему: «Как Вы думаете, могут ли когда-нибудь в России экранизировать «Американскую трагедию»? Мне бы этого хотелось. Во

всяком случае, я хочу, чтобы Вы знали, что я с величайшим восхищением отношусь к Вам и Вашей работе».

⁶ Не приобретали права экранизации (англ.).

⁷ Айвор Монтегю — английский политический и художественный деятель, друг Эйзенштейна и Советского Союза. Лауреат Ленинской премии мира, соавтор Эйзенштейна по американским сценариям, автор воспоминаний, книги о фильме Эйзенштейна «Иван Грозный» и других работ о советском кино.

⁸ Некоторые деловые письма Монозону Эйзенштейн писал по-английски, чтобы ускорить их прохождение через негласную цензуру.

⁹ Имеется в виду несчастный случай на съемках.

¹⁰ Фиеста — праздник.

¹¹ Супервайзер — руководитель производства фильма в американском кино. Здесь Эйзенштейн имеет в виду американского кинорежиссера Бахмана.

¹² Помощник продюсера (англ.).

¹³ «Король - бродяга» — музыкальный фильм.

¹⁴ Шевалье Морис — известный киноактер и исполнитель эстрадных песен.

¹⁵ Продюсер и прокатчик, обладающий монопольными правами на данный фильм.

¹⁶ А. А. Левицкий (1888—1965) — старейший русский советский кинооператор, лауреат Государственной премии, профессор ВГИКа.

¹⁷ Мировой прокат (англ.).

¹⁸ Письмо (англ.).

¹⁹ Авиапочта (англ.).

²⁰ Хасиендо — поместье крупного землевладельца в Мексике.

²¹ Магей — порода кактусов, которая разводится на специальных плантациях Мексики.

²² Пока все на счет Бахмана (англ.).

²³ Техуантепек.

²⁴ Как бы то ни было (англ.).

²⁵ Корреспонденция «Группа Э-а в Мексике», подписанная «Л. М.» (Лев Монозон), была напечатана в 1931 году в журнале «Пролетарское кино».

²⁶ В. А. Турин — советский кинорежиссер, автор документального фильма «Турксиб».

²⁷ Фильм «Одна» был поставлен в 1931 году режиссерами Г. Козинцевым и И. Траубергом, в молодости

именовавшими себя факсами (от слов «фабрика экспериментического актера»).

²⁸ К. М. Шведчиков — старый большевик, в конце двадцатых годов — начале тридцатых был руководителем «Совкино».

²⁹ Синклеру.

³⁰ Иллюстрированный журнал.

³¹ Мексиканский залив.

³² Между прочим (англ.).

³³ Быстрота (англ.).

³⁴ Здесь — либретто, изложение.

³⁵—³⁶ Здесь имеется в виду вопрос о проведении киногруппой Эйзенштейна хроникальных съемок в США и Мексике для будущего фильма «Пятилетка».

³⁷ Бестселлер — книга, пользующаяся большим читательским успехом (англ.).

³⁸ От всей банды (англ.).

³⁹ Кларк.

⁴⁰ Здесь имеется в виду буржуазно-демократическая революция в Испании, свергнувшая в 1931 году монархию и провозгласившая республику.

⁴¹ Вам может показаться (англ.).

⁴² Происшествие (англ.).

⁴³ Между прочим (англ.).

⁴⁴ Киноклуб (англ.).

⁴⁵ Имеется в виду экранизация американским кинорежиссером Штернбергом «Американской трагедии» после разрыва Эйзенштейна с фирмой «Парамаунт».

⁴⁶ Только добротной полицейской и судебной историей (англ.).

⁴⁷ Насколько я могу судить (англ.).

⁴⁸ Прокурор (англ.).

⁴⁹ Намерение (англ.).

⁵⁰ Цорес'ы — ироническое: «несчастья».

⁵¹ Между прочим (англ.).

⁵² Успех (англ.).

⁵³ Первая копия отснятого материала (англ.).

⁵⁴ Включая эстраду.

⁵⁵ Включая мистера Кларка из посольства США.

⁵⁶ Доклад, рапорт (англ.).

⁵⁷ Насколько я знаю (англ.).

⁵⁸ Травелог — жанр фильма-путешествия.

⁵⁹ «Из-за школы...» — имеется в виду Государственный институт кинематографии (ныне ВГИК), где С. М. Эйзенштейн преподавал до отъезда в Америку и куда вернуться обещал в письме из Мексики, опубликованном в газете «Кино» 1 сентября 1931 года. Свое обещание Эйзенштейн выполнил вскоре после возвращения на Родину.

⁶⁰ И. З. Трауберг — советский кинорежиссер, был ассистентом Эйзенштейна по фильму «Октябрь». В 1930 году поставил фильм «Голубой экспресс» по теме, рекомендованной и консультированной Эйзенштейном.

⁶¹ В. М. Пудовкин (1893—1953) — выдающийся советский кинорежиссер, большой друг Эйзенштейна. В Гамбурге снимал свой фильм «Дезертир» (1931).

⁶² К. И. Шутко.

⁶³ К. Ю. Юков (1901—1938) — кинокритик, был в те годы председателем Ассоциации работников революционного кино (АРРК).

⁶⁴ Музей современного искусства.

⁶⁵ Нерасторопность, нераспорядительность (англ.).

⁶⁶ Это письмо опубликовано не было, не обнаружено оно и в архивах С. М. Эйзенштейна и Л. И. Монозона.

И. Желвакова

Из записок прошлого столетия

22 июля 1860 года А. И. Герцен впервые упомянул о «Записках Энгельгардта»: «Мы имеем перед собой выпущенные места из записок Энгельгардта...»¹

А в начале 1861 года «эти любопытные»² отрывки («Записки Л. Н. Энгельгардта» напечатаны в Москве в 1860 году, in 8, с пропусками, как сообщалось в примечании лондонских редакторов) уже набраны в Вольной русской типографии на Thornhill place, 5 для второго «Исторического сборника».

Что же заинтересовало Герцена в отрывках из «Записок Л. Н. Энгельгардта», какова судьба этого сочинения и пути его проникновения из самого центра России на передовую позицию вольной печати?

Об этом интересно рассказать.

В небольшом сельце Муранове Дмитровского уезда Московской губернии, где теперь живут поэтические тени Баратынского и Тютчева, в первые десятилетия XIX века обосновался вышедший в отставку генерал-майор Лев Николаевич Энгельгардт.

Отрешенный временем от былых тревожных и славных дел, современник четырех императоров, живой свидетель создававшейся на его глазах истории и острый ее наблюдатель, Энгельгардт, достигнув 60-летия, начал вспоминать.

В 1826 году он высказывал сожаление, что начал писать свои записки слишком поздно, когда «многое интересное было уже забыто», когда свежесть впечатлений покоилась под тяжким грузом прожитых лет.

Но он недооценил запас своей памяти. Звон литавр и победный марш российских войск, с которыми он проследовал не одну военную кампанию, не заглушили в нем простые и ясные воспоминания о времени, о себе, об истории, ее действительных строителях и мнимых участниках.

Он истинно писал мемуары, а не дневник, ибо, отступив от места происхождения на известное расстояние, он не мог различить все мельчайшие детали происходившего, но увидеть реальную высоту и значимость событий и произвести их некоторый отбор сделалось значительно легче. Хотя, впрочем, Энгельгардт больше вспоминал, чем оценивал, больше рассказывал о том, чему был свидетелем, чем размышлял о всеобщих причинах и следствиях.

А вспомнить и рассказать он мог о многом³.

Раннее детство в смоленском дворянском гнезде, первые, не совсем удачные шаги в ученье, 16 лет, пройденные по дорогам войны и мира (Турецкая война 1787—1791 годов и Ясский мир, Польская кампания и раздел Польши и т. д.).

Адъютант светлейшего князя Потемкина в начале своей карьеры, современник Суворова и Румянцева-Задунайского, свидетель придворной жизни екатерининского века, он не мог обойти молчанием столь прославленных российских мужей (совершенно естественно, дав им свои сугубо личные, очень субъективные характеристики), не мог он оставить без внимания события далекого былого и недавнего прошлого, о которых предпочитали не вспоминать.

Энгельгардт вспомнил и о «повреждении нравов» при екатерининском дворе, и о погранной русскими штыками польской конституции и свободе, и об «апоплексическом ударе» Павла I; он пытался рассуждать об истинном лице Александра I и его втором «я» — Аракчееве.

Семеновская история 1820 года, становившаяся героической легендой о русском свободолюбии и человеческом достоинстве, ожила на страницах его воспоминаний.

Читая эти записки своему семейству и некоторым коротким приятелям, он, вероятно, никогда и не думал, что они выйдут из привычного родственно-дружеского круга, станут известными не только в России, но и за ее пределами.

В ноябре 1836 года Л. Н. Энгельгардт скончался. В 1844 году не стало нового владельца усадьбы, Е. А. Баратынского, и сельцо Мураново досталось по наследству младшей дочери Энгельгардта Софье Львовне, бывшей замужем за Николаем Васильевичем Путятой (старшая дочь Энгельгардта Анастасия была женой Е. А. Баратынского).

Н. В. Путята, писатель и библиофил, активный участник Московского общества

любителей российской словесности, приятель А. С. Пушкина⁴ и друг Е. А. Баратынского, мог по достоинству оценить записки своего покойного тестя.

Но в конце 30-х годов они бесследно исчезли.

Впоследствии, в 1858 году, когда «Записки» нашлись и готовились к печати, Н. В. Путьята вспоминал⁵:

«В первое время после его (Энгельгардта. — И. Ж.) смерти не хватились его записок, и они потом каким-то образом затерялись [...]. А. Я. Булгаков, знакомый с этими любопытными, по словам его, записками, неоднократно спрашивал меня о них и тем поддерживал во мне желание отыскать их...»

В данном случае Александр Яковлевич Булгаков, сын известного екатерининского дипломата, «знаменитый» московский почт-директор, прославивший среди современников весьма предупредительным и любезным человеком, руководствовался не столько природной склонностью к познанию всего нового и неоткрытого — на посту почт-директора он позволял себе, подобно Шпекину, такое невинное развлечение, как чтение чужих писем, — сколько действительной приверженностью к русской словесности.

Осенью 1858 года «Записки» наконец были найдены. По рассказам моим, продолжал свой рассказ Путьята, «один из мурановских дворовых старожилов [...] указал мне в амбаре [...] большой сундук, наполненный разным хламом; тут-то, между грудями полуистлевших бумаг с домашними счетами и ведомостями, открыл я тетрадки записок Л. Н. Энгельгардта, вложенные в толстой рукописи переведенной им книги «Le Triomphe de l'Évangile». Я с жадностью бросился на записки и, бегом прочитав их, привез сюда (в Москву. — И. Ж.). Здесь я предложил чтение их небольшому кружку людей, способных быть верными ценителями моей находки».

Установить имена участников этой встречи нам казалось немаловажным, ибо от каждого из них, несомненно, должны были тянуться нити к последующей истории едва не исчезнувшего сочинения.

Перелистывая письма Н. В. Путьята, которых он оставил (в силу своих огромных связей, интересов, вызванных общительностью характера и любовью к русской словесности) великое множество, обнаружилась его записка к С. А. Соболевскому от 31 октября 1858 года: «Нельзя ли будет Вам, любезный Сергей Александрович,

отобедать у нас в понедельник, 3-го ноября, в 4½ часа. Лонгинов, П. Долгоруков и Полторацкий будут у меня также в этот день. Мы намереваемся просмотреть вместе записки Л. Н. Энгельгардта. Пожалуйста, присоединитесь к нам, много одолжите. Искренне Вам преданный Н. Путьята»⁶.

Соболевский, Полторацкий, Долгоруков, Лонгинов...

Каждый из этих людей — своего рода феномен в истории русской литературы и общественной жизни, конечно, большего или меньшего масштаба.

Сергей Александрович Соболевский — «присяжный песнопевец» московской жизни, знаменитый поэт-юморист; его популярность безгранична, его эпиграммы, экспромты, остроты подхватываются на лету; его неистощимое остроумие порой беспощадно, у друзей оно вызывает улыбку, у новоявленных врагов — злобу и раздражение.

Сергей Дмитриевич Полторацкий — личность известная не только в двух столицах («белый медведь», по собственному его замечанию, которого «почтальоны мигом найдут» по одним инициалам⁷), но далеко за их пределами. Он объездил мир, все видел, все знает и имеет знакомых, меж которыми дистанция столь огромного размера, что вряд ли их можно собрать в одной гостиной. Он не раз шокировал и свое правительство, и своих именитых знакомых, но в этом его все же «перешеголяет» Петр Владимирович Долгоруков — «республиканец-князь» (по меткому выражению И. С. Тургенева), известный трубадур аристократизма (с 1859 года — эмигрант).

Михаил Николаевич Лонгинов претерпит поразительную эволюцию от усердного и скромного литератора, увлеченного поисками и популяризацией произведений запретных авторов (Радищева, Новикова), до чрезмерно усердного душителя передовой мысли на посту начальника Главного управления по делам печати (но справедливость требует сказать, что это было не в описываемое нами время, а значительно позже — в 1871 году).

Итак, собрался дружеский кружок, всех участников которого объединяет прежде всего один общий «недуг» — одержимость библиографическими разысканиями⁸.

Все они вместе — заядлые библиофилы. Об истинной «библиографической страсти», «библиофильских привязанностях» и «библиографическом самоотвержении»



ИСТОРИЧЕСКИЙ СБОРНИКЪ

ВОЛЬНОЙ РУССКОЙ ТИПОГРАФИИ

ЛОНДОНЪ.

Книжка первая.

Съ приложениемъ портрета Павла Глубокованнаго
въ Лондонѣ въ 1799.



LONDON

TRÜBNER & Co., 60, PATERNOSTER ROW.

1859.

лучше всего говорит переписка самих действующих лиц⁹.

Письма их полны взаимных просьб, библиофильских одолжений, обменов, сообщений о находках, посылках, приобретениях: в них сквозит то едкая «библиофильская ирония», то ни с чем не сравнимая, не понятная простым смертным «библиофильская радость» (недаром А. Н. Афанасьев, о котором речь пойдет дальше, делит все человечество на библиофилов и простых смертных¹⁰), то нескрываемое огорчение «библиографической утратой», выражения «библиофильской щедрости», а иногда самая чистейшая из всех библиографических страстей — зависть.

Встреча библиофилов состоялась 3 ноября 1858 года, а 28 ноября Н. В. Путьята уже закончил предисловие к «Запискам Л. Н. Энгельгардта», которые единодушно было решено напечатать, и как можно скорее («не касаясь почти их слога»).

Составить дополнительные примечания к «Запискам» взялся М. Н. Лонгинов, тогда уже известный своими критическими и библиографическими статьями. В этом жанре библиографии Лонгинов преуспел. И современники даже посмеивались над

этой его «слабостью» — ко всему составлять свои примечания.

Следы работы Н. В. Путьята и М. Н. Лонгинова над сочинением Энгельгардта можно видеть и сейчас. Рукопись из мурановского амбара благополучно перекочевала в государственное хранилище и теперь находится в ЦГАЛИ, в фонде Н. В. Путьята (№ 394), где числится под номером 223¹¹. На титульном листе «Записок» рукой М. Н. Лонгинова замечено: «Надобно поправить, не касаясь слишком слога и выражений, даже орфографии». На 170-м листе рукой Н. В. Путьята: «Описание наводнения, я полагаю, можно выкинуть, а разве оставить только то, что говорится о концерте, бывшем в пользу пострадавших».

Но издателей волновали не только вопросы стиля, орфографии и легко устранимых длиннот, встречавшихся в тексте.

На 164-м оборотном листе, где помещалось описание Семеновской истории (затем появившейся на страницах «Исторического сборника»), Путьята записал: «Все это очень верно, в мельчайших подробностях, но не знаю, может ли быть напечатано?»

Относительно некоторых других отрыв-

ков у издателей не было сомнений — они их просто вычеркивали, не представляя в цензуру.

В 1859 году «Записки Энгельгардта» в первый раз вышли, основательно сокращенные цензурой, в нескольких номерах катковского «Русского вестника» (заметим, что Катков в это время еще не принял своего привычного облика и «ходил в либеральных публицистах»), а в 1860 году после цензурного разрешения от 20 января — «в небольшом числе отдельных оттисков», быстро разошедшихся по рукам.

Вот об этом издании «Записок», в котором русский читатель недосчитался целого ряда страниц, и шла речь у Герцена во втором «Историческом сборнике»¹².

Обратимся к этим недостающим страницам.

Слово «фаворит», каждый раз сознательно вырезаемое цензурой из московского издания, возникает в первом отрывке лондонской публикации. Речь в нем идет о фаворите Екатерины II Александре Петровиче Ермолове, а в общем плане — об искусстве быть фаворитом, как этого достигнуть и как удержать преимущество.

Отрывок второй воскрешает польские события конца екатерининского царствования, историю знаменитого гродненского сейма 1793 года, собранного для «одобрения» русско-прусской конвенции о разделе Речи Посполитой.

Какими средствами это «одобрение» может быть получено («Наконец в одно такое заседание польский сейм был окружен 4 русскими батальонами с пушками...») — сюжет, очень характерный для русской истории.

Царствование Павла, подробно описанное в «Записках Энгельгардта», запретный сюжет убийства императора, проецируется в «Исторический сборник» одним недвусмысленным анекдотом уже александровского времени. Его любопытно привести:

«1801 год. После священнодействия коронации Александра I к престарелому иерарху митрополиту Платону подошел князь Zubov и сказал:

— Я думаю, Ваше высокопреосвященство устали.

— Очень устал, — отвечал митрополит, — однако ж, я думаю, что вы не заставите меня еще так устать.

— Не беспокойтесь, — возразил ему князь, — этот не ваш воспитаник!» (Платон был законоучителем Павла I).

В остальных отрывках «Исторического

сборника» логически прослеживаются отмеченные автором-современником изменения в характере Александра I в связи с главными обстоятельствами его царствования — первой кампанией против французов, Отечественной войной,граничными походами, поездками на конгрессы и т. д.

Победитель французов, «величайший политик», «великодушный и скромный благодетель рода человеческого», как он представлялся многим современникам в России и на Западе, совершенно развенчан Энгельгардтом, как коварный, мелкий, неприступный, обленившийся вконец монарх, отдавший полное свое доверие ненавидимому всеми русскими Аракчееву, а в конце царствования разваливший окончательно все отрасли российского управления и хозяйства. «Сначала, как я сказал, — замечал Энгельгардт, — казалось — хотел дать законы представительного государства, чем воспламенил дерзкую юность, но после напротив ввел строгий деспотизм...»

Семеновская история 1820 года, изложенная Энгельгардтом с большим сочувствием к судьбе семеновских офицеров, — сюжет, давно привлекавший внимание Герцена, занимает большую часть публикации. Впервые Герцен помещает рассказ одного из ее участников в III книге «Полярной звезды» 1857 года¹³, теперь, в 1861 году, он возвращается к свидетельству другого современника об этом благороднейшем бунте.

Таковы запретные отрывки из «Записок Энгельгардта», нашедшие убежище на страницах крамольного лондонского сборника, как несколько раньше — среди рукописных сокровищ московских библиофилов.

И первыми лицами, невольно причастными к распространению полного текста «Записок», конечно, оказались сами издатели — Путья и Лонгинов.

Увидев свое детище, столь изуверченное цензурой, они приняли его «врачевать». Н. В. Путья со свойственной ему библиофильской аккуратностью внес в экземпляр 1860 года все пропуски — от самых незначительных до самых крупных. Издатели постарались расшифровать все данные инициалами имени и вписать не проходившие цензуру дополнения из подлинника.

В музее «Мураново», в библиотеке Тютчевых хранится замечательный экземпляр «Записок Л. Н. Энгельгардта» (М., 1860), принадлежавший Путье. Все

вставки от руки сделаны Н. В. Путятой и в меньшей части — его компаньоном по изданию.

Можно предполагать, что такой личный экземпляр 1860 года был и у Лонгинова; с его дополнениями удалось найти лишь издание 1868 года¹⁴.

Сразу же после выхода книги всем ближайшим друзьям и особенно тем, которые присутствовали при рождении книги, издатели сделали свои библиографические подношения. Некоторым, наиболее заинтересованным, возможно, были подарены полные именные экземпляры с подробным дополнением выпущенных мест, другим лицам — просто экземпляры с дарственной надписью издателей¹⁵.

В конце февраля 1860 года «Записки» (и не один экземпляр) были получены С. Д. Полторацким, можно предполагать — от Лонгинова¹⁶. В «Списке лиц, которым были выданы книги» Полторацкий записал: «Посланы «Записки» Энгельгардта: во вторник, 1-го марта 1860 Яковлеву (Владимиру Александровичу) в Спб., Маше — в Авчурино»¹⁷.

Примерно в это же время экземпляр «Записок» был вручен С. А. Соболевскому. 28 мая 1860 года П. И. Бартенев, уже известный библиофил (к тому времени побывавший в Лондоне у Герцена и передавший ему знаменитые, неусыпно охранявшиеся правительством «Записки Екатерины II»), бывший в наилучших отношениях и с Лонгиновым, и с Соболевским, и с Путятой, писал Соболевскому: «Возвращаю с благодарностью Энгельгардта [...] Записки Энгельгардта я не получал до сих пор»¹⁸.

Был ли этот экземпляр дополнен издателями? Это можно считать вполне правдоподобным, хотя книга пока не отыскалась. В Музее книги Государственной библиотеки имени В. И. Ленина хранится один из 10 редчайших библиофильских экземпляров «Записок» 1868 года издания, подаренный С. А. Соболевскому Н. В. Путятой, с его собственноручными дополнениями на отдельных листах¹⁹.

Можно основательно предполагать, что издательские экземпляры получили и А. Я. Булгаков, и М. Н. Катков, и Н. В. Сушков, и другие, принимавшие участие в печати и «крещении» книги.

Библиофилы, не получившие издательских экземпляров, усиленно заполняли библиографические пробелы копированием вырезанных цензурой отрывков.

Точное время распространения «Записок» — март 1860 года — нам очень важно, ибо именно фрагменты из этого издания, «попавшие на Руси под цензурный молот», стали известны в Лондоне летом того же года.

Кто же доставил их Герцену?

Середину XIX века, отмеченную продолжающимися цензурными гонениями, претягивающими чрезмерно активному расклевыванию русской истории, тем не менее можно считать золотым временем русской библиографии. И чем больше свирепеет цензура, тем с большим воодушевлением библиофилы и историки собирают запрещенное и непротушенное, исковерканное и урезанное ею.

В Москве в 1858 году начинает выходить журнал «Библиографические записки», сплотивший вокруг себя крупнейших ученых и библиофилов: Е. И. Якушкина, П. А. Ефремова, Г. Н. Геннади, Н. В. Гербеля, И. Е. Забелина, М. Н. Лонгинова, А. Н. Пыпина, С. М. Соловьева, П. П. Пекарского, В. И. Касаткина, В. П. Гаевского и многих других. Редактором становится его организатор — «сказочник» Александр Николаевич Афанасьев.

А. Н. Афанасьев не только крупнейший фольклорист, но известный историк литературы (в 1850 годы печатается в «Современнике» и других журналах), приверженный к XVIII веку, усерднейший библиофил, чье собрание рукописных и печатных книг считается одним из ценнейших. В описываемое нами время он служит в Московском Главном архиве министерства иностранных дел правителем дел состоящей при архиве Комиссии печатания государственных грамот и договоров (что само по себе заслуживает внимания) и собирается отправиться в длительное заграничное путешествие. Об истинных целях поездки Афанасьева, побывавшего у Герцена и передавшего ему целый ряд материалов для его изданий, теперь известно²⁰.

Но почему Афанасьев заинтересовал нас в рассказе о злосключениях «Записок Энгельгардта»?

Дело в том, что в одной из уцелевших рукописных тетрадей Афанасьева наряду с пушкинскими материалами, попавшими с его помощью в VI книгу «Полярной звезды», находились интересные нас отрывки. На страницах 47—58 об. рукой А. Н. Афанасьева внесены дополнения к «Запискам Льва Николаевича Энгельгардта». Москва, 1860, в типографии Каткова и К^о, in 8, стр. 179²¹.

Сравнение выписок А. Н. Афанасьева с экземпляром Н. В. Путяты показывает, что Афанасьев, располагая аналогичным экземпляром «Записок», скопировал все дополнения, сделанные их редакторами²². Сравнение выписок Афанасьева с публикацией Герцена явно обнаруживает первоисточник — дополнения, сделанные Путятой. Правда, выписки Афанасьева намного шире, чем публикация Герцена (что исключает возможность обратного заимствования — Афанасьева у Герцена). И это понятно. Герцен, выпуская все дополнения и малозначачие отрывки, помещает рассказы цельные в композиционном отношении.

От кого получил Афанасьев экземпляр «Записок» если не в дар, то во временное пользование? Скорее всего от Лонгинова, «собрата» по сюжетам XVIII века, активного сотрудника «Библиографических записок», хотя не исключено, что распространившиеся в кругу библиографов «Записки» пришли от Соболевского, или Бартенева (с ним Афанасьев знаком по архиву МИД), или какого-либо другого библиофила, с которым велся негласный обмен материалами.

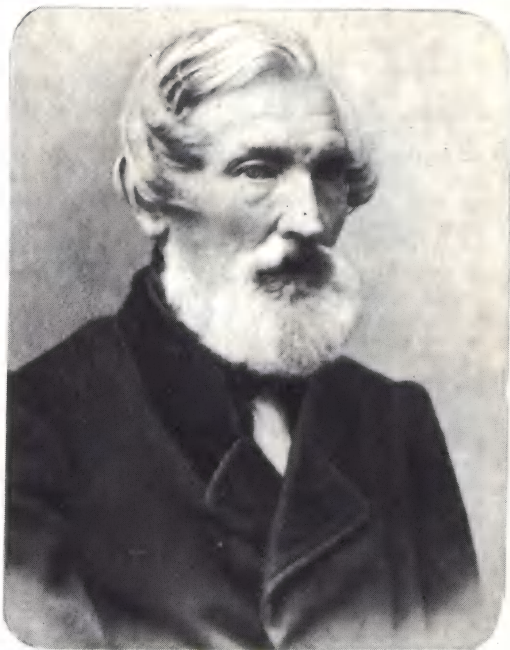
Так или иначе, у Афанасьева до отъезда за границу были дополнения к «Запискам Энгельгардта».

Явные улики налицо, но доказательств в пользу причастности Афанасьева к передаче материала Герцену еще недостаточно.

Обратимся снова к первому упоминанию о доставке «Записок Энгельгардта» — предисловию к «Запискам Лопухина», датированному 22 июля 1860 года. Вероятно, «Записки Лопухина» и «Записки Энгельгардта» пришли в лондонскую редакцию одновременно. Во всяком случае, 1 февраля «Записок Лопухина» (а тем более «Записок Энгельгардта») еще не было в Лондоне.

В 62-м листе «Колокола» (1 февраля 1860 года) на запрос из России редакция отвечала: «Нас спрашивают, получили ли мы «Записки» кн. Ив. Вл. Лопухина, — нет, мы их не получали».

Из России кто-то упорно интересуется этими «Записками». Совершенно естественно, что при первой возможности (а возможность эта представляется лишь в июле) редакция сообщает об их судьбе: 1 августа 1860 года «Колокол» анонсирует их выход, а 15 августа — перепечатывает герценовское предисловие.



Н. В. Путята.

Кто же в России в это время занимается «Записками Лопухина»? Таких людей, как нам известно, двое — А. Н. Афанасьев и О. М. Бодянский.

«Записки Лопухина» давно в поле зрения Афанасьева-исследователя. В 1858 году в «Библиографических записках» в статье «Николай Иванович Новиков»²³, написанной на основании печатных материалов, Афанасьев внезапно ссылается на «Записки Лопухина», не указывая ни их источника, ни других данных и тем самым возводя их в разряд напечатанного, что цензура оставляет без всякого внимания.

19 февраля 1860 года Афанасьев сообщает в письме к Е. И. Якушкину: «В журнал Калачова послал я статью о И. В. Лопухине...»²⁴ Речь идет о статье «И. В. Лопухин», которая в сентябре (книга I) появится в издании Н. Калачова «Архив исторических и практических сведений, относящихся до России»²⁵.

Останавливая внимание читателя на общественной и административной деятельно-



М. Н. Лонгинов. Литография. 1850 год.



А. Н. Афанасьев. Репродукция с портрета. Конец 60-х годов.

сти сенатора Лопухина, Афанасьев замечает, что пользуется интересными его «Записками», один экземпляр которых «прислан им (Лопухиным. — И. Ж.) в библиотеку Московского Главного архива министерства иностранных дел» при следующем письме к управляющему этим учреждением А. Ф. Малиновскому²⁶. Публикуя это письмо, Афанасьев сам обнаруживает свою причастность к судьбе документов того архива, в котором он служит.

Забегая вперед, заметим, что в 1862 году, когда Афанасьев, обвиненный в связях с эмигрантом В. И. Кельсевым, негласно проникшим в Россию, был привлечен голицынской комиссией по делу «О лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами», «инквизитор Голицын» (выражение Герцена) доносил, что «...чиновник этот по месту своего служения может содействовать неблагонамеренным людям к приобретению из архива таких документов, которые без разрешения правительства открыты быть не могут. Я предоставлял это обстоятельство на высочай-

шее Государя Императора благоусмотрение, — продолжал свой донос Голицын, — и полагал обратить на оное внимание непосредственно начальства над Архивом. Его Величеству на всеподданнейшем докладе благоугодно было написать «не необходимо»²⁷.

Но власти спохватились слишком поздно. За многие годы службы в архиве (с 1849 года), занимая в нем важные должности, а иногда замещая главного управляющего кн. Оболенского, Афанасьев успел основательно «поработать».

В ноябре — декабре 1860 года, вслед за лондонской публикацией, «Записки Лопухина» выходят наконец в Москве, под редакцией О. Бодянского²⁸.

Из его предисловия видно, что редактор не просто знаком со многими копиями «Записок», в том числе уже упомянутой, архивной. При печатании в «Чтениях общества истории и древностей российских» он использует ее как основную, подводя разночтения по другим спискам²⁹. В конце «Записок» приводится письмо Лопухи-

на Малиновскому, уже известное нам по статье Афанасьева.

Таким образом, Афанасьев и Бодянский пользуются одним и тем же источником.

Выявление многочисленных списков «Записок» и сверка их между собой, сравнение двух публикаций, московской и лондонской, казалось бы необходимыми, но главным все же оставалось сопоставление «подозреваемого» списка из архива МИД и лондонского издания.

Сравнение обнаружило их полное родство³⁰.

Итак, источник Герцена самый точный, самый исправный. И то, что список идет из Московского Главного архива МИД, и то, что А. Н. Афанасьев, служащий в этом архиве, причастен к рассматриваемым лондонским публикациям, нас вновь убеждают события и факты, выстроенные в последовательную систему.

А. Н. Афанасьев давно интересуется личностью И. В. Лопухина, в самом начале 1860 года он пишет о нем статью, имея под рукой хранящийся в архиве «лопухинский» список «Записок». Тогда же или раньше он, вероятно, как истинный библиофил, становится обладателем копии «Записок», которые при первом удобном случае думает напечатать.

Такой случай вскоре представляется. Афанасьев едет за границу. Подготовка путешествия ведется долго и очень основательно. Главная цель давно определена — поездка в Лондон, к Герцену.

1 апреля 1860 года П. А. Ефремов пишет Афанасьеву: «...Жду Вас сюда, памятуя, что Вы собирались за границу, и полагаю надо, через Пбг. Надеюсь, вы не откажете мне в просьбе приехать прямо с железной дороги ко мне...»³¹

И Афанасьев действительно едет за границу из квартиры Ефремова. 2 июня П. А. Ефремов сообщает Е. И. Якушкину: «На днях жду приезда Афан[асьева], отправляющегося за границу. Я уже взял ему билеты (с Аммоном) до Штеттина»³².

Неделю перед отъездом Афанасьев проводит у Ефремова и, пополнив изрядно свой багаж, в десятых числах июня трогается в далекий путь.

Маршрут Афанасьева известен из очень строгого перечня стран в его дневнике.

Под годом 1860 запись:

«С июня до октября был за границей в Берлине, Дрездене, на Рейне, в Брюсселе, Лондоне, Париже, Страсбурге, в Швейцарии и Италии (в Неаполе видел Гарибаль-

ди и праздник в честь его), в Вене и через Варшаву в Москву»³³.

Итак, первая часть пути — через Штеттин, Германию, Бельгию в Лондон.

Затем Франция, Швейцария и, наконец, Италия, вероятно, в конце августа — начале сентября (время пребывания, вернее, один из дней пребывания в Италии нам известен точно — 7 сентября 1860 года — праздник в честь Гарибальди).

Трудно сказать, сколько времени провели Афанасьев с Аммоном в каждой стране; можно лишь предположить, что на осмотр Парижа, Страсбурга и отдыха в Швейцарии пошел, вероятно, август или часть июля и август, так как в сентябре перед ними уже открылась Италия. А на первую часть пути до Лондона пали первые месяцы путешествия — вторая половина июня и июль (возможно, не весь). Даже не торопясь, при приятной медлительности (для странствующих) средств передвижения, можно было добраться до Лондона, в крайнем случае к середине июля, а то и значительно раньше.

Во всяком случае, в первой половине июля путешественники прибывают в Лондон.

Список «Записок Лопухина», не нуждающихся в значительных корректурах, может сразу идти в набор. 22 июля Герцен пишет к «Запискам» предисловие, где, отвлекшись от главной темы — характеристики источника и личности И. В. Лопухина, уделяет значительное место злободневной информации (которая обычно помещается в «Колоколе»), в частности, возникшему в данный момент вопросу о новом издании: «Нечего делать, мы снова должны приняться за печатание в Лондоне исторического сборника. Документов, записок, писем у нас набралось довольно. На первый случай мы издаем записки Лопухина»³⁴.

Тогда же впервые представляются читателю, вероятно, только что полученные отрывки сочинения, «изувеченного императорской цензурой».

Уж слишком свежо впечатление: «Мы имеем перед собой выпущенные места из записок Энгельгардта...» — пишет А. И. Герцен.

Материалы Афанасьева расходятся по нескольким лондонским изданиям. Деловая часть поездки окончена. В конце сентября Афанасьев уже в Москве. Он узнает, что его статья о Лопухине в сентябре прошла цензуру и вскоре выйдет в свет. Он в курсе усилий Бодянского по «протаскиванию»

«Записок Лопухина» в «Чтениях». 21 декабря 1860 года Афанасьев пишет своему воронежскому приятелю М. Ф. Де-Пуле: «Цензура свирепствует. (Историческому обществу только благодаря влиянию своего президента гр. Строганова удалось отстоять «Зап. Лопухина».) Запрещается то, что ранее было напечатано»⁸⁵.

Итак, Афанасьев?

Мы привлекли весь возможный арсенал доказательств и, как нам кажется, решили этот вопрос утвердительно.

Академический ученый, «сказочник» Афанасьев с каждым новым поиском все более преобразается в самого рьяного лондонского корреспондента.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Предисловие А. И. Герцена к «Запискам из некоторых обстоятельств жизни и службы действительного тайного советника и сенатора И. В. Лопухина, составленным им самим». Лондон, 1860, стр. IV. Далее будут называться «Записки И. В. Лопухина».

² «Исторический сборник Вольной русской типографии», книжка II. Лондон. 1861, стр. 135. О «Сборниках» см. в комментариях И. А. Желваковой и Н. Я. Эйдельмана к факсимильному изданию «Исторического сборника Вольной русской типографии в Лондоне», кн. I—III. М., 1971 (кн. III — комментарии).

³ Особенно это относится ко времени Екатерины II и Павла I, так как в александровскую эпоху Энгельгардт «редко является в них (мемуарах. — И. Ж.) действующим лицом», он уже сторонний наблюдатель, свидетельства которого берутся из официальных источников — см. примечание Л. Н. Энгельгардта. М., 1860, стр. 179.

⁴ О знакомстве с Пушкиным и о том, как Пушкин звал Пютяту в секунданты несостоявшегося поединка с секретарем французского посольства Лагрене, Пютята оставил воспоминания — см.: «Русский архив», 1899, № 6.

⁵ «Записки Л. Н. Энгельгардта». М., 1860, стр. I—II.

⁶ ЦГАЛИ, ф. 450 С. А. Соболевского, оп. 1, ед. хр. 16, л. 255.

⁷ Отдел рукописей ГВЛ, ф. 233 С. Д. Полторацкого, к. 2, № 66, л. 13. Письмо к М. А. Корфу от 28 октября 1857 года.

О связях Полторацкого с вольной печатью см. книгу Н. Я. Эйдельмана «Тайные корреспонденты «Поллярной звезды». М., 1966.

⁸ Они объединены, как широко известно, бесконечной привязанностью к Пушкину. Память о поэте побуждает их собирать и популяризировать не попавшее в печать наследство поэта. Особняком стоит фигура Долгорукова, на которого пала тень «соучастия» в убийстве поэта.

⁹ С. Д. Полторацкий и С. А. Соболевскому [1856]: «Тотчас по получении библиографического предписания [...] отправился по книжным мытарствам.

Книгопродавцы тощи и жалки!»

(ЦГАЛИ, ф. 450 Соболевского, оп. 1, ед. хр. 16, л. 293.)

С. А. Соболевский к С. Д. Полторацкому: «Постарайся сделать мне следующие подарки: А. Библиографический указатель книг, изданных в России в 1854 году...»

(Отдел рукописей ГВЛ, ф. 233, к. 3, № 46, л. 19.)

В обращениях к русскому Керарду (как шутливо именует Соболевский своего приятеля, сравнивая с известным французским библиографом), он не всегда

воздержан в своих библиографических эмоциях: «Как можно платить 15 руб. (60 francs) за такое...!!!» (Там же, л. 16.)

Полторацкий делает на его письмах заметки: «недобросовестные придирики», «пустые придирики, выводящие из всякого терпения», и пользуется любым случаем, чтобы выразить восхищение «непогрешимостью» библиофила.

С. Д. Полторацкий и С. А. Соболевскому (1856): «О! ОБРАЗЕЦ. О! ПРИМЕР всех исправностей, точностей галерейных, исторических и библиографических!»

(ЦГАЛИ, ф. 450, оп. 1, ед. хр. 16, л. 428.)

С. Д. Полторацкий и М. Н. Лонгинову (3 января 1859):

«Приветствую тебя, любезный друг Longin [...]. 23-го № «Русского вестника» мне еще не прислали, и я не мог насладиться статьей о Радищеве».

(Отдел рукописей ГВЛ, ф. 233, к. 2, № 67, л. 15.)

С. Д. Полторацкий и М. А. Корфу (3 декабря 1855):

«Не покажется ли Вам странным, почтенный друг, что душевное горе и тяжкие заботы не отнимают досуга у библиографической страсти! [...] Видно, что без страстей не суждено человеку ни жить, ни умирать. Утешительно, что страстям есть предел у дверей гроба; но чуть ли не жалко, что книголюбие не бессмертно! — кажется мне, что и в будущей жизни, уладившись с библиографией и там продолжать ею заниматься». (Там же, № 66.)

¹⁰ Отдел рукописей Пушкинского дома, ф. 357, собрание В. И. Яковлева, оп. 4, № 7, письмо к П. А. Ефремову от 24 апреля 1862 года.

¹¹ «Записки» переписаны не рукой Энгельгардта, а, вероятно, кем-то из его домашних, но его поправки и дополнения встречаются часто.

¹² «Исторический сборник», кн. II, стр. 135.

¹³ См.: Н. Я. Эйдельман, Тайные корреспонденты «Полярной звезды». М., 1966.

¹⁴ В собрании К. В. Пигарева.

¹⁵ Например, в ГБЛ (Е 13/36) хранится экземпляр с надписью неизвестному лицу: «От Николая Васильевича Путята — издателя записок. Москва, понед. 29 февр. (12 марта) 1860».

¹⁶ С. Д. Полторацкий вел с Лонгиновым самую активную переписку. Лонгинов посылал ему все свои литературные новинки (см. Отдел рукописей ГБЛ, ф. 233, к. 2, № 67.). Полторацкий составлял хронологическую роспись статей Лонгинова.

¹⁷ Отдел рукописей ГБЛ, ф. 233, к. 13, № 38; Марья Петровна — жена Полторацкого.

¹⁸ ЦГАЛИ, ф. 450, оп. 1, ед. хр. 13, л. 198.

¹⁹ Музей книги ГБЛ МК XII. А. 66/4.

²⁰ Об Афанасьеве, его связях см. в книге Н. Я. Эйдельмана.

²¹ ЦГАОР, ф. 279 Якушковых, оп. 1, ед. хр. 1066.

²² Некоторые редакторские уточнения и портрет Потемкина, описанный Де-Линем, включенные в экземпляр Путята, отсутствуют и в тетради Афанасьева, и в «Историческом сборнике».

²³ «Библиографические записки», 1858, № 6, стр. 170.

²⁴ ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 448, л. 10 об.

²⁵ Орывок из «Записок Лопухина» был напечатан в журнале Невзорова «Друг юности», 1810, янв. В 1850 году записки готовились к печати, вероятно, К. А. Полевым, но издание осуществлено не было — см.: Отдел рукописей ГБЛ, ф. 231/III Погодина, к. 7, № 50.

²⁶ «Архив исторических и практических сведений...», СПб., 1860, кн. I, стр. 59.

²⁷ ЦГАОР, ф. 112, ОППС, оп. 1, ед. хр. 54, т. 5, л. 170—170 об.

²⁸ «Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете», кн. II и III. М., 1860. Афанасьев сотрудничал в «Чтениях» и часто делал туда свои «вклады». Интересно отметить такое совпадение: в кн. «Чтений» одновременно с «Записками Лопухина»

напечатаны списки с «Собственноручных писем императора Павла I к атаману Донского войска, генералу от кавалерии Орлову I», именно те, что попали во II кн. «Исторического сборника» (сформировался во второй половине 1860 — начале 1861 года). Возникает предположение, что Афанасьев, передавая эти материалы в «Чтения» и сделав все возможное, чтобы их напечатать в России, взял их с собой за границу.

²⁹ См.: «Чтения...», кн. II, предисловие Бодянского.

³⁰ Совершенно оправдана в сер. XIX века некоторая модернизация отдельных слов и фраз, однако не всегда последовательно проведенная лондонскими редакторами («вить» — «ведь», «генварь» — «январь» и т. д.).

³¹ ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 1104, л. 10.

³² Там же, ед. хр. 522, л. 21 об. (2 июня, а не июля, как в книге Н. Эйдельмана, стр. 165). Аммон — брат жены Афанасьева.

³³ См. книгу Н. Я. Эйдельмана, стр. 164 (с июня, а не июля).

³⁴ «Записки И. В. Лопухина». Лондон, 1860, стр. V.

³⁵ Отдел рукописей ПД, ф. 569, Архив Де-Пуле, № 119. Последняя строка письма заключает явный намек на лондонскую публикацию.

Л. Б. Светлов

Сочинение российского офицера

Русские корабли бороздили далекие моря и океаны, многие неизвестные земли были открыты неустанными и отважными русскими землепроходцами. Но не так давно и близкие к нам места земного шара были мало изучены и мало знакомы. Не далеки от наших рубежей Средиземное море и омываемые им берега Северной Африки, но еще каких-нибудь полтора-два века назад и они были «белыми пятнами».

1768 год. Турция объявляет России войну, которая в первые два года велась преимущественно на суше. Но кичливые руководители Османской империи не учли многого. Победа русских войск под командованием выдающегося полководца П. А. Румянцева при Ларге и Кагуле в 1770 году дала возможность перенести театр военных действий непосредственно к Дунаю, к границам Турции. В том же году русский военно-морской флот, совершивший легендарный переход с берегов Балтики вокруг Европы в Эгейское море, в сражении 24—28 июня в Чесменской бухте уничтожил мощный и многочисленный турецкий флот, одержав одну из самых блестящих в истории морских войн побед. И хотя мир удалось заключить лишь спустя четыре года и было еще много других жестоких, кровопролитных сражений на суше и на море, однако исход войны был предрешен именно в сражении при Чесме.

В стихотворении, посвященном этим событиям, поэт Державин писал:

Румянцев, как перун, по туркам
разразился,
Как древле Юпитер гигантов поразил,
Так под Кагулом он везирия разгромил.
Российским флотом вмиг флот
агарянов стерт,
Исчезнул при Чесме...

В сражении при Чесме принимал участие на фрегате «Африка» двадцатипятилетний мичман Матвей Григорьевич Коковцов. Воспитанник петербургского Морского кадетского корпуса, он отлично знал морское ремесло. Театр военных действий был ему тоже хорошо знаком; до начала войны он был послан добровольцем на остров Мальта и несколько лет плывал, как сообщается в «Общем морском списке» в качестве старшего морского офицера на мальтийских военных гребных галерах. В Чесменском сражении молодой мичман вел себя отважно. При острове Тенедосе он взял в плен три неприятельские шебеки (небольшие военные корабли малого тоннажа). За отличные боевые действия М. Г. Коковцов был награжден Георгиевским крестом со старшинством — высшей военной наградой в те времена. В 1774 году произведен капитан-лейтенантом.

Несколькими годами позже в своей книге «Описание Архипелага и Варварийского берега» Коковцов рассказал немало эпизодов боевых действий русского флота в Средиземном море во время первой русско-турецкой войны 1768—1774 годов. Он описал морские сражения при крепостях Наварин, Наполи-ди-Романиа, особо остановился на знаменитом сражении при Чесме. И все это ценные свидетельства не постороннего наблюдателя, а очевидца, воина, находившегося почти все время в дыму и грохоте славных и памятных сражений.

Известный историк и библиограф морской литературы А. П. Соколов утверждал, что М. Г. Коковцов вовсе не сообщает никаких подробностей о боевых действиях русского флота¹. С подобным утверждением трудно согласиться.

Описывая, например, остров Лемнос, автор рассказывает: «В 1770 г. сей остров был атакован российскими войсками, и крепость Лемнос, стесняемая голодом и разоряемая множеством бросаемых во оную бомб, вступила в договор и отдавалась с тем условием, чтобы находящийся во оной турецкий гарнизон отвезен был на кораблях российских в ближние Румелийского берега турецкие места; но прежде выполнения сего положения подоспевшая многочисленная от турков помощь выступила на берег, почему и велено было от начальства нашим войскам, не вступая в сражение, возвратиться на суда, оставя до времени сей остров в турецком владении. Неожиданная сия помощь прибыла из Дарданелльского пролива на мелких судах в то самое время, когда контр-адмирал Ельфингстон отступил от

устья Геллеспонта. Сей случай лишил нас удовольствия овладеть оным и придал некоторую смелость туркам. Но по другому случаю помнят они храбрые подвиги Эльфинстона, когда он флот турецкий, из 14 больших кораблей состоявший, токмо с тремя российскими кораблями в заливе Наполи-ди-Романиа атаковал, сразясь с ними, повредил многие турецкие суда и принудил их уйти в пристань под пушки, лежащей на восточном берегу полуострова Мореи крепости Наполи-ди-Романиа; однако и здесь не могли они укрыться от победоносного оружия и мужественных воинов. Ибо на другой день то же число российских кораблей начало их атаковать вновь, и в продолжение 12 часов подвержены были они действию наших пушек и троекратно зажигаемы. Наступившая ночь и перемена ветра побудили российские корабли отступить в море, а между тем турецкие успели уйти из гавани. Узрев сие, главнокомандующий, граф А. Г. Орлов, присоединил эскадры адмирала Свиридова и прежние корабли и поднял знамя, при зрении коего российский флот, в 9 только кораблях состоявший, устремился в погоню за флотом турецким до самой мугамеданам незабвенной и гибельной Чесмы, где весь оный, как то уже известно всему свету, вконец истреблен»².

При описании острова Хиос Коковцов дает и некоторые подробности самого сражения в Чесменской бухте: «Адмирал Свиридов, командовавший передовою эскадрою, не взирая на превосходное число турецкого флота и выгодное оною расположение, подступил к самому лучшему 90-пушечному на ветре стоявшему турецкому кораблю, который при кровопролитном сражении, загоревшись, зажег и самый тот его побеждавший российский корабль... С какою храбростью и ревностным к своему отечеству усердием все российские воины к преодолению неприятеля стремились, того выразить трудно. Турки оробели, и, отрубя канат, весь флот бежал в Чесменский залив, защищаемый крепостью, где, сжався вместе, начал строить батареи для воспящения входа; но, несмотря на все их усилия, небольшая эскадра под начальством г. Грейга, их преследовавшая, брошенными зажигательными ядрами сожгла весь турецкий флот, исключая 60-пушечный корабль, именуемый «Родос», который шлюпками выведен из пламени и взят в плен»³.

Конечно, Коковцову при изложении всех этих событий недостает точности. Он нерешительно и робко пишет о поведении контр-

адмирала англичанина Эльфинстона, который самовольно на флагманском корабле «Святослав» покинул русскую эскадру, блокировавшую Дарданеллы, и отправился к острову Лемнос. В довершение всего «Святослав» 5 сентября 1770 года невдалеке от острова сел на мель, что вынудило командование снять с блокадной линии несколько других кораблей для оказания помощи потерпевшему катастрофу Эльфинстону. Однако спасти 84-пушечный линейный корабль «Святослав», как известно, не удалось, и он затонул. Все это не могло не нарушить и ослабить блокаду Дарданельского пролива, чем, разумеется, не замедлили воспользоваться турки. Их транспорты с войсками смогли пройти к острову Лемнос. В результате произвольных и неправильных действий Эльфинстона русским войскам пришлось снять осаду с готовой было сдать крепости Пелари и покинуть Лемнос, понеся ненужные чувствительные и дорогостоящие потери. Эльфинстон был вскоре отдан под суд и уволен с русской службы.

Недостаточно полно освещен Коковцовым и славный, но не менее трагический эпизод Чесменского боя — гибель 66-пушечного линейного корабля «Евстафий».

«Евстафий» атаковал и поджег турецкий линейный корабль «Реал-Мустафа», на котором находился флагман турецкого флота капитан-паша. Но тут произошло нечто из ряда вон выходящее. Вдруг наступил штиль, и сильным течением «Евстафия» прямо понесло на горящий турецкий корабль. Русские моряки пытались всеми возможными средствами задержать и отбуксовать «Евстафию», но все оказалось тщетным. Когда «Евстафий» борт о борт сблизился с «Реал-Мустафой», русские матросы бросились на турецкий корабль и овладели им. Но в это время воспламенившаяся огромная грот-мачта турецкого корабля рухнула на палубу «Евстафия», у которого, как и полагалось в бою, была открыта крыйт-камера, наполненная порохом, бомбами и ядрами. От искр и головешек, попавших туда, произошел чудовищный взрыв, и линкор взлетел в воздух, а через несколько минут исчез в морской пучине. Вскоре взорвался и затонул «Реал-Мустафа». При взрыве «Евстафия» погибла почти вся его команда. Лишь несколькими морякам, в их числе Ф. Г. Орлову, брату главнокомандующего флота, капитану Крузу и еще немногим лицам чудом удалось спастись.

«Евстафия» заменил взятый в плен при Чесме турецкий линейный корабль «Родос», командиром которого и был назначен командовавший ранее «Евстафием» капитан Круз.

Понятно, почему Коковцов не мог обстоятельно рассказать о всех этих событиях. Он работал над своей книгой в 1780-х годах, когда еще события были свежи у всех в памяти и было преждевременно писать о неудачах в боевых действиях русского флота. К тому же, и это самое главное, черные грозовые тучи войны вновь заволокли горизонт. Война между Турцией и Россией вот-вот должна была снова вспыхнуть.

Надо также учесть, что Коковцов отнюдь не ставил своей целью систематическое и стройное изложение истории военных действий флота и упоминать о них лишь при описании островов Греческого архипелага. Книги Коковцова были написаны и предназначены для иных целей и задач флота.

Через два года после окончания турецкой войны Коковцов был послан в Испанию для ознакомления с ее флотом и портами. В последующие годы он несколько раз плавал на русских военных кораблях, крейсировавших в Средиземном море, и выполнял ряд специальных заданий. В 1780 году удостоен чина капитана 2-го ранга, а в 1783 году — капитана 1-го ранга. В начале 1785 года в сравнительно молодом возрасте из-за плохого, вероятно, состояния здоровья уволен со службы в чине бригадира с пенсией⁴. Родился Коковцов в 1745 году, умер в 1793 году. Таковы довольно скудные биографические сведения о нем.

М. Г. Коковцов был потомственным моряком. Оба его брата тоже стали военными моряками. В «Общем морском списке» есть сведения и о них. Они тоже были питомцами Морского кадетского корпуса. Михаил Коковцов, судя по всему, благополучно прошел службу. Несколько иной была судьба Саввы Коковцова. Он был участником первой русско-турецкой войны и получил даже награду. Но в 1788 году, во время войны со Швецией, уже в чине капитана 1-го ранга, в морском сражении при Гогланде совершил тяжелый проступок и по суду был разжалован в простые матросы навечно с переводом в Черноморский флот⁵.

Между прочим, в 1784 году экспедиция под командованием Саввы Коковцова составила первый атлас реки Днепра, который хранится ныне в Одессе в Научной библиотеке имени Горького⁶.

Род Коковцова дал стране видных уче-

ных. М. Г. Коковцов — прадед известного востоковеда П. К. Коковцова, погибшего в Ленинграде в блокадную зиму начала 1942 года.

Да и сам М. Г. Коковцов был ученым — едва ли не первым русским, подробно исследовавшим и изучившим острова Греческого архипелага и две североафриканские страны — Тунис и Алжир. Не случайно его называют первым русским африканистом.

Результаты своих наблюдений и исследований Коковцов изложил в своих книгах, изданных в 1786 и 1787 годах в Петербурге. Полное название первой: «Описание Архипелага и Варварийского берега; изъясняющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежами». Вторая называется: «Достоверные известия о Алжире. О нравах и обычаях тамошнего народа; о состоянии правительства и областных доходов; о положении Варварийских берегов; о произрастаниях и о прочем; с верным чертежом. Сочинение российского офицера, все то на месте обозревшего».

Обе книги изданы под редакцией и на «издвине», то есть на средства, дворянского просветителя и писателя Ф. О. Туманского. Это обстоятельство не является, конечно, случайностью. Коковцов был, по видимому, близок с дворянским просветительским кружком Туманского.

Старинная пословица гласит: «И книги имеют свою судьбу». Обе книги Коковцова, как и имя их автора, были позабыты. В дореволюционной литературе о Коковцове нет почти никаких упоминаний. Не упоминается он даже в таких обстоятельных справочных изданиях, как «Русский биографический словарь», «Энциклопедия военных и морских наук» (1893—1896) и «Военная энциклопедия» (издания И. Д. Сытина). Лишь несколько слов о нем встречается в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Эфрона (1895) да краткие справки о его книгах в ряде библиографических указателей.

Обошел полным молчанием труды Коковцова даже такой выдающийся исследователь, как Е. В. Тарле, в своих работах, специально посвященных средиземноморским, архипелагским экспедициям русского военно-морского флота.

В настоящее время книги Коковцова величайшая библиографическая редкость.

Лишь в самые последние годы его имя

и его книги извлечены наконец из мрака векового забвения. В 1950 году известный советский востоковед академик И. Ю. Крачковский дал высокую оценку книгам Коковцова. Он писал, что эти «книги, основанные на непосредственных наблюдениях, и до сих пор остаются важным источником для характеристики Алжира и Туниса этой эпохи. Во французской науке нашего времени, только что теперь с ними познакомившейся, они получили высокую оценку специалистов по истории Северной Африки»⁷

* * *

Собственно, книги Коковцова были изданы в свое время ради сугубо практических целей. После заключения в 1774 году так называемого Кучук-Кайнарджийского мира Турция, как известно, сразу же стала готовиться к реваншу. И новая война между Россией и Турцией действительно вспыхнула в 1787 году и опять длилась четыре года, потребовав больших материальных и людских жертв.

В предвидении именно этой надвигающейся новой войны, которая должна была развернуться на широких просторах Средиземного моря, и был послан русским правительством Коковцов в Испанию и с секретной миссией в Алжир и Тунис. К сожалению, о поездке своей в Испанию никаких литературных свидетельств Коковцов не оставил. Зато о своей миссии в Алжире и Тунисе он написал довольно обстоятельно.

Книги Коковцова были изданы, кроме всего прочего, несомненно, и в связи с пресловутым «Греческим проектом» императрицы Екатерины II и ее фаворита Потемкина, имевшим целью создать в восточной части Балканского полуострова и земель вокруг Эгейского моря новую греческую империю под покровительством России. Трон этого нового государства предназначался для второго внука Екатерины II — Константина, — ему поэтому и было дано при рождении такое необычное в русской царской династии, но знаменитое в истории Византии имя.

Ф. О. Туманский, редактор книг Коковцова, посвящая книгу «Описание Архипелага и Варварийского берега» великому князю Константину, не случайно писал: «Константину предписано в книге судеб восстановить сие царство... Восхищаюсь духом, извывая предчувствования греческих народов, ожидающих своєю свободы от берегов Невы».

В годы первой русско-турецкой войны и

в последующих крейсерских походах русского военно-морского флота к востоку Средиземного моря, в которых участвовал Коковцов, он изучал Греческий архипелаг. Им были обнаружены неизвестные гавани и рейды, например, при островах Патмос и Лиро, проведены многочисленные гидрометрические и гидрографические исследования морского дна, мелей, рифов и пр. Коковцов составил новую точную карту архипелага.

В 1776 году Коковцов тайно, под видом французского купца и под вымышленным именем, посетил и обследовал города Тунис, Бизерту, Сус, Габес, Ла-Гуллет и другие места Туниса.

В своем дневнике он записывает 1 июня 1776 года: «Ездил на берег в образе поверенного от купца судна нашего и рассматривал довольно порядочно положение Бизерты. Сей нарочито укрепленный город, в котором, однако же, строения весьма низки, принадлежит Тунисскому правительству; пристань оного закрыта и довольно пространна, но по причине множества как в устье, так и в самой пристани подводных камней способна она только для входа малых судов; при входе же в пристань по обоим сторонам находятся две изрядные батареи, каждая об осями пушками. Европейцы вывозят отсель много пшеницы, которую сии места изобилуют»⁸.

Подробнее всего описал Коковцов город Тунис. В дневнике он 7 июня сделал такую запись: «Остался я в городе Тунисе, в 9 милях на запад от крепостей Гуллетских отстоящем. Сия Тунисского владетеля столица имеет 7 миль в окружности, обнесена почти обвалившеюся уже каменной стеною... Город выстроен без всякого искусства и плана; жилья очень низки, выключая одни консульские, но об одном ярусе; полы мощены на самой земле, и дверь с окошком различить трудно; во всех домах есть водоемы, проведенные из колодезей. Лучшее украшение домов состоит в полах, разноцветными изразцами выложенных, жители на оных спят, сидят, обедают и ужинают. Внешние соответствуют внутреннему убору, ибо строены из необделанного камня, складенного с глиною, без всякой соразмерности и внимания... Улицы узки и нечисты и потому дома лежат окошками в сады, а с улиц только один остается вход.

Город выстроен на низком и ровном берегу в конце залива в 12 милях от развалин древния Карфагены к югу. Городу весьма много придадут приятности разные

плодовитые, изобильно растущие финиковые и оливковые деревья»⁹.

Но кроме описания внешнего вида городов и их архитектурных особенностей, надо было составить карты портов и рейдов, промерить их глубину, узнать характер донного грунта и пр. Все это было делом сложным и чрезвычайно опасным. Тунис, как и Алжир, находился во владении Турции, а турецкие законы и порядки не оставляли никаких сомнений насчет судьбы, которая могла постигнуть «купца», интересующегося такими вещами. Его могли попросту забить палками или, в лучшем случае, отправить в Константинополь в печально знаменитый семибашенный замок — тюрьму Эдикюль, откуда мало кто выходил живым. Кроме того, обнаружение необычных занятий «купца» могло быть использовано турками для создания нежелательного международного инцидента и пр.

Приходилось принимать разного рода предосторожности, прибегать к уловкам. Так, в Ла-Гуллете он «под видом рыбной ловли на нашем баржете (то есть баркасе. — Л. С.) сколько мог успеть измерял глубину рейда». Или, отправившись из Ла-Гуллета к мысу Бон, он «рассматривал положение берегов и залива; с помощью моего небольшого компаса нетрудно было мне означить их на предложенной карте; что же касается мысов и долготы залива, не мог я геометрически оных узнать по причине обличного (то есть при посторонних свидетелях. — Л. С.) нашего путешествия»¹⁰.

Ровно через год Коковцов также тайно, на этот раз под видом француза, помощника капитана французского судна, посетил Алжир — города Алжир, Бон, Бужи, Константинополь, Тебессу, Шершель и другие.

14 июля 1777 года Коковцов записывает в своем дневнике: «Переехал я на французский мартин-гал (небольшое торговое судно. — Л. С.) под видом помощника; начальнику судна почел меня действительно французом, чему я был рад, не имея особого предательства: под сим именем предпочел я безопаснее ехать в г. Бону»¹¹.

22 июля Коковцов прибыл в Бон (ныне порт Аннаба). В его дневнике находим в связи с этим небольшую запись, характеризующую в достаточной мере господствующую в этой стране порядки: «Коль скоро мы остановились, приехал к нам чаус (портовый служащий. — Л. С.) спросить свидетельства, откуда, куда и с каким грузом следуем и знаем ли какие новости? О верности рассказываемого надо прися-

гать, подлинно ли правда; в противном же случае часто потчивают порядочно палками»¹².

Более всего обстоятельно описал Коковцов столицу Алжира — город Алжир. «...Вид алжирских окрестностей, — писал Коковцов, — по справедливости можно назвать наипрекраснейшим из всех видов Варварийского берега: ибо во всякое время года бывают покрыты зелению и разными плодоносными деревьями, а особливо много там горьких апельсинных и кедровых дерев...»¹³.

Касаясь военного значения города, Коковцов пишет, что он неприступен с моря, так как все оборонительные сооружения предназначены для борьбы с морским противником. Но зато город слабо защищен с суши. К тому же крепость Алжир легко уязвима еще по той причине, что не имеет надежного водоснабжения, которое в случае военных действий может легко быть прервано противником.

Попутно Коковцов осмотрел остатки примечательных древних архитектурных сооружений, сохранившихся с времен Римской империи, развалины знаменитого Карфагена, Гиппона и других городов античной эпохи.

Исследователя сильно поразила уже бедность народа Туниса. Но еще большее нищество и убожество он нашел в Алжире: «Образ жизни здешних жителей подобен тунисскому. Однако сии последние более страждут под игом жестокого правительства, следовательно, более погружены в бедность и невежество»¹⁴.

И в Алжире, и в Тунисе даже иметь лачугу мог далеко не каждый. Коковцов писал позже, что «бедуины или селяне живут в крайней бедности, в скуднейших хижинах, под палатками, а некоторые и под тению дерев; домостроительства у них никакого не видно; самое простое рубище едва прикрывает их тело; дневную пищу их составляет каша из муки, с маслом и с кускусом (очевидно, кокосовыми орехами) сваренная»¹⁵.

Особенно тягостным нашел Коковцов положение женщин. Они были в двойном рабстве, обусловленном и религиозно-бытовыми традициями, сложившимися в мусульманских странах, и несносным турецким игом.

«Женский пол здесь скрыт, как и в Леванте, и ниже жених не может видеть своей невесты прежде брачного заключения, разве помощью родственников; из домов они выходят всегда покрыты, и, кроме

глаз, ничего не видно. Они погружены в глубокое невежество и нисколько понятия о человеческом на свете бытии не имеют, потому что с ребячества их заключают в сераль и ничему не учат, как только любовно-страстным обращениям с будущим мужем»¹⁶.

То, как Коковцов описывает быт и нравы народов Туниса и Алжира, показывает, что относится он к ним с симпатией и сочувствием. Именно потому он так решительно осуждает безжалостную тиранию турецких янычар, низведшую население Северной Африки до положения бесправных рабов. Не случайно свою книгу об Алжире Коковцов начинает полемикой с теми европейцами, которые смотрят на африканские народы как на существа низшего порядка.

Коковцов решительно осуждает и опровергает домыслы тогдашних расистов и колонизаторов, обосновывавших этими своими воззрениями колониальную разбой и хищническую эксплуатацию народов Африки. Он пишет: «Некоторые европейцы думают еще и так, что если кто в Варварии родился, тот не одарен разумом и чувствами. Такое ложное мнение происходит от неведения их законов, правления и обычаев; ибо все те европейцы, кои видели сей народ и имели с ним порядочное обращение, единогласно утверждают тому противное. Несправедливо бы было осуждать целый народ только потому, что в нем носят на голове чалмы; но должно рассматривать его законы, обычаи, воспитание, климат, их правление и потом делать общее заключение»¹⁷.

Довольно часто Коковцов прибегает к сравнениям существующих в Северной Африке обычаев и нравов с европейскими и явно не в пользу последних. Он пишет, что «европейцы довольно имеют таких пороков, которых они в варвариях не терпят»¹⁸. Он высмеивает путешественников, которых «развозят по свету, как сундуки», а «они стараются единственно о приобретении достойных посмеяния мод, дабы по возвращении в свое отечество оными похвалиться. Сии объятые самонадеянностью и не имеющие ни малюга сведения и о своей собственной земле люди смеются всему тому, что мимоходом усмотрят в силу ограниченного разума; и лишь только где-нибудь приметят разную одежду или разные нравы, то заключают, что тут народ ни к чему не годный»¹⁹.

Коковцов был учеником известного просветителя, знатока морского дела Н. Г. Курганова, многие годы воспитывавшего в Морском кадетском корпусе

будущих моряков и флотоводцев. Коковцов был хорошо знаком с передовой русской литературой и публицистикой того времени. Из нее он почерпал свои тиранические, свободолобные воззрения, политическое и религиозное вольнодумство.

Он недвусмысленно осуждал политический гнет и произвол, который нашел в Алжире и Тунисе. Политический строй Алжира и Туниса он определяет как тиранический, чуждый и враждебный народу. Строй этот он называл довольно точно: военно-аристократическим. «В сей стране, — писал он, — не один, но тысяча есть тиранов, которых грубое своенравие служит законом всему народу»²⁰.

Говоря о зверствах и бесчинствах турецких янычар и всячески порицая их, Коковцов указывает: «Но сего порицания нисколько не заслуживают тамошние жители, кои все обще добронравны, трудолюбивы и странноприимство весьма свято, по крайней мере в пределах домов своих, наблюдают и коих одно токмо непросвещение делает так много униженными пред их тиранами, которых сребролюбивая зависть не только пресекает стези к обогащению жителей, но и лишает их свободы пользоваться приобретенными от трудов земными плодами»²¹.

Как и многие передовые его современники, Коковцов возлагал большие надежды на освободительную борьбу народов Алжира и Туниса против турецких захватчиков. Он писал, что многие арабские племена ушли в неприступные горные районы и живут там в свободе и независимости. Уже в то далекое от нас время он предвидел, что именно эти независимые и воинственные племена принесут горячо желанную свободу североафриканским народам.

«От сих-то горных народов, — пишет Коковцов, — Варварийские берега ждут своего освобождения, в чем они не обманутся; ибо сии народы, будучи на свободе, приобрели их прежнее мужество и легко могут, соединясь с другими вольными народами, низложить турецкую милицию»²².

Несколько ранее, в дневниках, Коковцов писал даже более политически остро об этих восставших племенах: «ибо они, свергнув с себя рабское иго, возвратили прежнюю свою вольность и мужество»²³. В книге об Алжире это место несколько изменено, безусловно, по цензурным соображениям. Не очень-то можно было писать о

свержении «рабского ига» в тогдашней самодержавно-крепостнической России.

Коковцов осветил положение обследованных им североафриканских стран и с точки зрения международных отношений. Уже в то время основные западноевропейские державы — Англия, Франция и Испания — развернули бурную деятельность в Средиземном море и Северной Африке, предвосхищавшую превращение этого обширного района земного шара в объект колониальных захватов и эксплуатации, что были осуществлены в полной мере спустя несколько десятилетий, в начале XIX века. Собственно, колониальная горячка началась здесь еще во второй половине XVIII века.

Известно, что основным видом «деятельности» господствовавших в Алжире и Тунисе деев и беев было пиратство. Нельзя сказать, чтобы европейские, так называемые христианские, государства не боролись с этим. Однако в этой борьбе с пиратством европейские государства, каждое в отдельности, старались использовать африканских «варваров» в своих узкоэгоистических целях. Борясь с пиратами, Англия, Франция, Испания и другие державы в то же время снабжали их деньгами, оружием, кораблями. В ход пускались и бесчестные средства, политические и дипломатические интриги, подкуп и т. д.

Коковцов в своих книгах не раз с удивлением отмечает эти «подвиги» христианских держав. Так он указывает, что наибольшее рвение в заигрывании с пиратами проявляет Франция, «французская министерия», подстрекающая алжирских и тунисских пиратов совершать опустошительные разбойничьи набеги на прибрежные города и селения Италии, терроризировать судоходство других стран.

Он приводит при этом любопытные экономические и политические факты: «Алжирцы с христианскими народами прибыльно торгуют, ибо по малому в Варварии расходу европейских товаров одна Французская Африканская компания оставляет в Алжире за тамошние товары около полутора миллионов ливров каждый год. Однако французы, невзирая на столь проигрышный торг, чаще других посещают Алжирские пристани и много приобретают в Европе от продажи варварийских произведений и от перевозки их из одного места в другое. Для того-то французская министерия поощряет завсегда алжирцов воевать с другими переплывающими моря народами, желая только одна пользоваться

выгодами, получаемыми от мореплавания в Варварийских водах»²⁴.

Немало места уделит Коковцов религиозным вопросам, игравшим и играющим важную роль в жизни североафриканских стран. И здесь он также обнаруживает свое волюнтаристское мышление.

Уже в своем «Описании Архипелага и Варварийского берега» он, говоря о затопленных рудоломнях острова Сифанто, иронизирует над религиозным преданием, будто рудоломни были затоплены из-за того, что жители острова не захотели посылать десятую часть руды жрецам Деллаского храма и тем прогневали античного бога Аполлона: «таковыми сказками корыстолюбивые жрецы умело обманывают невежествующий народ»²⁵.

Касаясь существа расхождений между различными сектами и толками мусульманства, Коковцов писал: «Вот какие глупые умствования обыкновенно рождает школьная богословия, которая, упоювая народ суеверием, причиняет между ими вражду и лишает его общего покоя»²⁶. Об этих же расхождениях он писал ранее даже более резко: «Вот какие пустоумия рождает распри законоучителей, пустыми словотолкованиями в прежние времена занимавшихся»²⁷. Это слишком обобщенное обвинение в адрес духовных пастырей было смягчено позднее по цензурным соображениям, так как здесь затрагивалась религия вообще, а не только мусульманство.

Однако самое важное, по мнению автора, заключается в том, что, как бы ни разнились между собой эти секты и религиозные направления мусульманства, все они в одинаковой мере обманывают народ. Он писал: «В Варварии есть магометанские общества, которые между собою разнствуют образом наблюдения некоторых духовных обрядов; однако все единодушно, скрываясь под завесою набожности, простой народ обманывают»²⁸.

Коковцов порицал религиозную и политическую нетерпимость и мусульманства, и христианской церкви и был откровенным противником клерикализма — проникновения в государственный аппарат церковников. Указывая, например, на то, что в Алжире и Тунисе все же существует известная веротерпимость, он пишет: «Напротив сего у некоторых европейских народов цветущие науки еще и поныне не истребили сея толь вредныя человеческого роду ненависти»²⁹. Или в другом месте по этому же поводу: «Многие просвещенные

в Европе народы и поныне сего (то есть свободного отправления богослужбных обрядов иноверцами) делать не позволяют; а причиною сему кажется то, что в Варварийских областях духовенство нисколько участия в правлении не имеет; следовательно, не может оно утеснять своею ненавистью иноверцев, а напротив того, все зависит от светского правления»³⁰ Разумеется, это был достаточно прозрачный намек на все усиливавшееся в то время в европейских государствах засилье церковников.

Книги Коковцова — это памятник русской морской литературы, но не в меньшей степени они и памятник передовой русской общественной мысли XVIII века. Они свидетельствуют о том, что и замкнутая привилегированная военно-дворянская среда, типичным представителем которой был Коковцов, не осталась глухой к прогрессивным общественным веяниям времени, идеалам просвещения и свободолюбия.

Коковцову пришлось спешно уехать из Алжира, не доведя до конца всего начатого дела изучения североафриканского побережья, нравов и обычаев тамошнего населения. Но и то, что он сделал, чрезвычайно ценно.

Книги Коковцова разрешили немало загадок и трудностей, с какими в ту эпоху сталкивались наши мореходцы в Средиземном море. В наше время лоции и карты Коковцова использованы в фундаментальном «Морском атласе» (М., 1958, т. III, ч. I).

Лоции и карты М. Г. Коковцова помогли русским мореходцам в последующих экспедициях военно-морского флота в восточную зону Средиземного моря, экспедициям под командованием прославленного флотоводца Ф. Ф. Ушакова в 1798—1800 годах, адмирала Д. Н. Сенявина в 1805—1807 годах.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ А. П. Соколов, Русская морская библиотека. Спб., 1883, стр. 54.

² «Описание Архипелага и Варварийского берега». Спб., 1786, стр. 16—19.

³ Там же, стр. 33—34.

⁴ «Общий морской список». Спб., 1890, ч. IV, стр. 101—102.

⁵ Там же, стр.

⁶ «Нева», 1965, стр. 220.

⁷ И. Ю. Крачковский. Избранные произведения. Изд-во АН СССР, 1958, т. 5, стр. 43.

⁸ «Описание Архипелага и Варварийского берега», стр. 81.

⁹ Там же, стр. 83—84.

¹⁰ Там же, стр. 107.

¹¹ Там же, стр. 119.

¹² Там же, стр. 121.

¹³ «Достоверные известия о Альжире». Спб., 1787, стр. 93.

¹⁴ Там же, стр. 125.

¹⁵ Там же, стр. 77.

¹⁶ Там же, стр. 107.

¹⁷ Там же, стр. 3.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Там же, стр. 4.

²⁰ Там же, стр. 68.

²¹ Там же, стр. 69.

²² Там же.

²³ «Описание Архипелага и Варварийского берега», стр. 124.

²⁴ «Достоверные известия о Альжире», стр. 129.

²⁵ «Описание Архипелага и Варварийского берега», стр. 44.

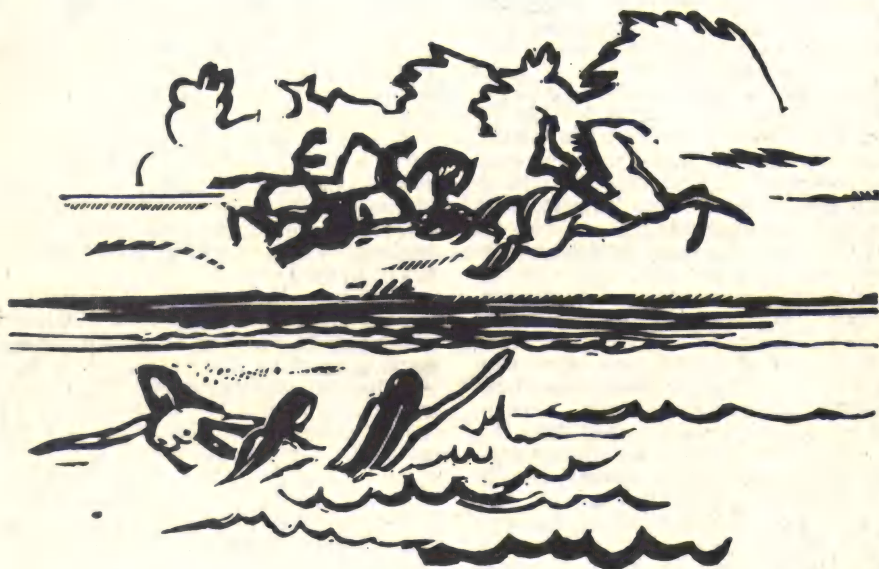
²⁶ «Достоверные известия о Альжире», стр. 52.

²⁷ «Описание Архипелага и Варварийского берега», стр. 103.

²⁸ «Достоверные известия о Альжире», стр. 53.

²⁹ Там же, стр. 56.

³⁰ Там же, стр. 60—61.



А. С. Пушкин. «Русалка», иллюстрация, 1922.

Лада Вунч

Гравер Павлинов

Этот человек был олицетворением скромности и благородства. Так говорили о нем друзья, так говорил любивший его Фаворский, и только так можно было его воспринять при личном, даже мимолетном, знакомстве. В последние годы он почти не слышал и с трудом говорил, но ход его мыслей был четок и быстр.

Он начинал совсем не как художник. Его отец был морским офицером и думал, что сын последует по его пути. Три года заграничных плаваний, полагающиеся после школы, дали Павлинову возможность изучить картинные галереи Франции, Греции и Италии. Вернувшись в Россию, он поступил вольнослушателем в Академию художеств, в класс живописи, который вел Д. Н. Кардовский. Кроме петербургской Академии художеств, Павлинов периодически занимался в Мюнхене, который в то время стал центром возрождения гравюры на дереве. Эта новая живая струя в искусстве постепенно увлекла и Павлинова.

В конце 1964 года в Дрезденской галерее открылась выставка под названием «150 лет русской графики». На рекламном плакате воспроизводился портрет Пушкина, который был признан на этой выставке лучшим ксилографическим портретом XX века. Автор его — Павел Яковлевич Павлинов, советский график старшего поколения, друг и сподвижник Фаворского. Павлинов умер 14 марта 1966 года, немного не дожив до своего 85-летия.



Портрет А. С. Пушкина. 1924.

Известны лишь несколько его первых живописных произведений. На выставке 1913 года, устроенной Московским товариществом художников, Павлинов был представлен только графическими работами, выполненными в самых разных техниках: офорт, сухая игла, акватинта, черно-белая и цветная линогравюра.

Вскоре Павлинов остановил свой выбор на технике ксилографии.

В конце XIX века гравюра была совершенно обезличена. Она стала применяться главным образом для репродуцирования работ, выполненных маслом, акварелью, карандашом и т. п.

К началу XX века относится рождение самостоятельной обновленной ксилографии. Важную роль в этом процессе сыграл, как известно, Владимир Андреевич Фаворский. Павлинов сблизился с ним в Мюнхене, и в дальнейшем их поиски и даже жизненные пути шли параллельно; увлечение гравюрой, преподавание во ВХУТЕМАСе (с 1921 года Павлинов — профессор рисунка и ассистент Фаворского по ксилографии).

В 20-х годах они оба занимаются проблемой пространства в гравюре. Павлинов посвящает этой теме свою методическую книгу «Графическая грамота»¹.

Объемности, выхода из плоскости добивается Павлинов в своих работах 1921—1926 годов. Он создает серию монументальных ксилографических портретов, что было ново как жанр в советской графике. Первые пробы в области портрета были сделаны Павлиновым раньше: это гравюра «Сказительница Кривополенова» (1916 г.), в которой он впервые сосредоточивается на изображении лица — без фигуры, фона, аксессуаров; это трагический автопортрет (1918 г.), открывший столь ценное свойство художника, как способность к психологическому анализу. В серии 20-х годов Павлинов выступает как зрелый, самостоятельный мастер. Он дает индивидуальные, остропсихологические характеристики, изображая людей разных эпох и сфер деятельности, — Ленина, Блока, Белинского, Гофмана, Кони, Мгебров и др.

Очень интересен в этой серии портрет Пушкина. Впервые Павлинов обратился к пушкинской теме в 1921 году. Он подготовил для юбилейного набора открыток, издававшегося к 75-летию со дня смерти поэта, композицию «Дуэль Пушкина». Она интересна своим символическим построе-



А. С. Пушкин. «Русалка», фронтиспис, 1922.

нием: противопоставление Пушкина и Дантеса — двух людей, двух миров, воплощается как столкновение плоскостей — светлой с фигурой Пушкина и черной с фигурой Дантеса. Но это была лишь тематическая предпосылка к портрету Пушкина. Его художественное решение было подготовлено работой над портретом Белинского (1922 г.), выполненным смело и с большой экспрессией. Многие приемы, открытые при его создании, нашли свое завершение в портрете Пушкина, к которому мы теперь обратимся.

Он был награвирован в 1924 году для одностомника произведений Пушкина, издаваемого в Ленинграде. Художник изображает не всю фигуру, а только голову

¹ П. Павлинов. Графическая грамота. Наркомпрос РСФСР. М., ОГИЗ — Учпедгиз, 1932.



А. С. Пушкин. «Русалка», иллюстрация.

Пушкина. Она заключена в белый ореол, который в портрете Белинского был едва намечен, а здесь сделан откровенно в форме нимба, вырывающего голову из плоскости. Фон непредметен, он служит только для создания глубины. В портрете Белинского фон представляли различные аксессуары эпохи: медальон, профиль Пушкина, книги. Здесь художник отказывается от второстепенных деталей во имя лаконичности и строгости.

Если отдельно рассматривать правую и левую части лица, то мы увидим пушкинский профиль (справа) и изображение анфас (слева). Столкновение двух ракурсов создает впечатление скульптурности, осязаемой объемности лица. Глаза без блеска, с большими черными зрачками; тень у переносицы делает их задумчивыми и печальными. Штриховка лица скупа и поэтому особенно выразительна — ею обозначены выпуклые скулы; негритянские губы плотно сжаты, белые по черному штрихи передают их влажный блеск. Под глазами и от

носа ко рту протянулись морщины, так значительно звучащие на белом.

Световое решение портрета создается сочетанием черноты волос, бакенбард, костюма с белой, почти не заштрихованной поверхностью лица. Контрастное освещение вносит тревогу, напряженность и одновременно торжественность.

Павлинов всегда смел в иконографическом решении своих портретов. Он заставляет взглянуть по-новому на привычные черты, заостряя внимание на важных деталях, находя неожиданный, наиболее выразительный ракурс. Поэтому бывает трудно определить, какие портреты служили источниками и прообразами в его работах. Общее композиционное решение и сходство отдельных деталей, однако, наводят на мысль об обращении художника к портрету Линева.

Существует самое совершенное по документальности изображение лица Пушкина — это посмертная маска. Она была снята скульптором Гальбергом через два



часа после смерти поэта. Закрытые глаза, полураскрытый рот, отсутствие волос и бакенбард очень изменили это лицо, и в нем не сразу узнаешь Пушкина. Но для художника важны пропорции, а здесь их точность определена технологией процесса снятия маски. Художник и скульптор, работающий над портретом Пушкина, обращаются прежде всего к маске.

При сравнении павлиновского портрета с маской обнаруживаются те же линии, те же особенности лица; оно сужается к подбородку, лоб выпуклый, рельефны надбровные дуги, кончик носа опущен, рот широкий.

Но, помимо маски и близкого к ней портрета Линева, Павлинову нужен был какой-то живой источник. Он угадывается легко. Если прикрыть левую часть лица так, чтобы остался только профиль, перед нами возникают многочисленные автопортреты Пушкина. Гравер, очевидно, воспользовался не каким-то определенным рисунком,

а выбрал из всех самые характерные, повторяющиеся признаки.

Автопортрет Пушкина и маску Гальберга можно считать иконографическими источниками тем определеннее, что сам художник подтверждал наши догадки.

Таким образом, основываясь на наиболее объективных и достоверных изображениях, гравер создает своего собственного Пушкина, наполняя портрет острой экспрессией XX века.

Глубоко индивидуальный портрет с большим внутренним содержанием явился ценным вкладом в пушкинскую художественную галерею.

Совсем иное психологическое содержание в портрете Гофмана (1922 г.). Обостренная нервность, мистический взгляд на мир передаются особым штрихом и подчеркнутой асимметрией. Художник для каждого лица находит новые средства выражения. Павлинову присуще глубокое понимание лич-



А. С. Пушкин. «Русалка», иллюстрация.

ности, перевоплощение в нее. Но мы всегда чувствуем и отношение автора к изображенному человеку, натура не порабощает его.

Гравера привлекают яркие личности, сложность их внутреннего мира. После создания портретной серии 1920-х годов о Павлинове стали говорить как о первом советском мастере ксилографического портрета.

В эти же годы он пробует свои силы в жанре иллюстрации. И опять судьба стелкивает его с Пушкиным.

В начале 20-х годов берлинское издательство «Нева» предложило ряду лучших советских графиков сделать иллюстрации к произведениям Пушкина. Фаворский иллюстрировал «Домик в Коломне», Захаров — «Графа Нулина», Масютин — «Медного всадника», Нивинский — «Пир во время чумы», Павлинов — «Русалку». Но издательство распалось, и из всех произведений, подготовленных для него, только

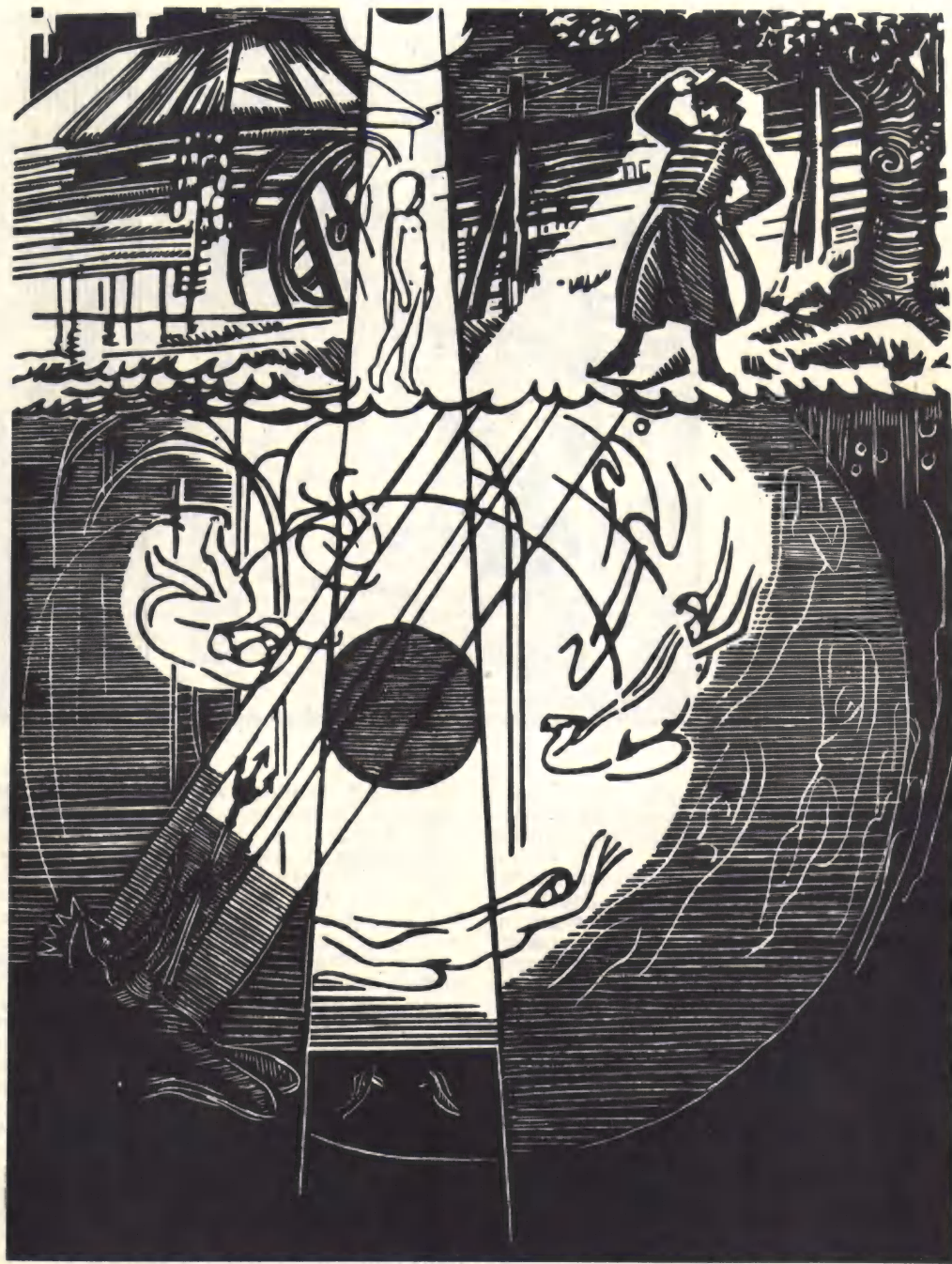
«Домик в Коломне» с великолепными гравюрами Фаворского был издан у нас в 1924 году.

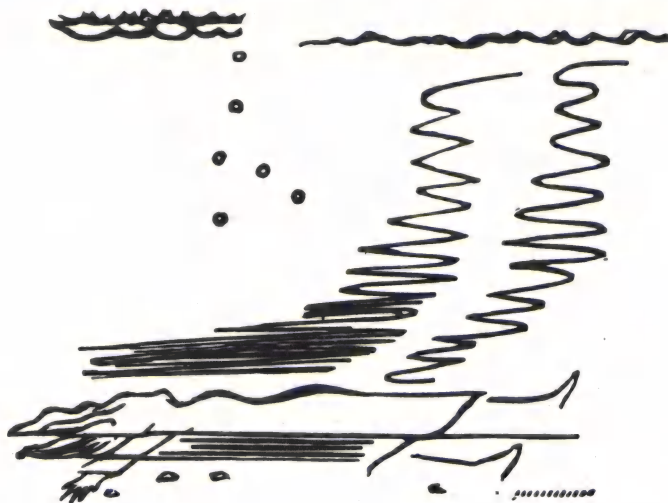
Павлинов в 1922 году сделал полный макет «Русалки».

Иллюстрации к «Русалке» представляют собой цикл гравюр, интересных по замыслу и исполнению.

При взгляде на обложку, с которой начинается знакомство с книгой, сразу же ощущается незавершенность пушкинской драмы. Обложка решена очень скупой, чисто декоративно: строгий шрифт названия и легкий рисунок виньетки красиво скомпонованы на спокойном сером фоне. Художник делает обложку нейтральной, так как считает, что нельзя говорить конкретно и определенно о незаконченном произведении.

Фронтиспис, как увертюра (по определению Павлинова), повествует о событиях, которые должны развернуться. Гравер решает его символически. Интересна и краси-





А. С. Пушкин. «Русалка», иллюстрации.

ва нижняя часть листа, представляющая подводное царство. Фигуры русалок — симметричные, одинаково сужающиеся книзу — напоминают кариатиды. Они поддерживают и завершают композицию. Фронтиспис не только по назначению сходен с увертюрой, но и выполнен музыкально — в четком строгом ритме. Павлинов проникся гармонией и поэтичностью пушкинской драмы.

Титульный лист заполнен только шрифтом и поэтому не отвлекает внимание от фронтисписа.

Четыре иллюстрации: «Мельник и дочь», «Свадьба», «Князь и Мельник», «Князь на берегу Днепра. Подводное царство» — тематически соответствуют плану «Русалки». Художник верно понял ход произведения и остановился на основных, поворотных моментах.

Гравюра «Мельник и дочь» воспроизводит кульминационную сцену 1-й части:

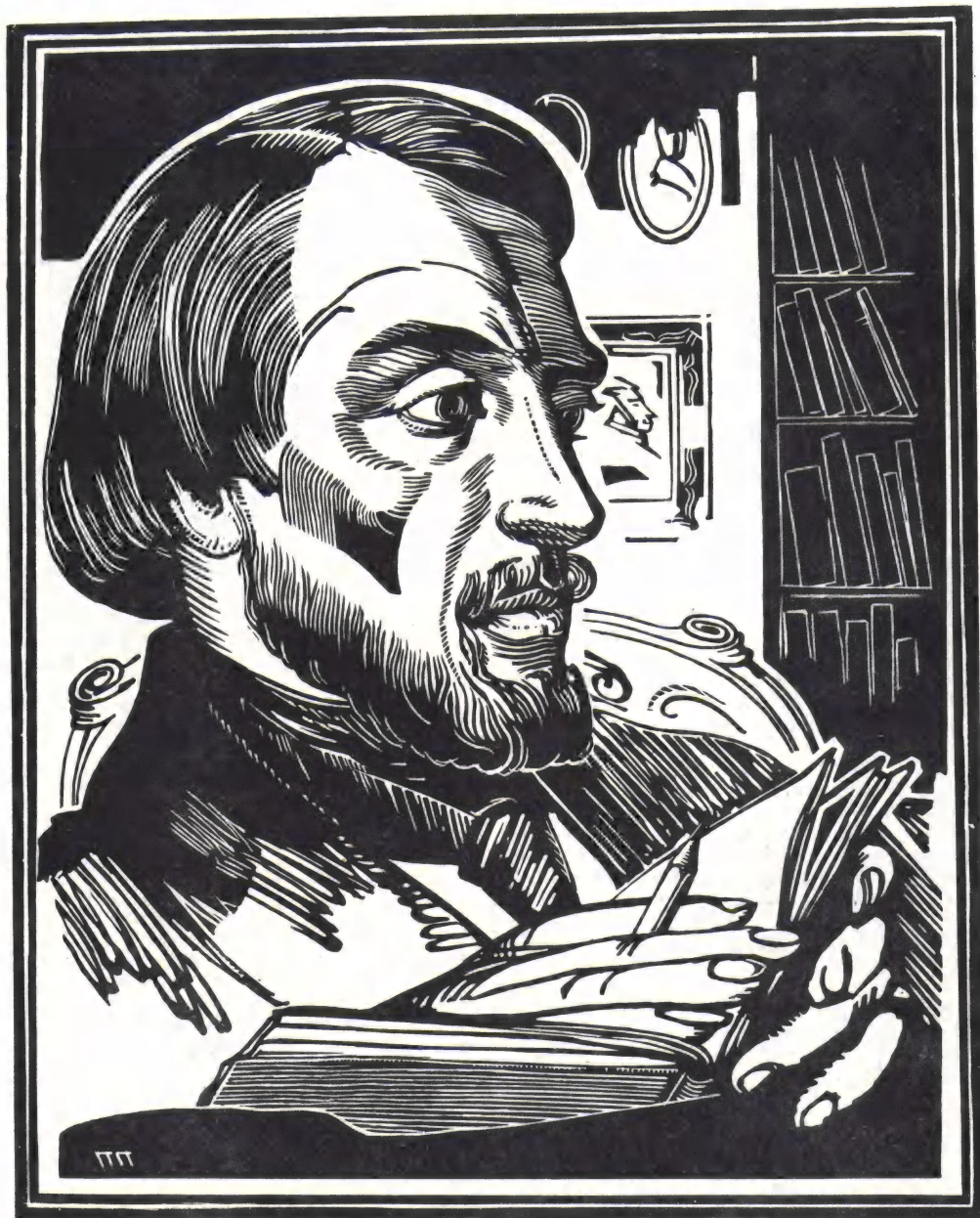
Ох, душно!
Холодная змея мне шею давит...

Змеей, змеей опутал он меня.
Не жемчугом.

Так бы я
Разорвала тебя, змею злодейку,
Проклятую разлучницу мою!

Этой высшей степени горя, переходящего в ненависть, в жажду мщения, нет в героине Павлинова. Композиции мешает некоторая театральность. Трагический накал сцены передан не в полной мере. Иллюстрация спокойнее, чем пушкинский текст. Эта гравюра при всех ее достоинствах стоит ниже трех других иллюстраций и заметно от них отличается. Мы знаем, что она создавалась в другое время, значительно позже, когда художник уже закончил работу над «Русалкой».

Иллюстрацию дополняет перекликающаяся с ней виньетка в виде рассыпавшегося ожерелья. Она помещена у нижнего края страницы.



Портрет В. Г. Белинского, 1922.

Вторая гравюра посвящается сцене свадебного пира. По композиционному решению, по принципу построения фигур гравюра напоминает древнерусскую книжную миниатюру: строгая симметрия, несколько обобщенные фигуры, плоскостное изображение свадебного стола, совмещение нескольких действий, имеющих последовательность в драме (подают петуха, Конюший докладывает Князю, кричат девушки, услышавшие голос Утопленницы). Главные действующие лица — Князь и Княгиня — как будто отшатнулись друг от друга. Черный фон, повисший над героями, белый круг люстры вносят беспокойство. Мрачное лицо Конюшего, склонившегося к Князю, симметричные группы застывших в страхе людей действуют угнетающе. Так художник своими средствами передает настроение и колорит одной из центральных сцен «Русалки».

Основной иллюстрации отвечает винетка в виде свадебных кубков, декоративно разбросанных в складках скатерти.

Следующая гравюра рассказывает о встрече Князя с сумасшедшим Мельником. Это самая трагическая сцена в «Русалке», и образ Мельника — самый сильный в драме.

В композиции Павлинова Князь выделен белым лучом, как главный герой произведения. Но внимание наше целиком захватывает Мельник. Его облик страшен. Лицо и фигуру Мельника художник деформировал. Особенно важная деталь его внешности — крылья, повисшие за плечами. Они едва обозначены и при первом взгляде даже незаметны, поэтому реальность фигуры Мельника они не разрушают. Крылья создают дуплановость: мы смотрим на Мельника глазами Князя и глазами самого Мельника, потерявшего рассудок.

Художник, чтобы усилить накал сцены, противопоставляет героев.

Фигуры Князя и Мельника сделаны разными штрихами: тщательно проработанный кафтан Князя контрастирует с неровно, как бы рвано заштрихованной одеждой Мельника.

Символический, несколько условный принцип решения особенно ярко проявляется в иллюстрации к последней части «Русалки», где художник должен показать царство русалок, слить воедино сказку и явь, как это сделал Пушкин.

Павлинов вводит нас в подводное царство постепенно — через концовки предшествующих глав.

Эти гравюры выполнены в иной манере, чем основные иллюстрации. Они линейные, легки и необъемны. Их тема — подводное царство русалок — окончательно развивается в последней иллюстрации, где художник должен изобразить встречу Князя с Русалочкой так же убедительно, как это сделал Пушкин.

Когда Князь произносит свою последнюю фразу: «Откуда ты, прекрасное дитя?» — он уверен, что видит перед собой девочку. Художник показывает Русалочку в чело-вечьем облике. Контурно, необъемно он обрисовывает ее фигурку, подобно тому как изображены русалки в упомянутых выше концовках. Мы узнаем «русалочью» манеру Павлинова, которая дает понять, что эта девочка пришла из подводного мира.

Картина речного дна занимает большую часть листа. Круг и множество пересекающихся линий делают композицию несколько усложненной и геометричной. Русалочка стоит в столбе света, который, преломляясь, озаряет подводное царство. Этот столб, или луч связывает реальный берег с волшебным миром русалок, осуществляя композиционное единство гравюры. Освещение неровное, беспокойное, сферическое.

Царица-Русалка трезубцем как будто посылает Князю широкий луч, который соединяет главных героев.

Павлинов показывает нам царство русалок, хотя у Пушкина нет его описания. Развернувшееся под ногами Князя подводное царство наводит на мысль, что герой будет увлечен на дно Днепра.

Но книга не кончается на последней строке произведения. Дальше следует несколько страниц без текста. У нижнего края каждой помещен символический рисунок: шарик, скачущий через линейки, то вниз, то вверх. Судьба Князя неизвестна: может быть, он уйдет к Русалке, может быть, вернется к Княгине.

Бережно и любовно Павлинов превращает книгу в единое художественное целое. Он не оставляет без внимания и страницы, заполненные текстом: делает красивые широкие поля, отчеркнутые вертикальной черной полосой.

Большой вкус, такт, проникновение в психологию пушкинских героев, экспрессивная насыщенность, многообразие композиционных и формальных решений — все это ставит «Русалку» Павлинова в ряд лучших произведений советской книжной

графики. И то, что книга до сих пор не издана, вызывает чувство досады и недоумения.

Из последующих работ Павлинова наиболее интересны иллюстрации к рассказу Лескова «Человек на часах» (1925 г.) и к роману Руффини «Заговорщики» (1928 г.). Они выполнены по-разному. Павлинов не удовлетворялся однажды открытыми формальными приемами, он для каждого

произведения нашел свой графический язык, соответствующий философии и настроению книги. Гравюры к Лескову остры и социальные, роман итальянского писателя Руффини оформлен с неожиданной легкостью и изяществом.

Тонкая восприимчивость, чуткость к авторскому слову — важные достоинства иллюстратора, которыми в высшей степени был наделен П. Я. Павлинов.

Освальд Гаррисон Виллард

Годы сражений

Перевод с английского
Вступительная статья
и комментарий Р. Орловой

Бернард Шоу писал Освальду Гаррисону Вилларду: «Удивительно, что такая газета, как «Нейшен», продержалась 60 лет в стране, где Истину по крайней мере трижды в неделю вываливают в смолу и перьях, линчуют, бросают в тюрьму, избивают, высылают как нежелательную...»

У многосторонне одаренного Освальда Вилларда, редактора, историка (автора монографии о Джоне Брауне), общественного деятеля, жизненной страстью была журналистика. «Журналистика — моя первая любовь. И дело тут не в честности. Нет, я азартно стремился первым узнать новости, держать руку на пульсе событий, ощущать калейдоскоп общественной жизни у нас в стране и за границей — и иметь возможность сражаться за реформы...»

Его автобиографическая книга «Годы сражений», написанная после того, как он ушел в отставку, — своеобразная энциклопедия эпохи. Он был участником важнейших исторических событий — войн, мирных конференций, участвовал в становлении и падении президентов, он встречал самых выдающихся деятелей своего времени. «...Не подлежит сомнению, что «Нейшен» оказывала глубокое воздействие на все интеллектуальное развитие США; переплетенные годовые комплекты — необходимый источник для любого историка, который занимается периодом с 1865 по 1905 год...» — так писал Виллард о газете «Нейшен». С поправкой на даты эти слова полностью справедливы и по отношению к тому времени, когда он сам стал редактором.

В подзаголовке книги «Годы сражений» (1939 г.) сказано: «Воспоминания редактора-либерала». Во многих языках, в том числе и в английском, слова «либерал» и «свобода» — одного корня. «Либерейтор» — «Освободитель» — так называлась знаменитая abolitionistская газета, которую издавал Вильям Ллойд Гаррисон. Борьбе за свободу посвятил свою жизнь и его внук Виллард.

Он был белым, но с юности вступил в борьбу за права негров. Он финансировал негритянскую школу на Юге. Вместе с другими общественными деятелями США (среди них был и Дюбуа) он основал Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения — одну из старейших организаций в США, защищавших негров.

Он был американцем, но каждая империалистическая акция его правительства — будь то захват Кубы, Филиппин, интервенция в Мексику, вступление в первую мировую войну, диктат на Гаити или в Никарагуа — вызвала не только его негодование, но и немедленное противодействие.

Он был человеком богатым — его отец одно время возглавлял крупнейшую железнодорожную корпорацию США, — но постоянно отстаивал права неимущих, вплоть до страстной защиты Сакко и Ванцетти.

Он боролся за женское равноправие, был одним из 84 мужчин — участников парада суфражисток в 1911 году.

Он отнюдь не был большевиком (хотя его так нередко называли реакционные газеты), но сражался против интервенции в Россию.

Эпоха, описанная в книге, кажется сегодня глубокой стариной. Иные битвы, которые вел автор, столь же старомодны, как изображенное на одной из фотографий антивоенное шествие женщин — именно шествие, не назывшее же демонстрацией эту плавную процессию дам в белых шляпах и длинных белых платьях! В центре идет мать Вилларда.

Но другие битвы — против империализма или за равные права негров — живы и сегодня. А главное, жив человек, написавший книгу, живы его бескорыстие, верность себе и страстная любовь к беспокойной профессии.

Борцом за свободу Виллард стал, так сказать, по наследству. С огромной любовью и уважением пишет он о своем деде; пример мужественного поборника освобождения негров, которого взбешенные рабовладельцы однажды протащили с веревкой на шею по улицам Бостона и едва не линчевали, постоянно перед глазами его восприимчивого внука.

И о других героях этой книги — о родителях, об учителях, о друзьях, о коллегах Виллард пишет чаще всего восторженно. («Лучше человека я не встречал в жизни...» — так о многих.) Умение восхищаться другими людьми в сочетании со сторожейшей требовательностью к себе и придает такое обаяние герою-автору. При этом он вовсе нетерпим к злу. «...Я всегда с трудом сотрудничал с людьми, неспособными негодовать...» — пишет он о своем первом начальнике, редакторе филаделфийской «Пресс».

В 1891 году студент Гарвардского университета стал корреспондентом «Ивнинг пост» — американской «Вечерки», газеты, которой с 1881 года владел его отец. В 1894 году появляется его первая статья в «Нейшен». (Эти две газеты были объединены до 1918 года, когда Вилларду, уже главному редактору, пришлось за отсутствием средств продать «Ивнинг пост».) С 1897 года Виллард — штатный сотрудник «Ивнинг пост». С 1918 года он главный редактор «Нейшен» (до ухода в отставку в 1933 году).

С растущей горечью наблюдал он, как на протяжении его долгой жизни американская печать становилась все более и более продажной. «Сейчас уже почти невозможно найти газету, которая не была бы под влиянием большого бизнеса, под влиянием людей богатых и привилегированных».

Сам Виллард стойко сопротивлялся этому. Недаром еще во время захвата Филиппин в правительстве обсуждался вопрос — не предъявить ли газетам «Ивнинг пост» и «Нейшен» обвинение в государственной измене? А во время первой мировой войны этот во-

прос был уже не дискуссионным. «Нейшен» неоднократно бойкотировали, субсидии всегда были проблемой. Бойкотировали и публичные выступления Вилларда. В самый разгар так называемого красного психоза он едва ли не повторил крестный путь деда. Но все это не поколебало его решимости отстаивать свои убеждения. Он писал во время войны Тэмолти, помощнику президента Вильсона: «Поверьте мне, я готов к любому концлагерю, к тюрьме, но я не нахожусь в состоянии войны, и меня никто вовлечет в войну не сможет, даже президент США, при всей его власти. Это невозможно, потому что противоречит американским идеалам и традициям».

В журналистской и редакторской деятельности Виллард отстаивал благородство, высокий профессиональный уровень, терпимость, правдивость, как сказали бы сегодня — информативность. Он, необыкновенно чуткий к тому, что в Америке называется «ньюс», новости, боролся против сенсаций ради сенсации, против желтизны, против подчинения стадным чувствам. Он был прямым антиподом Херста.

После бурных дней, которые потрясли мир, Виллард медленно, ощупью движется влево. «Я не хотел, чтобы мои дети жили в мире, который управлялся бы так, как за последние пять лет управлялся мой мир. Я потерял всякую надежду, что капитализм может возникнуть или реформироваться...» Он изучал молодой социалистический опыт внимательно, добросовестно, думая о том, что можно и нужно применить в США. Он изучал этот опыт в Мюнхене и в Берлине. Он стал свидетелем рождения социалистической республики в Баварии. Он присутствовал на конгрессе II Интернационала в Берне. Автор пишет с уважением о социалистических деятелях, с которыми он встречался лично, как Курт Эйсер, или о которых знал, — Роза Люксембург, Карл Либкнехт. Но видит и их недостатки. «У социалистических лидеров не было опыта управления; у них был только паразитический опыт и не было ни грана поразительного мужества и силы Ленина, не говоря уже о ленинском гениальности».

Вполне естественно, что Виллард оказался среди тех (немногих) влиятельных общественных деятелей, которые выступили против интервенции в Советскую Россию. После Октябрьской революции в нашей печати были опубликованы тайные дипломатические договоры, и Освальд Виллард был тем первым американским редактором, который напечатал их в «Нейшен» 25, 26, 27 января 1918 года.

Коммунистом его могли называть только невежественные американские газетчики. Но в то время, когда сами слова «Россия», «красный» вызывали гнев и ненависть, это обвинение было весьма серьезным.

В публикуемых (с сокращениями) отрывках из его книги представлено одно поле сражений Вилларда — борьба против красного психоза.

Подводя итоги в последней главе книги, Виллард пишет: «Когда друзья в мрачнейшие периоды жизни спрашивали меня, как я могу сохранять оптимизм, я отвечал: «Будучи одним из самых безучных людей, я не имею права не быть одним из самых счастливых».

Впервые предстоящий перед русскими читателями опыт борьбы талантливого газетчика, благородного человека и защитника Советской республики в первые годы ее существования поучителен и сегодня.

Р. Орлова

Наша платформа тех времен теперь вовсе не кажется «радикальной и опасной». В первом номере 1918 года я опубликовал проект, который включал такие дьявольские пункты восстановления мира: немедленное и радикальное разоружение всех стран и отмена всеобщей воинской повинности; отмена всех налогов и установление свободы торговли; принятие доктрины Линкольна: «Ни один человек не может быть настолько хорош, чтобы управлять другим человеком без его на то согласия», как единственного здорового принципа, на основе которого можно установить порядок в национальных, международных и расовых отношениях (предполагалось, в частности, провести и референдум в Эльзасе и Лотарингии об их будущем статусе); создание международного суда и международного парламента. «Ведь все мы знаем, писал я тогда, что если ни один из этих принципов не будет принят после войны, значит, все огромные жертвы были напрасны». Время подтвердило правоту этих слов.

Мы тщательно разрабатывали программы нашей внутренней политики. Мы настаивали на демократическом управлении промышленности и предлагали даже ввести пенсии для престарелых и пособия безработным. Мы терпеть не могли Сэмюэля Гомперса¹ и других лидеров Американской федерации труда и требовали более здорового и разумного руководства, большей искренности и деловитости в организации рабочего движения, требовали законов, утверждающих право рабочих организаций выступать против предпринимателей. Тех самых законов, которым американские рабочие сегодня обязаны Франклину Рузвельту. Мы требовали реформы налогов, устойчивого бюджета, творческой либеральной политики и контроля над природными богатствами страны для блага всех людей. Мы предлагали создать особый законодательный конвент, чтобы включить в Конституцию закон о всенародных опросах и об ответственности кабинета министров перед Конгрессом. Мы требовали провести всенародный опрос о вступлении США в войну. Самым устрашающим в нашей программе был пункт о национализации железных дорог. Мы утверждали также, что независимо от чьих бы то ни было намерений государство рано или поздно будет владеть такими основными отраслями промышленности, как нефть и уголь. И мы оказались правы. В настоящее время Вашингтон контролирует и нефтяную

и угольную промышленность. А губернатор угольного штата Пенсильвания требует, чтобы федеральное правительство полностью взяло в свои руки уголь.

В 1918 году мы упорно добивались того, чтобы войска Соединенных Штатов и союзников ушли б из России. Этого вскоре добились сами русские.

След за мирным договором мы считали самым важным право русского народа управлять своей страной и строить свои новые учреждения — вне зависимости от того, победит ли коммунизм или потерпит поражение. Полное преобразование общественной жизни 140 миллионов русских потрясло наше воображение, и я и сейчас думаю, что 160 миллионов русских... живут сегодня лучше, чем при царе. Эти мои представления были подтверждены поездкой в Россию в 1929 году.

Мы обличали Вильсона за то, что его правительство узурпировало власть, которую Конституция предоставляет только Конгрессу. Ведь наше вторжение в Сибирь и в район Архангельска было настоящей войной: американцы сжигали русские деревни и убивали русских людей по воле господина Вильсона, а не по решению Конгресса США.

Однако мое столкновение с военной цензурой произошло не по вопросу о России. 13 сентября 1918 года нам внезапно сообщили, что наш следующий номер не будет рассылаться подписчикам. Совершенно обалдевшие, мы перечитали этот номер. Передовая статья резко нападала на министерство юстиции, основываясь на фактах, о которых уже сообщала консервативная, милитаристская газета «Трибюн». В другой статье критиковалась отправка Сэмюэля Гомперса в Европу для изучения условий труда. Автор статьи Альберт Нок писал, что Гомперс способен представить читателям информацию на уровне странствующего коммивояжера. Нет, и это не могло быть источником неприятностей... Начальник почты Нью-Йорка г-н Паттен ничего не мог объяснить — он просто получил из Вашингтона приказ задержать выпуск.

Я выехал ночным поездом в Вашингтон вместе с нашим юрисконсультom г-ном Уэрри, чтобы выяснить, в чем дело. С утра я позвонил Лейну — секретарю по внутренним делам, и тот немедленно пригласил меня к себе домой.. Лейн внимательно прочитал весь номер и сразу же показал, насколько он умнее нас: ткнул пальцем в статью о Гомперсе и сказал: «Вот к чему они придрались». Трудно было себе пред-

ставить, что мы докатились до того, что американская газета не может критиковать Гомперса, но г-н Лейн был убежден в своей правоте. И он посоветовал мне: «Отправляйтесь в Белый дом и требуйте свидания с президентом... Вы американский гражданин, ваши конституционные права нарушены, и вы вправе поговорить об этом с самим президентом. Это дело, Виллард, очень важное для прессы и для страны».

Когда я пришел в Белый дом, помощник президента Тэмолти так разъярился, что я не настаивал на личной встрече с президентом. Тэмолти сказал: «Ладно, прежде всего идите в министерство почт и встретитесь с этим старым червивым грибом из Техаса. Скажите ему, что вы о нем думаете, и, если не договоритесь, возвращайтесь ко мне». Мы с г-ном Уэрри долго дождались в приемной г-на Берлсона; старый червивый гриб отказался нас принять и выслал к нам своего адвоката г-на Ламара. Ламар сразу же перешел в наступление *. Да, речь шла именно о Гомперсе. Он сказал: «Г-н Гомперс оказал неоценимые услуги нашему правительству во время войны, он сдерживал профсоюзы, и, пока идет война, мы не позволим ни одной газете нападать на него». Его слова показались, насколько превысила свои права цензура, которой Конгресс разрешил снимать лишь те материалы, в которых содержалась военная тайна или призыв к измене родине... В конце концов он предложил мне: «Сделайте купюры на этой странице, и я разрешу выпуск». Я просто отказался. «Если память мне не изменяет, — сказал я ему, — то ничего подобного не было за сорок восемь лет существования «Нейшен» и не будет». Он не захотел уступить, а я заявил, что буду вынужден действовать через его голову... Я вернулся в Белый дом и сообщил Тэмолти, что ничего не добился... Он сказал: «Доверьте это дело мне».

На заседании кабинета на следующий день сам президент заговорил о нашей истории и, выслушав оправдания министра почт Берлсона, отверг его доводы и снял запрет с номера «Нейшен». Об этом сооб-

* Однажды Ламар заметил: «Я с этими цензурными делами играю не втемную. Я точно знаю, чего я хочу. Я противник трех вещей: пронемецких настроений, пацифизма и интеллигентщины. Я следил за «Нью рипаблик» долгие месяцы, я пока еще ничего не обнаружил, но обязательно обнаружу...»

щили во всех газетах. Наш номер дошел до подписчиков с недельным опозданием. Когда стало известно о причинах задержки, журнал быстро раскупили. Как всегда бывает, схватка с цензурой сильно повысила наш тираж, создала нам рекламу. Одни нас хвалили, другие ругали, однако ни одна ежедневная газета Нью-Йорка не пришла к нам на помощь и не вступила в борьбу за свободу печати, пока сражение не было выиграно.

К сожалению, другие издания, которые стали жертвами идиотских происков Берлсона — Ламара, не вышли из положения так удачно, как мы. Берлсон заявил прессе, что он считает все социалистические газеты опасными «не потому, что они социалистические, а потому, что опасны те доктрины, которые они проповедают! Ни одна газета не должна утверждать, будто эта война капиталистическая». Его задачей было предостеречь измену, но он открыто заявил о своем намерении контролировать общественное мнение. И как уже часто бывало, президент не опроверг это заявление. Его сторонники утверждали, что президент просто ничего не заметил. После этого Берлсон и запретил небольшой чикагский журнал «Юнити» — ни много ни мало как за публикацию стихотворения Роберта Броунинга!² Он же заявил двум редакторам-клерикалам, чьи интернационалистические взгляды он не одобрял, что они не имеют права издавать журнал.

Естественно, мы немедленно предложили, чтобы был организован специальный кабинет наблюдения за прессой, но президент снова оказался слишком занят, чтобы выслушать нас. Читатели поддерживали нас, правда, один читатель из Сан-Франциско написал, что «Нейшен» следует запретить навсегда, потому что это «самый опасный журнал в интеллектуальном и литературном отношении, издаваемый в этой стране».

...Генерал Блисс³ был решительным противником милитаризма и хорошо знал, что это значит, когда власть в стране захватывают военные. Во время Версальской конференции его, так же как и меня, очень встревожило предложение, внесенное в Конгресс, — создать регулярную армию в 500 тысяч человек. Его ужаснуло предложение ввести всеобщую воинскую повинность в США — к этому и сегодня стремятся некоторые наши генералы, — подобно тому, как генерал Дуглас Мак Артур⁴ ввел воинскую повинность на Филиппинах.

Вскоре после того как мы встретились в Париже, он мне сказал, и я записал его слова в дневнике: «Если мы пойдем на всеобщую воинскую повинность, на милитаризм, мы через двадцать лет станем такими же чудовищами, как и немецкие милитаристы».

Президент произносил все официальные речи и предьявлял, не консультируясь со своими коллегами, требования от имени США. Полковник Хауз⁵ был одно время в большой чести, до того момента, когда он тоже был отброшен прочь и их «идеальная дружба» с президентом разрушилась. Хауз иногда пытался помочь кому-либо из корреспондентов, однако положение прессы было очень скверным. Рей Стеннард Бейкер⁶ не обладал достаточным опытом газетчика, был слишком робок, да и слишком связан с официальными кругами. Сам президент дорого заплатил за то, что прессу так плохо информировали; это вызвало недовольство, и поэтому именно тогда, когда Вильсон более всего нуждался в поддержке печати, американские газеты выступили против него. Враждебно настроенные корреспонденты резко возражали против все усиливающегося засекречивания Версальской конференции и неограниченного господства Большой четверки⁷.

Гарольд Никольсон⁸ полагал, что не надо было пускать пятьсот корреспондентов в Париж. Он хотел бы, чтобы все дебаты велись втайне и публиковали бы только официальные коммюнике. Он ошибался. Корреспонденты все равно как-то устроились бы и добыли бы информацию. К тому же мир должен был знать, что происходило в Париже, и, если бы общественность не была бы подготовлена постепенно к Версальскому договору, вызванное им потрясение было бы еще более сильным... Американским журналистам вскоре все это надоело. Так же как и я, они понимали, что происходит нечто постыдное. Я не могу придумать худшего наказания для некоторых коллег, чем заставить их сегодня перечитать их тогдашние сообщения из Парижа. Начался постепенный разъезд, и многие телеграфно запрашивали разрешения вернуться. Большая группа уехала 5 февраля с глупым отвращением. После того как стало ясно, что пленарные заседания просто фарсы и что все вопросы решаются Большой четверкой, каждому захотелось уехать либо в Германию, либо в Россию. Все завидовали поездке Вильяма Буллита⁹,

Линкольна Стеффенса^{10—11} и капитана Уолтера Пети в Россию; по поручению президента они должны были выяснить фактическое положение вещей. Но Вильсон заявил, что корреспондент, который поедет в Германию или в Россию, будет лишен профессиональных прав и отправлен первым же пароходом обратно и даже визы в нейтральные или граничащие с Россией или Германией страны будут выдаваться только при условии, что корреспондент формально присягнет не въезжать в эти страны. Таким образом, даже в тот момент наиболее интересные районы оказались закрытыми для прессы.

На это было много причин, однако решающим было стремление скрыть от мира и особенно от Америки тот факт, что военная блокада, несмотря на перемирие, продолжается, что ежедневно старики, женщины, дети умирают в Германии от недоедания. Я никогда не мог простить лорду Роберту Сесилу¹² ту роль, которую он играл в этой смертоносной политике, заставляя людей голодать после войны. Он один из самых религиозных людей, он искренне стремился к тому, чтобы создаваемая Лига наций способствовала всечеловеческому братству. Но его христианства не хватило для того, чтобы открыто потребовать помощи для людей, которые недоедают и не могут противостоять болезням и нищете. Если бы он как британский министр блокады потребовал снять эмбарго, к нему прислушался бы весь мир. Богобоязненный пресвитерианец из Белого дома * тоже не заявлял о вопиющей жестокости по отношению к мирному населению; угроза голода нависла над побежденными, чтобы заставить их подписать любой проект договора...

...Отношение к России яснее всего показывало, сколь безумными были решения Большой четверки. Политика Франции, сформулированная министром иностранных дел г-н Пиншоном, была горячо поддержана даже некоторыми американцами, в частности Симеоном Струнским, чьи корреспонденции для «Ивинг пост» никогда не отличались политической трезвостью. Он предлагал окружить Россию «стенной штыком». Если он хотел предотвратить распространение радикальных доктрин в Европе, то это была полная глупость, потому что новые идеи всегда преодолевают любой физический барьер. План г-на Вильсона — послать Буллита и Стеффенса в Россию был превосходен, но что из этого вышло? Их доклад игнорировали,

потому что они доказали, что обстановка в России не такова, как хотелось Большой четверке. В дальнейшем само существование этого доклада попросту отрицалось. За 40 лет мне пришлось наблюдать немало фальшивок, сфабрикованных государственными деятелями, но я не припомню ничего более бесстыдного, чем заявление Ллойд-Джорджа¹³ в палате общин 16 апреля, будто бы он ничего не знал о докладе Буллита и даже не встречался с Буллитом. Я тогда был в Нью-Йорке и немедленно написал в «Нейшн», что Ллойд-Джордж не только обо всем знал, но даже приглашал Буллита завтракать.

Когда Буллит приехал в Нью-Йорк, он спросил меня, уж не умею ли я читать чужие мысли. «Никто ничего не знал о завтраке, — сказал он. — Как вы это обнаружили?» Я напомнил ему, что он собирался завтракать со мной в то самое утро, когда состоялась его встреча с Ллойд-Джорджем. К моему сожалению, я проснулся поздно, около девяти, то есть почти через час после назначенного с Буллитом свидания. Я вскочил с постели и увидел под дверью записку: «К сожалению, я не могу завтракать с Вами, так как я должен идти завтракать с Л.-Д. Буллитом». Объяснение было простым. Я должен добавить: свидетельствуя перед сенатским комитетом по иностранным делам, Буллит сказал, что Ллойд-Джордж свершил самый вопиющий обман общественно-го мнения, утверждая в парламенте, будто советские руководители не обращались к Антанте ни с какими предложениями. Вскоре после того как Ллойд-Джордж нагло солгал, Филипп Керр¹⁴, защищая его, говорил, что британский премьер поступил так потому, что, вернувшись в Англию, обнаружил, что лорд Нортлиф¹⁵ и другие готовы вытеснить его, если он предложит признать Советы!

Вильсон попросту отказался принять Буллита, так же как он отказался принять меня, по-прежнему объясняя свой отказ тем, что он способен делать только одно дело, что он теперь целиком поглощен Германией и потому не может заниматься Россией. Отношение Вильсона к России было самым ясным показателем его неподготовленности к решению задач, его морального отступления, его нежелания считаться с реальными фактами. 18 янва-

* Имеется в виду президент Вильсон.

ря 1918 года он заявил, что наша политика по отношению к России — это «лакумовая бумажка» доброй воли. Один из его «14 пунктов» гласил: все вопросы, связанные с Россией, необходимо разрешить так, чтобы обеспечить наилучшее и наиболее свободное сотрудничество ее со всеми странами мира, с тем чтобы Россия могла без стеснений и без затруднений решить проблемы своего собственного политического развития и национальной политики... После этого на Россию напали с трех сторон американские, британские, французские и другие союзнические войска. Когда временное правительство в Омске обратилось к генералу Грейвсу¹⁶ с просьбой не посылать больше американских войск в Сибирь, тот ответил, что «наша политика в любой стране решается президентом». И он был совершенно прав. Конгресс уступил свою власть президенту на время войны; и вся ответственность за это фантастическое вторжение в страну, с которой мы не воевали, навеки легла на плечи господина Вильсона, и на его совести — кровь русских и наших солдат, пролитая в этой его частной войне.

Позднее, когда Нансен¹⁷ предложил помогать России продовольствием, Большая четверка приняла эти предложения, но выдвинула при этом обязательное условие: чтобы Советское правительство прекратило военные действия. Между тем в это время все военные действия в России вели только войска Антанты и США или контрреволюционные армии, которые подстрекались, снабжались, финансировались союзниками, как об этом откровенно заявил Ллойд-Джордж в палате общин 16 апреля. «Нейшен» верно тогда же характеризовала эту политику как «сочетание разбоя и удущения голодом, приправленное благочестивыми фразами». В результате всех этих чудовищно грубых ошибок и международных преступлений Антанта и Соединенные Штаты претерпели поражение и свершилось чудо: Советский Союз превратился в могущественную державу, соперничающую с Соединенными Штатами!

...Со всех сторон в газету приходили выражения благодарности, в том числе и от людей, занимающих высокие посты и скрывающих свои взгляды. Таких писем было гораздо больше, чем критических и бранных окриков. Мы возмутились и вместе с тем не могли не рассмеяться, когда газеты сообщили об аресте в Денвере рабочего иностранного происхождения, потому что полиция обнаружила в его комна-

те пачку поджигательских газет и журналов, среди них «Нейшен», как свидетельствовала иллюстрация на обложке. Но нашему бедному подписчику было не до смеха, ибо он испытывал в полиции допрос третьей степени* и подвергся незаконному тюремному заключению. Этот случай был лишь одним из тысячи — по всей стране арестовывали без ордеров мужчин и женщин, и уже это само по себе было гораздо большим беззаконием, чем те нарушения закона, в которых их обвиняли. У нас были также читатели и авторы и консервативно настроенные; однако денверская полиция точно отразила и то, как в то время относились к «Нейшен» в разных слоях общества, и тот почти невероятный психоз, который свирепствовал в стране.

Страх перед красными и сейчас гнездится кое-где и всегда может быть вытиснен на свет каким-либо продажным и находящимся не у дел политиканом. Тогда этот страх был широко распространен и постыдная травля красных шла по всей стране, а великий либерал Вудро Вильсон этому не препятствовал, более того, травля вело его министерство юстиции, или, как мы правильно переименовали его, министерство несправедливости**.

Линкольн Конкорд писал из Вашингтона: «Вильсон и Бейкер потеряли голову в этом милитаристском угаре, в наведении законности и порядка, в подавлении гражданских прав и свобод. Они еще менее порядочны, чем были Бурбоны. Бывший пацифист Бейкер превзошел всех генералов, требуя огромной армии. Он требовал от конгресса создать армию в 500 тысяч человек, тогда как Першинг¹⁸ хотел только 275 тысяч или 300 тысяч и даже генерал Вуд просил только 250 тысяч. Апологеты Вильсона, как всегда, отказывались видеть факты и пытались обелить президента; тогда во время войны людей, уклоняющихся от призыва по соображениям совести, подвергали пыткам — защитники президента говорили, что он ничего об этом не знал. Так же и теперь они говорили, что он занят более неотложными делами, как будто могли быть более неотложные дела, чем то, что чиновники ежедневно попирали конституцию; а ведь они

* Третья степень — допрос с применением пыток.

** Justice (англ.) — юстиция и справедливость.

давали присягу свято соблюдать ее. Мы заявляли: если г-н Вильсон не знал о происходящем, значит, он никуда не годится как президент. Но ответа мы не получали.

Эти официальные беззакония продолжались и в 1919 и в 1920 году. Генеральный прокурор США Митчел Пальмер, мечтавший о президентстве, дал наихудший пример. Судья из Бостона Джордж Андерсен, мужественный человек и прекрасный оратор, обвинил г-на Пальмера, его министерство и все правительство в том, что они докатились до низменных поступков. В суде под председательством Андерсена обнаружилось, что по прямым инструкциям Пальмера его шпики и агенты-провокаторы, проникшие в коммунистическую партию, не только специально организовывали по всей стране собрания в определенный день 2 января 1920 года, чтобы эти собрания были разгромлены полицией, но даже сами написали те пункты коммунистической программы, на основе которых правительство преследовало обманутых людей! Другими словами, правительство сначала само сфабриковало преступление, а потом отправляло людей в тюрьмы за те проступки, в которых виноваты были не они.

Андерсен узнал, что одного человека арестовали 2 января на основании ордера, который был подписан только 15 января и передан по телеграфу из Вашингтона.

Судья Андерсен заявил, что вся эта правительственная процедура руководствуется принципом: сначала повесить, а потом расследовать. Когда представитель Пальмера пытался оправдать действия правительства, судья сказал: «Я хочу, чтобы вы указали мне хоть одно дело, когда у министерства юстиции было бы право арестовывать людей и держать их в тюрьмах по две недели без ордера. Больше всего незаконно трудно себе представить. Говорят об американизации: надо прежде всего американизировать тех, кто так поступает. Я едва сдерживаю свое негодование. Я с ужасом смотрю на все это».

Когда судья Андерсен спросил представителя Пальмера, как он осмелился арестовать человека без ордера, тот ответил, что выполнял распоряжения, полученные из Вашингтона. На это Андерсен сказал: «Каждый гражданин, знающий, что такое американизм, должен был отказаться выполнять такие распоряжения». В «Нейшен» об этом было написано: «Вот, на-

нец, истинный американизм! Снова штат Массачусетс дал человека, который утверждает под сенью Фэней-холла¹⁹ старые традиции свободы, наши самые священные американские права. Сердце бьется радостнее потому, что существует такой судья Андерсен, который клеймит по заслугам министерство юстиции».

Во время рейда 12 января было арестовано 5—6 тысяч человек, среди них девушки 14, 16, 17 лет, их арестовывали как «опасных анархисток». Женщин везли и везли в Элис Айленд²⁰, пока комиссар по делам иммигрантов не заявил протест: ни по санитарным условиям, ни во имя простой порядочности нельзя больше набивать камеры. В Детройте более сотни людей согнали в помещение площадью в 24 на 30 футов. Мэр Детройта телеграфировал в Вашингтон, что это «нетерпимо для цивилизованного города». Арестовали не только всех коммунистов, которые были известны, но и тех, кто случайно оказался в их домах во время налетов. Полицейские говорили: если бы и они не были бы коммунистами, они не пошли бы в такие дома! Для того чтобы обосновать массовые аресты, беспрецедентные в нашей истории, министерство юстиции торжественно заявило, что коммунистическая и коммунистическая рабочая партии поставили своей целью свержение правительства средствами насилия. Разумеется, при этом ничего не было сказано о том, что обе эти партии собрались прошлым летом в Чикаго на свои организационные съезды и правительство несколько не препятствовало этому. Пальмер забыл, конечно, добавить, что пропаганда коммунизма не может считаться преступлением, если она не сопровождается попыткой свергнуть правительство средствами насилия.

Чтобы перечислить все случаи пыток, садизма, преступления, свершенных агентами при полной поддержке министерства юстиции, потребовалось бы несколько глав. Синклеру Льюису не надо было писать роман «У нас это невозможно». Ему достаточно было лишь обратиться к делам Вильсона—Пальмера, чтобы показать: это уже было. Многие из того, что позднее произошло в Германии при Гитлере, напоминало поведение наших официальных лиц в то время. Можно было бы даже предположить, что диктаторы брали с нас пример, если бы они не были невеждами, ничего не знающими о других странах. Декан юридической школы Гарварда Роско Паунд, пять других профес-

соров права и шесть крупных адвокатов осудили Пальмера и его чиновников. Капитан Свинберн Хейл писал в «Нэйшен» «о том, что комитет протеста против беззаконий предаст гласности тысячу одно преступление», цель которых «намеренно терроризовать иностранных рабочих»*. Среди этих преступлений: избивание Оскара Тиверевского в присутствии пяти специально приглашенных репортеров, которых потом запугали и заставили молчать; троих людей едва не удушили в котельной хартфордской тюрьмы; 55-летнего профессора Лавровского искалечили за то, что он преподавал алгебру не по-английски, а по-русски; подпись Гаспара Кэннона подделали под фальшивыми показаниями после того, как ругань и побои не сломили его; 300 русских иммигрантов в Нью-Йорке в доме № 133 Ист, 15-я стрит избili дубинками. Комитет не занимался особо и страшным делом Андреа Салседо и Роберта Элиа, которых тайно продержали в заключении в самом министерстве юстиции в Парк Роу билдинг в Нью-Йорке, подвергали непрерывным моральным и физическим пыткам, пока Салседо не выбросился с 14-го этажа и не разбился насмерть.

Как ни ужасны были все эти факты сами по себе, но комитет сосредоточился лишь на делах самого министерства юстиции, на том, что все эти беззакония свершаются безнаказанно вблизи от Вашингтона**.

12 июня 1920 года мы потребовали предъявить обвинение Пальмеру (называвшему себя квакером). Мы обвиняли его в том, что он использовал государственные средства на свою личную кампанию в прессе, кампанию, направленную против свободы слова и свободы мнений. Пальмер нарушал конституцию, приказывая незаконно высылать людей из страны. Пальмер просто поступал непорядочно как хранитель собственности иностранцев и в то же время Пальмер не привлекал к суду представителей трестов, совершавших злоупотребления. Уже то, что именно он был хранитель собственности, стало позором Америки...

19 июля мы побили все рекорды, опубликовав секретное правительственное сообщение из Токио: ...в нем была страшная правда о Колчаке и его кровавых насилиях в Сибири. После такого сообщения американская поддержка этого чудовища оказывалась просто подлой. Как это сообщение и некоторые другие попали ко мне, я не знал

тогда и не знаю сейчас. Макс Истмен²¹, передавший их мне, не открыл источников. Просто я утром нашел их у себя на столе. Нам сразу же заявили, что теперь-то уж нами займется министерство юстиции; но не произошло ничего особенного, просто явился какой-то глупый сыщик. Истмен прочитал одно из таких сообщений на публичном митинге, и ему пригрозили арестом; тогда он заявил, что надеется, что ему не придется предавать гласности и другие секретные документы, находящиеся в его распоряжении, кроме тех, которые относятся к сибирской авантуре; преследование прекратилось. Вильсоновская клика не хотела, чтобы подобная информация продолжала бы попадать в печать. Я уверен, что наша публикация правды о Колчаке способствовала выводу наших войск из Сибири.

Вскоре после моего возвращения моя репутация опасного радикала была для многих подтверждена возмутительной фальсификацией выступления на городской комиссии по реконструкции Нью-Йорка. Мне не очень хотелось делать этот доклад, но я уступил просьбам. Я читал доклад по заранее подготовленному тексту, где ясно было сказано, что я не коммунист. Я обратился к репортерам и особо подчеркнул это обстоятельство. Однако, сказал я, так как о коммунизме спорят многие люди со времен Христа, то для всего мира хорошо, что русские взяли на себя труднейшую задачу испытать коммунизм на практике раз и навсегда. Мне казалось, что мы должны наблюдать за русским экспериментом внимательно и без предассудков и использовать у себя все, что можно. Я заявил также, что в самой форме новых правительств в Баварии и в России — в Советах, нет ничего, что должно было бы нас оттолкнуть.

«Мне вас жаль, — сказал Аллен МакКерди, когда мы уходили, — присутствовали два репортера из «Трибюн» со специальным заданием подловить вас». И действительно, на следующий день на первой странице «Трибюн» было напечатано поразительное заявление, будто я «пропаган-

* «Нэйшен», 15 ноября 1919 года.

** В Уотерберри (Коннектикут) один юноша был приговорен к 6 месяцам тюрьмы только за то, что он сказал покупателю в магазине одежды, что Ленин «самый мозговитый» человек в послевоенном мире. Этот приговор нам удалось аннулировать. «Нэйшен», 17 апреля 1920 года.

дировал советскую форму правления для Соединенных Штатов», и это заявление подкреплялось на следующий день в передовой статье, хотя в редакции уже лежало мое опровержение. Я не получил подтверждения протеста, посланного лично г-же Огден Рид, а мое краткое опровержение, когда его наконец опубликовали, было так искусно упрятано, что многие его и не заметили. Никаких извинений я не получил. Эта намеренная фальсификация пошла гулять по всей стране. В портлендском «Орегониан» было сказано, что я должен найти себе другое занятие для моего «расстроенного интеллекта». В «Пост стэндарт» (Сиеракузы) написали, что у меня явный случай ипохондрии. Филадельфийский «Инкуайрер» полагал, что мне пора убраться в Россию. Ежедневная газета Среднего Запада предложила, чтобы я вернулся в страну моих предков, где я смогу «пропагандировать свои полоумные, идиотские теории, сколько будет угодно», а «Юнион» (Спрингфилд) предложил немедленно запретить «Нейшен» для всех школ и колледжей. Только у «Ситизен» (Бруклин) и у «Юнион» (Спрингфилд) нашлось достаточно порядочности, чтобы потом извиниться. «Трибюн» этого не сделала.

Мой собственный опыт и на мирной конференции, и в Германии, и на родине в военные годы не делал меня опасным радикалом (каким меня изображали), но действительно способствовал глубоким изменениям в моем сознании. Каждый, у кого работала голова, понимал, что надо двигаться вправо или влево, и я постепенно двигался влево. Я был убежден в том, что надо быть либо за, либо против существующего политического строя, хотя и не способен был принять социалистическую или коммунистическую доктрину. Я не хотел, чтобы мои дети жили в мире, который управлялся бы так же, как мой мир за последние пять лет. Я потерял всякую надежду на то, что капитализм может реформироваться или возродиться, хотя я при этом и не принял никаких скороспелых мер, я только прибавил экономическую революцию к моим старомодным либеральным доктринам, несколько измененным новыми фактами. Я прекрасно понимал, что моя позиция между двух стульев опасна. Мне стало совершенно ясно, что все нации неотвратимо, как ледники, двигались по пути большего контроля над бизнесом и частным предпринимательством и это движение не остановится, пока основные

отрасли промышленности не будут национализированы.

Я обратился к рабочему классу как к великой надежде и с тех пор постоянно выступал за экономическое освобождение рабочего класса, за его участие в управлении промышленностью, за участие в прибылях и, разумеется, за право рабочего класса иметь и свои организации, и своих вождей. Рано утверждать, что это руководство постоянно будет справедливым и мудрым. Я только убежден в том, что оно не может быть хуже, чем политическое и экономическое руководство капиталистическими странами, которое я наблюдал вблизи. Короче говоря, к 1919 году мне казалось, что я освободился от смутного либерализма и социальной слепоты, которыми я был обязан условиям моего буржуазного воспитания*.

...У меня было в то время и серьезное личное испытание. Я выступил с докладом в Цинциннати 30 января 1921 года. Доклад не привлек особого внимания. Я говорил о положении в Европе и о том, какую роль, по моему, должны играть США. 12 февраля я вернулся туда же, чтобы повторить этот доклад на объединенном собрании городского клуба и женского клуба. На вокзале в Чикаго меня встретили два человека, они были очень встревожены и сказали, что нам необходимо спешить... Это меня удивило: потом я заметил большую группу полицейских. «Зачем они здесь?» — спросил я. «Чтобы охранять вас от погромщиков», — последовал ответ. В гостинице на меня набросилась целая толпа репортеров. Впервые в жизни я обнаружил, что мое имя фигурировало на первых страницах всех газет. Этим я был обязан мисс Рут Гаррисон, преподобному Френку Стивенсону, пресвитерианскому священнику, и Бентли Посту из Американского легиона. Стивенсон сказал с амвона, что я известный болшевик и что «возмущенный народ должен поскорее надеть на меня намордник...». Мисс Гаррисон написала петицию и со-

* Я писал Хатчинсу Хэпгуду 19 мая 1919 года: «Может быть я слишком хорошо обеспечен и слишком счастлив, может быть, я недостаточно близок к трудовому народу. Все же и у меня за последние годы были свои страдания, я и сейчас под сильным давлением, но страдал-то я не потому. Источником моих страданий было негодование по поводу всего того, что я вижу перед собой коррупции и несправедливости».

брала под ней 100 подписей, требуя, чтобы отменили мое приглашение. 86 человек заявили о выходе из женского клуба и 28 — из мужского. В «Цинциннати трибюн» было сказано обо мне: «...Он сделал все, что мог, для того чтобы вступление США в войну превратилось в крах на международной арене и окончилось бедствием у нас в стране. И он продолжает проповедовать свои проклятые доктрины... Бывают такие моменты в жизни нации, когда терпеть какое-либо иное мнение или убеждение, кроме общепринятого, означает терпеть измену...»

Мой доклад был назначен сразу же после ленча. Мне не разрешили завтракать с членами клуба. Я смотрел в окно и видел, как в музыкальный магазин напротив входили молодые, очень хорошо одетые люди, а затем они же появлялись на втором этаже, выглядывая из окон. Это подготовило меня к дальнейшему, особенно потому, что у двери я заметил только двоих полицейских. Когда я начал говорить, я стоял на кафедре, с которой был виден вход и в большой зал и в следующие комнаты, так как двери были стеклянные. Примерно минут пятнадцать я говорил нечто весьма скучное о положении в Европе, когда во входные двери ворвалась толпа. Полицейские стояли в стороне. Несколько членов клуба во главе с храбрым американцем Гей Меллоном (у которого три сына сражались во Франции) ринулись к дверям, и потасовка началась. Двери взломали, стекла разбили, один человек был серьезно ранен. Нападавшие продвигались, ворвались и во вторую комнату, где продолжалась борьба, пока их не вытолкали. Все это заставило меня предельно сосредоточиться, потому что только я и председатель видели то, что происходит в той части зала. Это была настоящая битва, и все мои инстинкты репортера

требовали, чтобы я смотрел во все глаза. Но я должен был продолжать доклад. Публика была встревожена, и председатель потребовал, чтобы вызвали полицейских. Завыли сирены, прибыли полицейские машины...

Я вынужден был сделать перерыв. Как только полиция восстановила порядок и прогнала громил, я попросил слушателей успокоиться и сказал все, что хотел. После окончания собрания председатель сказал мне несколько добрых слов. На соседней улице ждала машина друга, и меня отвезли в Вайоминг, в дом родственников жены. Там я провел вечер, но позвонил шефу полиции и сказал, что не может гарантировать сохранность моей жизни, если я попытаюсь уезжать поездом из Цинциннати, так как члены легиона патрулируют улицу, ищут меня. Он прислал за мной открытую полицейскую машину с тремя вооруженными полицейскими, и меня отвезли в Дайтон, откуда я и уехал в Нью-Йорк.

Среди погромщиков, ворвавшихся в клуб, были и члены полуправовой организации суперпатриотов; той самой организации, члены которой вывалили в смоле и перьях Герберта Биглоу. Меня ждало то же самое, просто никто не знал, откуда я приеду.

Хотя пресса и печатала бесконечное количество сообщений об этом деле, никто, насколько я знаю, не напечатал ни строки из моего доклада, никто не осудил громил... Но я был рад этому испытанию — говорю вполне искренне.

...Эта глава дает печальное представление о жизни нации в 1920 — 1921 годах, но я пишу только правду. За три года мы дошли до этих глубин падения в результате наших усилий уничтожить гуннов и спасти мир для демократии!

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Гомперс Сэмюэль (1850—1924) — председатель Американской федерации труда.

² Брунинг Роберт (1812—1889) — английский поэт-лирик.

³ Генерал Блисс Таскер (1853—1930) — участник военной интервенции на Кубу и Пуэрто-Рико, член американской делегации на мирной конференции в Версале.

⁴ Дуглас Мак Артур (1880—1964) — во время первой мировой войны командовал американской дивизией во Франции, был во главе генштаба. С 1941 года командовал американскими войсками на Тихом океане.

⁵ Хауз Эдвард (1858—1938) — член американской делегации на мирной конференции.

⁶ Бейкер Рей Стенард (1870—1946) — журналист. Начал как «разгребатель грязи». Был во главе пресс-бюро на мирной конференции, автор 8-томной биографии Вильсона.

⁷ Большая четверка — на мирной конференции правительства Англии, Франции, Италии, США. Иногда подразумевались персонально Ллойд-Джордж, Клемансо, Орландо, Вильсон.

⁸ Никольсон Гарольд (1886—1961) — английский дипломат, историк дипломатии, член английской делегации на конференции. Также автор книг о Байроне, Верлене, Теннисоне.

⁹ Буллит Уильям (1891—1967) — американский дипломат, посол США в СССР (1933—1936) и во Франции (1936—1940).

^{10—11} Стеффенс Линкольн (1866—1936) — американский журналист, «разгребатель грязи», заявил о молодой Советской республике: «Я видел будущее, и оно прокладывает себе путь». В 30-е годы вступил в Компартию США. Автор книг «Позор городов», «Автобиография» и др.

¹² Сесиль Роберт (1864—1923) — английский политический деятель.

¹³ Ллойд - Джордж (1863—1945) — видный государственный деятель Англии, с 1916 года премьер-министр.

¹⁴ Керр Филипп (1882—1940) — секретарь Ллойд-Джорджа.

¹⁵ Нортлиф (1865 — 1922) — основатель газет «Дейли мейл» и «Дейли миррор», политический деятель Англии.

¹⁶ Генерал Грейвс (1865—1940).

¹⁷ Нансен Фритъоф (1861—1930) — известный норвежский путешественник, ученый, общественный деятель. Один из организаторов помощи голодающим в СССР.

¹⁸ Першинг Джон Джозеф (1860—1948) — американский военный, служил на Кубе, командовал экспедиционными войсками против Панчо Вильи, стоял во главе американских экспедиционных сил в Европе.

¹⁹ Феней-холл — старинное здание в Востоне, построено в 1742 г., названное «колыбель свободы», т. к. здесь впервые прозвучало предложение об отделении американских колоний от Англии.

²⁰ Эллис Айленд — остров в Нью-Йорке, где находится тюрьма.

²¹ Истмен Макс (1883—1971) — американский журналист, редактор прогрессивных журналов «Массиз» и «Либерейтор», впоследствии отошел от прогрессивного движения и стал врагом коммунизма.

С. Семанов

Кронштадтский мятеж 1921 года и русская эмиграция

«Итак, что Советская власть падет, в этом никто не сомневался» — такими словами начиналась передовая статья эсеровской газеты «Воля России» от 9 марта 1921 года. Тон этой газеты, редакторы которой уже второй год теснились по чужим углам в Праге, на сей раз звучал в унисон с общим (и весьма немалочисленным) хором эмигрантской печати. Забыты были даже взаимные распри и препирательства, которые для отставных политиканов эмиграции застили, кажется, все иное на свете. Полумонархический «Руль» в Берлине в начале марта украшал свои первые полосы такими, например, сообщениями: «В Одессе восстание рабочих и красноармейцев»; «Подтверждаются сообщения о восстании в Пскове»; «В Москве забастовки продолжаются»; «Петербург, за исключением двух вокзалов, находится в руках восставших» и т. п.¹ Газета бывшего «социалиста» и «революционера» Б. В. Савинкова, издававшаяся в Варшаве, в эти же дни заверляла своих немногочисленных читателей: «Псков и Бологое заняты восставшими»; «Восставшие крестьяне взяли Минск» и т. д.² Продолжать цитаты такого рода в рамках настоящей работы не представляется возможности, ибо все эмигрантские газеты в ту пору, повторяем, пели согласным хором, а было этих газет, по нашим подсчетам, 39 — и это только в одной Европе, не считая Азии и Америки³.

Отчего же возникли вдруг «пальба и клики и эскадра на реке»? Почему так возрадовалась русская эмиграция на негостеприимных для нее берегах Сены и Шпрее, Влтавы и Вислы? Ведь не прошло и четырех месяцев после 15 ноября 1920 года, когда последний корабль под трехцветным флагом покинул севастопольскую бухту,

увозя остатки разбитых врангелевских войск. Всю зиму разномастная, раздираемая противоречиями русская эмиграция проливала слезы о «гибели России» и своей скорой гибели. И вдруг... Вдруг растерянного эмигранта со всех сторон начинают потрясать самыми решительными обещаниями крутых перемен, причем не когда-нибудь, а завтра же, нет, сегодня! Что же случилось? Что произошло?

А произошло вот что: 2 марта 1921 года гарнизон сильнейшей морской крепости Кронштадт и команды кораблей, ставших на Кронштадтском рейде, подняли антисоветский мятеж.

Площадь острова Котлин, где расположен город Кронштадт, порт, многочисленные форты и батареи, очень невелика — всего несколько квадратных километров. Казалось бы, какая опасность может угрожать с этого ничтожного клочка земли гигантской Советской России, где новая власть уже прочно утвердилась от Буга до Байкала? Однако опасность была, и вполне реальная. Во-первых, военная сторона дела: Кронштадт был по тем временам первоклассной морской крепостью. 34 батареи со всех направлений прикрывали подходы к острову, большинство орудий были крупнокалиберные — двенадцати-, десяти- и шестидюймовые, а кроме того, десять зенитных батарей защищали крепость с воздуха⁴. В момент мятежа в Кронштадте находились два новейших линкора — «Петропавловск» и «Севастополь» и несколько уступавший им по боевой мощи, но тоже вполне современный и хорошо вооруженный линейный корабль «Андрей Первозванный». Наконец, обе стороны знали, что мартовский лед тонок, что весеннее солнце со дня на день растопит его. А тогда... Тогда по чистой воде Финского залива военные эскадры под чужими флагами не преминут подойти сюда. И все знали, чьи это будут флаги.

Но огромную важность имела еще одна сторона дела — политическая. Попытка прямой контрреволюции под флагом неприкрытой реставрации старых порядков потерпела поражение. Наиболее дальновидные противники нового строя понимали, что лобовая атака на Советскую власть и Советы не встретит ныне сколько-нибудь серьезной массовой поддержки. Вот почему столь соблазнительным показался для некоторых лидеров контрреволюции лозунг, выброшенный кронштадтскими мятежниками: «Вся власть Советам, а не партиям!» При этом ни у кого не вызывало сомне-

ний, какая именно партия имела в виду. Недаром лозунг этот в обиходе звучал так: «Советы без коммунистов». Мы еще увидим, как реагировала на возможность создания подобного рода «советов» внешняя контрреволюция. Сейчас, однако, необходимо в двух словах напомнить о действиях внутренней контрреволюции к весне 1921 года.

Огромные районы Украины, Дона, отчасти даже центральных губерний находились во власти махновских шаек. Тамбов уже который месяц был в состоянии фактической осады: отряды эсера Антонова, сведенные в полки и дивизии, хозяйничали по всей губернии. На необъятных просторах Западной Сибири бушевал кулацкий мятеж, связь центра с Сибирью оказалась на время прерванной. Здесь названы лишь крупнейшие очаги внутренней контрреволюции. Различных второстепенных атаманов и батен было в ту пору поистине легион. Но надо подчеркнуть как самое существенное, что большинство этих кулацко-крестьянских выступлений тоже не выдвигали прямо реставраторских или тем более монархических лозунгов. Нет, многие из них готовы были даже признать Советы, но... Но без коммунистов.

Вот почему столь опасен был мятеж в Кронштадте для молодого Советского государства: во-первых, то была брешь на рубеже страны, через которую вновь могла хлынуть международная и русская зарубежная контрреволюция, и, во-вторых, кронштадтские мятежники консолидировали разрозненный и расколотый антисоветский лагерь внутри России.

Считается, что общее число русских эмигрантов, в силу самых различных причин и обстоятельств оставивших родину, колебалось от двух до двух с половиной миллионов человек. Люди это были самые разные. Немало насчитывалось и таких, которые уехали случайно, а то и не по своей воле (последнее относится в первую очередь к тысячам рядовых солдат и казаков, эвакуировавшихся в составе частей белогвардейских армий). Однако не они определяли социальное и политическое лицо русской послереволюционной эмиграции. В целом все видные эмигрантские фигуры в любой сфере деятельности — политической, военной, религиозной, в искусстве и литературе, — все они в ту пору исповедовали жестокий и непримиримый антисоветизм. Отрезвление наступило позже, и тогда появились не только отдельные лица и группы людей, а целые организации,

стоявшие на платформе признания Советской власти (и доказавшие это делом во вторую мировую войну).

Но то случилось позже и не сразу. А к началу 1921 года большинство эмигрантов верило, что не сегодня-завтра в России восстановится «законная власть». Правда, не было никакого единства в вопросе о том, какая именно власть является «законной». Монархисты и большинство правых полагали необходимым восстановление царской власти Романовых. «Местоблюстителем престола» почитался великий князь Николай Николаевич, живший во Франции. Ту же позицию занимало консервативное большинство церковников во главе с митрополитом Антонием (Храповицким). Напротив, кадеты и примыкающие к ним группы, состоявшие преимущественно из буржуазной интеллигенции, устами своего лидера П. Н. Милюкова провозглашали необходимость учреждения в России умеренной буржуазной демократии по английскому образцу. Кадеты недвусмысленно полагали, что ни правые, ни левые «спасти» Россию не могут, а вот они — просвещенные поклонники европейских порядков, они-то уж точно устроят на родине аккуратную и умеренную демократию.

Нет, возражали кадетам эсеры, меньшевики и все прочие, почитавшие себя «левыми». Вы, господа кадеты, уже имели возможность показать себя в году 1917-м и со скандалом были выгнаны отовсюду вместе с вашей английской парламентарностью, нелепой в условиях России. Нет, в России должен воцариться социализм, но не тот, который пытаются построить Ленин и большевики, а социализм настоящий, истинный, европейский, то есть... то есть опять-таки умеренный и аккуратный.

И вот в январе 1921 года около полусотни отставных политиканов из «левых», собравшись в одной третьесортной парижской гостинице, пытались гальванизировать труп Учредительного собрания. Произносились речи, ожесточенно спорили между собой различные «фракции»... Словом, пожилые дяди самозабвенно играли «в политику». А в Берлине чахоточный Мартов в скромной по объему своей газете «Социалистический вестник» (потому скромной, что кормившие его германские социал-демократы сами обеднели после войны), так вот Мартов с упорством неудачливого талмудиста твердил о неизбежной гибели большевиков, ибо те в таких-то и таких-то пунктах посмели нарушить священное писание европейской социал-демократической мыс-

ли. Тоже детская игра пожилого дяди, но уже игра «в марксизм»...

Впрочем, отнюдь не все, что происходило в эмиграции, можно было назвать детскими играми. Нет, делались вещи и посерьезней. С конца 1920 года армия генерала Врангеля, эвакуированная морем из Крыма, сосредоточилась в так называемом Галиполийском лагере — пустынном месте на азиатском берегу Турции. То была небольшая боевая сила — около 30 тысяч бойцов, в значительной части офицеров. Армия эта, несмотря на жестокое поражение, сохранила боеспособность и дисциплину. Каждое утро — побудка, наряды, занятия, боевая учеба. Артиллеристы (без орудий) изучают опыт использования тяжелых гаубиц в битве под Верденом. Кавалеристы (без коней) разбирают причины неудачи мамонтовского рейда в 1919 году. Действуют юнкерские и кадетские училища. Смотрами и парадами отмечаются старые российские праздники. За оскорбление офицерской чести — дуэль на винтовках. Дезертирство — расстрел. За последними процедурами строго наблюдает сам начальник «Русской армии» генерал А. П. Кутепов — тот самый Кутепов, который еще в 1919 году обещал по въезде в Москву повесить Горького и Блока на полчаса...

А эта армия ждет. Большинство ее состоит из людей, которым нечего терять и не на что надеяться за пределами России. О, они хорошо умеют драться, эти офицеры в солдатских гимнастерках, с трехцветным шевроном на правом рукаве. И они ждут.

Состав русской эмиграции был необычайно пестрым. В Варшаве и в Белграде, в Софии и Берлине, в Париже и в Брюсселе осели на тощих чемоданах бывшие приват-доценты и актеры императорских театров, бывшие полковники генерального штаба и молодые генералы добровольческой армии, бывшие студенты и купцы первой гильдии, бывшие, бывшие... Эта пестрота состава порождала такую же пестроту взглядов, целей и намерений эмиграции. Однако в общем для 1921 года можно выделить два основных взгляда на желаемое будущее России: реставрация и «третья революция».

За реставрацию старой России в ее нетленном и незбылемом виде стоял весь правый лагерь эмиграции. Программа их была ясна и проста: в благоприятный для них момент снова вторгнуться в Советскую Россию, чтобы потом, потом... войти наконец в белокаменную под малиновый

звон сорока сороков московских колоколен! А затем восстановить законную монархию без всяких там излишеств в виде думы и крепко покать «бунтовщиков» — всех, начиная от Милюкова и кончая анархистами.

Гораздо более сложные и хитросплетенные планы составляли поборники «третьей революции». Была, мол, Февральская революция, затем Октябрьская, а вот уже теперь настал час для революции третьей, которая свергнет большевиков и вернет в России образ правления, существовавший до Октября, но только, разумеется, без всяких там царей и императоров. Эту желанную для себя «революцию» со дня на день пророчил незадачливый Керенский. Это ничтожество, всеми презираемое, продолжало ораторствовать, издавать газету. Его несколько раз публично «оскорбляли действием» и не принимали его истерический вызов «к барьеру» — разве, мол, допустимо благородному человеку драться на дуэли с лакеем, с прохвостом? О «третьей революции» вешал и незадачливый председатель однодневного Учредительного собрания Чернов. Об этом постоянно мечтали на газетных полосах Зензинов и Минор — видные эсеровские деятели, осевшие в Праге. Им авторитетно поддакивал обер-террорист Савинков — издавать газету в Варшаве ему помогал неразлучный треугольник в виде Мережковского, Философова и Зинаиды Гиппиус.

Кто же должен был осуществить мечты этих политических и литературных неудачников? Оказывается, народ. Да, тот самый русский народ, который совсем недавно прогнал из Советов Мартова и Минора, Либера и Дана и всех их немногочисленных поклонников. И вот бывшие благовоспитанные питомцы реальных и коммерческих училищ с придыханием пишут о «товарище Махно», о «подвигах» бандита Булак-Балаховича и прочих атаманах и батьках, которым самое место в уголовной хронике, а не в передовицах социалистических газет. Да, повторяют Чернов, Минор и Савинков с Мережковским и Гиппиус, да, это и есть «третья революция».

Эту самую «революцию» (то есть контрреволюционное выступление против Советского государства) эмиграция ожидала со дня на день. Любой, самый вздорный слух о «восстаниях» внутри Советской России, многократно усиленный эхом эмигрантских газет, разносился в мгновение ока от Варшавы до Парижа. Белогвардейская, эсеровская агентура, а также разве-

дывательные службы империалистических держав внимательно следили за событиями в Кронштадте, где еще с начала 1921 года росло скрытое брожение. Уже 12 февраля «Воля России» поместила короткую заметку под симптоматическим заголовком: «Восстание в Кронштадте», через три дня еще одна заметка: «Подробности восстания в Кронштадте»⁵. Все эти «восстания», равно как и их «подробности», были чистойшей газетной «уткой». Однако нет дыма без огня...

А этот самый «дым» состоял в следующем. За время гражданской войны сильно изменился состав моряков Балтийского флота. На фронты, на партийную и советскую работу ушло множество коммунистов-балтийцев — стойких, закаленных. На их место пришли зачастую те, кто как раз уклонялся от фронта и, напротив, соблазнен был относительно высоким флотским пайком и возможностью надеть романтические клеши и тельняшку. Матрос подобного типа получил презрительную кличку — «Иван-мор». Их было немало, и они задавали тон. Как раз накануне кронштадтского мятежа в газете «Красный Балтийский флот» появилось стихотворение некоего Н. Корнова под названием «Иван-мор». Стихи эти весьма несовершенно, однако написаны чрезвычайно искренне и хорошо передают ненормальную обстановку, сложившуюся в ту пору на флоте. Вот оно, это стихотворение, полностью⁶:

Был в пехоте водоносом,
Теперь служит он матросом,
Пол-аршинный носит клеш
И твердит всегда: «Даешы!»
▲ работать для него —
Хуже нету ничего.
Он с утра до ночи спит,
Ночью к бабе он спешит.
Лишь наутро придет он,
Так сейчас же в телефон
Сообщает милочке своей,
Что скучает он по ней,
Что погода очень ясна,
Себя он чувствует прекрасно.
И такую чушь несет,
Что сам черт не разберет.
Он живет у нас, как кот,
Без нужды и без забот,
Ну, братва, скажу я вам:
Можно ль так работать нам?
Ночь — по бабам, день — в постели,
Неужели в самом деле
Будем здесь мы только спать,
Рвать одежду, жирно жрать?

Следи, братва, за лежнем строго:
У нас во флоте таких много.

Остается добавить, что тогдашнее руководство Балтфлота во главе с Ф. Ф. Раскольниковым было на стороне Троцкого в его антиленинской борьбе в период ожесточенных разногласий в партии зимой 1920/21 года. Раскольников и его присные еще более развалили и без того слабую дисциплину на флоте. Этим не преминули воспользоваться остатки эсеро-меньшевистских активистов, а также контрреволюционно настроенная группа офицерства в частях гарнизона, на кораблях, в штабе крепости. По-видимому, эмигрантские центры (эсеровские — в первую голову) поддерживали с ними непосредственный контакт. В Петрограде распространялись листовки, явно отпечатанные на кордоне⁷. Год спустя после описываемых событий меньшевистский лидер Ф. И. Дан похвастался корреспонденту фелогвардейской газеты «Руль», что в феврале 1921 года его сторонники распространяли в Петроградском районе воззвания с призывом к мятежу, причем тексты их были отпечатаны в Стокгольме⁸. Так в подготовке мятежа сошлась между собой внутренняя и эмигрантская контрреволюция.

Известия о начале кронштадтского мятежа появились в эмигрантских газетах сравнительно с большим опозданием, не ранее 6 марта (сказалось отсутствие прямой связи). Основными источниками в действиях мятежников служили сообщения кронштадтской радиостанции. Однако эта станция была очень маломощной и даже в Прибалтийских государствах улавливалась с трудом. Вот почему первые сведения о ходе мятежа появились в «провинциальных» (по эмигрантским понятиям) газетах Эстонии, Латвии и Финляндии. С опозданием на сутки сообщения эти перепечатывались по всей Западной Европе. Радости не было предела. 8 марта берлинская газета «Голос России» торжественно объявила, что «власть в Кронштадте без единого выстрела перешла в руки революционного комитета»⁹. В аналогичных словах об этом событии писали парижские «Последние новости» и «Общее дело», берлинский «Руль» и многие, многие иные.

Происходило удивительное явление. Еще совсем недавно буржуазная эмигрантская печать такие слова, как революция, революционный комитет и т. п., заключала в презрительные кавычки, сопровождала их глумливыми комментариями. И вот... И вот

стоило возникнуть антисоветскому кронштадтскому «ревкому», как у него за границей появилось множество друзей. И каких друзей! Тех, кто самое слово «ревком» не мог ранее произнести без скрежета зубного. За полвека до этого поэт Некрасов поведal в одном из своих сатирических стихотворений о сказочной перемене в отношении «общества» к одному внезапно разбогатевшему выскочке: «Все в объятья тотчас к плуту, все в родню, в друзья, я честнейший в ту ж минуту» и т. д. И действительно, «в друзья» и даже «в родню» кронштадтским «Иван-морам» бросились эсеровские политики, меньшевистские теоретики, либеральные кадеты и кадетствующие либералы, биржевые маклеры, вчерашние белогвардейцы. Мятеежники «клешникам» рукоплескали те, кто уже четыре года сыпал проклятия на головы балтийских матросов — некогда застрельщиков и опору революции.

Неприличный этот контракт ядовито подметили некоторые наиболее трезвые и дальновидные эмигрантские публицисты. Чуть позже, когда надежды на «третью революцию», начавшуюся в Кронштадте, лопнули, как мыльный пузырь, А. В. Бобринцев-Пушкин язвительно заметил, что «с краской стыда приходится вспоминать, как приветствовали в Париже тех, кого вчера еще с ужасом проклинали...»¹⁰.

Любопытно, что только монархисты остались абсолютно равнодушны к «успехам» кронштадтских мятежников в глазах эмигрантской «общественности». Об этом свидетельствуют, например, страницы берлинского еженедельника «Двуглавый орел» (он именова! себя «органом монархической мысли»). Тогда же собрание русских монархистов в Югославии высокомерно объявило, что «с таким восстанием нам не по пути»¹¹. Ну что ж, эта позиция была по крайней мере последовательной.

В адрес кронштадтских мятежников расщедрилась и прижимистая российская буржуазия, сохранившая в парижских и бельгийских сейфах кое-какие капиталы. По сообщениям газеты «Руль» от имени Торгово-промышленного союза в пользу мятежного «ревкома» было ассигновано 100 тысяч франков, от имени русского Международного банка — 5 тысяч фунтов стерлингов, от Русско-Азиатского банка — 200 тысяч франков, от страхового общества «Саламандра» — 15 тысяч франков¹². И это не считая многочисленных мелких сумм, поступавших от различных учреждений и частных лиц. Деньги эти по тогдаш-

ним масштабам цен были громадные. А между тем с начала мятежа прошло всего лишь несколько дней. Как видно, кронштадтские «Иван-моры» могли в дальнейшем рассчитывать на нечто большее.

Ажиотаж вокруг Кронштадта, поднятый русской буржуазией, осевшей на набережных Сены, был отнюдь не бескорыстен. Нет, речь шла не о выгодах, так сказать, стратегического порядка, когда в Россию вновь вернутся старые хозяева. Разгорался бум уже по поводу выгоды сегодняшней, сиюминутной. На биржах Лондона и Парижа, Берна и Брюсселя скопилось огромное количество ценных бумаг и облигаций бывшего царского правительства и русских банков. В прошлом это были действительно ценные бумаги, но теперь они превратились в звук пустой. Хозяева тех бумаг, однако, не спешили выбросить их в мусорную корзину: а вдруг все изменится? А вдруг эти противные большевики все-таки будут побеждены?..

И вот сразу же после известия о кронштадтском мятеже русские ценные бумаги, до этого продававшиеся буквально за гроши, резко подскочили в цене. Маклеры всех европейских столиц начали скупать их впрок, в ожидании скорого восстановления «законной власти» в России. Корреспондент ревельской эмигрантской газеты «Последние известия» сообщал из Парижа об ажиотаже на тамошней бирже: «Достаточно было донестись с далекого востока струе порохового дыма, достаточно было качнуться колоссу на глиняных ногах (так именовалось, разумеется, Советское государство. — С. С.), как суетливые зайцы и российские дельцы, променявшие поневоле бамбуковые кабинеты на ступени биржи, еще вчера с презрением отклонявшие сделки в русских бумагах, сегодня мечутся в пестрой толпе, наступают друг другу на ноги, размахивают блокнотами и орут: «Покупаю нобелевские... Кто продает сормовские? Покупаю, покупаю...»

Но никто не отвечает. Все ощущают ход событий, и русские бумаги важно и пренебрежительно ждут дальнейших повышений»¹³.

Мечты, мечты... Увы, ценные бумаги русской буржуазии «дальнейших повышений» не дождалась. По иронии судьбы в те часы, когда в Париже писалась эта шутиливо-восторженная корреспонденция, остатки кронштадтских мятежников, бросая оружие, бежали по льду Финского залива по направлению к хмурому финляндскому берегу...

Итак, российская эмиграция в своих утопических надеждах повернуть историю вспять, чтобы низвергнуть ненавистных большевиков, готова была пойти на союз с кем угодно, хоть с нечистой силой, только бы добиться желанной цели. Кадетская газета «Последние новости», редактируемая отставным приват-доцентом Н. Н. Милюковым (он не возражал, когда его называли «профессором»), писала в одной из своих передовых статей в пору наибольших надежд на успех кронштадтского мятежа, что в конкретных политических условиях сегодняшней России только Советы могут быть общепризнанной массами формой власти. А далее высказывалась сокровенная кадетская мечта о том, что Советы, лишённые большевистского влияния, «могут служить исходной точкой» для восстановления буржуазного строя в стране. «Само собой разумеется», писал далее кадетский публицист, что в качестве переходной формы Советы могут играть лишь «временную роль»¹⁴.

Тогда же В. И. Ленин дал исчерпывающую оценку позиции кадетских лидеров русской буржуазии «европейского» образца. Милюков, говорил Ленин, «заявляет, что, если лозунгом становится Советская власть без большевиков, я — за это». Притом, продолжал Ленин, для Милюкова не имеет существенного значения, будет ли борьба с большевиками вестись справа или «слева». Почему же, спрашивал Ленин, лидер русской буржуазии согласен с кронштадтскими мятежниками, несмотря на то, что это «есть уклон немножко влево?». И отвечал: «Потому, что он знает, что уклон может быть либо в сторону пролетарской диктатуры, либо в сторону капиталистов»¹⁵.

В пору кронштадтского мятежа очень забавная полемика произошла между Милюковым и лидером эсеровской партии В. Черновым. (Отметим попутно, что к 1921 году эсеры раздробились на множество самостоятельных и враждующих меж собой групп, но Чернов — видимо, по традиции — считался тем не менее чем-то вроде главного идеолога.) Так вот, Чернов в разгар кронштадтского мятежа выдвинул как программный лозунг передачи власти Учредительному собранию — тому самому Учредительному собранию, которое три года тому назад было разогнано матросом А. Железняковым при полном сочувствии (или равнодушии) всей России. Этот утопический лозунг эсеровских доктринеров

не встретил сочувствия нигде, даже среди самих мятежных кронштадтцев.

Кадетские публицисты подняли Чернова на смех. Милюков и его сторонники призывали не спешить и дать развернуться антибольшевистскому движению под так называемым «советским» флагом. А потом, мол, «мы будем посмотреть». В связи с этими разногласиями в лагере контрреволюционной эмиграции В. И. Ленин язвительно заметил, что «лидер кадетов, Милюков, защищал Советскую власть против социалистов-революционеров»¹⁶. А самого Чернова, выдвинувшего столь доктринерский и практически бессмысленный лозунг, Ленин презрительно назвал «дурачком»¹⁷.

Впрочем, эмиграция не предполагала ограничить свою роль в связи с кронштадтским мятежом одними лишь теоретическими выкладками. Напротив, сразу же начались попытки оказать практическое содействие этому контрреволюционному восстанию. Началась вербовка добровольцев с целью оказания военной поддержки мятежникам. (Практически никаких действий такого рода осуществить не успели, но это произошло по не зависящим от эмигрантских лидеров причинам.) Чернов поспешно прибыл в Ревель и, претендуя на лидерство в грядущей «третьей революции», направил своих посланцев в Кронштадт. Адептов мертворожденного Учредительного собрания там встретили довольно холодно, но это опять-таки не зависело от усилий эсеровского лидера. Активизировались антисоветские элементы из числа русской эмиграции в государстве Прибалтики. По сообщению гельсингфорской газеты «Путь», в ночь с 9 на 10 марта «неизвестные лица» сорвали флаг в советском посольстве в Таллине, а «на стене дома повешен плакат с надписью: «Бей жидов!»¹⁸.

Великое множество подозрительных «иностраннных корреспондентов» прибыло в Финляндию — ведь оттуда до мятежного острова Котлин было лишь несколько часов санного пути по льду Финского залива. Кое-кто из этих «корреспондентов» успел переправиться в Кронштадт. В эмигрантских газетах появилось сообщение, что уже 6 марта некий «журналист» из Финляндии посетил мятежную крепость¹⁹. 12 марта корреспондент эсеровской «Воли России» беседовал в Кронштадте с самим «вождем» контрреволюционного «ревкома» Петриченко — интервью об этом было сразу же опубликовано²⁰. Эти (и иные та-

кого же рода) сообщения странным образом противоречили заявлениям радиостанции мятежников, что никаких контактов с зарубежными организациями и государствами они якобы не имели.

Представители американского Красного Креста были тут как тут. Эта «благотворительная» организация выполняла вполне определенные функции. Представитель сей службы американской «помощи» полковник Райан в беседе с корреспондентом рижской эмигрантской газеты «Сегодня» впоследствии подробно поведал о своих энергичных планах (то, что они не успели осуществиться, не его вина)²¹.

Кронштадтский мятеж продолжался чуть более двух недель. Однако и за этот ничтожный срок восставшие против Советской власти «Иван-моры» успели стать тем полем, вокруг которого стали собираться все темные силы старой России, волею судеб изгнанные за рубеж.

Медлить было нельзя. И в тех напряженных условиях В. И. Ленин и партия не медлили. 279 делегатов X съезда (это неполные данные) 12 марта выехали из Москвы на берег Финского залива.

В ночь на 17 марта начался решающий штурм мятежной крепости. К исходу дня Кронштадт пал. И вместе с этим разлетелись в прах истерические надежды российской эмиграции на реставрацию в России «законной власти».

«Кронштадтский эпизод» в эмиграции в дальнейшем старались не вспоминать. Слишком уж большая получилась конфузия. Шли месяцы, годы. Новая Россия росла, крепла. Эмиграция медленно умирала. И существенной вехой в этом процессе естественной ее смерти стала бесславная гибель кронштадтской «третьей революции».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «Руль», Берлин, 1921, 12 марта, № 97.

² «Свобода», Варшава, 1921, 11 марта, № 55; 18 марта, № 61.

³ Подсчитано автором по данным библиографического издания «Русская книга» (Берлин, 1921, № 1—3, 6—9), причем данные эти пополнены несколькими изданиями, не учтенными в источнике. Однако наши данные о числе эмигрантских газет в Европе в начале 1921 г., возможно, могут быть дополнены.

⁴ ЦГАВМФ, ф. р-52, оп. 1, д. 52, лл. 12—12 об.

⁵ «Воля России», Прага, 1921, 12 февраля, № 127; 15 февраля, № 129.

⁶ «Красный Балтийский флот», 1921, 26 февраля, № 23.

⁷ ЛГАОРСС, ф. 1000, оп. 5, д. 220, лл. 99—101.

⁸ «Руль», Берлин, 1922, 11 февраля, № 377.

⁹ «Голос России», Берлин, 1921, 8 марта, № 603.

¹⁰ «Смена вех». Сборник статей, Тверь, 1922, стр. 82.

¹¹ Там же, стр. 83.

¹² «Руль», 1921, 10 марта, № 95; 12 марта, № 97.

¹³ «Последние известия»,

Ревель, 1921, 20 марта, № 65.

¹⁴ «Последние новости», Париж, 1921, 18 марта, № 279.

¹⁵ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 43, стр. 139—140.

¹⁶ Там же, т. 44, стр. 53.

¹⁷ Там же, т. 43, стр. 238.

¹⁸ «Путь», Гельсингфорс, 1921, 15 марта, № 22.

¹⁹ «Последние известия», 1921, 15 марта, № 153.

²⁰ «Воля России», Прага, 1921, 15 марта, № 153.

²¹ «Сегодня», Рига, 1921, 22 марта, № 67.

А. З. Манфред

Государственный переворот 18 брюмера VIII года

Накануне брюмера

Об общественном состоянии Франции 1799 года, о политическом уровне республики VIII года можно было судить по тому, что ее первым государственным лицом был Сиейес.

Этот старый ворон Сиейес сидел, нахлывшись, на воротах главного входа в государственные хоромы и, прикидываясь дремлющим, зорко следил за тем, чтобы никто через них не прошел.

Бог знает, почему его все называли старым. А ведь в действительности, по церковному свидетельству, Эмманюэль Жозеф Сиейес вовсе не был стар. В 1798 году, когда его имя снова уважительно повторялось всей страной, ему исполнилось только 50 лет. Может быть, это происходило потому, что его серая, неприметная, как бы стершаяся с годами внешность казалась всегда одной и той же, не меняющейся? А может быть, потому, что он остался единственным знаменитым деятелем уже бесконечно далекой предреволюционной поры, сохранившимся живым, прошедшим невредимым сквозь все эти бурные годы? Кто его знает...

Верно то, что за все это время он внешне мало изменился. В темном силуэте этого чуть согнувшегося человека не было никаких примет времени. В его повадке, в его манере себя держать оставалась все та же осмотрительность, вкрадчивая осторожность. Он никогда ничего не сообщал о себе, о своих намерениях; на прямо поставленный вопрос он умел находить неопределенный, расплывчатый ответ, он мог значить одновременно и да и нет — поди разберись в том, что он думает. Он, кажется, даже мало расспрашивал, но он

всегда все знал о других. Цепкий взгляд его маленьких быстрых глаз все замечал. Он приглядывался, осматривался по сторонам, втягивал воздух; он безошибочно ориентировался, в какую сторону дует ветер. Бесшумно, как бы растворяясь в вечернем сумеречном свете, он появлялся то здесь, то там. Рассказывали, что, когда один иностранец на заседании Совета пятисот спросил, как можно было бы увидеть Сиейеса, ему ответили: «Будь здесь, в зале, портьера, можно было быть уверенным, что Сиейес за ней...»

Сиейес все эти годы был на виду и в то же время оставался малозаметным. Он входил во все высшие представительные органы, в которые можно было войти, был членом Учредительного собрания, членом Конвента, членом Совета пятисот. Он пережил все режимы — старый режим, господство феянов, власть Жиронды, якобинскую диктатуру, термидорианскую реакцию, Директорию. Из тех, кто начинал вместе с ним политический путь в 89 году, из настоящих людей, с горячей кровью, а не водой в жилах, никто не сохранился; кто раньше, кто позже — все сложили головы. А осторожный, молчаливый, бесшумно ступавший Сиейес всех пережил; он прошел через кипящий поток, не замочивши ног, без единого ушиба, без одной царапины.

Как он это сумел?

Широко известен его ответ на вопрос о том, что он делал в то бурное и грозное время. «J'ai vécu», — отвечал Сиейес. — «Я оставался жив».

Да, он действительно делал все зависящее от него, чтобы остаться живым. Главное — выжить.

Сын начальника почтового отделения в маленьком городке Фрежюс на юге Франции, он мечтал о военной карьере, но родители отдали его на выучку к иезуитам, и он должен был стать духовником-аббатом. Он был не очень доволен своей судьбой, и, может быть, это сделало его восприимчивым к вольнолюбивым идеям века. Накануне революции он опубликовал брошюры «Опыт о привилегиях» и «Что такое третье сословие?»¹. Первая прошла незамеченной; вторая принесла его автору шумный успех — эта брошюра стала одной из самых известных перед созывом Генеральных штатов, а автор — одним из самых знаменитых.

Сейчас трудно представить, чем могла эта не ярко написанная книжка, не содержавшая идей, неизвестных ее современни-

кам, так привлечь к себе внимание. Возможно, это объяснялось ее формой — она была написана в духе катехизиса, в типичной для священника манере, в форме вопросов и ответов. «Что такое третье сословие? Ничто. Чем оно должно стать? Чем-нибудь». Вероятно, простота и, можно даже сказать, элементарность ответов и обеспечили ей такой успех.

Как бы там ни было, но имя аббата Сиейеса стало одним из самых громких в стране. Это позволило ему, не без хлопот, добиться, чтобы он был включен — двадцатым — в список кандидатов от третьего сословия Парижа. Естественно, он был избран.

Учредительное собрание было, по общему мнению, таким блистательным созвездием выдающихся умов и талантов, подобно которому Франция никогда не знавала. Выдвинуться в таком собрании было нелегко. Сиейесу это казалось проще, чем иным, так как его появлению на трибуне предшествовала громкая всефранцузская слава.

Но вопреки ожиданиям, а может быть благодаря им, его выступления в собрании были неудачны. Сиейес не был прирожденным оратором; в эпоху революции, в век Мирабо, это было, конечно, трудноизвинимым недостатком. Но все же известные были исключения.

Выступления Сиейеса вызвали всеобщее разочарование. Его длинные скучные речи плохо слушали; его практические предложения по большей части отвергались собранием.

Тогда он замолчал. Возможно, что вначале это упорное молчание, как полагал Олар, было продиктовано оскорбленным самолюбием. Но не подлежит сомнению, что вскоре это настойчивое нежелание говорить, высказывать свое мнение приобрело совсем иные основания. Своим тонким, острым чутьем Сиейес не мог не почувствовать, что ветер крепчает. Не благоразумнее ли было переждать? Он видел, как быстро накаляется политическая атмосфера. На его глазах политические формулы, которым вначале громко аплодировали, превращались в мишень для критических стрел. Осмотрительность, доводы трезвого расчета подсказывали ему, что выгоднее молчать.

Дерзкий, готовый всегда рисковать, Мирабо разгадал причины упорного молчания Сиейеса. С трибуны Учредительного собрания он призывал Сиейеса — «человека, открывшего миру истинные принципы

представительного правления» — прервать свое длительное молчание, высказать публично свое мнение. «Молчание г-на Сиейеса становится общественным бедствием», — восклицал Мирабо, и в этих словах нельзя было не почувствовать скрытой иронии²⁻³.

А Сиейес продолжал молчать. Он молчал и при фейянах, и при жирондистах, и при якобинцах. Никакие силы не могли его вытащить на трибуну. Став членом Конвента, он, естественно, примкнул к депутатам «болота». Конечно, в борьбе жирондистов и монтаньяров его симпатии были на стороне первых, но он действовал столь осмотрительно, что, казалось, ничто не могло выдать его политических пристрастий. Впрочем, орлиный взор Робеспьера все же его настиг. Он назвал Сиейеса кротом. «Он не перестает действовать в подполье собрания; он роет землю и исчезает», — говорил он, на заседании Комитета общественного спасения о Сиейесе⁴.

Но другие заботы дня увлекли «Неподкупного», и Сиейес мог снова нырнуть в нору. Робеспьер к нему больше не возвращался.

Он оставался таким же незаметным и после термидора, и в начальные годы Директории.

В конце концов он всех перемолчал, всех перехитрил. Он стал богатым, сановным, важным, обрел академические чины. Он прожил еще долгую жизнь, пережил консульство, империю, реставрацию, сто дней, вторую реставрацию, июльскую революцию, монархию Луи-Филиппа. Он умер в 1836 году, глубоким стариком, чуть не дотянув до девяноста лет. В последние месяцы старчества его цепкая память стала отказывать: события долгой жизни смешивались в его сознании. Неожиданно самое страшное всплывало из прошлого и надвигалось. Незадолго до смерти он встревоженно повторял: «Если придет г-н де Робеспьер, скажите, что меня нет дома».

Но в то время, о котором сейчас идет речь, в конце столетия, в 1799 году, он был еще в середине пути и, как ему представлялось, вступал в самую лучшую пору. Десять лет он прятался в тени. Теперь он снова взмахнул крыльями; он видел, что республика агонизирует, он чуял близкую ее смерть; все воронье начинало слетаться, и он вышел из тени, он тоже начал кружить.

В мае 1799 года Сиейес был избран

членом Директории. Особым посланием правительство уведомило, что он согласился принять этот пост⁵. В начале июня он вернулся из Берлина, где был посланником, в Париж, был встречен пушечными выстрелами и поселился в предоставленной ему резиденции в Люксембургском дворце. «Не возникало сомнений в том, — писал Талейран, — что у него найдутся готовые и верные средства от внутренних, как и внешних, бед. Он едва успел выйти из кареты, как у него стали их требовать»⁶. Его речь при вступлении в состав Директории показала, что он мало в чем изменился: она была полна высокомерия и неопределенности⁷. Но все же из всех членов Директории Сиейес оставался самым знаменитым; он один лишь обладал именем, известным всей стране.

Долгие годы его безмолвия, почти невидимого существования, странным образом приумножили его общественный вес. За его молчанием угадывали что-то очень значительное, важное. Он молчит, следовательно, он знает нечто существенное, неизвестное всем остальным. Даже самоуверенный, самоупоенный Баррас, и тот счел нужным потесниться, уступить без слов первое место и усвоить по отношению к новому директору почтительный тон. Само собой все сложилось так, что Сиейес без каких-либо заметных усилий оказался первым лицом Директории; его мнение, его голос стали решающими.

Нахолившийся, важный, степенный, исполненный сознания собственной значительности, Сиейес не скрывал своего пренебрежения к своим коллегам, к государственным учреждениям, которые он фактически возглавлял. Лишь изредка он раскрывал свой клюв, чтобы прокаркать: плохо! плохо! все плохо! И это воспринимали как близость государственных перемен. Откуда-то возникло мнение, затем уверенность, убежденность, что у Сиейеса имеется законченный, продуманный до деталей план конституционного переустройства страны, что он является крупнейшим знатоком конституционных вопросов. Это заблуждение приобрело такую устойчивость, что отмечалось даже специальными трудами в научной литературе⁸.

В действительности же, как показали последующие события, у Сиейеса не было ни нового проекта Конституции, ни даже сколько-нибудь отчетливого плана ее. Отсиживаясь в своей норе, он придумал лишь некоторые идеи суммарного характера: новая конституция должна быть кон-

сервативной по своему духу и характеру, она должна пресечь возможности всяких демократических излишеств. Само собой разумелось, что новая конституция должна была предусмотреть и обеспечить для ее вдохновителя — Сиейеса подобающее солидное место где-то на самых верхних ступенях государственной иерархии.

Впрочем, незавершенность конструктивных идей Сиейеса, оставшаяся для окружающих тайной, отнюдь не препятствовала осуществлению его замыслов. Для исполнения его желаний требовалось, в сущности, многое — послушная шпага, беспрекословно выполняющая то, что прикажут. Плод созрел, пришла пора его срывать, и это должен был сделать кто-то и поднести затем на блюде ему — Эмманюэлю Жозефу Сиейесу.

В претендентах на действительную роль в надвигающихся событиях недостатка не было. Идея переворота носилась в воздухе. Все вдруг стали утверждать, что так продолжаться далее не может, что вода подступает к горлу. Необходимы решительные действия, крутые перемены. Но в какую сторону должен повернуть нарастающий поток, по какому руслу он хлынет — вправо или влево — это оставалось неясным.

Военный министр генерал Бернадотт охотно бы ввязался в большую игру. Но будущий шведский король Карл-Юхан в ту начальную пору своей деятельности еще ставил ставку на левую политику. Ловкий гасконец, изобретательный, изворотливый, гибкий, он считал, что в ближайшее время наибольшие шансы на успех имеют якобинцы — конечно, якобинцы 99-го года без крайностей своих великих предшественников. Бернадотт произносил зажигательные речи и писал воззвания — клялся в верности незыблемым республиканским принципам⁹.

Его охотно поддерживал в этом опальный герой Флерюса — генерал Журдан, готовый сам при случае сорвать банк в свою пользу. Генерал Журдан в последнее время действовал не столько шпагой, сколько пером. После ряда неудач в кампании 1796—1797 годов он был отстранен от командных должностей и теперь был занят прежде всего самореабилитацией. Чувство личной обиды повысило его восприимчивость к антиправительственным концепциям. В 1799 году у него была снова репутация безгранично преданного якобинцам генерала¹⁰. В Совете пятисот он занимал самые крайние пози-

ции. Он был не прочь перейти от слов к делу и зондировал Бернадотта — не пора ли создавать правительство якобинских генералов?

Сиейес приглядывался к этим генералам с опаской. Он не решался с ними ссориться в открытую, но исподволь подготавливал отставку Бернадотта.

Сиейес не терял также из поля зрения Лафайета; в этом генерале, не без оснований, он видел не менее опасного конкурента. Бывший «герой Нового и Старого Света», проживая за границей, близости от Франции, время до времени через своих эмиссаров напоминал о себе. Он терпеливо ожидал, когда его призовут спасти страну, — он уже готовился въехать на белом коне в Париж¹¹.

Всем этим опасным соперникам Сиейес спешил противопоставить иную фигуру; он решил ходить с короля. Наиболее подходящим исполнителем своих тайных замыслов Сиейес первоначально считал генерала Жубера.

Бартеlemi Катрин Жубер даже в блестящем созвездии полководцев революционной эпохи выделялся как исключительно яркое дарование¹².

Ровесник Наполеона Бонапарта, он не имел в отличие от него никакого военного образования. Он был студентом факультета права Дижонского университета, когда в 1792 году началась война. Ему было тогда 22 года, и первые призывные звуки горна, трубившего сбор, привели его в батальоны волонтеров. Студент, вступивший в армию добровольцем, должен был начинать службу с самых низших чинов. Нужно было обладать особой храбростью, инициативой, талантом, чтобы в три-четыре года пройти путь от рядового до генерала. В 1795 году Жубер был произведен в бригадные генералы. В итальянской кампании 1796 года под командованием Бонапарта Жубер отличился в сражениях при Лоди, Кастильоне, знаменитой Аркольской битве. Но свой военный талант он полностью смог обнаружить в битве при Риволи. На том решающем участке, которым он руководил, Жубер располагал в три раза меньшим числом солдат, чем австрийцы, но неизмеримо превосходил их инициативой, мобильностью, быстротой действий. Это решило исход сражения. Бонапарт высоко оценил роль Жубера в битве при Риволи¹³. Не случайно он поручил ему самую трудную — заключительную — операцию в кампании. На Жубера была возложена задача, командуя группой войск

(три дивизии, общей численностью в 16 тысяч солдат), нанести удар по Вене, наступая с юга — через Альпы. Задача была так трудна, казалась столь невыполнимой, что одно время распространились слухи, будто отряд Жубера погиб в горах.

Жубер прошел через Тироль и выполнил поставленную перед ним задачу. С этого времени имя Жубера стало произноситься почти так же, как имена Бонапарта, Гоша, Марсо, Дезе; эти имена были славой Франции. Жубер стал подниматься по иерархической лестнице — он последовательно занимал должности губернатора Венеции, главнокомандующего французской армии в Голландии, главнокомандующего итальянской армии; наконец, командующего 17-й армией, то есть парижским гарнизоном.

У Жубера были свои основания быть недовольным Директорией. Ее мелочная опека, ее вмешательство в распоряжения генерала вызывали его раздражение. К тому же он был молод, дерзок, самонадеян; необычность судьбы, превратившей бедного дижонского студента в прославленного полководца республики, кружила голову; ему могло представляться, что все ветры мира надувают поднятые им паруса. Нашептывания Сиейеса были услышаны. Жубер дал понять, что он не против изменения порядка в стране. Ему приписывали слова: «Мне, если только захотеть, достаточно двадцати grenadiers, чтобы со всем покончить»¹⁴. Хотя в переговорах между директором и генералом не все остается полностью выясненным, можно считать установленным, что к весне 1799 года между Сиейесом и Жубером существовала определенная договоренность. Все детали ее неизвестны; как далеко простиралось согласие между соучастниками, также не уточнено, но общий смысл тайного сговора между ними в главном ясен¹⁵. Это был план переворота восемнадцатого брюмера, задуманный несколькими месяцами ранее и с другими участниками. К чему должен был привести государственный переворот? К восстановлению монархии? Авторитарной республике? Это еще не было ясно.

Однако непредвиденные внешнеполитические осложнения заставили внести в этот план существенные поправки. Летом положение на фронтах резко ухудшилось. 15 апреля прибывший в Валежко Суворов принял командование над союзными — русскими и австрийскими войсками в Италии. Через четыре дня армия выступила в поход. 26—28 апреля в сражении на

реке Адда Суворов нанес поражение французской армии генерала Моро; на следующий день он вступил в Милан.

Стремительным маршем продвигаясь с востока на запад Италией, Суворов, или, как называли его французы, *Souvaroff*, отбрасывал откатывавшиеся под его ударами французские войска. В конце мая союзные армии под командованием Суворова вступили в Турин, овладели крепостями Пескьера, Касале, Валенца. 18—19 июня в сражении на реке Треббия Суворов разбил армию Макдональда¹⁶.

Плоды кампании 1796 года, все достигнутое ценой жертв, усилий, огромного напряжения, было потеряно в два-три месяца.

Смятение в Париже нарастало. Хотя правительственная печать скрывала действительное положение на фронтах¹⁷, вести о поражениях французских войск проникали в столицу. Снейес отдавал себе отчет в том, что намеченный переворот не может быть осуществлен до тех пор, пока Франция не будет вновь озарена победой французского оружия.

6 июля в печати было объявлено, что генерал Жубер согласился принять командование итальянской армией¹⁸. Молодой генерал рвался в бой, он жаждал скрестить оружие с непобедимым Суворовым. Накануне отъезда в армию он справил шумную свадьбу. Прощаясь с женой, он обещал, по существующей версии, скоро вернуться — победителем или мертвым.

4 августа Жубер прибыл в итальянскую армию и сразу же отдал приказ двигаться вперед. Через 10 дней, 15 августа, он увидел перед собой у Нови русскую армию во главе с Суворовым¹⁹.

На рассвете завязалось сражение.

В самом начале битвы, в первые же ее минуты, Жубер, мчавшийся на коне навстречу врагу, был сражен — убит наповал случайной шальной пулей.

Жубер выполнил свое обещание. Он скоро возвратился в Париж — возвратился мертвым. Он был похоронен с величайшими почестями. Но шпаги, на которую рассчитывал Снейес, больше не было.

А между тем положение республики день ото дня становилось все более угрожающим.

Страшное поражение, нанесенное Суворовым под Нови, породило смятение, почти что панику. С часу на час ожидали вторжения русских армий во Францию. На юге страны предприимчивые люди спешно выучивали фразы на русском языке.

В Марселе женщины вводили новые моды — шляпы а-ля Суворов. Вступление русских казалось уже неотвратимым.

В это время пришло известие, что англорусская армия под командованием герцога Йоркского высадилась в Голландии. Флот Батавской республики не только не преградил дорогу вражеским силам, готовившим десант, он сложил оружие и перешел на сторону врага. Вслед за итальянскими республиками, уничтоженными Второй коалицией, пришла пора гибели Батавской республики. Вся система дочерних республик рухнула. В Париже со страхом ожидали движения англорусских войск из Голландии в Бельгию, а оттуда во Францию.

В западных департаментах вновь вспыхнуло восстание шуанов. Имена Жоржа Кадудала, Фротте были у всех на устах; страх преувеличивал действительные размеры движения. В испуганном воображении шуаны превращались в неодолимую силу²⁰. Французские армии отступали под ударами сил коалиции. Казалось, что Франция возвращается к самым грозным дням июня — июля 1793 года. Но тогда республику возглавляло сильное правительство, сплотившее нацию для отпора интервентам. Осенью 1799 года правительственная власть была почти иллюзорной. Правительство Директории само себя чувствовало настолько ничтожным и беспомощным, что искало любой возможности спихнуть скорее кому-нибудь власть, каким угодно способом скорее сойти со сцены.

Стендаль утверждал, что Баррас сторговался с агентами Людовика XVIII об условиях, на которых он передал бы Бурбонам власть²¹. Об этом же говорили с разной степенью определенности Гойе²² и другие современники. Сам Баррас, не отрицая фактов переговоров с претендентом на трон, уверял, что по поручению Директории он старался выведать намерения Бурбонов²³. Этих свидетельств недостаточно, чтобы считать вопрос выясненным, но сама по себе эта версия представляется вполне правдоподобной.

В близких к правительству кругах поговаривали о желательности приглашения кого-либо из немецких принцев. Называли Людвиг-Фердинанда Прусского и даже — шепотом — герцога Брауншвейгского²⁴.

Снейес с прежней озабоченностью и настойчивостью продолжал поиски шпаги, которая служила бы его целям. Он подумывал о Макдональде, но тот был слишком скомпрометирован поражением при Требии. Он вел переговоры также с Моро,

но этот генерал всегда уклонялся от чисто политических акций. Через Жозефа Бонапарта было отправлено даже частное письмо генералу Бонапарту в Египет; ему рекомендовалось вместе с армией поскорее возвращаться назад²⁵. Впрочем, это послание практических последствий не имело, хотя бы потому, что оно не дошло до адресата. Оно было знаменательно лишь как свидетельство определенных настроений. Как справедливо писал Вандаль: «После Нови надвигавшаяся неминуемая гибель не позволяла более колебаться: лучше уж Бонапарт, чем Суворов»²⁶.

И вдруг, в момент полного самоуничтожения и растерянности, неожиданно стали поступать утешительные известия с фронтов. Вторжение Суворова во Францию, считавшееся после Нови неотвратимым — вопросом дней или даже часов, — не произошло. Шел день, второй, третий; проходила неделя, затем вторая, а неминуемая катастрофа все не наступала. Тогда стали протирать глаза и оглядываться по сторонам... Что же случилось?

Через какое-то время стало известно, что опасность отодвинулась. Суворов, имевший все возможности реализовать блистательную победу при Нови, на другой день после сражения получил предписание вместо преследования отступавшей армии Моро идти в Швейцарию. Австрийский гофкригсрат, который в действительности был едва ли не более опытным противником Суворова, чем французы, сумел настоять на новом плане ведения войны. Италию, освобожденную русским оружием, австрийцы взяли на свое попечение; Суворову же было поручено освобождать Швейцарию. Легендарный поход Суворова через Альпы широко известен²⁷. Австрийская армия эрцгерцога Карла, с которой Суворов должен был в Швейцарии соединиться, не вынужденная к тому необходимостью, поспешила ретироваться до прихода русских. Разделавшись с австрийцами, Массена обрушился против армии Римского-Корсакова, нанес ей урон и принудил ее к отступлению. Сама армия Суворова оказалась в критическом положении. Теперь не он угрожал Франции; он сам благодаря бездарности или вероломству австрийских союзников оказался в мышеловке, из которой, казалось, не было выхода.

Но для Суворова не существовало невозможного. Он пробился сквозь вражеское окружение в непроходимых обледеневших горах и сверхчеловеческим напряжением сил, сметая преграждавшие путь

вражеские полки, перевалил через Альпы и спустился в предгорье Баварии. Рассерженный вероломством австрийцев император Павел приказал русским войскам возвращаться на родину.

Выход России из войны резко менял всю ситуацию.

Военное счастье опять улыбалось Франции. В конце сентября тема военной опасности сошла со страниц газет.

И все-таки ощущение общего неблагополучия, далеко зашедшей болезни не проходило.

В эту неясную, смутную пору соединившихся вместе, как бы смешавшихся чувств облегчения и непреодолимой тревоги пришло известие о возвращении генерала Бонапарта во Францию, о том, что он высадился 17 вандемьера (9 октября) один, без армии, в Сен-Рафаэле, близ Фрежюса.

Директория уведомила об этом Совет пятисот в выражениях, которые не могли не казаться странными. В конце длинного сообщения, начинавшегося с донесений генерала Брюна о его успехах, говорилось: «Директория имеет удовольствие сообщить вам, граждане представители, что получены также известия об египетской армии. Генерал Бертье, высадившийся 17 сего месяца во Фрежюсе, вместе с главнокомандующим генералом Бонапартом, и генералами Ланом, Мармоном, Мюратом и Андреосси, и гражданами Монжем и Бертолле, сообщает, что они оставили французскую армию во вполне удовлетворительном состоянии»²⁸.

Известие о прибытии Бонапарта во Францию обратило на себя внимание и за пределами республики. «Санкт-Петербургские ведомости» отметили это событие и воспроизвели своеобразный текст официального сообщения Директории, заметив и то, что Директория сообщила о прибытии Бонапарта «между прочим»²⁹.

Сообщение о возвращении Бонапарта было передано и «Московскими ведомостями»³⁰.

Неопределенность и неясность этого официального правительственного сообщения были, конечно, не случайны. Директория не в состоянии была сразу определить свое отношение к генералу, самовольно вернувшемуся без армии во Францию.

На заседании Директории, по существующей версии, Сиейес поставил прежде всего вопрос о том, что генерал вернулся без разрешения правительства. Мулен сделал из этого заключения логический вы-

вод: главнокомандующий египетской армии, следовательно, должен быть осужден как дезертир. Буле де ла Мерт продолжил этот ход рассуждений:

— Ну что же, я готов лично разоблачить его завтра с трибуны и объявить вне закона.

Сиейес заметил, что это повлечет за собой расстрел, что существенно, даже если он его заслужил.

На Буле де ла Мерт эта реплика не произвела никакого впечатления.

— Это детали, в которые я не желаю даже входить. Если мы объявим его вне закона, будет ли он гильотинирован, расстрелян или повешен — это лишь способ приведения приговора в исполнение. Мне наплевать на это!³¹

Но эта храбрость господ директоров оказалась недолгой. А как отнесутся к возвратившемуся генералу депутаты Совета пятисот? А народ? А армия? Было над чем поразмыслить. От крайних решений, от строгости гражданских доблестей отказались очень быстро. В конце концов после долгих колебаний путь на эшафот решили заменить церемонией торжественного приема победоносного генерала. Об армии, оставленной без разрешения в Египте, было сочтено более благоразумным вовсе не спрашивать. К чему задавать вопросы, могущие показаться неприятными? Не лучше ли спросить генерала, какую армию он предпочтет взять под свое командование?

Впрочем, и на этот вопрос директора не получили определенного ответа. Генерал, видимо, не торопился принимать от Директории новое назначение.

В исторической литературе с давних пор утвердилось мнение, будто Бонапарт покинул осенью 1799 года Египет полный решимости совершить государственный переворот и овладеть властью. Версия эта шла от Альбера Вандалья. Автор «Возвышения Бонапарта» писал: «Бонапарт вернулся с твердым намерением покончить с Директорией и овладеть властью»^{32—33}. Это звучало безапелляционно, но между тем и Вандаль — так сказать, основоположник этой исторической версии — не приводил никаких фактов, никаких доказательств в ее подтверждение.

Но научный авторитет Вандалья был так велик, что эта декларируемая им версия (оставшаяся не подтвержденной доказательствами) вошла как непреложная истина в науку. Вслед за Вандалем ее повторил Е. В. Тарле, затем Луи Маделен³⁴; в наши дни ее повторяет вновь Андре Кастелло в

последней своей книге, вышедшей в 1967 году³⁵.

Изучение этого вопроса по первоисточникам не подтверждает версии Вандалья. Следует оговориться: я далек от намерения претендовать на изучение всех источников, но я внимательно прочитал важнейшие, и их изучение привело меня к иным выводам.

Когда в начале августа 1799 года Бонапарт в Египте принял решение покинуть армию — оставить ее под командованием Клебера, а самому с несколькими ближайшими помощниками пробираться через Средиземное море во Францию, — он шел на риск.

Риск был для него делом привычным, он был неотделим от его профессии военного, полководца, он был свойствен его характеру; он представлялся ему естественным, почти необходимым в каждом серьезном деле. Но как человек трезвого, ясного ума, он привык дозировать, взвешивать элементы риска, следить за тем, чтобы они не превышали допустимую норму, не превращали возможный риск в безответственную авантюру. И именно поэтому Бонапарт в Египте не мог не отдавать себе отчета в том, что на сей раз риск был бесконечно велик, огромен, неизбежен.

Риск был двояким. Прежде всего после того, как Нельсон уничтожил при Абукире французский флот и взял полностью в свои руки контроль над Средиземным морем, над всеми путями коммуникаций, потенциально соединявших запертую в Египте французскую армию с внешним миром, не было почти никакой вероятности проскользнуть мимо сторожевых кораблей английского флота незамеченным. Английские корабли под непосредственным командованием Сиднея Смита, на которого Нельсон возложил эту задачу, сторожили французскую армию; не спеша, терпеливо они патрулировали вдоль берегов, не давая выйти из устьев Нила ни одному французскому суденышку, ни одной лодке.

Трезво взвешивая все обстоятельства, еще раз, снова и снова проверяя всю информацию о расположении, о дислокации английских кораблей, о порядке патрулирования их вдоль берегов, Бонапарт должен был вновь убедиться в том, что шансы пройти любому французскому кораблю незамеченным бесконечно малы, ничтожны. Они не больше одного шанса против 99. Быть вздернутым на рее или попросту попасться в плен к англичанам ни в малой

мере не соответствовало намерениям Бонапарта; в любом варианте это означало бы для него гибель, конец...

И все-таки он должен был идти на этот риск.

Но риск был еще и в ином...

Как профессиональный военный, как офицер, выучивший уставы, Бонапарт знал, что без приказа свыше он не имеет права покинуть свой пост, оставить порученную ему армию³⁶. Ежели бы его подчиненный полковой командир или командир батальона самовольно оставили бы свой полк или батальон, он бы их предал военному суду. Не вправе ли так же поступить с ним военный министр, правительство? Не предадут ли они попросту его военному суду за дезертирство?

Еще ранее, в феврале 1799 года, когда до него дошли впервые известия о том, что складывается новая коалиция и надвигается война, он в официальном письме Исполнительной Директории ставил вопрос о своем возвращении во Францию³⁷. Этот его демарш остался без ответа. Следовательно, он не получил разрешения возвращаться в Париж.

Покидая самовольно порученную ему армию, генерал нарушал дисциплину. Не обвинят ли его в том, что он повторяет путь Лафайета и Дюмуре? Риск был несомненен. Он был почти столь же значителен, как и в первом случае.

Но, в сущности, у Бонапарта не было выбора; у него не было альтернативы.

Верно то, что, когда к Бонапарту попали не без умысла пересланные Сиднеем Смитом к генералу Мену газеты «La Gazette de Francfort» и «Courrier français de Londres» от мая и июня 1799 года с сообщениями о французских поражениях в Италии, о победном марше Суворова, о бедственном положении республики, он пришел в ярость.

Верно и то, что сразу же после длительной беседы один на один с Вертье, Бонапарт в разговоре с Бурьенном и Мармоном заявил о своем намерении возвращаться во Францию и отдал распоряжение о необходимых приготовлениях к отъезду³⁸.

Все это так. И вместе с тем представляется несомненным, что полученные известия дали Бонапарту лишь необходимый, вполне благовидный повод, предлог для давно зревшего решения, продиктованного необходимостью. Бонапарт давно уже искал подходящий повод, первую возможность для того, чтобы бежать из Египта. Он искал этот повод потому, что он еще ранее понял и не мог не понять — это было

самоочевидно, — что дальнейшее пребывание в Египте вело его с неотвратимостью к гибели.

С тех пор как французская армия оказалась отрезанной от метрополии, то есть со времени нельсоновского Абукира, с 1 августа 1798 года, когда французский флот был уничтожен, он отчетливо понимал, что египетская кампания проиграна.

Конечно, главнокомандующий египетской армии не мог сказать об этом ни своим солдатам, ни офицерам. Напротив, он старался, как свидетельствует Мармон, поднять их дух. «Надо поднять голову выше ветров бури, и ветры будут укрощены»³⁹. Он напоминал, что Египет был в свое время могущественнейшей державой и что при современной науке, знаниях, технике можно во многом приумножить могущество этого государства⁴⁰. Но себя самого он не мог обмануть. Он мог одерживать блистательные победы над противником, мог слать в Париж реляции об успехах⁴¹ (хотя после неудачной осады Сен-Жан Д'Акра и вынужденного возвращения из Сирии они становились все сомнительнее), он мог добиваться новых частичных побед⁴², но все это не меняло сути дела. Бонапарт должен был признаться самому себе в том, что ни одна из одержанных им побед и все они вместе в создавшихся после Абукира условиях, когда армия оказалась полностью отрезанной от Франции, не могут привести к выигрышу.

Армия таяла — от сражений, от чумы, от болезней, от климата. Особенно опустошительные потери принесла чума. Она уносила тысячи жертв, и, несмотря на все принимаемые командованием меры, остановить эту смертоносную эпидемию было невозможно. Вести о страшной болезни, косящей французскую армию, проникли в иностранную печать; о ней сообщали русские газеты⁴³.

В завоеванных землях Египта, несмотря на жестокие репрессии французских войск, а может быть вследствие их, восстания арабских племен разгорались все ярче. В бесконечных сражениях с восставшими французская армия несла урон⁴⁴.

Бонапарт продолжал слать победные донесения Директории⁴⁵. Но он знал, что численный состав армии намного сократился и в перспективе потери должны были возрастать. Бонапарт отчетливо видел, что возглавляемая им армия шла к катастрофе, которую можно было ценою жертв и усилий отсрочить, но нельзя было избежать. И какие бы он ни строил гипотезы, какие

бы ни прикидывал варианты, итог оставался одним и тем же: кампания проиграна, армия идет к гибели, и Египет придется очищать, и спасения от этого нет.

Существует документ, давно известный науке, но на который странным образом почти не обращали внимания⁴⁶. Это инструкция Бонапарта генералу Клеберу, назначенному им главнокомандующим восточной армией⁴⁷, от 4 фруктидора VII года (22 августа 1799 г.), переданная ему уже после того, как корабль увозил во Францию Бонапарта⁴⁸.

В этой инструкции Бонапарт сначала успокаивает Клебера: он уверяет, что нет никаких сомнений в том, что прибытие французской эскадры из Бреста и испанской эскадры в Карфаген обеспечит армию в Египте ружьями, саблями, военным снаряжением и живой силой, «достаточной для восполнения потерь»⁴⁹.

Но сразу же вслед за этой утешительной перспективой (в реальность которой трудно было поверить, так как из поля зрения исключался контролирующий пути в Египет британский флот) Бонапарт переходил к главному: «Если же, вследствие неисчислимых непредвиденных обстоятельств, все усилия окажутся безрезультатными и вы до мая месяца не получите ни помощи, ни известий из Франции, и если, несмотря на все принятые меры, чума будет продолжаться и унесет более полутора тысяч человек... вы будете вправе (*Vous êtes autorisé*) заключить мир с Оттоманской портой, даже если главным условием его будет эвакуация Египта»⁵⁰.

В этих двух последних словах и было главное. Давши формальные полномочия Клеберу заключить с Турцией мир на условиях эвакуации Египта, Бонапарт тем самым признавал, что кампания проиграна. В сущности, все остальное не имело значения. Во всей этой пространной инструкции, написанной на нескольких страницах и состоящей из многих сотен слов, реальное значение имели только два слова, уничтожающие все остальные: эвакуация Египта.

Бонапарт заставил себя произнести и написать на бумаге эти два так трудно выговариваемых слова. Если надо соглашаться на эвакуацию Египта, то зачем было начинать войну в Египте, к чему все эти жертвы? Эти вопросы неизбежно вставали и звучали как обвинение.

Профессиональный долг заставил Бонапарта написать Клеберу — только ему одному, больше никому — эти два жгущих

стыдом слова. Бонапарт должен был их написать Клеберу потому, что он перекладывал на него выполнение этой тягостной и унижительной задачи.

Спасти проигранную кампанию было невозможно, но спасти самого себя, бежать от унижения, хотя и с риском, можно было.

Бонапарт обманывал Клебера: в приказе, назначавшем Клебера главнокомандующим восточной армии, Наполеон писал: «Правительство вызвало меня в свое распоряжение»⁵¹. Это была заведомая неправда. Бонапарт без разрешения правительства оставлял вверенную ему армию. Он бежал из этой обреченной армии, сохраняя для себя лично какие-то шансы, чтобы продолжать игру.

Не случайно Бонапарт, решив передать командование генералу Клеберу — действительно самому сильному и достойному из оставшихся в Египте военачальников⁵², скрывал от него это решение до последнего часа, избегал с ним встреч и передал приказ и инструкции Клеберу через генерала Мену уже накануне отплытия на «Мюироне». Клебер их должен был получить через 24 часа после отбытия Бонапарта.

Почему Наполеон избегал Клебера? Да прежде всего потому, что Клебер не захотел бы принять этого «высокого назначения»⁵³, потому что и для него, опытного военачальника, было также очевидно тяжелое будущее, ожидающее армию, покидаемую ее главнокомандующим.

Так оно и оказалось в действительности.

Известно, что Клебер, получив приказ и узнав о происшедшем, был в бешенстве. О Клебере можно было сказать то же, что и о Нее, — он был «храбрейшим из храбрых»⁵⁴. Он поддерживал в армии образцовый порядок, мужественно сражался и всегда должен был подписать 24 января 1800 года в Эль-Арише (через пять месяцев после бегства Наполеона) соглашение о перемирии, предусматривавшее эвакуацию французских войск из Египта. Но это уже представлялось противнику недостаточным. Английское правительство через адмирала Кейта отказалось утвердить соглашение в Эль-Арише, потребовав безоговорочной сдачи французской армии. Клебер, оказавшись в безвыходном положении, еще раз показал, на что он способен. Он бросился как лев на численно превосходящего противника и в сражении при Гелиополисе (20 марта 1800 года) разгромил турок и выгнал их из Египта. И все-таки положение французской армии было безнадежным. Клебер вскоре был убит;

турки и высадившиеся англичане вновь начали наступление в Египте, и генерал Мену, сменивший Клебера, несмотря на все свои ухищрения⁵⁵, стал терпеть поражения, должен был сдать Каир и Александрию и осенью 1801 года сложить оружие.

Бонапарт с такой поспешностью, с таким азартом ухватился за представившуюся возможность бежать из Египта потому, что он предвидел этот финал затейной им египетской экспедиции. Повод — сообщение о поражениях французских войск в Европе — оказался для него спасительной находкой.

Знаменательно — и этот факт заслуживает внимания, — что Бонапарт в начале августа, получив газету от 6 июня, то есть почти двухмесячной давности, даже не пытался узнать, что же произошло за минувшие два месяца, каково положение сейчас — в августе 99-го года? Он не старался, что было бы естественным и даже необходимым, получить дополнительную информацию, сведения позднего времени; они ему были не нужны; он не хотел их знать, так как он не мог ставить под сомнение предлог, дающий ему моральное право, или видимость морального права, покинуть самовольно армию. Понятно, что Бонапарт не мог никому на свете, даже самому близкому человеку, поведать те истинные причины, которые побуждали его уходить, вернее, бежать из Египта.

В письмах и документах официального характера, написанных им накануне отплытия, он указывал уважительного звучащий мотив: «повелительный долг» обязывает его вернуться во Францию в связи «с событиями исключительной важности, совершившимися в Европе»⁵⁶.

В беседе с близкими ему людьми, теми, кому он доверил сохраняемый в тайне план отъезда, — Мармоном, Буриеном и др., — он излагал свои доводы более развернуто. «Положение вещей в Европе меня обязывает принять это важное решение...» — говорил он Мармону и с негодованием клеймил бездарных руководителей, приведших страну к такому потрясению. «Без меня все рухнуло. Нельзя дожидаться, когда произойдет полное крушение; тогда уже бедствие будет непоправимо... Судьба, которая меня поддерживала до сих пор, не покинет меня и сейчас. К тому же надо уметь дерзать; кто не идет на риск — не имеет шансов на выигрыш»⁵⁷.

Был ли у Бонапарта тогда, в августе 1799 года, в Египте законченный план го-

сударственного переворота или хотя бы твердая решимость свергнуть Директорию и взять власть в свои руки, как это утверждали Вандаль и другие? Источники это не подтверждают. Конечно, не следует упрощать вещи. Бонапарт был, без сомнения, совершенно искренен в своем негодовании против бездарных правителей республики. Он мог с таким воодушевлением развивать эту тему и говорить о тяжелом бремени, которое он берет на себя, потому, что настроения такого рода были для него вполне естественны. Но и новейшие биографы Наполеона — Луи Мадлен или Андре Кастело, придерживающиеся версии Вандалья, не могут привести ни одного достоверного свидетельства, подтверждающего ее. Оба они подкрепляют тезис Вандалья ссылкой на фразу, приведенную Наполеоном в его «Кампании в Египте и Сирии» — работе, продиктованной на острове Св. Елены⁵⁸. Наполеон будто бы сказал перед отъездом генералу Мену: «Я приеду в Париж, я прогоню этих адвокатов, издевающихся над нами и не способных управлять республикой, я встану во главе правительства» и т. д.⁵⁹.

Почти все литературное наследие Наполеона, оставшееся от времени его заточения на острове Св. Елены, требует критического отношения. Но в особенности это относится к «Кампании в Египте и Сирии» — сочинению, призванному оправдать все действия Бонапарта в 1788 — 1799 годах. Здесь отступления от истины, от установленных фактов столь часты, что как источник оно не может быть принято без сопоставления (и проверки) с другими источниками. И эту фразу, которую Наполеон впервые «вспомнил» без малого двадцать лет спустя после того, как она якобы была произнесена, нельзя, конечно, принять как заслуживающее доверия свидетельство.

Но если бы даже — чему верить нельзя — эта фраза была произнесена, что из того? Это ведь всего лишь один из вариантов единственно возможной, оправдывающей своевольный отъезд из армии версии, которую в те дни — осенью 1799 года — Бонапарт развивал. Нельзя же принимать эти фразы о «повелительном долге» и пр. за выражение истинных мыслей и чувств Бонапарта.

Больше того, можно даже допустить, что какие-то неотчетливые, неясные мысли в этом направлении бродили в голове Наполеона. Вероятно, ближе всего к истине в данном случае — повторять, только в дан-

ном случае⁶⁰ — подошел в своих воспоминаниях Бурienne. «Среди многих великих проектов, без конца возникавших в уме Бонапарта, — писал Бурienne, — был, несомненно, и проект стать во главе правительства; но тот бы ошибся, кто поверил в то, что у него при возвращении был какой-либо оформленный план или определенный замысел; во всех его честолюбивых желаниях было нечто весьма неопределенное, и, если так можно сказать, он охотно создавал в своем воображении сооружения, обычно именуемые воздушными замками»⁶¹.

Скажем еще определеннее: возникали ли в его воображении подобные «воздушные замки» или нет, это не имело значения; в его положении, не сулящем никаких перспектив на будущее, мечты о воздушных замках были по меньшей мере несвоевременны. Определяющим, основным в действиях (и соответственно, мыслях) Бонапарта было стремление уйти от неизбежного и недалекого уже позора поражения, проигрыша египетской кампании. Иначе и быть не могло; он не мог мыслить иначе — он искал, и всякий на его месте тоже стал бы искать выход из почти безнадежного положения.

Главной, даже можно сказать, единственной заботой Бонапарта в 1799 году, когда, отрезанный от Франции, он с неотвратимостью скатывался к поражению, к капитуляции, было найти выход, приоткрывающий ему путь в будущее.

Бонапарт не мог, не хотел превращаться в человека без будущего. Его огромное самообладание и изумительный актерский талант, умение маскировать свои подлинные побуждения и чувства позволили ему и на этот раз так блестяще сыграть избранную им роль, что в нее поверили не только многие современники, но и ученые-специалисты, сто с лишним лет спустя изучавшие деятельность этого замечательного человека.

«Надо уметь дерзать», — говорил он. И он дерзнул сыграть роль спасителя Франции, в то время как он был озабочен прежде всего спасением самого себя.

Как бы там ни было, Бонапарт сразу же принял решение. 11 августа он прибыл в Каир; 18-го он покинул его в направлении к Александрии; 22-го он написал последние деловые письма; 23 августа на борту фрегата «Мюирон», сопровождаемого фрегатом «Каррер», он начал свое путешествие.

Вместе с Бонапартом Египет покидали

Бертье, Евгений Богарне, Бессьер, Дюрюк, Ланн, Лавалет, Мармон, Мюрат, Монж, Бертолле и сопровождающая их охрана.

Стоит задуматься над этим составом. То был цвет египетской армии, самые выдающиеся, самые талантливые офицеры и ученые, с которыми Бонапарт связывал все надежды, начиная египетский поход. Увозя их теперь вместе с собой, лишив армию ее руководителей и оставив в ней только Клебера (Мену явно не шел в счет), Бонапарт невольно выдавал себя: египетский поход в его сознании был закончен, вопреки всем заверениям он не ждал от него ничего доброго; страница была перевернута.

Хоронясь от непрощенных взоров под покровом темноты, два небольших венецианских корабля начали свой опасный путь. «Все было загадочным в нашем положении; надежда завоевать самую знаменитую область Востока уже не воспламеняла юное воображение, как в дни отплытия из Франции; наши последние иллюзии рассеялись под стенами Сен-Жан Д'Акра, и мы оставляли во всепожирающей земле Египта большую часть наших товарищей по оружию; непостижимый рок влек нас, и мы ему подчинялись... Пятнадцать месяцев миновало с тех пор, как мы покинули нашу родину. Все нам улыбалось при отъезде; все было сумрачным при возвращении»⁶².

Так описывал настроение пассажиров «Мюирона»⁶³ и «Каррера» один из участников этой рискованной экспедиции.

Но корабли отошли от берега — и прошлого больше нет. Генерал Бонапарт на борту «Мюирона» в пути. Позади следует фрегат «Каррер». Генерала занимает теперь только это плавание, ничего больше. Адмиралу Гантому, командующему этой маленькой экспедицией, даны жесткие директивы: уклоняться от всех обычных морских путей, держаться ближе к африканскому берегу. Днем не двигаться, не привлекать внимания; подвигаться вперед только ночью, под покровом темноты, или используя туманы.

Что это — «звездные часы человечества», как писал Стефан Цвейг? Так ли это?

Путешествие кажется бесконечно долгим — сорок семь дней и ночей, полтора месяца, даже более того; мыслимо ли это? Как назло, первые две недели нет попутных ветров. Корабли стоят на месте; они почти не подвигаются вперед. Может быть, вернуться назад? Укрыться в какой-либо бухте? Но генерал непреклонен. Ждать! Терпеливо ждать! И при первой же возможности двигаться вперед, хотя бы на

три метра в сутки. Мимо вдалеке проходят английские сторожевые корабли. Они не обращают внимания на эти неподвижные суденышки, занятые, видимо, рыбной ловлей. На борту фрегата днем вся жизнь замирает. Надо прикинуться неподвижным, мертвым; ничто не должно вызвать подозрений.

Наконец поднялся долгожданный ветер, сильный ветер, надувающий паруса «Мюирона». Теперь, когда опускается спасительная темнота, фрегат быстро подвигается вперед.

Бонапарт и его спутники сидят внизу, в кают-компании. Никому не позволено задавать вопросы ни о будущем, ни о настоящем. Бонапарт рассказывает разные истории; о боевых эпизодах прошлого, о ратных подвигах, о привидениях, одну за другой. Но чаще идет игра в карты — в двадцать одно. Бонапарт мечет карты. Чет или нечет?

Так проходит время. Скрип мачт. Плеск морской волны. За стенами иллюминатора — ночь, море, где-то близко огни патрулирующих английских кораблей, а за ними — далеко-далеко — зеленая трава Франции.

На несколько дней пришлось задержаться на Корсике. И снова в путь. И вот 17 вандемьера — 9 октября 1799 года — адмирал Гантом показывает генералу виднеющуюся на горизонте, чуть уловимую глазом узкую темную полосу суши. Это цель. «Мюирон» подходит к берегам Франции.

Это был большой, огромный, почти неправдоподобный выигрыш. Но на нем все кончалось.

Новые заботы, новые задачи, новые — не меньшие — трудности подстерегали спутников на так ободравшей их земле.

Прежде всего Бонапарт должен был отказаться от тщательно подготовленной, продуманной до мелочей обвинительной речи против руководителей правительства. «Что вы сделали с Францией без меня?» Эта столько раз повторяемая им фраза не могла быть теперь произнесена. Во Франции, в Сен-Рафаэле, он располагал уже точными сведениями о положении республики. Республика была вне опасности.

Все доводы, все аргументы, приводимые до сих пор в оправдание этого внезапного, тайного бегства из Египта, теперь отпадали. Республика не нуждалась больше в спасителе.

Бонапарт мгновенно учел эту изменяющуюся ситуацию. Он составил донесение Директории — сдержанное, почтительное

и в то же время чуть дерзкое. Убедительно и в то же время не очень ясно излагал положение дел в Египте, ход операций, мотивы, побудившие его прибыть во Францию, — мотивы, конечно, сугубо патристические, продиктованные заботами о благе отечества⁶⁴.

Его встречали везде радостно, почти восторженно. Генерал, прославившийся столькими победами; кому же еще рукоплескать? Бонапарт принимал эти выражения народной симпатии крайне сдержанно; прежде всего он стремился быть скромным. В одежде, в манере себя держать, в разговорах, в официальных выступлениях он оставался прост — солдат, республиканец, верный своему долгу, ничего больше.

Бонапарт приехал в Париж, в свой особняк на улице Шантерен, рано утром 24 вандемьера — 16 октября. Тотчас же, в 6 часов утра, как сообщили газеты, в сопровождении Бертье, Монжа и Бертоле он явился в Директорию⁶⁵. Вслед за тем он уединился на два дня в своем доме — для того были веские причины. Жозефина, поехавшая его встречать, разминувшись с ним в пути; он приехал в пустой дом. Но то было не простое дорожное недоразумение — за ним скрывалось большее: он знал — и братья это подтвердили, — что женщина, которую он единственно любил, ему неверна.

Жозефина вернулась; он долго не хотел ее видеть; затем было длительное, тяжелое объяснение; в конце концов он с ней помирился. 26 вандемьера он явился с официальным визитом в Директорию.

Затем Бонапарт принимал у себя дома, на улице Шантерен, множество гостей. Среди них были Талейран, Федерер, Маре, Реньо де Сен-Жан д'Анзели, Реаль, Буле де ла Мерт, Фуше и др.⁶⁶. Сам он был у Барраса⁶⁷. Его первые свидания с Сиейесом, имевшие значение для последующего хода событий, состоялись 2 и 3 брюмера — 24 и 25 октября. Во время этих бесед не было сказано ничего определенного, и все же их можно считать началом акции. Разговор шел о любви к отечеству, но, как не без остроумия заметил Баррас, «с того момента, как стали говорить о любви к отечеству, оба собеседника хорошо понимали, что это должно означать не что иное, как свержение установленного порядка вещей. Оставалось только найти средства, и каждый предлагал свое»⁶⁸.

Напомним еще раз даты. Эти беседы Бонапарта и Сиейеса происходили 2 и 3 брюмера. Что было затем? За 3 брюмера

следует 18 брюмера — день государственного переворота. Между этими датами ровно 15 дней, две недели.

Если предположить, что политический деятель пользуется исключительной популярностью в стране, что он очень смел, талантлив, гениален, возникает все же законный вопрос: а можно ли за две недели завоевать народ, подготовить страну к государственному перевороту, направившему ее развитие по совершенно иному, новому пути? Возможно ли это? Не чудо ли это?

Как справедливо писал Тибодо, «кризис был неизбежен, неминуем; он разразился бы, даже если бы Бонапарт остался на Востоке»⁶⁹. Мог ли Бонапарт не понять этой ситуации?

Впрочем, вопреки разным вариантам наполеоновских легенд⁷⁰, изображавших ход событий как бы совершавшийся по мановению его руки, по-видимому, вначале он даже недооценивал реальные возможности. В первые дни пребывания в Париже Бонапарт, по ряду свидетельств, еще не исключал для себя сравнительно скромной роли одного из пяти директоров⁷¹.

Затем он стал присматриваться или, вернее, прислушиваться. Его втягивали в борьбу, это было несомненно. В течение некоторого времени он колебался; он не мог сразу решиться, на кого ориентироваться, с кем идти.

Видимо, этими колебаниями следует объяснить медлительность и даже нежелание по соображениям совершенно второстепенного порядка установить связи с Сиейесом — главным действующим лицом политической игры того времени. Бонапарт встретился с ним позднее, чем с другими членами Директории, на обеде у Гойе, и у обоих осталось крайне неблагоприятное впечатление друг о друге. По словам Гойе, Сиейес, раздосадованный заносчивостью Бонапарта, сказал о нем: «Вы заметили поведение этого маленького наглеца по отношению к члену правительства, который мог приказать его расстрелять?»⁷²

Такое начало, казалось, не предвещало ничего хорошего.

Следует напомнить также, что ему — Бонапарту — не пришлось ничего предлагать, ничего изобретать: он получал все в совершенно готовом виде. Идея государственного переворота с его участием была ему преподнесена в полностью обработанной, даже отшлифованной форме. По его собственному признанию, «все партии хотели перемен и все хотели осуществить их при его участии»⁷³. Не он принес Франции

идею обновления, мысли об изменении режима, о перевороте. Эта идея уже давно вынашивалась в политических кругах Парижа и существовала во множестве вариантов. Бонапарту предлагали — он поддакивал и принимал.

Конкретно это выглядело так.

Лукавый оборотень, угадывавший тайные мысли чужих и прячущий свои собственные, бывший епископ Оттенский, Морис Талейран, вынужденный незадолго до этого отдать портфель министра иностранных дел, который он ценил по многим причинам выше всяких иных портфелей, побывав у генерала Бонапарта на улице Шантерен, сразу же сообразил, что генерала нужно свести с Сиейесом.

Талейран знал Сиейеса с далекого прошлого времени — с масонских лож, с клуба Валуа в Пале-Рояле в 1789 году. Он был невысокого мнения о самом влиятельном члене Директории, о чем тогда же откровенно признался Камбасересу⁷⁴. Позже, в своих мемуарах, он набросал портрет Сиейеса кистью, сдобренной вдохновенной злостью. «Он проповедует равенство не из-за филантропии, а из-за жестокой ненависти к власти других», — писал он о Сиейесе⁷⁵. Впрочем, всякое морализирование Талейрана не могло не вызывать улыбку. Но было ясно — он не любил Сиейеса. Что из того? У Талейрана были свои, чисто личные причины, побуждавшие его содействовать успеху многообещающего генерала⁷⁶. Без Сиейеса, занимавшего ключевые позиции, нельзя было обойтись. Сиейесу — во всяком случае, до определенного времени — принадлежала решающая роль. Значит, с ним надо установить прямые и непосредственные связи, бросить на чашу весов силу его влияния. Что будет потом? Еще не пришла пора об этом задумываться; время все поставит на свое место. Пока же Талейран добровольно, и даже не без воодушевления, взял на себя скромные функции посредника.

Талейран побывал и у Сиейеса и у Бонапарта; он убедил каждого из них в пользе предстоящих встреч, он устранил возникшие было недоразумения и после первых, носивших несколько официальный характер свиданий быстро, почти незаметным участием, подвинул их к неофициальным переговорам, то есть к главному.

Переговоры эти вначале велись через посредников — через Талейрана и Федерера, приезжавших по вечерам к Сиейесу в Люксембургский дворец⁷⁷. Роль Талейрана, Федерера, а также Вольнея в скрытой от

нескромных взоров подготовке больших перемен в стране была весьма значительна. Позже она была признана официально⁷⁸. Но в ту решающую стадию о ней мало кто знал. Все переговоры велись келейно. Это давало до поры до времени некоторые преимущества — прежде всего не компрометировало участников переговоров и оставляло им в значительной мере руки развязанными. Бонапарт это использовал. До поры до времени он вел двойную игру, ориентируясь и на Сиейеса и на Барраса. Но когда стало очевидным, что надо переходить от слов к делу, тогда возникла необходимость прямых переговоров Сиейеса — Бонапарта.

По другой версии, решающая роль в сближении Сиейеса и Бонапарта принадлежала Шазалю, члену Совета пятисот, действовавшему в контакте с Люсьеном Бонапартом⁷⁹. Как бы там ни было, дороги Бонапарта и Сиейеса скрестились.

Сам Наполеон вполне точно определяет время, когда он пошел на объединение с Сиейесом. Это произошло после обеда у Барраса 8 брюмера (30 октября 1799 года). Баррас за столом раскрыл свои карты. «Республика погибает, так дальше не может продолжаться, — сказал он, — правительство бессильно; нужны перемены, надо назначить Эдуилля президентом республики, а вам, генерал, вам надо вернуться в армию». Наполеон пристально на него посмотрел, ничего не сказав. Баррас опустил глаза⁸⁰.

Так описывал эту сцену сам Наполеон. Он признавал, что этот разговор имел для него решающее значение. Баррас, посмевший назвать имя какого-то ничтожного Эдуилля и предложить ему, Бонапарту, подчиненную, второстепенную роль, Баррас после этого был сразу же вычеркнут из числа действующих лиц; он перестал существовать.

После этого разговора с Баррасом Бонапарт пошел к Сиейесу и быстро нашел с ним общий язык.

Вслед за тем — 10 брюмера — состоялось уже чисто деловое свидание директора и генерала ночью на квартире Люсьена Бонапарта.

Младший брат генерала пользовался довольно своеобразной известностью в Париже. Вне деловой сферы он прославился своими романтическими похождениями, и в особенности тем, что настойчиво добивался благосклонности знаменитой госпожи Рекамье, «самой красивой женщины Старого и Нового Света», как говорили о ней со-

временники⁸¹. В области политики он был известен как влиятельный член Совета пятисот, умевший вовремя произносить левые речи, что не мешало ему, однако, поддерживать добрые отношения с правым Сиейесом. Это счастливое сочетание способностей шло ему на пользу. Незадолго до описываемых событий он был избран председателем Совета пятисот. Одни полагали, что это было сделано в угоду генералу Бонапарту, другие — и Люсьен в их числе — объясняли этот выбор личными достоинствами молодого члена Совета пятисот. Как бы там ни было, он занял 1 брюмера этот пост, столь важный для последующего хода событий.

В этом ночном свидании Люсьен Бонапарт рассматривал себя третьим, может быть, самым важным участником этих переговоров, призванных войти в летописи истории⁸².

Тогда, на этом ночном совещании трех заговорщиков, и была достигнута прямая договоренность о том, что надлежит делать. Разговор шел преимущественно о практических задачах, о конкретном плане действий. О будущности страны говорили мало.

Стоит обратить внимание на дату этой ночной встречи, имевшей столь важные последствия. Она происходила 10-го, то есть за неделю до решающих событий.

Оказалось, что одной недели было достаточно, чтобы три человека, торопливо обсудив план предстоящих действий, могли подготовить и затем направить ход событий, изменивших круто судьбу Франции.

Как это могло произойти? Эти люди были столь могущественны, всеисильны? Нет, конечно. Это лишь показывало, насколько режим Директории себя изжил.

Пожалуй, наиболее примечательным в этих тайных переговорах заговорщиков было то, что самым пассивным, самым покладистым, по крайней мере по видимости, был именно тот участник заговора, на которого возлагалась главная роль, — генерал Наполеон Бонапарт.

Огромное актерское дарование Бонапарта, его изумительное чувство сцены — большой политической сцены, на которой столько лет он был на виду, умение безошибочно находить свое место среди других действующих лиц — подсказывали ему роль — наилучшую, наиболее соответствующую той сложной и ответственной игре, начинавшейся так незаметно.

Он представлялся в эти дни неглупым, многоопытным, но несколько простоватым солдатом, может быть, даже излишне доверчивым, немного чудаковатым. Ему предложили план организации переворота, в котором все было предусмотрено до мелочей — перевод собраний в Сен-Клу, создание будущей власти в форме коллегии трех консулов, — и он сразу все принял, без споров, без возражений; в общем, он на все соглашался. Он не поднимал разговора о будущем — какова должна быть конституция? какова программа? функции будущей власти? Можно было подумать, что все это мало его интересует, или, может быть, это не его сфера? ведь он только солдат.

Станным образом он уделял внимание тому, что, казалось, в эти дни не должно было иметь никакого значения. Он ходил на заседания Института, проявляя большой интерес к научным результатам египетской экспедиции; подчеркивал свое уважение и дружеские чувства к Монжу и Бертолле, писал любезные письма Лепласу; словом, выступал как человек, преданный интересам науки; наполовину солдат, наполовину ученый. У него, видимо, было так много свободного времени и его так занимали отвлеченные сюжеты, что он считал необходимым навестить престарелую вдову Гельвеция и в семье когда-то знаменитого философа провести вечер в воспоминаниях о великом веке «Просвещения»⁸³.

Впрочем, он стремился сохранять добрые отношения и с другими. Он принимал у себя дома за обедом генерала Журдана. В беседе с героем Флерюса он давал понять, что он прежде всего республиканец, — республика превыше всего. Нетрудно было припомнить, что, в сущности, вся его биография подтверждает это. Тулон, его близость с выдающимися якобинскими деятелями 93-го года; он ведь даже пострадал из-за этого. А его роль в Вандемьере? Роялисты имеют основание его ненавидеть.

Он завоевал симпатии не только Журдана; немало якобинцев взирали на него с доверием и надеждой; кто знает, может быть, с помощью «генерала Вандемьера» друзья свободы и равенства вновь отвоеуют утраченные позиции?

Он нашел дружественные слова для Моро; чистосердечно протянул ему руку⁸⁴. Он пытался завоевать и симпатии Бернадотта, но хитрый гасконец был увертлив;

он предпочитал вести самостоятельную игру.

Ни у кого не заискивая, ни перед кем не снимая низко шляпу, Бонапарт внимательно следил за всеми другими действующими лицами пьесы — он не мог допустить, чтобы они перешли в ряды его врагов. Он продолжал поддерживать по видимости добрые отношения с Баррасом, хотя уже твердо решил устранить его навсегда из игры.

Особняк на улице Шантерен (впрочем, ее чаще стали называть новым наименованием — улица Победы) посещали и несколько неожиданные лица. К генералу являлся не раз недавно назначенный министром полиции Жозеф Фуше. Знаменитый террорист 93-го года, проявивший столько энергии и твердости в преследовании своих бывших товарищей по партии — якобинцев, явственно давал понять генералу, что он готов ему служить чем может. Генерал принимал эти заверения сочувственно и тоже явственно, хотя и вполне неопределенно, давал понять, что и он готов идти навстречу, и ценит инициативу министра полиции, и дорожит его поддержкой. Но своих планов Фуше он до конца не раскрывал; ему представлялось, что в данном случае всего уместнее здоровое недоверие⁸⁵.

Молодого генерала посетил и один из влиятельных финансистов того времени — Колло. Колло недавно перед тем прославился своим открытым сопротивлением принудительному займу⁸⁶. Колло знал Бонапарта еще ранее. Он пришел к нему не с пустыми руками; он принес для начала 500 тысяч франков, а по другим данным — миллион. Генерал деньги взял; они были ценны не только сами по себе, но и как доказательство того, что намечаемую акцию (о которой молчаливо догадывались) поддерживает финансовый мир. Это было весьма существенно.

Впрочем, всем своим поведением Бонапарт, казалось, опровергал циркулировавшие в городе слухи о каких-то предстоящих событиях.

Более того, откуда-то возникла версия о его скором отъезде в армию. Даже далекие «Санкт-Петербургские ведомости» в сообщении из Парижа 22 декабря писали: «Несмотря на некоторые противоречия, кажется со дня на день вернее, что Бонапарт вступит в начальство итальянской армии и возьмет с собой Бернадотта»⁸⁷.

Последнюю неделю перед 18 брюмера он постоянно был у всех на виду. То его

можно было видеть на большом приеме у министра иностранных дел Рейнара, то он сам принимал гостей за вечерним обедом в своем особняке; 15-го вместе с Моро он был на большом приеме, устроенном обоими Советами в храме Победы, как называлась теперь церковь Святого Сюльпиция⁸⁸. 17-го он обедал у Камбасереса, в помещении министерства юстиции. Даже на 18 брюмера Жозефина послала приглашение на утро госпоже и господину Гоёе, а вечером 18-го Бонапарт должен был обедать у Гоёе. Когда уж тут было заниматься какими-то конспирациями, тайными приготовлениями к чему-то, о чем шептались по углам? Обязанности светской жизни поглощали все время и внимание генерала Бонапарта; да и кто мог предположить, что этот спокойный, дружелюбно улыбающийся молодой генерал, видимо радующийся возвращению из песков Египта в стихию великого города, может что-либо замышлять?

А между тем, невидимо, незаметно все шло так, как было намечено. Сиейес, Роже Дюко, соучаствовавший в заговоре, Камбасерес, Редерер, Талейран, Люсьен и Жозеф Бонапарты, Мюрат, Ланн, Бертье, Леклер, женатый на Полине Бонапарт, Лефевр, командующий парижским гарнизоном, — каждый делал то, что ему было назначено.

Часовые стрелки на циферблате быстро подвигались к двенадцати. Наступал час действия.

18—19 брюмера

События 18—19 брюмера были в свое время столь полно и всесторонне, со всеми деталями описаны в известных трудах Альбера Вандаля⁸⁹, что все последующие частные исследования не могли внести ничего существенно нового в уже известную картину этих двух драматических дней. Это извлекать от необходимости подробно освещать развитие событий, ставших переломными в жизни страны.

Напомним лишь коротко для понимания последующего важнейшие факты, связанные с переворотом 18—19 брюмера.

С раннего утра, с 6—7 часов этого не по-осеннему морозного ноябрьского дня, к двухэтажному особняку на улице Шантерен стали верхом на конях или в экипажах собираться высшие и старшие офицеры французской армии. Среди подъезжавших были и военачальники, чьи имена были известны

всей стране: генералы Моро, Макдональд, Бернадотт, Лефевр, Бернонвиль...

Станным образом, хотя, казалось, не было приложено никаких заметных усилий, все шло точно, организовано, видимо, в полном соответствии с предусмотренным планом. В положенное время к дому Бонапарта собрались все генералы, державшие в своих руках командование вооруженными силами Парижа и страны⁹⁰.

В необычно ранний час, между 7 и 8 часами, в Тюильри собрался Совет старейшин под председательством Лемерсье. Сначала малоизвестный Корне, прошедший предварительную основательную выучку, сообщил, правда, в довольно общих выражениях, о грозном заговоре якобинцев, угрожавшем республике, затем Ренье, депутат от Мерта, предложил, ссылаясь на 102-ю статью конституции, принять декрет о переводе Законодательного корпуса из Парижа в Сен-Клу и о назначении генерала Бонапарта командующим вооруженными силами Парижа и округа. На него же возлагалось осуществление принятого декрета.

Непосвященные в заговор депутаты были застигнуты врасплох. Ни у кого не нашлось ни слова возражения. Предложенный Ренье декрет был принят единодушно.

В 8 часов утра (как и должно было быть) к особняку на улице Шантерен примчалась карета; официальные представители Совета старейшин, выйдя из нее, поднялись к генералу Бонапарту и торжественно вручили ему декрет Совета. Генерал не был удивлен; он зачитал декрет и объявил всем собравшимся высшим офицерам, что принимает на себя верховное командование.

Теперь все становилось яснее...

Затем генерал Бонапарт, на коне, во главе многочисленной, великолепной, блиставшей генеральскими эполетами, золотым шитьем, плюмажами свиты, направился к Тюильрийскому дворцу, где генералов ожидали стянутые туда еще раньше полки.

Все шло гладко, без сучка и задоринки, все осуществлялось легко, без трений, в точно назначенное время. Из всей большой, сложно задуманной программы постановки не удались лишь две частности.

Казавшийся столь недалеким и простоватым президент Директории Гоёе вопреки ожиданию проявил сообразительность. Он не попался в западню. В ответ на любезное приглашение к завтраку Жозефины Бонапарт, к которой он обычно проявлял особое внимание, он послал только свою жену с задачами разведки, а сам не поехал на по-

казавшийся ему подозрительным завтрак в столь раннее время. Госпожа Гойе, увидев гостиную, кабинет, все комнаты и коридоры запруженными генералами, немедленно сигнализировала о том мужу. Гойе понял это должным образом и сразу поспешил к Мулену, а затем с ним вместе — к Баррасу⁹¹.

Таким образом, привлечь к движению большинство членов Директории — что предусматривалось программой — не удалось.

Все старания Бонапарта перетянуть на свою сторону и вовлечь в борьбу Бернадотта — чему он почему-то придавал большое значение — также не увенчались успехом. Бернадотт от всего упорно отказывался; самое большее, на что он соглашался, — оставаться нейтральным наблюдателем⁹².

Эти пункты программы остались невыполненными. Но вряд ли это могло смущать Бонапарта. К тридцати годам у него уже был большой военный опыт; он знал, что успех чередуется с неудачами; важно лишь, чтобы последние не перевешивали. Все определил общий ход событий.

18 брюмера общее развитие событий шло лучше даже, чем он мог ожидать.

В Тюильри Бонапарт, сопровождаемый своей пышной свитой, явился на заседание Совета старейшин. Он произнес короткую, но очень убедительную речь. Он подчеркивал верность республиканским принципам. «...Вы издали закон, обещающий спасти страну, наши руки сумеют его исполнить. Мы хотим республику, основанную на свободе, на равенстве, на священных принципах народного представительства»⁹³.

Старейшины постановили прервать заседание до переезда Совета в Сен-Клу. Все шло в точном соответствии с программой. Затем Бонапарт вышел в сад, чтобы проинспектировать войскам.

К главнокомандующему в это время протиснулся секретарь Барраса — Ботто. Откуда он взялся? Что ему было надо?

Могущественный директор, считавший себя соучастником (хотя и неизвестно, в какой роли) начавшегося переворота, с утра ожидал известий от Бонапарта. Под разными предлогами Баррас отказывался принимать Гойе, Мулену, немногих посетителей, являвшихся к нему в эти утренние часы. Генерал Бонапарт в глазах Барраса оставался хотя и несколько самонадеянным и даже дерзким порою, но все же вполне управляемым, своим человеком.

Баррас нетерпеливо прохаживался по

своим обширным покоем в Люксембургском дворце, прислушиваясь, не раздастся ли давно ожидаемый звонок.

Но время шло, часовая стрелка уходила все дальше по циферблату, звонка не было — никто не приходил.

Баррас не выдержал; он вызвал своего секретаря Ботто и велел ему немедленно бежать в Тюильри, лично переговорить с Бонапартом, сказать генералу, что он, Баррас, не имеет известий, что его это волнует, что он ждет⁹⁴.

Трудно сказать, какого рода чувства вызвало у Бонапарта неожиданное появление посланца Барраса здесь, в Тюильрийском саду, в решающие часы.

Вероятно, та же безошибочная интуиция великого актера подсказала ему эффектную импровизацию.

Те слова, которые он столько раз повторял про себя еще в Египте, во время бесконечного плаванья на «Мюироне», эти закипавшие гневом слова он мог их наконец громко, во весь голос произнести:

«Что вы сделали с Францией, которую я вам оставил в таком блестящем положении? Я вам оставил мир; я, нашел войну. Я вам оставил победы; я нашел поражения! Я вам оставил миллионы из Италии, и я нашел нищету и хищнические законы! Что вы сделали со ста тысячами французов, которых я знал моими товарищами по славе? Они мертвы!»⁹⁵

Грозовым голосом, в неистовом вдохновении, надвигаясь конем на пятящегося в страхе Ботто, перед замершей в сосредоточенном внимании толпой Бонапарт выкрикивал грозные обвинения.

Он обращался, конечно, не к этому жалкому Ботто, не к невидимому и уже не опасному — побежденному Баррасу, даже не к этой сочувствующей, взволнованной, завоеванной им толпе. В этот предвечерний час, видя перед собой черные голые ветви облетевшего осеннего сада, тысячи глаз, ожидающе устремленных на него, чувствуя за собой дыхание ждущих его приказа полков, он, верно, ощущал себя на вершине всемирного форума, на сцене мирового театра; он обращался к миллионной, необозримой — настоящей и будущей — аудитории; он говорил в века.

Вечером 18 брюмера генерал Ожеро, прятаясь весь день в тени, чтобы издали следить за развитием событий, вышел из своего укрытия, нашел в Тюильри Бонапарта и широко раскрыл свои могучие объятия. «Как, генерал, вы не полагаетесь

на вашего маленького Ожеро!» — воскликнул он⁹⁶. Бреттер и игрок, мечтавший сам сыграть ва-банк, но убедившийся, что счастье приваливает другому, он решил, пока не поздно, примазаться к выигравшему.

Выигрыш к исходу первого дня переворота представлялся уже несомненным.

Одна из важнейших задач переворота — свержение власти Директории — была достигнута. Сиейес и Роже Дюко — участники заговора — сложили свои полномочия и открыто примкнули к движению. Сиейес сделал это даже в несколько экстравагантной форме. Пожилой господин, невзирая на свои седины и заметное отсутствие кавалерийского опыта, приехал в Тюильри верхом на коне, вызывая живой интерес уличных зевак.

Баррас, оставшись всеми покинутым в своих покоях и убедившись в том, что игра проиграна, без слова возражения подписал принесенный ему Талейраном заранее составленный текст заявления об отставке⁹⁷. Осталось так и не выясненным, положил ли он при этом в карман миллион франков, предназначенные ему в виде отступного, или эти деньги прилипли к пальцам выполнявшего деликатное поручение Талейрана. Похоже на то, что деньги остались у Талейрана, — уж очень он расчувствовался при этой сцене⁹⁸. Впрочем, для хода событий это значения не имело...

Гоие и Мулен после недолгого и оставшегося вполне академическим сопротивления также подписали заявление об отставке. Директории более не существовало...

Советы старейшин и пятисот, прервав свои заседания, должны были 19-го собраться в Сен-Клу. Генерал Бонапарт законным, почти конституционным путем получил командование над всеми вооруженными силами столицы. Он приказал верным ему генералам занять все политические и стратегически важные пункты столицы. Ланну был поручен дворец Тюильри, Мюрату — Бурбонский дворец, Мармону — Версаль и т. д.

Успех переворота был подтвержден косвенным, но важным свидетельством: государственные фонды на бирже поднялись в курсе; усилился приток средств в казначейство⁹⁹.

Но когда Бонапарт 19-го после полудня приехал в Сен-Клу, все пошло совсем поному, чем в предыдущий день.

За сутки, прошедшие с начала так стремительно развернувшихся событий, депутаты Законодательного корпуса протрезвели.

Как это они согласились на то, чтобы спрятать Советы в Сен-Клу? Какая была в том необходимость? И о каком заговоре, собственно, идет речь? Где доказательства? И какую цель преследуют, предоставляя широкие военные полномочия генералу Бонапарту?

В каждом из Советов было немало тайных соучастников переворота. Президентом Совета пятисот оставался Люсьен Бонапарт. Но ни ему, ни другим брюмерианцам, как их стали вскоре именовать, не удавалось взять руководство в свои руки. В обоих Советах, в особенности в Совете пятисот, где преобладали якобинцы, нарастало недовольство, даже больше того — решимость изменить ход событий.

Бонапарт, Сиейес и их приближенные, расположившись в просторных кабинетах первого этажа дворца в Сен-Клу, тчетно ожидали победных реляций о ходе событий наверху — в залах, где заседали Советы. Благодушное настроение, с которым они приехали в Сен-Клу, успокоенные успехами вчерашнего дня, быстро рассеялось.

Сообщения, которые преподносили верные люди со второго этажа, были неутешительны. Депутаты обоих Советов не только не спешили формировать новое правительство — то, что от них ждали Бонапарт и Сиейес, — скорее даже напротив, они были склонны возносить хвалу прежнему правительству и брать под сомнение необходимость и даже законность принятых вчера чрезвычайных решений.

Более того, вскоре поступило сообщение, что Совет пятисот начал — по требованию якобинцев — поименное принесение присяги конституции III года.

Дело принимало непредвиденный и опасный для Бонапарта поворот. Присяга конституции III года — это было прямое осуждение дела, начатого 18 брюмера. Сомневаться в этом было нельзя.

Неизвестно откуда появившийся Ожеро грубоватым тоном наставника посоветовал Бонапарту поскорее сложить обязанности главнокомандующего.

— Сиди смирно, — отвечал Бонапарт, — снявши голову, по волосам не плачут!

Он понимал, что речь идет о его голове, о головах многих. Он был хмур и решителен.

Но, видимо, нервы ему отказали. Потеряв терпение, он быстро поднялся наверх и прошел в зал заседания Совета старейшин. Он надеялся, очевидно, что личным вмешательством ему удастся ускорить ход

событий и придать им должное направление.

Председательствующий предоставил генералу слово. Бонапарт произнес длинную, но довольно бессвязную речь. Он оправдывался, повторял, что он не Кромвель, не Цезарь, что ему чужда всякая мысль о диктатуре, что он лишь служит республике, народу... В то же время он кому-то, не называя имен, грозил... Эта речь не была подготовлена, обдумана; то была импровизация, но она не могла увлечь аудиторию, так как шла вразрез с ее настроением.

Бонапарта прерывали; от него требовали точных сведений о заговоре против республики, доказательств, его подтверждающих, его просили назвать имена. Он уходил от прямых ответов; он назвал Барраса и Мулена как зачинщиков, но его объяснения были общи и неопределенны и лишь усиливали сомнения. Чем дальше продолжалось это сбивчивое и все обескураживающееся препирательство сторон, тем очевиднее становилась их растущая рознь¹⁰⁰.

Ничего не добившись, Бонапарт покинул заседание старейшин. Спустя несколько минут, сопровождаемый гренадерами, он направился в зал заседаний пятисот.

Зачем?

После только что понесенного поражения у старейшин это было странным, труднообъяснимым ходом. На что он мог рассчитывать, направляясь в это собрание, где тон задавали якобинцы, которых он только что обвинял? По-видимому, не холодный рассудок, не трезвый стратегический план определяли его действия в эти минуты. Едва он переступил порог, как его встретил взрыв негодующих возгласов: «Долой диктатора!», «Вне закона!», «Вне закона его!».

Как гласил сухой газетный отчет: «Весь зал поднялся... Множество депутатов устремляются в центр зала. Они окружают генерала Бонапарта, хватают его за воротник, толкают... Толпа депутатов, поднявшись со своих скамей, кричит: «Вне закона! Вне закона! Долой диктатора!»¹⁰¹

В действительности, судя по другим свидетельствам, ситуация для Бонапарта была еще хуже¹⁰².

Бонапарт в молодости, когда он был еще очень худым, был подвержен мгновенно наступающим приступам физической слабости; он порою впадал в обморочное или полубморочное состояние. Вероятно, он не ожидал этого яростного взрыва негодования. Он не стал возражать, не отвечал, даже не сопротивлялся. Видимо, в этот момент его настиг этот страшный приступ

слабости; он был в полубморочном состоянии.

Генерал Лефевр это увидел, понял. С возгласом «Спасем нашего генерала!» он и гренадеры, расталкивая депутатов, вырвали из их рук Бонапарта и выволокли его из зала¹⁰³.

Поддерживаемый солдатами, шатаясь, с залитым бедностью лицом, потрясенный Бонапарт медленно пробирался в свой кабинет на первом этаже. В течение некоторого времени он не мог прийти в себя. Он с трудом переводил дыхание. Его речь была бессвязна. Обращаясь к Сиейесу, он называл его «генерал». Он повторял одни и те же слова. Его покинула энергия; он ни на что не мог решиться. Видимо, в его ушах все еще звучали эти страшные выкрики: «Вне закона!», «Вне закона!». Даже в своем полубморочном состоянии он не мог не понимать значения этих слов. Эти два слова привели Робеспьера к эшафоту на Гревской площади.

Мюрат, сохранивший полное хладнокровие и ни на шаг не отходивший от Бонапарта, предлагал простое решение: солдат, он считал, что надо действовать по-солдатски. Что может быть проще?

Но Бонапарт не мог ни на что решиться. В течение некоторого времени он оставался в состоянии беспомощности, растерянности. Постепенно приступ слабости миновал; лицу вернулись краски. Но он оставался как бы в оцепенении. Может быть, он считал, что все уже проиграно?

Комнаты, окружавшие его кабинет, еще недавно заполненные офицерами, депутатами, политическими дельцами, терпеливо ожидавшими его повелительных слов, теперь заметно опустели. Фуше, попадавший раньше на глаза, куда-то исчез. У всех находились какие-то неотложные дела, заставлявшие отлучаться. Большая блестящая свита, окружавшая генерала, шедшего к победе, редела, тускнела. Нельзя было обманываться в значении этих перемен.

А время шло. Короткий осенний день шел к концу. Известия, поступающие из залов, где заседали законодатели, становились все тревожнее. Люсьен Бонапарт собирался, что он не может больше ни за что ругаться.

В последний, критический момент, когда, казалось, все уже было потеряно, к Бонапарту вернулась его энергия. Он выбежал, вскочил на коня и, сопровождаемый Мюратом и вызванным сверху Люсьеном, начал обещать войска. Он выкрикивал, что его хотели убить, что в Совете пятисот собра-

лись заговорщики, что там угрожают ему, республике, народу кинжалом. «Солдаты, могу ли я рассчитывать на вас?» — повторял один и тот же вопрос Бонапарт, оббегая войска.

Был момент, когда создалось впечатление, что армия колеблется. Но Бонапарт, его брат вырвали у солдат возгласы сочувствия. Тогда Бонапарт подал знак Мюрату.

Команда была дана. Отряд гренадеров с барабанным боем, с ружьями наперевес, предводительствуемый Мюратом и Леклером, двинулся в зал заседаний Совета пятисот.

Распахнувши двери, Мюрат громовым голосом выкрикнул приказ:

«Вышвырните всю эту свору вон!» В действительности вместо «Вышвырните» было сказано еще более грубое, не воспроизводимое на бумаге словцо. Генерал из солдат, сын кабатчика, даже в Законодательном корпусе не считал нужным прибегать к парламентским выражениям.

Громившие диктатора в обвинительных речах якобинцы 99-го года при звуках барабанной дроби растерялись. Среди них не было людей, подобных якобинцам «вершины» — Ромму и его друзьям, заколовшим себя одним кинжалом, передаваемым из рук в руки. Не прошло и пяти минут, как Совет пятисот перестал существовать — зал был очищен от депутатов. Все оказалось проще, чем можно было ожидать.

Это и было «искусство выбрасывать депутатов в окошко», по ходячему выражению тех дней, которое с таким мастерством показал 19 брюмера отряд гренадеров под командой Иоахима Мюрата.

Переворот был завершен. Вслед за Директорией Совет старейшин и Совет пятисот были вычеркнуты из истории.

Впрочем, раньше чем перепуганные на смерть депутаты не существующих больше Советов успели разбежаться, некоторых из них, подвернувшихся под руку солдатам, снова загнали во дворец. Там под диктовку, без слова возражений они приняли постановление о создании временной консульской комиссии в составе Сиейеса, Роже Дюко и Бонапарта¹⁰⁴ и двух комиссий, на которые возлагалась подготовка конституционных законов.

Сиейесу приписывали фразу: «...Я сделал 18 брюмера, но не 19-е». Полтора года тому назад ее повторил, как нечто вполне достоверное Стендаль¹⁰⁵. Легенда эта осталась живучей. И в наше время ее можно встретить даже в специальных трудах по

истории конституционного права¹⁰⁶.

Эта версия возникла не случайно; она преследовала вполне определенные цели. 19 брюмера противопоставлялось 18-му. Первый день, 18 брюмера, прошел без слова возражения, безоблачно, триумфально. 19-е брюмера был трудный, тяжелый день, когда, казалось, ход событий двинулся вспять, организаторы переворота были на пороге поражения и вот-вот надо было ожидать, что они будут сметены, растоптаны и уничтожены.

Однако противопоставление 18 брюмера 19-му, рассечение единого и целостного события на два разных, было и остается насквозь надуманным и искусственным. Возможно ли было 19 брюмера без 18-го? Можно ли было остановиться в пределах достигнутого 18-го? Нет, конечно. Это было одно единое, слитное событие, расчлененное только закономерной паузой, которую всегда и неотвратно создает ночь.

Верно то, но не для одного, а для обоих дней — для 18-го и 19-го, что общий план переворота, как мы сказали бы в наши дни — сценарий ленты, был в основном задуман и подготовлен без Бонапарта, еще до того, как он вступил в игру. Бонапарту его сообщили, и он его принял без высказанных вслух возражений.

Основная идея сценария была проста и ясна. Власть клики, шаткая и неустойчивая власть Директории должна быть заменена крепким буржуазным порядком, твердой властью или, иными словами, диктатурой буржуазии. Эта основная идея не могла быть сочтена авторским изобретением Сиейеса, или Редерера, или Камбасереса, или Талейрана — эта идея была порождена историческими условиями, само их развитие поставило ее в повестку дня. Это было требование дня, понятие, требование имущих классов — буржуазии, собственнического крестьянства, но именно они в это время и направляли развитие событий.

Но в приведенных выше словах Сиейеса и тех, кто позднее принял эту версию, трудно уловить не высказанную прямо, но вполне ощутимую мысль. Переворот был произведен 18-го Сиейесом, а 19-го узурпирован Бонапартом. 18-го власть была в руках Сиейеса, а Бонапарт был только нужной ему шпайгой, а 19-го шпайга вышла из повиновения, она сама стала властью. За этой мыслью скрывается и иная: 18-го власть была гражданской, 19-го она перешла в руки военных.

И этот ход мыслей призван увести от

действительности и породить неправильные представления. Он опровергается прежде всего фактами.

События 18—19 брюмера существенно отличались от ряда предшествовавших, родственных им по содержанию событий прежде всего тем, что они были самым бескровным переворотом. В своем роде это было нечто уникальное в истории Франции.

Не было ни одного убитого или даже раненого с обеих сторон. Не было ни одного выстрела! Это был действительно переворот «в лайковых перчатках», как принято было говорить в XIX веке.

Как это могло произойти? Это следует объяснять тем, что мятежников возглавлял генерал Бонапарт? Разве лишь самые фанатичные поклонники «наполеоновских легенд» решились бы поддержать такую версию. Объяснение этому нужно, понятно, искать в ином. Режим Директории настолько изжил себя, настолько оторвался от всех поддерживавших его ранее социальных сил, что, лишившись всякой опоры в стране, рухнул от первого толчка.

Но здесь, естественно, возникает и иной ход мыслей. Хорошо, скажет иной читатель, режим Директории действительно изжил себя, он не имел больше сил, чтобы оказывать сопротивление. Но почему против мятежников не восстали истинные республиканцы, «последние якобинцы», люди, искренне преданные демократии и свободе?

Такая постановка вопроса была бы законной, и ее действительно нельзя обойти, оставить без ответа. Было бы неверным подстригать всех якобинцев 99-го года под одну гребенку, видеть в них политиков прошлого или фразеров, не способных на смелые действия. Среди участников собраний в манеже, среди «последних якобинцев» были люди честные, мужественные, готовые идти навстречу опасности. Антонель, Феликс Лепелеттье, Марк-Антуан Жюльен, Дрue, Фике, Фион — бывшие участники бабувистского движения, политические бойцы железного закала, умевшие смотреть смерти в лицо, где они были 18—19 брюмера? Почему они не встали стеной, не преградили пути организаторам переворота?

Их голос не был слышен в эти дни, и это не было, конечно, случайным.

Кого должны были бы они защищать? Убийц Робеспьера? Палачей Бабефа? Душителей народной свободы? Воров и казнокрадов, мздоимцев и спекулянтов, составивших состояние на народной нужде? Преступники, прикрывавшиеся красной то-

гой народных представителей, были уже столь чужды и враждебны республике, чье имя они узурпировали, что ни у одного из истинных демократов не возникало желания сражаться ради сохранения их власти.

Народ, уволенный в отставку, по перефразированному выражению Редерера, оставался в стороне безмолвным зрителем.

«Последние якобинцы», даже верные своим идеалам, были в растерянности; они не знали, куда идти. После стольких крушений, разбитых иллюзий, обманутых надежд, несбывшихся мечтаний к чему стремиться? Что искать?

Политические блуждания Марка-Антуана Жюльена, так мастерски воспроизведенные В. М. Далиным в его этюде о бывшем юном друге Максимилиана Робеспьера¹⁰⁷, не были только его личной трагедией. Это была трагедия поколения, трагедия двадцатилетних, вступивших в революцию, когда она была уже на ущербе, когда над ней уже поднимался меч термидора.

В решающие часы 18—19 брюмера «последние якобинцы» остались вне борьбы. Иные из них, как например Жюльен, поддались даже на время бонапартистским увлечениям; они так хотели увидеть в Бонапарте осуществление своих мечтаний, что готовы были принять желаемое за сущее. Другие просто отошли в сторону. Они не хотели помогать ни Баррасу, ни Сиейесу, ни Бонапарту; они отдавали себе отчет в том, что основной поток событий пронесется где-то в стороне; им нечего было больше делать; они готовы были смешаться с толпой.

Вещи должны быть названы своими именами: переворот 18—19 брюмера не встретил сопротивления народа, он не встретил сопротивления ни справа, ни слева. Этот самый бескровный из всех государственных переворотов был логическим и закономерным этапом послетермидорианской истории.

Но если попытка расчленить государственный переворот, ликвидировавший Директорию, на два различных акта со всеми вытекающими отсюда следствиями должна быть отвергнута, как противоречащая фактам, то вместе с тем остается бесспорным, что главным действующим лицом переворота и 18-го и 19-го был Бонапарт. В руках Бонапарта была вооруженная сила, армия, и это имело решающее значение. Хотя участники переворота и пытались провести его в конституционных или хотя бы более или менее законных формах, успех задуманного обеспечивался тем, что за спиной действующих на парламентской сцене лиц,

в тени Тюильрийского сада или парка Сен-Клу стояли наготове пять тысяч солдат, ожидавших приказа. И когда в Сен-Клу выяснилось, что строго легальный вариант не проходит, вмешательство отряда гренадеров в несколько минут решило то, что не получалось уговорами и речами.

Но армия приобретала решающее значение и в более общем смысле.

В реальных исторических условиях французской республики VIII года, 10 лет после начала Великой буржуазной революции, 5 лет после 9 термидора, в обстановке внутренних волнений и напряженной войны со второй коалицией, утверждение нового буржуазного порядка (а никакой иной, более прогрессивный, был тогда невозможен) могло быть осуществлено лишь с помощью армии.

Главным экономическим и социальным содержанием минувших революционных лет было перераспределение собственности и соответственно изменение ее характера.

Количественные подсчеты в общенациональном масштабе и сейчас еще не завершены, а локальные исследования показывают множество частных отклонений¹⁰⁰. Однако общее направление этих процессов не вызывает сомнений. Оно означало победу буржуазной собственности над феодальной, значительное расширение и укрепление буржуазной собственности, создание нового, многочисленного класса свободных крестьян — мелких землевладельцев.

Это перераспределение собственности в глазах современников не представлялось окончательным. Новые собственники не были достаточно уверены в прочности приобретенного. Они опасались — с должным основанием, — что приобретенное у них попытается отобрать бывший владелец. Семь лет длившаяся война с коалицией европейских держав и вновь и вновь возникавшие роялистские мятежи шуанов доказывали, что эта опасность не устранена;

она остается большой, грозной, и что для ее устранения или хотя бы ослабления есть только одно средство — вооруженная сила. Новые владельцы — буржуазия и собственническое крестьянство — страшлись также опасности слева — «аграрных законов», бабувистского равенства, возврата к жесткой политике 93—94-го годов — твердых цен, реквизиций, запрета свободной торговли и пр. Хотя реально — на том уровне экономического развития — мануфактурной стадии капитализма, первых шагов к промышленной революции — буржуазная и крестьянская собственность не могла подвергаться серьезной опасности слева хотя бы потому, что еще не доросли силы для такой атаки, психологическая угроза слева казалась не менее страшной, чем угроза справа.

Защитить, отстоять и утвердить произведенное перераспределение собственности, укрепить новых владельцев — буржуа, крестьян — в их приобретениях могла только сильная армия.

Наконец, в процессе складывания и формирования нового, буржуазного государства, вооруженные силы — армия и полиция — становились его существеннейшим элементом.

Так, в конкретно-исторических условиях Франции конца XVIII века самым ходом вещей армия выдвинулась на первое место. В поединке Снейеса и Бонапарта, незримо для окружающих начавшемся еще до 18 брюмера, с того момента, как они стали союзниками, победа была заранее обеспечена Бонапарту.

И до, и во время, и после событий 18 брюмера Снейес все время оставался на первом плане — и Бонапарт легко, без возражений шел на это, — и все-таки истинным руководителем переворота оставался Бонапарт. В его руках была реальная сила — армия, и это все определило. Поражение Снейеса было предreshено.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Sieyès E. J., Essai sur les privilèges. Paris, 1789; ерго же Que'est ce que le tiers état? Paris, 1789, многочисленные переиздания, рус. перевод. 1906.

²⁻³ См.: A. Aulard, Les orateurs de la Révolution, t. II. Paris, 1907, p. 558.

⁴ A. Kuscinski, Dictionnaire des Conventionnelles. Paris, 1916. p. 566.

⁵ «Moniteur», № 259, 19 prairial an VII (7 juin 1799).

⁶ Талейран, Мемуары, пер. с франц. М., 1959, стр. 156.

⁷ «Moniteur», № 266, 26 prairial an VII (14 juin 1799).

⁸ Pauli Bastid, Sieyès et sa pensée, Paris, 1939; J. Kounq Théorie constitutionnelle de Sieyès, P., 1934; A. Biglon, Sieyès - L'homme. Le constituant... P., 1893.

⁹ «Moniteur», № 330, 30 thermidor an VII (17 aout 1799), № 335, 5 fructidor (22 aout); № 348, 18 fructidor (4 sept 1799).

¹⁰ R. Valentin, Le maréchal Jorudan (1762—1833). Paris, 1956.

¹¹ M. J. Lafayette, Mémoires, correspondances et manuscrits, t. IV—V. P., 1838; E. Charavay, Le général la Fayette 1757—1839. P. 1898.

¹² E. Cherier, Le général Joubert, étude sur sa vie... 2 ed. P., 1884.

¹³ Las Cases, Le Mémorial de Sainte-Hélène. Paris, 1951, t. I, p. 853—859; t. II, p. 229—250.

¹⁴ Barras, Mémoires, t. III, p. 361.

¹⁵ L. Madelin Histoire de Consulat et de l'Empire t. III, Ascension de Bonaparte. p. 299—301;

¹⁶ См.: А. В. Суворов, Документы, т. 4, 1799—1800. М., 1953; Д. А. Милютин, История войны между Россией и Францией в царствование имп. Павла I. 2-е изд., т. 1—5. Спб., 1857; Н. А. Орлов, Суворов. Разбор военных действий Суворова в Италии в 1799. Спб., 1892; Клаузевиц, 1799 г. М., 1938.

¹⁷ Даже две недели после поражения при Требии газеты сообщали мифические сведения о том, что русско-австрийская армия численностью в 18 тысяч солдат окружена войсками французов. «Moniteur», № 284, 14 mesidor (6 juillet 1799).

¹⁸ «Moniteur», № 288, 18 mesidor (6 juillet 1799).

¹⁹ Наполеон в своих записках о кампании 1799 года, написанных на острове Св. Елены, весьма критически оценивал образ действий Жубера в подготовке и начальной стадии сражения при Нови. Napoleon, Evenements des six derniers mois de 1799. Correspondances (в дальнейшем сокр. Corr.), t. XXX. P., 1870, p. 284—285.

²⁰ B. Lavigne, Histoire de l'insurrection royaliste de l'an VII. P., 1887.

²¹ Стендаль, Соч., т. II, стр. 346.

²² De Bourrienne, Mémoires, t. 3, p. 45; Gochier, Mémoires, t. II P., 1824.

²³ Barras, Mémoires, t. III, p. 494.

²⁴ Bourrienne, op. cit., t. 3, p. 45. А. Вандаль, Возвышение Бонапарта, пер. с франц. М., 1905.

²⁵ Boulay, Le Directoire et l'expédition d'Egypte. Paris, I, p. 240—242.

²⁶ А. Вандаль. указ. соч., стр. 192.

²⁷ Лучшей военной историей суворовского похода по-прежнему остается фундаментальный труд более чем столетней давности Д. А. Милютина.

²⁸ «Moniteur», 23, vendémiaire an VIII (15 oct. 1799).

²⁹ «Санкт - Петербургские ведомости», № 88, 4 ноября 1799 г.

³⁰ «Московские ведомости», № 92, 16 ноября 1799 г.

³¹ Barras, Mémoires, t. IV, p. 29. André Castellet, Bonaparte. Paris, 1967, p. 367.

³²⁻³³ A. Vandal, L'avènement de Bonaparte t. I. p. 1915, p. 242.

³⁴ Louis Madelin, Histoire du Consulat et de l'Empire, t. II, p. 314—318.

³⁵ Andre Castellet, Bonaparte, p. 358.

³⁶ Позднее, на острове Св. Елены, Наполеон пытался представить дело так, что при отъезде в Египет он получил неограниченную свободу решений от правительства. (Napoleon, Campagnes d'Egypte et de Syrie, Corr. t. 30. P., 1870, p. 81). Однако это утверждение, как и многое иное, в последние годы его жизни было продиктовано прежде всего желанием оправдать все свои действия.

³⁷ Napoleon, Corr. t. V, № 3952, 22 pluviôse VII года (10 февраля 1799 г.).

³⁸ «Mémoires du Marechal Marmont, duc de Raguse de 1792 a 1841». t. 2. P., 1857, t. I, p. 390

³⁹ Marmont, Mémoires, p. 31—32. Bourrienne, Mémoires, t. 2, p. 304—307.

⁴⁰ Ibidem, p. 388—391.

⁴¹ Napoleon I, Corr. t. V, Paris, 1860, № 3488, 17 oct. 1798; № 3649, 21 nov. 1798, № 3952, 10 fevr. 1799.

⁴² 25 июля французы одержали победу над турками под Абукиром, и Бонапарт в донесениях Директории всемерно подчеркивал значение этой победы. См. Napoleon, Corr. t. V, N 4323, 28 juillet, N 4334 4 aout 1799, p. 541, 549.

⁴³ «Санкт-Петербургские ведомости», № 90, 11 ноября 1799 г.

⁴⁴ См. Ал Джабарти Абдар Рахман, Египет в период экспедиции Бонапарта (1798—1801), пер. с арабского. М., 1962.

⁴⁵ Баррас в своих мемуарах отмечал, что Бонапарт преувеличивал значение победы под Абукиром (Barraas, Mémoires, т. IV, р. 25).

⁴⁶ Его упоминает в числе других Маделен, не останавливаясь, однако, на его содержания (L. Madelin, op. cit., р. 316, 387, Notes).

⁴⁷ Napoléon, Corr., т. V, N 4375, р. 576. Приказ Клеберу 22 августа 1799 года.

⁴⁸ Corr., т. V, N 4374, р. 572—575.

⁴⁹ Ibidem, р. 573.

⁵⁰ Ibidem.

⁵¹ Corr., т. V, N 4375, р. 576.

⁵² Напомним, что остальных лучших генералов: Бертье, Мюрата, Ланна, Мармона, Дюрока, Андреоси — он брал с собой, а Дезе и Жюно приказывал также отправить во Францию, что было также коварным доказательством обреченности египетской армии.

⁵³ Мармон в своих мемуарах пишет, что Наполеон избегал встречи с Клебером, так как опасался, что тот откажется принять командование и создаст препятствия задуманному плану (Marechal Marmon, Mémoires, т. 2, р. 36).

⁵⁴ A. A. Ernoul, Le general Cleber... Paris, 1867; H. Claeber, Leben und Taten des französischen Generals J. B. Cleber. Dresden, 1900.

⁵⁵ Генерал Мену, не обладавший военным талантом, пытался преуспеть в ином; он принял ислам, женился на египтянке и стал подписываться на документах Абдалла-Мену.

⁵⁶ Napoléon, Corr., т. V, р. 576—577, № 4376. В приказе по армии он писал более глухо: «Известия из Европы определили мое решение возвратиться во Францию» (там же, № 4380).

⁵⁷ Marmon, Mémoires, т. II, р. 32—33.

⁵⁸ L. Madelin, op. cit., т. II, р. 315—316; A. Castellet, Bonaparte, р. 358.

⁵⁹ Napoléon, Campagnes d'Egypte et de Syrie, Corr., т. 30, р. 93.

⁶⁰ Как известно, мемуары Бурьенна вызвали в свое время весьма острую критику со стороны генерала Белиара, Буле де ла Мерта, генерала Гурго, Камбасереса и др. (см.: «Bourienne et ses erreurs volontaires et involontaires...», т. I—II. Paris, 1830). Нельзя, однако забывать, что в то время, о котором идет речь, — в 1798—1799 годах — Бурьенн, знавший Бонапарта с девятилетнего возраста, был еще одним из самых близких к нему людей, и поэтому его свидетельства для этого времени особенно ценны.

⁶¹ Bourienne, Mémoires, т. III, р. 32.

⁶² Bourienne — Op. cit., р. 2—3.

⁶³ Мюирон — это имя, полное значения для Бонапарта. Так звали его адъютанта, погибшего в сражении при Арколе, прикрывая своим телом Бонапарта. На острове Св. Елены Наполеон, составляя завещание, снова вспомнил о нем, оставив его наследникам сто тысяч франков. (Las Cases, Le mémorial de Sainte-Hélène. т. II, р. 890.)

⁶⁴ Napoléon, Corr., т. V, № 4382, р. 578—579, из Экса, 18 вандемьера VIII года (10 октября 1799 года).

⁶⁵ «Moniteur», № 25, 25 vendémiaire (17 окт. 1799). Этот поспешный визит в ранний час, сразу же после утомительного путешествия показывает, насколько неуверенно и беспокойно себя чувствовал генерал, самовольно покинувший египетскую армию.

⁶⁶ Bourienne, Mémoires, т. III, р. 40—68; Marmon, Mémoires, т. II, р. 90—92; Roederer, Oeuvres, т. III, р. 96. Vandal, I, I, VI.

⁶⁷ Баррас в своих мемуарах (т. IV, р. 29—30) уверял, будто Бонапарт питал к нему такое доверие, что советовался даже в связи

со своими раздорами с Жозефиной. Этому, конечно, поверить нельзя.

⁶⁸ Barraas, Mémoires,

⁶⁹ A. C. Thibaudeau, Le consulat et l'empire ou Histoire de la France et de Napoléon Bonaparte de 1799 à 1815. Paris, 1835, т. I, р. 3.

⁷⁰ Созданию этих легенд способствовал сам Наполеон, утверждая на острове Св. Елены, что уже по дороге из Фрежюса в Париж он во всем разобрался и принял решение «захватить власть» (Napoléon, 18 brumaire. Corr., т. 30, р. 305—306).

⁷¹ Bourienne, Mémoires, т. III, р. 59; Marmon, Mémoires, т. II, р. Thibaudeau, op. cit., т. I, р. 12. Этот план, помимо прочего, должен был быть отвергнут хотя бы потому, что пост директора мог быть занят лишь при достижении 40 лет, а Бонапарту было только 30 лет.

⁷² Gohiers, Mémoires, т. I, р. 202.

⁷³ Napoléon 18 brumaire. Corr., т. 30, р. 309.

⁷⁴ G. Lascour — Gayet, Talleyrand, 1754—1838, т. I. Paris, 1928, р. 352—355.

⁷⁵ Талейран, Мемуары, стр. 377.

⁷⁶ См.: Е. В. Тарле, Талейран, Соч., т. XI, стр. 59—60.

⁷⁷ Vandal, op. cit., т. I, р. 165—167.

⁷⁸ «Московские ведомости», № 101, 12 декабря 1799 г. в сообщении из Парижа от 15 ноября писали, что Бонапарт от имени Консульства принес благодарность Талейрану, Редереру и Вольену «за важные услуги», оказанные республике.

⁷⁹ Thibaudeau, op. cit., т. I, р. 15—16.

⁸⁰ Napoléon, 18 brumaire. Corr., т. 30, р. 310.

⁸¹ Ed. Herriot, Madame Récamier et ses amis. P. 1924, р. 43—48.

⁸² См. Lucien Bonaparte, Revolution de Bru-

maire Bruxelles et Leipzig, 1845 p. 55—62, см. также Th. Jung, Lucien Bonaparte et ses mémoires... Т. I—3. P., 1882—1883.

⁸³ Napoléon, Corr., т. VI, N 4384, p. 1; А. Вандаль, указ. соч., стр. 281—182.

⁸⁴ Об этом писал даже «Moniteur» (№ 46, 16 brumaire an VIII).

⁸⁵ Napoléon, 18 brumaire, Corr., т. 30, p., 309 см.; L. Madelin, Fouche, P., 1955, т. I, p. 262—275.

⁸⁶ Об отношениях Бонапарта и Колло см.: Boulay de la Meurthe, Observations sur le 18 brumaire — в сборнике «Bourienne et ses erreurs», т. II, p. 424.

⁸⁷ «Санкт - Петербургские ведомости», № 93, 22 ноября 1799 г.

⁸⁸ «Moniteur», N 46, 16 brumaire (6 nov. 1799).

⁸⁹ Albert Vandal, L'Avenement de Bonaparte. Т. II.

⁹⁰ Bourienne, Mémoires, III, p. 68—82; Marmont Mémoires, II, 92—98.

⁹¹ Gohiers, Mémoires, т. I, p. 237—238.

⁹² Bourienne, Mémoires, т. III, p. 40—55; ср.: Boulay de la Meurthe, Observations sur le 18 brumaire. — В «Bourienne et ses erreurs», т. II, p. 40—52.

⁹³ «Moniteur», N 49, 19 brumaire an VIII (9 nov. 1799). ср.: Napoléon, 18 brumaire. Corr., т. 30, p. 315.

⁹⁴ P. Barras, Mémoires,

т. IV, p. 76—83; Bourienne, Mémoires, III, p. 67—68.

⁹⁵ «Moniteur», N 50, 20 brumaire (10 nov. 1799).

⁹⁶ Napoléon, 18 brumaire. Corr., т. 30, p. 317.

⁹⁷ Заявление об отставке Барраса было тотчас же опубликовано в «Moniteur», № 50, 20 brumaire (10 nov. 1799).

⁹⁸ Barras, Mémoires, т. IV, p. 79—81, Lacour-Gayet, Talleyrand, т. I, p. 357—359.

⁹⁹ «Moniteur», № 52, 22 brumaire an VIII (12 nov. 1799).

¹⁰⁰ «Moniteur», N 51, 21 brumaire an VIII (11 nov. 1799).

¹⁰¹ «Moniteur», N 50, 20 brumaire an VIII (10 nov. 1799).

¹⁰² «Санкт - Петербургские ведомости» в сообщении из Парижа так передавали эту сцену: «...При его (Бонапарта — А. М.) появлении сказалось жестокое смещение в Совете. Все члены Совета вскочили. Множество ораторов рвалось взойти на кафедру. Бонапарте не мог туда пробраться. Его отталкивали неистово. Одни кричали: Бонапарте лишен покровительства законов! Вне закона! Вне закона! Другие бросились на него, угрожая пистолетами и кинжалами. Один депутат толкнул его, другой ударил кинжалом, который, по счастью, отражен гренадером... у коего распороты от того рукава его кафтана и камзола...» («Санкт-Петербургские ведомости», № 94, 25 ноября 1799 г., прибавление).

¹⁰³ «Moniteur» № 50, 20 brumaire an VIII (10 nov. 1799). В последующих номерах газеты, в разного рода свидетельствах очевидцев появилась версия, будто бы депутат-якобинец Арена пытался поразить генерала кинжалом.

¹⁰⁴ Именно в таком порядке, вопреки алфавиту, был опубликован в официальном сообщении состав консульской комиссии («Moniteur», N 51, 21 brumaire an VIII (10 nov. 1799). В таком же порядке — Сиейес впереди, Бонапарт последним — состав консульской комиссии был передан и в русской печати. См.: «Санкт-Петербургские ведомости», № 94, 25 ноября 1799 г.

¹⁰⁵ Стендаль, Жизнь Наполеона. Собр. соч., т. 11. М., 1954, стр. 33.

¹⁰⁶ «В организации переворота Бонапарт сыграл значительно меньшую роль, чем Сиейес, Талейран и Фуше», — пишет, например, профессор Марсель Прело. (См. Marcel Prelot, Précis de droit constitutionnel, 3 ed. Paris, 1955; рус. перевод М. Прело. Конституционное право Франции. М., 1957, стр. 117.)

¹⁰⁷ В. М. Далин, М. А. Жюльен после термидора. «Французский ежегодник», 1959.

¹⁰⁸ F. Rocquain. L'Etat de la France au 18 brumaire. P. 1874; Ch. Morazé, Les bourgeois conquérants, P. 1957; O. Festy, L'agriculture française sous le Consulat. P., 1952; M. Payard, Le financier Ouvrard. P., 1958; O. Festy, Les délits ruraux et leur répression sous la Révolution et le consulat. P., 1956 и др.

В. Б. Кобрин

Государевы опричники

1

Нет в русской истории такого царя, кроме, пожалуй, Петра Великого, имя которого было бы окутано таким множеством легенд, как имя Ивана Грозного. И при упоминании царя Ивана в памяти у каждого невольно всплывает мрачное слово — опричина.

Чем же было это таинственное учреждение, которое, как остроумно заметил один историк, казалось равно странным и загадочным и тем, кто страдал от него, и тем, кто его исследовал? Наверное, сущность опричины стала бы яснее, если бы мы знали, кто такие были сами опричники, те, кто проводил в жизнь жестокую политику грозного царя.

А разве мы не знаем опричников? Как же, Малюта Скуратов, Василий Грязной. И услужливая память незамедлительно подбрасывает: «Царская невеста» — «Не тот я стал теперь, не узнаю Григория Грязного...». «Князь Серебряный», «Василий Шибанов» — помните?

С девичьей улыбкой, с змеиной душой Любимец звонит Иоаннов,

Отверженный богом Басманов.

Или принадлежащая перу того же Алексея Константиновича Толстого баллада о князе Репнине: «За мной, мои тиуны, опричники мои!..»

Как будто и свидетельств современников о том, кто были опричники, у нас хватает. Уроженцы Ливонии, немецкие дворяне Иоганн Таубе и Элерт Крузе сами опричники, бежав из России, составили подробное описание того, что видели и слышали. Они пишут, что Иван IV «образовал... над всеми храбрыми, справедливыми, непорочными полками свою особую опричину, особое братство, которое он составил из пятисот молодых людей, **большей частью**

очень низкого происхождения (подчеркнуто мною. — В. К.), все смелых, дерзких, бесчестных и бездушных парней»¹.

Есть и другой свидетель, пожалуй, еще более авторитетный — сам царь Иван Васильевич. Через два года после отмены опричины, в 1574 году, он писал попавшему в плен опричнику Василию Григорьевичу Грязному, что когда «отца нашего (Василия III. — В. К.) и наши князи и бояре учили нас изменяти, и мы и вас, страдников (то есть людей низкого происхождения, холопов. — В. К.), приближали, хотячи от вас службы и правды»².

Но есть и иные свидетельства. Почитаем иностранца, который, как будто, лучше прочих знает опричные порядки, — Генриха Штадена. Двадцатилетним юношей этот бюргерский сын из небольшого вестфальского городка попал в поисках приключений в далекую Московию. Он прожил здесь около десяти лет, был опричником, участвовал в карательных экспедициях, богател и разорялся, вымогал деньги у крестьян и торговал мукой в Поморье и, наконец, перебрался обратно в Германию. Там, в замке Люцельштейн в Вогезах, на границе с Францией, по заказу такого же, как он, авантюриста, пфальцграфа Люцельштейнского Георга Ганса, он составил свой знаменитый жестокий проект — «План обращения Московии в имперскую провинцию», а заодно и автобиографию и подробное описание России. Один из самых замечательных по глубокости проникновения в жизнь и цинизму документов XVI века. Генрих Штаден пишет: «Князья и бояре, взятые в опричину, распределялись по степеням не по богатству, а по породе»³.

Штаден явно противоречит и Таубе, и Крузе, и Ивану Грозному.

Еще один иностранец. Спокойный, неторопливый, умный и доброжелательный — посол ее величества королевы английской Елизаветы I сэр Джильс Флетчер. Правда, когда он побывал в Московии, опричина была уже отменена, но он слышал немало рассказов об этом надолго запомнившемся времени. Флетчер пишет, что к опричным людям «принадлежали те из лиц высшего сословия и мелких дворян, коих царь взял..., чтобы защищать и охранять их как верных своих подданных»⁴. Опять встречаем высшее сословие! Где же правда?

Казалось бы, чего проще: взять список опричников и посчитать, сколько было князей, сколько бояр, и были ли они, кем были опричники, откуда они происходили,

прочитать их послужные списки. Увы, дело обстоит совсем не так просто.

Академик С. Ф. Платонов как-то заметил, что от XVI века до нас дошли не архивы, а только фрагменты архивов. И в самом деле, пожары истребили значительное количество, даже большинство документов русского делопроизводства XVI века. Вот она в сокращении, печальная хроника московских пожаров XVI и начала XVII веков:

1571 год — полчища крымского хана Девлет-Гирея полностью сожгли Москву.

1610 год — польско-литовские интервенты подожгли Москву, чтобы прекратить народное восстание.

1612 год — при взятии Москвы ополчением Минина и Пожарского снова возникает пожар.

1626 год — в результате несчастного случая начинается пожар, уничтоживший почти весь город.

И естественно, как всегда, первой гибла бумага. Превращались в пепел духовные и договорные грамоты, следственные дела и купчие крепости, записи о разделе имущества и приказы о ссылках и казнях. Исчезли и списки опричных служилых людей.

Значит, ключ утерян и нельзя выяснить, кто входил в состав опричнины? Читатель уже, конечно, догадался, что это не так, иначе вряд ли была бы написана эта статья. Автор был четвертым историком, пытавшимся установить состав Опричного двора Ивана Грозного.

В опубликованной перед самым началом войны работе о социальном составе опричнины Г. Н. Бибилов писал, что ему удалось составить список опричников⁵. Г. Н. Бибилов погиб на фронте, а его список не дошел до наших дней.

Историк Л. М. Сухотин, работавший в Югославии эмигрант, тоже попытал силы на этом поприще: он опубликовал в одном из русских зарубежных журналов составленный им по изданным источникам список опричников⁶. Очень интересный и талантливый историк, Л. М. Сухотин не мог плодотворно работать на чужбине, где, как с горечью писал он в одной из своих статей, даже достать том «Полного собрания русских летописей» — проблема. Это наложило отпечаток и на его список — неполный, со многими ошибками, без всяких дополнительных сведений о лицах, занесенных в него.

Еще один список был составлен покой-

ным академиком Степаном Борисовичем Веселовским. К сожалению, этот список был опубликован только посмертно в его замечательной книге⁷. С. Б. Веселовский не успел довести до конца эту работу, и это сказалось на полноте списка.

Идущему по стопам трех исследователей четвертому всегда легче. Методика выявления опричников была разработана моими предшественниками. Мне приходилось ее только усовершенствовать. В чем же она состоит?

В Русском государстве в XV—XVI веках постоянно велись так называемые разрядные книги. В них записывались все назначения на военные и государственные должности. Например:

«Лета 7067-го⁸ послал государь-царь и великий князь на ливонские немцы зимою царевича Тахтамыша да боярина и воеводу князя Семена Ивановича Микулинского и иных своих бояр и воевод, а были по полком:

В большом полку царевич Тахтамыш да бояре и воеводы князь Семен Иванович Микулинский да Петр Васильевич Морозов...

В передовом полку боярин и воевода князь Василий Семенович Серебряного да воевода Никита Романович Юрьев...»⁹

Разрядные книги и сохранили для нас имена многих опричных воевод. Например, в разрядной записи об одном из походов читаем:

«А в прибавку по вестем велел государь быти на Хотуни воеводам из опришны князю Василью Ивановичю Барбашину да князю Дмитрею княж Михайлову сыну Щербатому.

А с Москвы велел государь итти из опришны боярину и воеводе князю Василью Ивановичю Темкину-Ростовскому да воеводе Петру Васильевичу Зайцову»¹⁰.

Или в другом месте:

«Того ж лета приговорил царь и великий князь з бояры зделати город по колыванской дороге Толщебор. А для береженья были воеводы, как город делали, из земскаго боярин и воевода Иван Петрович Яковлев, из опришны околничей и воевода Василий Иванович Умного-Колычев»¹¹.

Это, впрочем, была только первая и наиболее простая часть работы. А дальше начинались сопоставления всевозможных косвенных источников. Вот упоминаются вместе опричники и люди, о которых мы не знаем, были они опричниками или нет. А в годы опричнины совместная служба



опричников и земских была запрещена. Бывали, правда, и исключения. Что же в этом случае, исключение или записанные вместе с опричниками сами опричники? Мы читаем о приеме иностранных послов в Александровой слободе (ныне г. Александров Владимирской области), в опричной резиденции царя Ивана, в центре опричнины. Вполне вероятно, что те, кто участвовал там в приеме послов, опричники. Но ведь были и профессиональные дипломаты, которые приезжали в слободу только для переговоров. И в то же время сами в опричнину не входили. О ком идет речь в каждом данном случае? Таких ребусов пришлось решить немало.

В опричнину в полном составе вошла семья неких Пивовых. Из них наиболее видным деятелем был Роман Михайлович Пивов, довольно крупный дворянин, который впоследствии стал даже членом боярской думы — высшего органа государственного управления. С. Б. Веселовский писал: «Прямых указаний на службу Романа в опричнине мы не имеем, но это очень вероятно»¹². Для изучения служб опричников я сплошь просматривал в архиве крымские посольские книги¹³ и наткнулся на интересное сообщение. Русский посол в Крым Афанасий Федорович Нагой (кстати, тоже опричник) сообщил в Москву о приезде в Крым из Литвы нагайских мурз, ранее служивших в России. В ответ на вопрос о причинах отъезда из России они сказали: «А от московского деспота государя отъехали для того, что есмь побились с опричниною, с Романом Пивовым о подводах. И Роман-де на нас бил челом. И мы-де от государя, побояся опалы, отъехали к королю»¹⁴.

Вот и появились прямые сведения о службе Романа Пивова в опричнине. Но поразило меня в этом сообщении другое: великолепные всадники, нагайцы были прирожденными воинами, крупной боевой силой. И оказалось, что достаточно было им повздорить с одним из опричников из-за каких-то подвод, чтобы они были вынуждены в страхе бежать во враждебные России государства.

2

Список составлен. В нем двести семьдесят семь человек. Кое-кого я, конечно, пропустил, кто-то был занесен ошибочно. Приблизительно все равно получается около двухсот восьмидесяти человек. Много это или мало? Сколько всего было опричников?

Сведения об этом крайне противоречивы. В указе об учреждении опричнины Иван Грозный распорядился «учинити... у себя в опришнине князей и дворян и детей боярских»¹⁵, дворовых и городских 1000 голов¹⁶.

Итак, тысяча. Но Штаден говорит о том, что жена Ивана Грозного царица Мария Темрюковна, дочь кабардинского князя Темрюка Айдаровича, «подала великому князю совет, чтобы отобрал он для себя из своего народа 500 стрельцов»¹⁷. Вспомним, что и Таубе и Крузе писали о братстве, которое Иван Грозный «составил из пятисот молодых людей». Впрочем, они же рассказывают о том, что только из части уездов Русского государства, в которых жило около 12 тысяч «бояр», «взял он в свою опричнину не свыше 570», то есть, во всяком случае, уже на 70 человек больше¹⁸. Вероятно, как предположил А. А. Зимин, пятьсот стрельцов — это небольшой отряд личных телохранителей, только часть опричников.

Итак, остается одна тысяча человек? Но есть факты, противоречащие этой цифре. Мы знаем, что в шестидесятых годах XVI века было приблизительно 25 тысяч служилых людей. Неужели опричники составляли всего 4 процента?

В разных источниках мы встречаем сведения о больших отрядах опричников.

1500 стрельцов-опричников участвовали в разгроме Новгорода в 1570 году¹⁹, а стрельцы обычно составляли меньшую часть войска.

В 1569 году к пограничной крепости Изборску подошел отряд из 800 человек. Глава отряда крикнул стражу у крепостных ворот:

— Открывай! Я иду из опричнины.

Ворота распахнулись, и... переодетые опричниками польские воины во главе со своим воеводой князем Андреем Полубенским вошли в крепость.

Для нас сейчас в этом рассказе Штадена²⁰ (подтверждающемся другими источниками) важно одно: никто не удивился, что к воротам Изборска подошли сразу 800 опричников. Значит, их было немало.

Но если больше тысячи, то сколько?

Таубе и Крузе сообщают, что для похода на Новгород было мобилизовано все опричное войско — 15 тысяч человек²¹. Кроме феодалов — дворян и детей боярских, в войско входили и их холопы, и стрельцы, и «посошные люди» — крестьяне с подводами. Дворяне составляли обычно около 30 процентов войска. Если это

так, то к концу 1569 года опричников-дворян должно было быть уже около четырех с половиной тысяч человек.

Есть возможность проверить эти цифры. В 1572 году на берегу Оки стояли в ожидании набега крымского хана опричные и земские служилые люди под командованием князя М. И. Воротынского. Сохранился документ, в котором было указано, сколько дворян вышло на службу из каждого уезда. Из опричных уездов там было около 4 тысяч человек²². А ведь не все опричники были отправлены на Оку: часть несла службу в Новгороде, часть отдыхала после зимнего похода на Швецию.

Таким образом, к концу 1569 года количество опричников-дворян выросло с одной до четырех с половиной — пяти тысяч человек, с четырех до восемнадцати-двадцати процентов всего господствующего класса.

Итак, мы знаем из 5 тысяч всего-навсего 277 опричников. На первый взгляд слишком мало, чтобы делать какие бы то ни было выводы. Но это не так. Ведь рядовые опричники были по своему происхождению и социальному положению одинаковы с рядовыми служилыми людьми из земщины. И те и другие были обычными дворянами. Их состав и сравнивать нет особого смысла.

Иное дело — опричные руководители. В их составе по сравнению с земскими людьми могут быть какие-то отличия. Если бы оказалось, что их нет, это тоже было бы уже достаточно важным фактом.

Те 277 человек, которых мы знаем, — это в основном руководители. Ведь нам известны те, кто сопровождал царя Ивана Васильевича в походах, воеводы, руководители небольших отрядов — головы, наиболее приближенные к царю люди. Те, кто упоминался в документах, — это уже не рядовые люди.

3

Недолго существовала опричина — всего семь лет. Но сколько изменений в ее политике произошло за этот короткий срок! Из тех опричных руководителей, которые стояли у ее колыбели, основывали ее, мало кто дожил до ее отмены.

«Того же году, попусциением божиим за грехи наши, възъярися царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси на все православное християнство по злых людей совету: Василия Михайлова Юрьева да Олексея Басманова и иных таких же, учи-

ниша опришнину» — так записал современник-летописец сведения об учреждении опричины²³. Василий Михайлович Юрьев, двоюродный брат первой жены царя царицы Анастасии, сам в опричнину как будто не вошел²⁴. Опричником стал его сын — Протасий Васильевич, казненный через три года после отмены опричины, в 1575 году²⁵.

Второй «из злых людей» — Олексей Басманов — Алексей Данилович Плещеев-Басманов — выходец из старинного московского боярского рода, еще его далекие предки служили московским князьям. Опытный и талантливый воевода, отразивший вместе со своим сыном, любимцем Ивана Грозного, Федором набег крымского хана на Рязань перед самым учреждением опричины, Алексей Басманов погиб при таинственных обстоятельствах около 1569—1570 годов.

Разное говорили о его конце. Курбский рассказывал, что по приказу Ивана Грозного он был зарезан собственным сыном Федором, который тоже не избежал смерти от рук палача. Потомки Басмановых в начале XVII века говорили об этом несколько иначе и, пожалуй, более спокойно и правдоподобно. Они утверждали, что оба, и отец и сын, были сосланы на Белозеро, и там их «не стало в опале».

Те, кто стоял в начале опричины у власти, — это был довольно тесный, сплоченный кружок родственников двух первых жен Ивана Грозного — Анастасии Романовны Захарьиной-Юрьевой и Марии Темрюковны Черкасской. На сестре Анастасии был женат князь Василий Андреевич Сицкий, один из опричных бояр — членов опричной боярской думы. Сицкий пережил опричнину и погиб через шесть лет после ее отмены в бою под ливонским городом Венденом. Но около 1570 года, как раз тогда, когда были казнены Басмановы, в опале, хотя и кратковременной, был и Сицкий. Кстати, Басмановы тоже были с ними в свойстве: Федор Алексеевич был женат на дочери Сицкого, то есть на племяннице царицы Анастасии.

Уже упоминалось, что иностранцы идею опричины приписывали второй жене Ивана Грозного — Марии Темрюковне Черкасской. Вместе с нею, с княжкою Кученей, «во святом крещении Марией», приехал и брат Салнук, или Салтан Мурза, ставший после крещения князем Михаилом Темрюковичем Черкасским.

Царский шурин быстро разобрался в придворной обстановке и породнился с семьей

покойной царицы, женившись на дочери Василия Михайловича Юрьева. Так объединились родственники двух цариц.

Михайло Темрюкович стал одним из самых известных и крупных опричных воевод. Еще более значительным было его место в боярской думе. Сын владетельного государя, не столько вассала, сколько союзника Ивана IV, он не мог без урона для своей чести и достоинства оказаться в числе московских бояр. Однако он регулярно участвовал в заседаниях опричной боярской думы. Только перечисляют его обычно не вместе с боярами, а перед ними.

Брат государыни Михайло Темрюкович получил огромные вотчины, почти целый уезд вокруг города Гороховца. Власть его была исключительно велика. Лет через пятнадцать-семнадцать после его смерти крестьяне одного из суждальских сел говорили, что «князь Михайло Темрюкович Черкасской тогда был человек великой и временной (то есть временщик. — В. К.) и управы было на него добиться немочно»²⁶.

6 сентября 1569 года царица Мария Темрюковна внезапно умерла. Сведения о ее смерти крайне противоречивы. Одни источники обвиняют в ее смерти царя, царь говорил, что ее отравили изменники. Возможно, она умерла просто своей смертью. Ведь тогда уровень медицины был таков, что любая болезнь могла привести к трагическому концу.

Михайло Темрюкович всего на два без малого года пережил свою сестру. Первым мрачным актом опалы была казнь его молодой жены вместе с шестимесячным сыном. Но даже после этого весной 1571 года царь назначает князя Михайла главнокомандующим опричными войсками, стоявшими на берегу Оки для отражения предполагавшегося набега крымского хана. Однако уже в июне 1571 года, когда московский гонец Севрюк Клавшов отправлялся в Крым с царскими грамотами, ему были даны специальные инструкции, что отвечать на вопросы о судьбе царского шурина:

«А нечто хто вспросит Севрюка про князя Михайла Черкаского, где ныне князь Михайло, и Севрюку говорити: князь Михайло Черкасской был в полку с царевыми и великого князя воеводами и в царев приход²⁷ ехал из полку в полк и изгиб безвестно. И ныне ведома про него нет, где изгиб.

А хто молвит, что его царь и великий князь велел убить, и Севрюку говорити:

то говорят ложно, не ведая, а государь его убить не веливал. За что государю его убить?»²⁸.

Обычно Иван Грозный не отрицал своих казней, а, напротив, говорил, что «таких собак везде вешают». В деле же Михайла Темрюковича царь пытался создать впечатление, что его жертва ни в чем не виновата. Дело объяснялось тем, что казнь кабардинского князя поставила бы под угрозу положение России на Северном Кавказе. Прежний сторонник и союзник Ивана Грозного кабардино-черкесский князь Темрюк Айдарович, естественно, не был склонен после казни сына поддерживать добрососедские отношения с его палачом. Темрюк переходит от вражды к союзу с Крымом: на будущий год он принимает участие в походе крымского хана на Россию.

Наш рассказ об опричных руководителях первой поры был бы неполон, если бы мы не остановились еще на одной из самых колоритных фигур — на князе Афанасии Ивановиче Долгом-Вяземском. До тех пор, пока были известны только немногие отдельные руководители опричнины, главным образом палачи, Афанасий Вяземский был единственным известным широкой публике опричником с княжеским титулом.

«Один только и есть там (в опричнине. — В. К.) высокого рода, князь Афанасий Вяземский. Опозорил он и себя, и нас всех, окаянный!» — говорит герой романа А. К. Толстого «Князь Серебряный» знатный боярин Дружина Андреевич Морозов. На самом же деле между богатым и знатным родом Морозовых и расплывшимся и захудавшим родом Вяземских князей была целая пропасть. Морозовы на воеводствах, наместничествах, в думе. Вяземские не бывали даже, как тогда говорили, в «именных посылках», то есть не получали назначений лично, а в составе большой группы служилых людей. Тем, что впоследствии Вяземские считались одним из самых знатных княжеских родов, они были обязаны опричнине. «Искони... Вяземские князи люди городовые²⁹, а объявились только в опришные годы, в кою пору князь Офонасий Долгой-Вяземской посягал на крестьянскую³⁰ кровь», — говорил в XVII веке один из местничавшихся с Вяземскими служилых людей³¹.

В первые годы опричнины Вяземский был в числе самых близких к Ивану IV людей. Известно, например, что подозревавший всюду отраву царь только из

рук князя Афанасия принимал лекарство. Шлихтинг — немец, находившийся в плену в России, писал о Вяземском как о «ближайшем советнике тирана» и о «человеке большого влияния и очень любимом тираном»³². Штаден называет его в числе четырех крупнейших опричников, руководителей опричнины.

Вместе с Афанасием Ивановичем в опричнину вошло по меньшей мере семеро Вяземских.

Карьера Вяземского оборвалась тогда же, когда и карьера Басмановых, — летом 1570 года. Это было связано со знаменитым новгородским делом. О нем стоит сказать подробнее.

Летом или осенью 1569 года Иван Грозный получил какие-то сведения о том, что Новгород Великий «изменил» государю и вступил в сношения с польско-литовским королем и (еще страшнее) — с двоюродным братом царя князем Владимиром Андреевичем Старицким. Этим доносам очень хотелось поверить: Новгород давно был под подозрением у царя. И воспоминания о независимости — меньше ста лет прошло с того дня, как вечевой колокол был увезен из Новгорода, — и близость к основным соперникам царя Ивана в династической борьбе — старицким князьям, и торговые связи с Западной Европой — все настораживало, казалось опасным.

В декабре царь выступил в поход. Впереди шел отряд в 300 опричников во главе с Василием Зюзиним: он должен был истребить все живое на своем пути, чтобы к Новгороду опричники подошли внезапно. Казни в Твери, в Медне, в других городах отмечали путь воинства царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси.

6 января царь подошел к Новгороду. Новгородцы надолго запомнили трагические события этих дней. И через две сотни лет среди горожан ходили рассказы «О приходе царя и великого князя Иоанна Васильевича всея России самодержца, како казнил Великий Новъград, еже оприщина и розгром именуется»³³.

Новгородские летописи повествуют, как встречавший царя архиепископ Пимен хотел благословить его по обычаю на мосту через Волхов, но «государь ко кресту не пошел».

— Ты убо, злочестиве имеши в руке своей не крест животворящий, но вместо креста оружие, и сим убо оружием и зломыслием своим и с своими... единомысленики, града сего жители, хотите нашей

царской державы отчину нашу Великий Новъград предати иноплеменником, королю Польскому Жигимонту Аугусту; отселе убо впредь не наречешися пастырь..., но волк и хищник и губитель...³⁴

Собравшаяся толпа новгородцев с удивлением смотрела на эту сцену и с еще большим удивлением видела, как после этих «яростных слов» царь проследовал «ко архиепископу Пимину в столовую палату хлеба ясти со всеми воинскими полки и людьми»³⁵. В разгар пира (можно себе представить, с каким чувством Пимен угощал царя и его опричников) раздался зычный голос царя:

— Гойда!

Этот разбойничий клич опричников был сигналом. Гости тут же взяли под стражу хозяев, и начался опричный погром Новгорода.

Без малого шесть недель свирепствовали опричники в городе. По словам автора летописной повести, ежедневно гибло до тысячи человек, иногда даже полторы, «а тот убо день благодарен, коего дни вергнут в воду пятьсот или шестьсот человек»³⁶. Были разграблены лавки и церкви, мастерские и монастыри, дома новгородцев и сокровищница архиепископа.

Погром перекинулся в новгородские пняны. Там не только грабили помещичьи усадьбы. Земли в то время хватало, не хватало рабочих рук. И опричники воспользовались случаем — вывозили в свои имения крестьян.

Афанасий Вяземский был обвинен в том, что выдал новгородцам планы царя, предупредил их об опричном погроме. Обвинителем выступил один из ближайших к Вяземскому людей — царский ловчий³⁷ Григорий Дмитриевич Ловчиков (он, впрочем, тоже не дожид до отмены опричнины). Опричный боярин и оружничий князь Афанасий Иванович Вяземский был забит насмерть палками.

4

Новые люди выдвигаются после новгородского дела к кормилу власти.

Малюта Скуратов, он же Григорий Лукьянович Бельский³⁸, оставивший по себе стойкую славу палача. До 1569—1570 годов он был в тени: командовал небольшими отрядами царских войск, исполнял приговоры о казнях и высылках. После новгородских казней Малюта становится царским временщиком. Конечно, своего любимого ремесла палача

он не оставил. И разнообразными казнями в Новгороде руководил все тот же изобретательный Малюта. «По Малютинские ноугородские посылки³⁹ отдано скончавшихся православных крестьян тысяща четирыста девяност челоовек», — читаем мы в синодике опальных, «убиенных в опричнине», — списке жертв террора, который богомольный царь составил под конец жизни для церковного поминовения⁴⁰.

Рядом с Малютой — целое гнездо его родственников и свойственников. Это его три племянника — Верига Третьяков сын, Григорий Нежданов сын и Богдан Яковлевич. Если первые два ничем особенным не были известны, то Богдан — один из самых видных деятелей XVI — начала XVII веков.

Дядя и племянник были, видно, очень разными людьми. Малюта — человек, конечно, страшный, отталкивающий, был вместе с тем, кажется, бесребренником. Источники почти не сохранили сведений о его земельных владениях. Знаем только об одном сельце приблизительно с тысячей десятин пахотной земли в Переславль-Залесском уезде, которое он отдал в приданое за своей дочкой. После его смерти жена — единственный пока известный случай такого рода в XVI веке! — получила огромную по тем временам пенсию: 400 рублей в год⁴¹. Не означает ли это, что Малюта не оставил после себя ни одной вотчины, никаких средств к существованию? Палач-бесребренник, палач из любви к искусству — что и говорить, злоеющая фигура. Палача-взяточника можно еще подкупить, умалсить; с палачом-фанатиком ничего не поделаешь.

Богдан не был известен своими палаческими подвигами. Не был он и бесребренником. Напротив. В результате опричнины он стал одним из богатейших людей России. В родовой монастырь Бельских — Иосифо-Волоколамский — он сделал огромный денежный вклад — в 500 рублей, а его холопы давали в монастыри вклады большие, чем дворяне, — по 100 и 200 рублей.

В опричнину Богдан Яковлевич попал совсем молодым человеком: впервые он появляется в разрядных книгах в 1570 году в качестве поддатни⁴², но уже через полтора года он рында, а в списке служилых людей 1573 года стоит на восьмом месте — впереди многих знатных и опытных воевод. Думный дворянин (то есть член боярской думы), оружничий (чин еще бо-

лее высокий) — вот этапы карьеры Богдана Яковлевича, который в послеопричные годы заменил своего погибшего в бою дядю в качестве временщика грозного царя.

Это был авантюрист, не жалевший сил для достижения власти. После смерти Ивана Грозного он стремился возвести на престол его младшего сына — малолетнего царевича Дмитрия, погибшего впоследствии в Угличе, и стать при нем правителем государства. При вступлении на престол Бориса Годунова он пытался выставить свою кандидатуру и, наконец, поддержал Лжедмитрия I. От него Богдан и получил чин боярина.

Главным противником Богдана Яковлевича на рубеже XVI и XVII веков был Борис Годунов: его свойственник и тоже опричник. «Зять палача и сам в душе палач», — говорит о Борисе Годунове Василий Шуйский у Пушкина. Действительно, Борис Годунов был женат на дочери Малюты Скуратова Марии Григорьевне. Дочь палача стала царицей всяя Руси. Впрочем, брат самого Василия Шуйского — Дмитрий Иванович был тоже зятем Малюты.

Борис Федорович и его многочисленная родня начиная возвышаться в опричнине приблизительно с 1570 года — тогда же, когда к власти приходит Малюта.

Неизвестно, в каких отношениях были друг с другом Малюта Скуратов и Василий Григорьевич Грязной (точнее, Ильин-Грязной), но они одновременно появляются в опричнине, вместе служат, в один год становятся думными дворянами, вдвоем занимаются палаческим делом.

Происходил Василий Грязной из семьи ростовских архиепископских бояр, в молодости был на службе при дворе двоюродного брата и соперника Ивана Грозного — старичьего князя Владимира Андреевича, а в 1567 году впервые упоминается в разрядных книгах. Как и Малюта, он появился в опричнине окруженный целым гнездом своих ближних и дальних родственников (персонаж «Царской невесты» Григорий Грязной действительно существовал: это Григорий Борисович Грязной, двоюродный брат Василия, спальник Ивана Грозного; впрочем, во всем остальном Л. А. Мей — автор драмы, положенной на музыку Римским-Корсаковым, — более чем далек не только от того, что действительно было, но и от того, что быть могло). Восемь Ильиных — Ильиных-Грязных, Ильиных-Ошаниных и Ильиных-Молчановых служили в опричнине.

Вскоре после отмены опричнины Василий Грязной получил назначение на южную границу тогдашней Руси — на реку Донец. Здесь в одном бою попал он к крымцам. С этим эпизодом связан интереснейший документ — переписка пленного опричника с царем.

В это время в русском плену находился крупный крымский полководец Дивей-мурза. В Крыму, узнав о высоком служебном положении Грязного (не каждый год в плен попадает член боярской думы!), предложили обменять его на Дивея, да к тому же попросили самого пленного написать об этом царю. Иван Васильевич пришел в бешенство. Он отправил Грязному послание, в котором дал волю своему удивительному сарказму, гневной и желчной иронии. Грязной сам виноват в своем пленении: «Ты чаял, что в объезд поехал с собаками за зайцы — ажно крымцы самого тебя в торок ввязали». Нельзя дать в обмен на Василия и Дивея-мурзу: «Ты один свободен будешь, да приехав, по своему увечью лежать станешь, а Дивей, приехав, учнет воевати да несколько сот крестьян⁴³ лутчи тебя пленит». Царь соглашается дать только денежный выкуп за своего бывшего приближенного, да и то это большая милость: «И мы для приближенья твоего тысячи две рублей дадим, а доселева такие по пятидесять рублей бывали»⁴⁴.

На это исполненное язвительности послание Грязной ответил с поразительным для незнатного служилого человека чувством собственного достоинства. Рассказав об обстоятельствах своего пленения, Василий замечает: «Да заец, государь, не укусит ни одное собаки, а яз, холоп твой, над собою укусил шти человек до смерти, а двадцать да дву ранил». Он пишет царю, что «не у браги увечья добыл, ни с печи убился». Ни один упрек царя не остался без ответа.

Любопытно отметить, что, несмотря на резкий ответ царю, несмотря на крайне раздражавшее царя самовольное вмешательство в переговоры русских дипломатов в Крыму, московское правительство не бросило Грязного на произвол судьбы. После пяти лет плена он был в конце концов выкуплен на волю, хотя затем сведения о нем обрываются.

5

Опричный двор по своему составу был чрезвычайно пестрым. Немало было здесь и таких людей, по сравнению с которыми не только Малюта Скуратов и

Василий Грязной, но и Афанасий Вяземский могли считаться «страдниками» и холопами.

Князь Никита Романович Одоевский, шурин Владимира Андреевича Старицкого, владеец целого города Лихвина — части бывшего Новосильско-Одоевского удела, один из знатнейших людей того времени. Курбский писал, что он выставял со своих вотчин тысячи воинов.

Князь Андрей Петрович Хованский, троюродный брат и дворецкий Владимира Андреевича, Гедиминович — потомок великих князей литовских.

Потомки рязанских князей Петр и Семен Данилович Пронские, племянники Владимира Андреевича.

Князь Василий Иванович Темкин — из ростовских князей, бывший воевода и боярин Владимира Андреевича...

Как много их, людей из окружения опального старичьего князя, среди опричников! Как пробрались они, эти находящиеся под постоянным подозрением люди, в святая святых, в «государев удел», в опричнину? Почему, наконец, они появились здесь только после казни Владимира Андреевича (кроме В. И. Темкина, который в 1567 году вернулся из польского плена и был принят в опричнину в награду за «полонное терпение»)? На этот вопрос трудно дать определенный ответ. В свое время Н. П. Павлов-Сильванский предполагал, что Иван Грозный брал в опричнину подозрительных ему бояр, чтобы было легче следить за ними, чтобы они всегда были на глазах.

Можно было бы подумать, что, например, Одоевский или Хованский попали в состав опричнины именно этим путем, но один из Пронских, Петр Данилович, не укладывается в эту схему. Он не просто стал опричником, а после новгородского погрома был назначен наместником опричной части города. А ведь Новгород громили по подозрению в связях с Владимиром Андреевичем. Назначая П. Д. Пронского наместником в Новгород, царь должен был иметь неопровержимые доказательства того, что Петр Данилович, хотя и племянник и бывший боярин Владимира Андреевича, не только не сообщник, а и враг старичьего князя. Этим доказательством могло быть одно — активное участие в расправе над своим родственником и бывшим государем. Вероятно, вся эта группа из ближайшего окружения последнего удельного князя предала его и, спасая жизнь, выдала государю всея Руси.

Опричники казнили родную сестру Н. Р. Одоевского — жену Владимира Андреевича. Ничего, князь Никита служит в опричнине. Опричники казнили тетку князя А. П. Хованского — мать Владимира Андреевича (по одним известиям, ее утопили в Шексне, а по другим — удушили дымом в судной избе). Не беда, князь Андрей служит в опричнине.

Предательство пошло впрок далеко не всем из них. В. И. Темкин, став опричным боярином, усердствовал, как мог. 25 июля 1570 года этот Рюрикович вышел на Красную площадь с топором палача в руках и собственноручно обезглавил по крайней мере четырех человек. Он округлил свои владения, получив часть вотчин казенного руководителя русской внешней политики дьяка Ивана Михайловича Висковатого. Он даже переусердствовал: в начале 1571 года князь Василий Иванович был вынужден отдать многие из своих земель в качестве компенсации отцу безвинно убитого им человека.

Отличился Темкин и раньше — в деле митрополита Филиппа. Когда митрополит публично отказал царю в благословении и обвинил в бессмысленных казнях, в Соловецкий монастырь, где Филипп раньше был игуменом, отправилась специальная комиссия, чтобы собрать материал, компрометирующий смельчака. Возглавлял эту комиссию В. И. Темкин. Действуя щедрыми обещаниями и (вероятно, чаще) угрозами, Темкин и его подручные получили от монахов показания, которые пригодились для того, чтобы свести Филиппа с митрополичьего престола.

Значительно меньше везло князю Василию на военном поприще. Летом 1571 года в Москву пришли сведения о том, что крымский хан Девлет-Гирей идет на Москву. К Серпухову двинулся царь с опричными войсками. Но обогатившиеся в Новгороде опричники не пожелали выйти на службу, «и государь царь и великий князь тогда воротился из Серпухова, потому что с людским соборатца не поспел», — записал составитель разрядных книг⁴⁵. Иван IV отправился в Ростов, а на Оке остался заслон из земских войск и одного опричного полка. Командовал этим полком как раз В. И. Темкин.

Девлет-Гирею удалось обойти заслон. Русские полки едва успели подойти к Москве на один день раньше крымцев. Задачей опричного полка была оборона опричной части города — района современных улиц Герцена, проспекта Кали-

нина, улиц Фрунзе и Кропоткинской до Садового кольца. Однако когда Девлет-Гирей, не вступая в бой и не пытаясь штурмовать Кремль и Китай-город, поджег посад, то в огне погиб и Опричный дворец царя Ивана: полку Темкина не удалось его отстоять. Вскоре после этих событий Василий Иванович Темкин был казнен: его утопили.

Летом 1573 года был обезглавлен и князь Н. Р. Одоевский. Причины его казни остались неизвестными.

6

Еще современники обращали внимание на то, что среди опричников было много иностранцев. Только из известных 277 человек 14 были иностранцами. Мы уже знакомы с самыми видными из них — Генрихом Штаденом, Иоганном Таубе, Элертом Крузе, князем Михайлой Темрюковичем Черкасским. Остальные куда менее интересны. Но нам важна тенденция принимать в опричнину выходцев из-за рубежа. Люди без прочных связей, оторвавшиеся от родной почвы и не прижившиеся еще на чужой, они были наиболее послушными исполнителями воли самодержавного деспота.

Не домысел ли это? Думаю, нет. Ведь, кроме иностранцев, в числе опричников было много русских людей — выходцев из великого княжества Литовского. Разными путями они попали в Литву и вернулись на Русь. Кто жил в Смоленской земле и вместе с ней оказался снова в Русском государстве, кто жил в западных приюках («верховых») княжествах и с ними попал на Русь, кто «выехал на государево имя», у кого дед когда-то бежал в Литву, и внук вернулся на родину. Как и у иностранцев, у них корней здесь не было. Например, смоленских вотчинников после присоединения города к Русскому государству при Василии III как людей подозрительных переселили в центральные области страны. Там, на новом месте, они приживались плохо и даже службу несли по особому списку — «Литвы дворовой». Видимо, поэтому они, как и иностранцы, были готовы на все, лишь бы услужить монарху. Недаром процент таких литовских выходцев среди опричников был в два раза больше, чем у всех служилых людей.

Литовскими выходцами были и князь Афанасий Вяземский, и тот самый Роман Пивов, который «побился о подводах» с

ногайскими мурзами, и его брат Дмитрий Михайлович, ездивший в Соловки вместе с В. И. Темкиным собирать «улики» против митрополита Филиппа. В Литве родился и Василий Григорьевич Зюзин, который командовал передовым полком во время новгородского погрома. Его дед был боярином у последнего тверского князя Миханла Борисовича и вместе с ним бежал в 1485 году за рубеж. Василий Григорьевич повздорил с влиятельным литовским вельможей Евстафием Воловичем и при Василии III вернулся в Россию, получил поместье в Суздальском уезде, куда после падения независимости Твери были переселены его троюродные братья.

Любопытный парадокс: были при тверском дворе два брата. Один бежал в Литву, другой — перешел на службу к победителю, московскому князю. Внуки оставшегося в России какжутся подозрительными, служат в земщине. Внук беглеца — влиятельный опричный палач.

7

Что можно сказать о составе опричнины в целом? Конечно, таких разных людей, как Малюта Скуратов и князь Никита Одоевский, трудно привести к одному знаменателю. Разнообразнейших людей встречаем мы в опричном дворе царя Ивана.

Князь Дмитрий Иванович Хворостинин был одним из лучших русских воевод XVI века. Судя по источникам, он не запятнал себя участием в пытках и казнях. Стоя во главе опричных войск и одерживая победы, он тем самым укреплял в глазах народа авторитет опричнины. Когда в битве на Молодях в 1572 году соединенное опрично-земское войско отражало набег крымского хана Девлет-Гирея, Хворостинин решил успех боя: его отряд оборонял русское передвижное укрепление «гуляй-город»; смелой вылазкой навстречу осаждающим он создал перелом в ходе битвы. Это была не первая победа блестящего военачальника.

Иван Семенович Черемисинов — выходец из старого, но незнатного рода Карауловых — был к началу опричнины уже опытным воеводой и дипломатом. Под Казанью он был еще стрелецким головой, под Астраханью уже воеводой. И не только воеводой: он вел переговоры с последним астраханским ханом Дербыш-Али, а после взятия города остался там наместником.

Одним из первых Черемисинов завязал сношения с кабардинским князем Темрюком и успешно ходил в поход на противника Темрюка — шамхала тарковского. При взятии Полоцка в 1563 году Черемисинов вел успешные переговоры с осажденными.

В опричнине Иван Семенович стал думным дворянином и участником многих боевых операций. Зато его сын Демид прославился на ином, менее почетном поприще. В качестве государева посланника он вывозил из Новгорода в октябре 1570 года церковную казну, выбитую из духовенства. Заодно он использовал свое пребывание в Новгороде, чтобы вывезти в свои вотчины крестьян из владений новгородских помещиков. Значительно разбогатев в годы опричнины, он потом занялся скупкой земель у окрестных вотчинников в своем родном Юрьев-Польском уезде.

Мелкий дворянин из Торжка Иван Головленков занимал в опричнине невысокое положение, но тем не менее сумел «насильством» завладеть чужой вотчиной в Белозерском уезде. Впрочем, сделал он это так неловко, что вынужден был вернуть ее законным владельцам после «отставки» опричнины. Как не повезло опричнику! Больше ни одного такого случая мы не знаем.

Впрочем, Иван Головленков был вообще неудачником. Под конец жизни за какое-то преступление (кто знает, может быть, и за ересь?) он попал в Соловки и сидел там прикованный к стене. И Борис Годунов и Василий Шуйский единодушно подтверждали строгий приказ. Для современников «старец Иосиф Головленков» (Иосифом он стал в монашестве) был настолько значительной фигурой, что даже через полстолетия, в 1652—1653 годах новых узников предписывалось сажать «в тюрьму, где сидел Иван Головленков»⁴⁶. До сих пор башня, где томился бывший опричник, носит название Головленковской. А сегодня мы даже не знаем, за какую вину Головленков провел десятки лет в монастырской тюрьме.

Знатные бояре и отпрыски захудалых провинциальных родов, воеводы и палачи, тюремщики и дипломаты, царские шуты и лихие наездники, русские и немцы, кабардинцы и татары... Трудно разобраться в этом конгломерате. Ясно с первого взгляда одно: даже самые незнатные, самые захудалые — это не «мужичье», привыкшие ходить за плугом, как характеризуют опричников Таубе и Крузе. Вся

опричная верхушка — это феодалы, вотчинники и помещики.

Так почему же Иван IV, создатель опричнины, твердил о страдниках, которых он стал к себе приближать из-за измен бояр? Для того чтобы это понять, посмотрим, как употреблял Иван Грозный термин «страдник». Вот, например:

«А с тобою перелайвайся, и на сем свете того горее и нет, и буде похощь перелайвайся, и ты найди себе такового же страдника, каков еси сам страдник, с ним и перелайвайся»⁴⁷.

Как вы думаете, кому отправлено это послание? Опальному дворянину? Ну хотя бы Курбскому? Никогда не угадаете. Шведскому королю Юхану III. Так как его отец Густав I Ваза был избранным, а не наследственным королем, то Иван Грозный не считал Юхана себе равным.

Понятно, что любой дворянин, не имевший длинного ряда предков княжеской крови, был для царя Ивана страдником. Он и про Алексея Федоровича Адашева, отпрыска богатого рода костромских вотчинников Ольговых, писал, что взял его «от гноища»⁴⁸, то есть из навозной кучи.

По многим показателям я сравнивал родовитость опричных и земских людей. Существенной разницы обнаружить не удалось. Да, за бортом опричнины оста-

лись (кроме Н. Р. Одоевского) все крупнейшие феодальные магнаты XVI века, близкие по положению к удельным князьям. Да, опричники чуть-чуть (но только чуть) худороднее земских. Да, многие из них получали в опричнине такие назначения, на которые не могли раньше рассчитывать их отцы и деды. Но и отцы их и деды служили при государевом дворе. Новый опричный двор формировался на базе старого государева двора, и разница между ними в составе служилых людей была крайне невелика.

Современная наука все дальше отходит от классического представления об опричнине как о политике, направленной против боярства и крупного землевладения. Жизнь оказалась гораздо сложнее этой схемы. Водораздел между сторонниками и противниками центральной власти далеко не всегда проходил по этой, казалось бы, такой ясной линии. Конечно, изучение состава опричного двора не решает само по себе многовекового спора о сущности опричной политики. Но оно заставляет задуматься над вопросом: почему так много бояр было среди тех, кто, по мысли позднейших историков, должен был бороться против бояр?

Впрочем, не в этой статье решать этот сложный вопрос. Ее задача куда скромнее: рассказать, кем были сами опричники.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе. Пер. М. Г. Рогинского. «Русский исторический журнал», кн. 8. Пг., 1922, стр. 36, 38—39.

² Послания Ивана Грозного. Подг. текста Д. С. Лихачева и Я. С. Лурье. М.—Л., 1951, стр. 370.

³ Г. Штаден, О Москве Ивана Грозного. Записки немца-опричника. Пер. И. И. Полосина. Л., 1925, стр. 86.

⁴ Д. Флетчер, О государстве Русском. Спб., 1905, стр. 31.

⁵ Г. Н. Бибииков, К вопросу о социальном составе опричников Ивана Грозного. «Труды Государственного исторического музея», вып. XIV. М., 1941, стр. 5—28.

⁶ Л. М. Сухотин, Списки опричников Грозного. Журнал «Новик», вып. 3. Нью-Йорк, 1940.

⁷ С. Б. Веселовский, Послужные списки опричников. В кн.: С. Б. Веселовский, Исследования по истории опричнины. М., 1963, стр. 200—237.

⁸ По современному летоисчислению — 1559 год.

⁹ Разрядная книга 1475—1598 гг. Подг. текста В. И. Буганова. М., 1966, стр. 175, 176.

¹⁰ Там же, стр. 233.

¹¹ Там же, стр. 235.

¹² С. В. Веселовский, указ. соч., стр. 223.

¹³ В посольские книги записывались все дипломатические документы — отчеты послов и гонцов, протоколы переговоров, инструкции русским дипломатам, дипломатическая переписка и т. п.

¹⁴ Центр. гос. архив древних актов (ЦГАДА), ф. 123. Сношения России с Крымом, кн. 14, л. 5.

¹⁵ Дети боярские — другое название рядовых феодалов, дворян.

¹⁶ Полное собрание русских летописей, т. 29. М., 1966, стр. 344.

¹⁷ Г. Штаден, указ. соч., стр. 85.

¹⁸ Послание И. Таубе и Э. Крузе, стр. 36.

¹⁹ Новгородские летописи. Спб., 1879, стр. 339.

²⁰ Г. Штаден, указ. соч., стр. 94.

²¹ Послание И. Таубе и Э. Крузе, стр. 47—48.

²² В. И. Буганов, Документы о сражении на Молодах в 1572 г. «Исторический архив», 1959, № 4, стр. 174—177.

²³ Пискаревский летописец. Публикация О. А. Яковлевой. Материалы по истории СССР, II. Документы по истории XV—XVII вв. М., 1955, стр. 76.

²⁴ В. М. Юрьев умер своей смертью около 1567 года.

²⁵ Здесь и далее приводятся ссылки только при прямом цитировании. Ссылки на источники и литературу см.: В. Б. Кобрин, Состав Опричного двора Ивана Грозного. «Археографический ежегодник за 1959 год». М., 1960, стр. 16—91.

²⁶ В. И. Корецкий, Борьба крестьян с монастырями в России XVI—начала XVII в. «Вопросы истории религии и атеизма», т. 6. М., 1968, стр. 195.

²⁷ Царев приход — набег крымского хана.

²⁸ ЦГАДА, ф. 123, кн. 13, лл. 448 об. — 449.

²⁹ Городовые дворяне — нижний слой феодалов.

³⁰ То есть христианскую.

³¹ Русский исторический сборник, изд. М. П. Погодиным, т. V. М., 1842, стр. 66.

³² Новое известие о России времен Ивана Грозного. «Сказание» Альберта Шлихтинга. Под ред. А. И. Малеина. Л., 1934, стр. 32.

³³ Новгородские летописи. Спб., 1879, стр. 337.

³⁴ Там же, стр. 340.

³⁵ Там же, стр. 341.

³⁶ Там же, стр. 343.

³⁷ Ловчий — придворный чин распорядителя царской охоты.

³⁸ Малюта не имел ничего общего ни со своими однофамильцами — князьями, ни с ветвью боярского рода Плещеевых.

³⁹ Посылка — поручение.

⁴⁰ «Чтения в обществе истории и древностей российских», кн. 3, 1859, стр. 94.

⁴¹ В списке служилых людей царского двора 1573 года (см.: Д. Н. Альшиц, Новый документ о людях и приказах Опричного двора Ивана Грозного после 1572 года. «Исторический архив», т. IV. М. — Л., 1949) только у троих оклад больший и у одного равный пенсии вдовы Малюты Скуратова. Чтобы представить

себе, что означали эти деньги, можно привести некоторые примеры: от 50 до 400 рублей стоило село с несколькими деревнями, самая лучшая соболя или горностаевая шуба стоила около 20 рублей, на 1 рубль можно было купить около 15 пудов ржи (разумеется, не в голодные годы) или 2—4 пуда масла, 1—2 пуда меда и т. д.

⁴² В походах царя сопровождал почетный конвой рынд; каждый из них нес при торжественных выходах какую-нибудь часть вооружения; одного рынду сопровождало несколько помощников — поддатен. В рынды и поддатни набирали дворянскую молодежь: в рынды — познатнее, в поддатни — похудороднее.

⁴³ Христиан.

⁴⁴ Послания Ивана Грозного. Подг. текста Д. С. Лихачева и Я. С. Лурье. М. — Л., 1951, стр. 193—194.

⁴⁵ Отдел рукописей и старопечатных книг Государственного Исторического музея. Собрание П. И. Щукина, № 496. Разрядная книга, л. 475/505.

⁴⁶ Архив Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР, ф. К. 115, № 55. Архивная опись Соловецкого монастыря, лл. 125 об. — 127.

⁴⁷ Послания Ивана Грозного, стр. 160.

⁴⁸ Там же, стр. 36.

О. Кудрявцева

Памятник Ф. М. Достоевскому



30 июля 1918 года, осуществляя ленинский план монументальной пропаганды, Совет Народных Комиссаров утвердил список выдающихся деятелей, которым предполагалось поставить памятники. Среди них был и Федор Михайлович Достоевский.

Над памятником писателю в течение нескольких лет, еще до Великой Октябрьской революции, работал скульптор С. Д. Меркуров. Теперь он предложил Моссовету готовый памятник, который и был рассмотрен специальной комиссией в составе А. В. Луначарского, В. М. Фриче, Н. Д. Виноградова и принят к постановке.

В день знаменательной годовщины — 7 ноября 1918 года памятник был открыт на Цветном бульваре. Но затем, в 1936 году, в результате реконструкции района он был перенесен в сквер бывшей Мариинской больницы (ныне Института изучения туберкулеза) на Старой Божedomке (теперь улица Достоевского). В настоящее время на территории института находится музей, посвященный жизни и творчеству великого писателя.

О меркуровском памятнике Ф. М. Достоевскому нет специальных работ, нет и высказываний о нем самого скульптора. Попробуем же определить источники творческого интереса Меркурова к писателю. Невольно вспоминаются слова Гёте: для понимания поэта необходимо побывать на его родине.

Родина С. Д. Меркурова — Армения, город Александрополь, ныне Ленинакан, расположенный на границе с Турцией, где на горизонте высятся горы — Арарат, Алагез... Величественные горы, по собственному признанию Меркурова¹, всегда его привлекали, настраивали на философ-

¹ «Записки скульптора». М., 1953, стр. 23.

ский лад. От горных высот мысль шла к вершинам человеческого духа.

«С ранних лет, — пишет Меркуров, — мне свойственна была любовь ко всему яркому, заметному, резко выраженному: красота и уродство, любовь и ненависть, скорбь и радость...»². Притягивала страстность человеческих эмоций в их контрастирующих выражениях. Но интерес к остро выраженному, к резким, катастрофическим диссонансам — разве это не доминирующий интерес Достоевского, стремившегося показать дух человеческий со всеми его высотами и глубинными низвержениями? Думается, что общность интересов к острым проявлениям душевной жизни, близость психологических складов художников и привлекли внимание Меркурова к Достоевскому.

Что еще дали Меркурову, «жителю гор», его родные места?

Александрополь выстроен из вулканического камня, добываемого в горах. Богатство этого камня в окрестностях города вызвало здесь к жизни такую специфическую профессию, как каменотесы. Каменщики, высекавшие из туфа узоры и рельефы на могильных плитах, из поколения в поколение передавали свое мастерство. Они-то и были первыми учителями Меркурова по искусству — резьбе по камню. Безымянные народные мастера Армении добивались в своей работе тонкой передачи внутреннего смысла и тем самым закладывали в восприимчивую душу будущего художника ростки понимания подлинного искусства. Они же внушили ему любовь к материалу, с которым Меркуров будет работать всю жизнь, — к камню.

Стихия народного творчества, втянувшая в себя юного Меркурова, дополнялась для него еще одной художественной струей — это песни, легенды, сказки местных ашуров.

Вот то что как ценный дар вынес Меркуров из родного города. С богатым художественным наследием уходил он в большой мир жизни.

Но профессиональный путь Меркурова определился не сразу. Поначалу его влечет не столь искусство, сколь философия. Интерес, опять-таки внутренне связывающий Меркурова с Достоевским, как с писателем-мыслителем.

Очутившись за границей, в Швейцарии, Меркуров в Цюрихе поступает на философский факультет университета. «Я думал, что изучение великих философов откроет передо мной мудрость жизни, поможет по-

знать ее правду»³. Но прирожденное художественное дарование оказывает свое влияние. Занятия философией вскоре отбрасываются, и Меркуров поступает в Мюнхенскую академию художеств (в 1902 г.). По окончании академии (1905 г.) он уезжает в Париж, Франция предстает перед ним как величайшая собирательница и хранительница культуры. Здесь же он встречается с Роденом⁴. Меркуров не был учеником Родена, но изучение его творчества, личное общение с этим колоссом, по определению Меркурова, раскрывали ему смысл и значение творческих поисков художника⁵. Приближали к пониманию той задачи, которую Роден считал главной для скульптора, — пластически выражать «внутреннюю правду» человека.

В 1909 году Меркуров в России.

В ноябре 1910 года вся Россия была потрясена смертью Толстого. Меркуров в Астапове делает слепки с головы и с рук великого писателя. Вскоре затем начинает работать над статуей «Мысль» и памятником Ф. М. Достоевскому. Работа ведется Меркуровым в его мастерской на Цветном бульваре.

Самое название статуи «Мысль» ведет в ту область философских понятий, которая Меркурову, как мы уже знаем, была близка. Но, кроме того, на замысел художника повлиял и роденковский «Мыслитель», запечатлевшийся со дня открытия памятника в его творческой памяти. Влияние Родена несомненно.

В неопубликованной меркуровской рукописи записаны такие слова: «Я создал «Мысль». Эта скульптура изображает человека, пытавшегося своим умом найти пути, чтобы переделать мир»⁶.

Переход художника от статуи «Мысль» к работе над памятником Достоевскому глубоко ограничен. Та же интеллектуальная

² «Записки скульптора». М., 1953, стр. 14.

³ Там же.

⁴ А. Ромм, Огюст Роден. «Искусство», 1946, стр. 28.

⁵ «Записки...», стр. 94.

⁶ Статуя, изображавшая фигуру задумавшего человека и названная автором «Мысль», была предложена Меркуровым в том же 1918 году Москову и установлена на Трубной площади; по реконструкции района ее перенесли во двор дома Союза писателей (Поварская, ныне ул. Воровского), а в 1952 году, после смерти художника С. Д. Меркурова, поставлена на его могиле на кладбище Новодевичьего монастыря.

сфера, но преломленная в глубоко конкретном психологическом аспекте. Близкие к Меркурову лица (из семейного круга) утверждали, что, замышляя работать над новым своим героем, Меркуров всегда изучал и его биографию, и литературу о нем. Так было и в работе над памятником Достоевскому. Дочь художника (Марина Сергеевна) свидетельствует, что Меркуров исключительно любил Достоевского как писателя, часто наизусть цитировал его, и памятник Меркуров создал не по заказу, а по творческой потребности высказаться. В характере этого высказывания отражен голос определенной эпохи. Для широких общественных кругов XX века имя Достоевского связывалось с трагической полосой его жизни: арестом, крепостью и каторгой.

В памятнике Достоевскому, как увидим, это нашло свое воплощение.

Памятник из гранита, трехметровой высоты, установлен на высоком постаменте. Фигура Достоевского изображена во весь рост. Низко опущена голова, взгляд устремлен вниз, словно в бездонную глубь со страстной напряженностью всматривается писатель.

Впечатление напряженности усиливается вздувшимися мышцами шеи. Крепко, почти судорожно сцеплены пальцы рук. Руки Достоевского... их описывает сотрудница писателя, его корректор... «худые, бледные... с этим желобком вокруг кисти, всегда напоминавшим... цепи и каторгу...»⁷. Не отсюда ли идет та нерешительность жеста, которую А. Ф. Кони, близко наблюдавший Достоевского, отметил как характерную черту?⁸ И сам писатель, утверждавший: «...жеста не имею»⁹. Здесь, на памятнике, эти руки как кольцом замыкают верхнюю часть фигуры, сосредоточивая внимание на главном, что освещает все лицо писателя, его высокий характерный лоб, — напряженность мысли.

На своих черновых рукописях Достоевский любил зарисовывать очертания лбов, словно подчеркивая этим внутреннюю смысловую их значимость — лоб какместилище мыслей.

По мере нашего движения при осмотре памятника выявляются новые моменты, раскрывающие образ. И сразу же разящее впечатление... арестантский халат на фигуре писателя. С обнаженного плеча свисает рукав этого зловещего одеяния.

Острота впечатления смягчается, когда, став спиной к зданию института, мы вдруг ясно почувствуем, что в нашем восприятии наступил какой-то перелом. Что

произошло? Изменилось направление главного авторского удара. На авансцену выдвинулась как бы самая фактура гранита, на котором овальными линиями высечены складки халата. Ничего не прибавляя и не углубляя в главной, доминирующей теме, они высечены совершенно в ином, спокойном ключе. Создается впечатление, что художник увлекся частной, формальной задачей.

Битие живой жизни, на время утраченной, вновь ощущается, когда возвращаешься к исходному месту осмотра. Тогда с особой остротой чувствуешь пылкий взгляд писателя и ясно осознаешь, как все пережитое Достоевским переплавлялось им в мысль.

Чуть сутулится вся фигура, словно подавленная грузом пережитого. И хочется привести проникновенные слова той же сотрудницы Достоевского, не раз и не два наблюдавшей походку писателя по исхоженным им Сенной, Вознесенской, Садовой... «Он шел неторопливо — мерным и некрупным шагом, тяжело переступая с ноги на ногу, как ходят арестанты в ножных кандалах»¹⁰.

То, что памятник вызывает ряд ассоциаций, выходящих за рамки непосредственно увиденного, говорит о том, что в нем воплощена та подлинная внутренняя правда в роденовском понимании, которую Меркуров и стремился выявить.

Памятник поставлен на слишком высокий пьедестал (да еще двойной), его хотелось бы значительно снизить, поставить много ближе к идущим мимо и мимо...

Выходец из Мертвого дома, Достоевский словами своего любимого героя, князя Мышкина, мог бы сказать: «Теперь я к людям иду...»¹¹ Чтобы с проникновением гениального художника-мыслителя поведать им о неизмеримых глубинах человеческих трагедий и о вечно светящемся маяке того неперменного будущего, когда все челове-

⁷ В. В. Т-ва (О. Починковская). Год работы с знаменитым писателем. «Исторический вестник», 1904, № 2, стр. 528.

⁸ А. Ф. Кони, Некрасов и Достоевский по личным воспоминаниям. М., «Красная новь», 1921, стр. 68.

⁹ Письма. ГИЗ, 1930, т. 2, стр. 10.

¹⁰ В. В. Т-ва (О. Починковская). Год работы с знаменитым писателем, стр. 491.

¹¹ Ф. М. Достоевский, Идиот. Полн. собр. худож. произв. в 13 томах. Т. 6, стр. 68.

чество, во всей своей многоликости, будет, по слову Достоевского, «очеловечено».

Здание института, в прошлом Мариинской больницы, оставляет впечатление предельной гармоничности: оно было сооружено в 1803—1805 годах по проекту зодчего Джиларди Джованни Батиста (по московской терминологии — Иван Жиларди).

С 1821 года в больнице работал врачом отец писателя. Его квартира на той же территории. Обширный сад при больнице,

где гуляли больные, был местом прогулок и для мальчика Достоевского. Здесь перед ним вставляли картины человеческого горя и страдания, ранившие душу ребенка и по-своему ее формировавшие. Эти мысли невольно приходят в голову, когда стоишь перед зданием бывшей больницы, в том же саду, где Достоевский когда-то чувствовал себя дома.

Вот почему ясно представляешь, что именно здесь и есть настоящее место для памятника писателю.

Г. Литинский

Тетрадь № 36

1912 год

Заключенному одиночной камеры № 16 третьего корпуса Шлиссельбургской каторжной тюрьмы принесли новую тетрадь для занятий. Он листает еще чистые страницы, прикидывая, на сколько времени хватит их, учитывая свой почти микроскопический почерк.

Очередная тетрадь... Скоро придется расстаться и с нею, как приходилось расставаться со многими другими. А между тем в них запечатлена работа мысли в долгие годы одиночного заключения — конспекты, планы и наброски задуманных работ, выписки из книг, переводы с иностранных языков, занятия статистикой, наконец, поэтические опыты... Да, жаль будет расстаться с тетрадью, но что поделаешь...

Как положено, она пронумерована, прошнурована и скреплена сургучной печатью Шлиссельбургской каторжной тюрьмы. На первом листе старательно оттыснут штампованный текст с соответствующими записями от руки:

«Шл. кат. т.

Вырвавшие листы и уничтожившие их или всю тетрадь и книгу лишаются права навсегда или на некоторое время получать новую тетрадь или книгу для чтения.

Тетрадь выдана май 22 дня 1912 г.,
возвращена... дня 19... г.

Кому выдана — Малашкин Владимир.
№ 36».

Итак, 22 мая 1912 года политический заключенный Владимир Дмитриевич Малашкин получил «сию тетрадь», в которой насчитывалось «сто девяносто (190) листов», как удостоверил своею красивой, но неразборчивой подписью «Помощник начальника Заведывающий корпусом».

Шел шестой год со дня последнего ареста Малашкина. Профессиональный революционер, он большую часть своей сознательной жизни провел в тюрьмах, ссылках, на этапах. В последний раз Владимир Дмитриевич был осужден за участие в покушении на жизнь председателя совета министров и министра внутренних дел П. А. Столыпина, вошедшем в историю как взрыв на Аптекарском острове (где находилась дача царского саграпа) 12 августа 1906 г.¹

Тетрадь № 36 лежит перед нами. С понятным волнением листаешь ее.

Записи почти не датированы. Было ли это запрещено «правилами» или потерял счет дням?.. Впрочем, одна, главная, дата есть — 22 мая 1912 года; правда, она сделана не заключенным. Через год с небольшим тетрадь была отобрана. Дело в том, что состояние здоровья В. Д. Малашкина, давно болевшего туберкулезом, резко ухудшилось. Жена заключенного, Татьяна Николаевна, начала хлопоты о переводе мужа в тюрьму с менее строгим режимом. Долгие хлопоты увенчались успехом: 11 июня 1913 года В. Д. Малашкина перевели в вологодскую тюрьму, где он содержался до марта 1915 года, после чего снова был водворен в Шлиссельбургскую крепость, в ту же самую камеру. Рачительное начальство вернуло заключенному неиспользованную до конца тетрадь № 36, и он стал продолжать делать в ней свои записи.

О чем же они?

На оборотной стороне толстой коленкоревой обложки в виде эпиграфа воспроизведены на языке оригинала строки Уолта Уитмена:

Блуждая мыслью по Вселенной, я видел,
как крупница Добра
Неуклонно растет и стремится
к бессмертию.

¹ Разрозненные записи в тетради позволяют вывести следующую (далеко не полную) таблицу «сидений» В. Д. Малашкина: арест с 7 по 18 октября 1905 года; новый арест с 7 по 18 октября 1906 года; высылка 11 мая в Архангельскую губернию. Этап: Нижний Новгород — Ярославль — Архангельск — Онега. В Онегу прибыл в конце мая, а 6 июня ушел в побег; новый арест 30 октября 1906 года и новый побег; последний арест — 7 ноября 1906 года, этапы, тюремные лазареты (операция в больнице в «Крестах»), тюрьмы — Псковский централ, Шлиссельбург, вологодская тюрьма, опять Шлиссельбург.

На все это ушла почти треть всей жизни: В. Д. Малашкин умер на тридцать восьмом году.

16 и ^{101 Кор} ~~Мамашин~~ 160

~~107~~
Шт Кат Т

~~Владельцы книг и уличающиеся из
них имеют и книгу являются права
на которые на некоторое время получить
по историческим для занятий или книгу для
темени.~~

теградь адана ~~Мамашин~~ 24 дня 1914 г.

возвращена дня 190 г.

Кому адана ~~Мамашин~~ 24 дня 1914 г.

Суворовск 13
65-72

Суворовск 15/12



146.

Всей тмтради ~~проши~~ростана
и проширостана
Это утв.ность ~~длина~~ (190) с шестов

По
Заведующий Корпусом

Индия





Шлиссельбургская тюрьма.

И видел я то огромное, что называется
Злом, которое
Растворялось, исчезало и ггло:
(Перевод Р. Сефа)

И эпиграф, и дальнейшие записи свидетельствуют о том, что Владимир Дмитриевич неуклонно совершенствовался в английском языке. Он избрал метод, рекомендуемый Марией Монтессори, и в соответствии с ним вел свои занятия.

Тетради давались тюремной администрацией не щедро, а главное, лишь в обмен на исписанные, и заключенные старались использовать каждый миллиметр бумаги, чтобы не лишиться своего единственного собеседника и помощника. Остро зачиненным карандашом Владимир Дмитриевич умудрялся втискивать в каждую страничку столько записей, сколько далеко не всякий уместил бы и на трех!

Первые три листа исписаны. Они успели уже побывать в канцелярии у начальства, на них штемпельная пометка: «Просмотре-

но». Тетрадь систематически отбиралась для проверки, и почти все исписанные листы ее снабжены такой пометкой. Эти разлуки с тетрадью, вероятно, затягивались; отбирались они и в виде наказания; конечно, запрещалось их брать в карцер (да и в темных карцерах они были ни к чему), а Владимир Дмитриевич, как и почти все политические заключенные, нередко попадал туда². Протесты, голодовки — все формы борьбы использовали политические заключенные против моральных унижений, за сохранение чувства собственного достоинства.

Но вернемся к тетради.

С оборотной страницы 16-го листа начинается подробный конспект книги Г. Гейманса «Психология женщины» (издание

² Известный историк царской тюрьмы профессор М. Н. Гернет сообщает: «в конце 1912 года на Шлиссельбургской каторге была секретно произведена среди заключенных анкета. Она охватила очень небольшое число узников, а именно, лишь 69 человек, преимущественно политических. Оказалось, что они в общей сложности провели в карцерах 3963 суток. Никто из наказанных не провел в карцерах менее 30 суток. Один просидел в карцерах 247 суток» (см.: М. Н. Гернет, История царской тюрьмы, т. 5, стр. 67).



Т. Н. Малашкина.



В. Д. Малашкин.

Богдановой, Спб., 1911). Вот раздел третий: «Вторичная функция». Здесь автор книги приводит данные анкеты, из которых следует, что утрату любимых людей женщины переносят неизмеримо тяжелее, чем мужчины. Владелец тетради не делает никаких комментариев к тщательно выписываемым им выкладкам ученого, но, конечно же, не может не думать об этом: ведь он осужден на долгие годы, к тому же срок считался не со дня ареста, а со времени суда, который состоялся спустя два года, болезнь же не оставляла надежды дожить до дня окончания срока...

Среди немногих вещей заключенного — фотография его жены, Татьяны Николаевны. Красивая, стройная, печальная женщина в строгом платье. Это старая карточка. Она была с ним еще в «Крестах». Тогда, 29 февраля 1908 года, на обороте ее он написал:

«Величайшее счастье в жизни человека борьбы быть любимым и знать, что в минуты неуверенности и опасности за тебя

бьется верное сердце (Огюст Луи Бланки)».

Верное сердце... Узник думает о близких. О жене и дочери Ольге. Дочери уже двенадцать лет, она ходит в школу, любит читать, и у нее составила целая библиотека, в ней и книги, подаренные им. Среди них сочинения Н. А. Некрасова издания 1913 года, с двумя эпиграфами на шмуц-титule:

И выстраданный стих, пронзительно унылый,
Ударит по сердцам с неведомою силой...

А. Пушкин

Примиритесь же с музой моей!
Я не знаю другого напева.
Кто живет без печали и гнева,
Тот не любит отчизны своей...

Н. Некрасов

Рядом — надпись:

«Родная, любимая моя Дочурка!

Эту книгу по моей просьбе подарила тебе мама в день твоего рождения. Я не мог лично написать на ней, так пусть будет эта бумажка служить этим. Не забудь, родная, что этой книгой было воспитано поколение твоего отца и идея автора глубоко живет в нем. Прочитай ее со вниманием и запечатлей глубоко в своем сердце то добро, которому она учит. Целую мою Лелю. Твой папа.

Вологда, 9 марта (1914 г.).

Штемпель: «Просмотрено».

Штудирование книги Гейманса продолжается. Записи следуют одна за другой — до 28-го листа.

По-видимому, имея в виду еще вернуться к работе над книгой, Владимир Дмитриевич оставляет несколько чистых страниц, а следующую запись начинает с лицевой стороны 50-го листа. Она посвящена таблицам из труда Э. Геккеля «История племенного развития организмов» (1879). Тринадцать страниц этих записей дают отчетливое представление о содержании работы Геккеля.

Затем идут записи по... теории поэзии! Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Занятия поэзией — давняя традиция Шлиссельбурга; ее заложили еще Вера Фигнер и Николай Морозов. Хорей... Ямб... Дактиль... Анапест... Амфибрахий. Примеры... Подсчет слогов... Заметка о предпочтительности доброго старого ямба...

Записи обрываются, но про запас оставляется одна страничка. Перевернем ее. С оборотной стороны 58-го листа идут новые записи, не очень-то поддающиеся расшифровке, тем не менее снабженные пометкой тюремного цензора! Удивляться тут нечему: тетради заключенных дальше полицейских архивов уйти не могли, стоило ли беспокоиться?

Но вот записи, не оставляющие никаких сомнений относительно их крамольного характера. Это длинные списки замученных в царской России писателей. Страшный синодик казненных, предательски убитых, покончивших с собой, арестованных, сосланных, сошедших с ума, безнадежно больных... Рядом другой список: в нем имена самых замечательных русских писателей — от Кантемира до Горького. Таблица содержит данные о продолжительности жизни (или о годе рождения здравствующих) писателей, месте рождения, национальности, сословном и социальном положении, избранном жанре, направлении. В графе «Прочие сведения» то и дело мелькают пометки: «сидел», «был сослан», «убит», «со-

шел с ума», «пьянствовал». Как видно из таблицы, поэты и сатирики, критики и публицисты, особенно прогрессивного направления, умирали рано... Короче, перед нами другой вариант трагического российского синодика, и на нем опять равнодушная пометка «Просмотрено».

Листаем дальше.

«Атомные веса элементов...»

Два стихотворения в прозе И. С. Тургенева — «Порог» и «Русский язык»...

Страничка приходо-расходных записей. Каждые две недели можно было сделать «выписку» в тюремном ларьке — на это уходило от 1 рубля 47 копеек до 4 рублей 41 копейки. Появляются дополнительные расходы — на молоко; видимо, тяжело больному туберкулезом арестанту была сделана такая поблажка.

Запись предписания доктора Внукова...

Список намеченных для прочтения книг по медицине, химии и политической экономике... Другой список — словари, художественная литература, история, география... Список собственных книг — словари, самоучители, в том числе по стенографии... Какие-то из этих книг нужны были для лекций, которые он, как и другие, читал в каторжном «университете» для заключенных, привлекая к занятиям солдат, матросов, рабочих³. Подготовка к этим лекциям была настолько основательной, а знания, полученные от лекций товарищей, были столь фундаментальными, что В. Д. Малашкин, изгнанный из 5-го класса Рязанской гимназии за крамольное поведение, все же с полным правом мог уже после революции в одной анкете на вопрос об образовании смело ответить: «высшее»...

Продолжаю листать тетрадь № 36.

Выписки из различных иностранных словарей...

Наброски стихов, набросок рассказа «Попочке на войну», пронизанный ненавистью к тем, кто развязал страшную бойню, — отзвуки этой войны проникли даже сквозь толстые стены казематов.

В рассказе описывается вечер в семье, глава которой «был взят и ушел далеко-далеко, неведомо куда с тысячами других людей проливать свою кровь». Мать рассказывает детям — двенадцатилетней девочке и шестилетнему бутузу — об отце. Под впечатлением от рассказа девочка решает написать письмо отцу. На конверте

³ М. Н. Гернет. История царской тюрьмы, т. 5, стр. 197.

она пишет: «Папочке на войну». Случай этот попадает в газеты, и на фронте какой-то «толстый, рыжий ротмистр» грубо потешается над наивным ребенком. Этот смех больно задевает прапорщика запаса Борщова. «Дураки, чего они смеются? — думает он. — Вот так, может, и моя дочурка пишет... Как ты ждешь там своего папочку, а он благодаря бессмысленной злобе людей погибает здесь, чуждый всему окружающему».

Рассказ кончается описанием гибели прапорщика Борщова. Он долго лежит на поле сражения в ожидании помощи. Наконец появляется санитар и сестры милосердия.

«— Он что-то говорит... — Сестра милосердия нагнулась над умирающим...»

— Соня, это ты, а? Дочка моя дорогая... «Папочке на войну»... — шептал Борщов.

— Он что-то говорит... «Папочке на войну», — сказала она вполголоса санитару.

— Семейный, должно, — ответил тот равнодушно...

Надо особо выделить скорбную запись на обороте 188-го листа. Это список однодельцев Владимира Дмитриевича. Пять из них были осуждены на 15 лет заключения, три — на 12, одиннадцать (в том числе и он сам) — на 10, пять — на 8, другие пять — на 6, один — на 5 лет, четверо — на меньшие сроки и поселение, пятеро оправданы. Против каждого имени — пометка о том, в какой тюрьме одноделец отбывает свой срок. Любопытна запись: «№ 789. Николай». По-видимому, этот революционер не счел возможным сообщить суду свою фамилию, и так под номером остался в неволе. Вполне возможно, однако, что за прошедшие годы начальство дозналось об его имени, но для Малашкина он остался зашифрованным под № 789...

Большое место в тетради отведено переводу рассказа В. Коллинза «Слепая любовь». По переводу можно судить о том, что занятия английским языком шли успешно: текст пишется набело, почти без поправок, только в некоторых местах переводчик делает поправки стилистического характера...

На 82-м листе перевод обрывается... Уже было не до него!

Читатель, вероятно, обратил внимание, что в штемпельном тексте на первой странице тетради В. Д. Малашкина осталась незаполненной строка относительно времени возвращения им тетради. Дело в том, что на этот раз Малашкин свою тетрадь не вернул! Произошла революция, и пер-

вым актом восставшего народа было освобождение политзаключенных⁴. Покидая тюрьму, В. Д. Малашкин забрал с собой тетрадь, которая помогала ему скрашивать тяжесть каторжного режима «Русской Бастилии». Захватил он также и кандалы. На одном из сохранившихся снимков мы видим его с товарищами уже после освобождения в прогулочном дворе с кандалами в руках...

Начались бурные революционные дни, и теперь некогда было думать о записной книжке. Однако не прошло и двух лет, как Владимир Дмитриевич вспомнил о ней. Из Шлиссельбургской крепости он вышел тяжелобольным человеком, почти в последнем градусе чахотки. Родные и друзья настояли на его переезде в Крым. Он избрал Феодосию.

Летом 1919 года тяжелобольного революционера поместили в санаторий на Карадаге. И здесь-то Владимир Дмитриевич развернул свою старую тюремную тетрадь и сделал в ней следующую запись:

«Воспоминания. Сегодня — 16 июня н/стиля. Живу на Карадаге, а может, доживаю последние дни...»

Оборвав на этом запись, Владимир Дмитриевич не оставил мысли записать свои воспоминания. В июле того же года, в том же санатории, он засел за воспоминания, но закончить их не смог.

Владимир Дмитриевич Малашкин умер 20 ноября 1920 года.

Тетрадь досталась дочери В. Д. Малашкина — Ольге Владимировне. И глубоко символично, что она вписала туда, в тетрадь шлиссельбуржца, стихи комсомольца Оскара Тарханова — руководителя Крымского комсомольского подполья, а впоследствии секретаря ЦК РКСМ.

Но когда на скрипящей веревке
Я закачаюсь в выси,
Я увижу не сталь винтовки,
А облик моей Руси, —

писал комсомолец-подпольщик, готовый принять смерть во имя счастья народа и Родины.

У этой тюремной тетради было свое достойное продолжение.

⁴ В. Д. Малашкин был освобожден одним из первых. См.: Мельников, Последние дни Шлиссельбурга. «Наука и жизнь», 1966, № 5.

В. С. Оголевец

Неизвестное письмо

Л. Н. Толстого

В томе 90-м Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого (ГИХЛ, М. — Л., 1958) стр. 84 и далее приведен «Список писем и деловых бумаг Л. Н. Толстого, текст которых неизвестен». На странице 92 значится адресат: «Женжурист Л. А., 1893, февраля 20».

Живя в Полтаве, пишущий эти строки лично знал адресата, Лидию Александровну (1870—1943). Дочь видного революционного народника Александра Ивановича Макова, семья которого в 70—80-е годы прошлого столетия жила в Москве, а впоследствии была административно выслана в г. Ялуторовск Тобольской губернии, Лидия Александровна была замужем за участником народнического революционного движения Иваном Мироновичем Женжуристом (1863—1921). В начале 90-х годов Женжуристы жили в Полтаве, где встречались с местными толстовцами — Клобским, АLEXИНЫМ, ЛЕОНТЬЕВЫМ.

В настоящее время обнаружены еще не опубликованные мемуары Лидии Александровны, которая, рассказывая подробности знакомства с толстовцем А. Н. Леонтьевым, пишет:

«Прямо из Пажеского корпуса ушел он в новую жизнь. Он находил ее для себя там, где этой жизни не хватало, где в ней нуждались [...] Он появился у нас как-то вдруг и остался, должно быть почувствовав, что здесь он нужен. Подошел с какой-то братской, проникновенной мягкостью, и без одного слова с моей стороны разглядел мятущуюся душу, и поделился своими наблюдениями с «любимым старцем», как он называл Л. Н. Толстого.

В ответ получила я дивное письмо от Л[ьва] Н[иколаевича], в котором он тепло, ласково звал меня к себе в Ясную Поляну «пожить, сколько проживется». «Будем вместе работать по устройству столовых, вме-

сте читать, гулять, разговаривать, спорить, и я уверен, что среди спокойной природы, в общении со мною и чистым, светлым Анатолием Николаевичем Вы снова обретете себя и свое место в жизни».

Мемуаристка не приводит полного текста письма Л. Н. Толстого, которое она получила от великого писателя, но его содержание и внутренний смысл передает достаточно ясно, часть же письма, взятую в кавычки, она приводит дословно. Думаю, что эта небольшая находка должна заинтересовать как читателей, так и исследователей литературного наследия великого писателя.

С. Левина

Книга-эстафета

Тонкая брошюра на первый взгляд кажется просто тетрадкой: в ней всего восемь страниц, исписанных старательным ученическим почерком. Только прямоугольный штамп с надписью «Книжная агентура Нар. Воли» настораживает: внимательно присмотревшись, мы убеждаемся, что перед нами не рукопись, а литографированный текст. В заглавии одно слово — «Некролог», а далее в первой строчке имя: Константин Гаврилович Неустров. О его жизни и трагической гибели рассказано в брошюре.

На последнем курсе Петербургского университета Неустров увлекся народническими идеями, но участвовать в революционном движении стал уже после окончания университета, в 1881 году, когда получил

место учителя гимназии в Иркутске. Он связался с политическими ссыльными, мечтал помогать им в организации побегов, но успел сделать очень мало — в октябре 1882 года был арестован.

Потянулись долгие месяцы тюремного заключения, гнет администрации, грубость надзирателей. Неустроев систематически протестовал против насилия. Товарищам он говорил, что, если протесты не подействуют, он даст пощечину кому-либо из высших чиновников. Ему не верили, зная мягкость его характера. Но мягкий характер сочетался с развитым чувством собственного достоинства, с мужеством и решимостью.

Через год после ареста Неустроева тюрьму посетил иркутский генерал-губернатор Анучин, жестоко преследовавший ссыльных революционеров. Когда он обратился к Неустроеву с «увещаниями» и упреками, молодой человек его ударил. Немедленно был назначен военно-полевой суд. Приговор был предпринят заранее. 9 ноября 1883 года Неустроев был расстрелян.

Казнен был не видный деятель революционного движения, а молодой человек, которого успели узнать и полюбить только немногочисленные его ученики. Но пощечина, данная сибирскому сатрапу, была одним из эпизодов той борьбы за человеческое достоинство, которую вели революционеры и в казематах Шлиссельбурга, и в далекой Якутии, и на карийской каторге — везде, где царское правительство истязало своих пленных врагов. В этой борьбе, как впоследствии писала в ленинской «Заре» Вера Засулич, «главным оружием борцов была смерть — не смерть врагов, а своя собственная»¹.

И смерть Неустроева стала его моральной победой. Анучина на улицах Иркутска преследовали криками «Убийца!». Царь вынужден был отослать его «в отпуск», которого сам Анучин не просил.

Судьба Неустроева стала известна далеко за пределами Сибири. В предсмертном письме, которое ему удалось передать, он писал: «Муки мои, дойдут ли они до вас? Братья! Простите мои слабости; не всякому дано. Я был простой работник, но не изменил святыне знамени. Я верю ему, знаю, победоносно водрузится оно!»

Предсмертные слова юноши дошли по адресу. Уже в начале 1884 года в Петербурге народолюбцы напечатали на гектографе письмо Неустроева. В сентябре того же года оно было перепечатано в № 10 нелегальной газеты «Народная воля». А в январе 1885 года «Некролог» К. Г. Неустрое-

ву, написанный его товарищем по камере Л. П. Булановым, был напечатан в Женеве в «Вестнике Народной воли»².

Революционная литература, выходившая за рубежом, доставлялась в Россию с огромными трудностями. Поэтому революционеры стремились всеми доступными способами размножить полученные издания. С начала 1886 года жандармам при обысках стала попадаться литографированная брошюра «Некролог К. Г. Неустроева». Уже прошло более двух лет со дня его гибели, но это событие не потеряло еще своей злободневности и остроты; на примере Неустроева учились мужеству новые борцы революции.

На одном из немногих сохранившихся экземпляров «Некролога» (он находится в Библиотеке института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС) можно прочесть карандашную пометку: «По дознанию о Зарудном, Терешковиче и др. Из вещественных доказательств Сергея Зарудного. Протокол осмотра № 1, по описи № 22». Надпись, сделанная более 80 лет назад рукой жандарма, рассказывает нам об одном из тех, кто принял от товарищей брошюру как эстафету революционной борьбы.

Сергею Зарудному в 1886 году было 20 лет. Сын царского сенатора, известного деятеля судебной реформы 60-х годов, он учился на первом курсе Петровской (теперь Тимирязевской) сельскохозяйственной академии в Москве. Он вступил в народолюбческий кружок. По поручению товарищей ездил в Харьков, в Петербург, устанавливал связи. В январе 1887 года он в Петербурге познакомился с членами кружка, которые в это время готовили покушение на Александра III. Когда был арестован А. И. Ульянов, у него нашли адрес Зарудного. За связь с первоапрельцами Зарудный был сослан в Сибирь. А далее вся его короткая жизнь (он умер от туберкулеза в 1898 году) — непрерывный ряд арестов, ссылок, «дознаний». Зарудный вступил в борьбу с царизмом в годы мрачной реакции, когда русские революционеры еще не овладели передовой марксистской теорией. Он и его товарищи не нашли правильного пути и средств борьбы. Но борьба не прекращалась, и в этом был залог будущей победы.

¹ В. И. Засулич, Борьба в тюрьме. «Заря», 1901, № 1, стр. 183.

² Некролог не подписан. Об авторстве Л. П. Буланова см.: Кузьмин Д. Народолюбческая журналистика. М., 1930, стр. 181.



Е. Гибет

Пугачевская легенда на Урале

В конце 80-х годов, работая в Нижегородской архивной комиссии, В. Г. Короленко нашел интересный материал о Пугачевском восстании. Возник замысел написать историческую повесть «Набеглый царь». Были написаны только пролог, вчерне первая глава и, по выражению писателя, отдельные «мотивы».

Найденный материал Короленко использовал в очерках «У казаков» и в «Пугачевской легенде на Урале», которая должна была стать четвертой главой в очерках «У казаков». Эти работы вошли в Полное посмертное собрание сочинений Короленко 1922—1929 годов, а так-

же в последующие собрания его сочинений. Материалы под заголовком «Работа над исторической повестью «Набеглый царь» опубликованы в «Записных книжках (1880—1900)» Короленко в 1935 году.

Интересные сведения о Пугачевском движении содержат и письма Короленко (Избранные письма в III томах: I том. Путешествия 1887—1903 гг., и том III). Так, письмо Короленко из Уральска от 28 августа 1900 года к жене — это конспект отдельных картин.

В Отделе рукописей Библиотеки имени В. И. Ленина хранятся сверстанные и переплетенные листы очерков «У казаков (Из летней поездки на Урал)» с дарственной надписью: «Василию Андреевичу Шапову на добрую память о Вл. Короленко и о ночлеге летнею ночью на сырту». Возможно, что Короленко думал издать очерки отдельной книгой, с иллюстрациями. Подписи под рисунками сделаны рукою В. А. Шапова — отставного казачьего офицера, с которым Короленко встречался во время своей поездки в область Уральского войска в 1900 году.

«Пугачевская легенда» была написана годом раньше очерков «У казаков». Коро-



ленко считал «Пугачевскую легенду» лучшей своей главой. Когда очерки «У казаков (Из летней поездки на Урал)» были уже сверстаны в журнале «Русское богатство» (вышли в 1901 году в 10—12 книгах), Короленко вынул из них «Пугачевскую легенду», возможно, хотел включить ее в повесть «Набеглый царь». И только в 1918 году отдал ее в «Голос минувшего». Но легенда вышла лишь после смерти писателя, в 1922 году, в октябрьской книге этого журнала.

Записные книжки, опубликованные и неопубликованные, которые вел Короленко более 40 лет, — это исходный материал в исследовании той или иной темы писателя. В не опубликованных полностью записных книжках 1900 года находим материалы, связанные с историей создания произведений о Пугачевском восстании. Записные книжки заполнены местными наречиями, говорами, поговорками, пословицами. Тут мы встречаем сведения о киргизских ханах, отдельные слова и выражения, песню «Будем биться со врагами», вошедшую в опубликованный текст. Сравнивая отдельные отрывки, наброски, варианты с опубликованными текстами о Пугачевском восста-

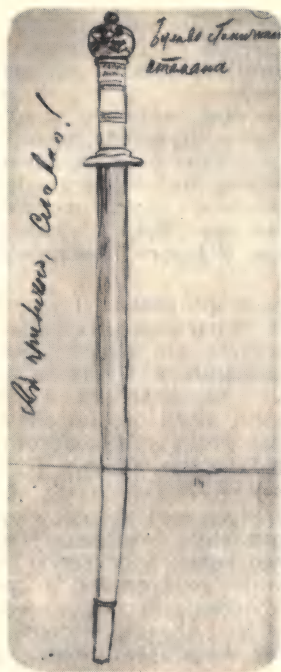
нии, можно установить интересные разночтения.

В записных книжках много рисунков Короленко. В книжке 1900 года¹, с вытисненным на верхней обложке словом Album, с надписью на второй крышке рукою Короленко «Урал», есть рисунок булавы станичного атамана, записи разговоров и наблюдений во время путешествий по Уралу. В записной книжке 1881 года — рисунок «На станке на Лене», «Крестовская» и другие.

По записным книжкам можно проследить, что читал Короленко из исторических сочинений о Пугачевском восстании. В библиотеке писателя хранятся три тома Н. Дубравина «Пугачев и его сообщники» (Спб., 1884). Материалами к теме о Пугачевском восстании служили также опубликованные работы казака И. И. Железнова.

В неопубликованных редакторских книжках Короленко, где он в основном записывал рукописи, поступавшие в редакцию «Русского богатства» и лично к нему на пом. аннотировал и давал короткие от-

¹ Отдел рукописей Библиотеки имени В. И. Ленина. Ф. 135. 9. 498. В дальнейшем указывается только шифр.



звыи на присланные материалы, встречаются его замечания об очерках, посвященных Уралу. «Уральцы в Туркест[анском] крае». Сандра. Интересный очерк об «уходцах» и беспор[ядках] на Урале 1874 г. Принято. Передано Н. Ф. Анненскому 4 дек. 1904»². Очерки были опубликованы в шестом номере «Русского богатства» за 1905 год. «Уходцы» — участники Пугачевского восстания 1773 года, отказавшиеся дать «подписку» о повиновении.

В редакторских книгах нашла отражение и «жгучая духовная жажда» казаков в поисках сказочной страны Беловодие. Читаем: «Ночлег» Симона Федоровича Савино-Бельского. Очень недурной эскиз: в кр[естья]нской хате тоска, грязь, раздор и — мечты о Белых водах». На полях: «Принято»³.

В Отделе рукописей Института русской литературы (Пушкинский дом) в Ленинграде хранится автограф предисловия Короленко к книге Г. Т. Хохлова «Путешествие уральских казаков в «Беловодское царство», написанного 25 мая 1903 года» и корректура книги с небольшой правкой Короленко. В Отделе рукописей Библиотеки имени В. И. Ленина в Москве имеется ав-

тограф Г. Т. Хохлова с исправлениями Короленко.

В архиве Короленко хранятся выписки из книги М. И. Пыльева «Старая Москва» с подробностями казни Пугачева, состоявшейся 16 января 1775 года в Москве на Болоте. Сколько мощи в этом могучем человеке, как страшен был он для царей, это видно даже в зарисовках врагов восстания. За живого Пугачева была обещана плата в 500 рублей, за мертвого — 250.

В «жестокий мороз... на высоте лобного места или эшафота стояли палачи... все кровли были усеяны зрителями; любопытные даже стояли на козлах и запятках карет и колясок. Вокруг все всколебалось и с шумом заговорило: «Везут, везут!»

Вскоре появился отряд кирасир, за ним необыкновенной высоты сани, и в них сидел Пугачев; он держал в руках две толстые зажженные свечи из желтого воска, который от движения, оплывая, залеплял ему руки; напротив его сидел священник в ризе с крестом и еще секретарь тайной экспедиции; за санями следовал отряд конницы. Пугачев был с непокрытой головой и кланялся на обе стороны... «Прости, народ православный...»

С ним был его любимец Перфильев⁴. Исследователи интересовали сподвижники Пугачева. В 1891 году Короленко ездил в Уфу, разыскивал места, где был лагерь Чики (Зарубина) Ивана Никифоровича — яицкого казака, члена пугачевской военной коллегии, получившего от Пугачева титул «графа Чернышева». Им, как и другими соратниками Пугачева, он продолжал интересоваться и спустя много лет, о чем свидетельствует неопубликованное письмо к Н. А. Гурвичу от 12 января 1904 года⁵.

«Милостивый государь

Николай Александрович.

От Петра Ив[ановича] Добротворского я узнал, что Вы заняты работой о пугачевцах. В таком случае, без сомнения, Вам известно содержание двух дел о пугачевцах, которые, говорят, сохранились в уфимском

² Ф. 135. 1331, III, стр. 59.

³ Ф. 135. 1330, II, стр. 79.

⁴ Ф. 135. II. 630.

⁵ Ф. 135. II. 14, лл. 111—112.

Н. А. Гурвич — врач, статистик, сотрудник Русского Императорского общества, жил в Уфе. Он сообщил Короленко, что в «Уфимском архиве никогда не было существенных материалов, да и те профильтрованы и пропечатаны».

П. И. Добротворский — писатель и публицист.

архиве. Был бы очень признателен Вам, если бы Вы нашли возможным сообщить мне, что собственно заключается в этих делах, есть ли в них указания, характерные для Чики-Зарубина и его сподвижников, а также нет ли чего о Белобородове и (особенно для меня интересно) о загадочном Хлопуше. Все это мне нужно для работы чисто беллетристической. В свою очередь, если у Вас есть вопросы, на которые я мог бы ответить, — был бы очень рад. Я довольно основательно ознакомился с теми остатками, правда, очень разрозненными, которые сохранились от пугачевских дел в Уральском войсковом архиве.

Прошу принять уверения в совершенном уважении

Вл. Короленко.

В Тобольске жили участники Пугачевского восстания. Короленко специально ездил к ним, беседовал со старожилами, казаками. Нашел 110-летнюю старуху «Душарею» (Авдотью), ознакомился с «изустными» преданиями о Пугачеве, сохранившимися в народе. Слушал «заунывные, как степной ветер», казачьи песни. Собирал сведения о «Записке», сохранившейся со слов брата Устины Петровны Пугачевой. В 1903 году он получил сведения, что в Тобольске живет 142-летний старик Зотов, бывший пугачевец. В письме к Т. Г. Ефимову Короленко спрашивает о Зотове, задает Ефимову много вопросов, связанных с Пугачевским восстанием. Разыскал 89-летнего казака, жителя Требухинской станицы Анания Ивановича Холачева, с его слов записал рассказ, вошедший в «Пугачевскую легенду на Урале».

Материалы к историческим произведениям Короленко свидетельствуют о больших замыслах писателя. Он хотел показать Пугачева еще в период Прусской войны, дать образ молодого офицера Скаловского, впоследствии присоединившегося к Пугачевскому восстанию.

Народное движение он хотел связать

с двором Екатерины, охарактеризовать придворных деятелей — Г. Орлова, З. Чернышева. Об этом говорится в записной книжке в 90-е годы.

Характеристика, которую давали официальные историки Пугачеву, возмущала Короленко. В воображении исследователя вставал образ отнюдь не злодея, вскормленного «адским млеком», плута казака, лихого урядника, ни даже яркий пушкинский образ, а вождя мощного крестьянского восстания.

В. Г. Короленко развил и углубил демократические тенденции Пушкина при описке Пугачева. Он пишет о воле, мужестве и независимости Пугачева, о его великодушии и человечности в обращении с крестьянами. Если бы Короленко успел развить образ казака Скаловского, он был бы противопоставлен образам Пушкина — Гриневу и Швабрину.

Писатель стремился показать противоречивость социальных отношений, анархическую степную волю, поднявшую уральский народ против государыни, и среди этих темных разбушевавшихся сил — мечту народа о будущей правде, которая, по его словам, сияет, «как звезда среди туч».

Он верил в неизбежность для России нового, демократического строя. Но очертания будущего были для него неясны. «Теперь эта старина тихо сходит со сцены, а в лице молодежи выступает уже что-то другое, еще неясное...» — пишет он.

Все очерки Короленко, посвященные Уралу, полны романтики, любви к родине, ее прошлому, полны восхищения упорством народа в мечте о лучшей жизни, будущей гармонии. Народ — в центре внимания автора произведений о Пугачевском восстании.

Непримиримостью к угнетателям, протестом против насилия выделяются исторические труды Короленко на фоне буржуазной литературы 80—90-х годов прошлого века

В. Смиренский

Волгодонск

«Пятницы» Полонского

Одним из интересных литературных салонов в конце XIX века был салон поэта Полонского, современника Белинского, друга Тургенева и Фета. В эти годы Яков Петрович был уже стар и немощен. Передвигался с трудом, на костылях. Естественно, что ему было приятнее и легче принимать гостей у себя, нежели самому наносить визиты. Лестница у него в доме была крутая, более ста ступенек, а Полонского носили обычно в кресле.

Есть сведения о том, что Полонский еще в самом начале своей литературной работы собирал у себя по пятницам молодых поэтов. Но как долго продолжались эти собрания — неизвестно. Потом Полонский покинул Петербург, отправившись в длительное путешествие на Кавказ, а затем и за границу, в Париж и Женеву.

Вернулся он в Петербург в 1858 году с женой Еленой Васильевной Устюжской. Затем он снова открыл «пятницы», но уже в более широких масштабах, и с этого времени и надо начинать их историю.

В 1860 году Устюжская умерла, и Полонский, естественно, был выбит из колеи, «пятницы» на какой-то период закрылись. Затем они снова возобновились и продолжались с перерывами только на летний период, когда Полонский выезжал из Петербурга на дачу или в имения своих друзей — Тургенева, Фета.

«Пятницы» Полонского просуществовали 40 лет, вплоть до 1 октября 1898 года, когда Полонский тяжело заболел и надежд на его выздоровление уже не было.

Он умер 18(30) октября 1898 года. А 1 октября «пятницы» были перенесены на квартиру К. К. Случевского, который и возглавил их. И назывались они уже «пятницами» Случевского¹.

Не было у нас больше таких салонов, которые процветали бы и после смерти хозяина. А «пятницы» Полонского, как уже было сказано, просуществовали еще шесть

лет как «пятницы» Случевского и 18 лет как «кружок имени Полонского». Причем этот кружок, судя по уцелевшему снимку, был особенно многолюден: на снимке насчитывается более 200 человек².

Никто, конечно, не вел никаких записей о том, что происходило на «пятницах» Полонского, и давно уже нет никого в живых из гостей и участников. Поэтому восстановить программы этих литературно-музыкальных вечеров не представляется возможным.

По воспоминаниям современников Полонского и их письмам возможно установить выборочным путем программы нескольких наиболее интересных и значительных «пятниц». И разумеется, можно получить общее представление о характере этих вечеров.

«Пятницы» сначала проходили на квартире Полонского на углу Николаевской и Звенигородской. Окна этой квартиры выходили на Семеновский плац. Впоследствии — лет тридцать — Полонский жил на Знаменской, дом 26, на пятом этаже. Отсюда он редко выходил из-за старости и болезни. Но к нему шло и шло паломничество писателей и поэтов.

«На вечерах у Якова Петровича Полонского, — говорит Вс. Соловьев, — можно было встретить представителей всевозможных редакций, людей самых различных взглядов...»³

Е. А. Штакеншнейдер рассказывает: «Помню один вечер у Полонского, когда у него был Тургенев».

Е. П. Леткова-Султанова довольно подробно описала одну из «пятниц», когда на ней присутствовал Ф. М. Достоевский. Он рассказывал о своей гражданской казни и о «Мертвом доме». Эти воспоминания, по словам Летковой, были записаны ею сразу же, по горячим следам, и, кроме того, апробированы Я. П. Полонским.

Одна из «пятниц» (в марте 1864 года) была посвящена чтению пьесы Полонского «Разлад». На чтении присутствовал Гонча-

¹ См. мою работу «К истории «пятниц» К. К. Случевского» в журнале «Русская литература», 1965, № 3, стр. 216—226.

² Снимок опубликован в журнале «Огонек», 1909, № 5.

³ В. В. Соловьев, Воспоминания о Достоевском. Сб.: «Достоевский в воспоминаниях современников», т. 2, 1964, стр. 205.

ров⁴. Полонский придавал этой пьесе большое значение и читал ее в частных домах неоднократно.

Одну из «пятниц» 1880 года можно назвать «Гончаровской», потому что она целиком была посвящена Гончарову. Старый уже и больной писатель редко выходил в эти годы из дому, и потому эта «пятница» с ним была необычной.

Одна из «пятниц» была «Фетовской».

О ней нам известно из письма Н. С. Лескова И. Е. Репину от 14 марта 1889 года. В этом письме Лесков сообщал:

«В пятницу, 17 марта, у Полонского будет старец Афанасий Фет. Любопытно!

Полонский просил — не зазову ль я Вас?

Очень зову!

Не приедете ли посмотреть на это «чудище обло, озорно и стозовно»?»⁵.

Фету в те дни шел семидесятый год, он был уже малоподвижен, и, конечно, его приезд на «пятницу» воспринимался как большое событие. И сам Полонский отлично понимал это и старался заблаговременно известить о предстоящем событии своих друзей и знакомых.

«Пятницы» проходили беспрограммно, часто на них звучала одна только музыка, часто гости расходились по комнатам, где оживленно беседовали, но вразброд, просто радуясь подчас неожиданным встречам.

Мы знаем (по многим свидетельствам), что «пятницы» Полонского постоянно посещали писатели: Достоевский, Тургенев, Данилевский, Григорович, Плещеев, Майков, Фет, Фофанов, Случевский, Вс. Соловьев, Леткова-Султанова, Перцов, Горбунов, Потехин, Фидлер, Бибииков, Лейкин, Каразин, Голенищев-Кутузов, А. Панаева-Головачева, изредка бывал Гончаров. Художники: Айвазовский, Верещагин, Репин, Остроумова-Лебедева, Самокиш, Клевер, Соловьев (Полонский сам был художником). Артисты: Савина, Яворская, Гайдебуров. Музыканты: Рубинштейн, Христианович, Кублицкий, Барятинский, Ж. А. Полонская (музыкантом и скульптором была и жена Полонского).

Бывал ли на «пятницах» В. М. Гаршин? Он тоже был знаком и дружен с Полонским. Но разыскана всего только одна записка о том, что в ночь под новый, 1884 год Гаршин был у Полонского, где слушал превосходную игру знаменитого Антона Рубинштейна⁶.

Особо интересен вопрос: бывал ли на «пятницах» Чехов? На этот вопрос, каза-

лось бы, отвечают воспоминания писателя В. Н. Ладыженского, написанные довольно правдоподобно и убедительно. Вот строки из них.

«Был со мной в Петербурге, — рассказывал Чехов Ладыженскому, — смешной случай. Сказали мне, что Полонский очень хотел бы со мной познакомиться, и повезли меня, кажется, Лейкин или Голике, на один из его журфиксов. Ну, приехали мы, познакомились. При знакомствах всегда называют фамилии так, что ничего не разберешь. Так и тут: послышалось не то Чижов, не то Чехов. Полонский и остальные гости не обратили на меня никакого внимания, и просидел я весь вечер в уголке, недоумевая — зачем я понадобился Полонскому, или зачем нужно было знакомым уверять меня, что я ему интересен? Наконец начали прощаться. Полонскому стало неловко и захотелось сказать мне что-нибудь любезное.

— Вы, — говорит он мне, — все-таки меня не забывайте, зааживайте когда-нибудь, ведь мы с вами, кажется, и прежде встречались, ведь ваша фамилия Чижииков?

— Нет, Чехов, — сказал я.

— Батюшки, что же вы нам раньше-то этого не сказали! — закричал хозяин и даже руками всплеснул.

Очень смешное приключение вышло, — добродушно и конфузливо закончил свой рассказ Чехов⁷.

Но так ли это?

Известно, что Чехов познакомился с Полонским в декабре 1887 года. Известно также, что 15 марта 1888 года он твердо намеревался быть у Полонского на «пятнице». Однако же что-то помешало Чехову, и уже 25 марта в письме к Полонскому Чехов очень сожалеет о том, что он не побывал у поэта и, главное, не познакомился с «пятницами».

⁴ Письмо А. Д. Галахова — М. Н. Каткову от 23. III. 1864 г. А. Д. Алексеев, *Летопись жизни и творчества Гончарова*. АН СССР, 1960, стр. 137.

⁵ Н. С. Лесков, *Собр. соч.*, т. II. Письма, 1958, стр. 420.

⁶ Вл. Порудоминский. Гаршин. 1962, стр. 152.

⁷ В. Н. Ладыженский, *Из воспоминаний о Чехове*. Сб. «Чехов в воспоминаниях современников», 1960, стр. 299—300.

Эти два факта ставят под сомнение воспоминания Ладыженского. В самом деле, когда же мог произойти забавный эпизод с Чеховым?

До 1887 года он произойти не мог, иначе в будущем году Чехов не написал бы о том, что он, к сожалению, не познакомился с «пятницами». В то же время после 1887 года Чехов и Полонский уже знали друг друга лично.

Не хочется, однако же, думать, что любопытный эпизод Ладыженским выдуман, скорее следует предполагать, что Чехов мистифицировал собеседника, что он очень любил проделывать.

Вообще же Чехова с Полонским связывала нежная дружба. Они и встречались, и переписывались, и одарили друг друга посвящениями: Полонский посвятил Чехову стихотворение «У двери», а Чехов Полонскому — рассказ «Счастье».

Подтверждением нашей мысли являются воспоминания И. И. Ясинского, который пишет: «Чехова я никогда не встречал на «пятницах» Полонского»⁸. А сам Ясинский бывал на «пятницах» постоянно.

По свидетельству многих современников, на «пятницах» Случевского первую скрипку играл Фофанов. Но тогда он уже шел к закату, он побывал уже в сумасшедшем доме и уже много и безудержно пил. А вот на «пятницах» Полонского — в самом конце 80-х годов, когда Фофанов был еще восторжен и юн, он действительно мог играть первую скрипку.

С Полонским, несмотря на разницу лет, Фофанов был в дружбе. Еще в 1887 году он посвятил Полонскому трогательные стихи⁹. В 1889 году Полонский выдвинул второй сборник стихов Фофанова на Пушкинскую премию¹⁰. В 1890 году Полонский прислал Фофанову свой «Вечерний звон» с хорошей надписью и теплым письмом¹¹.

10 апреля 1897 года Полонский (уже совсем больной) скромно отпраздновал свой 60-летний юбилей. Это была особо торжественная «пятница».

«...Костром в ночи был для Петербурга дом Я. П. Полонского, — говорит А. В. Амфитеатров. — «Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв» собирал к себе маслитый поэт пеструю массу своих почитателей. Сходились — погреться от душевного тепла, заимствовать несколько лучей от «тихого света святой славы», что бережно пронес любвеобильный старец через всю свою многолетнюю жизнь.

— Еду к Полонскому, — помню, сказал мне с мрачным видом один талантливый поэт русский.

— Зачем?

— На душе скверно — для нравственной дезинфекции.

И я поехал с ним, потому что и у меня на душе было скверно, и жизнь была темна и противна, и мне хотелось нравственной дезинфекции...»¹²

В 1969 году отмечалось 150 лет со дня рождения Я. П. Полонского. Уместно поэтому вспомнить о замечательном русском поэте и о его давно уже забытых «пятницах».

⁸ И. И. Ясинский, Роман моей жизни, 1926, стр. 210.

⁹ Стихотворение «Музе Полонского» хранится в ИРЛИ, в архиве поэта.

¹⁰ Большая (неопубликованная) статья Полонского о Фофанове хранится в ИРЛИ.

¹¹ Письмо Полонского находится в ЦГАЛИ, фонд 525.

¹² Газета «Новое время», № 8138, 23 октября 1898 г.

Кирилл Калманович

Записки «господина парижского мастера»

«Записки палача, или Политические и исторические тайны Франции. Сочинение бывшего исполнителя верховных приговоров парижского уголовного суда г. Сансона». Шесть томов под этим названием выходили в 1863—1866 годах в Петербурге. В журнальных отзывах книга рекомендовалась «любителям сильных ощущений и жестоко мелодраматических сцен»¹.

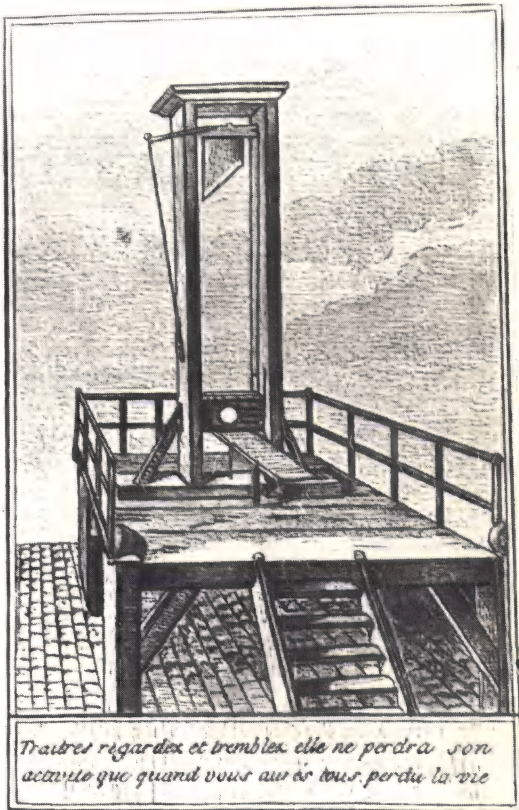
Сансоны — это династия французских палачей. Основатель династии Шарль Сансон в 1688 году указом Людовика XIV был назначен парижским палачом. Семь поколений рода Сансонов верно служили предрежащим властям в качестве «исполнителей высоких дел», как они официально именовались.

Особенно был активен Шарль-Анри Сансон, каздивший Людовика XVI, Марию-Антуанетту, Дантона, Робеспьера, Сен-Жюста и многих, многих других. Шарль-Анри в качестве эксперта входил в комиссию доктора Гильотена, работавшую над машиной для казней. Любопытная деталь — король Людовик XVI, увлекавшийся всякими механическими усовершенствованиями, в 1792 году заинтересовался работой комиссии и сделал важное конструктивное предложение (о форме лезвия) для этой машины².

При обсуждении проекта в Конвенте возникли сомнения, не будет ли преступник при казни испытывать ненужных мучений. Тогда Гильотен встал и заявил: «С помощью моей машины я отрублю вам голову так, что вы этого не почувствуете»³. Вопрос, таким образом, был исчерпан. Позднее некоторые из членов Конвента получили возможность убедиться в правоте доктора Гильотена.

Последним палачом из рода Сансонов был Клеман-Анри. Он прослужил только семь лет и получил отставку в 1847 году.

Какова же предыстория появления мемуаров Сансона в России? Первые известия о воспоминаниях Сансонов появились в печати еще в конце 20-х годов.



*Traîtres regardex et tremblez elle ne perdra son
actuelle que quand vous auz éz tous perdu la vie*

«Французские журналисты, — писал А. С. Пушкин в «Литературной газете» в 1830 году, — извещают нас о скором появлении «Записок Сансона», парижского палача. Этого должно было ожидать. Вот до чего нас довела жажда новизны и сильных впечатлений... Недоставало палача в числе новейших литераторов. Наконец и он явился, и, к стыду нашему, скажем, что

¹ «Русское слово», 1863, № 4, стр. 13.

² G. Lenôtre, La Guillotine (D'après les documents inédits tires des Archives de l'Etat). Paris, 1908, p. 107—125, 198 etc.

³ «Записки палача, или Политические и исторические тайны Франции. Сочинение бывшего исполнителя верховного парижского уголовного суда г. Сансона», 1-6. Спб., 1863—1866, т. IV, стр. 135.

успех его «Записок» кажется несомнительным»⁴.

Два тома «Записок Сансона», о которых пишет Пушкин, вышли анонимно в Париже в 1829 году. Прошло два десятилетия, и стало известно, что «Записки» — подделка. Их подлинным автором оказался Оноре де Бальзак. Несколько глав в «Записках» написал литератор по имени Леритье.

Мистификацией занялись бальзаковеды. Ими было установлено, что для «Записок» Бальзак взял несколько глав из своих «Сцен из жизни политической и жизни военной», в то время еще неизвестных читающей публике, а вводная глава, написанная Бальзаком специально для «Записок Сансона», вошла впоследствии в сочинения писателя под названием «Месса в 1793 году». Интересен сюжетный ход Бальзака: он заставил Шарля-Анри отдать свои мемуары аббату, который на следующий день после казни Людовика XVI служил по нему мессу, заказанную Сансоном (последний факт исторически достоверен).

Художественный домисел, как видим, тесно сплетается с исторической достоверностью.

Какую же цель ставил перед собой писатель, идя на эту литературную мистификацию?

Зловещая и трагическая фигура палача, казнившего Людовика XVI, предстает в «Записках» в двух планах. С одной стороны, Шарль-Анри Сансон — это палач, орудие исторического закона, уничтожившего старое общество; с другой — это человек, воспринимающий исполнение этого закона как нравственную попытку.

В 20-х годах во Франции проходила кампания борьбы за отмену смертной казни. Всколыхнулись все слои французского общества. В 1820 году за уничтожение смертной казни высказался историк и философ Мишле, два года спустя отмены смертной казни потребовал известный историк и государственный деятель Гизо (его отец, выдающийся адвокат, погиб на эшафоте во время революции), с тем же выступили и либеральные газеты. Вопрос о смертной казни в 1828 году выносится на обсуждение нижней палаты. В самый разгар дискуссии Виктор Гюго выпустил свою знаменитую повесть «Последний день приговоренного к смерти».

Взгляды Бальзака в вопросе о смертной казни полностью совпадали со взглядами

Гюго. Разница между книгой Бальзака и повестью Гюго, в сущности, состояла лишь в том, что первая написана от имени палача, вторая — от имени жертвы, но обе они пронизаны одинаковым общественным пафосом.

Бальзаковской мистификации суждено было иметь продолжение и после смерти писателя.

В 1863 году в Париже вышли шеститомные «Записки палача», редактором которых значился последний из рода Сансонов, Клеман-Анри. «Записки» имели огромный успех — неоднократно переиздавались и были переведены на все европейские языки: первый том петербургского издания появился в том же, 1863 году, когда завершалось издание парижское.

Редактор Клеман-Анри с негодованием отзывается о «подложных мемуарах Сансонов, которые были опубликованы в эпоху Реставрации... Впрочем, — прибавляет он, — труд знаменитого Бальзака отличается безукоризненной точностью и близостью к истине... Вольтер сказал где-то, что всякий имеет право брать свою собственность везде, где только она ему падается. Поэтому я, не колеблясь, решаюсь заимствовать этот рассказ...»⁵.

Таким образом, весь огромный исторический и фактический материал, собранный Бальзаком, был включен в шеститомные «Записки».

Но имел ли к ним действительно какое-нибудь отношение Клеман-Анри Сансон? Окончательно это выяснилось только в 1875 году.

После своей отставки последний Сансон куда-то исчез. В начале 60-х годов его разыскал некий молодой журналист и предложил от имени издательства тридцать тысяч франков за право воспользоваться при издании «мемуаров» его именем как редактора. Клеман-Анри согласился. Фамилия журналиста была д'Ольбрез. Он и написал все шесть томов «мемуаров». В этом ему помогал какой-то литератор, пожелавший остаться неизвестным.

Таким образом, и эти «мемуары» оказались мистификацией.

⁴ «Литературная газета». 1830, № 5, стр. 39.

⁵ «Записки», т. V, стр. 3.

А. С. Говоров,

Одесса

Сподвижник Суворова

На пьедестале памятника Суворову в Измаиле начертаны главные его победы: Кинбурн, Фокшаны, Рымник, Измаил... Автор памятника, скульптор Эдвардс, изобразил полководца приподнятым на стремени на осажденном коне, с высоко поднятой треуголкой, с торжествующим лицом, обращенным к Измаилу.

Участником всех названных побед Суворова над турками был его близкий друг, адъютант и начальник его штаба Иван Онуфриевич Курис.

Происходил этот замечательный для своего времени воин из греков, поселившихся в государство царя Алексея Михайловича в городе Нежине. Отец его служил в полтавском Малороссийском полку сотенным городовым атаманом и в 1782 году был произведен в прапорщики.

Иван Онуфриевич учился по обычаю того времени по часослову и псалтырю дома, в 1773 году поступил в Днепровский полк рядовым. Последовательно повышаемый по службе, Курис был напралом, квартирмейстером и в 1777 году достиг звания вахмистра. В 1780 году Курис был переведен в штат Новороссийской губернии и здесь получил навык в канцелярском письмоводстве; в 1784 году он снова поступил в малороссийский полтавский полк, а из него в 1786 году переведен был в Таврический гренадерский полк капитаном.

В 1787 году при неожиданном сильном нападении турецкого десанта со стороны Днепровского лимана и Очакова на форт Кинбурнской косы, который защищал Суворов, Курис храбро сражался с вверенной ему частью гарнизона. Был за это сражение пожалован секунд-майором и сделался лично известным Суворову.

В 1788 году Курис находился при начавшейся осаде Очакова, участвовал в вылазке и сражении 11 июля. Тогда же он был переведен в С.-Петербургский драгунский полк. А в следующем году был в Молдавии, где 20 июля совместно с союзными

австрийскими войсками участвовал в сражении при реке Путне, начальствуя двумя казачьими полками. За оказанные храбрость и успех награжден был Курис орденом св. Владимира 4-й степени с бантом.

Когда Суворов брал у Фокшан неприятельский лагерь и артиллерию и в дальнейшем при реке Рымнике, Курис находился близ Суворова. Участвовал в сражении при Черниговском полку, когда пехота успешно отразила турецкую конницу, за что Курис был награжден чином премьер-майора.

Однажды вблизи Тилигуло-Березанского лимана, на подступах к Одессе (точнее, к Хаджибею, где была основана Одесса), в стычке с турками Суворов неосторожно прорвался вперед, и лошадь под ним была убита. Жители Курисова-Покровского до сих пор хранят предание об этом эпизоде. Курис, бывший при Суворове, немедленно передал командиру свою лошадь и тем самым дал возможность ему избежать пленения.

Когда эта стычка с турками закончилась, Суворов, обращаясь к Курису, сказал ему: «Возьми эту лошадь и объезжай на ней всю эту округу. Я буду ходатайствовать об отводе тебе в собственность этой земли». И действительно, екатеринославский наместник отвел Курису 6000 десятин этой земли, на которой и основалось местечко Курисово-Покровское.

Курис был рядом с Суворовым и во время штурма Измаила.

При главнокомандующем Суворове Курис исправлял должность правителя дел по секретной части и вместе с тем был во время самого штурма «посылаем в важнейшие места и доставлял приказания с точностью»; так о нем свидетельствовал Суворов в докладе императрице. За участие в штурме Измаила Курис был повышен в чине, произведен в подполковники, и по высочайшему повелению ему был дан от главнокомандующего Похвальный лист.

Когда в 1793 году было торжество в Яссах по случаю заключения с Турцией Ясского мира, Суворову был прислан из Петербурга орден Георгия 3-й степени с высочайшим повелением: «чтобы этот крест был возложен на того отличившегося в военном знании и храбрости в ту войну, которого почтит достойным главнокомандующий».

И этот крест был возложен на И. О. Куриса.

В следующем, 1794 году в Польше во время вспыхнувшего польского восстания,

Курис находился при Суворове при штурме Варшавы.

В 1795 году он получил от прусского короля Вильгельма военный орден (*Pour le merites*) (за заслуги). В 1797 году Курис был пожалован полковником в Херсонский кирасирский полк. В 1799 году по причине разбитой правой руки из кирасирского полка был перечислен в гражданскую службу с чином действительного статского советника, получив должность вице-губернатора в Новгороде. Это произошло за год до смерти Суворова.

Но гражданская служба была не по характеру суворовского воина. Будучи перемещен в Оренбург на должность губернатора, Курис в 1802 году уволился от службы.

Закаленный в суворовских боях воин поселился в деревне. Еще в 1794 году он женился на У. И. Ханенковой. Поселился на той пожалованной ему в Одесском уезде земле, которая ему была отведена екатеринославским наместником по ходатайству Суворова. Усадьба эта располагалась на урочище Балае, вблизи Тилигуло-Березанского лимана, и селение получило название Курисово-Покровское в честь Кинбурнской победы, одержанной русской армией над турками в день Покрова (1 октября). Возникновение села Курисово-Покровского по документам относится к 1788 году.

Одно время Курис жил в Одессе, в собственном доме, где позднее располагалась Северная гостиница. Известно, что он был женат во второй раз на г-же Дуниной.

Живя в своей деревне, вдали от кипучей боевой службы, И. О. Курис вел переписку с выдающимися современниками, в том числе с поэтом Державиным и графом Хвостовым. Предметом этой переписки был все тот же любимый ими герой, Александр Васильевич Суворов, который был для Куриса не только начальником, но и подлинным другом, «отцом-командиром». Об этой дружбе свидетельствуют сохранившиеся письма Суворова Курису.

«4 января 1794 г.

Иван Онуфриевич! Благослови боже ваше намерение совершить. Я истинно радуюсь тому и желаю всех благ. Коротко написал: по малой мере прибавить должно, что я рад со слезами. Кланяюсь Ульяне Ивановне. Помощник вам Христос спаситель, бог Иакоиль.

Г. А. С. Р.

Благодарю за гостинцы».

«Дружески благодарю. Боже вас облегчи. Желаю вас нетерпеливо видеть.

Г. А. С. Р.»

(Генералиссимус Александр Суворов Рымникский).

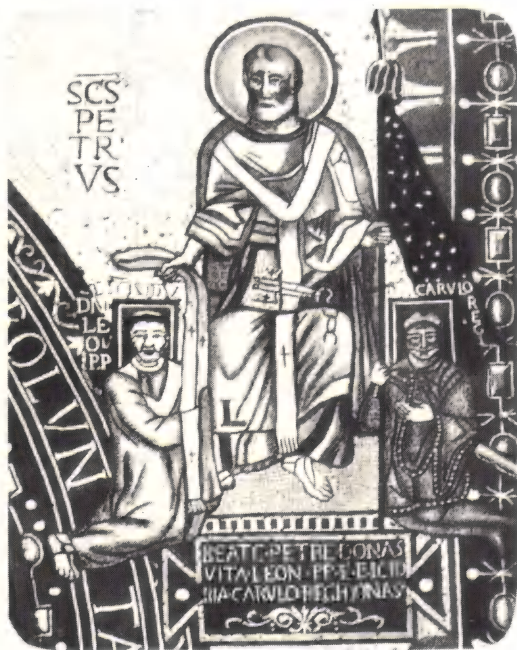
В этих документах суворовский стиль. Суворовский лаконизм, суворовское добродушие, с которыми он покoraл сердца русских солдат и врагов России.

А. Левандовский

Белый слон Карла Великого

Многочисленные и разнообразные подарки получал король Карл от своих данников и соседей. Были здесь и драгоценные одежды, и роскошные шатры, и чеканное оружие, и ювелирные изделия. Но особенно поразил воображение государя некий диковинный предмет, доставленный ему как-то из стран заморских, от самого Харуна ар-Рашида, славного царя, владевшего почти всем Востоком¹. То был большой полированный рог, щедро изукрашенный причудливой резьбой. Когда король спросил о материале, из которого сделана необычная вещь, ему сказали, что это клык слона. Карл был потрясен. Он не представлял себе зверя, из одного зуба которого можно вырезать подобный рог. И у него возникло страстное желание во что бы то ни стало этого зверя увидеть²...

Так повествует легенда. Трудно сказать, основывается ли она на реальном факте. И трудно поверить, будто властитель франков настолько уж ничего не знал о слонах,



Лев III и Карл Великий (Латеранская мозаика).

Император Никифор (с византийской монеты).

чтобы прийти в изумление при виде слоновьего клыка; конечно, он читал или слышал старые повести о походах Александра Македонского или Ганнибала и не мог не видеть изображений слона на миниатюрах. Но живой слон... О нем Европа давно забыла. В VIII—IX веках он представлялся людям Запада чудесным, почти мифическим существом, столь же недоступным, как сказочные богатства далекого Востока.

Именно поэтому Карл, считавший, что для него нет недоступного, решил добыть это сказочное существо любой ценой.

И тотчас приступил к делу.

Задача оказалась не из легких.

Известно, сколь значительную роль играли слоны в торговле и в военном деле в эпоху древнего мира. В то время они доставлялись преимущественно из двух мест: из Северной Африки и из Индии. Африканские слоны, впрочем, очень туго поддавались приручению, и, кроме того, к VII ве-

ку на севере страны они совершенно исчезли: хищническая охота ради драгоценной слоновьей кости заставила этих животных отступить в глубь континента, к занзибарскому побережью. Оставалась Индия. Ко времени Карла Великого она также не изобиловала слонами; считавшиеся «царскими животными», они очень ценились. Но недоступными все же не были. Индийские цари и сановники посылали багдадскому халифу слонов в дар или в качестве дани; один лишь наместник Синда ежегодно отправлял в столицу по крайней мере трех слонов³.

Таким образом, ближайшим соседом франкского государя, к которому можно было обратиться с просьбой о слоне, оказался багдадский халиф, тот самый Харун ар-Рашид, от которого, если верить преданию, властитель Запада уже получил столь вдохновивший его драгоценный клык.

И вот в 797 году король Карл снаряжает посольство к халифу⁴. В состав от-



Изображения Карла Великого на современных монетах.

правленной им делегации входили послы Лантфрид и Зигимунд, а также некий Исаак, человек бывалый, хорошо знавший страны Востока и выполнявший, по-видимому, функции толмача⁵. Цель, поставленная перед посольством, была сформулирована вполне ясно: любыми средствами добыть слона⁶.

Труден и долгод был путь франкских послов. Они благополучно дошли до Иерусалима. Дальнейшая их эпопея не освещена в современных источниках. Как добрались они до Багдада? Как были приняты халифом? Какою ценой добились просимого? Все это остается неизвестным, но, видимо, претерпели послы в досталь, ибо ни Лантфрид, ни Зигимунд домой уже больше не вернулись: оба они погибли в чужой стране⁷.

Труды их, впрочем, не пропали даром.

Спустя два года Карл получил первые вести с Востока. В 799 году к королевскому двору в Ахен прибыл монах из Иеруса-

лима и привез королю подарки, присланные иерусалимским патриархом⁸. Монах этот, вероятно, рассказал кое-что и о судьбе сановников, отосланных в Багдад. Отпущенная иерусалимского гостя, Карл направил вместе с ним в Палестину своего человека — дворцового священника Захария, которого снабдил ответными дарами и крупной суммой денег для раздачи милостыни⁹.

Захарий обернулся быстро. К концу 800 года он возвратился в Европу и прибыл в Рим, где находился в то время Карл. С ним вместе появились и два иерусалимских монаха, передавших Карлу благословение патриарха, а также различные «святые» реликвии, в числе которых находились ключи от города Иерусалима¹⁰.

Все эти события довольно знаменательные. Они показывают, что дело, начавшееся с желания приобрести слона, имело весьма серьезную подоплеку и зашло довольно далеко.

Прежде всего церковная миссия из Иерусалима не могла быть отправлена без санкции халифа, который владел Палестиной и был в курсе всего, что там происходило. Значит, посольство Лантфрида и Зигимунда вне зависимости от своей официальной цели имело и некое неофициальное поручение, о котором источники, по вполне понятным причинам, молчат и с которым послы прекрасно справились.

О характере этого поручения мы можем догадываться по последствиям. Если халиф проявил такое внимание к франкскому королю, что разрешил вопреки своему отрицательному отношению к христианам установить прямую связь между ахенским двором и Палестиной, причем связь, сопровождаемую таким символическим жестом, как присылка европейскому монарху ключей от Иерусалима, значит, он был сильно заинтересован теми предложениями, которые ему сделали послы.

Что же это были за предложения?

Нетрудно догадаться, на какой почве могли сблизиться мусульманский Багдад и христианский Ахен. У них были общие соперники и враги. К ним принадлежали прежде всего испанские Омейяды, будущие халифы Кордовы, самозванцы и еретики с точки зрения багдадских Аббасидов, только и помышлявших о том, как бы их ослабить и уничтожить. В этом плане та ожесточенная борьба, которую, начиная с 778 года, Карл проводил в Испании¹¹, была вполне на руку Харун ар-Рашиду. Еще более объединяла интересы обоих го-

сударей политика в отношении Восточной Римской империи, причем здесь роли потенциальных союзников менялись: главным партнером становился франкский король, а территориальная война, почти ежегодно возобновляемая арабами на восточных границах Византии, была лишь вспомогательным средством, вполне устраивающим Карла.

Но почему франкский король находился во враждебных отношениях с государством, с которым он почти не имел общих границ и с которым ему, казалось бы, нечего было делить? Почему враждебность эта достигла таких размеров, что в борьбе с христианской державой христианскому королю пришлось прибегать к помощи мусульман, врагов христианской религии?

Истоки этой проблемы уходили в глубь веков.

Начиная с 476 года, когда захвативший Рим Одоакр формально упразднил Западную Римскую империю и отослал знаки императорского достоинства в «новый Рим» — византийскую столицу, константинопольские императоры смотрели на себя как на единственных законных наследников Цезаря и Августа. В VI веке Юстиниан попытался даже восстановить империю во всем ее прежнем объеме; и хотя-то ему не удалось, его преемники не отказались от старых претензий. Понятно, что в их глазах «варвар»-франк, развивший вдруг весьма бурную деятельность на Западе, был личностью подозрительной. Вся его политика в Италии, от завоевания Лангобардского королевства и до установления протектората над Беневентским герцогством, рассматривалась как цепь «узурпаций», противозаконных актов, имеющих целью ущемить права законных владык.

Но главная «узурпация» — и ее возможные плоды не могли не беспокоить Карла — была впереди. Она готовилась к осуществлению в Риме в те самые дни, когда король принимал уполномоченных иерусалимского патриарха.

Более чем тридцать лет подряд завоевывал Карл земли, соседние с франкским королевством. Он увеличил это королевство почти вдвое по сравнению с тем, каким было оно при его отце, короле Пипине. Италия, Саксония, северная Испания, Бавария, пограничные славянские области — все они одна за другой были поглощены франкской монархией. Теперь по своим размерам государство Карла лишь немногим отличалось от бывшей Западной Рим-

ской империи. И король, дабы увеличить свою власть, поднять свой авторитет и у подданных и у соседей, решил оформить новое положение вещей особым демонстративным актом.

Вот что произошло на рождество 25 декабря 800 года¹².

Карл слушал в соборе Петра праздничную мессу. Он стоял перед алтарем. Вдруг папа Лев III, приблизившись к своему гостю, «неожиданно» надел ему на голову императорскую корону. Все находившиеся в соборе франки и римляне дружно, как по команде, воскликнули:

— Да здравствует и побеждает Карл Август, богом венчанный великий и миротворящий римский император!

Восклицание было повторено трижды, после чего папа согласно обычаю древних времен преклонил колени перед императором.

Так произошло событие мирового значения: на Западе вновь возродилась империя.

Биограф Карла Эйнгард сообщает, что франкский государь якобы был неприятно поражен случившимся. Карл будто даже заявил, что, зная он о намерениях папы заранее, он никогда бы не пошел в этот день в церковь¹³.

Вряд ли можно верить этим словам. В действительности к событию 25 декабря все было подготовлено заранее и разыграно его как по нотам, причем Карл был и автором и режиссером всего спектакля. Выражая внешнее недовольство случившимся и стремясь всю ответственность свалить на папу, новый император хотел лишь ослабить впечатление, которое коронация должна была произвести на берегах Босфора.

Он старался впустую.

Едва ли кого-нибудь могла ввести в заблуждение столь нехитрая уловка, и менее всего она обманула Константинополь. Правда, напряжение отчасти ослаблялось тем, и это прекрасно учитывал Карл, выбирая время для своего демарша, что на византийском престоле находилась женщина, похитившая за тому же трон ценою кровавого преступления, императрица Ирина¹⁴. Некогда Карл чуть не выдал свою дочь за сына новой государыни¹⁵; теперь, дабы предупредить конфликт и добиться крупного политического выигрыша, он готов был рискнуть даже собственной персоной. Вскоре после коронации император отправил в Византию посольство с целью предложить руку и сердце повелительнице православного Востока¹⁶. Но

здесь он опоздал. Пока послы добирались до Константинополя, некий патриций подготовил очередной дворцовый переворот, и 31 октября 802 года буквально на глазах уполномоченных Карла низложенную Ирину сменил новый император Никифор¹⁷. Разумеется, он не пожелал признать западного конкурента. Началась война.

К сожалению, нам не известно, в какой степени сумел Карл использовать в своих последующих отношениях с Византией союз, наметившийся между ним и багдадским халифом. Неизвестно даже, существовал ли документ, оформивший этот союз. Франкская летопись весьма глухо сообщает о новом посольстве Карла к Харуну и об ответном багдадском посольстве, отправленном с Востока вместе с франкскими уполномоченными в 806 году и прибывшем в Ахен в 807 году, в разгар военных действий на Адриатическом море¹⁸. Любопытно, что именно к этому времени относятся серии наиболее упорных батальи Харун ар-Рашида против Византии, а с другой стороны, в том же 806 году Харун направляет своих послов и к Никифору...¹⁹ Случайны ли эти совпадения? Во всяком случае, Византия, зажата между франкской империей и халифатом, одновременно атакующими ее с запада и востока, не могла слишком долго сохранять позицию непримиримости. В 810 году начались мирные переговоры, завершившиеся официальным признанием новой империи и ее основателя²⁰.

Гораздо лучше и полнее освещена в источниках другая линия взаимоотношений между Ахеном и Багдадом, линия, кающаяся так называемой «святой земли» — Палестины.

Мы отмечали, что в 800 году иерусалимские послы поднесли Карлу ключи от их города. Событие это наделало много шума в историографии Карла Великого. Уже его современник, панегирист Эйнгард, интерпретируя патриарший дар на свой лад, утверждал, будто Харун ар-Рашид уступил Карлу из любви к нему самый «гроб господень», то есть дал утвердиться его власти в Иерусалиме²¹. Это положение, подхваченное последующими хронистами и сказителями, выросло в легенду, сделавшую Карла не только паломником в Иерусалим, но и завоевателем всего Востока²². Позднее указанную версию подхватили некоторые историки, заявившие о каком-то «французском протекторате» над Палестиной в IX веке²³.

В действительности все обстояло совсем

иначе. Карл продолжал обмениваться посольствами с иерусалимским патриархом, посылал большие денежные суммы в Палестину, по его почину там строились церкви и странноприимные дома, оказывалась материальная помощь паломникам-христианам. Есть указания на то, что император вмешивался в споры о церковной догме, имевшие место в Иерусалиме, и добивался проведения своей (западной) линии в этом вопросе²⁴. Последнее обстоятельство весьма симптоматично: по-видимому, и здесь франкский государь, используя хорошие отношения с багдадским халифом, наносил удары своей сопернице Византии, вырывая из-под ее духовного влияния земли, некогда ей принадлежавшие. Однако ни о каком «протекторате», ни о какой реальной политической власти Карла в «святых местах» говорить, конечно, не приходится. Халиф не уступил ему ни пяди «святой земли», посылка же пресловутых ключей, как указывалось выше, была лишь символическим жестом, первым проявлением согласия, намечавшегося между Багдадом и Ахеном.

Характерно, что влияние франков в Палестине не пережило Харун ар-Рашида. Харун умер в 809 году. Гражданская война, начавшаяся в халифате, коснулась и Палестины; многие святыни Иерусалима были разрушены, монахи покинули свои обители, паломники изменили маршруты, а франкские источники перестали давать сведения о событиях, связанных с христианским Востоком²⁵.

В целом отношения между двумя выдающимися государями конца VIII — начала IX века оставили яркий след в истории. Переговоры, начавшиеся с просьбы о присылке слона, привели к весьма важным последствиям, во многом определившим курс политики Карла Великого в последний период его царствования, а если смотреть шире, явившимся отдаленной прелюдией крестовых походов.

Но вернемся к слону. Не следует думать, что мы забыли о нашем главном герое. Слон был. И не только был, но даже имел весьма звучное имя. Франкская летопись сохранила это имя для потомства: слона звали Абу-ль-Аббас...²⁶ Мало того, Эйнгард уверяет, что слон, отосланный Карлу Великому, был единственным слоном Харун ар-Рашида...²⁷

Да, хотя послы Ланфريد и Зигмунд оставили свои кости в песках знойного Востока, они с честью выполнили официальное поручение своего государя.

Когда после коронации, весной 801 года, император возвращался из Рима на родину, его близ Верчелли нагнали восточные послы. Они сообщили Карлу, что знакомый нам еврей Исаак, отправленный четыре года назад к Харун ар-Рашиду, благополучно возвращается с подарками и слон²⁸. Исаак, однако, задержался в Северной Африке, ибо у местных правителей не оказалось достаточных средств, чтобы переправить слона через Средиземное море. Карл незамедлительно послал своего канцлера Эркэнбалда в Лигурию, дабы тот подготовил корабль. Это было исполнено. Исаак, погрузив слона и другие дары халифа, прибыл в Порто-Венере в октябре 801 года. Оттуда он двинулся на север Италии, но в связи с приближающимися холодами не рискнул в этом же году пересечь Альпы и зазимовал в Верчелли²⁹. Очевидно, путешествие по горным перевалам оказалось не из легких, ибо в Ахен слон был доставлен только 20 июля 802 года³⁰. Разумеется, он произвел фурор и совершенно затмил все другие подарки. О нем оповестили потомство все местные летописи, в том числе даже такие, которые славятся своей лаконичностью³¹. Год 802-й для франкского государства можно было бы смело назвать «годом слона», ибо гость из далекой Индии вытеснил из поля зрения франков все другие события, сколь бы важными они ни были.

Карл поместил слона в свой знаменитый охотничий парк, славившийся различными чудесами природы³², и здесь Абу-ль-Аббас стал объектом всевозможных, в том числе и «научных», наблюдений, которыми современные эрудиты смело оперировали в своих трудах. Так, известный грамматик и географ Дикиул, возражая автору одного компилятивного сочинения, упрекал его за то, что он утверждал, будто слон никогда не ложится. «...Слон, — писал Дикиул, — напротив, лежит, подобно быку, что все лю-

ди франкского государства видели, наблюдая за слоним императора Карла»³³.

Но недолго длилось безмятежное пребывание Абу-ль-Аббаса в уютном охотничьем парке. У престарелого императора была укоренившаяся привычка во время походов или путешествий возить с собою своих детей, а то и весь двор³⁴. И вот, не желая расставаться со своим новым любимцем, Карл и его стал повсюду таскать за собой. Так продолжалось до 810 года, ставшего роковым для заморского животного. В этом году император отправился на север, в Саксонию. Перейдя Рейн у Лепсехама, он стал ждать войско. Во время этой стоянки и околел бедный Абу-ль-Аббас³⁵. Быть может, он стал жертвой эпидемии, косившей в этом году скот по многим северным областям государства.

Гибель слона произвела не менее сильное впечатление, чем его прибытие. Об этом опять писали все летописи, приравнивая печальное известие к самым тяжелым событиям года. Говоря, например, о смерти сына Карла, Пипина, одна хроника сообщала об этом в следующей форме:

«...В том же году, когда умер слон, скончался и король Италии Пипин...»³⁶

Так закончил свои дни знаменитый Абу-ль-Аббас, проживший при франкском дворе всего около девяти лет.

Вместо эпилога — одно уточнение.

Действительно ли слон был белым? В этом мы не уверены. Ни один современный источник об этом не упоминает. Быть может, именно в этом смысле надо понимать приведенное утверждение Эйнгарда, который, заявляя о том, что Харун прислал Карлу своего единственного слона, имел в виду единственного белого слона? Может быть. А может, и нет. Откуда же, однако, возникла версия о белом слоне? Ее создала поздняя традиция. И подхватила художественная литература³⁷.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ «...qui excepta India totum poene tenebat orientem...» Einhardi Vita Karoli Magni, ed. in usum Scholarum, rec. G. Waitz. Hannoverae, 1880, с. 16, стр. 14.
- ² Н. Floss, Geschichtliche Nachrichten über die Aachener Heilighümer. Bonn, 1885, стр. 166.
- ³ В. Бартольд, Карл Великий и Харун ар-Рашид. «Христианский Восток», т. I, вып. I. Спб., 1912, стр. 84—85.
- ⁴ Основным источником этой работы является главная франкская летопись — Анналы франкского королевства (Annales regni Francorum, ed. in usum scholarum, rec. F. Kurze. Hannoverae, 1895). Об указанном посольстве см. а. 801, стр. 114—116.
- ⁵ А. Васильев, Карл Великий и Харун ар-Рашид. «Византийский временник», т. 20, вып. I. Спб., 1913 на стр. 83.
- ⁶ Einhardi Vita Karoli, с. 16, стр. 14; Chr. Moissiacense, а. 802, М. G. H., XV, I, стр. 170.
- ⁷ А. г. Fr., а. 801, стр. 116.
- ⁸ Там же, а. 799, стр. 108.
- ⁹ Там же, а. 800, стр. 110. См. также: Einhardi Vita Karoli, с. 16, стр. 14.
- ¹⁰ А. г. Fr., а. 800, р. 112.
- ¹¹ См., напр.: A. Kleinclausz, Charlemagne, Paris, 1934, стр. 109—112, 152—156.
- ¹² А. г. Fr., а. 801, стр. 12. Материалы о коронации собраны у S. Abel-B. Simpson, Jahrbücher des Fränkischen Reiches unter Karl dem Grossen, т. II. Leipzig, 1883, стр. 234—241. См. также: Kleinclausz, цит. произв., стр. 303—304.
- ¹³ Einhardi Vita Karoli, с. 28, стр. 24.
- ¹⁴ См.: Ш. Диль, История Византийской империи, 1948, стр. 62—64.
- ¹⁵ Abel-Simpson, цит. произв., т. I, стр. 384—386.
- ¹⁶ Там же, т. II, стр. 282.
- ¹⁷ Диль, цит. произв., стр. 64.
- ¹⁸ А. г. Fr., а. 806—807, стр. 122—123.
- ¹⁹ Материалы см. у Бартольда, цит. произв., стр. 89—91.
- ²⁰ А. г. Fr., а. 810—811, стр. 133—134.
- ²¹ Einhardi Vita Karoli, с. 16, стр. 14.
- ²² G. Paris, Histoire poetique de Charlemagne, 1865, стр. 338—342. Ср.: Васильев, цит. произв., стр. 112—113.
- ²³ Соблазна не избежал и Васильев, цит. произв., стр. 113—114. Ср.: Kleinclausz, цит. произв., стр. 343.
- ²⁴ См.: А. Вязигин, Идеалы «божьего царства» и монархия Карла Великого. Спб., 1912, стр. 105 и след.
- ²⁵ Kleinclausz, цит. произв., стр. 346.
- ²⁶ А. г. Fr., а. 802, стр. 117.
- ²⁷ Einhardi Vita Karoli, с. 16, стр. 14.
- ²⁸ А. г. Fr., а. 801, стр. 114—116.
- ²⁹ Там же, стр. 116.
- ³⁰ Там же, а. 802, стр. 117.
- ³¹ Напр.: Annales Laure-shamenses. M. G. H., I, а. 802, стр. 39: «Et eo anno pervenit elefans in Francia...»
- ³² Описание этого парка см. у Ангильберта (Angilberti Carmina dubia, VI. Karolus et Leo Papa, vers. 132—152. Poetae latini aevi carolini, rec. E. Dümmer, I. Berolini, 1881, стр. 369—370).
- ³³ Цитирую по Васильеву, цит. произв., стр. 97.
- ³⁴ Einhardi Vita Karoli, с. 19, стр. 18.
- ³⁵ А. г. Fr., а. 810, стр. 131.
- ³⁶ Annales Xantenses. M. G. H., 11, стр. 224.
- ³⁷ В частности, арабская. Указания см. у Васильева, цит. произв., стр. 69—70.



Арест Иисуса Христа. Изображение на мраморном саркофаге Юния Басса из Ватиканского музея в Риме. IV в. н. э.

Суд Понтия Пилата над Иисусом Христом. Изображение на мраморном саркофаге из Латеранского музея в Риме. IV в. н. э.

Л. А. Ельницкий

Понтий Пилат в истории и в христианской легенде

Давно уже было замечено, что имя римского императорского наместника в годы 26—36-е в Иудее — Понтия Пилата — упоминается в раннехристианской литературе только в связи с обстоятельствами казни Иисуса Христа. При этом евангелия стараются представить дело так, что Пилат не хотел смерти Иисуса. Его даже потребовали иудеи, кричавшие: «...да будет он распят!» Пилат, видя, что ничего не помогает, а смутнение увеличивается, взял воды, умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего — смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь

его на нас и на детях наших». В особенности же дружественным христианству представлен Пилат в апокрифическом евангелии Петра.

В связи с этим некоторые историки древнейшего христианства, и среди них наиболее рьяно Андрей Немоевский¹, склонны были отрицать историчность евангельского Понтия Пилата, полагая, что он не что иное, как чисто мифическая и символическая фигура (Pilatus — от pilus — копье. Номо pilatus — копьеносец), специально привлеченная евангелистами в связи с легендой о казни Христа.

Сохранившиеся в сочинениях древнееврейских писателей того времени Филона Александрийского («Посольство к Гаю») и Иосифа Флавия («Иудейские древности») сведения о Понтии Пилате как о римском наместнике в Иудее А. Немоевский считал интерполированными (то есть вставленными позднее), подобно сообщениям о Христе у последнего из только что названных древних авторов. Для таких подозрений нет,

¹ А. Немоевский, Бог Иисус. Происхождение и состав евангелий. Петроград, 1920, стр. 228.



однако, оснований уже хотя бы по одному тому, что Понтий Пилат в сочинениях Филона и Иосифа Флавия описывается совершенно иначе, чем в христианской литературе. Церковные сочинения чем дальше, тем все больше представляли Пилата сторонником христианства. Если евангелия характеризуют его как незлобивого правителя, не хотевшего зла Христу и лишь не решавшегося отклонить требование иудеев, жаждавших его казни, то более поздние церковноисторические сочинения рассказывают уже о том, что жена Пилата, Прокла, была христианкой, а он сам христианам сочувствовал. Еще более поздние христианские апокрифы прямо уже настаивают на христианстве Понтия Пилата, а эфиопийской церковью он причислен к лику святых.

Филон же и Иосиф Флавий в один голос свидетельствуют о беспримерной жестокости Пилата в отношении иудеев, о презрении его к их обычаям и об оскорблении им их религиозных чувств. По словам Иосифа Флавия, Пилат переводил римские войска, стоявшие в Кесарии Палестинской, служившей местопребыванием римского наместника, в Иерусалим на зимние квартиры, чего не делали никогда во избежание каких-либо эксцессов его предшественники — Валерий

Грат и Анний Руф. Он установил в Иерусалиме военные штандарты с изображениями императора, тогда как иудейский религиозный закон не терпел каких бы то ни было человеческих изображений, как идолопоклоннических. Его предшественники не делали никогда и этого.

Он провел в Иерусалим акведук (водопровод), без стеснения взявши для этого средства из иудейской священной казны и отведя источники, протекавшие в 200 стадиях (3 км) от Иерусалима, чем опять-таки возбудил против себя иудейское население. Слыша со стороны иудеев угрозы по своему адресу, он подослал к собраниям народа переодетых римских legionеров с дубинками, спрятанными под платьем. Они избили выражавших свое негодование иерусалимских жителей, преимущественно стариков, еще даже более беспощадно, чем это им было приказано. Многие оказались убиты, другие изувечены.

Иосиф Флавий и Филон обвиняют Понтия Пилата в весьма жестоком подавлении восстания, поднятого против него самаритянами у горы Гаризим, после чего правитель Сирии Люций Вителлий, которому был подчинен Пилат, отстранил его от должности и велел отбыть в Рим для дачи отчета в своих действиях императору Тиберию. Оба еврейских писателя подчеркивают, что иудеи восстали не против римской власти вообще, а только против жестокостей Понтия Пилата и его глумления над их святынями.

Кроме того, они совершенно не упоминают о каком бы то ни было отношении Понтия Пилата к Иисусу Христу и христианству. В соответствующем месте «Иудейских древностей» Иосифа Флавия имеется несколько строк, посвященных Христу, но они безоговорочно признаются позднейшей вставкой, произведенной каким-либо не в меру благочестивым христианским фальсификатором для придания правдоподобия и веса евангельскому рассказу.

Что соответствующее место вставлено в текст сочинения Иосифа Флавия каким-либо христианским богословом, видно прежде всего из того, что в нем о Христе говорится как о божестве: «...жил Иисус, человек мудрый, если только можно его назвать человеком. Он был христос», чего не мог бы позволить себе Иосиф Флавий, являвшийся правоверным иудеем. Кроме того, еще в III веке н. э. христианский писатель Ориген упрекает в своей полемике Иосифа Флавия как раз именно в том, что он не считает Иисуса христом. А церковный историк Евсевий,

живший на сто лет позже, уже цитирует указанное место «Иудейских древностей», из чего можно заключить, что вставка эта была произведена примерно на рубеже III—IV столетий, близ времени Никейского вселенского собора (325 г. н. э.).

А поскольку древнеиудейские сообщения о Понтии Пилате оказываются не связанными с легендой об Иисусе Христе, нет никаких оснований сомневаться в действительном существовании римского наместника в Иудее Понтия Пилата, в подлинности и исторической сообразности сведений о его деятельности, содержащихся в сочинениях Филона Александрийского и Иосифа Флавия.

Что все это действительно именно так, об этом с недавнего времени стало можно судить по некоторым совершенно бесспорным документальным данным. То, что Понтий Пилат в действительности существовал и был римским управителем Иудеи при императоре Тиберии, подтверждает латинская надпись, составленная им самим и найденная в 1961 году при раскопках в Кесарии Палестинской (современная Эль-Кайсарие)². Надпись повреждена (камень, на котором она высечена, позднее был использован как строительный материал при сооружении театрального здания IV века н. э.), но из нее видно, что римский префект Понтий Пилат соорудил и посвятил императору Тиберию мемориальное сооружение (Тибериум).

Надпись эта, помимо того, что она наконец впервые точно документирует пребывание и деятельность Понтия Пилата в Палестине — около 30-го года н. э., существенно важна и еще в одном отношении. Дело в том, что Пилат назван в ней префектом, а не прокуратором, как в евангелиях и других более поздних латинохристианских текстах (у Иосифа Флавия он именуется по-гречески эпитропом, что буквально означает «наместник»). То обстоятельство, что Пилат оказался префектом, а не прокуратором важно вот в каком отношении: управители некоторых провинций или их частей стали именоваться прокураторами лишь в сравнительно позднее время (во II и III веках н. э.). В более же ранний период прокураторами назывались чиновники и другие частные (а не государственные) агенты императора или членов императорской фамилии, преимущественно по финансовым делам. Официальные же управители, являвшиеся в то же время и командирами военных соединений, именовались обычно префектами. Поэтому уже

и раньше некоторые знатоки древнеримской административной терминологии (как, например, известные немецкие историки Рима Т. Моммзен и О. Гиршфельд) говорили, что Пилат по своему положению должен был бы титуловаться не прокуратором, а префектом.

В исторической науке немало спорили о том, подлинным или подделанным позднее является свидетельство об Иисусе Христе, содержащееся в «Анналах» римского историка Корнелия Тацита, писавшего в начале II века н. э. В § 44 книги XV «Анналов» сказано, что Христос, иудейский проповедник, был казнен прокуратором Понтием Пилатом. Именно эта деталь — то, что Пилат назван здесь прокуратором, а не префектом, как в новонайденной кесарийской надписи, решает, по-видимому, в отрицательном смысле вопрос о подлинности этого спорного места у Корнелия Тацита. Вряд ли знаменитый историк, достаточно сведущий в титулатуре римской провинциальной администрации, мог допустить такую ошибку. Но она совершенно естественна для какого-либо христианского богослова, жившего лет на сто или двести позже, когда подобные Пилату чиновники действительно именовались прокураторами.

Очень существенно и то, что в связи с Иисусом Христом и вообще с христианством имя Понтия Пилата поставлено лишь именно в христианской, а отнюдь не в иудейской и античной языческой литературе.

Неоднократно высказывалось мнение, что Понтий Пилат в качестве римского официального лица не мог иметь отношения к суду над Иисусом Христом, если бы такой суд в действительности происходил. Римский управитель мог судить или привлечь к ответственности человека, выступившего против римской императорской власти, тогда как Иисус Христос, соответственно евангельскому рассказу, выступал не против Рима, а лишь против иудейской церкви, то есть являлся преступником не политическим, а религиозным. Такие преступления не были подсудны римской администрации, а только иудейскому синедриону³.

Документальными данными другого рода,

² Л. А. Ельницкий, Кесарийская надпись Понтия Пилата. «Вестник древней истории», 1965, № 3, стр. 142, сл. Ср.: Л. А. Лвов, Надпись Понтия Пилата. «Вопросы истории», 1965, № 7, стр. 194, сл.

³ Н. Lietzmann, Der Prozess Jesu. Forschungen und Fortschritte, 7, 1931, № 20, стр. 280.

свидетельствующими о деятельности Понтия Пилата, являются медные монеты, чеканенные в Иудее в годы его правления (26—36 годы н. э.). Изучавший эти монеты Э. Штауффер⁴ отмечает существенную разницу в характере символов, изображенных на иудейских монетах Понтия Пилата и других римских управителей Иудеи. В то время как те пользовались всякого рода нейтральными символами (вроде дерева, пальмовой ветви или каких-либо других чисто орнаментальных мотивов), на монетах Понтия Пилата представлены римские культовые предметы, такие, как жреческий жезл (*lituus*) или черпак для жертвенных возлияний (*simpulum*). О том, что монеты с подобными римскими религиозными символами встретили враждебное отношение со стороны иудейского населения Палестины, свидетельствует перечеканка их при преемнике Понтия Пилата — Феликсе. Неприемлемые для иудеев знаки на монетах были забиты и заменены другими, нейтральными в религиозном отношении.

Таким образом, изучение иудейских монет Понтия Пилата вполне подтверждает ту его характеристику, как правителя Иудеи, которая содержится в сочинениях современных ему древнееврейских писателей — Филона Александрийского и Иосифа Флавия. Монеты эти свидетельствуют о враждебном отношении Пилата к иудеям и о презрении его к их религиозным законам. В то время как другие римские правители Иудеи искали контактов с иудейской общественно-религиозной верхушкой и стремились к умиротворению иудейского населения, Понтий Пилат не умел и не желал считаться с местными обычаями, а при протестах со стороны иудейства прибегал — тайно или явно — к вооруженной силе, чем создал себе славу самого жестокого и враждебного чужеземного управителя, какого только знала Иудея. Слава его в этом отношении распространилась далеко за пределами Палестины среди иудейского рассеяния (диаспоры) — в Сирии, Малой Азии и Египте — во всех тех странах, где среди сильно эллинизированного (огреченного) по своей культуре иудейства, расселившегося там в особенности после римско-иудейской войны 66—70 годов, возникло христианское вероучение, носителями которого были первоначально еретические иудейские секты, боровшиеся с правоверным иудаизмом, неприемлемым для них больше ввиду его крайней религиозной исключительности.

Члены этих сект — древнейшие иудео-христиане — как правило, представители наиболее угнетенных общественных слоев — ненавидели римскую императорскую власть, символом которой для них стал жестокий правитель Иудеи Понтий Пилат. Именно этой своей славе жестокого римского чиновника и военачальника, расприставившейся в иудейско-христианской среде, и обязан Понтий Пилат тем, что имя его оказалось столь тесно связано с легендарной биографией Иисуса Христа.

Однако позднее, когда христианская вера утвердилась среди широких слоев населения Римской империи и когда руководители христианских общин стали искать путей к примирению с римскими властями, Понтий Пилат из первоначального врага христианства стал превращаться в его друга. В это-то время и возник тот евангельский рассказ — строки из него приведены в начале этой статьи, — который, снимая ответственность за казнь Иисуса с Понтия Пилата как представителя римской власти, перелагает ее на иудеев, потому что с иудеями к этому времени как с заклятыми врагами Римского государства христианская церковь не желала больше иметь ничего общего. И только по иронии судьбы именно тот из римских наместников в Иудее, который в силу своего презрения к управляемому им народу знать ничего не хотел о его религиозных верованиях и тем менее о порожденных борьбой этих верований еретических сектах, — именно он-то и стал одним из ярких персонажей легенды о Христе, пережил свойственную истории этой легенды эволюцию и получил широкое распространение в церковной и светской литературе, а также и в изобразительном искусстве.

⁴ E. Stauffer, Münzprägung und Judenpolitik des Pontius Pilatus. «La nouvelle Clio», № 9, Octobre, 1950, стр. 495, сл.

Ußhochachtes Koncerßoy des Kayserlich Russischen
Cuirassier-Regiments



Freiherr Hieronymus L. F. von Münchhausen

Bodenwerder-Weserbergland

Роман Белоусов

Необычайные приключения автора и его героя, или Как Распе увековечил Мюнхгаузена

Кто не знает достославного барона Мюнхгаузена! Находчивого барона, заядлого охотника и путешественника, но еще более отчаянного вралю, лгуна из лгунов, фантазера из фантазеров. Это подлинный отец лжи. Но не потому, что не было того, кто мог бы его «перевернуть». Его ложь — это не ложь добродушного Хлестакова, у которого в мыслях легкость необыкновенная, это не бахвальство шекспировского Фальстафа, фонвизинского Вральмана, это не порожденные спесью мещанина выдумки Тартарена или небылицы остроумца французского барона Крака — героя книги Коллена Д'Арлевиля, созданного под влиянием приключений немецкого барона, и, наконец, это не необузданное хвастовство шутника Дэйва Крокета — самого известного персонажа американского фольклора, у которого, впрочем, был вполне реальный прототип.

Мюнхгаузен лжет по врожденной привычке, лжет самозабвенно, сам искренно веря в свои рассказы.

У медиков даже существует такое определение, как «синдром Мюнхгаузена» — склонность к патологической лживости. Но барон Мюнхгаузен превосходит своих литературных собратьев не столько тем, что он возвеличивает ложь, а, напротив, тем, что он мастерски разоблачает этот порок. Своими рассказами о путешествиях, походах и забавных приключениях барон обличает искусство лжи, невольно выступает как бы ее карателем. Автор небольшой книжки, появившейся впервые около 200 лет назад в букинистических лавках Лондона, немец Рудольф Эрих Распе именно так определял морально-воспитательное значение своей сатирической пародии на вралей и хвастунов.

С тех пор имя героя этой книжки стало нарицательным.

Но, вспоминая имя героя всемирно известной веселой книжки, мало кто знает, что Распе вывел на страницах своей сатиры реальную личность. Да, да. Существовал подлинный, во плоти и крови, живой прототип славного барона Мюнхгаузена. В этом легко убедиться, посетив небольшой уютный городок Боденвердер.

Река Везер, изогнувшись около Боденвердера словно цифра «три», медленно несет свои воды мимо кудрявых склонов. По берегам на вершинах зеленых гор, как часовые, высятся старинные рыцарские замки — неприступные когда-то оплоты крестоносцев.

Если подняться на башню Бисмарка, руины которой громоздятся на горе Экберг, и обратить взор к югу вверх по течению реки, вы увидите как на ладони утопающий в зелени городок. Это и есть Боденвердер, возникший в XIII веке на месте маленькой деревеньки.

Места эти издавна славились охотой. Еще двести лет назад в окрестных лесах часто раздавались голоса охотничьих рожков. В перелесках и зарослях, где, по преданию, король Генрих, прозванный Птицеловом, расставлял когда-то свои силки, проносились своры борзых, скакали всадники, размахивая арапниками и оглашая чащу гиканьем и криками.

Самым заядлым из местных охотников был тогда владелец старинного поместья в Боденвердере. Целые дни проводил он в седле, гоняясь за дичью. А по вечерам, после удачной охоты, у него собирались друзья, соседи и знакомые, чтобы распить стаканчик вина, поболтать, а главное — послушать владельца поместья, его рассказы об удивительных приключениях, случившихся с ним на охоте и во время путешествий.

Обычно хозяин приглашал гостей в павильон, построенный им в 1763 году на склоне в саду, усаживался в кресло, раскуривал пенковую трубку и, прихлебывая из бокала пунш, который не забывал ему подливать стоявший рядом слуга, начинал рассказывать. Это был подлинный мастер импровизации. По мере того как он водрушевлялся собственным повествованием, дым из трубки струился все гуще, лицо преображалось, руки становились более беспокойными, и маленький паричок начал приплывать на его голове. Постепенно повествование его покидало берега реальности и челн воображения устрем-



лялся в море безбрежной фантазии. Правда незаметно переходила в ложь, истинное перемешивалось с вымыслом. Однако природная наблюдательность, меткие характеристики, живой юмор и дар красноречия увлекали слушателей. Иные внимали росказням развесив уши. Другие, посмеиваясь в душе над хвастовством охотника, отдавали должное искусству рассказчика — барону Мюнхгаузену, ибо это был он собственной персоной. Иероним Карл Фридрих Мюнхгаузен, послуживший прототипом персонажа прославленной книги.

Сегодня главная достопримечательность Боденвердера — усадьба, где жил знаменитый барон Мюнхгаузен.

В старинном доме, окруженном тенистым вековым парком, сейчас музей Мюнхгаузена. Около здания памятник-фонтан: Мюнхгаузен сидит на лошади, заднюю часть которой, как вы помните, отсекло во время жаркого боя: «Поэтому вода вытекала сзади по мере того, как она поглощалась спереди, без всякой пользы для коня и не утоляя его жажды». До наших дней сохранился и павильон Мюнхгаузена, где он имел обыкновение за бутылкой вина рассказывать свои истории.

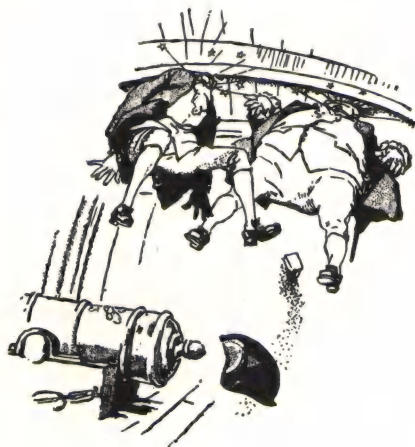
Внутри дома старинная мебель, стулья с ножками, выгнутыми, как лапки таксы, подвешенные на цепях, огромные, из оленьих рогов люстры. Всюду охотничьи

трофеи барона, доспехи и мечи времен крестоносцев — предков барона.

Хранятся в этой комнате и подлинные вещи барона: пенковая трубка — неизменная спутница вдохновений барона, его походный сундучок и пистолет, возможно, именно тот, как полагают доверчивые посетители музея, из которого находчивый барон выстрелил в недоуздок своей лошади, привязанной к колокольне, и таким образом благополучно вернул себе коня, чтобы продолжать путешествие в Россию. Что касается последнего факта, то это истинная правда. Мюнхгаузен действительно совершил поездку в Россию. Эта сторона биографии барона представляет особый интерес.

Конечно, в Санкт-Петербург Мюнхгаузен въехал отнюдь не бешеным галопом и во все не в саниах, запряженных волком. К тому же это случилось не зимой, а в начале лета 1733 года. Юный барон — ему минуло тогда лишь тринадцать лет — прибыл в столицу России в свите столь же юного герцога Антона Ульриха Брауншвейгского. Произошло это после того, как императрица Анна Иоанновна избрала герцога женихом для своей племянницы принцессы Анны, царствование которой на русском престоле впоследствии оказалось столь кратковременным.

Мюнхгаузен состоял пажом при Антоне Ульрихе, почти совсем еще мальчишке, не



отличавшимся ни внешностью, ни умом, про которого русский фельдмаршал Миних (кстати сказать, упоминаемый в книжке Распе) говорил, что не знает «рыба он или мясо». Не успел этот отпрыск римских кесарей прибыть в Россию, как тотчас же ее величество издает указ о переименовании бывшего Ярославского драгунского полка в Брауншвейгский кирасирский. Антон Ульрих назначается шефом этого соединения. Причем при комплектовании сего полка отныне «дозволено было принимать в оный курляндцев и иноземцев, годных к службе, кои изъявляли на то свое желание».

Надел на себя мундир этого полка и молодой Мюнхгаузен. Мундир этот, подобно пропуску, дал возможность Мюнхгаузену проникнуть в высший свет. Не одну ночь провел барон за игорным карточным столом, «под звон полных бокалов».

Семнадцатилетним юнцом в чине корнета он в 1737 году отправляется вместе с русской армией в поход против турок. Участвует в штурме Очакова. Вскоре вместе с полком Мюнхгаузен попадает в Ригу.

Вьюжным февральским днем 1744 года чербская принцесса Софья и ее мать подъезжали к Риге. Зима была холодная, но бесснежная, поэтому ехали в колесной кибитке. В Риге пятнадцатилетняя принцесса, путешествовавшая до этого под маской графини Рейнбек, должна была пересест в удобную карету и, получив эскорт, сле-

довать дальше в Россию, где через несколько лет она взойдет на престол под именем Екатерины II.

Когда кибитка с высокой гостьей переехала по льду Двину, из крепости грянул пушечный залп. Будущую императрицу на границе России встречали пышно и торжественно — звоном литавр и боем барабанов. Гоф-фурьеры, кирасиры и почетный караул приветствовали ее. Салютовал ей и начальник караула барон Мюнхгаузен.

Через несколько лет, в 1750 году, Мюнхгаузен получил чин ротмистра, в patente на который записано много лестных слов о его военных заслугах. Но именно в этот момент наш герой затосковал по родному Боденвердеру. А если учесть, что незадолго до этого барон женился на дочери судьи, Якобине фон Дуттен, то станет особенно понятно его стремление домой, к семейному очагу. Он выходит в отставку и покидает Россию.

И вот он уже в родовом поместье на берегу тихого Везера. Столь же тихо и безмятежно отныне течет его жизнь. Бывший кирасир занялся сельским хозяйством, управлял имением и предавался своей страсти — охоте, благо окрестные леса были так богаты тогда разной живностью. А по вечерам рассказывал истории о своих приключениях в России, полные безобидного хвастовства и выдумок.

Однажды майским вечером 1773 года



у барона, как обычно, собралась компания друзей и приезжих. Хозяин, только что вернувшийся с удачной охоты, был в прекрасном расположении духа, истории одна занимательнее другой так и лились из его уст.

Среди слушателей находился гость в красном мундире — судя по костюму, приближенный одного из бесчисленных в то время немецких князьков. Это был тридцатилетний Рудольф Эрих Распе, служащий при дворе Фридриха Второго, ландграфа Гессен-Кассельского. Или как он официально представился: княжеский советник, хранитель древностей и заместитель-библиотекарь, профессор античности в кассельском колледже Карла Великого.

Выполняя задание своего ландграфа, Распе совершал поездку по монастырям, отыскивая манускрипты и памятники старины. Это и привело его в Боденвердер, неподалеку от которого был расположен древний монастырь Кемнаде.

В этот вечер встретились два человека, имена которых ныне стоят рядом: Распе и Мюнхгаузен.

Десятки имен немецких писателей XVIII столетия смотрят на нас с книжных полок. Среди них Распе мало приметен, он как бы притаился в тени гениев своей эпохи.

Плодовитость его как литератора была невелика. Все, что им написано, включая

прозу, стихи, пьесу, статьи по искусству, научные работы, — все это сегодня предано забвению. И только одна небольшая книжка — плод его таланта сатирика, созданная между делом, как бы шутя, пережила века. Распе — человек одной книги, его имя в нашем сознании связано исключительно с одним произведением — «Приключениями барона Мюнхгаузена». Но если имя Распе благодаря этой книге не забыто, то наши знания о нем как о человеке, о его жизни весьма скудны.

Рудольф Эрих Распе родился в Ганновере в 1737 году, в том самом, когда открылся Геттингенский университет. В восемнадцать лет он переступает порог своего ровесника. Но уже через год Распе покидает Геттинген и направляет свои стопы в Лейпцигский университет.

В его аудиториях Распе постигает сущность прекрасного, изучает античность и археологию. Увлекается геологией — наукой о богатствах земли, которая, он надеялся, раскроет перед ним свои сокровища.

Современники прозвали Распе «стремительным» не только потому, что такой была его походка. Он и внутренне был порывист, чрезмерно импульсивен, воображение постоянно рождало в его голове новые замыслы и планы.

Из Лейпцига, где Распе провел три года, почтовая карета мчит его снова в Геттинген. Получив здесь диплом магистра, он



возвращается в родной Ганновер — тогда английское владение — и в 1760 году поступает в Королевскую библиотеку. Зарывшись в книги, целыми днями просиживает в ее залах, читает все, что поступает из Лондона и Парижа, Амстердама и Лейпцига.

Семь лет проведет Распе в стенах библиотеки. За это время имя его станет известно в кругах ученых и литераторов, будут опубликованы его первые произведения.

В 1766 году открывается вакансия хранителя библиотеки и профессора в кассельском колледже Карла Великого. В Касселе вспоминают о подающем надежды молодом ганноверском ученом и литераторе Распе. Ландграф предлагал ему пост при своем дворе.

Первая обязанность нового хранителя библиотеки, помимо чтения лекций в колледже по истории, искусствоведению, нумизматике, геральдике и другим наукам, состоит в том, чтобы привести в порядок эту сокровищницу, составить опись предметов. Энергичный Распе принимается за дело. Коллекция насчитывает 15 тысяч ценных предметов, из них семь тысяч серебряных и около шестисот золотых, он лично несет ответственность за их сохранность.

Кроме этой кропотливой работы, Распе публикует статьи о методах добычи белого мрамора, о вулканическом происхождении

базальта, пишет о пользе и употреблении резных камней, печатает опыт древнейшей и естественной истории Гессена, изданный затем в Англии. И вскоре к званиям, которые имел при дворе ландграфа, он с гордостью может добавить звание члена Лондонского Королевского общества, члена Нидерландского общества наук в Гарлеме, а также члена германского и исторического институтов в Геттингене, почетного члена Марбургского литературного общества и, наконец, звание секретаря Нового кассельского общества сельского хозяйства и прикладных наук.

В этот, казалось бы, безоблачный час своей жизни, когда друзья поздравляют его с успехами и желают новых, он, не подозревая, сам готовит свое будущее падение. С непростительным легкомыслием Распе делает долги, не в состоянии их покрыть — погрязает в новых, надеясь потом как-нибудь выпутаться. Но долговая петля затягивается все туже. Тогда Распе решает на бегство.

19 ноября 1775 года Распе арестовывают.

По пути в Кассель он вместе с сопровождающими полицейскими чиновниками останавливается на ночлег в дорожной гостинице. За ужинам профессор рассказывает полицейскому свою печальную историю. И тут происходит неожиданное. Исповедь беглого ученого производит впечат-



ление, полицейский молча подходит к окну в сад и, распахнув его, покидает комнату. Распе исчезает в темноте...

Раньше он часто признавался в своей склонности к Англии, поэтому не удивительно, что вскоре Распе объявился на британской земле.

Первое время ему особенно было трудно. Он кормится тем, что переводит на английский язык дотоле неизвестных здесь немецких авторов, в частности драму Лессинга «Натан Мудрый», появившуюся уже после его бегства. Видимо, у Распе сохранились связи с континентом, ибо только от друзей он мог получать литературные новинки для перевода.

Приблизительно в то же время у него на родине, в 1781 году, в берлинском юмористическом альманахе «Путеводитель для веселых людей» появляются шестнадцать рассказов-анекдотов под общим названием «Истории М-х-з-на». «Возле Г-вера, — говорится в предисловии к ним, — живет весьма остроумный господин М-х-з-н, путивший в оборот особый род замысловатых историй, авторство которых приписывается ему».

Через два года в том же журнале были опубликованы «Еще две небылицы М.». Кто был их автором? Сам барон Мюнхгаузен? Едва ли, если учесть, как он потом реагировал на то, что стал всеобщим посмешищем. Тогда кто же сочинил эти за-

бавные истории, высмеяв в них спесивых немецких юнкеров-помещиков?..

...Лондонский книгоиздатель М. Смит осенью 1785 года был доволен своими делами. Небольшую книжку ценой в один шиллинг «Повествование барона Мюнхгаузена о его чудесных путешествиях и походах в Россию» расхватили в один день. Ее автор, пожелавший для читателей остаться неизвестным, не обманул его надежд. И вскоре выходит дополненное издание с предисловием анонимного автора. В нем Распе утверждает, что книга обязана своим существованием подлинному барону Мюнхгаузену, принадлежащему к одному из первых дворянских родов Германии, человеку «оригинального склада мыслей».

«Приключения барона Мюнхгаузена», рожденные на германской почве, вернулись на родину в 1786 году, через год после выхода их в Англии. И хотя первое немецкое издание, тоже анонимное, было отпечатано в Геттингене, на обложке было указано — Лондон. Автор перевода поэт-демократ Г. А. Бюргер, привнесший в книгу существенные добавления, новые эпизоды, основанные также на народных мотивах, не случайно, как и Распе, пожелал остаться неизвестным.

Когда Мюнхгаузен прочитал, какие вытворяют чудеса, какие плести небылицы заставил его сочинитель книжонки, престарелый барон был взбешен. Его засыпают

письмами самого неместного содержания, в маленький городок на Везере стекаются любопытные поглазеть на живого барона-вралю. В имении не стало покоя. Тогда слугам приказывают патрулировать вокруг дома и не допускать посторонних. А в комнатах негодует барон Мюнхгаузен, грозит всеми карами нечестивцу, так позорно и нагло высмеявшему его, немецкого дворянина. Оскорбленный барон пробовал подавать в суд, привлечь к ответу обидчика. Но закон был бессилен перед анонимным титульным листом и фальшивой надписью «Лондон». Иероним фон Мюнхгаузен так никогда и не узнал, кто же был истинным виновником его позора. Позора? Напротив, славы. Помимо своей воли, он попал в литературу, приобрел известность как прообраз бессмертного литературного типа — вралю и хвастуна Мюнхгаузена.

А что же случилось с тем, кто учинил эту злую шутку над бедным бароном?

Энергичный человек, Распе полагал, что не останется без работы среди энергичного народа. Вот когда особенно пригодились его знания по геологии и горному делу. Наука, как он говорил, перестала быть в его руках игрушкой и стала источником обогащения. Но для того чтобы добиться чего-нибудь, нужно было быть расчетливым, практичным, обладать трезвым умом дельца и предпринимателя.

Отсутствие у себя этих качеств он пытается возместить знакомством и службой у известного промышленника, «железного короля» Англии Метью Баултона — человека, который помог Джеймсу Уатту воплотить в жизнь его гениальное изобретение — паровую машину.

Теперь основная работа Распе — разведка и добыча полезных ископаемых. Надежда ведет его по долинам и горам Англии, он все еще мечтает о своем Эльдorado. Но ни энергия, ни энтузиазм Распе не помогли ему извлечь ничего более ценного из этой земли, чем торф.

Его видят в шумном Лондоне и ученом Кембридже, в индустриальном Бирмингеме и в сумрачном Эдинбурге; он забирается в самые отдаленные уголки «радушной Шотландии». Может быть, его скитания — это всего лишь желание заглушить тоску, унять отчаяние — у него не было дома, семьи, он никогда больше не видел своих детей: они остались в Германии. У него не было родины.

Пути изыскателя привели Распе в Дублин. Отсюда он двинулся на запад Ирландии, в край Килларнийских озер. Здесь пришел конец его длительным странствиям. Заболев сыпным тифом, он умер в 1794 году пятидесяти восьми лет. Могила его затерялась среди ирландских болот.

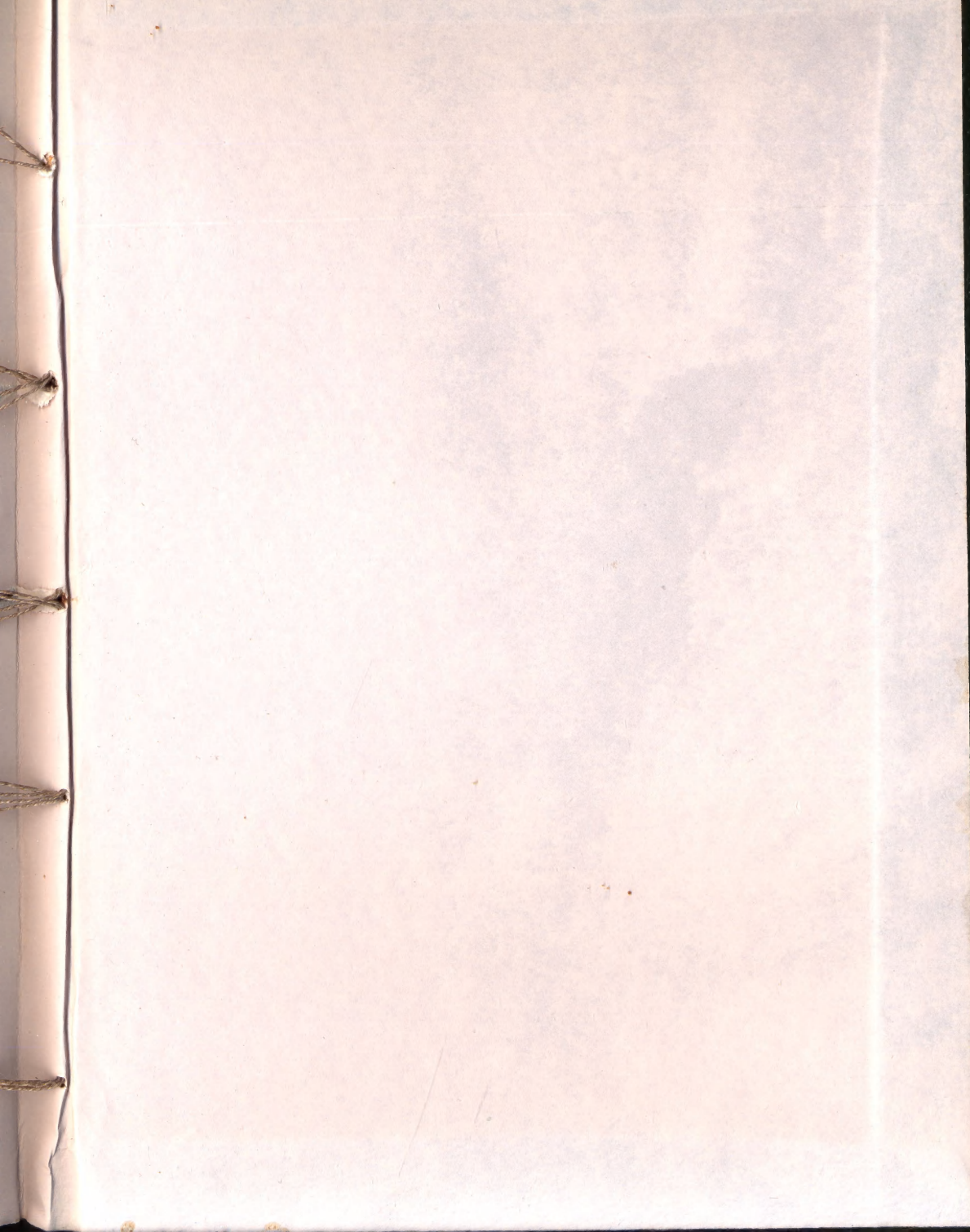
ПРОМЕТЕЙ. Ист.-биогр. альманах серии
«Жизнь замечательных людей». М., «Молодая
гвардия», 1972.
Вып. 9. 1972.

328 с., с илл. В вып. дан ред-сост.: Г. Поме-
ранцева

9

Сдано в набор 20/V 1969 г. Подписано к печати
26/IX 1972 г. А11064. Формат 70×90^{1/16}. Бума-
га № 1. Печ. л. 20,5 (усл. 23,98). Уч.-изд. л. 33,8.
Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 16 к. Б. З. 31,
1972 г., п. 24. Заказ 1128.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая
гвардия». Москва, А-30, Суцевская, 21.



99

PROFESSOR